



ЕВГЕНИЙ
ЧИРИКОВ

ОТЧИЙ ДОМ

Семейная хроника

Евгений Николаевич Чириков

Отчий дом. Семейная хроника

В хронике-эпопее писателя Русского зарубежья Евгения Николаевича Чирикова (1864–1932) представлена масштабная панорама предреволюционной России, показана борьба элит и революционных фанатиков за власть, приведшая страну к катастрофе. Распад государства всегда начинается с неблагополучия в семье — в отчем доме (этой миниатюрной модели государства), что писатель и показал на примере аристократов, князей Кудышевых.

В России книга публикуется впервые. Приведены уникальные архивные фотоматериалы.

Содержание

Евгений Николаевич Чириков	0004
Вступительная статья0005
Отчий дом Семейная хроника	0062
Книга первая0062
Книга вторая0346
Книга третья0646
Книга четвертая0925
Книга пятая1178
Иллюстрации1433

Евгений Николаевич Чириков



Портрет Е. Н. Чирикова работы художника М. Максалли. 1930 г.

Вступительная статья

С творчеством Евгения Николаевича Чирикова (1864–1932) современный читатель смог познакомиться лишь недавно. Имя художника, не принявшего Октябрь 1917 г. и вынужденного эмигрировать, в советское время замалчивалось, его книги не издавались. Только в 1961 г., когда разрешили вернуться из эмиграции потомкам писателя, появилось единственное переиздание ранних произведений Чирикова — сборник «Повести и рассказы». Однако и после этого упоминания о нем были весьма редки, внимание уделялось только его ранним, остросоциальным произведениям. Все тексты, созданные художником в изгнании, оценивались исключительно как идеологически чуждые, и в целом эмигрантский период рассматривался как свидетельство упадка его творческих сил. Характеристика же начального этапа творчества Чирикова повторяла оценки дореволюционных критиков, которые видели в нем исключительно бытовика, обличающего социальное зло и продолжающего реалистические

традиции писателей-шестидесятников. Творческая эволюция, произошедшая в результате совершившегося в его мировоззрении в 1910-е гг. перелома, когда писатель-традиционалист начал превращаться в художника-философа, ориентированного на народно-православные основы русской культуры, была проигнорирована.

Несколько изменило положение дел появление в 2000 г. сборника его прозы[1], где были напечатаны самый злободневный, написанный в эмиграции роман «Зверь из бездны» (1926), вызвавший бурю возмущения во всех слоях эмигрантского общества поведенной о Гражданской войне правдой, легенды и сказания из книги 1916 г. «Волжские сказки», лирические рассказы 20-х гг. и произведения для детей (надо заметить, что Чириков — великолепный детский писатель, творец «животного эпоса» и создатель волшебного путешествия маленького мальчика «В царство сказок»).

Эта книга доказывала, что произведения периода эмиграции стали вершиной творчества писателя. В них в полную силу раскры-

лось не только его окончательно определившееся мировоззрение, но и художественное мастерство. С годами Чириков сумел выработать и оригинальный стиль, в котором соединились яростные публицистические высказывания, напряженные философские раздумья, скрупулезный исторический анализ с пронзительной лирической интонацией. Произведения, начавшие выходить почти сразу же, как только писатель очутился на чужбине (показательно, что под ними стоят цифры 1921, 1922, т. е. он писал не просто «по горячим следам», а во время самих переживаемых событий), — содержат глубокие размышления автора о судьбе России, попытку разрешить загадки ее бытия, вскрыть пороки и язвы, толкнувшие страну в «бездну». Подробно он рисует трагедию беженства, крушение трогательного и хрупкого мира обычных людей, ввергнутых в круговорот ненависти и преследований, где каждый на какое-то время становился то палачом, то жертвой. И хотя Чириков постоянно подчеркивал, что является не судьей, а лишь свидетелем, описание наступивших хаоса, темноты и повсеместно

творимых ужасов и преступлений говорило о том, что чаша мук и страданий, которую ему довелось испытать вместе с тысячами русских людей, терзала его душу и не давала застыть в спокойном величии бесстрастного аналитика событий. Постепенно, в течение почти 10 лет готовил он исчерпывающий ответ на вопрос о том, что же привело Россию к пропасти, почему в основание ее будущего были положены тела невинных, а скрепили этот фундамент обман и предательство новоявленных пророков? Ответом стало его последнее и самое масштабное произведение — семейная хроника-эпопея «Отчий дом» (1929–1931).

К этому, можно сказать, жизненному подвигу Чириков готовился давно: еще в 90-е гг. XIX в. пытался определить, какой же путь уготован России, кто станет у кормила — народники или марксисты, кто окажется вождем, способным не только увлечь за собой, но и действительно обеспечить народу справедливое и достойное существование. Размышления на эту тему пронизывают его самые заметные произведения тех лет — повести «Инвалиды» (1897) и «Чужестранцы» (1899). Чуть

позже, в пьесах «Евреи» (1904) и «Мужики» (1905) он, затрагивая острые социальные конфликты и обнаруживая их неоднозначность и противоречивость, вскрывал демагогию «друзей народа» и беспардонность «друзей гласности» (так называлась еще одна его пьеса).

Со второй половины 1900-х гг. взгляды писателя кардинально меняются. Создается впечатление, что повесть «Мятежники» (1906) и пьеса «Легенды старого замка» (1906) написал уже другой человек: четко осознавший, что бунт и порывы к немедленному осуществлению справедливого мироустройства чреваты морями крови и чаще всего играют на руку проходимцам от политики, а политика и общественная деятельность всегда увлекали Чирикова. С юности он принимал самое непосредственное участие в народническом движении, за что несколько раз побывал в тюрьме и ссылке, а когда стал членом «Крестьянского союза», неоднократно получал угрозы со стороны черносотенцев.

Однако после 1905 г. писатель охладел к «интеллигентской грызне» [2], как он назовет партийные споры впоследствии. Сам худож-

ник в своих воспоминаниях так объяснял этот внутренний переворот: «Лик революции, явленный в Московском вооруженном восстании, искусственно созданном <...> безумстве, окончательно охладил мои чувства, вскормленные наследственным боготворением Великой Французской революции. Всего более меня оттолкнула от профессиональных революционеров демагогическая ложь и неразборчивость в средствах и безжалостность по отношению к трудовым массам, которые они толкают на смерть, в жертву своим фанатическим идеям <...>»[3]. Боль от невозможности облегчить страдания умиравшей от рака матери, которая сумела, будучи оставленной мужем, воспитать и дать образование пятерым детям, разочарование в политических методах борьбы, а также проявление отталкивающих черт в людях, которых он считал своими соратниками (здесь сыграли свою роль разрыв с горьковским издательством «Знание» в 1908 г. и столкновение с коллегами по драматургическому цеху в 1909 г., так называемый «чириковский инцидент»[4], обозначивший межнациональную рознь в

интеллигентских кругах), обусловили глубокие внутренние изменения. Теперь в качестве основы жизненного поведения Чириковым утверждаются не протест и социальная борьба, а нравственный стержень и религиозное очищение. То, что с ним произошло, писатель определил формулой: художник победил общественника, расшифровав ее следующим образом: «Я почувствовал себя не просто человеком, а человеком и писателем русским»[5].

В 1910-е гг. Чириков начинает писать своеобразный «отчет» о содеянном в жизни, который воплотился в цикл автобиографических романов о формировании писательской личности — «Юность» (1911), «Изгнание» (1913) и «Возвращение» (1914), вместе с последней частью «Семья» (1924), написанной уже в эмиграции, составивших тетралогию «Жизнь Тарханова». Импульсом к созданию этого произведения послужили душевные — тягостные, но и просветляющие — переживания. После смерти матери, вспоминал художник, «впервые встала передо мною человеческая жизнь в ее роковой трагичности», а пред-

смертные беседы, которые они вели, заставили «оглянуться на свой пройденный путь, почувствовать малоценность всей прежней революционной суеты и вернуться к вечному: душе человеческой, со всеми отражениями в ней Божеского лица и борьбы индивидуальной, к красоте и чудесам творения Божьего», и он ощутил себя так, «словно сейчас только получил аттестат писательской зрелости»[6].

Однако главным доказательством писательской «состоятельности» Чирикова стала эпопея «Отчий дом», воссоздающая панораму общественной, политической и духовной жизни России последних десятилетий XIX и начала XX столетия. Эта книга заметно выделяется своей основательностью среди большого ряда произведений подобной тематики других литераторов Русского зарубежья, тексты которых представляют собой либо документальные свидетельства произошедшего со страной в 1917 г. («Окаянные дни» И. А. Бунина, «Слово о гибели Русской земли» А. М. Ремизова), либо рисуют ностальгические картины прошлого («Юнкера» А. И. Куприна, «Лето Господне» И. С. Шмелева и др.).

Одним из первых в эмиграции попытку дать панораму русской жизни на всем протяжении царствования Николая II и в первые революционные годы предпринял П. Н. Краснов, бывший генерал царской армии, опубликовавший в 1921–1922 гг. двухтомный роман «От двуглавого Орла к Красному знамени». Но Краснову, не обладавшему крупным художественным талантом, удались только батальные сцены, психология же людей — а это самое интересное — оставалась нераскрытой. Тем не менее роман сравнили с «Войной и миром» Толстого [7], и это было симптоматично: эмигрантская общественность явно находилась в ожидании появления большого исторического полотна, надеясь обнаружить в нем ответ на вопрос — почему миллионы русских людей были объявлены врагами своей родины и изгнаны за ее пределы?

Впрочем, ответ был известен заранее: виноваты революционеры, взбаламутившие народ и игравшие на руку немцам, жаждавшим крушения Российской Империи. Чириков же, в отличие от многих современников, возложил вину за свершившееся не только на

большевиков, но и на самих изгнанников. Однако открыто высказав свое мнение, писатель «неосторожно» «ковырнул подлинное больное место»[8], и это раздосадовало представителей всех лагерей.

Подобное уже имело место, когда дискутировался общественный смысл «Инвалидов» и «Чужестранцев», и все критики пытались выяснить, кто же для писателя является настоящими «инвалидами», а кто «Иванами, не помнящими родства». И позже, нарисовав в романе «Зверь из бездны» жуткие картины одичания и белых, и красных, художник повторил «ошибку» прежних лет, вновь вызвав в свой адрес жесткие нарекания. В частности, на Чирикова ополчился П. Струве, по инициативе которого была проведена акция публичного осуждения книги, а писателю было направлено открытое письмо студенчества с упреками в клевете на Белое движение. И все потому, что «защитники Отечества» предстали под его пером отнюдь не агнцами Божьими, а запутавшимися, потерявшими нравственные ориентиры людьми. Чириков писал этот роман, опираясь на собственные воспоминания,

буквально переливая на бумагу пережитое им в годы войны в Крыму, которую вели белые, красные и зеленые, когда он воочию убедился, что борьба за «правое дело» ведется каждой из сторон без сострадания и учета людских потерь.

И «Отчий дом», в свою очередь, явился развитием этих взглядов. Замысел эпопеи можно сопоставить с идеей, послужившей толчком к созданию «Войны и мира». Исследуя истоки декабристского движения, Толстой счел необходимым обратиться к эпохе Отечественной войны 1812 г. и даже более ранним годам, определившим бунтарские настроения будущих дворянских революционеров. Чириков же, осветив в своей книге более чем 25-летнюю историю России, пришел к выводу, что предпосылки разыгравшейся в 1917 г. трагедии были заложены именно в периоде начала 1880-х гг. до 1905 г. И корень бед писателю виделся в деятельности революционных фанатиков, которая брала начало в «Народной воле», а затем расцвела в левых партиях, одна за другой возникавших в России на рубеже XIX–XX вв. Утверждая, что цель оправдывает

любые средства, а политическое убийство не только допустимо, но и необходимо, революционеры начали преступать нравственные законы, чем ввели русскую совесть «в неопи-суемое смущение»[9]. (Сомнения в нравствен-ной чистоте революционеров возникали у писателя и раньше, — еще в «Жизни Тархана-ва» он обрисовал колонию ссыльных как сбо-рище пустых, глупых и озлобленных людей, потонувших в мелких дрызгах, самодоволь-ных и обладающих непомерными амбиция-ми.)

Для воплощения своего грандиозного за-мысла Чириков избрал особую жанровую форму — семейную хронику. В «Отчем доме» описывается жизнь семьи аристократов, быв-ших князей Кудышевых. Некогда блиставшие при дворе, они лишились — как оппозицио-неры — титула еще при Павле I. Представи-тели же сегодняшнего семейства и его оплот — «старая барыня» Анна Михайловна, мать тро-их непутевых сыновей — окончательно рас-терjali свое былое величие, утратив не толь-ко прежний блеск и влияние, но и про-меняв свой радикализм на велеречивость и

оппозиционность по инерции. Однако они по-прежнему гордятся участием во всех исторических преобразованиях, которыми так богато указанное время, и по-прежнему хотят определять (и думают, что определяют) судьбы родины.

Здесь следует указать на отличие эпопеи Чирикова от «классических» образцов этого жанра — семейных хроник С. Т. Аксакова, Н. С. Лескова, Н. Г. Гарина-Михайловского, И. А. Бунина и др. Если в «традиционной» семейной хронике описывается жизнь нескольких поколений дворянского рода, то «Отчий дом» знакомит читателей с судьбой только одного поколения Кудышевых — сыновей Анны Михайловны, о нравах же предков сообщается в самом начале повествования. Характеристика почившего в бозе отца семейства, помещика Николая Николаевича — «помеси крепостника с вольтерьянцем, самодура с сентиментальным мечтателем, одинаково способным как к рыцарскому поступку, так и к варварскому своеволию», — нужна автору, чтобы обнаружить «генезис» поступков братьев. Судьба же «внуков», детей старшего бра-

та Павла Николаевича — Петра, Наташи, Женьки и сына среднего брата Дмитрия — якутенка Ваньки, остается проясненной лишь отчасти.

Однако несколько весьма красноречивых фактов из их повседневной жизни приводят-ся, и они свидетельствуют о несостоятельности дворянского сословия, об исчезновении в нем последних признаков вольнодумства. Так, Петр, недолго погостив в отчем доме, уезжает, предварительно вырезав из рам портреты своих предков, очевидно, для продажи, что неудивительно, поскольку придерживается гедонистической философии: «„Жизнь для жизни нам дана“, и никаких рассуждений. <...> В конце концов человек — раб желудка и полового инстинкта», «просто усовершенствованная обезьяна...». Тем не менее его цинизм не мешает ему стать героем на полях сражений: за храбрость, проявленную в Русско-японской войне, Петр награжден Георгиевским крестом. Больше других он печется о кудышевском наследстве. Однако ему не суждено им воспользоваться: «служба царю и отечеству», он гибнет при усмирении восстав-

ших в Москве рабочих. О Наташе как наследнице традиций вообще говорить не приходится. Ее поэтическая натура не позволяет ей погружаться в сферу материального. И, освободившись из-под опеки приземленного мужа, она, замороженная атмосферой театра, устремляется навстречу новой любви и большому искусству.

Члены семейства Кудышевых олицетворяют различные направления общественно-политической мысли — консервативное дворянство, народничество, экстремизм народо-вольческого толка, толстовство и различные сектантские уклоны, марксизм. В этом плане знаменательна чириковская ономастика: дворянство действительно уже задается вопросом не «что делать?», а «куда идти?» — и то, как прозвали их родовое имение крестьяне — Никудышевка, — красноречиво заключает в себе горестно-иронический ответ. Каждый из братьев окружен «штатом» единомышленников. И царящие между этими «штатами» постоянные скандалы и столкновения, доходящие порой до ненависти, словно в миниатюре отражают те разрушительные процессы,

которые протекали в России в последние десятилетия XIX в. и привели, по убеждению Чирикова, к краху «общего национально-государственного отчего дома». При этом нельзя не заметить, что в романе писатель скорбит о судьбе родины, а не злорадно констатирует справедливость своих наблюдений и прогнозов, в чем пытались уверить его недоброжелатели. Еще раньше он признавался: «Во мне стало просыпаться временно усыпленное социальными утопиями национальное здоровое чувство, этот прирожденный каждому народу инстинкт национально-государственного самосохранения»[10]. И когда, будучи уже тяжело больным человеком, Чириков создавал свой последний роман, он прежде всего думал о сохранении величайшего национального образования — России.

Такая авторская позиция обнаруживает еще одно, весьма существенное расхождение с «традиционной» формой семейной хроники, которая подразумевает спокойное изложение событий всезнающим повествователем, что предполагает известную долю объективности. Однако в случае с «Отчим домом»

мы постоянно слышим взволнованный голос автора, буквально врывающийся в эпическое повествование со своими оценками, замечаниями, соображениями, характеристиками, пристрастными суждениями. Причем «заинтересованность», если так можно выразиться, Чирикова столь высока, что он не стесняется повторений, дублирования одних и тех же выводов при обличении «придворной камарильи» и политических интриганов, постоянных указаний на безвольность царя, поддающегося влиянию едва ли не каждого приближенного. Вследствие этого некоторые куски романа производят впечатление чисто публицистических включений, что может вызвать недовольство пуристки настроенных читателей и критиков, которые усмотрят в этом недостаток «художественности». На самом деле они формируют пафос этого произведения. Постоянные восклицания-вопросы «подключают» читателя к потоку авторских размышлений, а свободное обращение Чирикова к просторечью (словечки «снюхались», «наплевать» мелькают то тут, то там) фиксирует в повествовании «мнение народное».

Создается впечатление, что Чириков изменил избранной им позиции не судьи, а свидетеля, только запечатлевающего факты (на чем он настаивал ранее), и здесь выступил как прокурор и обвинитель. И хотя он заявлял, что «в мою задачу вовсе не входил суд над современниками, желание выловить из них виноватых», тем не менее писатель счел нужным заключить процитированную фразу признанием: «Я имел намерение показать историческую поруку поколений, в которой *нет невиноватых...*» (курсив наш. — М.М., А.Н.).

Но если все сословия и идейные течения подвергаются в романе жесткой критике, то сама Россия предстает как кладезь культурных ценностей, которые не могут быть уничтожены никакими историческими катаклизмами. В хронике Чириков обобщил огромный культурный опыт — и интеллигенции, и народа. «Отчий дом» наполнен прямыми и завуалированными цитатами из произведений русских и зарубежных классиков — от Пушкина и Толстого до Боккаччо и Гауптмана (этими знаниями владеют дворяне), от-

сылками к библейским, апокрифическим и неканоническим текстам, фольклорным сюжетам и образам (а это уже достояние народа), пестрит куплетами из популярных романсов, революционных и народных песен. Чириков явно стремился не только проанализировать условия, в которых протекала общественно-политическая жизнь и складывались умонастроения российского общества второй половины XIX в., предшествовавшие глобальному историческому перелому, но и воссоздать образ России, владевшей всем этим богатством.

Действие романа разворачивается в самых разнообразных точках географического и временного пространства: родовом имении героев, волжских городах Симбирске и Алатыре, в «двух столицах» — Петербурге и Москве, и даже за границей — в Италии, Швейцарии, Финляндии. Читатель получает возможность увидеть молодого Ленина, оказаться на тайной встрече подпольщиков с Надеждой Крупской и даже посетить жилище Максима Горького на Капри! Но автор не ограничивается современностью: пространство романа рас-

пахнуто в прошлое и будущее. Взгляд писателя проникает сквозь века и переносит читателя во времена татаро-монгольского нашествия, правления Ивана Грозного и Бориса Годунова, Екатерины II и Александра III, когда, по мнению Чирикова, закладывались основы национального характера.

В поисках универсальной формы, которая смогла бы наиболее полно и точно передать замысел, Чириков включил в «Отчий дом» отрывки из своих прежних публицистических статей и очерков, фрагменты мемуаров, значительный этнографический и исторический материал. В сюжетных перипетиях, системе образов и поэтике «Отчего дома» нельзя не заметить отсылок к предшествующим произведениям Чирикова. То есть писатель действительно предъявил итог всего созданного и продуманного им ранее. Так, образ Григория — дворянина, вернувшегося из ссылки женатым на простой крестьянке, в эпопею Чирикова «проник» из его пьесы «Дом Кочергиных» (1910), в основу которой была положена борьба вокруг наследства, но в пьесе этот конфликт имел еще чисто бытовой харак-

гер — о принятии в «наследство» России речи еще не шло. Какие-то линии эпопеи восходят, как уже упоминалось, к автобиографической тетралогии «Жизнь Тарханова». В частности, семейство, где отец был толстовцем, а сын — народовольцем, мечтающим совершить террористический акт, Чириков запечатлел во второй части тетралогии, нарисовав, как в одном жизненном пространстве вынуждены были существовать народники, народовольцы, толстовцы, постепеновцы и к чему это приводило. Тогда же он попытался взглянуть в «Ноев ковчег», который представляла собой русская жизнь на рубеже веков с ее сумятицей, противоречиями во взглядах, партийных программах, дебатами по поводу перспектив устройства жизни. В «Отчем доме» этот «Ноев ковчег» обернется уже, как определит взаимоотношения своих наследников Анна Михайловна Кудышева, подлинным «зверинцем».

Но особенно бросается в глаза сходство «Отчего дома» с романом «Семья», который в некотором роде можно проинтерпретировать как вариацию библейской легенды о возвра-

щении блудного сына. Иными словами, разочарование Тарханова в избранном поприще (писательский труд), отход от общественной деятельности, осознание вечных семейных ценностей как определяющих бытие личности и является обретением заблудшей душой «Дома Отца Моего». Поэтому и возникает в последней части тетралогии перенос акцента с линии Тарханова на жизнь его детей: именно их, а не свои книги и идеи оставляет он после себя. А «Отчий дом», соответственно, стал своеобразным «перевертышем» этой мифологии.

Блудные дети собираются под отчим кровом, но это не только не приносит счастья и успокоения, а, напротив, приводит к полному уничтожению родительского гнезда. И первым сигналом грядущего разрушения общего дома становится «отселение» младшего из сыновей — толстовца Григория, который начинает под влиянием жены устраивать в своем жилище хлыстовские сборища, а потом и вовсе исчезает, находя успокоение в монашеской обители. Средний — Дмитрий — террорист, приводит в свой дом жандармов и, что-

бы не попасть им в руки, кончает с собой. Это, в свою очередь, становится причиной безумия его матери, смерть которой символизирует конец «отчего дома». Остающийся же жить «в родных палестинах», приспособившийся к обстоятельствам старший, Павел Николаевич, уже ничего общего не имеет с корнями: это льстивый политик, готовый раболепно служить новым идеям, сулящим выгоду. Его мечта — не сохранение Общего дома (России), а кресло депутата Государственной думы. Имение же, по сути, переходит в руки человека «со стороны» — то ли жены, то ли вдовы Григория, распутной Ларисы.

Образ дома и живущего в нем большого семейства заставляет вспомнить про «мысль семейную», так важную для Толстого, у которого семья — не столько кровное, сколько духовное родство, что писатель и показал на примере семей Болконских и Ростовых, обладающих общностью, основанной на искренности чувств и величайшей преданности друг другу. Им он противопоставлял Курагиных, чье духовное омертвление проявляется в лицемерии и притворстве отца и детей, кото-

рых объединяет лишь стремление к завоеванию положения в обществе, обретению богатства и нужных связей. И для Чирикова охлаждение семейных отношений — свидетельство глубокого неблагополучия. Несмотря на то что мать и сыновья живут под одной крышей, о духовном единстве в семействе Кудышевых говорить не приходится. «Дети одной семьи, рожденные на протяжении менее одного десятилетия, братья казались людьми трех взаимно отрицающих друг друга поколений», — указывает он. Их общение сводится к бесконечным стычкам, насмешкам и взаимному презрению, которое они не стесняются выставлять напоказ. Внук Петр называет бабушку «крокодилом» и «бегемотом», сама она не признает прижитого в Сибири Дмитрием внука Ваню. Отчий дом становится проходным двором, куда летом наезжают многочисленные (зачастую и незваные) гости, что должно было бы свидетельствовать о хлебосольстве, радушии и гостеприимстве хозяев, однако ситуация оборачивается своею противоположностью: гости буквально вытесняют хозяев, начинают без спроса распоряжаться

дворней и лошадьми, приглашают в чужой дом собственных гостей. Довершают этот разброд и шатание сами братья Кудышевы. Они не только не желают помогать матери в хозяйственных делах, но, ложно понимая — как свою вину — собственное дворянское происхождение, зачисляя себя в лагерь «эксплуаторов», готовы искупить свои «прегрешения» перед народом, «освободившись» от принадлежащей им земли, распродав ее за бесценок.

Важным представляется и то, что все сюжетные перипетии «Отчего дома» сосредоточены вокруг фигуры трех братьев. Для Чирикова всегда очень значима была народная сказочная традиция. В русских же сказках центральными действующими лицами чаще всего становятся именно три брата, которые своим выбором указывают на символический образ распутья — трех дорог, каждая из которых может привести героев к гибели или, наоборот, к счастью и богатству. Кроме того, образы трех братьев позволяют обнаружить в «Отчем доме» параллели с другими «аналогичными» произведениями русской литературы. Например, в «Братьях Карамазовых»

Ф. М. Достоевского, в «То, чего не было» (1912)
В. Ропшина (Б. Савинкова), «Сатане» (1914)
Г. И. Чулкова судьбы трех братьев также символизируют идейные несогласия и психологическое смятение в русском обществе.

В романе Достоевского показана история распада одной семьи и гибель ее главы. Писатель ставит вопрос о провокации и идейном убийстве. В конце концов «реальный» убийца отца (так решил суд присяжных), Дмитрий оправдывается в глазах автора, тогда как настоящим преступником, по мысли Достоевского, оказывается Иван, изгнавший из своей души Бога. С ним перекликается сюжет чулковского романа, где двое старших братьев стремятся заполучить отцовские миллионы, устранив не только его, но и главного наследника — младшего брата. Обрисованный конфликт воспринимается как предельно злободневный, поскольку писатель, затронув нерв националистических страстей, показывает, как, прикрываясь лозунгами защитников устоев и сторонников национального единства, представители «правого крыла» не чуждаются ни шантажа, ни подкупа, ни доноса,

ни даже убийства. Да и противостоящий им либеральный лагерь обнаруживает свою слабость: его деятели, вынашивающие несбыточные планы, способны лишь на пышные фразы, но абсолютно недееспособны. А роман В. Ропшина, повествующий о судьбе братьев Болотовых, связавших свои жизни с террористическими организациями, подводит читателя к мысли о преступности «права на кровь», пролитую даже во имя справедливости. И гибель всех троих воспринимается как закономерное наказание, которое они понесли за свои злодеяния.

Отзвуки подобных идейно-политических баталий мы найдем и в романе Чирикова, который, в своем роде, подвел черту под кровавыми игрищами, сопровождающими обычно все затеваемые в России общественные изменения. Писатель обнаружил несостоятельность избранных его героями путей. Начав энергичными борцами на свободу и справедливость, в итоге все они терпят крах и оставляют активную деятельность. Павел Николаевич, вкусив «социалистической премудрости» и, в конце концов, протрезвев от «уто-

пий», за которые пострадал (год провел в тюрьме), с головой погружается в политические интриги. Эрзацем его «разумной» деятельности становятся так называемые «буржуазные пироги» — торжественные собрания и заседания либерально настроенных обывателей, сопровождаемые бесконечными застольями. Нервный и рефлектирующий Дмитрий оказывается расхожим материалом, используемым деятелем охраны и «революционером» Азефом для своих нужд: он мешал своей совестью «суровым» бойцам, и его просто-напросто подтолкнули к гибели. Стремление устроить справедливую жизнь по заветам христианского социализма, которое пытался воплотить в жизнь Григорий, также ни к чему не приводит. Более того, когда сторает его хутор и родственникам Григория начинает казаться, что он сошел с ума, младший из братьев словно бы подтверждает их мнение: отказавшись от всех прав на наследство, он отправляется на Афон. И только открытость финала — судьба сына Дмитрия, рожденного в ссылке от якутки и привезенного в дом Кудышевых, — заставляет заподо-

зреть, что история России, как кажется Чирикову, могла сложиться и иначе. И не обязательно по образцу блоковского «Возмездия», где решающую роль должен был сыграть ребенок, родившийся от простой матери и мстящий всему «демоническому» наследию русской интеллигенции. По мысли Чирикова, у России был выбор — но она презрела его, сделав это тем более легко, что на страже стоял Антихрист и Великий провокатор, наметивший грандиозный план обмана русского народа. Неслучайно семейная хроника завершается крайне нетрадиционно — не рассказом о будущем семейства, а двумя речами — либеральной (Павла Николаевича) и революционной (Ленина). И сопоставление выдвинутых обоими ораторами программ призвано доказать: Россия была зажата в клещи «реальными политиками» всех мастей. Демагогия и посулы взяли верх над осмотрительностью и недоверчивостью русского мужика, который оказался втянут в бессмысленную борьбу за землю, окончившуюся кровавым кошмаром.

В «Отчем доме» Чириков заявил о себе и как наследник идеологических романов Тур-

генева. Само заглавие — «Отчий дом» — сразу же отсылает нас к образу «дворянского гнезда». «Гнездо» — символ семьи, родительского дома, где не прерывается связь поколений, но уже Тургенев предчувствовал разрыв этой связи, разрушение структурообразующих «клеток» дворянского сословия. Причина этого виделась ему в оторванности дворянства от народных «корней», которая проявилась, с одной стороны, в образе «барства дикого», а с другой — в буквально раболепном преклонении перед Западной Европой. Той же культурной пропастью Чириков объясняет существующее непонимание между народом и интеллигенцией, либеральные и революционные теории которой об устройении рая на земле в силу своей умозрительности оказались глубоко чужды чаяниям русского человека, покоящимся на инстинктивном восприятии действительности. Жизнь обитателей барского дома воспринимается никудышевскими крестьянами как непрекращающийся праздник. И если «Павла Николаевича мужики <...> видят занятым по хозяйственным делам», в то время как старая барыня «кипятится да ру-

гается», то все остальные только и делают, что «поют, пляшут, играют в игры разные, книжки читают, пьют да едят...». Поэтому все попытки Кудышевых и их гостей «опроститься» и влиться в крестьянскую жизнь воспринимаются мужиками как «барское баловство от безделья».

В еще большей степени бездна, разделяющая господ и крестьян, обнажается в сцене суда, которая заставляет вспомнить «Воскресение» Л. Н. Толстого. Мужики и бабы, разгромившие во время эпидемии холеры барак для больных и убившие студента-медика, из-за многочисленных формальных проволочек предстают перед правосудием только спустя три года после случившегося. И процесс с самого начала превращается в фарс и спектакль как для тех, кто вершит судейство, так и тех, кто за этим наблюдает. Присутствие в зале суда воспринимается господами только как возможность приятно провести время, встретившись и пообщавшись со старыми знакомыми, как бесплатное развлечение, поскольку непонимание крестьянами происходящего, их нелепое поведение и ответы нев-

попад возбуждают у публики лишь смех. У подсудимых же необычная обстановка вызывает испуг и любопытство, но никак не раскаяние, хотя, объясняя свои действия, они и плачут, и просят о снисхождении. Защищать крестьян вызываются представители самой передовой интеллигенции, в числе которых оказывается и Павел Николаевич. Но, как замечает писатель, им движет отнюдь не любовь к народу и к никудашевцам. Кудышева и прочих народных защитников в первую очередь привлекает возможность покрасоваться на трибуне, произнести обличительную речь в адрес ненавистного им правительства и самодержавной власти. И несмотря на резонанс, который дело получило в провинциальном обществе, приговор в конце этого судилища произносится уже при пустом зале — публика не пришла, это было уже не так интересно.

В этом эпизоде Чириков гневно разоблачил малодушие, лицемерие и слабость либералов, которые только создают видимость заботы о народе, но в действительности абсолютно инертны и бездеятельны и не понима-

ют, чем в будущем грозят им «страшный бабий рев и стон», раздавшиеся при чтении приговора. И здесь, как это ни покажется странным, писатель солидарен с большевиками, которые тоже клеймили либеральное пустословие. Но ими критика велась совсем с других позиций: они жаждали революции. Чириков же хотел сплочения всех честных людей в заботе о народной судьбе.

Спор теряющего свои позиции народничества, переродившегося в эсеровскую идеологию, и набирающего все большую популярность марксизма занимает одно из центральных мест в романе. Кульминацией его становится доклад приехавшей из-за границы «товарища Крупской», в котором средства борьбы эсеров объявляются вредными, а сами они оказываются заклеены именем «буржуазных мещанчиков», живущих мечтами о «национальном курятнике», — в противовес большевикам, будто бы думающим исключительно о всеобщем благе, а на деле о социальной революции в планетарном масштабе. Вводя реплики оппонентов этой точки зрения, Чириков разоблачает авантюристиче-

ские построения новоявленных радетелей социализма, которые совершенно не соотносят своих целей со способами их достижения и готовы пролить реки крови, лишь бы оказаться вождями и пророками будущей революции. Писатель фиксирует внимание на несопоставимости «единичных» террористических актов и масштабности революционных преобразований, для осуществления которых потребуются многочисленные жертвы.

Четкость и определенность авторской позиции в данном случае свидетельствует, что автор прошел долгий путь самоопределения. Как уже упоминалось, в повести «Инвалиды» Чириков в конце 1890-х гг. еще колебался, не зная, к какому стану примкнуть — к народникам или марксистам. Тогда в уста марксиста Игнатовича он вложил резкую, но справедливую критику народничества, за что и был «изгнан» из народнического журнала «Русское богатство», и обвинен в лакействе перед «новыми господами», к которым будто бы поступил на службу (имелось в виду, что Чириков начал печататься в журнале марксистов «Новое слово»). Однако в написанной спустя два

года повести «Чужестранцы» он скорректировал свою позицию, показав, как уже марксисты терпят поражение, пытаясь приспособить западную теорию к «местным условиям». Исходя из этого, можно сделать вывод, что, видя непрактичность, идеализм, порой даже некоторую зашоренность народников, их отказ признать неотвратимо наступающие изменения, Чириков уже тогда сумел выявить ряд отталкивающих черт у представителей марксистской идеологии. Он нарисовал их как людей самоуверенных, надменных, а порой и просто агрессивно настроенных по отношению к инакомыслящим. В этом произведении уже нельзя было обнаружить ни «нарочитого осмеяния народничества», ни «прославления марксизма»[11]. Подобное же «равновесие» обнаруживается и в «Отчем доме».

Когда-то Тургенев признавался, что в своем романе «выпорол отцов», хотя стремился «высечь детей». Однако читатель из его романа делал вывод, что и для тех, и для других мужик был некоей абстракцией. Чириков же однозначно «выпорол» всех. Он постоянно акцентирует внимание читателя на том, что и

«отцы», и «дети», ведя принципиальные споры о том, как добиться наконец крестьянского благополучия, не замечают «живых» Ивана, Никиту, Марью или Дарью, относятся к ним как к некоей «алгебраической, отвлеченной величине», которой привыкли «без всяких церемоний» распоряжаться. Как и Достоевский, в свое время указавший, что «теоретическое», отвлеченное служение человечеству почти всегда оборачивается его духовным и физическим уничтожением, автор «Отчего дома» предостерегает от «холодного», рассудочного теоретизирования, свойственного всем российским мыслителям от политики.

Благие идеи, когда ими начинают пользоваться мошенники и аморальные люди, вроде Петра Верховенского, Лямшина, Шигалева и других подобных им героев «Бесов», неизбежно приводят к уравниванию понятий добра и зла, после чего и убийство может трактоваться как благородный поступок, а его исполнитель в глазах общества — становится героем. Такие герои-бесы появляются и в романе Чирикова.

Да не просто «бесы». Антихристом, соблазняющим души, предстает в глазах писателя Ленин. Это связано с выношенной исторической концепцией художника, которую можно не разделять, но которой нельзя отказать в продуманности и обоснованности. Хотя для целостности ее Чирикову даже пришлось прибегнуть к историческим натяжкам и хронологическим «подтасовкам». Так, чтобы доказать «причастность» и близость Ленина к народовольческой идеологии, он соединяет Владимира и Александра Ульяновых в Петербурге во время подготовки покушения на Александра III, в то время как младший Ульянов в этот период всего лишь заканчивал обучение в гимназии и даже не был особенно увлечен политикой. Или — чтобы утвердить холодную расчетливость Ленина и его равнодушие к народным нуждам, «отправляет» его на Капри гораздо ранее, чем он там оказался, и объясняет это бегством желанием и отдохнуть от революционных баталий. Наконец, предельным выражением гордыни Ульянова служит домысленное Чириковым приписывание им себе статуса столбового дворянина,

коим он не обладал. Указание на дьявольскую заносчивость Ильича Чириков вложил в уста одного из персонажей романа: «Это не марксист, а Герострат какой-то, вознамерившийся взорвать не один храм Дианы, а все храмы на земле вообще». Ленин, по Чирикову, «искушаем революцией», в которой видит себя вершителем судеб миллионов. И желая как можно скорее ее приблизить, он провоцирует недовольство низов всеми возможными способами, соблазняя, обманывая и предавая своих последователей.

«Апокалиптическая» интерпретация образа «вождя мирового пролетариата» имеет, помимо исторических, несомненно, и личные причины. Хотя знакомство Чирикова с Володей Ульяновым было во многом случайным и недолгим (оба участвовали в студенческих волнениях 1887 г., а впоследствии были исключены из университета и высланы из Казани), именно Ленин косвенно вынудил писателя эмигрировать. Дело в том, что после Октябрьского переворота Чириков принял сторону противников большевиков, активно выступал в печати и на собраниях с критикой

их политики. И семейное предание гласит (показательно, кстати, что сам писатель не «озвучил» этот факт в своих мемуарах), что после одного из выступлений Ленин через родственника Чирикова передал ему записку: «Евгений Николаевич, уезжайте. Уважаю Ваш талант, но Вы мне мешаете. Я вынужден Вас арестовать, если Вы не уедете»[12]. В свете последовавших на родине писателя репрессий этот поступок вождя нового государства можно расценить как проявление своего рода благородства. Но Чириков, трагически переживавший разрыв с родиной, благодарности, конечно, испытывать не мог.

Однако в некоторых случаях фактологические «ошибки», связанные с линией Ульянова — Ленина, возможно, делаются не для устраивания исторической концепции, а для достижения большего художественного эффекта. Например, после известия о казни Александра Ульянова Анна Михайловна Кудышева решает навестить его семью. Ее пугает поведение и вид отца — Ильи Николаевича, который, как ей кажется, от горя сошел с ума. Но к моменту казни сына его уже не бы-

ло в живых, и вряд ли Чириков мог об этом не знать.

Что же касается других расхождений с документальной основой, то некоторые неточности могут быть объяснены ошибками памяти автора. Так, например, Чириков «заставил» посещать дом Кудышевых поэта Дмитрия Садовникова тогда, когда его жизненный путь уже был окончен. Но и здесь можно предположить, что Чирикову-художнику важно было создать емкое представление о круге умственных и духовных интересов провинциальной интеллигенции, для чего он и призвал на помощь известного поэта. Приблизительно так поступил в свое время И. А. Бунин, «собрав» в «Чистом понедельник» на одном временном отрезке и танцующего Андрея Белого, и капустники «художественников», и дебаты вокруг только что появившегося брюсовского «Огненного ангела», и увлечение архимодным Пшибышевским. Все это должно было усилить ощущение приближающейся катастрофы на фоне непрекращающегося бездумного веселья.

Вводя в круг персонажей реальные исто-

рические фигуры марксистского лагеря (Крупскую, Бонч-Бруевича, получившего в тексте говорящую фамилию Вронч-Вруевич, М. Горького), а также лиц из числа царедворцев — Победоносцева, Плеве, Витте и др., Чириков ориентировался на жанр исторического романа. Однако при этом он позволил себе довольно-таки вольно обращаться с историческими фигурами, имеющими прототипы. Например, когда он не хотел откровенно обнаружить свое отношение к тому или иному историческому персонажу, то мог изменить его фамилию с тем, чтобы читатель сам сделал соответствующие выводы или, по крайней мере, остался в неведении относительно некоторых фактов, которые могли бы опорочить в его глазах значимую для автора фигуру. Так, например, произошло со статистиком П. Н. Скворцовым, который получил в романе фамилию Скворешников. Чирикову импонирует, что он являлся принципиальным оппонентом Ленина, буквально не оставившим камня на камне от экономической теории, изложенной тем в работе «Развитие капитализма в России», но сам-то Скворцов был рьяным

сторонником марксистских воззрений, что не может не смущать писателя и обуславливает замену фамилии. Относительно «разоблачающей» фамилии Вронч-Вруевич можно высказать следующее предположение: неприятие этого исторического деятеля, очевидно, было продиктовано расхождением его с Чириковым во взглядах на сектантство, в котором писатель в первую очередь ценил инстинктивное противодействие творящимся в России произволу и несправедливости, а Бонч-Бруевич «расправился» с сектантством по-марксистски, преувеличивая имеющиеся в нем в зачаточном состоянии революционные начала.

Несомненно, Чириков осмыслил традиции исторического романа Серебряного века, усвоил опыт Мережковского, Белого, Брюсова и предложил собственное прочтение событий рубежа XIX–XX вв. Поэтому для него по мере нарастания катастрофического восприятия истории становится все более важен библейский контекст. Накануне Октябрьской революции в легенде «Девьи горы» прозвучало его грозное предостережение: явится в погряз-

ший в пороках, безбожный и обреченный мир Антихрист, приняв образ праведника, и красавица будет носить во чреве сатанинское дитя. Образы Апокалипсиса стали формировать мифологическую основу его последних романов, особенно ощутимую в «Звере из бездны» и «Отчем доме».

Немалую роль в формировании историсофских представлений художника также сыграли «переворот», который он пережил после событий 1905 г., и усвоение религиозных взглядов Толстого, которые со временем стали Чирикову особенно близки. «Резонанс» толстовских идей в творчестве писателя, вероятнее всего, был обусловлен определенным сходством их мировоззренческих установок, определившихся после преодоления каждым из них духовного кризиса, который высветил бессмыслицу всей их прежней жизни. Хотя Толстой, как известно, по-своему толковал смысл христианского вероучения и стремился очистить его от внешней догматики и церковной ритуальности, что для Чирикова было совершенно неприемлемо, тем не менее устремленность к религиозному миропони-

манию определила во многом становление новой творческой манеры обоих художников. Толстой в поздних текстах использует «прямое» высказывание, пренебрегает достоверностью и психологичностью мотивировок, приходит к тотальной критике всех государственных и церковных институтов и обличению нравов современного общества. И Чириков, в произведениях 1910-х гг., казалось бы, навсегда простившийся с прежде столь характерной для него остро социальной проблематикой и сосредоточившийся на раскрытии «души человеческой <...>, красоты и чудес творения Божьего»[13], в конце творческого пути приходит к осознанию неразрывности человеческого и социального, рисует обусловленность поступков человека историческими обстоятельствами, с одной стороны, и видит его вершителем мировой истории — с другой. Но, главное, также предпочитает говорить прямо, без обиняков.

Одним из самых спорных пунктов толстовского учения всегда была мысль о «непротивлении злу насилием», которую большинство современников писателя воспринимали как

проповедь бездействия и пассивного соглашательства с политикой самодержавия. Поначалу не избежал такого понимания и Чириков. В январе 1905 г. он даже отправил Толстому возмущенное письмо с критикой его рассуждений по поводу трагических событий «Кровавого воскресения». Тогда Чириков писал: «На варварское избиение безоружных рабочих, шедших к своему царю с крестами и хоругвями, чтобы заявить о своих нуждах, — Вы нашли нужным снова сказать „не противьтесь“ и высказали свою уверенность, что никакой свободы рабочим не надо, а следует заниматься самоусовершенствованием... Добрый барин! „Самоусовершенствоваться“ очень удобно в Ясных Полянах, с громким именем Льва Толстого, которого „не трогают“ даже в тех случаях, когда обыкновенных людей вешают и гноят в тюрьмах»[14]. Однако в эмиграции художник изменил свое отношение к этому постулату толстовского учения и, пройдя сквозь ужасы Гражданской войны (а до этого и Первой мировой), воспринял толстовскую веру в спасительность «непротивления», сделав, однако, акцент именно на отри-

цании насилия как такового.

Убийство как одно из тягчайших преступлений «каиновой печатью» ложится на души героев его произведений — белогвардейца Владимира Паромова из «Зверя из бездны» и полковника Сосновского из «Мстителей» (1921). Спасаясь от погони, первый убивает преследующего его красноармейца. И всю оставшуюся жизнь не может забыть устремленный на него глаз убитого, в котором читается немой вопрос: «За что меня, уже бессильного и безвредного, ты убил?»[15] А неизбежные муки совести «молчаливого полковника», казалось бы, совершившего справедливое возмездие и покаравшего насильников сестры, прорываются в неуместной исповеди, которую он выплескивает на ничего не подозревающих, собравшихся весело отпраздновать Рождество людей, исповеди, в которой он ищет себе оправдания и не может его найти. И то, как отшатываются от него обитатели эмигрантской колонии, говорит о том, что этим убийством он отрезал себя от живых... Библейский постулат «Мне отмщение, и Аз воздам» оказывается действенным: мщение

не может быть вменено в обязанность человеку, кто прав, кто виноват — решает Бог.

Но любая война пробуждает в человеческой психике такие инстинкты, которые заставляют забывать об этой истине. Чириков показывает, что безнаказанность пьянит даже самых благородных людей настолько, что идеи, во имя которых они брались за оружие, оказываются уже не важны. И здесь писатель расходится с Толстым, все же допуская, что в освободительной войне человек руководствуется «скрытой теплотой патриотизма». Чириков обнаруживает несостоятельность толстовской идеи «отойди от зла и сотворишь благо», обнажая обстоятельства, которые не позволяют «отойти» от кровопролития. Ведь, как замечает один из персонажей «Зверя из бездны», «сунут в руки винтовку, а сзади пулемет поставят: иди, убивай! <...> а ты научи, как отойти!»[16]. И в «Отчем доме» писатель, вернувшись на полтора десятилетия назад, показал рубеж, перед которым еще можно было остановиться. Этим романом он как бы говорил: «Вот если бы тогда мы опомнились...»

Как видим, художник напряженно думал о том, как спасти человечество от необходимости убийства себе подобных, и приходил к выводу, что изгнать зверя из души может только любовь к ближнему. Тем самым, Чириков, приняв толстовский тезис — «Царство Божие внутри нас», — стремился доказать, что возможность людского единения и нравственного перерождения человека существует. Но трагедия героев «Отчего дома» заключается как раз в том, что они потеряли способность любить, утратили то, что еще изредка, в виде исключения, возникает. О такой спасительной утопии любви рассказал писатель в произведении, название которого приковывает к себе внимание, — «Мой роман» (1926). Это одновременно и определение жанра, данное автором, и рассказ о любовном переживании, переданном в нем, и указание на почти несбыточность, «романность» того, что описывается. Прообразом будущего единения людей здесь оказывается духовный союз беженцев Ивана Петровича и Вероники. На фоне тотального обесценивания и разрушения традиционных семейных отношений во вре-

мя Гражданской войны их «фиктивная семья» оказывается единственным, основанным на целомудрии и братско-сестринской любви, островком доверия и душевного тепла. Пережитые страдания и необходимость жить под одной крышей сплачивают героев «какой-то новой близостью», в результате которой их вынужденное «сожитительство» превращается, по словам Ивана Петровича, «как бы в настоящее, в подлинный брак и <...> семью»[17]. Однако и этому союзу не суждено долго просуществовать, поскольку недоверие, ревность и подозрительность разъедают его изнутри и в итоге приводят к трагическому финалу. А анализ истоков этих разрушительных тенденций Чириков опять-таки дал в «Отчем доме».

Хотя о Чирикове-психологе говорится всегда как-то вскользь, уклончиво, нельзя отрицать важность для него толстовской традиции исследования внутреннего мира, знаменитой «диалектики души». Для Чирикова, как и Толстого, искренность является главным индикатором нравственной сути человека, мерилем всех его поступков. Писатель не

приемлет лицемерия, фальши, позерства и разоблачает носителей этих качеств, по-толстовски «срывая» с них маски. Так, либерал и бывший народник Павел Николаевич Кудышев поддерживает «приятные отношения» с представителями духовной власти и консервативного дворянства, что время от времени провоцирует в его адрес в стане друзей и соратников обвинения в «отступничестве и ренегатстве». Но Кудышев всегда находит повод для самооправдания, поскольку, по его словам, умение лавировать и искусно скрывать свои подлинные мысли и чувства требует от него сама действительность, на каждом шагу ставящая палки в колеса всем его полезным начинаниям. Под стать ему и Ленин, который ради достижения своих целей легко меняет привязанности, «тасует» людей вокруг себя и в зависимости от сиюминутного политического расклада без сожаления отворачивается и предаёт друзей. Ярким примером несоответствия внешнего и внутреннего может служить образ жены Григория, Ларисы. Несмотря на усердные молитвы, соблюдение постов и кажущуюся благочестивость (наизусть зна-

ет все Евангелие), она распалается внутренним греховным огнем и вносит в кудышевское семейство полный разлад. Веря в свою «близость к небесам и тайно пребывающему в ней Духу Святому», Лариса тоже оказывается заражена «вождизмом», пользуется дарованной ей «святостью» главным образом для того, чтобы прибрать к рукам Никудышевку и ее обитателей. В этом образе кроется ключ к постижению замысла Чирикова, который раскрыл всю опасность творимого в те годы обмана, когда ложь, притворство и бесовская хитрость выдавали себя за святость помыслов о народе и беспокойство о его благе.

Однако отношение Чирикова к народу отнюдь не однозначно благостно. Писатель словно бы намеренно «собрал» примеры его дикости и неразвитости и щедро рассыпал их по тексту романа. В этом вопросе он значительно расходится с Толстым. Если Толстой считал, что только живущий по патриархальным заветам крестьянин обладает единственно верным взглядом на общественное устройство, то Чириков, показывая моральное разложение верхов, отметил, что им оказалось

захвачено и крестьянство, утратившее традиционные жизненные ориентиры. Но произошло это, по мысли художника, потому, что мужик, с одной стороны, оказался одурманен большевиками, а с другой — «обольщен» и сбит с толку самой интеллигенцией.

Поставил этот диагноз он еще раньше, когда в 1924 г. предпослал публикации своей пьесы «Красота Ненаглядная» предисловие, в котором взял под защиту русский народ. «Бурные революционные эпохи, — рассуждал писатель, — не вскрывают подлинного характера и души народа. Это периоды ненормальной нервной и психической возбужденности, особого „революционного психоза“»[18]. И видя преступления, совершаемые в этом состоянии, надо помнить, что «обстоятельствами почти всей своей истории народ наш до того был предан разврату и до того был развращаем, соблазняем и постоянно мучим»[19], что еще удивительно, что он сумел сохранить хоть какой-то человеческий облик. Чириков всегда, а особенно остро в эмиграции, жаждал дать изображение национальной души, «вечно ищущей, беспокойной, жаждущей и алчу-

щей неземной Красоты и правды Божией, то уходящей в религиозный аскетизм, то рвущей его оковы и жадно бросающейся от далеких небес в земные бездны, то святой, то одержимой бесом, то преступной, то кающейся и вновь устремляющейся к Богу...»[20] Писатель прозревал идеал, но не находил его в реальной жизни.

В «Отчем доме» автор предвосхитил трактовку событий первых двух десятилетий XX в., получающую все большее распространение в сегодняшней исторической науке. Многие историки сходятся во мнении, что революции (и 1905-го, и 1917 г.) в России стали возможны потому, что существовала нескончаемая борьба элит за власть. Именно они привели страну к политическому и хозяйственному кризису, а «стихийность» революционного движения на самом деле тщательно планировалась и подготавливалась.

Вызреванию подобного убеждения способствовало в определенной степени восприятие Чириковым морализаторской интонации, свойственной позднему Толстому. Она же определила и публицистический накал

«Отчего дома». Но это не «страницы популярной публицистики»[21], повторяющие «общие места о течениях общественной мысли в 80-х годах»[22]. Публицистические вставки являются необходимым элементом структуры произведения, в них проявилась страсть, гнев, боль, отчаяние писателя. Они напоминают философские отступления Толстого в «Войне и мире».

Принципиальность и резкость его слов, трагический образ России, который вставал со страниц этого произведения, вызвали отторжение в эмигрантской среде, практически проигнорировавшей роман писателя: в 1929 г. появились всего лишь три небольшие газетные заметки[23]. Чириков глубоко переживал «отсутствие серьезного внимания» к своему произведению. В одном из писем к дочери, намекая на травлю в печати, которой он подвергся[24] после выхода в свет на русском языке романа «Зверь из бездны», заметил: «Впрочем, никакой критики в эмигрантской литературе сейчас нет, а больше партийное кумовство»[25].

Еще в юности отдавший дань увлечению

Гоголем-сатириком, Чириков вновь, на новом витке, вернулся к этому писателю, нарисовав постепенное омертвление души России, круговерть мелких и продажных людей, взыскующих не Града Невидимого, а земной славы, не дорожащих прошлым и насмехающихся над будущим. И если даже в дорогих его сердцу искателях Божьей правды — сектантах — он увидел искажение религиозной идеи (хлыстовка Лариса оказывается едва ли не скареднее и беспощаднее остальных, далеко не идеальных персонажей), то это означало, что та Русь, которую Чириков запечатлел в сказке-мистерии «Красота Ненаглядная», оставалась только в его воображении.

Но стоит прислушаться к словам И. Ф. Анненского, высказанным им в статье о пьесе «На дне». Он писал, что поиски положительного героя Горьким не увенчались успехом, зато, читая его произведения, «думаешь не о действительности и прошлом, а об этике и будущем», и что за его героями, как и за героями Достоевского, можно почувствовать «нечто новое, что выше и значительнее их» [26]. Можно сказать, что и за героями Чирико-

ва в первую очередь чувствуешь «душевную тревогу», вершащую «суровый и скорбный суд» над прошлым, «от которого родился в настоящем такой ужас», как оскудение Отчего дома, одиночество на чужбине ее сынов и дочерей. Чириков в итоге нарисовал исчезающую, растворяющуюся, уходящую в небытие, но все время напоминающую о себе, словно град Китеж, Россию.

Анненский в уже цитированной статье назвал Горького «самым резко выраженным русским символистом»[27]. Вряд ли кто осмелится заподозрить в символизме Чирикова. Но если вспомнить, что он считал Чехова писателем, который «не дал нам всей правды своего времени», но зато «дал правду художественную, то есть условную, символическую», то такая правда присутствует и в его романе и делает его и бесценным документом эпохи, и емким художественным свидетельством произошедшего.

Путь современного читателя к «Отчему дому» Чирикова оказался чрезвычайно долог. Но благодаря помощи потомков писателя — Валентины Георгиевны и Михаила Алексан-

дровича Чириковых — эта книга все же смогла появиться. Мы также выражаем глубокую признательность генеральному директору ООО «Компания „Дальвест“» Павлу Александровичу Синяткину за помощь в работе над книгой. При подготовке комментариев мы использовали материалы, предоставленные Евгением Евгеньевичем Чириковым, за что приносим ему благодарность.

Мария Михайлова, Анастасия Назарова

Отчий дом[28]

Семейная хроника

«...Сказал им: может ли слепой водить слепого? Не оба ли упадут в яму?»

Еванг. от Луки, гл. 6, ст. 39

Книга первая

I

Никудышевка. Так называлось одно из старых дворянских гнезд в Симбирской губернии...

Владельцы имения — господа Кудышевы, а их имение — *Никудышевка*.

В начале 80-х годов — время, с которого мы поведем нашу повесть, — Кудышевы вдруг обиделись и переименовали свое имение в «Отрадное», но переименование не привилось: хотя на казенном языке имение стали писать — «Отрадное, Никудышевка тож», но все окрестные жители настойчиво продолжали называть имение Никудышевкой. Жители так привыкли к этому названию, что никому

уже, кроме самих владельцев, название это не казалось ни смешным, ни обидным. Никудышевка так Некудышевка!..

Конечно, всякому новому человеку, заезжему из чужих краев, когда он впервые слышал это название, с непривычки делалось смешно, и он мысленно спрашивал себя: какой тайный смысл кроется в этом странном названии, так обидно исковеркавшем подлинную фамилию родовитого дворянского рода?

При желании любознательный человек мог бы докопаться и до этой исторической тайны. Оказывается, что не всегда имение это называлось Никудышевкой. По объяснениям самих владельцев, в стародавние времена все было честь честью: имение носило имя «господ» и называлось, как оно и следовало по старым дворянским традициям, «Кудышевом»... Никакой Никудышевки не было, а было село Кудышево. Потом это село сторело дотла, а крепостные были расселены по другим деревням богатых помещиков. При освобождении крестьян часть мужиков-мечтателей не пожелала платить выкупных платежей за

землю и села на маленькие дарственные наделы, твердо надеясь, что вся барская земля вскорости отойдет к народу без всяких выплат. Поблизости от уцелевшей от пожара барской усадьбы образовались выселки дарственников. Так как мужицкая мечтательность не оправдалась, а дарственные наделы были столь малы, что, по меткому выражению толстовского мужика[29], не только скотину, а даже куренка некуда было выпустить, то, по свойственной привычке к юмору, выселенцы и прозвали свою деревеньку «*Никудышевкой*». Потом и самое имение превратили из Кудышева в Никудышевку, а владельцев окрестили «*никудышенскими господами*»...

Если вы спросите местного мужика: почему — Никудышевка? — он вам ответит, ухмыльнувшись в бороду:

— Господа никудышные... Ну, стало быть, и вышла Никудышевка!

Мужик оглядится по сторонам, почешет в затылке и пояснит:

— Плохого ничего про нонешних не скажешь, а только все они выдумщики, никудышные, стало быть.

Слово «никудышный» в этих местах довольно употребительное. В нем кроется не только насмешка, чаще — соболезнавание. Никудышными здесь называют инвалидов, физических уродов, душевнобольных, дурачков и блаженненьких...

Когда-то Кудышево представляло собою нечто вроде удельной вотчины, где проживал впавший в опалу вельможа Екатерининских времен, князь Кудышев, приходившийся сродни одному из придворных фаворитов. Удалившись на покой, он в пику своим врагам решил соорудить себе свой собственный «Петергофский[30] дворец» и престол с собственными придворными и холопами. Развел прекрасный парк, выкопал целую систему прудов, настроил разных бельведеров[31], беседок, мостиков, гротов, населил парк греческими и римскими богинями и нимфами; завел свой театр, оркестр, балет. Говорят, что был он большой развратник и сам сочинял балеты, заимствуя сюжеты из наиболее скабрёзных метаморфоз Овидия[32]. И погиб он будто бы жертвою этого специального искусства: дерзнул на великое кощунство — начал

переделывать на балеты Библию, вздумал разыграть райское грехопадение, в котором изображал Адама. В момент грехопадения и скончался на подмостках театра от разрыва сердца. Крепостную девку, исполнявшую роль Евы, заподозрили в отравлении барина и загоняли судебной волокитой: утопилась в «пруду с лебедями». Один из прудов в Никудышевке еще в 80-х годах назывался «Алёнкиным прудом», и среди крестьян шла молва, что каждый год в ночь под Иванов день на кочке середь пруда видят голую девку: сидит и расчесывает гребнем свои длинные волосы...

«Преданья старины глубокой»! [33] К началу 80-х годов прошлого столетия в имении сохранились от вельможных затей лишь смутные воспоминания в виде позеленевших развалин, въевшихся в землю каменных плит и фундаментов, заросших камышом и осокою, населенных лягушками прудов, провалившихся ям, источенных временем обломков статуй... От бывшего дворца уцелело лишь одно крыло, послужившее потом основанием к возведению нового барского дома, дважды горевшего и возобновлявшегося все в более и

более скромных размерах. Огромная вотчина давно распалась, растаяла и продолжала таять, особенно после падения крепостного права. Кудышево превратилось в Никудышевку, а бывший «Петергофский дворец» — в дворянскую усадьбу с «прошлым», все еще интересную для любителей археологии и лирических поэтов, любящих воскрешать все умирающее в печальных стихах своих. Да и самый род князей Кудышевых давно уже потерял свое княжеское достоинство, и прежнее родовитое дворянское гнездо губернские власти с конца 70-х годов прошлого столетия уже начали в тайных разговорах своих называть не иначе, как «гнездом крамолы и революции»...

II

К началу 80-х годов единственным осколком от давно минувших времен, запечатлевшим в себе как бы частицу далекого прошлого князей Кудышевых, была в Никудышевке «старая барыня», Анна Михайловна Кудышева, продолжавшая пользоваться неизменным уважением как местных властей, светских и духовных, так и всего столбового дворянства губернии. Эта старуха, напоминавшая своей

импозантной фигурой императрицу Екатерину[34], казалось, не хотела делать никаких уступок духу времени, ни внешних, ни внутренних, а как бы даже бросала вызов современности: она и теперь еще нередко называла своего старшего сына, Павла Николаевича, «князем», а в разговоре с дворней — всегда — «Его сиятельством». Сколько ни воевал с нею этот когда-то крамольник, а теперь только либеральный, или, как тогда называли, «передовой земец», с раздражением откидывая не принадлежащее ему более звание князя, старуха не покорялась...

Рассказывают, что однажды мать назвала его «князем» в присутствии гостей, людей по преимуществу тоже либеральных, передовых. Сын покраснел и почувствовал себя так, словно его публично обругали неприличным словом. Чтобы замять и поправить нетактичность старухи, Павел Николаевич рассказал смешную историю про императора Павла. (Надо сказать, что он любил за рюмкой водки с приятелями отводить душу юмористическими рассказами из жизни высокопоставленных лиц, не делая исключений даже для им-

ператоров и императриц и лишь из деликатности именуя их полным титулом: «Государь император» или «Государыня императрица». О губернаторах и говорить нечего: слушая Павла Николаевича, можно было подумать, что среди последних у нас были только или дураки, или мошенники.) Так вот, желая исправить социальную нетактичность своей матушки, Павел Николаевич и рассказал, под водочку и закусочку, такую смешную историю: действительно, когда-то они, Кудышевы, были князьями, но при императоре Павле звание это утратили, и вот по какому поводу. Один из предков его, начитавшийся вольнодумных французских философов, начал добавлять к своей подписи на бумагах слово «гражданин» — гражданин князь Кудышев. Невзирая на то, что император Павел указом своим воспретил своим подданным употреблять в письме и разговоре это вольнодумное, занесенное через «окно в Европу» слово и повелел заменить оное словом «обыватель», вольнодумный предок продолжал подписываться двухэтажным званием. Кто-то из личных недоброжелателей князя, бывших при

дворе или имевших там связи, и показал эту двухэтажную подпись государю. Тот вскипел гневом на ослушника, вычеркнул в подписи слово «князь» и начертал такую резолюцию:

Поелику звание гражданин князь Кудышев почитает превыше княжеского, то исключить его со всем родом и потомством из княжеского звания!

Выслушав эту историю, гости, как и сам Павел Николаевич, весело смеялись и над Анной Михайловной, и над императором Павлом, а один из гостей не то в шутку, не то с лукавым намерением испытать демократичность хозяина, посоветовал ему похлопотать где следует о возвращении утраченного звания. Павел Николаевич хотел было обидеться, но как раз в этот момент он приблизил уже рюмку с водкой к губам и не смог приостановиться. А когда водку проглотил, то вытер усы салфеткой и решил не обижаться, а рассказать еще одну смешную историю, и тоже по этому поводу. Оказалось, что при императоре Александре I один из предков Павла Николаевича уже делал такую попытку, но ничего не вышло: пока велась переписка,

предок умер без княжеского достоинства, а наследники не пожелали продолжать хлопоты и тратить на них деньги...

И снова весело смеялись над предком, который так хотел предстать на тот свет в княжеском достоинстве. А лукавый гость снова искусил хозяина:

— А любопытно было бы узнать, как ответили бы теперь в высших сферах на ваше ходатайство?

Тут Павел Николаевич решил уже обидеться. Во-первых, он вырос уже из этого звания и предпочитает ему «гражданина», а во-вторых, если бы даже он и вздумал продать свое гражданство за чечевичную похлебку, то из этого ничего бы не вышло:

— Моя политическая физиономия настолько определена, что княжеское звание все равно не помогло бы нам, — с гордостью ответил Павел Николаевич и напомнил о своем отце, который, хотя и беспокоил Высочайшую власть, но далеко не по таким поводам: вскоре после освобождения крестьян он, отец Павла Николаевича, примкнул к небольшой кучке просвещенных дворян своего времени и

подписал адрес к Императору-освободителю, в котором честно и открыто заявлялось, что манифест 19 февраля 1861 года не оправдал надежд народа и не уничтожил всех незаконный крепостного права. В результате этой гражданской смелости он впал в немилость, вынужден был сложить с себя звание предводителя дворянства и вообще бросить общественное служение и деятельность.

— Возмутительно! — произнес лукавый гость и продекламировал из Пушкина:

*Беда стране, где раб и льстец
Одни приближены к престолу!*[35]

А Павел Николаевич досказал про доблести отца: в пику Государю императору и помещикам он подарил своим мужикам 100 десятин земли, что вызвало острую панику среди крепостников дворян Симбирской губернии, со стороны которых в Питер полетели политические доносы на взбудоражившего мужиков помещика.

— Один бунтик мужички им таки устроили! После этого в имении отца сделали обыск и нашли переписку с Герценом...

Все гости знали об этом случае, потому что Павел Николаевич много раз рассказывал уже про эту историю, но всегда, как и теперь, кто-нибудь да спросит:

— С Искандером Герценом?

— Да, с ним.

— А сохранились у вас эти письма?

— Они пребывают в архивах III Отделения [36].

Тогда один из гостей встал и, протягивая в пространство рюмку, патетически воскликнул:

— Вот именно за эту испорченную репутацию уважаемого гражданина, Павла Николаевича Кудышева, а равно и за всех его предков, помогавших ему в этом деле, я и предлагаю, господа, выпить!

Павел Николаевич растрогался: на его глазах появились слезы. Все подходили к нему, целовали его в мокрые усы и чокались с ним, поплескивая ему на колени водкой из рюмок. Потом произносили тосты за его двух идейных братьев: «народовольца» и «толстовца», а к стати и за Анну Михайловну, «родившую трех славных, честных граждан».

— За это можно простить уважаемой Анне Михайловне все социальные заблуждения.

Анна Михайловна не приняла тоста: она заслезилась и гордо вышла из столовой, сославшись на мигрень, а смущенные гости быстро оправились и продолжали с душевным возбуждением слушать рассказы хозяйина про былые его революционные подвиги во дни студенчества. Своими рассказами он всегда пробуждал дремлющий в провинциальном благодушии революционный дух передовой интеллигенции. И теперь многие вспомнили дни своего студенчества, и каждому захотелось рассказать про какой-нибудь собственный подвиг. И вот полились воспоминания, а потом студенческая песня. Пели «Из страны, страны далекой»[37], «Быстры, как волны, дни нашей жизни»[38], «Укажи мне такую обитель, где бы русский мужик не страдал»[39]. А кончили «Дубинушкой»...

*Но то время придет, и проснется
народ,
И, встряхнув вековую кручину,
Он в родимых лесах на врага под-
берет*

Здоровее и толще дубину!

И все под врагом разумели в общем некое отвлеченное зло и неправду, в которых тонет *человечество*, а, так сказать, по домашности, министров, губернаторов, исправников, станowych, жандармов и вообще всяческое начальство, предержащими властями над ними поставленное. И, конечно, уже никак не мог рассчитывать на «дубину» ни один из присутствовавших печальников народа, особенно сам хозяин, Кудышев, когда-то во младости побывавший в тюрьмах в роли политического преступника, а теперь неустанно сеявший в качестве земца на ниве народной только «разумное, доброе, вечное»[40]. Все они считали себя вправе ждать от народа только «сердечного спасибо», ибо одни лечили, другие просвещали, третьи строили мосты и дороги, страховали от пожаров и градобитий, творили правосудие и пр., и пр.

III

Хотя окрестные мужики и бабы продолжали называть владельцев Никудышевки «*барамми*» или «*господами*», но, в сущности, бары и господа здесь кончились со смертью старого

барина, мужа Анны Михайловны. Можно сказать, что покойный Николай Николаевич Кудышев был последним баринем в Никудышевке. Помесь крепостника с вольтерьянцем [41], самодура с сентиментальным мечтателем, одинаково способного как к рыцарскому поступку, так и к варварскому своеволию, — таков был отец Павла Николаевича. В этом последнем никудышевском барине как-то ухитрялись сожителемствовать подлинный европеизм с самой подлинной азиатчиной. Мужики его боялись, но любили. За что? Если иной раз и поколотит, то, во-первых, всегда за дело, а во-вторых, непременно вознаградит и щедро. Однажды поймал в лесу порубщика и круто с ним расправился: выбил собственноручно три зуба и приказал выпороть. Потом стал мучиться угрызениями совести просвещенного помещика и, вызвавши пострадавшего мужика, просил все забыть и получить за каждый выбитый зуб по пяти рублей. В числе его благородных поступков следует поставить упомянутый уже выше подарок своим только что раскрепощенным мужикам в 100 десятин земли с лесом, за что он не толь-

ко жестоко пострадал, а, можно сказать, заплатился жизнью, совершив еще один подвиг. О последнем рассказывали так. Отставленный от предводительства, Николай Николаевич Кудышев с той поры подвергался всяческим гонениям от властей. А тут еще помог этому делу и старший сынок, Павел: будучи студентом-первокурсником, Павел снюхался с народниками-революционерами и попал в дело бунтарей, затеявших поднять народ против помещиков с помощью подложного царского манифеста — «Золотой грамоты». Хотя революционная связь Павла с бунтарями оказалась второстепенной и непосредственного участия в Чигиринском бунте[42] он не принимал, но в тюрьме все-таки посидел. Местные же жандармские власти, с которыми Николай Николаевич всегда вздорил, воспользовались случаем и произвели скандал на всю губернию: приехали в Никудышевку, перерыли все в доме, обыскали все постройки, чердаки и подвалы и нашли-таки какие-то ящички с разным хламом и с непонятными предметами, в которых заподозрили части не то типографского станка, не то литографии[43]. Все

эти предметы, а также много книг из библиотеки, бумаги и письма, найденные в кабинете и шкафах с разной рухлядью, изъяли, опечатали и увезли в Симбирск вместе с Николаем Николаевичем. Всполошилась не только вся губернская власть, все дворянство и земство, но даже радостно вздрогнули центральные полицейские учреждения. Попался наконец! Однако вся эта шумная история очень быстро лопнула, как мыльный пузырь, выдутый необузданной фантазией престарелого симбирского жандармского полковника. Хотя в бумагах и были обнаружены два письма страшного тогда Герцена, но по содержанию своему эти вещественные доказательства говорили в пользу арестованного, ибо письма Герцена были ответами на раздраженную ругань Николая Николаевича по адресу «Колокола»[44], из которых явствовало, что дворянин Кудышев совершенно отвергает всю подпольную работу Герцена. Что же касается остатков типографского станка или литографии, то все это оказалось остатками ткацких и красильно-набивных инструментов, уцелевших еще от крепостной мастерской. Хотя

все кончилось как будто бы и благополучно, а Николай Николаевич вернулся в Никудышевку со славой победителя, но торжество его было весьма кратко и закончилось трагически. Объясняясь с приехавшим к нему в имение «с извинением» жандармским полковником, Николай Николаевич так вскипел гневом гражданского достоинства, что не воздержался и ответил на какую-то неуместную шуточку полковника плюхой, после чего сам же и упал и, не придя в сознание, часа через два скончался от кровоизлияния в мозг. На похороны почившего со славой героя съехалось множество передовых людей со всей губернии, привезли много венков с вызывающими надписями на лентах, как то: «Рыцарю духа», «Мужу чести и справедливости», «Положившему душу за други своя» и т. п. Была борьба за эти надписи с прибывшими для порядка властями, было и самопожертвование со стороны публики. Молодой земский врач, недавно еще соскочивший со студенческой скамейки и продолжавший носить косоворотку и длинные волосы, произнес дерзкое надгробное слово, которое заканчивалось так:

— Твоя благородная рука поднялась и сделала соответствующий историческому моменту жест. Этим благородным жестом ты как бы крикнул всем нам перед смертью: «Довольно рабского молчания и терпения! Очнитесь и громко кричите: Мы выросли! Нам надоело быть рабами и обывателями. Мы чувствуем себя гражданами! Спасибо, честный благородный гражданин земли русской! Мы тебя услышали. Спи спокойно и *sit tibi terra levis...*»[45]

Николая Николаевича похоронили в фамильном склепе, и он спал там спокойным сном вечности, молодой же человек, земский врач, надолго утратил спокойствие, ибо его в 24 часа выслали в Вологодскую губернию и отдали под надзор полиции.

Так, с большим шумом и треском, ушел из жизни последний никудышевский барин, надолго запечатлев свою личность в памяти властей и передовой интеллигенции всей Симбирской губернии. Что же касается мужиков Никудышевки и ее окрестностей, то они так и не оценили гражданских заслуг покойного барина. После обыска в имении, ареста и

освобождения барина по всем окрестным деревням и селам поползли слухи, будто в никудышевской усадьбе начальство открыло фабрикацию фальшивых ассигнаций, но что никудышевские господа откупились настоящими царскими деньгами и потому барина выпустили и дело замяли. Долго потом деревенские бабы боялись барских денег и всякая ассигнация из барского дома внушала сомнения и заставляла советоваться со стариками:

— Погляди-ка, правильная ли! Пес их знает: сказывают, что они сами деньги-то делают...

Прошел год. Мирская молва, что морская волна: пошумела и успокоилась... И семейная скорбь улеглась, притихла. Однако не все умирает с человеком: на юных душах осиротевших детей, один из которых был уже студентом, а два других еще гимназистами, остался неизгладимый след возмущения против... чего? Они и сами не могли бы назвать объекта своего возмущения. Обыск, арест отца, ни в чем не повинного, смерть его, и за всем этим как некий символ: жандарм, полиция, губернатор. Бедный папа ушел от них в

ореоле героя и мученика за какую-то поруганную правду и справедливость. Если старший, Павел, уже вкусил от прямолинейной социалистической мудрости и возмущение его направлялось по готовому руслу, то гимназисты были пока еще никакими политическими злобами нетронуты. История с отцом, его смерть, похороны, венки и надмогильные речи, особенно же отказ властей отпустить из тюрьмы на время похорон старшего брата, столкнули их с путей политического неведения и направили их душевное тяготение к тем мыслям и к тем людям, за которые и которых жандармы преследовали... Старшего, Павла, жизнь очень скоро отрезвила от крайних утопий. Оторвавши от всяких прекрасных идеологических призраков, жизнь ткнула его лицом в самую подлинную русскую действительность. Попытка поднять всероссийский мужицкий бунт с помощью царской грамоты кончилась полным крахом, и за нее жестоко пострадали мечтательные обманщики. Только благодаря случайности Павел отделался годом тюрьмы и исключением из университета, с отдачею его, за несовершен-

нолетием, на поруки матери. Павел надолго засел в имении и должен был как старший мужчина в доме помогать матери распутывать все запутанные узлы финансовой стороны имения и с головою уйти в повседневные кропотливые мелочи сельского хозяйства и деревенского быта. С ранней весны и до глубокой осени ему приходилось пребывать в непрерывном общении с землей, с деревней и мужиком, вплотную подходить к самым устоям народнической веры, — и ее воздушные замки очень скоро рассыпались как карточные домики от дуновения ветра. Эти замки оказались такими же фальшивыми, подложными, какой была «Золотая грамота», за которую он провел целый год в одиночном заключении подлинного, а не воздушного замка. Началась переоценка всех ценностей, приобретенных в нелегальных кружках, где им было получено, так сказать, первоначальное революционное образование. Кстати, под руками оказалась огромная библиотека предков, с креслом, на котором, по семейным преданиям, случалось сживать историка Карамзину[46].

Зимами, когда Никудышевку заносило глубокими снегами, а вечера становились бесконечно долгими и беззвучными, Павел Николаевич забирался в этот деревенский склеп книжной мудрости, которую до сей поры с таким аппетитом грызли мыши и крысы, и без кружковых указок запоем читал книги по всем отраслям человеческого знания, стремясь все узнать и все понять. Так прошло три с лишком года. Надзор и поруки кончились. Начальство напомнило об исполнении воинской повинности. Отбывал ее в качестве вольноопределяющегося в ближайшем уездном городке Алатыре и здесь в местном клубе на семейно-танцевальном вечере на Святках познакомился и со всем пылом земляного человека, полного здоровья и неистощимой энергии, влюбился в «тургеневскую девушку», дочь уездного предводителя дворянства, Елену Владимировну Замураеву, отвечавшую ему несомненной симпатией и поощрением, несмотря на то, что дворяне Замураевы, закоренелые столпы старины, находились в постоянной вражде с либералами Кудышевыми. Вопреки долгой неприязни этих местных

Монтекки и Капулетти, симбирские Ромео и Джульетта спустя год повенчались, и в Никудышевке появилась прекрасная «молодая барыня». Прожили в имении год, и вдруг оба заскучали: потянуло в суету города, к его огням, к театру, к музыке, к танцам. Примирение и родство с генералом Замураевым сильно подняло шансы бывшего «политического преступника» среди местного дворянства: сперва попал в гласные уездного земства, потом губернского и скоро сделался членом губернской земской управы и надолго обосновался в городе Симбирске. Земская деятельность пришлась ему по душе, но зато оторвала от Никудышевки и отчего дома. Никудышевка очутилась снова на руках «старой барыни» и плутоватого хохла, управляющего. Братья, Дмитрий и Григорий, теперь уже студенты, приезжали из Петербурга только на летние каникулы и не проявляли решительно никакой не только склонности, но даже простой любознательности к сельскому хозяйству и к собственному имению. Когда старший, Павел Николаевич, приезжал на время летнего отпуска с молодой женой погостить в Никуды-

шевку и здесь встречался с младшими братьями, студентами, у обеих барынь, молодой и старой, начинались мигрени от бесконечных их споров...

IV

Дети одной семьи, рожденные на протяжении менее одного десятилетия, братья казались людьми трех взаимно отрицающих друг друга поколений...

Хотя над всеми троими почил, так сказать, дух интеллигентского народничества и все трое принадлежали к секте искателей «Царства Божьего» на земле, но в путях и средствах они совершенно расходились друг с другом...

«Золотая грамота» столкнула Павла Николаевича с путей революционного народничества с его бунтарством в море народной темноты и невежества, партийная занавесочка спала с глаз его, и он поторопился выйти на большую дорогу легальной общественной деятельности со всеми ее неизбежными компромиссами постепенных достижений. Так понятна стала ему мудрость русской пословицы «тише едешь, дальше будешь». Как чело-

век, на своей шкуре познавший мужика, Павел Николаевич говорил:

— Прав Гоголь: хороша русская тройка! Но все-таки на ней больше двенадцати верст в час не ускачешь, а потому нам так далеко еще до «Царствия Божьего», что некуда торопиться!

Павел Николаевич отвергал путь террора и немедленных переворотов не как моралист, а исключительно — по его собственному выражению — как член партии здравого смысла и логики. Выйдя на большую дорогу, он не сразу пошел твердой походкой уверенного путешественника. На первых порах он частенько-таки оглядывался, ибо душа его не сразу пришла в то гармоническое состояние, которое дается уверенностью в самом себе и в своей работе. Где-то в глубине его интеллигентского существа еще долго не умирал «кающийся дворянин» с его «критически мыслящей» личностью и с «долгом перед народом» [47]. Иногда после острых столкновений с государственной властью земского самоуправления, почти всегда кончавшихся поражением последнего, у Павла Николаевича опуска-

лись руки, пропадала энергия и самая вера в избранное дело. Вот в такие-то моменты он и оглядывался. Воскресало порой не только сомнение, но и бывшее озлобление против всех властей, вплоть до царской особы, и просыпались, с одной стороны, симпатия к террористам, а с другой — сознание или, скорей, чувство некоторой своей гражданской виновности перед «станом погибающих за великое дело любви»[48]. Желая как-нибудь ослабить эти гражданский угрызения, Павел Николаевич тайно жертвовал деньги на политический «Красный Крест»[49]. А случалось и так, что он изливал свое гражданское возмущение в злобной антиправительственной статье за подписью «Здравомыслящего» и направлял ее через служившего, по его же протекции, в земской управе неблагонадежного интеллигента в заграничную подпольную газетку. Ни в мужика, ни в близкую революцию Павел Николаевич уже не верил.

Пройденный полным молчанием со стороны культурного общества и явным возмущением народных масс призыв революционеров к перевороту после убийства царя-освобо-

дителя и ползавшие среди крестьян слухи, что царя убили дворяне за то, что он освободил народ от барской крепости, окончательно убедили Павла Николаевича в том, что избранная им дорога — единственная ведущая к цели. Однако и не веря в революцию, он продолжал считать революционеров героями и помогал им отчасти из чувства злобы и мести, а отчасти во спасение души и в утешение угрызений гражданской совести. Он говорил часто:

— В сущности, все дороги ведут в Царствие Божие. Толцые и отворитя!

Хотя террор он считал теперь не только бесполезным, но и вредным, но о героях 1 марта всегда говорил с благоговением, как о святых мучениках за великую идею, и хранил в потайном месте библиотеки в Никудышевке портрет Софьи Перовской[50], завезенный братом Дмитрием в деревню из Петербурга.

Но все-таки с течением лет эта революционная малярия, полученная им во младости, ослабевала: приступы самоугрызений становились все более редкими и менее продолжительными. Полное выздоровление наступило

после того, как Павел Николаевич был избран в члены губернской земской управы, и это обстоятельство, вопреки ожиданиям всех передовых земцев, не встретило протеста со стороны губернатора. Это было принято им как обоюдный компромисс и перемирие. Это обязывало. Чувствуя на своих плечах значительную общественную ношу, надо было идти осторожно и не спотыкаться политически, оберегать земство, это единственное убежище русской гражданственности от нависшей над ним в новое царствование опасности.

Конечно, как большинство русской передовой интеллигенции, Павел Николаевич был в тайниках души своей врагом самодержавия, но юные мечты о прекрасной принцессе Республике давно уже утратил, заменив их деловым устремлением к конституции, со всеми политическими свободами.

Однако времена были таковы, что и о конституции в лучшем случае надо было говорить шепотом, а всего лучше совсем не говорить, а только думать.

Убежденный в том, что народная темнота и невежество являются главным оплотом «са-

модержавного кулака», Павел Николаевич и направил свою деятельность в это больное место. Он взял в свои руки все школьное дело в губернии, променяв «Золотую грамоту» на самую простую грамотность. Пусть и на этом пути власть на каждом шагу сует палки в колеса, — «птичка по зернышку клюет, да сыта бывает!» И он клевал...

Положение члена губернской земской управы обязывало Павла Николаевича поддерживать приятные отношения со всеми высшими представителями правительственной власти в губернии, гражданской и духовной.

Ничего не поделаешь: приходилось прятать свою наследственную брезгливость даже к жандармам и полиции в карман, приятно улыбаться, когда хотелось... резко оборвать, и вообще пришлось пользоваться языком, чтобы скрывать свои подлинные мысли и чувства. Этого требовали интересы земского благополучия и успехи земских начинаний: «ласковый теленок двух маток сосет!»...

Младшие братья Кудышевы, страстный темпераментный Дмитрий, и тихий и глубоко-

кий, кроткий и ласковый Григорий, оба студенты Петербургского университета, первый юрист, а второй — математик, захваченные, как и большинство молодежи того времени, деспотическим императивом общечеловеческих идеалов и возжаждавшие «Правды и Справедливости» без всяких рамок места, времени и пространства, с гордым презрением отвергали «большую дорогу» старшего брата. Они оба находили, что эта дорога ведет не в «Царствие Божие» на земле, а в царство торжествующего на земле зла и насилия, не в царство «братства, равенства и свободы», а к закреплению рабства капиталистического. Оба брата начисто отвергали всякую действительность современного государства, говоря, что все человеческие отношения должны быть в корне перестроены, ибо всякий ремонт, а в том числе и тот, которым занимается в земстве Павел Николаевич, только задерживает естественное крушение никуда не годной постройки.

Младшие братья презрительно произносили слово «либерал», к лагерю которых причисляли Павла Николаевича, а резкий Дмит-

рий однажды в глаза ему сказал:

— Вы, либералы, готовы продать Царствие Божие за полфунта вареной колбасы...

— Колбасы? Что ты хочешь этим сказать?

— Ну, не колбасы, так за полфунта куцей конституции!

Павел Николаевич на Дмитрия не обиделся. Он радостно улыбнулся ему в лицо: ведь и сам он был когда-то вот таким же пылким и убежденным, таким же радикальным и непреклонным мировым бунтарем, как Дмитрий! Молодая кровь, как молодое вино, бродит, пенится, бурлит... И блажен, кто смолоду был молод![51]

— Я, Митя, не либерал, а член партии здравого смысла, — добродушно пошутил Павел Николаевич.

— Знаем мы этот «здравый смысл...» — прошептал Григорий.

— Я не знал, что вы так враждебны здравому смыслу.

Это было в ту пору, когда только что пожившийся и бесконечно счастливый Павел Николаевич готов был обнять весь мир, включительно со всеми ретроградами и даже

анархистами, когда его не обижали и не раздражали никакие колкости братьев по адресу либералов и никакие абсурды жизни, ни практические, ни идеологические. Но устоялась взбаламученная счастьем найденной любви душа, и началась братская словесная междоусобица.

V

«Да, были схватки боевые!»[52] Случалось, на всю ночь, до солнечного восхода.

Обыкновенно задирали младшие. Точь-в-точь как бывало когда-то на Руси при кулачных боях. Бои большей частью происходили в библиотечной комнате, где все сходились посидеть и почитать после ужина журналы и газеты.

Сперва младшие подзадоривали старшего. Вычитает один какую-нибудь новость или просто фразу, которой можно пырнуть ненавистного либерала, и начинает, как бы игнорируя присутствие Павла Николаевича, говорить о ней с другим, пока попадающие в огород Павла Николаевича камешки не заставят его огрызнуться. Ну а тогда оба младших разом накинутся на старшего, и пошла перепал-

ка!

Павел Николаевич был более начитан, более находчив и остроумен, богат опытом жизни и ее логикой и быстро ставил одного из врагов в глупое логическое положение. И вот, не одержав еще победы над врагом, союзники, желая спасти положение, начинали спорить между собою, с петушиным задором наскокивая друг на друга; а тогда старший атаковал уже обоих. Начиналась общая словесная свалка, в которой было уже трудно разобраться, кто кому друг, а кто кому — враг! Среди глубокой ночи поднимался такой шум и крик в библиотеке, что спавший на дворе в сарае дворовый мужик-караульщик просыпался и крался к раскрытым окнам поглядеть: никак господа дерутся?

Подходил, подсматривал и убеждался, что не дерутся, а только ругаются. Думал: «Чудны дела Твои, Господи! И чего они все делят промежду собой?»

Просыпалась и старуха мать. Зажигала свечку, накидывала халат и, сунув ноги в мягкие туфли, спускалась с антресолей. Ведь светает уже, а они все еще спорят! Снизу доно-

сился крик в три глотки. Мать прислушивалась и ловила в этом шумном трио голоса всех трех братьев, даже голос младшего, Гришеньки, своего любимца.

— Ну, и Гришу испортили! Тоже беснуется, — шептала она и направлялась к библиотеке.

В детстве Григорий был тих, скромен, молчалив и застенчив. Именно за этот мягкий женственный характер его и называли в семье Иосифом Прекрасным[53]. А вот теперь и он стал впутываться. Старуха подходила к двери и приотворяла ее:

— Господа Кудышевы! Когда же этому будет конец? Надо же людям спокой дать! Точно на мельнице живешь. И как только у вас языки не отвалятся?

— Разве наверху слышно?

— Да вы так кричите, что в Симбирске, подо, слышно. Прошу прекратить!

— Хорошо. Сейчас расходимся, мама...

Думая, что мать ушла, братья возобновляли бой, оставшийся нерешенным, но сперва шепотом. Разойтись не было сил. А мать стояла за закрытой дверью и прислушивалась. Ло-

вила сонным ухом слова: «правда Божия», «правда-истина», «правда-справедливость» — разводила руками:

«Правда заела!» — шептала, покачивая головой, и, постучав в дверь, со вздохом ползла на антресоли в свою спальню, где все осталось так, как было в счастливые времена: и опустевшая кровать покойного Коли, и две подушки с думкой, и знакомое одеяло. Словно и не умирал вовсе старик Кудышев, а только уехал ненадолго в Симбирск по хозяйственным делам. И Анна Михайловна погружалась в воспоминания о покойном муже, думала о своем одиночестве, о детях... Ох, уж эта «правда!» Отца заела, а теперь и до детей добралась... Эх, Коленька! Кабы воздержался — не дал оплеухи жандармскому полковнику, так, может быть, и сейчас жив был и лежал бы вот тут, рядом... Вот она, проклятая «правда» ваша... И Гришеньку в нее Дмитрий впутал!

Она вздыхала и отирала слезы: «Ничего хорошего из этой правды не выйдет!» — пророчествовала она и очень сердилась на старшего: вот тоже, связался черт с младенцами! Молодая жена у человека, а он только и есть, что

с мальчишками язык чешет!

А братья забывали о предупреждении матери, и спор снова разгорался, и крики снова неслись в мирную тишину летней кроткой ночи в раскрытые на двор окна, а мужик-караульный, поймав ухом «правду Божию», думал:

«И в церкву-то два раз в году ходят, в Рождество да на Пасху, а все о вере спорят... А в писаниях сказано: говорите вы Господи, Господи, а волю Мою не исполняете!»[54]

Мужик крестил рот и шептал:

— Да приидет Царствие Твое яко на небеси, тако и на земли!

Потом ему приходило в голову: «Чай, когда-нибудь да отмучаемся же? Царство-то не богатым, а бедным обещано...».

Чуть брезжил рассвет. В парке еще лениво попискивали пробуждающиеся птицы. Скоро и солнышко всплывет над землей... Не заснешь больше! Растревожили мужика барские споры о правде. Думает угрюмо: «Царь Александра хотел мужикам всю барскую землю отдать безо всякого выкупа, потому мы ее, матушку, сколько годов своим потом и слеза-

ми поливали, а они, господа, не дозволили, манихест подменили... А как он захотел правду-то раскрыть эту, так они убили его, батюшку, царство ему небесное, вечный покой подай Господи! Вот она, ихняя правда-то!»

Вздыхал, плевал вбок и снова думал: «Кабы своя земля была, не валялся бы я как пес бездомный в сарае господском, на соломе. Своим домком жил бы! Взял бы в дом хозяйку, бабочку хорошую!..»

— Скушна без бабы-то!

Плюнул через зубы и пошел к колодцу умываться. Поплескался, растер по лицу грязь полой кафтана, помолился на утреннюю зорьку и снова послушал у барских окон: «Хм! про царя Лександру говорят: один, младший, жалеет и убивства не одобряет, а второй, Митрий Миколаич, — тот не жалеет, одобряет злодейство это. А сам барин-то молчит... Эх, вот бы станового под окошко привести: послушал бы разговоры-то барские!»

А братья все спорят, и чем больше спорят, тем дальше расходятся во взглядах. К восходу солнца оказывается, что не только у всех трех пути в Царствие Божие — различные, но и са-

мое Царство-то представляется каждому по-своему. Для Дмитрия дорога лежит через всемирную революцию и Царство Божие — в социализме; для Григория — Царство Божие — внутри нас самих, а потому мы придем в него лишь тогда, когда единственным законом на земле будет Христово Евангелие, а формой человеческого общежития — христианский коммунизм; Павел Николаевич под Царством Божиим на земле понимает некоторую мнимую величину, а именно — такое совершенное государство, в котором интересы личности находятся в полной гармонии с интересами государства, а так как по несовершенству человеческой природы такая гармония невозможна, то нам остается вечное стремление приближаться к этому идеалу; в связи с таким пониманием Царства Божьего и путь в него для каждого человека и в каждом случае определяется условиями места, времени и реальной обстановкой тех фактов действительности, в которых протекает коротенькая человеческая жизнь: если ты сапожник, то надо тачать сапоги, а не печь пироги, если пришла зима, нельзя ездить на телеге, глупо бежать

за поездом в надежде догнать его, и надо помнить, что и самая красивая девушка не может дать больше того, что имеет...[55]

— А это, господа идеологи, и называется неприемлемым для вас здравым смыслом! Рамками действительности, а не маниловскими благоглупостями!

— Благоразумие щедринского пискаря![56]
— кричит Дмитрий. — С такими планами общество останется на мертвой точке и мир не сдвинется ни на йоту. Критически мыслящая личность не может так рассуждать...

— Нравственно развитой человек никогда на таком благоразумии фарисейском не успокоится! — вставляет Григорий. — Не гоголевские Коробочки и Плюшкины, а великие реформаторы, герои и мыслители своим бесстрашием перед действительностью и самой смертью ведут человечество в Царство Божие!

Тут Павел Николаевич терял всякое терпение и кричал раздраженно:

— Архимед сказал: дайте мне точку опоры, и я переверну мир! Но такой точки не оказалось. А вы даже не Архимеды. Ваша вообра-

жаемая точка опоры — просто бред навязчивых идей. Уж если ругаться гоголевскими героями, так, ей-богу вы напоминаете то Манилова, то Хлестакова!

Спор обрывается. Павел Николаевич, сильно хлопнув дверью, решительно покидает поле брани, что заставляет младших братьев остаться в уверенности, что они победили.

VI

В начале годов прошлого столетия на одной из обычных весенних выставок в Петербурге появилась картина малоизвестного тогда художника, перед которой густо толпилась публика, особенно же учащаяся молодежь. Молодежь стояла перед этим полотном, как стоят верующие перед чудотворной иконой. Что-то властно притягивало к этой картине публику и заставляло по многу раз возвращаться к ней, хотя на выставке было немало всяких шедевров живописи, подписанных знаменитыми именами. И название этой картины было самое шаблонное — «В сумерках», и содержание ее на первый взгляд совсем неоригинальное: неоглядная русская степь; распутье дорог, плачущая береза и под

ней — могила; около могилы в глубоком раздумье сидит путник с измученным, страдальческим выражением глаз; тяжелый взгляд путника устремлен в даль, куда бегут расходящиеся здесь направо и налево дороги. Можно догадаться, что путник не знает, по которой из двух дорог идти далее; солнце уже закатилось, в потемневших небесах растянулась, как разлившаяся лужа крови, умирающая заря; а из-под горизонта уже выползает тьма, в которой пропадают все дороги.

Вот и все!..

Если что и поражало в этой картине, так это странно беспокоящее настроение в небесах и путник. Станный и загадочный человек! Лорнируя картину, выставочные дамы вели такие разговоры:

— Кто же это сидит на могиле? Удивительно знакомое лицо...

— Конечно, Христос!

— Вы думаете?

— Конечно!

— Нет. Скорее — дьявол...

— Не то монах, не то разбойник...

Только посвященные в тайну художники

знали, что картина эта символического содержания: путник изображает революционера на могиле убитого царя; заря не заря, а пролитая кровь, вопиющая к небесам. Впереди ночь над русской землей, и не знает путник, по какой из дорог, скрывающихся во тьме сомнений, идти ему.

Когда тайну разболтали жены посвященных в нее художников, многие стали узнавать в путнике одного из казненных цареубийц. Публика повалила на выставку валом, и скоро картина исчезла.

Эта картина не бог весть какого художественного достоинства как нельзя лучше схватывала растерянность общества, интеллигенции и революционеров в первые годы после убийства Александра II. Свершенное цареубийство, которого так настойчиво и упорно добивались революционеры в течение почти пятнадцати лет не без тайного сочувствия, а иногда и содействия так называемого передового общества в лице многих его представителей, — действительно оказалось распутием для русской мысли и чувства...

Ну вот и убили наконец! Добились того,

что было начато Каракозовым[57] еще в 1866 году. Что же дальше? Что народ и передовое общество получили за пролитую кровь венценосного мученика, к которому когда-то сам Герцен обратился с повинным возгласом «Ты победил, Галилеянин!»?[58]

В то время как передовое общество взвешивало цену крови на своих политических весах, перед революционно настроенной молодежью снова встал уже решенный когда-то вопрос: допустимо ли убийство с политическими целями? Ведь хотя «народники» и называли себя атеистами, но весь жертвенный жар своих душ они целиком унаследовали из основ Христовой морали.

Любовь к униженным и оскорбленным, тоска по правде и справедливости, по «правде Божией» на земле, жажда пострадать за други своя, отреченность от личного счастья во имя долга перед несчастным народом, аскетический образ жизни... Откуда все это, если не из глубин религиозно-христианского сознания?

Можно ли оправдать политическое убийство? В 1871 году на Нечаевском процессе[59] этот вопрос получил уже свое разрешение.

Убийца Иванова Успенский сказал на суде, что одного человека можно и даже должно убить, если этим убийством можно спасти двадцать или тридцать других человеческих жизней. Революционеры, обсудив этот вопрос на своих тайных совещаниях, постановили, что «цель оправдывает средства»... Прошло десять лет. Свершилось великое жертвоприношение, одобренное отцами революционного Собора, а русская совесть пришла в неопишное смущение. Молодежь усомнилась в правде утвержденного догмата своей веры, а лицемерное передовое общество, как вороватый цыган на допросе, сказало: «Я не я, и лошадь не моя!»...

И вот наступили сумерки, из-под горизонта русского поползла ночь, отсвет кровавого облака отражался в душах человеческих. Путник не знал, куда идти...

Главный жрец народнического культа Михайловский[60] написал: «На что надеяться? Во что верить? Чего желать? К чему стремиться? Все разбито и раздавлено!»

Говорят, что в кармане убитого царя был найден проект конституции, составленный

по поручению царя министром Лорис-Меликовым[61]. Когда этот слух долетел до Симбирска вместе с манифестом нового царя с обещанием твердо держать в руках руль самодержавия и с угрозами крутой расправы с крамолой, Павел Николаевич, как зверь в клетке, метался по кабинету и злобно шептал по адресу революционеров:

— Идиоты! Положительно идиоты...

И хватался за голову.

Эти события застали младших братьев Кудышевых в симбирской гимназии. Дмитрий кончал ее, Григорий, поступивший в гимназию с опозданием, прямо в третий класс, был еще в пятом...

Симбирская гимназия, в которой братья учились, именовалась в честь первого русского историка, местного уроженца Карамзинской, и считалась патриотической. Никаких оснований, однако, считать ее такой теперь не имелось. Как и в большинстве высших и средних учебных заведений того времени, в симбирской гимназии царил дух революционного народничества. Мальчишки в 15–16 лет подвергались уже революционной эпиде-

мии, которая, казалось, носилась тогда в самом воздухе. Все гимназисты с шестого класса были народниками, не исключая тех, которые никогда не жили в деревне и видели мужика только в городе на базарах. По рукам ходили запрещенные книги, нелегальщина в стихах и прозе. Эта нелегальщина при болезненной восприимчивости к революционной эпидемии того времени пожиралась с жадностью. Еще не все умели отличать «социологию» от «социализма», а уже с гордостью называли себя «социалистами»!

Дмитрий с шестого класса попал в «кружок саморазвития», в котором бывший студент Еропкин[62] натаскивал гимназистов, как охотник натаскивает собак, на революцию. Такие кружки организовывались тогда по всем учебным заведениям, не исключая духовного ведомства, и представляли собою кустарные фабрички для выделки будущих революционеров. Основным руководством здесь служили «Письма Миртова», за именем которого скрывался известный революционер Лавров[63]. Еропкин, руководитель кружкового саморазвития, был народовольцем и

умел доказывать, что всякий честный человек в России не может быть нереволюционером, что всякая сознательная, критически мыслящая личность иного выхода не имеет. Еропкин был большой краснобай и умел в чистых и правдивых душах юношей зажигать боевой огонь революционной непримиримости. Правда, он поработал только два года в Симбирске и был арестован, но и этого времени оказалось достаточным, чтобы два друга, Саша Ульянов[64] и Митя Кудышев, спустя шесть лет, сделались политическими преступниками, и первый попал на виселицу, а второй — в каторгу. Но об этом после...

Конечно, убийство царя произвело ошеломляющее впечатление и на младших братьев, но совершенно различное, даже противоположное.

На панихиде в гимназии, слушая речи директора и батюшки-законоучителя о страшном событии, свершившемся 1 марта в Петербурге с подробным описанием мученической смерти венценосца, так много совершившего для благоденствия народа и государства Российского, с проклятиями на главу извергов

рода человеческого, — Гриша Кудышев хмыгал носом и стирал кулаком слезы, а Дмитрий со своим другом Сашей Ульяновым не только оставались совершенно бесчувственными к страданиям царственного мученика, но таили в душах своих злорадство и в самых патетических местах речей своих наставников опускали взоры в землю, пряча сверкавший в глазах огонек неуважительной иронии. Их, учеников просветителя Еропкина, не обманешь этими лицемерными словами казенного патриотизма! Убитый царь-освободитель давно уже в их представлении развенчан: «ведь он освободил народ поневоле и сам сказал, что лучше освободить сверху, чем ждать, когда освобождение придет снизу», и потом, если в начале своего царствования этот царь действительно кое-что сделал для раскрепощения России, то после сам же испугался и начал тормозить дело прогресса, как все прежние самодержцы...

Когда батюшка-законоучитель назвал убийц «извергами рода человеческого», Дмитрий подтолкнул локтем Сашу Ульянова и покраснел от охватившего его душу возмущения.

ния: «Изверги рода человеческого»! Так они называют людей, которые во имя святой идеи и своего народа идут на смерть! Не сам ли ты, лицемерный слугитель Бога, повторял слова Христа: «Никто же имат больше любви, как положивший душу свою за други своя!..»[65] А ведь эти «изверги рода человеческого» знали, что лично для них впереди — только виселица!..

Гриша до 14 лет прожил в деревне под покровом матери, женщины стародворянских традиций, вдали от всех «проклятых вопросов», под любовной лаской окружающих людей и бесхитростной природы. Глаза его души были чисты и наивны, как лицо природы. Был он от природы добрым и нежным, чувствительным ребенком: готовя дома уроки по Закону Божию, он плакал над учебником соколовским[66], впервые подробно знакомясь с трагедией Голгофы. Уединившись в укромном уголке отчего дома, он нараспев, как читают в церкви Евангелие, читал «Страсти Господни», и слезы прыгали на картинку «Распятие Господа нашего, Иисуса Христа, Сына Божьего», а Павел Николаевич, которому он ме-

шал заниматься, раздраженно кричал в приотворенную дверь своего кабинета:

— Григорий! Ты опять задьячил?!

Павел Николаевич сердился на мать, что она таскает Гришу на все обедни, всенощные, панихиды с собой:

— В попы, что ли, вы его готовите?

Шутил и над репетитором, которого отыскала мать, чтобы готовить Гришу в гимназию. Боясь студентов, про которых Анна Михайловна говорила: «либо пьяница, либо крамольник!», — она привезла из уездного городка Алатыря окончившего духовное училище псаломщика, Елевферия Митрофановича Крестовоздвиженского, временно уступленного ей старым знакомым доброжелателем, настоятелем алатырского собора, с ручительством за его полную благонадежность.

— Вот кит, отец Елевферий, Иону-то проглотил[67], а проглотите ли вы с Гришей латинскую грамматику?

— У них главные способности по арифметике и Закону Божьему. Что же касается латыни — то, сознаюсь, слабоваты еще. Однако постарается, и преуспеет. Не боги горшки об-

жигают.

Гриша выдержал экзамен прямо в третий класс. Елевферий Митрофанович получил от Анны Михайловны 25 рублей наградных, и тут осторожная мать впервые разочаровалась в избраннике: напился до положения риз, как объяснял потом: из гордости.

— У других тройки, а мой на круглую пятерку.

В гимназии Гриша не успел еще попасть в лапы к просветителям еропкиным и хотя в пятом классе многому наслушался от брата Дмитрия и его приятелей и хотя тоже начинал уже интересоваться разными проклятыми вопросами и загораться жертвенным огнем самопожертвования, но религиозно-мистическая закваска толкала его в иное русло устремленности.

Убийство царя испугало и оттолкнуло Гришу от этих людей, которых называли социалистами. Если раньше, читая подсовываемые ему братом и его другом нелегальные брошюры, Гриша и поддавался искушениям, то теперь совершенно освободился от них:

— Не Христос, а дьявол с ними.

VII

Над Россией опустились сумерки, кровавая заря разлилась по русскому небу. Если страшное убийство царя, освободившего народ, подобно громовому раскату пронеслось по всей стране и заставило нового царя, круто поворотив «русскую тройку», свернуть назад и подбрать вожжи в свои ежовые рукавицы; если это злодеяние заставило передовых людей и либералов, заигрывавших до сих пор с революцией, растерянно поджечь хвосты и начать разговоры о необходимом оздоровлении общества и молодого поколения, — то для молодого-то поколения оно, это страшное событие на Мойке, не явилось средством отрезвления от революционного угара, а совсем напротив: надолго приковало ее ум и чувство к революции и героям террора. Никакая пропаганда бесчисленных еропкиных не сделала так много для усиления революционной настроенности учащейся молодежи, как это событие и особенно распубликованный во множестве в легальном и нелегальном порядке «Процесс 1 марта»[68] со всеми подробностями подпольной жизни и работы революцио-

неров, с описанием продолжительной, полной захватывающего интереса охоты на царя, пылких речей прокурора и защитника, геройского поведения на суде и во время казни террористов, с письмом казненной Софьи Перовской к матери, с планами мест покушений на царя, с объяснением и рисунками изобретенных Кибальчичем[69] метательных снарядов. Все это разжигало острое любопытство юных душ, увлекало их своим романтизмом, красивой и смелой, идейной к тому же авантюрой, игрой со смертью находчивых и бесстрашных героев...

«Вечная слава вам, герои и мученики борьбы за освобождение своего народа!» — такая подпись была под портретами казненных, что во множестве ходили по рукам молодежи того времени. А какому же честному юноше не лестно мнить себя героем, увековеченным в истории и в памяти потомства?

Таких скрытых героев народилось после казни террористов великое множество, и в числе их два друга, два новых студента Петербургского университета: Дмитрий Кудышев и Александр Ульянов... Дмитрий поступил на

юридический, его друг — на математический по разряду естественных наук. Почему они разошлись в выборе факультетов? Дмитрий Кудышев мечтал сделаться в будущем знаменитым защитником политических преступников, Александр Ульянов — изучить химию, а в ней особенно отдел взрывчатых веществ, чтобы сделаться вторым Кибальчичем и изготавливать метательные снаряды на царей и таким образом мстить за погибших героев...

Два друга, из которых один окончил гимназию с золотой, а другой — с серебряной медалью, вступали в университет с жаждой революционных подвигов и очень быстро нашли то запретное, к чему так тянулись их горящие души... Революционная волна снова росла и катилась по всем университетам. В аудиториях открыто гуляла по рукам нелегальщина, открыто собирались пожертвования на политический «Красный Крест», в курилке болтались на стенах последние прокламации, в читалке открыто читали вместо газет нелегальный студенческий журнал «Молодая народная воля»[70], несомненно направляемый опытной рукой подлинных рево-

люционеров еропкиных. Так не трудно было при желании соприкоснуться и войти в «стан погибающих за священное дело любви», значительно успешнее, чем в «стан ликующих», в крови обагривших руки свои...

Дмитрий зря потратил первый год университета. Начал было с усердием слушать разные «права» и быстро увял. Доконало римское право, потребовавшее усидчивой зубрежки латинских текстов. Все эти права и тексты казались ему такими далекими от действительной жизни, которая была вокруг ключом и требовала немедленных откликов. В душе сидела потребность немедленно проявлять долг сознательной личности и войти активным работником по переустройству мира и прежде всего своей бедной родины, а тут забудь весь мир и зубри латинские тексты, казавшиеся никому не нужным мертвым хламом. А помимо того, не понравились провинциалу и столичные студенты-юристы: причесанные, прилизанные, уже сейчас похожие на департаментских чиновников. Тут почти нет лохматых голов, косовороток, расстегнутых сюртуков, а так много крахмала, цветных

галстуков, перчаток, пенсне и причесок «капурль»[71].

Чужим почувствовал здесь себя Дмитрий. Совсем неподходящая компания. Полугодовые экзамены пополам с грехом сдал и бросил ходить на лекции. С головой ушел в общественную работу и почувствовал себя значительной персоной в студенческом движении. Носил национальную поддевку поверх русской красной рубахи, подпоясанной монастырским пояском с надписью «На Тя, Господи[72], уповахом, да не постыдимся вовеки», и пользовался исключительным вниманием влюбчивых идейных курсисток на всех студенческих вечеринках. Одна из таких однажды во время кадрили, краснея, сказала ему:

— Вы, Кудышев, ужасно похожи на Стеньку Разина!

Совсем иным показался он матери, когда вернулся домой в придуманном костюме на первые студенческие каникулы:

— Дмитрий! Почему ты нарядился каким-то лабазником? Почему отпустил такие космы?

Павел Николаевич улыбнулся и заметил:

— Это, мама, новая форма революционер-народника... Вывеска своих убеждений, очень облегчающая дело шпионам Охранного отделения!

Дмитрий очень находчиво огрызнулся:

— Так же, как твой дворянский мундир, в котором ты красуешься в торжественных случаях...

— Ошибаешься: я надеваю его как раз в тех случаях, когда мне нужен защитный цвет, прикрывающий мои убеждения.

Гриша, нахмурия лоб, с философской значительностью сказал:

— Вот у Шекспира сказано: «Чем мы наружно кажемся, в том мы судью находим в каждом человеке, а что мы есть, того никто не судит!»[73]

— Философ из Никудышевки! — бросил Павел Николаевич и расхохотался.

Мать с тревожным страхом посматривала на Дмитрия: не ходит в церковь, прячется как черт от ладана, когда местный причт приходит к ним с крестом и служит молебны, никогда не перекрестит лба, дерзко осуждает правительство, одевается лабазником, отпустил,

как все нигилисты, волосы, здороваются за руку с мужиками, дает им читать какие-то книжки...

Очень подозрительно! Вот так же вел себя и разговаривал старший, Павел, перед тем, как попал в тюрьму...

— Господи! Да неужели и этот... по той же дорожке?

Однажды мать вошла в кабинет Павла Николаевича и увидела нечто подозрительное: что-то рассматривали, — а когда она вошла, Дмитрий проворно выхватил это нечто и спрятал в боковой карман поддевки[74]. Наверное, что-нибудь запрещенное, что-нибудь против правительства.

— Что ты спрятал? Покажи!

Дмитрий посмеивался, но не показывал.

— Опять прокламации начали таскать в дом? Дайте мне хотя бы спокойно умереть! Довольно уж натерпелась я с вами... Я теперь по ночам спать не буду.

В голосе матери дрожали слезы. Она требовала, чтобы ей отдали прокламацию: она сейчас же сожжет. Напрасно Дмитрий уверял ее, что никаких прокламаций он не привез.

— Тогда покажи, что прячешь!

Дмитрий впервые на памяти матери перекрестился, повторяя, что это не прокламация.

— Не верю твоему кресту, потому что не веруешь в Бога!

— Если, мама, Бог есть любовь и справедливость, то верую...

Дмитрий вынул фотографический портрет и, показывая его матери из своей руки, сказал:

— Моя невеста!.. Нравится?

— Ну, дай в руки!

Не дал. Приблизила лицо, по которому текли слезинки, и, грустно усмехнувшись, сказала:

— Стриженая! Какая-нибудь мещаночка, швея...

— Столбовая дворянка, мама, богатая помещица...

— И наверно врешь... По глазам вижу...

— Ну, успокоилась? Ты, мама, у нас вроде домашнего жандармского полковника...

Мать засмеялась и ушла. А на другой день ранним утром, когда Дмитрий еще крепко спал, приказала горничной девке почистить

костюм Дмитрия. Когда девка принесла костюм, мать произвела домашний обыск, нашла в боковом кармане фотографию и прочитала внизу ее надпись: «Софья Перовская, повешенная по делу народовольцев».

Руки ее задрожали. Она думала, как поступить: бросить в печь или оставить?

В этот момент раздался громкий и раздраженный голос Дмитрия:

— Машка! Ты взяла мои штаны и поддевку?

Мать торопливо сунула обратно в карман фотографию, и девка, почистив платье, побежала с ним в комнату Дмитрия.

Все это осталось тайной матери, которая, как мышь, грызла ее душу по ночам, заставляя то молиться, то плакать...

Пропадет и этот... И никто не поможет убедить...

Мать была права в своей скорби и мрачных предчувствиях: лучшая русская молодежь того времени неудержимо, стихийно попадала в круговорот революции и гибла, как бабочки, летящие на огонь...

В чем крылась причина этой русской эпи-

демии? Почему ее не наблюдалось в истории других культурных стран?

Вскоре после страшного события 1 марта 1881 года, когда прижавшие хвосты «отцы» подняли вопль, обращенный по адресу правительственной власти: «Научите и помогите спасти наших детей!», Павел Николаевич сделал вступительный доклад к беседе по этому вопросу в тайно собравшемся кружке симбирских передовых родителей и педагогов. Вот что говорил он тогда на эту тему:

— Стихийность процесса кроется в природе русского человека, в его широкой душе, вечно неугомной и ищущей совершенства и правды до конца. Подобно тому как наш простой народ, пребывая в нужде и рабстве, творил сказки, в которых он жил прекрасной жизнью с волшебными превращениями из Иванушки-дурачка, этого любимого народного героя, в короля заморских стран и вместо своей грязной бабы делался супругом прекрасной царевны; летал на коврах-самолетах, владел скатертью-самобранкой и при помощи живой и мертвой воды творил всякие чудеса, — наша интеллигенция с давних времен

уходила от неприглядной действительности в мир отвлечений, в мир чистой идеологии, в мир социальных утопий, таких же сказок со всеми их чудесами, не желая считаться с действительностью и поставленными ею задачами ближайшего момента. Именно отсюда наша сказочная мечтательность и наш крайний радикализм, наше устремление, миновавши все неизбежные этапы социальной эволюции, сразу перелететь в земной рай... В этой, радикальной мечтательности наша интеллигенция, особенно, конечно, наша широкая и пылкая молодежь, на целое столетие, а пожалуй, и на два, живет впереди действительности. Наша молодежь получила в этом смысле огромное наследство от отцов и дедов. И вот на такую природно-черноземную и еще удобренную предками почву обрушивается многоликая, вездесущая, не встречающая разумного отпора, кроме репрессий постфактум, пропаганда. Ни школа, ни семья, ни церковь палец о палец не ударят, чтобы развить противоядие от заболеваний этой революционной эпидемии. Ни одного разумного слова по адресу соблазнительей и их нелегальной литера-

туры, подсовывающей незрелым умам и чувствам своего рода американский ключ, примитивно и просто, с приятным звоном отпираний все тайны мироздания и предлагающий простые и понятные рецепты осчастливить не только родину, но и все человечество геройством самопожертвования... Вместо борьбы с утопиями, вскрытия лживости всякой нелегальщины власть своими поздними репрессиями только плодит политических преступников, а школа, общество и церковь стыдливо и пугливо молчат, пряча перед опасностью, подобно страусу, под крылышко неведения свои головы! Одна сторона кричит в тысячи глоток, а другая самые слова «социализм» и «революция» боится произнести вслух перед молодежью! И вот как грибы после дождя растут герои, герои творят мучеников, мученики — новых героев. Поистине, мы сами создали гидру, у которой вместо одной срубленной головы вырастают две новых...

На этом все и оборвалось: явилась полиция и, переписав собравшихся, разогнала «незаконное сборище»...

Павел Николаевич своей находчивостью

на этот раз спас от больших неприятностей и родителей, и учителей: он принял на себя объяснение с полицией:

— У нас не тайное собрание, а просто спиритический сеанс. Неужели и такое невинное времяпрепровождение не допускается без разрешения начальства?

Спиритизм с верчением столов и разговорами с духами входил тогда в моду. Пристав поверил, но все-таки предложил разойтись:

— Извиняюсь, что помешал вам, господа, но что поделаешь? Я только исполняю закон.

Павел Николаевич, желая ободрить струсившую публику, пошутил:

— Да, вы нам помешали: мы только что вызвали дух фараона, устроившего избиение младенцев, и вдруг... появились вы...

Все, не исключая пристава, засмеялись, а пристав решил не составлять протокола.

VIII

«Быстро летят годы под старость. В далеком детстве казался бесконечным каждый день жизни, теперь и года не заметишь», — часто думала Анна Михайловна, озирая любовно-тревожным взором детей своих. Павел

располнел, на затылке лысинка появилась... (Как рано теперь люди лысеть стали!) Отцом семейства сделался; двое: Пете уже скоро девять, а Наташе... Сколько же Наташе? Господи, да ведь уже скоро восемь исполнится! И не заметила, как бабушкой сделалась. Ну, Павел Николаевич теперь прочно встал на ноги, и никто уже не собьет его с дороги. А вот Митя с Гришей... Ох, болит сердце!.. Дмитрию несдобровать. Испортили: набили голову этой правдой да справедливостью... Вот на Гришеньку, как на каменную стену, надеялась, а теперь и тут сомнения берут: мудрствует уж очень и тоже об этой проклятой правде... Тоже горит душой-то. Одно утешение и одна надежда: в Бога верует и, если ищет эту правду, так совсем не там, где Митя. Вот и студентом сделался, а по-прежнему и ласковый со всеми, и тихий, застенчивый, как красная девушка... И все сидит в библиотеке, уткнувшись носом в книгу. Близорукий, в очках вернулся. Испортил, видно, глаза-то чтением да писанием... И придуривает маленько: никакого мяса не ест, вместо чая воду с вареньем пьет и со всей дворней на «вы»

разговаривает. Они про себя — «мы», ему — «ты», а он им — «вы»! И не иначе все это как Льва Толстого послушался. Перед приездом в Никудышевку побывал у Толстого и наслушался, видно, там от графа всякой всячины... И портрет на своем столе поставил: граф Толстой от нечего делать пишет... Не иначе, как тоже Толстой его своей правде поучил: «Мы не имеем права отнимать жизнь, дарованную Богом»[75].

Анна Михайловна засмеялась: вспомнила, что на свечке, которая ставится Грише на ночь, вчера клопа нашла: видно, спросонья забыл новую правду и посадил клопа под огонь! Ну да Бог с ним! Только не лез бы к *этим, извергам*, куда тянется Дмитрий...

Мать угадала. Гриша попал в плен к Льву Толстому давно уже. Вскоре после убийства царя. Мягкая, религиозно-мистическая душа мальчика содрогнулась тогда от этого злодеяния, и никакие доводы брата и его друга Саша Ульянова не могли победить его инстинктивного отвращения к убийству. Переспорить их он не мог, — потому что не находил нужных слов, но и, загнанный в логический ту-

пик учениками Еропкина, он не соглашался... И какую же радость он обрел, когда в его руки попало нелегально воспроизведенное и во множестве распространенное вскоре после цареубийства «Письмо графа Льва Толстого к Императору Александру III»[76]! Тут так ясно, так спокойно и так понятно сказано все, что сам он чувствовал, но не умел сказать словами! «Убийством нельзя бороться с убийством: этим только порождается злоба, ненависть и жажда мести... Надо было простить, как велел Христос... Мы не имеем нравственного права отнимать жизнь, дарованную Богом. Господи, если бы ты вразумил царя простить несчастных! Как бы я полюбил тебя, русский царь!..»

Быть может, это самое письмо Льва Толстого, прочитанное в нужный момент и распространенное революционерами совершенно с иным расчетом, и было тем решительным толчком, который заставил мальчика искать другой дороги к «правде Божией». Прочитав уже студентом только что вышедшую статью Льва Толстого «В чем моя вера»[77], Григорий провел много бессонных ночей и решил повидать этого святого учителя жиз-

ни. По дороге домой в Никудышевку он это и сделал. Приехал в Никудышевку точно после причастия. Радостная просветленность, как солнце, играла на лице его, и какую-то прекрасную тайну, казалось, он носил в себе в течение всего лета. Ни с кем не хотел делиться своей тайной. Сказал только, что был в Ясной Поляне и видел Льва Толстого.

— Говорил с ним?

— Говорил.

— Ну и что же?

— Больше ничего...

— Врешь! Будет он разговаривать с первым встречным!

— Я не первый и не последний встречный...

Называли Григория Иосифом Прекрасным, потом «философом из Никудышевки». Теперь стали называть толстовцем. У Павла Николаевича и Дмитрия это прозвище «толстовец» должно было звучать, если не ругательно, то с укором в чем-то не похвальном для студента мыслящего. Только что появившаяся новая вера с основным догматом «непротивления злу насилием», с рецептом всепобеждающей

любви после недавно совершенного террористического убийства была принята революционной интеллигенцией как осуждение всякой активной борьбы с самодержавием, а всеми передовыми людьми как полное уклонение от гражданской борьбы со всяким социальным злом действительности, — и столичная, а за ней и провинциальная печать, литературные толстые журналы единым дружным фронтом обрушились на «толстовское лжеучение»[78]. Лгать Толстого за вредное учение сделалось приличным тоном журналистики.

— Учение, вытекавшее из рабского положения и терпения русского народа, очень выгодно для всех наших темных сил, — говорил Павел Николаевич, ковыряя спичкою в зубах после ужина, и многозначительно смотрел в сторону Григория. Тот отмалчивался. Только покашливал. А Дмитрий злился и старался побольнее уколоть брата, явно убегающего в «стан праздно болтающих»[79]. Прежде чем встать из-за стола, он выпил залпом стакан вина и произнес по неизвестному адресу:

— Слякоть! Любовь, любовь...

И довольно красиво продекламировал:

*Любовь к нам является облитая
кровью
С креста, на котором был распят
Христос!*

— Эх вы, фарисеи! — произнес не выдержавший молчания Григорий. — Все еще хватаетесь за Христа! Требуете отмены смертной казни, называете ее позором человечества, а сами казните без суда и следствия!

И Григорий предупредил Дмитрия: выскочил из-за стола первым, нечаянно уронил свой стул и скрылся за дверями столовой.

Наступила долгая и неловкая пауза. Григорий поразил братьев несвойственной его характеру вспышкой. Дмитрий проводил Григория недоумевающим взглядом и потом, ходя по столовой медленными шагами, точно оправдывался:

— Мы вынуждены прибегать к террору, потому что все другие пути у нас отрезаны... Наконец, мы имеем право защиты, право мстить за виселицы той же монетой... Любовь! Милосердие! Вон любвеобильный граф попробовал взывать к милосердию Алек-

сандра III, а тот и положил на его письме резолюцию: «Немедленно повесить!»

Павел Николаевич как бы очутился между двух огней. Он не мог пристать ни туда, ни сюда. Вздохнул и лениво произнес:

— Ну что же отсюда следует? Только одно: царь поступил нехорошо и, главное, непоэтично, невеликодушно. Никто не сомневался, что он может повесить кого угодно и когда угодно. Григорий упускает только из виду, что никакое прекрасное государство немыслимо без употребления насилия. Если отнять у власти это право, общество превратится в толпу, в стадо баранов...

— Я с этим совершенно не согласен! — обрывал брата Дмитрий. — Современное буржуазное общество без насилия, конечно, развалится, но в новом, социалистическом, будет полная гармония интересов, прав и обязанностей, и потому не будет ни преступлений, ни наказаний и не потребуются поэтому никакого насилия...

Павел Николаевич сладко зевнул и лениво протянул:

— Ну, брат, это такая же «маниловщина»,

только под другим соусом: у Григория — под соусом любви и братства, а у тебя под соусом равенства!

Появилась мать со свечою и тревожно спросила Павла Николаевича:

— А не забыл ты послать нарочного за ветеринаром?

Павел Николаевич испустил неопределенный звук досады и раздраженно ответил:

— Забыл! Почему никто не напомнил мне до сих пор? Не могу же я все время думать о больной кобыле?!

— Тебе докладывали три раза... А сейчас пришла кухарка и говорит, что кучер плачет... Такая лошадь! Ничего вам не жалко...

Как-то странно, насмешливо прозвучала эта печальная новость о подыхающей кобыле, над которой кучер проливает слезы.

— Накормил, идиот, сырым клевером, а теперь плачет! Не ему, а мне приходится плакать! — еще раздраженнее сказал Павел Николаевич.

Мать насмешливо посмотрела на братьев и, махнув рукой, уходя сказала:

— Ну, и скажите ему спасибо! Вам некогда,

так он за вас и плачет!

На Дмитрия умирающая кобыла не произвела никакого впечатления. Это хозяйственное несчастье даже не дошло до его сознания. Он снова было начал:

— Конечно, мы сейчас не можем себе точно и ясно предугадать всех подробностей при социалистическом строе, однако...

— А ну вас, с вашим социализмом! — швырнул брату Павел Николаевич и пошел сделать распоряжение о посылке нарочного за ветеринаром.

Тот приехал, когда кобыла сдохла. Кучера прогнали.

IX

Мать приходила в отчаяние: все от рук отбились, никто помочь не хочет — как хочешь, так и справляйся с этой старой тяжелой машиной, как называл Павел Николаевич свое родовое имение в Никудышевке. Родное гнездо, отчий дом, а им всем наплевать! Все тут родились, вспоились-вскормились, да и теперь как-никак, а все кормятся: тут могилы дедов и прадедов, могила родного отца — ничего не жаль! Раньше хотя бы старший, Павел

Николаевич, на помещика походил: хорошо ли, худо ли, а во все сам вникал, а теперь связался со своим земством — только ему и света в окошке... А разве одной женщине справиться? Разве углядишь за всем, когда старость подошла: ревматизмы да мигрени одолевают? Хорошо, что вовремя ревизию произвел и жулика управляющего на чистую воду вывел, а то так бы совсем и обворовал! Целую скирду хлеба, мерзавец, обмолотил, продал и денежки в свой карман положил... Полукровного жеребца, мерзавец, подменил! Ну разве порядочного воспитания женщина может что-нибудь в лошадях смыслить? К черту, говорит, вашего Мазепу![80] Покуда без них обойдемся, на два месяца отпуск получу и все сам приведу в порядок... Обрадовалась она, да, кажется, напрасно. Ленив к хозяйству стал. Вот недавно кобыла сдохла. Три раза докладывали, и никакого внимания! Кучер Трофим оказался виноватым! А вернее этого мужика на дворе не было. Он и про подмену жеребца раскрыл...

А уж про Дмитрия и Гришу и говорить нечего. Попрекнула Дмитрию, что лучше бы,

чем на охоту ходить, пошел да посмотрел, как люди картошку окапывают, а он:

— Неинтересно, мама.

— Как же неинтересно, когда ты помещик и от земли кормишься?

Это, говорит, одно недоразумение...

А Гриша усмехнулся и сказал:

— Мы не сеем, не жнем, не собираем в житницы своя...[81]

— Вот ты, Гриша, столярному делу начал учиться. Неужели тебе это интереснее, чем свое родовое дело?

— А вот выучусь этому ремеслу и свой хлеб зарабатывать буду.

«Ничего не поймешь! Ум за разум у них заходит; столяром потомственному дворянину быть не стыдно, а помещиком стыдно... Вот и разбери ихнюю правду! Имение, говорят, надо продать мужикам по дешевой цене, потому что мы сами работать не умеем и либо нанимаем тех же мужиков, либо сдаем в аренду... Ну а как же иначе-то? Имение больше тысячи десятин, что же, разве можно без работников? Сами помогать не хотите, да еще и нанять нельзя! Стыдно, видите ли, им, что в

аренду землю сдаю... Это, говорят, эксплуатация... грабеж народа... Уж про кого другого это можно сказать, а про нас, Кудышевых, — стыдно: покойный Николаевич[82] мужикам сто десятин родовой земли подарил, в позапрошлом году за бесценок двадцать десятин лесу им Павел Николаевич продал; в аренду за гроши им земля отдается: по четыре целковых с десятины! Да кто за такую цену в наших местах отдает? По правде сказать: никто столько народу не благодетельствовал, сколько мы, Кудышевы...»

На глазах Анны Михайловны сверкали слезы: «Если бы покойный Коля не вздумал мужикам землю подарить, так, наверное, и теперь жив еще был. Не пришлось бы без этого подарка и оплеуху жандармскому полковнику дать! За народ же пострадал...»

Раньше все-таки концы с концами сводили, а в последние годы начали родовое гнездо разорять: каждый год то там, то тут кусочек оторвут да продадут по дешевке мужикам, чтобы какую-нибудь новую дыру заткнуть. Слава Богу, новый царь заботился о дворянах-помещиках, а не об одних мужиках: и

Крестьянский[83], и Дворянский банк[84] устроил. А то вся дворянская земля скоро из рук уплыла бы. Кабы пораньше этот Дворянский банк догадались устроить, так не пришлось бы им свой дом в Симбирске купцу Ананькину продать. Сколько купцов во дворяне пролезло! С суконным рылом да в калашный ряд. И дворян стали не в свое дело впутывать. Немало их с купцами и в суконное, и в стеклянное дело потянулось. За прибылями начали гоняться. И даже не в диковинку стало теперь родовому дворянину на купчихе жениться! Да вот, недалеко ходить: уж на что спесив сват-то, генерал Замураев, а с сиволапым Ананькиным за ручку здоровается и молодого Ананькина к своему дому приручает... Как видно, тоже не прочь свои дела поправить, породнившись с купцами через дочку свою Зиночку... Таковую-то красавицу, институтку, козочку ангорскую, за Ваньку Ананькина отдать! В каком-то техническом училище в городе Кунгуре курс, видите ли, кончил и себя в инженеры произвел... Мадам Ананькина! Это ужасно!!!

О, как ненавидела купцов Ананькиных Ан-

на Михайловна Кудышева! Всякий раз, когда ей приходится, бывая в Симбирске, проезжать мимо своего бывшего дома, принадлежащего теперь купцу Ананькину, ее грызет тоска и злоба. За что бы, казалось, ей так ненавидеть Якова Иваныча Ананькина, этого народного самородка, бывшего ярославского мужичка, а теперь одного из известных в Поволжье богатеев? Неужели только из-за того, что когда-то, не так, впрочем, давно, ей пришлось сперва заложить, а потом продать свой симбирский дворянский «ампир» Якову Иванычу?

Историческая достоверность в биографии этого волжского богатыря начинается уже с его зрелого возраста. Доисторическая — темна и построена на устном предании. Говорят, что Яков Иваныч Ананькин начал свою карьеру с постоялого двора на выезде из Ярославля на Рыбинский тракт. Там, говорят, он будто бы убил и обчистил двух проезжих, остановившихся ночевать у него на постоялом купцов и сразу разбогател. Однако по паспорту не видно, чтобы Яков Иваныч когда-нибудь судился за такое злодеяние. Потом

перебрался в Симбирск и, владея большим капиталом, занялся хлебным делом. С этой поры молва имеет уже более или менее достоверный характер. Когда дело прибыльно, то его называют в Поволжье «хлебным делом». Значит, хлебное дело само по себе прибыльно. На таком деле нетрудно разбогатеть, если на плечах вместо головы тыква не посажена. Так нет, люди завистливы, любят порочить удачливых соперников. Вот они и пословицу придумали, будто от трудов праведных не наживешь палат каменных...

А Яков Иваныч нажил. Вот и начали говорить, будто бы тут труды-то, конечно, труды, а только несправедливые. Начал свое дело с того, что скупкой мужицкого и дворянского хлеба занялся. Конечно, нет большого греха хлеб покупать. На то и торговля... Только Яков-то Иваныч разъезжал по селам в такое время, когда и мужикам и барам деньги дозарезу нужны, и скупал по дешевой цене. Свои лабазы у паромных пристаней построил, крупным хлеботорговцем сделался. Многие помнят, как Якова Иваныча «хлебной крысой» называли. Ну, а дальше все уже достоверное на-

чинается. Свою паровую мельницу на Свяге-реке[85] поставил. Пароход буксирный по случаю дешево купил, переделал заново и стал до Рыбинска пускать с караванами хлебными, а обратно товары до Астрахани тянул. А волжское дело — прибыльное, как и хлебное. Недаром Волгу «матушкой-кормилицей» зовут![86] У кого пароход завелся, так и другой будет. Только понюхивай, где что плохо лежит, где у кого что рвется. А нюх у Якова Иваныча прямо собачий был. За гроши чужое добро подбирать умел...

Где караван на мель станет, товар подмокнет — он тут как тут! Где пароходишко с торгов продается — без него не обойдется, он тут! А время смутное: одни богатеют, а другие беднеют. Знай только, где тонко и где рвется.

Хлебник, мукомол, пароходчик, домовладелец: барский дом с огромным садом у «княгини Кудышевой» с переводом долгов купил. Прямо, как губернаторский дворец. Для себя и своего дела приспособил. Тут эти «ампиры» да балконы ни к чему. И оранжереи эти — одно баловство. Все по-своему переделал. Однако столбы от ампира этого свалить пожалел,

оставил; только в зеленую краску заодно с оградой чугунной окрасил и деревянные щиты поставил — вроде сеней сделал, а сад высоким забором обнес с гвоздями, чтобы яблоки не воровали. А у ворот собачью будку поставил и злого пса на цепь посадил, чтобы зря народ во двор не шастал. Пристройку к дому сделал: склады для товара, а на месте оранжереи хорошую баню поставил — попариться любил. Теперь все под руками: и склады, и контора пароходная, и приказчики живут на глазах. Всех этих голых баб гипсовых в саду повалил, потому — непристойность одна выходит: кто-то из приказчиков угольком нарисовал им то, чего не хватало.

— Вали их ко псам! В амбар! Похабщина нам не подходит...

Жуликоват был Яков Иванович, а башка хорошо работала, да и с работой не считался. Весь день в трудах. И своего дела по горло, а он еще и на чужое зарится. В гласные городской думы влез, потом в городскую управу членом выбрали. Не одним, видно, хлебом жив человек бывает. Не на жалованье польстился. Что ему гроши эти? А почет соблаз-

нял. Медаль на шею имеет[87], а показать некому. Свое имя утвердить захотелось. Мост через Свиягу на свой счет заново отремонтировал. Иконостас в своем приходе позолотил и церковным старостой сделался. С самим губернатором стал за ручку здороваться. В первую гильдию переписался. Всем стал в городе известен. Даже господа дворяне перестали гнушаться. Когда денег взять больше негде — с поклоном к Якову Иванычу. Что ж, почему не выручить человека из беды, — не дать под закладную? Дело верное: земля всегда свою цену имеет, не прогадаешь. Вот из-за этой самой доброты своей и не хотел, да вдруг помещиком сделался... Родовое имение князей Ухтомских в руках у него завязло. Кабы с молотка продали, пожалуй, и по закладной ничего получить не пришлось бы. Купил, доплатил всего двадцать пять тысяч, все долги на себя принял и помещиком, соседом Кудышевых сделался! В первые годы только изредка наведывался — проверить управляющего из бывших своих приказчиков по хлебному делу... Барский дом заколоченным стоял. Приказчик во флигеле жил. Все соседи недоволь-

ны были: хамом называли нового помещика. Ну, и Павел Николаевич сперва гордо себя держал, хотя и к либеральному лагерю себя причислял. Кулаком называл он своего соседа. Однако однажды летом, когда Ананькин гостил в своем имении, проверяя своего приказчика, неожиданно приехал-таки с визитом к соседу.

До зарезу деньги понадобились. Сломил свою гордость и приехал. Знал, что Ананькин на его лесок, примыкавший к земле соседа, с вожделением поглядывал и стороною осведомлялся — не продаст ли? И всего-то лесу тут было десять десятин, да лес был старый березовый, и по веснам в нем больно грустно кукушки куковали. А Яков Иваныч до смерти любил кукушек слушать! [88] Очень жалостливо поет кукушка. Всю жизнь вспомнишь, всех покойников, слушая, помянешь, свою молодость тоже и все грешное и святое, что в жизни случилось... Домик маленький в том лесу поставить бы и приезжать, когда кукушки поют!

— Чай, и в чужом лесу можно их послушать! — говорил приказчик.

— А я желаю, чтобы в моем лесу пели!

— Так ведь это как вам угодно... Можно поговорить — продаст, поди...

— Как-нибудь закинь словечко! Недорого запросит — куплю и келью поставлю...

— Вам бы, Яков Иваныч, чем вдовствовать-то да самому вроде как кукушке в чужие гнезда свои яички класть, — жениться бы следовало! Вся грусть у вас от самого этого.

— Ну, уж это не твое дело за моим поведением наблюдать... Для этого попы есть. Ты лучше лесок-то вот мне приторгуй. Понюхай-ка!

— Побываю-с. Понюхаю.

Приказчик побывал, понюхал еще зимой, а весной на ловца и зверь набежал.

Приехал сам Павел Николаевич Кудышев, и за чайком дело обделали: за пять тысяч березовый лес отдал. И оба друг другом довольны остались...

— Умный мужик! Приятно поговорить, — говорил Павел Николаевич дома, возвратившись с пятью тысячами.

— Ничего, господин порядочный! — отзывался о соседе Яков Иваныч, поглаживая бо-

роду.

Яков Иванович — человек простой, дворянских правил не понимает. Считает так, что дважды из беды князей Кудышевых выручил: первый случай — дом у них купил, а второй — лесок приобрел. Видел, что люди из кожи лезут вон, а ему не все одно, что деньги в банке держать, что в недвижимой собственности? Значит, почему не выручить человека в беде? Был однажды по каким-то делам в имении у генерала Замураева, а тот в Никудышевку собирался.

— Ну, так и быть: поедем вместе! Я давно у Павла-то Николаевича хотел побывать, да как-то не приходило время-то... Поди, сердает на меня... Надо уважить...

Пришел в дом, точно тут его только и ждали. Всем грязноватую руку сует, со всеми на «ты» говорит. Прямо руками в сахарницу лезет. Увидел портреты кудышевских предков, спрашивает:

— Это ты что же каких идолов по стене-то развесил?

Про детей Анну Михайловну расспрашивал — кто по какой части пошел? Своим

единственным сынком хвастался:

— По анжинерной части он у меня. Башку на плечах хорошо держит. Выучил! Как нынче без этого? По пароходной части его определяю. В нашем деле теперь свой образованный человек нужен. Не те уж времена, что раньше... Охотник и тот собаку в выучку отдает...

После этого неожиданного знакомства у Анны Михайловны мигрени возобновились. И все ей чудилось, что в гостиной кожей и крысами воняет.

Х

Хотя Анна Михайловна усиленно называла свою Никудышевку «Отрадным», но отрадного для нее лично тут было очень мало. Летом наезжало много народа, родственников и знакомых всех трех братьев, и весь дом с двумя флигелями кишел гостями; между тем как раз в это время и наваливалась всей своей докучливой тяжестью и спешностью деревенская страда. Наем рабочих и работниц, косьба, жнитво, уборка урожая, молотьба, потом перепашка и посев озимых и между ними тысяча забот и думушек, тысяча мелочей, волнений, огорчений, хозяйственной суеты...

Страшно раздражало заботливую хозяйскую душу веселое и шумное безделье, болтовня и хохот, устройство увеселительных прогулок, пикников, спектаклей, музыка, плясы и пение, бесконечные чаи, обеды и ужины, а потом по ночам амуры, скрип по лестницам, шепоты и прятки, маленькие драмы и примирения влюбленных, политические споры...

— Нечего людям делать! Точно в номерах или на постоялом дворе!

Одни приезжают, другие уезжают, третьи засели крепко и так зазнались, что начинают распорядиться дворней, лошадьми, приглашают своих гостей в чужой дом...

— Прямо зверинец с отделениями!

Как в крепости, не взятой еще неприятелем, отсиживалась на антресолях Анна Михайловна. Здесь же жила невестка Леночка с ребятами Петей и Наташей. Один флигель, почти развалившийся, отдан под постой молодежи мужского пола с Дмитрием и Гришей во главе; другой, новый, от которого еще пахнет сосной и пихтой, отдан под гостей женского пола без различия возраста. Для персонально почетных гостей, большею частью

мимолетных, — отведена библиотечная комната с двумя широкими диванами. Так иногда и то не хватает места! Ну, тогда уж извините: пожалуйста ночевать в баню! Баня в саду, на пруду. Там лавки, полки, а то можно и прямо на полу на сене. В крайнем случае — сеновал. Только это уж тайно от Анны Михайловны: она запрещает — мятое сено не любит скотина.

Особенно урожайно на гостей было это лето 1886 года. Кто не жил или не побывал тогда в Никудышевке! Гостила тетя Маша, сестра Анны Михайловны, приехавшая из города Алатыря с детьми: сыном, студентом Казанского университета Егором Алякринским[89] и дочкой Сашенькой, гимназисткой последнего класса, веселой и легкомысленной; Зиночка Замураева и ее брат, корнет Замураев, притащившие с собой Ваню Ананькина, усиленно, как выражалась мужская молодежь, ухлестывавшего за Зиночкой; друг Дмитрия, студент Саша Ульянов и его брат, только что окончивший симбирскую гимназию, Владимир, которого дразнили — «рыжий, красный, человек опасный» и никто не любил за болез-

ненное самолюбие и обидчивость. Появился в это лето здесь и бывший репетитор Гришеньки, Елевферий Митрофанович, давно бросивший псаломскую деятельность и теперь студент Казанской духовной семинарии. Всех этих Павел Николаевич называл «гостями оседлыми», в отличие от многочисленных мимолетных ночевальщиков, которых он называл «гостями пришлыми»...

От молодежи, как говорят, дым стоял коромыслом. Мужское отделение, в котором так много сбилось мировых реформаторов, походило порою на какой-то съезд представителей всего человечества, призванных разрешить свои судьбы. Все считали себя «народниками», но до своего народа, казалось, им не было никакого дела. У всех народ играл только роль алгебраическую, отвлеченную, и распоряжались этой отмеченной величиной без всяких церемоний...

Особенно отличался этим Дмитрий и его друг. Оба они умели танцевать от одной печки, от Великой французской революции в ее романтическом освещении, и целиком переносили события прошлого столетия во Фран-

ции на Россию, причем подменяли «третье сословие» — каким-то «трудящимся элементом», а пролетариат — крестьянством или «народом». Бунтарское настроение так и хлопотало в их темпераментных душах. Они жаждали революции и ждали ее начала не снизу, а сверху, от героев, обязанных встать впереди и, как Стенька Разин, увлечь за собою народные массы[90]. Героический террор у них — единственный путь борьбы, полезный еще и потому, что излечивает народ от богопочтения к царям и царизму... Особенно кровожадным проявлял себя Владимир, «рыжий, красный, человек опасный».

— Взорвать на воздух царский дворец и разом уничтожить все царское отродье!

— Как-с? И детей? — испуганно спросил Елевферий Крестовоздвиженский, давно уже попавший в русло революционных течений, но плохо еще разбиравшийся в них и сочинявший свои собственные проекты, как осчастливить русский народ.

— Всех, со всем двором, министрами и всякой сволочью... высокопоставленной! Надо изобрести такое вещество, чтобы достаточно

было полфунта, чтобы на месте дворца осталась огромная яма...

Гриша изумленно посмотрел в сторону некрасивого сутуловатого юноши с рыжими вихрами и калмыцкими глазками[91], изложившего свой страшный проект совершенно бесстрастным спокойным голосом, и сразу возненавидел его, начал избегать его близости даже в играх в лапту, чушки, в шахматы... Гриша почувствовал к нему брезгливость, которую, неизвестно почему, проявляли к нему совершенно далекие от политики девушки Сашенька и Зиночка.

— Противный!

— Почему?

— Так...

Маленькая Наташа, случайно услышавшая секреты взрослых девушек, громко и весело сказала:

— У него всегда мокрые руки! А вчера он убил из ружья котенка. Ей-богу! Право! Потом схватил его за хвост и бросил через забор! Ей-богу! Право!

Иногда, когда надоедали целый день с хозяйством, Павел Николаевич шел на огонь во

флигеле, откуда доносился бурливый говор молодежи. Любопытно, что делается в этом, как выражался Павел Николаевич, буйном отделении сумасшедшего дома... Однажды вошел вот так, неожиданно, и все смолкли... В чем дело? Почему вдруг присмирели? Может быть, его присутствие стесняет?

Всех больше смутился сидевший с тетрадкой под лампой Елевферий.

— Может быть, мне уйти, господа?

Елевферий покашлял в руку, погладил себя по голове и сконфуженно признался:

— Нет, зачем же? Даже совсем напротив... Будем признательны выслушать ваше мнение... Я сделал доклад о новых путях в Царствие Божие. Для всеобщего примирения народа и интеллигенции...

— Любопытно! — отозвался Павел Николаевич, искусно скрывая внутреннюю улыбку морщинами на лбу.

— Так вот в чем дело... Как я тут развил свою тему...

И, заикаясь и сильно жестикулируя, Елевферий начал объяснять свой проект.

— Мы тут все рассуждаем, как Царствие

Божие на земле установить, рай земной...

Павел Николаевич поморщился: пуганая ворона и куста боится. А тут зрелый человек, готовящийся принять священство, с мальчишками откровенничает. Хотя и давно знал Павел Николаевич этого чудака и философа из духовного звания, страшного любителя звонить на колокольне в Пасхальные дни, а все-таки напрасно мальчишки с ним так откровенны. Сколько уж раз такие с виду простачки водили за нос ротозеев и, сами вылезая из воды сухими, если не предавали, то подводили других, спасая свою шкуру!

Павел Николаевич сделал серьезно-хмурю физиономию, с упреком обвел взором молодежь и сказал:

— У меня столько хлопот со своим никудышевским раем, что я давно уже перестал интересоваться раем для всего человечества. Вот что, будущий отец Елевферий, я вам посоветую: удовольствуйтесь-ка лучше, как приличествует избранной вами профессии, раем небесным, а земной оставьте в покое!

Последовало общее смущение, которое нарушил Дмитрий:

— Мы раем небесным мало интересуемся.
Тогда воспрянул и Елевферий:

— Помилуйте! Разве я не понимаю, в каком обществе я нахожусь? Мы все знаем друг друга достаточно...

— Почему же, когда я вошел, вы, Елевферий Митрофанович, прервали чтение?

Елевферий покраснел и пожал плечами:

— Так неужели же вы думаете, что от недоверия к Вам? Я с юности своей знал, что вы за человек... знал, что вы не только словом, но и делом доказали и продолжаете доказывать...

Тут Елевферий опять покраснел и тихо, с обидою проговорил:

— А вот я, как видно, вашего доверия не заслужил... Это для меня печально и обидно. Я не только не с недоверием... к Вам, а совсем напротив. Вы единственный человек в окружности, в ком я надеялся обрести истинного ценителя и критика...

В лице, в голосе, во всей фигуре Елевферия было столько наивной искренности, что Павлу Николаевичу сделалось вдруг перед ним неловко, почти стыдно, как бывает это иногда с человеком, который, имея в кармане много

денег, пройдет мимо протянутой руки по лениности остановиться и полезть в карман за мелочью, а потом спохватится...

— Вы меня не совсем поняли, Елевферий Митрофанович. Я с удовольствием поделюсь с вами своими знанием и опытом, советами относительно источников, своими книгами из библиотеки. Я только не считаю себя вправе давать советы и указания относительно революции. По-моему, если ты сам в ней не участвуешь, то и права никакого не имеешь толкать туда других...

— Мы тут никого не толкаем, а просто разговариваем, обсуждаем, — глухо прозвучал из полутемного угла голос Гриши, и Павел Николаевич вдруг вспомнил, как сам он обвинял общество, педагогов и церковь в том, что они замалчивают те вопросы жизни, которыми горит молодежь.

— Да я и пришел послушать, что у вас тут делается... и сейчас не отказываюсь побеседовать... Только в порядке простого разговора, а не революционных дел и предприятий...

— Вот именно! Именно! — подхватил Елевферий. — Я ни в каких партиях не участвую

физически, но духовно я тоже ищу «Града Незримого, взыскуемого»[92]. Сам Господь говорил о сем Граде... И литература наша: и Белинский, и Гоголь, и Достоевский, и Лев Толстой...

Павел Николаевич успокоился: в рамках «Незримого Града» можно и о революции говорить...

— Я, например, положительно отмечаю террор... — добавил Елевферий.

Это еще больше успокоило Павла Николаевича.

— Ну, так в чем же дело, Елевферий Митрофанович?

Елевферий кашлянул, поерошил волосы и немного приподнятым тоном заговорил...

XI

— Так вот, господа, повторяю, что я терроризм этот начисто отвергаю... Я предлагаю идти в Царствие Божие другим путем, народным путем... Не красное знамя, а хоругви с нерукотворным Ликом Спасителя! И все христиане всех сословий должны перед сим знаменем преклониться... И преклонятся! Вся правда Божия в Евангелии Христовом нам да-

на и пути ко Граду Незримому указаны...

— Ну, так за чем дело стало? Идите в монастырь! — выкрикнул Дмитрий.

— Позвольте-с, не перебивайте!.. Так вот и говорю я: у нас революция должна быть Божественная... И будет когда-нибудь! Ни капли крови человеческой не должно быть пролито.

— А как же быть с атеистами? — снова задорно выкрикнул Дмитрий.

— А много ли их у нас? Горсточка! Отвести им особый край, остров какой-нибудь. Вроде чумных.

— Кормить, поить и прочее там. Живите без Бога и варитесь в своем соку! Всех черт раздерет. Друг дружку осатанеют! Напрасно смеетесь!

— Над собой смеетесь!..[93] — слышался тихий голос Гриши из угла.

— А не будет это поднятие хоругви вместо красного знамени тоже бунтом против существующего законопорядка? — искусил Павел Николаевич.

— Когда во имя правды Божией весь народ пойдет с хоругвями, с кем же идти царю, помазаннику Божьему? С народом пойдет. А ес-

ли слуги царские не пойдут за царем, не они ли окажутся революционерами, восставшими против правды Божией!

— Ну, а если царь откажется идти?

— Значит, он откажется от власти Божией, коей правит народом. Убитый революционерами царь-освободитель не пошел ли против всех министров и помещиков, не желавших и мешавших ему раскрепостить народ?

— Ну, и что же дальше? Как вы будете строить свой рай?

— Один план: возлюби Господа и возлюби ближнего, как самого себя! Вон убитый царь начертал: «Правда и милость да царствует в судах»[94]. А надо сделать, чтобы правда и милость везде пребывала!

— Да, все это великолепно, но как это сделать?

— Вот этим именно вопросом я и занимаюсь теперь. Изучаю все революции, разные утопии, религии, секты.

Павел Николаевич улыбнулся:

— Ну, а как же с нами, помещиками?

— Помилуйте! Образованные и просвещенные люди с совестью сами поймут, что

надо за народом пойти и во имя правды от излишка земли отказаться. Ну а которые не пожелают, пожалуйста к атеистам, на остров! Образованные люди и крестьянству нужны... Тут главный вопрос в земле...

— Вот то-то и есть!

— А вопрос этот легко разрешить, если по совести... Да если весь народ по десяти целковых с души внесет, так... Сколько это? (Елевферий быстро перемножил.) Один миллиард двести миллионов рублей капиталу образуется. А сколько помещиков? По статистике 130 000, да из них больше половины в долгу казне, рады будут 50 процентов стоимости получить. Получай по полтине за рубль! На всех хватит, да еще и останется... Я в чем не согласен со Львом Толстым: конечно, Царствие Божие в нашей душе сперва должно водвориться, но этому делу помочь надо...[95] Надо по всей Руси, в один день и час знамена Христовы, хоругви поднять. Повинуйтесь и покоряйтесь, яко с нами Бог! Вот и выйдет Божия революция...

Павел Николаевич не без удивления и интереса слушал этого фантазера из духовного

ведомства. Порою он задавал ему щекотливые вопросы, которые, казалось, должны были поставить в тупик фантазера. Но, к изумлению Павла Николаевича, тот на все такие вопросы находил самое неожиданное и простое разрешение, правда, тоже наивное, но вполне логичное.

— Вы говорите, — хоругви... А вот татары, башкиры, киргизы, евреи и прочие инородцы?

— Да много ли их? Опять горсточка! Поймут, что им выгодно, и не будут препятствовать...

— Боюсь, что вы придете не туда, куда думаете, Елевферий Митрофанович.

— Господь милостив. В душе у всех живет этот Град Незримый, у всех племен и народов. Я думаю, что если бы народу не мешали, а помогли, так он живо нашел бы пути и средства. Народ правду-то сердцем чувствует. Беда в том, что интеллигенция с путей сбилась, вразброд идет. Народ под благовест, а интеллигенция под музыку бесовскую. Будто бы с виду и в одну сторону идут, а дороги-то разные: одна — от Бога, другая — от дьявола, од-

на от любви христианской, а другая — от ненависти и мщения. Народ — за Христом, а интеллигенция — за Иудой!

— Ну, это уже слишком! — злобно крикнул Дмитрий и вышел, сердито хлопнув дверью.

За ним, сорвавшись с места, ушел на цыпочках Саша Ульянов. Владимир остался. Он жадно вслушивался, щуря свои калмыцкие глазки, и улыбочка подергивала его губы.

— Все духовенство должно подняться, а не Стенька Разин! — крикнул вдогонку уходящим Елевферий.

— Ну, я совершенно не представляю себе в такой роли наше духовенство, — тихо произнес Павел Николаевич. — Церковь в роли государственного строителя — дело прошлое, историческое...[96]

— Какой же иной путь вы предложите? — спросил Елевферий.

— Просвещение!

— А разве революционеры — темные, а не просвещенные люди? Все больше из студентов да курсисток выходят. Все, значит, гимназию либо реальное окончили. А кто за Христом пошел? Рыбаки неграмотные! Вот и зем-

лей революционеры народ подманивают, а он не идет, не верит им...

— Ну, значит, не стоит и бояться их? — спросил Павел Николаевич...

— Позвольте! Дороги-то все-таки в одну сторону идут. Сбить, сманить на свою дорогу они стараются. А вода по капле и камень точит...

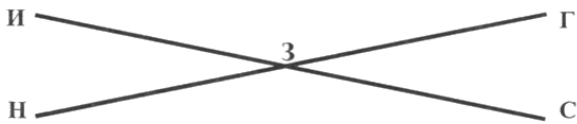
Тут к столу подошел весь взъерошенный от напряженных дум Григорий и сказал, склонясь к Елевферию:

— Объясни брату свою схему!

— Хорошо. Это наглядно пояснит дело... Вот потрудитесь, Павел Николаевич, посмотреть! Присядьте поближе!

Елевферий начертил на бумаге две пересекающиеся под острым углом прямые линии и обозначил точку их скрещения буквой «З».

— Земля! — пояснил он и пометил буквами «ИС» и «НГ». Получился такой геометрический чертеж:



Потом Елевферий стал пояснять его:

— Здесь буквой «И» обозначена интеллигенция, она идет к букве «С», то есть к социализму. Буква «Н» обозначает народ, который идет к букве «Г», то есть ко Граду Незримому или Царствию Божиему на земле. Как видите, обе дороги сперва идут в одну сторону и все сближаются, пока не скрестятся и не сольются в точке «З». Вот здесь и кроется обман и опасность: у мужика тут — земля, а у революционеров — «Земля и воля»! Поняли? Народ через землю намерен по своей линии идти — ко Граду Божьему, а интеллигенция через ту же землю намерена тащить народ в царство социализма. Вот тут и сидит хитрая механика-то! Как сойдутся дороги-то в точке «З» — большой соблазн у народа будет за друзей и праведников принять волков в овечьей шкуре! Значит, надо сего перекрестка либо миновать, либо прийти туда раньше революционеров, предупредить их! Торопиться надо, Павел Николаевич: дороги-то все сближаются, точка-то опасная недалеко уж... Се жених грядет во полунощи, и блажен раб, иже обрящет его бдяща[97], как сказано в писаниях...

— Схема остроумная и убедительная, но она открывает давно уже открытую Америку, — сказал Павел Николаевич. — Дальновидные государственные люди давно указывают на необходимость коренной земельной реформы. К сожалению, таких дальновзорких у нас мало и слушать их наши чиновные мудрецы не хотят... Вместо земельной реформы и увеличения наделов увеличивают количество урядников, губернаторскую власть и даруют земских начальников, полагая, что вместе с этим на русской земле водворится мир и в русских человецах — благоволение...[98]

— Один в поле — не воин! — добавил Павел Николаевич после паузы и, вздохнувши, тихо вышел из флигеля.

Не спалось в эту ночь Павлу Николаевичу. Странно! Ничего нового простоватый Елевферий не сказал ему, но геометрическая схема произвела на него впечатление. До сих пор Павел Николаевич привык и в специальной литературе, и в докладах ученых специалистов видеть правду о земле в сотне скорлупок из затейливых цифр, статистических выкладок, туманных фраз, оснащенных различными

ми терминами и иностранными словами, вообще так замаскированной, что никаких страхов не рождалось; а теперь, в этом схематическом оголении, эта правда вдруг взбудоражила всю душу такой острой тревогой, словно она подкарауливала вот тут где-то, в темном дворе с его закоулочками, дворовыми жилыми постройками...

— Кто тут ходит? — испуганно вскрикнул Павел Николаевич, вздрогнув всем телом и душой.

— Мы эта, караулим...

— Что же ты бродишь?..

— Караул держим...

— Ты обходи усадьбу, а... нас никто не украдет...

Никита вздохнул и пошел в темень. Застукала его колотушка, сдваиваясь эхом в ночной тишине, и поплыла все дальше и дальше...

Вся ночь, темная и молчаливая, казалась какой-то подозрительной. Ветерок донес осторожные голоса, мужской и женский. Около сеновала! Не вздумали бы там курить. Павел Николаевич тихо пошел на голоса и наткнул-

ся на любовное свидание отставного корнета Замураева с коровницей Палашей. Павел Николаевич страшно озлобился: одни гости рассуждают и строят проекты отобрания земли у помещиков, а в их числе и от них, Кудышевых, другие развращают дворовых девок. Вот этот лоботряс мотал-мотал отцовское достояние, а когда мотать стало нечего, вышел в отставку и готовится к поступлению в земские начальники, будет опекать народ и убеждать его, что дело не в количестве надела, а в его интенсивной обработке, не в бедности, а в лени и пьянстве крестьян, не в темноте и невежестве, а в том, что слишком рано народу дана «воля»...

Коровница шмыгнула в темноту, а корнет остался и закурил папиросу.

— Ты что тут делаешь, будущий земский начальник?

— Не спится, Павел Николаевич... Прогуливаюсь.

Павел Николаевич помолчал, потом посоветовал:

— Вот что, ваше высокородие: нельзя ли, говоря словами Грибоедова[99], попросить те-

бя выбрать для таких прогулок подалее переулок! Здесь живут порядочные люди... И потом, пожалуйста, поосторожнее с папиросами! Сено принадлежит к материалам легко воспламеняющимся.

Повернулся и пошел прочь.

На другой день Анна Михайловна прогнала Палашку:

— Развратная баба!

XII

«Революционная болтовня» молодежи, совершенно отвлеченная, теоретическая, казалась Павлу Николаевичу совершенно безопасной. Потребность упражняться в спорах, вести так называемые умные разговоры, совершенно игнорируя окружающую действительность, — ах, это всегда было слабостью нашего молодого поколения! Потом выболтаются, и прежние Дон Кихоты превратятся в благонамереннейших Санча Пансов! Провинция кишела такими примерами. На словах и на языке — «народ», а на деле — не только полное равнодушие, а даже какая-то барская брезгливость к живому мужику и бабе. Говорят о каком-то долге перед народом — отвле-

ченном, а живой народ в образе какого-нибудь приглядевшегося Ивана, Никиты, Палаша, Марьи, Дарьи — какой же это народ? Это так, серая мелюзга, о которой не стоит и думать... Никаких долгов перед этими никто не чувствовал. Пусть упражняются! Никому от этого ни тепло, ни холодно. Опасные времена, казалось, миновали. С разгромом «Народной воли» вот уже несколько лет — мир, тишина и спокойствие[100]. Ни бомб, ни выстрелов, ни громких процессов, ни беспорядков с плюхами. Среди идейной интеллигенции полный разброд, уклоны в толстовщину, в культуртрегерство, тяга к маленьким делам и задачам[101]. Пусть хотя бы молодежь будоражит это болото тишины и спокойствия!

Павел Николаевич по временам уже чувствовал, что и сам он мало-помалу вязнет в этом болоте, а потому иногда не без удовольствия ходил во флигель освежиться и поболтать, приняв личное участие в умных разговорах, пофехтовать, как он говорил, языком и мозгами, тяжелеющими в условиях привычной однообразной работы провинциального бытия. Павел Николаевич всегда любил моло-

дежь: с ней и сам молодеешь!

Любил он, отряхнувши с себя тягу мелочных повседневных забот, поваландаться в этом шумном темпераментном молодятнике. Какое разнообразие вносил этот молодятник в деревенскую жизнь! То разрешение мировых вопросов, то спектакль в каретнике, то музыкальный, то литературный вечер, то какой-нибудь именинный бал в старинном зале, который всю зиму необитаем, а теперь ожил, сверкает в темноту ночи огнями раскрытых окон, из которых несется шум молодых голосов, смех, вскрики или льется нежная музыка: то старинное фортепиано, то скрипка, то виолончель, то все вместе, — а потом начнут кружиться по окнам, как легкие призраки, пары танцующих, — и тогда кажется, что в деревенскую глушь упал метеором кусочек огромного города и продолжает еще по инерции жить иной, своей жизнью, не имеющей ничего общего со всем окружающим.

Дмитрий прекрасно декламирует и поет тенором, Сашенька и Зиночка прекрасно играют на рояле, а за неимением его — на ста-

ромодном фортепиано, Ваня Ананькин — скрипач, Павел Николаевич тоже недурно играет на виолончели, корнет Замураев мастерски рассказывает армянские и еврейские анекдоты, заставляя до слез хохотать все общество, Елена Владимировна имеет недурное сопрано и поет оперные арии и чувствительные романсы. Иногда совсем недурные концерты выходят.

Когда-то Павел Николаевич был страстным охотником, но за недугом и отрывом от деревни как-то отстал от этого удовольствия. Теперь, поддавшись охотничьему пафосу молодежи, частенько загорался былым огнем и отправлялся с ней на Свягу порыбачить или побродить с ружьем по болотам и, увлекшись, забывал что-нибудь в хозяйском деле. Дошло до того, что согласился играть в домашнем спектакле в каретнике перед лицом гостей, дворни и припущенной ей на двор всей деревенской родни роль Любима Торцова в пьесе Островского «Бедность не порок»!

Лето. Страда. Деревенский люд от зари до зари — на работах. А когда случается ему мимо барского дома проходить, — точно всегда

праздник. В кухне — стряпня и суматоха, жарится, варится, парится господская еда. На дворе лужке — игры в мяч, в городки, в деревянные шары какие-то. То сборы на прогулочку: лошади в долгуши[102] запряжены, а долгуши коврами покрыты, — либо на купанье, либо на охоту, либо в лес с самоваром. А ночью до петухов в барском доме огни горят, из раскрытых окон музыка да песни...

Еще Павла Николаевича мужики с бабами видят занятым по хозяйственным делам. То же и старая барыня в другой раз кипятится да ругается. Ну а все остальные? Поют, пляшут, играют в игры разные, книжки читают, пьют да едят...

Всю жизнь живут рядом с барским домом, а все не могут привыкнуть: все он чудным им кажется.

— И днем и ночью у них праздник! Вроде как всегда свадьба.

— А что им делать-то? Целый день жрут да пьют, а надоест — на музыке играют.

— Как в раю живут!

— Нам бы с тобой, Настасья, так пожить!

— Где уж нам! Что будет на том свету ра-

Зя...

— Жди! Они и там — в раю окажутся, а нам места не хватит: попы все грехи им отмолят.

— Чай, когда-нибудь придет же правда-то на землю?

— Жди!

Так разговаривали мужики с бабами между собою, прислушиваясь и приглядываясь к шумливому летом барскому дому...

В барском доме была огромная библиотека, была картинная галерея с ценными экземплярами знаменитых художников, была музыка, было кресло, на котором, по преданию, сиживал историк Карамзин; из этого дома выходили борцы за раскрепощение народа. Но какое дело было до этого мужикам и бабам? Все эти книжки, картинки, музыка, пение — только «барское баловство от безделья»!

Таково было общее правило... Тут нельзя промолчать про одно трогательное исключение в образе самого обыкновенного деревенского парнишки лет пятнадцати, которому барская музыка казалась непонятным чудом, делом волшебным, кладом, которым так хоте-

лось бы завладеть, чтобы самому играть так же, как играют в барском доме...

Звали этого паренька Миколкой. Он с детства любил и хорошо играл на гармонии. Можно сказать, что особенный талант от Господа получил. Чуть послушает новую песню и сейчас же схватит и на гармошке изобразит. Вот он и пленился барской музыкой. Поводился к барскому дому бегать — музыку слушать. Как услышит вечером, что в барском доме музыка гремит, всякое дело бросит и на гору. До темноты издали слушает, а как стемнеет, перелезет через забор в парк и заберется в густую сирень под самые окна. Схоронится и слушает. Не оторвешься: точно хоры ангельские на небесах поют! Все слушал бы. Однажды не вытерпел: вскарабкался босыми ногами и на мгновение повис. Успел мельком увидеть барышню Сашеньку, которая играла. Показалось, что раскрыт перед ней огромный ящик, а в нем лесенка с ладами, как на гармонии, а только целая дорога из этих ладов, белых и черных; барышня ручками своими по этой дорожке бегаёт, пальцы так и скачут — глазом не успеваешь их ловить! Прямо чуде-

са! Вот она какая — барская музыка. Не сосчитаешь, сколько ладов-то. А на гармонии разве можно так сыграть? Купил паренек новую двурядную гармонию. Все старался на манер барской музыки сыграть. Не выходит: ладов не хватает. В другой раз такая досада возьмет, что взял бы эту гармонию да об землю!

Когда Миколка сидел в сокрытии и слушал музыку, то и барышня Сашенька начинала ему казаться чудесной, святой, как ангел небесный. А барышня иногда и пела еще под музыку. Как заиграет да запоет, прямо заплакать Миколке хочется. Так побежал бы к барышне и упал бы ей в ноги: «Что хочешь заставь меня сделать, только научи этой музыке!»

Мужики и бабы смеялись над дурнем Миколкой, а он:

— Не могу отстать. Тянет меня, как барышня заиграет.

Сны стали ему сниться: будто играет на барской музыке, а барышня слушает и удивляется. А Миколка пальцами по ладам скачет, руку через руку перебрасывает и остановиться не может...

И вот однажды, когда в барском доме происходил один из балов, Миколкин сон наяву сбылся. День был воскресный, работать не полагалось, и парни и девки с молодыми бабами толпились около барской изгороди и слушали и смотрели, что делается у веселых господ. Павла Николаевича с матерью не было — они поехали в Замураевку, а молодежь вступила в непосредственное общение с народом: Григорий впустил толпу девок с бабами во двор. Те прилипли к окнам. Начались разговоры с барышнями, шутки через окна. Девки с бабами песенку спели. Их орехами да пряниками угостили... Очень понравилось это Сашеньке:

— Как в «Евгении Онегине»!..

Часть девок в барские хоромы втиснулась, а с ними и Миколка.

И вот барышня на музыке играет, а Миколка рядом стоит. И кажется ему, что вот сядет он на место барышни и тоже заиграет, как она. Когда барышня игру оборвала, Миколка полюбопытствовал:

— А что, барышня, дорого ли такая машина стоит?

— М-м... рублей восемьсот...

— За эти деньги можно новую избу поставить!

Бабы с девками захохотали: вот она, господская музыка-то!

— А трудно на ней играть? Долго ли учиться на ней надуть?

— Если слух хороший, выучиться можно, но чтобы играть, как я, надо годами учиться. Хорошие музыканты всю жизнь учатся! — с гордостью сказала Сашенька.

— Ну, а работают когда же?

И снова неудержимый хохот. Непонятное говорит барышня:

— Вот это и считается тогда работой.

Тут вставил слово и Миколка:

— А я вот на гармоньи ни у кого не учился!

Девки начали шутить над Миколкой:

— А ну-ка, барышня, посади Миколку. Пущай попытает на твоей музыке.

Барышня засмеялась и встала со стула:

— Садись!

При общем хохоте Миколка подсел к фортепианам и стал тыкать пальцами по клавишам. Потыкал-потыкал, и вдруг девки услы-

хали знакомую песенку. Опять радостный хохот. Барышня похвалила и сказала:

— Я тебя в год научила бы играть.

А кругом подшучивают:

— К барышне в ученье просись!

Насилу выпроводили из комнат баб с девками. Долго никто не решался. Наконец надоело это все корнету Замураеву:

— Ну, пора уходить! Марш, марш!

Смех, пискотня, вскрики... Корнет шепнул что-то караульному мужику, и общение с народом сразу оборвалось: мужик всех погнал со двора и запер ворота:

— Залетели вороны в барские хоромы!

Погуторили за воротами и с песням пошли к деревне. А Миколка спрятался на дворе и долго еще слушал барскую музыку. Не заметил, как караульный мужик, заслыша шорох в кустах, подкрался, изловил, надрал уши и потащил, приговаривая:

— Смородину воровать!

Миколка божился, что не воровал, а музыку слушал.

— Музыку! Знаем мы, какая это музыка...

Набил морду парнишке и вышвырнул за

ворота.

XIII

Была этим летом большая неприятность по хозяйству, живо напомнившая Павлу Николаевичу схему двух перекрещивающихся дорог, изобретенную Елевферием Митрофановичем.

Когда-то Кудышевы владели огромной площадью земли в Алатырском уезде. Теперь от этого имения предков осталось одно воспоминание: старый дом в городе Алатыре и десятин двадцать пять поемных лугов около реки Суры. За дальностью от Никудышевки луга эти издавна сдавались в аренду мужикам, бывшим когда-то крепостными этого сурского имения Кудышевых. Хотя на эти луга давно зарился содержатель почтовой станции и каждый год соблазнял Павла Николаевича повышенной арендой, но тот, не желая поддерживать «кулаков», оставался верен старым арендаторам. Когда Павел Николаевич переехал в Симбирск и бразды правления попали снова к Анне Михайловне, содержатель станции Егор Курносов приналег с соблазном выгоды на «старую барыню». Уже дважды Ан-

на Михайловна решала дело в пользу Егора Курносова, но в последнюю минуту изменяла свое решение. Мужики знали, как и чем расстрогать барыню. Приходили толпой и говорили:

— Покойный барин, твой хозяин, дай ему Бог царствия небесного и вечный упокой, нам, хрестьянам, по нашей бедности сто десятин земли с лесом подарил. Добрый, хороший человек был. За него мы завсегда молитву возносим и во веки веков поминать будем. А вот ты, барыня, не исполняешь волю-то своего хозяина...

— Какую волю?

— Добрую то есть волю. Сам он, дай ему Бог царствия небесного и вечный упокой, по правде Божией поступил, да и твоей доброте, глядя с небес, порадовался бы. А ты вон что: «Ягору Курносову сдам, как он, значит, дороже тебе дает!» Не похвалит тебя покойный наш милостивец в небеси со всеми святыми. Чай, ты не бедна, — на что позарилась? Не руши память-то своего хозяина, нашего милостивца: грех, мать!

Анна Михайловна отирала платочком

непрошенные слезы, а мужички, заметив это, не скупилась на жалостливые слова. Выдвигался другой оратор и начинал усовещивать:

— А ты, милая, не скупись, не огорчай в небеси нашего благодетеля со всеми святыми! Пуцай как раньше было, так и будет, то есть чтобы луга опять за нами остались. А мы, сударыня-барыня, панехидку по покойничке, твоём хозяине, отслужим да водочкой его помянем. Все по-хорошему и будет. Не грехи, мать: всем нам придется ответ Господу Богу дать, а года твои тоже немалые. Свидишься на тоём свету с хозяином, не похвалит он тебя, ежели за рублем погонишься, а нас обидишь...

— Ну, Бог с вами! Пусть будет в этом году по-старому, — вздохнувши, говорила растроганная барыня, и луга оставались за мужиками.

По случаю своей победы над Егором Курновым мужики делали складчину на помин души покойного барина, Николая Николаевича, покупали ведро водки, но когда начинался разговор про «панехидку», раздавался протест:

— Чего нам служить? Барыня уж отслужила. Нечего зря Господа беспокоить, а вот выпить за упокой его души можно.

Так вышло в прошлом году, а весной нынешнего Егор Курносов новое придумал:

— Продай навсегда! Хорошую цену дам.

Как-то случилась экстренная нужда в деньгах. Анна Михайловна вспомнила про Егора Курносова, посоветовалась с гостившим в Никудышевке Павлом Николаевичем, и они порешили продать луга сурские. Послали нового кучера Ивана Кудряшёва к Егору Курносову, — пусть тот прибудет в Никудышевку насчет продажи лугов поговорить. Кучер верхом поехал. Из любопытства сперва сам луга посмотреть захотел. Поглядывал да за ухом почесывал:

— Эх, хороши луга!

Спрыгнул с седла, ухватил в пригоршню травы, понюхал, пожевал, а лошадь наклонилась и вырвала мягкими губами траву из руки Ивана.

— Что, хороша травка-то? — спросил ее Иван. — Вот то-то и оно-то...

И так жадно смотрел Иван на луга, словно

и сам он был лошадыю.

По накатанной луговой дороге мужик по-рожняком ехал. Попридержал лошаденку:

— Ты, братец, нашто чужой травой свою лошадь кормишь?

— Вот жадный. Твоя, что ли, трава-то, что так бережешь.

— Наша трава.

— Была ваша, а, как видно, скоро будет не ваша. Я из Никудышевки, от господ к Ягору Курносову послан. Слышал так, что ему господа эти луга продали.

Ну и пошел среди мужиков переполох. А когда Егор Курносов в Никудышевке побывал, и свои, никудышевские, взбаламутились. Пока господа эти луга своим, сурским, сдавали, никудышевские мужики только ворчали, но не ввязывались: крайней нужды в лугах у них не было. Но когда узнали, что господа луга эти навеки хотят продать, и они галдеть начали.

И вот пошла деревенская свара. Барский двор с утра мужиками набит: выборные от сурских и никудышевских. И те и другие доказывают свое право на эти луга и что Павел

Николаевич не может эти луга Егору Курносому продать, а обязан продать мужикам, причем каждая сторона отстаивает какие-то свои преимущества. Крик, брань, укоры, попреки и угрозы. Тут и Бог, и совесть, и правда Божия, и царь-батюшка-ослобонитель, и крепкое непристойное слово. За оградой двора-тоже мужики и бабы. Там тоже крик и ругань. Точно осада крепости. Всякое появление на крыльце Павла Николаевича сперва вызывает мгновенную тишину, а потом взрыв голосов, тревожных, обиженных, то умоляющих, то раздраженных, почти злобных.

— Побойся Бога-то!

— По совести надо!

— По правде сделай! Бог правду-то видит, хоть не сказывает!

Павел Николаевич пытается говорить, но ему мешают.

— Прежде всего не кричите! Не вы, а я — собственник лугов и по закону как сам решу, так и будет: захочу — продам, не захочу — и в аренду не отдам. Ты курицу свою можешь продать? Корову свою можешь зарезать? Так вот и мы не обязаны у вас согласия просить...

— Чай, земля не курица! Что ты нам про птицу да про скотину толкуешь. Разговор на счет земли, а он про курицу!

Смех и ропот. Машут руки. Злобно сверкают глаза. Павел Николаевич махнул рукой и ушел. Этим воспользовался корнет Замураев. Он давно слушал через окно эти разговоры и кипел негодованием: его возмущало не только поведение «народа», но и самого Павла Николаевича. Мужики обнаглели, а Павел Николаевич потворствует этой наглости. Чего тут с дураками объясняться? Вот они уже и в комнаты полезли. Корнет выскочил на крыльцо, объятый гневом:

— Довольно драть глотки! Расходитесь!

Мужики загалдели. Тогда корнет крикнул караульному мужику:

— Гони их со двора!

В это время Павел Николаевич возбужденно ходил по кабинету и разговаривал сам с собою:

— Извольте послушать! Оказывается, что мы владеем имением не на правах собственников и не имеем права продавать землю без разрешения этих дураков!

Когда Павел Николаевич снова вышел на крыльцо, мужики с ропотом уходили со двора.

— Почему они ушли? — удивился он.

— Я их выгнал...

— Кто тебя просил вмешиваться?

Павел Николаевич послал Ивана Кудряшёва вдогонку:

— Пусть выберут двоих поумнее, а ты проводи их ко мне в кабинет.

Иван Кудряшёв радостно побежал к воротам. Он, конечно, был на стороне мужиков и подмигнул им, когда барин упомянул про курицу: ловко, дескать, дураков обходит!

Привел Иван двух выборных стариков. Павел Николаевич думал, что они достаточно уже вразумлены по части частной собственности и вдруг опять то же самое:

— Мы этими лугами еще при твоём отце владели...

— Да не владели, а имели в аренде!

— Косили то есть. Сколь поту своего на них пролили. Надо решить по совести. Мы, крестьяне, давно вам свое отработали и на такую, скажем, сумму, что не грех и нас ува-

жить, а ты — Ягору Курносову! Да ты опомнись!..

— Так и знай: не владеть этими лугами Ягору Курносову!

Итак, ничего не выходит. Точно не в одной стране и не под одним законом живут. Точно и Богам разным молятся. Переговоры оборвались, а Никудышевка волновалась и галдела. Егор Курносов ночью к господам приехал. Днем боялся: грозили изуродовать. Павел Николаевич продажу затормозил: не то непонятный страх, не то передовой образ мыслей, не то отрыжка народничества мешали ему продать луга Егору Курносову. Тянул-тянул, и опять луга остались за прежними арендаторами. Но пока это свершилось, две неприятных истории уголовного характера стряслись. В день храмового праздника из-за этих лугов пьяные никудышевцы с пьяными сурскими жестоко подрались на принципиальной почве, и двоих в земскую больницу на операцию увезли, а ночью в тот же день Егора Курносова мертвым нашли на дороге в Никудышевку...

Павел Николаевич, встретив Елевферия

Митрофановича, похлопал его по плечу и сказал:

— А хорошую схему вы начертали тогда относительно двух дорог и перекрестка!

Мужики же, как никудашевские, так и сурские, еще сильнее убедились, что земля — Божья, а не помещичья и что «все мы у Господа Бога — арендаторы»...

— Не посмел продать-то.

И все «курицу» вспоминали:

— Ловко он: вы, байт, продавайте без моего разрешения свою курицу, а я без вашего разрешения луга продам!

— Их только послушай — они наскажут!

— Закон, байт, такой!

— А кто эти законы пишет? Сами же они, господа. Может, и вправду так написали: мужику — курица, а барину — земля!

Мужики притихли, а в отчем доме из-за этих лугов своя принципиальная грызня началась: кто — за мужиков, кто — против них. Всю русскую историю на ноги поставили, философию права по косточкам разобрали — и Павел Николаевич с матерью эксплуататорами народа оказались.

XIV

Первого марта 1887 года в Петербурге, на Невском проспекте, были схвачены три студента[103] с огромными книгами в толстых переплетах. Книги эти оказались взрывными снарядами страшной силы и предназначались для убийства нового, благополучно царствовавшего уже шестой год царя...

Жители города Симбирска, как и все жители огромного русского царства, за пять лет общественной тишины и спокойствия привыкли уже думать, что с революционерами давно и навсегда покончено, — и вдруг, как гром в небесах в неурочное время года, опять «Первое марта»! Неописуемое волнение и движение в городе. Хотя первого марта в Симбирске еще не было никаких подтверждений этого события со стороны властей, но слухи о нем стали с быстротой расползаться по городу в тот же день вечером. Очевидно, даже и высшие сферы в Симбирске имели своих Добчинских и Бобчинских...[104]

По-разному воспринимали эти слухи горожане: одни испуганно, с трепетом, другие — с глубоким возмущением и проклятиями на го-

лову злодеев, третьи — только с жадным любопытством к неизвестным пока подробностям происшествия, а были и такие, которые воспринимали эти слухи с затаенной злорадостью надеждой на то, что кончилось, наконец, гробовое молчание и прозвучал ответ общества на попытку реакции затоптать все освободительные реформы прошлого царствования.

Так воспринял на первых порах эти слухи Павел Николаевич, как и многие передовые люди того времени, обиженные умалением их гражданских и служебных прав. «Конечно, одобрить такое злодеяние нельзя со стороны моральной, но... понять и простить можно, даже должно». Однако насколько правдивы эти слухи? Павел Николаевич только что встретил правителя дел канцелярии губернатора: тот побожился, что ему ничего не известно. Правда, некоторое смущение на его деревянной физиономии Павел Николаевич заметил, и ему стало ясно, что нечто значительное в Петербурге действительно совершилось, но что именно — пока сказать трудно. Надо ждать официальных подтверждений

и разъяснений. Мучительное состояние! А гг. Бобчинские и Добчинские несут такую околесную, что и поверить невозможно: будто бы одна из книг при аресте злодеев взорвалась и от этого взлетел на воздух весь Гостиный двор, и все, кто там находился, погибли, более будто бы тысячи человек. Явное вранье!

— Любопытно, что сейчас делается в Петербурге, — подумал вслух Павел Николаевич за вечерним чаем.

А Елена Владимировна вздохнула и сказала:

— Не наглупили бы там твои братцы! За Гришу я спокойна, а вот Дмитрий...

И вот тут тайное злорадство, как червячок крутившееся в глубинах его либеральной души, сменилось трусливым беспокойством. Беспокойство это все росло и росло и к десяти часам ночи сделалось нестерпимым. Оделся и поехал в типографию, где печатался местный «Листок», узнать, нет ли каких-нибудь положительных сведений о событиях в Петербурге.

— Есть телеграмма!

Прочитал и радостно улыбнулся. Как гора с плеч свалилась! Слух подтвердился. Действительно — покушение на убийство царя, книги с динамитом и арест трех студентов: Генералова, Осипанова и Андреюшкина. Совершенно неизвестные фамилии. Слава Богу: значит, Дмитрий с Григорием целы! А это самое главное, что ему надо было сейчас знать. Повеселел.

— А это что набираете?

— Объявление о благодарственном молебствии... Завтра в Троицком соборе, в 11 часов утра.

Павел Николаевич попрощался с метранпажем за руку, чего никогда раньше не делал, и помчался на извозчике домой, чтобы успокоить Елену Владимировну. Это было уже в полночь. Проезжая по Карамзинской улице, он встретился с кавалькадой: пять извозчиков, полных жандармами и полицейскими, впереди верховой. Вдрогнуло сердце: значит, обыски. Не в связи ли с петербургским событием? И снова в душе, как струна, зазвенела тревога. Куда помчались? Нет ничего невероятного, если эти гости побывают и у него в до-

ме: в таких случаях не церемонятся — обыскивают и даже арестовывают «на всякий случай»... Выпустить, говорят, всегда можно.

Вернулся и успокоил жену: есть телеграмма, фамилии участников опубликованы, «наших» там нет, все превосходно, но по городу рыщут жандармы с обысками. Сам встретил.

— Ты, Лена, не испугайся, если они и у нас побывают. Это у них делается иногда без особенной надобности, а так, на всякий случай. У нас ведь все возможно.

Объяснил жене о «неприкосновенности личности» в других культурных государствах и о полном бесправии личности у нас. Ничего, казалось, скверного для них лично не случилось, но успокоение не приходило. Лена прилегла, не раздеваясь, на диване в столовой, а Павел Николаевич бодрствовал и тоже на всякий случай наскоро пересматривал письма и книги. Вспомнил вдруг, что в никудышевской библиотеке в какой-то книге у них спрятан портрет Софьи Перовской, завезенный Дмитрием в деревню года два тому назад. А вдруг надумают побывать и там?

— Черт бы их побрал! Вляпают в неприят-

НОСТЬ...

До свету не ложился. Прислушивался, по-сматривал из темной комнаты на улицу, и все ему чудилось, что кто-то подъехал к дому. Кто же может подъехать, кроме жандармов? Однако все страхи оказались напрасными — жандармы не появились, и на рассвете Павел Николаевич брякнулся в постель и заснул крепко и сладко, как невинный младенец, не боящийся ничего на свете.

За утренним чаем узнал от жены свежую новость: ночью был обыск у инспектора народных училищ Ульянова, и до сих пор у них на дворе жандармы и полицейские: в квартиру пускают, а из квартиры не выпускают.

— У Ильи Николаевича?

— Ну да!

— Что за история?

— Я ездила на базар и своими глазами видела...

Елена Владимировна рассказала, что на Карамзинской улице творится что-то необычайное. Дом, где живет Илья Николаевич [105], оцеплен полицией, около дома толпы любопытных, их разгоняют, извозчиков не пропус-

кают.

— Не забудь, что тебе надо собираться на молебствие!

— Ах, да, да...

Молебствие отвлекло мысли в сторону от разных опасностей и тревог. Надо было торопиться. На всякий случай Павел Николаевич облекся в дворянский мундир. Прощаясь, Леночка крепко поцеловала мужа, и он помчался в собор на торжественное молебствие по случаю чудесного избавления Государя императора от грозившей ему смертной опасности.

Был Великий пост. Солнышко еще пряталось в холодноватом голубом тумане, под полозьями извозчичьих санок похрустывал тонкий ледок замерзших за ночь луж, но весна чуялась на каждом шагу: в дорогах уличных, с обнажившимися кое-где камнями мостовых, в попутных садах, за заборами, с потемневшими сочными уже узорами ветвей, в гомоне галок и воробьев, в собачьем лае, особенно же в столах великопостных колоколов, призывавших грешников к весеннему покаянию перед близким уже Христовым Воскресе-

нием. По приказу полиции домовладельцы уже с ночи приладили выцветшие флаги, кто с подволоки[106], кто с балкона, но за отсутствием ветра, флаги скучно и беспомощно висли к земле отсыревшими полотнищами.

Улицы, казалось, прислушивались к грустному перезвону колоколов, похожему на звон погребальный, и, несмотря на флаги, радоваться не хотели. Не замечалось никакой радости и в жителях, торопливо шагавших в разные стороны. На Троицкой улице былолюдно, но молчаливо. Шагали в строевом порядке, под наблюдением педагогов учащиеся: гимназисты, гимназистки, ученики городских училищ все с креповыми повязками на рукаве. Тянулись извозчики с чиновными седоками, из которых некоторые бросались в глаза странными треуголками на головах. «Точно Наполеоны, спрятавшиеся в русских шубах», — подумал Павел Николаевич и вспомнил, что при мундире ему надо бы быть таким же Наполеоном, а он — в бобровой боярской шапке. Рассердился на себя и погнал извозчика обратно к дому. По дороге встретился с Яковом Иванычем Ананькиным: тоже

тянулся к собору на своем жеребце в яблоках. На повороте съехались нос к носу, и Ананькин точно обрадовался. Остановил Павла Николаевича и сделал жест, после которого и Павел Николаевич попридержал своего возницу.

— А что, Павел Николаевич, как бы нам с тобой худа не было?

Потянул Павла Николаевича к панели, прижал к забору и, охраняясь от прохожих, заговорил таинственно и непонятно.

— В чем дело-то?

— Разя ты не знаешь?..

И тут Павел Николаевич узнал еще одну новость: в Петербурге арестован сын инспектора Ульянова, который на Карамзинской квартирует...

— А ты не знал? Он самый, Александр Ульянов. Он снаряды-то для убиения царя-батюшки сработал! Мой Ванька рассказывает, что прошлое лето этот убийца у тебя в Никудышевке гостил? Смотри, как бы нам с тобой неприятности не было...

— Откуда вы это узнали?

— Ваньку в газету посылал — пропечатать

распродажу, а там и сказали, что телеграмма такая есть и там про это самое объявлено правительством...

Павел Николаевич пожал плечами, даже засмеялся:

— Ну а мы тут при чем?

— Да оно, конечно: в человека не влезешь. А все-таки, знакомство. Я вот за Ваньку опасуюсь... Ты на молебствие-то, поди, приедешь? Я туда поспешаю...

— Конечно, конечно... Только на минутку домой и в собор!

— Вот сволочь эти студенты! По каким книгам науку разучивают! — пошутил Ананькин, усаживаясь в санки, и они разъехались.

Хорошо умел Павел Николаевич скрывать от людей свои мысли и чувства, сидел в санках по-прежнему гордо, независимо, с полным достоинством, но в душе его теперь не было ничего доблестного, а копошилось все самое рабье и маленькое, подленькое. Мысль походила на мышь, попавшую в мышеловку, чувства напоминали гимназиста, который не знает урока и боится, что его вызовут. Жена удивилась, что он вернулся так быстро. Оба

искали треуголку и не нашли. Облекся в черный сюртук — нет траурного знака. Жена наскоро устроила его из каких-то старых тряпок...

— Что ты, Паша, такой взволнованный? Случилось что-нибудь?

— В Никудышевке, в библиотеке, идиоты наши спрятали портрет Софьи Перовской. Необходимо его поскорее отыскать и уничтожить... — сказал озабоченно, но с достоинством Павел Николаевич и, уходя, хлопнул сильно дверью.

Приехал в собор, когда там собрались все власти, представители земских и городских учреждений, школьники, масса чиновников, губернских дам и девиц, поторопившихся нарядиться в весеннее. Собор был битком набит, и полиция пропускала туда по своему выбору. Перед молебствием владыка сказал прочувственное слово о свершившемся злодеянии, остановленном рукою Всевышнего, назвал преступников «извергами рода человеческого» и призвал к сугубому покаянию, ибо один из злодеев, к стыду нашему, оказался родом из Симбирска...

— Восплачем же горькими слезами и вознесем благодарственное моление ко Господу, остановившему руку злодея, поднятую на помазанника Божия!

По окончании молебствия в строгом иерархическом порядке подходили под благословение владыки[107], и затем одни кланялись издали, а другие подходили к группе высших властей и как бы молча поздравляли друг друга с чудесным событием. Павел Николаевич, конечно, был в числе последних. Показалось ему, что как губернатор, так и жандармский полковник были с ним подозрительно холодны и сумрачны. После молебствия в соборе он поехал на молебствие в земскую управу, и здесь ему шепнули новую неприятную новость: служащий земства по вольному найму, «человек с прошлым», статистик Лукоянов, тот самый, через которого Павел Николаевич когда-то посылал за подписью «Здравомыслящего» статейки в заграничную нелегальную газетку, — арестован прошлой ночью... «Ну, началось!» — подумал Павел Николаевич, чувствуя надвигающуюся со всех сторон опасность, но усмехнулся и

беспечно сказал:

— Одним дураком меньше...

XV

Выпущенная экстренно телеграмма гуляла по рукам горожан. В ней сообщалось о новых арестах в Петербурге в связи с покушением на царя. В числе их назывались студент духовной академии Новорусский[108], студент Пилсудский[109] и студенты университета Лукашевич[110] и Александр Ульянов. О последнем было сказано, что он изготовлял те снаряды в виде переплетенных книг, с которыми были пойманы на Невском проспекте поджигавшие проезда царя злоумышленники...

Когда Павел Николаевич вернулся домой, такая телеграмма лежала уже на его письменном столе. Елена Владимировна, встревоженная долгим отсутствием мужа, бросила детей на попечение старухи няньки, а сама исчезла, полная тревоги.

Павел Николаевич телеграмму уже видел в земской управе, но теперь прочитал внимательно еще раз и сделал открытие, которое показалось ему грозным и, подобно подброшенному в тлевший костер сушняку, снова

объяло и душу и тело огнем тревоги и трусости. А и открытие-то это такое маленькое, с первого взгляда совсем незаметное: после перечисления фамилий вновь арестованных в телеграмме было «и др.». Вот в этом-то «и др.» и повисла над головой Павла Николаевича зловещая угроза. Кто знает? Возможно, что в этом и «и др.» пребывают уже и Дмитрий с Григорием. А тогда надо что-то немедленно предпринять. Прежде всего очистку бумаг и книг в Никудышевке. И снова вспомнился портрет Софьи Перовской, черновик напечатанной в нелегальной газетке за границей статейки, писанный собственной рукой Павла Николаевича. Возможно, что там же где-нибудь завалялось гектографированное письмо[111] Льва Толстого к императору Александру III. Надо немедленно либо послать в Никудышевку своего верного и пригодного для этого дела человека, либо — лучше и безопаснее — поехать туда самому, и как можно скорее.

Павел Николаевич торопливо обдумывал план действий.

Так как близка Пасха, которую они всегда встречали в Никудышевке, то вот и выход:

они поедут туда, не дожидаясь Страстной недели. Ничего подозрительного в этом не будет: скоро начинается весенняя запашка, сеяние, и всякий помещик спешит побывать в своем имении по хозяйственным делам. Вернулась встревоженная жена, начиненная страшными городскими сплетнями. Заперлись в детской комнате и тихо совещались. Павел Николаевич предлагал завтра же ехать в Никудышевку. Елена Владимировна предлагала послать экстренную телеграмму в Петербург Григорию (братья жили врозь) с уплоченным ответом. Только два слова: «телеграфируй здоровье!». Дело решил пустой случай: увидели через окно удалявшегося по направлению ворот будочника. Павел Николаевич воспринял это дурным предзнаменованием. В тот же день он побывал в управе, сославшись на экстренные хозяйственные дела в деревне, передал свои обязанности другому члену управы, как нередко это делал и ранее, и на другой день поутру выехал на почтовых со всем семейством в Никудышевку. Телеграммы не послали: это лишь привлечет внимание и подаст повод к сплетням.

Весна была ранняя. Солнышко быстро растапливало снега, говорливые ручьи заливали овраги, испортили дороги, вздули лед на речках. Путь был тяжелый и местами небезопасный. Ехали в санях, а теперь ни сани, ни тарантасы не годились: то лед, то грязь, то снеговая каша. То и дело — зажоры[112]. Лошади терялись в догадках, как миновать поминутные препятствия, выбивались из сил, тяжело вздымали бока, дымились горячим потом. А солнце радостно смеялось земле, в придорожных перелесках ворковали горлицы, на старых березах по тракту гомонили черные, словно шелковые, грачи. Когда лошади останавливались, чтобы перевести дух, было слышно, как в синей сверкающей глубине небес заливаются жаворонки и позванивают ручьи и потоки. Благостная радость сверкала и звенела на земле и на небесах. Дети, Петя и Наташа, всецело отдавались этой радости в природе и сами напоминали каких-то птиц, без умолку звеневших вскриками радости и ручейку, и облитой солнечным блеском луже, в которой отражалась синева небесная, каждому мостику и овражку, в котором прячется

ноздrevатый и синеватый, похожий на сахар, снег. Каждый весенний пустычок останавливал их внимание, возбуждал интерес новизны и приводил в неистовый восторг. Только в матери находила отклик эта детская восторженность, заставлявшая Елену Владимировну забывать обо всех тревогах. Павел Николаевич оставался молчаливым и сосредоточенным. Он всю дорогу старался припомнить, в какой книге спрятан портрет Софьи Перовской, и никак не мог припомнить, и от этого сердился и на детей, и на жену, и на ямщика, который полз, как таракан. Изредка он произносил раздраженно «идиоты!» и сердито закуривал папиросы. Теплый игривый ветерок мешал ему закуривать, а грачи раздражали: казалось, что это вовсе не грачи, а люди; случилось будто бы какое-то происшествие, бежала толпа, кого-то поймали...

— Прибавь, прибавь! — ворчал Павел Николаевич, подтыкая ямщика в спину, и часто поглядывал на карманные часы.

Дремавший под солнечным припеком ямщик, очнувшись, грозился кнутом, лошадки бежали проворнее, колокольчики начинали

весело петь в одну линию без пауз, а из-под кованых лошадиных ног начинали прыгать комья грязи. Дети радостно вскрикивали и хохотали, поднимая возню в санях, а Павел Николаевич хмурился: колокольчики мешали думать...

Под Вязовкой, где предстояла вторая смена лошадей, их обогнала тройка, сопровождаемая тремя всадниками. Хотя Павел Николаевич успел обозреть только спины путешественников, но вещее сердце подсказало его глазам, что обогнали их давнишние знакомцы: прокурор и жандармский полковник. Догадку эту подтверждали конные жандармы. Страх и трусость всколыхнули душу Павла Николаевича и вдруг погасли. Теперь все равно. Все — в руках судьбы.

— Ну, вот... так я и знал.

— Одного я узнала: прокурор наш. А с кем? Какой-то военный...

— Военный! Жандармский полковник!

— Ты думаешь, к нам?

— Уверен в этом.

— Как же быть? Может быть, лучше нам вернуться?

— Глупее ничего нельзя придумать. Черт с ними. Где-то там, за тысячу верст, три идиота захотели выкинуть глупость, а я — виноват? Нет никакого основания бегать. Пожалуйста! Милости просим! В культурных странах существует неприкосновенность личности и жилищ, а у нас никаких этих предрассудков...

Трусость разом переродилась в гражданское возмущение всеми российскими порядками. Павел Николаевич неожиданно обрел утраченную было гордость и мужество. Он даже впал в шутливость:

— Ямщик! Не гони лошадей![113] Нам некуда больше спешить.

— Не к вам ли гости-то проехали? — спросил тот.

— Мимо не проедут, если к нам.

— Правильно, барин.

По старой революционной практике Павел Николаевич знал, что при обыске закон требует присутствия хозяина квартиры, и назло тормозил свой приезд. В Вязовке заказал самовар.

— Неужели ты, Паша, в состоянии заниматься чаепитием? — спросила Елена Влади-

мировна.

— Нет никакого основания отказывать себе в этом удовольствии. Совесть моя чиста. Гостей к себе я не приглашал. Если я им нужен, подождут.

Елена Владимировна влюбленно посмотрела на своего рыцаря и начала не торопясь готовить чай. Дети были рады продолжительной остановке. Они моментально завели уличное знакомство и пускали с деревенскими мальчишками бумажные кораблики по бурливому потоку, скакавшему под окнами станции.

Павел Николаевич медленными глотками пил крепкий душистый чай, дымил папиросой и размышлял не без гордости: «Если вы желаете произвести обыск или арестовать меня, пожалуйста в мою собственную квартиру в городе, а не в имение и дом моей матери». Готовая давно тройка нетерпеливо побрякивала бубенчиками, вздрагивала колокольцами, и новый ямщик пугливо заглядывал в дверь.

— Надо бы ехать... Так оно того... Засветло надо вернуться. Дорога трудная.

После третьего понукания ямщика уложили ларец с закусками, уселись и поехали. Когда выехали за околицу, позади на приличном расстоянии заметили верхового. Павел Николаевич спросил про него у ямщика:

— Жандар это, барин. Их тут много проехало, а один отстал, задержался. Надо быть, лошадь заморилась, что ли, — разъяснил ямщик и в свою очередь попросил у барина разъяснения:

— А что, барин, правда али врут, будто в Питере студенты царя хотели убить...

— Гм... да. Было это.

— А верно ли у нас болтают, что царь, дескать, манихест новый приготовил касательно земли[114], а теперь — крышка. Постращали, дескать, что убьют, ну он испугался, изорвал этот свой манихест да в печку. Письмо, значит, подметное было ему, батюшке, и в том письме сказано, что ежели манихест выпустит в народ, так ему то же будет, как и родителю я во, Ляксандру второму...

Ямщик перекинулся с козел и даже лошадей попридержал, чтобы колокольчики слушать не помешали, что ответит барин.

— Врут. И кто только у вас эти слухи выпускает?

— Ну а какая же причина этому делу, что второго царя добить стараются?

Павел Николаевич затруднился с ответом: как объяснить мужику эту охоту на своих царей? Если рассказать всю правду, то выйдет преступная пропаганда. Он наскоро обдумывал, а мужик сидел в той же позе ожидания.

— Государственные преступники называются, — промычал он.

Елена Владимировна помогла:

— Они против Бога, царя и отечества... А ты поезжай поскорей!

Ямщик выпустил «гм» и стал сердито нахлестывать ленивую пристяжку, ругая ее барыней. Потом он уперся глазами в свой лапоть и стал тяжело думать: «Разя они скажут правду? Они друг за дружку держатся...»

Под самой Никудышевкой долго провозились, отыскивая брод через вскрывшуюся речку: мост поломался. Уже надвинулась темнота, когда через черные кружева безлистного сада сверкнули огни в усадьбе. Подъехали к воротам. Прежде чем отворить ворота, кара-

ульный мужик Никита, лет десять уже служивший на барском дворе, подбежал к господам и таинственно доложил:

— А у нас всякого начальства понаехало до пропасти. Везде печати приложили и чтобы ни туда ни сюда.

Потом отворил ворота, и тройка шагом пошла к крыльцу. Едва хозяева вошли в дом, как к воротам подъехал конный жандарм, издали следовавший за кудышевской тройкой.

Никита вышел за ворота, посмотрел в потемневшие небеса с мигавшими уже там и сям звездочками, помялся около привязывающего верховую лошадь жандарма и заискивающе любопытствовал:

— А что это: в гости али по каким делам приехали начальники?

— Тебе помолчать надо. Овес у вас есть?

— У меня нет, а у господ как не быть овсу! У них всего много. Ночуете, видно, у нас? А правду почтовый ямщик сказывает, будто в Питере опять царя убили?

— Убить не убили, а пытались.

— Очень даже просто. Чудны дела Твои, Господи!

Помолчал и опять точно пощупал жандармского унтера:

— Вон наша куфарка баит — не гости, а с обысками приехали. А я ей и говорю: поди, наши господа не воры и не разбойники, чтобы их обыскивать! Баба, конечно, глупая...

Жандарм поймался на заброшенную мужиком удочку:

— Всякие господа бывают. Другие не лучше разбойников. Императора Александра II образованные люди убили... И теперь покушение на здравствующего студенты произвели...

Мужик покачал головой и охнул. Вздумал, было, еще кое о чем начальственного человека выпытать, да тот вдруг вспомнил, что он — при исполнении секретных обязанностей:

— А ты вот что: прекрати эти разговоры! Дела государственные тебя не касаются.

Мужик решил подальше от греха уйти и поплелся от ворот по ограде, но жандарм остановил:

— Не смей отлучаться: можешь для допросу понадобится.

Мужик испугался. До этой минуты он рез-

ко отделял себя от господ и чувствовал себя просто созерцателем загадочного происшествия в барском доме, а тут вдруг — «не отлучайся!»

— Дела господские... Мы люди темные, делов ихних не понимаем и не касаемся. Что нам прикажут, то мы и сполняем.

Никита притих. Робко посматривал на барский дом, в окнах которого пробегали огни. Там происходило что-то непонятное, угрожающее даже и ему, Никите — «допрашивать станут!» А кто Богу не грешен, царю не виноват? И тут Никита вспомнил, как года два-три тому назад летом, ночью, он слушал барские разговоры про убийство царя Ляксандра-ослобонителя:

— Вот они, образованные-то господа!

Из деревни сбегались любопытные, цеплялись за решетку ограды и, переговариваясь, смотрели, что делается на барском дворе.

XVI

Когда Кудашевы с ребятами ввалились в отчий дом, то сразу почувствовали, что не они сейчас здесь хозяйева. Вместо лакея, любимца старой барыни, старичка Фомы Алек-

сеича, носившего бакенбарды, их встретил усатый бритый жандармский унтер-офицер. Все комнаты нижнего этажа оказались запечатанными. Жандарм предложил им пройти на антресоли. Конечно, это страшно возмутило Павла Николаевича, особенно же Елену Владимировну. Они приехали не в гости, а домой.

— Так приказано господином полковником. Я доложу о вашем прибытии.

— А где полковник?

— Все власти во флигеле ожидают вашего прибытия.

— Это безобразие! — прошептала Елена Владимировна, уводя детей к бабушке.

Бабушка заперлась в своей комнате и не хотела никого впускать к себе. После долгих переговоров через дверь бабушка согласилась пустить к себе только внучат, Петю и Наташу. В распоряжении Кудышевых оказалась единственная комната на антресолях, которую зимой не топили. Как два пойманных и посаженных в клетку зверя, топтались в этой комнате супруги Кудышевы, пока вбежавший по лестнице жандарм не пригласил Павла Нико-

лаевича вниз. Елена Владимировна сбежала следом за мужем и столкнулась в коридорах передней с прокурором Петрушевским. Этот господин со светским лоском давно знаком с Кудышевыми, бывал у них с визитами, танцевал на благотворительных вечерах с Еленой Владимировной и был как будто бы к ней не совсем равнодушен. Конечно, это все только увеличивало гнев и возмущение Елены Владимировны. Руки ей не подал, а ограничился легким поклоном, как будто бы впервые встретились.

— Это безобразие! Мы устали с дороги, голодны, дети должны спать...

— Не волнуйтесь, милостивая государыня. Мы тоже устали, голодны, хотим спать, но мы здесь по обязанностям службы...

Петрушевский произнес эти слова холодно и спокойно, словно никогда не танцевал и не ухаживал за Еленой Владимировной. Она растерялась и, заплакав, побежала на антресоли. Воевавший в это время с жандармским полковником Павел Николаевич, слыша истерически звеневший голос жены, бросил полковника, устремившись на женин голос. Же-

на уже исчезла, а прокурор виновато улыбался и пожимал плечами:

— Вы, Павел Николаевич, должны понять, что я сам не чувствую удовольствия в таком визите, но согласитесь, что закон выше всяких личных отношений. Предупредите вашу супругу сдерживаться от резкостей.

Переднюю заперли жандармы и понятые. Полковник пригласил Павла Николаевича и прокурора, потом понятых, предложил осмотреть печать на дверях столовой и сорвал ее. Столовая превратилась в камеру следствия. Осветили комнату лампою над обеденным столом и в присутствии понятых, жавшихся за спины друг друга, торжественно объявили Павлу Николаевичу о том, что было и без того ему ясно: по распоряжению из Петербурга власти должны произвести обыск в усадьбе дворян Кудышевых при имении Отрадном, Никудышевка тож.

— Я желал бы выяснить вопрос: кто подлежит обыску? Лично я или также и моя мать, Анна Михайловна Кудышева?

Полковник пошушукался с прокурором и сказал:

— Помещение вашей матушки обыску подвергнуто не будет. Этому подлежат все прочие, где мы найдем это необходимым.

Затем полковник, пригласив Павла Николаевича присесть к столу, попросил его дать предварительную справку об имени, сословии, звании, летах, занятии, службе, когда последний раз проживал в Никудышевке и с какой целью он прибыл сюда теперь. Жандарм принес на подносе горячий ужин для Павла Николаевича, и ему любезно разрешили покушать. Пока он утолял свой волчий голод, полковник с прокурором обсуждали полушепотом, вероятно, порядок предстоящей работы, а понятые — волостной старшина из Замураевки, сельский староста и еще какой-то степенный мужик, показавшийся Павлу Николаевичу тоже знакомым, — тупо смотрели в пол и вздыхали.

— К вашим услугам, — спокойно сказал Павел Николаевич, отирая губы салфеткой. К нему вдруг вернулась прежняя способность владеть собою и носить на лице маску равнодушия и гордости.

— Могу я узнать, чем вызвано распоряже-

ние из Петербурга?

— Это выяснится для вас при допросе. Постарайтесь указать, в каких комнатах проживали ваши братья, Дмитрий и Григорий Николаевичи, в бытность свою в имении?

Сразу все стало ясно. Прокурор объяснил понятым их роль и обязанности, и Павел Николаевич повел всю огромную компанию в тот флигель, где обосновались прокурор с полковником. Тут и была самая продолжительная и тщательная работа. Потребовались топоры, лопаты, кирки и лом: поднимали полы, взрывали под ними землю, сдирали обшивку, разломали на подволоке дымовой ход. Понятые смотрели с ужасом, а Павел Николаевич посмеивался. Ничего подозрительного не обнаружили. Только все вспотели, перепачкались. Сверх обыкновения в таких неудачных случаях на лице полковника сияло полное удовольствие: ведь он уже несколько лет давал о Павле Николаевиче благоприятные отзывы, — каково же было бы его положение, если бы они нашли теперь в Никудышевке динамит или что-нибудь подобное? Второй флигель, где жила гости женского

пола, осматривали безнадежно: подняли только две половых доски, постукали по стенам, пошарили в чулане и на подволоке. Повеселели все трое: и полковник, и прокурор, и Павел Николаевич. Только понятые продолжали смотреть мрачно, почти с ужасом. Перешли в главный дом и начали с кабинета.

Тут для сокращения времени забрали и опечатали всю найденную в ящиках письменного стола переписку, визитные карточки, поинтересовались обивкой дивана, этажеркой с сельскохозяйственными книгами и брошюрками, задержались у портретов на стене. Знакомые все лица: Белинский, Некрасов, Михайловский...[115]

— А вот эта личность? — спросил полковник.

— Герцен! — невинно бросил Павел Николаевич.

— Удивительно напоминает Виктора Гюго, — вставил прокурор.

— Даже с автографом! Лично вам подарен? — поинтересовался полковник.

— К сожалению, я был еще мальчишкой, когда Герцен помер. Портрет подарен моему

отцу.

Полковник поколебался, снял портрет, всмотрелся в надпись. Была у него мысль приобщить портрет к делу, но прокурор махнул рукой, и полковник приказал унтеру повесить Герцена на прежнее место. Сложнее было в библиотеке: три книжных шкафа, несколько деревянных полок с журналами. Работали все: и прокурор, и полковник, и особенно опытный в книжной нелегальщине один из унтер-офицеров. Прокурор делал работу так мило, словно он пересматривал своих любимых авторов, чувствуя лишь одно благоговение к литературе. Полковник откладывал все сомнительное — все книги с названиями «Революция», «Прогресс», «Политическая экономия»... А унтер, пересматривая эти книги вторично, ставил их на полку просмотренных, приговаривая с сожалением:

— Этих не отбираем! Абнаковенная.

Был, впрочем, трагический момент. Когда в руках полковника очутился «Обрыв» Гончарова, Павел Николаевич вспомнил, что именно в этом романе спрятан портрет Софьи Перовской. Он почувствовал себя как бы вися-

щим над пропастью. Но тут словно кто подсказал ему, как провисеть и не оборваться в пропасть. Он улыбнулся и, склонясь к полковнику, вдохновенно соврал:

— Гончаров? Ведь это наш знаменитый симбирец[116]. Не раз он сживал на этом самом кресле, на котором изволите теперь сидеть вы, господин полковник!

— Вот как? На этом самом кресле?

Полковник положил книгу в кучу просмотренных и, привстав, начал почтительно и с любопытством осматривать знаменитое кресло. Погладил его, вздохнул и глубокомысленно прошептал:

— Кресло осталось, а знаменитого человека нет!

Приблизился унтер и взглянул на кресло совсем с другой точки зрения: он наклонил кресло, заглянул ему под брюхо, постучал кулаком по зазвеневшим пружинам и снова поставил на все четыре ноги.

Кончался уже обыск в библиотеке. Прокурор и полковник чувствовали усталость, утомление. Может быть, им просто надоело это бесплодное дело. Тень разочарования ле-

жала на лице полковника. Он испытывал двойное чувство: был очень доволен, что не обнаружено никаких вещественных доказательств прикосновенности Никудышевки к страшному злодеянию, но его беспокоило, что решительно нечего приобщить к делу обыска! Если бы обнаружил он вещественную связь с злодеянием, столичная власть сказала бы: хорош ротозей! У него под носом изготавливают бомбы или прокламации, а он аттестует преступников «благонадежными!» Ведь полковник доносил туда, что Павел Николаевич Кудышев «умеренно-либерален в пределах законности». А если совсем ничего не найдешь, там скажут: этот ротозей не способен раскрыть вовремя гнезд революции, накрыть распространителей нелегальной литературы и пр. Хотя бы что-нибудь этакое... что свидетельствовало бы о бдительности наблюдений в этом отношении! И вот радость для смущенного полковника: старательный унтер подал ему, наконец, словно из земли вырытую гектографированную брошюрку «В чем моя вера» Л. Толстого... Прокурор сказал: «Пусть-ки — эту вещь и во дворце читают». Но пол-

ковник все-таки приобщи́л. Шепнул прокурору:

— Пусть уж при деле останется. Я понимаю, что ничего страшного в ней нет и последствий никаких для хранителя такого произведения не будет, а все-таки... Видно, что не ротозейничали... И волки сыты и овцы целы!

Остальные комнаты прошли, лишь поверхностно осматривая их обстановку.

Когда в доме покончили, унтер напомнил полковнику про каретник, в котором летом поставили спектакль без разрешения для народа, — и вот снова двинулись процессией по двору к каретнику, около которого стояли полицейский и кучер Иван Кудряшёв. Снова встревожились дворовые собаки и подняли лай. Им ответили собаки в Никудышевке. Этот собачий лай вносил в тишину весенней темной ночи странную тревогу, словно оповещал всех жителей о необычайном происшествии на земле...

XVII

Вся взбаламученная дворня из мужиков и баб не смыкала глаз в эту памятную ночь, охваченная страхом и любопытством. Люд-

ская кухня с жилой пристройкой была насыщена шепотами, осторожными движениями и ожиданием, что теперь будет. Огонек потушили — будто бы спят, но никто не спал. Кто посмелее, сидели под покровом темноты на крылечке. Робкие поглядывали через окошко или из сеней. Бабы были настроены пугливо и смешливо, жались к мужикам и парням, а те этим пользовались, и часто ночная тишина оглашалась чуть осторожным, но злым бабьим протестом либо смешком и острым словцом вполголоса:

— Отцепись, окаянный!

Разлившийся собачий лай заставил снова всех насторожиться и направить жадные взоры по направлению окон барского дома, откуда вышла целая толпа всякого начальства. Зрелище было необычайное. Процессия шла, вереницею растянувшись по двору. Плыли огни ручных фонарей, поблескивали металлические пуговицы, позванивали шпоры. Под светом фонаря наблюдатели увидели хмурое лицо своего барина, окруженного властями.

— Мотрите, мотрите! Барина повели куда-то!

Измученный Павел Николаевич шел с опущенной головой, и действительно было похоже на то, что его ведут. Совсем непонятно: к нему приезжало всякое начальство в гости, однажды останавливался у него архиерей, и вдруг такая перемена. Одни жалели, другие изумлялись, а были и те, что злорадствовали:

— Повели бычка на веревочке!

Отчаянный Васька-пастух уходил из кухни в темноту ночи, шпионил и возвращался в кухню с новостями и слухами. Васька шептал, что баре опять хотели убить царя и что к делу этому причастны здешние господа. Прибег в кухню отпущенный жандармом от ворот караульный Никита — водицы испить:

— Чудны дела Твои, Господи! — с жадностью глотая из ковша воду, шептал он.

— А что слышно там, у ворот, Никита? Ты с начальством стоишь...

— Да все господа... царем недовольны... Сказывают, всех нас к допросу поведут. А что скажешь? Ничего хорошего я сказать не могу: сам раз слышал, как наши господа про царей разговаривали...

Бабы шутят:

— Мотри, Никитушка, не причастен ли и сам-то ты к этому делу?

— Ты эти шутки не шути! Богу грешен, а царю не виноват. Как перед Богом, так всему миру скажу. В одном повинен: поленился тогда становому сказать.

— Куда, Никитушка, нашего барина-то провели?

— В каретник. Обыск там делают... О, Господи, и сам пропадешь с ними!

Никита перекрестился на ходу и побежал к воротам.

Только к рассвету кончили обыск и перешли в дом, в столовую, показания снимать да протокол составлять. Допросили Павла Николаевича о его братьях, об Александре Ульянове и его брате Владимире, не занимались ли они, проживая в Никудышевке, пропагандой, распространением нелегальной литературы. Павел Николаевич дал самый лучший отзыв обо всей молодежи и высказал предположение, что тут кроется какое-нибудь недоразумение или ошибка.

Допрашивали кухарку, горничную, кучера, работников. Все шло благополучно: либо «ни-

чего не знаем и не ведаем, мы люди темные», либо «а кто их знат!».

— Мало ли каких гостей у господ бывает? Разя всех их упомнишь.

— Мы ихнего разговору не понимаем...

— В игры играли, пели да плясали — вот и все их занятие было!

Про братьев Дмитрия и Григория говорили:

— Хорошие господа. Никакого зла от них не видели.

Полковник показывал им фотографии пойманных на Невском проспекте преступников.

— Не были вот эти здесь в гостях? Припомните! Присмотритесь!

— А как их запомнишь? Они все на одно лицо!

Мужики и бабы были в ужасе и думали только об одном: как бы не припутали к этим господским делам! Замают допросами! Всех больше боялся Никита, и когда до него дошла очередь и прокурор, лениво позевывая, произнес заученную фразу с предупреждением говорить правду и с угрозой закона за лживое показание, — Никита грохнулся в ноги:

— Как перед Богом, так и перед вами, господа начальники... Что было — то было...

И, поднятый на ноги, он начал корявым языком, полным междометий и пауз, с жестами рассказывать о том, что когда-то услышал под барским окошком:

Не отпирайся, барин!.. Того... Было! Было! Я тогда под окошком стоял.... Что касаемое тебя, ты злодейства не того... И вот тоже... как перед Богом, скажу... Вот крест! Братец твой Гришенька этих злодейств тоже того... Оба вы так прямо будем говорить, не того то есть. А Митрий Миколаевич, он одобрял, что царя Ляксандра-ослобонителя прикончили...

Павел Николаевич пожал плечами и сказал совершенно спокойно:

— Возможно, что этот дурак слышал какой-нибудь принципиальный спор, какие ведет молодежь, и ничего не понял...

— Как же ты, барин, отпираешься! Припомни-ка: ты братца-то Митрия Миколаевича тогда Христом пристыдил, а братец Гришенька очень даже рассердились...

— Значит, Павел Николаевич и Григорий Николаевич осуждали злодеяние? — громко

переспросил прокурор.

— Правильно! — радостно выкрикнул Никита, отирая рукавом рубахи градом катившийся со лба пот.

— Ну а Дмитрий Николаевич? — спросил полковник.

— Тот соглашался... Так, байт, им, царям, и следует... Того значит... Приканчивать их то есть.

Бесконечно долго писали протокол обыска и допроса. Понятые истомились и сонно моргали глазами, ничего уже не понимая. Когда протокол был им прочитан и прокурор спросил:

— Так? Подтверждаете?

— Согласны! Все правильно! — хрипло в три голоса откликнулись очнувшиеся от дремы понятые.

— Господа понятые, вы свободны. Можете уходить!

Шумно и радостно двинулись понятые и вся толкавшаяся в передней дворня вон из барского дома, где царствовал теперь хаос, как выражался Павел Николаевич, неприятельского нашествия. Как бы то ни было, а

Павел Николаевич чувствовал себя до некоторой степени победителем, блестяще отразившим нападение. Если бы не дурак Никита, полезший со своим покаянием, так и все было бы великолепно. Утопил, дурак, Дмитрия! Оставалась еще одна мучительная загадка: братья арестованы, но в чем и насколько они скомпрометированы в событии на Невском? При допросе это осталось туманным. Арест Гриши давал повод надеяться, что братья в этой истории, как говорится, сбоку припёка: Григорий, как толстовец, не мог принимать участия в этом кровавом предприятии, а тоже арестован...

Было уже утро, когда все кончилось, и на дворе стояла тройка, в которой незваные гости должны были уехать. Унтера запечатывали изъятые бумаги в пакеты. Прокурор тихо совещался с полковником. В чем-то было у них разногласие. Павел Николаевич чутьем понял, что вопрос идет о нем:

— Я могу считать себя свободным? — спросил он гордо и независимо.

— Видите ли, в чем дело...

Прокурор виновато и застенчиво объяс-

нил, что временно, до ответа из Петербурга на телеграмму, Павлу Николаевичу придется пожить здесь...

— Домашний арест?

— Это лучшее, что мы в силах для вас сделать. Потрудитесь дать подписку о невыезде из своего имения впредь до распоряжения из Петербурга!

Павел Николаевич попробовал возмутиться: служба и ее обязанности требуют его пребывания в городе. Он никуда не убежит, потому что нет к тому никаких поводов. Но в дверях показалась истомленная и раздраженная Елена Владимировна и, игнорируя полковника и прокурора, громко сказала мужу:

— Да выдай ты, ради Бога, эту подписку! Пусть только поскорее... Я больше не могу выносить этого глумления!

Полковник обиделся:

— Если вашей супруге наша любезность кажется глумлением, то домашний арест можно заменить тюремным замком...

Прокурор успокоил полковника, а Павел Николаевич помог в этом прокурору:

— Нервозное состояние... Не спала всю

ночь... Прошу в кабинет — закусить на дорожку чем Бог послал. После трудов праведных.

Полковник поблагодарил, найдя нетактичным принять эту любезность при исполнении служебных обязанностей, а прокурор соблазнился: на минуту юркнул в кабинет и, торопливо хлопнув подряд две рюмки водки, закусывая на ходу, пошел в переднюю. Павел Николаевич провожал. Полковник при нем дал инструкцию оставляемому унтер-офицеру: он должен неотлучно находиться при доме и немедленно донести курьером, если Павел Николаевич куда-нибудь выедет.

— А что касается продовольствия, будешь получать его из кухни.

— Слушаюсь.

Уехали. Старший унтер расположился в передней под лестницей, в комнате лакея Фомы Алексеича, который кормил его потом обедом и ужином, поил чаем и кофеем. Спрашивал даже:

— А, может, водочки, ваше благородие, выпьете?

Бабы, подоткнувшись, мыли в доме полы,

топили печи. Елена Владимировна дезинфицировала воздух сосновой эссенцией. Получившие свободу дети вихрем носились по комнатам и кричали, как вылетевшие из клетки птицы.

— Папочка! Ведь это враки, что дядя Митя с дядей Гришей убили царя и за это их казнят?

— Кто набивает ваши головы этими глупостями?

— Мы в кухне слышали... Мужик говорил. Дети очень заинтересовались жандармом под лестницей:

— Ты всегда будешь жить у нас? А сказки умеешь рассказывать?

Прислуга точно конфузилась господ: не смотрела им в глаза, и казалось, что прятала от них что-то новое, что засело в их души после этой страшной и непонятной ночи. Только жандарм чувствовал себя как дома, часто исполняя обязанности Фомы Алексеича.

Деревня долго не могла успокоиться. Мужики с бабами неустанно возвращались к событию в господском доме и держали связь с дворней. Опять по деревням побежали слухи

о каком-то манифесте, которым отнималась земля от господ и передавалась крестьянам, о попытке убить за это и нового царя, о студентах, которые такую машину придумали, что человека на куски разрывает.

— Одну такую быдта нашли у наших господ под полом, под землей была сокрыта...

Целую неделю Павел Николаевич прожил в Никудышевке под арестом. Наконец его сняли, и жандарм, собрав вещи, поехал в город. Почему-то при его отъезде поплакала коровница.

Для Павла Николаевича все это кончилось сравнительно благополучно. Пришлось лишь, по совету губернатора, бросить службу в земской управе. Жаль было бросать работу по народному просвещению: столько лет работал, успел полюбить это дело. Сослуживцы провожали его обедом и подношениями папок с адресами, где упоминались все его заслуги перед народом. Пришлось со всей семьей вернуться в отчий дом и очутиться в первобытном состоянии управляющего хозяйством Никудышевки.

Если вообще вся Россия была взволнована новым покушением на царя и интересовалась судьбой преступников, то жители Симбирска имели к тому же и другие поводы: в числе судимых были симбирцы, бывшие воспитанники местной гимназии — братья Ульяновы и братья Кудышевы. Волновались и интересовались, конечно, по-разному: одни с нетерпением ждали, когда повесят этих «братьев-разбойников», наложивших пятно на дворянство, город и гимназию, другие тайно считали их героями своего времени и задавались мучительным вопросом, «неужели царь и правительство проявят к этим героям свою обычную жестокость, то есть повесят?», третьи, далекие от всяких политических настроений, мучились неразрешимой загадкой: как могло случиться, что прекрасные, воспитанные, способные и добрые сперва мальчики, а потом юноши, какими они знали их в течение многих лет гимназического периода, могли пойти на такое страшное злодеяние? Такие сомневающиеся, в большинстве сами родители, имевшие детей, все надеялись, что тут произошла какая-нибудь ошибка, которая

на суде выяснится, после чего правда восторжествует и эти юноши будут освобождены как невинные...

Сперва как будто бы эти надежды получили некоторое основание: младший Ульянов, Владимир, вернулся в Симбирск: подержав в тюрьме, его освободили и выслали на поруки родителям и под надзор полиции[117]. Все жаждали узнать правду и подробности о страшном событии через семью инспектора Ильи Николаевича Ульянова, но никто из их знакомых не решался пока навещать их из трусости, сами же Ульяновы нигде не появлялись и не проявляли никакого желания к общению. Домик во дворе, в котором они жили, казался таинственным, страшным, мертвым. Только полицейский пристав время от времени навещал этот домик, пугая соседних жителей.

Так тянулось два месяца. В начале мая, когда весь город был в весеннем цвету и благоухал сиренью, цветущими яблонями и вишнями, всякие сомнения кончились: как раз в Николин день[118] симбирцы прочитали в своей газетке телеграмму из Петербурга, в ко-

торой сообщалось, что накануне, 8 мая, казнены повешением четверо, и в их числе Александр Ульянов, а все прочие, которые пребывали в таинственном «и др.» отделились каторгой на разные сроки. Дмитрий Кудышев на пять лет, с лишением всех прав. Григорий Кудышев только на два года одиночного заключения. (Потом выяснилось, что Владимир Ульянов и Григорий Кудышев, не принимавшие никакого участия в «Народовольческом кружке» террористов, устроивших покушение на убийство царя, пострадали «на всякий случай», первый как брат Александра Ульянова, а второй как брат Дмитрия Кудышева, бывший в момент ареста последнего в гостях у брата. Владимир Ульянов только 3 марта вышел из больницы, где лежал с 10 февраля, и это обстоятельство смягчило его участь. При обыске же на квартире Григория нашли учебник физики Краевича[119], помеченный фамилией А. Ульянова. Это обстоятельство в связи с арестом в квартире брата отягчило участь Григория Кудышева. А кроме того, они и на допросе держались по-разному: Григорий, которого, по выражению матери, заела

правда, наговорил лишнего относительно собственных взглядов на царящую на Руси неправду, Владимир же, тайно благоговевший перед террористами, назвал их на допросе дураками.[120])

Тяжело переживала эту жизненную катастрофу мать Кудышевых. Беспощадный удар нанесла она ее стародворянской гордости, материнству, любви к детям. Какой позор для всего рода дворян, бывших князей Кудышевых! Ее дети — политические преступники, единомышленники цареубийц! Она, она, когда-то имевшая счастье быть на придворном балу и протанцевать тур вальса с покойным государем, тогда еще наследником, она произвела на свет этих трех уродов! Только как непосланное Богом испытание можно пережить этот позор...

Передавши все хозяйственный дела и заботы снова Павлу Николаевичу, Анна Михайловна отсиживалась на своих антресолях, где все было по-старому, не желая никого видеть, слышать, ни с кем разговаривать. Даже внуки, в которых она недавно не чаяла души, перестали ее вдруг радовать. Ей страшно и

стыдно было показаться на людях: не только выехать к родственникам в Замураевку, но даже в свою деревенскую церковь к обедне. Разве достойна она, родившая таких уродов, стоять в храме, прикладываться к кресту и святым? Как она почувствует себя, когда священник выйдет на амвон со Св. Дарами и провозгласит: «Благочестивейшего самодержавнейшего великого государя нашего»?

Анна Михайловна начала жить затворницей, наложив на себя молчание, пост и молитву. Горько точила слезы, тайные от людей, и молилась:

«Прости меня, Мать Пречистая Богородица! Не отврати меня, окаянную, от Лица Своего, ниспошли благость материнского милосердия Твоего...»

Медленно утихали боли материнской гордости сердца. Какие бы ни были, а все-таки дети, вскормленные ее грудью. От молитв к Богородице, как луч солнышка в темную комнату через щель в ставне, начинала теплиться в душе кроткая лампада материнской любви, и вот все чаще ее молитва обрывается шепотом сквозь слезы:

«Митенька... Гришенька, мои бедные мальчики!» Садилась в старинное глубокое кресло и вспоминала. И всегда Дмитрий и Григорий вспоминались ей маленькими. Оба были такие ласковые, такие добрые и жалостливые ко всем людям, как же могло случиться это страшное? Кто толкнул вас на этот проклятый путь злобы? И особенно непонятно было это, когда думала о младшем, своем любимчике, Грише. Он и после гимназии оставался таким тихим и кротким, верил в Бога, любил ходить по монастырям, такой стыдливый и застенчивый был Гришенька и так жалел всякую живую тварь. Курицы не мог зарезать! Как же и его приплели к такому злодейству? Нет. Если Митю успели смутить социалисты и запутать в свои тенета, то Гриша страдает неповинно!

Подолгу думала теперь Анна Михайловна об этих людях, которые убили самого светлого и доброго из русских царей, сделавшего столько добра русскому народу и России. За что убили? Как злые псы — волка, травили его всю жизнь: стреляли, делали подкопы под улицами, клали мины под мостами, под же-

лезными дорогами, взрывали дворец и, наконец, придумали какие-то снаряды и разорвали ими святого страдальца!

Вспоминалась Анне Михайловне далекая юность, полный света радостный зал дворца, мотив вальса... С благоговейной влюбленностью смотрит она издали на свое земное Божество и тайно завидует тем женщинам, с которыми наследник говорит. И вдруг чудо! Наследник около ее матери. Не помнит, как было дальше. Все было как во сне. Как на крыльях счастья, кружилась она в вальсе и не смела поднять глаз на царственного кавалера. И когда все кончилось, она точно проснулась, и ей не верилось, что она только что танцевала с будущим русским императором, к которому у нее, как у всех институток того времени[121], было и богопочитание, и особенная влюбленность, это странное чувство, в котором поклонение построено столько же и на святости, сколько и на грехе. Святой грех! Этот сон наяву долго потом повторялся во сне подлинном, осложненном бредом влюбленной девичьей фантазии. Снилось, что он поцеловал или тайно шепнул: «Я люблю тебя!».

или что-нибудь другое, совсем уже невероятное, казавшееся наяву и глупым, и кощунственным.

И всякий раз эти далекие сладостные воспоминания сменялись теперь образом царя-мученика на смертном одре, как она видела его на гравюре, выпущенной в свет после цареубийства.

Извергами, исчадием ада казались ей тогда убившие царя люди, и виселица казалась малым наказанием для них. А вот теперь ее собственные дети на *той же* дорожке. Это так же непостижимо и омерзительно, как если бы она увидела, что ее дети точат ножи, чтобы зарезать отца своего.

Еще раньше, до постигшего семью несчастья, она старалась понять это «страшное» русской жизни и пыталась говорить на эту тему со старшим сыном Павлом, который когда-то путался с такими людьми, а потом опомнился и сделался порядочным человеком. Ничего не выходило. Павел сердился, когда она называла их извергами, и с раздражением объяснял, что они хорошие честные люди, желающие сделать всех людей счастливыми.

ми.

— Честные люди, а поступают, как самые обыкновенные воры и убийцы! Грабят казначейства, убивают из-за угла безоружных.

— Но они это делают не из корыстных целей.

— В старину были благородные разбойники, которые грабили богатых и отдавали бедным. А твои благородные рыцари грабят казну, где хранятся деньги, собранные с народа, да и не слышно, чтобы они раздавали их бедным.

— Я вам и говорю, мама: цель благородная, а средства дурные.

— Не дурные, а разбойничьи.

— Но они и сами жертвуют своей жизнью.

— Чужой они жертвуют, а свою даже очень берегут и всегда стараются скрыться и остаться безнаказанными. А когда этих разбойников-убийц правительство наказывает по заслугам, то вот такие, как вы, кричите о жестокости. Они, видите ли, могут убивать, и это не жестокость, а вот когда им платят той же монетой, то это варварство, зверство, жестокость! Все вы гоняетесь за какой-то особен-

ной правдой, а тут точно ослепли!

— С вами, мама, трудно говорить. Вы не видите сущности вещей и путаетесь в мелочах...

— Хороша мелочь — чужая жизнь!

— Трудно с вами. На разных языках объясняемся.

— Я говорю на родном, на русском языке, а вот ты говоришь на чужом и непонятном. На моем — разбойник и убийца, а на твоём — герой, на моем — негодяй и мерзавец, а на твоём — благородный человек.

Павел, махнув рукою, бросал разговор и уходил. И оба оставались с одним раздражением и обидой друг на друга.

Так было когда-то. А вот теперь снова вставал проклятый вопрос об *этих* людях, осложненный раздвоением души. Ведь Дмитрий и Гриша не разбойники, не грабители, не люди без чести и совести, не кровожадные звери, — а вот случилось. Знала она семью Ульяновых и повешенного Сашу. Самая обыкновенная и порядочная дворянская семья, а Саша умный, воспитанный гимназист, прекрасно учившийся, всегда был на хорошем счету в гимна-

зии, кончил с золотой медалью.

Тут Анна Михайловна вынимала платочек и отирала слезы: Сашу, этого мальчика, которого не раз сама она ставила в пример ленивому и дерзкому Дмитрию, повесили! Разве не могло того же случиться и с ее детьми?..

Непостижимо. Страшно думать...

Заговорила как-то с Павлом о Саше Ульянове. Павел рассказал, что Саша героем держал себя и на суде, и во время казни[122]. Он отказался от защитника, заявил, что сознательно хотел отдать жизнь на благо народу и родине, что не боится смерти, потому что на смену ему придут другие и добьются освобождения народа и родины. Открыто заявил, что он делал разрывные снаряды. Обо всем этом было напечатано после казни.

— Непостижимо!

Так хотелось Анне Михайловне побывать в церкви, помолиться и за своих детей, и за бедного повешенного Сашу, но так тяжело было вынести свою скорбь из одинокой комнаты и очутиться под любопытными взглядами чужих и грубых людей. Думала: хорошо бы поехать в какой-нибудь глухой мона-

стырь, где никто ее не знает, встать в полутемном уголке и очутиться только перед лицом Бога! В своей деревенской церкви это невозможно: до сих пор мужики и бабы с ребятишками смотрят через решетку дворовой ограды и сада так, как смотрят люди в зоологическом саду на клетки с редкостными зверями.

XIX

Совсем по-другому переживал катастрофу Павел Николаевич.

Точно случилась неожиданно страшная гроза, и была опасность быть убитым случайно ударившей очень близко молнией, убившей или оглушившей рядом с ним стоявших людей, и хотя его маленько опалило, но он, слава Богу, остался жив и здоров. Грозу пронесло, тучи расползаются, снова обнажая понемногу небесную синеву, горизонты снова раскрываются.

«Все хорошо, что хорошо кончается», — думал Павел Николаевич. И в самом деле. Братьев Дмитрия и Григория могли повесить («у нас это не представляет особых затруднений!») и не повесили. А его, Павла Николаевича,

ча, могли запрятать в тюрьму или отправить в места не столь отдаленные («у нас расплачиваются этим за один образ мыслей!»). Жаль, конечно, выпустить из рук налаженное маленькое дело народного просвещения в губернии, но, в сущности, он давно уже убедился, что все, чего можно было при существующих условиях земского дела добиться, сделано и перспектив не имеется, и вместо движения вперед приходится не только на мертвой точке стоять, а даже пятиться. Теперь уже как белка в колесе: с виду бежит, а все на том же месте колеса, а колесо отодвигается все вправо вместе с усиливающейся с каждым годом общей реакцией во внутренней жизни страны. Это надоедает, раздражает и утомляет. Не раз уже и сам он подумывал бросить службу в губернской управе, бросить город с его сплетниками и вернуться в отчий дом, чтобы упорядочить расстроженные дела имения и сделать его более доходным, в чем теперь явилась настоятельная необходимость. Хотя оба брата и очутились на казенных хлебах и квартирах, но все же и увеличенные для политических дворянского происхождения кор-

мовые[123] совсем недостаточны для порядочного человека с развитыми потребностями духа и тела. Значит, обоих братьев придется взять на отеческое попечение, тем более что лишенный прав состояния Дмитрий на долгие годы обрекается на материальную беспомощность. С Григорием лучше, но все же в течение двух лет он пребудет в тюремном чреве питерских «Крестов»[124], этого усовершенствованного зверинца для политических арестантов. Так или иначе, а все равно — пришлось бы бросить земство и сесть на землю предков. Перспектива тоже не из важных: не научился, как иные помещики, интенсивному извлечению доходов из народного горба, да и народ-то в Никудышевке отучен благородством Кудышевых. Однако другого выхода нет и пока не предвидится, а потому назвался грибом, полезай в кузов — изображай помещика!

Елена Владимировна, давно уже объевшаяся городскими радостями, удовольствиями, сплетнями, благотворительными балами и заседаниями в разных дамских комитетах под председательством губернаторши, полу-

чила склонность к тихой семейной радости и приняла поэтому перемену города на Никудышевку тоже с удовольствием и говорит, что никуда из деревни больше не поедет. А про ребят и говорить нечего. Одно их огорчило: не нашли они под лестницей своего приятеля, усатого жандармского унтера, с которым сдружились за две недели и рассчитывали встретиться.

Вышло так, словно и вправду, все, что ни делается — к лучшему.

Судьба братьев не особенно смущала и беспокоила Павла Николаевича. Плох тот интеллигент, говорил он, который не сживал в одиночном заключении. Все перемелется. Григорий через два года выйдет на свободу и докончит оборванное образование, а Дмитрий, отбыв пять лет каторги и выйдя на поселение, бежит за границу, как делают все порядочные революционеры. Для этого опять-таки потребуются средства. Павел Николаевич считает большим счастьем для братьев, что катастрофа лишь слегка задела лично его. Оставшись на свободе, он теперь может сделаться их материальным оплотом.

Раздражало одно: так глупо, как бараны, полезли на заклание в жертву, а жертва-то эта не только никому не нужна, а прямо вредна в современный исторический момент.

— Идиоты!

И все-таки тайно, в душе он нередко гордился этими родными идиотами. Ведь эти идиоты ныне в глазах всех передовых людей общественных, политических и литературных кругов облеклись в ризы мучеников за священное дело любви[125] и предстают с венцами мучеников за идею на главах своих!

Некоторый отсвет от этих риз и венцов пал и на их брата, Павла Николаевича Кудышева. За последние годы сильно увеличивалась склонность Павла Николаевича к компромиссам с властями, и это давало повод революционно настроенному «третьему элементу» городского и земского самоуправления обвинить Павла Николаевича в отступничестве, ренегатстве, в подыгрывании дворянству (родство с генералом Замураевым) и буржуазии (разумели знакомство с купцом Ананькиным), в заискивании у губернатора (однажды был у него на торжественном обеде

во дни дворянских выборов). Вообще грехов числилось за ним немало. Теперь, когда Павел Николаевич, хотя косвенно, но все же приобщился к такому крупному событию исторического характера, каким считалось второе «Первое марта», когда Никудышевка подверглась нападению, так сказать, общего врага и когда Павла Николаевича как бы изгнали из губернского земства и сослали в глушь, — над главой его снова воссиял нимб «борца с самодержавием» и акции его на бирже Революции сильно поднялись. Сразу все грехи искупил, рот злословия революционно настроенного «третьего элемента», земского и городского, заткнул и опять был зачислен в «стан погибающих за священное дело любви» вместе со своими братьями. Ничего этого Павел Николаевич не хотел и не добивался. Все произошло, как по щучьему веленью. Словно дали орден от Революции. И беда в том, что не было инстанции, куда он мог бы обратиться с отказом от незаслуженного награждения. Хочешь не хочешь, а орден этот носи! И вот что странно: наградить-то наградили, а никто не приезжал поздравить. Все, как тараканы, за-

прятались в свои щели и точно позабыли, что на свете существует Никудышевка, а в ней проживает награжденный орденом Павел Николаевич. Единственным исключением в этом отношении был купец Яков Иваныч Ананькин. Сильно удивил он Павла Николаевича. Приезжал в построенную в березовой роще, купленной у Кудышевых, келью слушать пение кукушек, изрядно там выпил и на обратном пути завернул в Никудышевку. Спросил у ворот кого-то:

— А что, жандар не живет у вас больше?

Узнав, что жандарма давно уже нет, Яков Иваныч слез с тарантаса, с оглядкою вошел во двор и прошел черным ходом в дом. Девка кухонная провела его в кабинет барина.

— К тебе мимоездом, Павел Николаевич! Как живешь-можешь?

— Ничего себе.

— Пронесло, значит? Ну, а как здоровьице мамыши твоей?

— Слава Богу, помаленьку.

— А я приезжал кукушек слушать. Кабы не дела, так бы и не уехал. Уж больно жалостливо поют.

— Вот и мать моя любит кукушек...[126]
Больше любит, чем соловьев.

— Поживи с наше, сам поймешь, что кукушка мудрая птица. Обо всем мире она тоскует, и о нас с тобой тоскует, обо всех живых и мертвых тоскует! Извини, что водочкой от меня припахивает. Невозможно, когда кукушки поют, без этого. Пуцай твоя мамаша съездит туда послушать. Скорби утихнут, а только сладкая печаль останется... Мудрая птица! Ну а что слышать про брательников-то?

— Дмитрия в каторгу направили, а Григорий в тюрьме сидит.

— Ну что ж? На все воля Господня. От сумы да от тюрьмы, сказывается, никто страхования не принимает. Слава Богу, что сам ты благополучен. Вот и захотел в том убедиться самолично и проздравить. Больше ничего! Счастливо оставаться. Тороплюсь.

От чая отказался, попросил мамаше поклон передать и попрощался. Уходя, таинственно шепотом произнес:

— Не горюй! Все перемелется, мука первого сорта останется... крупчатка[127]!

Быстро прошел к воротам, залез в тарантас

и уехал.

Елена Владимировна за два месяца в деревне успокоилась, похорошела, зарумянилась под солнцем и ветрами. Она казалась теперь счастливой женой и матерью. В ней проснулась былая влюбленность в мужа: такой храбрый, гордый, крепкий и сильный, с бронзовым загаром лица красавец, умные глаза горят молодым огнем энергии и власти. С таким достоинством переносит несчастье. С таким человеком — не страшно, как за каменной стеной. Только теперь она поняла и оценила своего мужа, которого так легко могла бы потерять. Потерять? Нет, никогда! Она поехала бы за ним на край света. В Елене Владимировне тайно жила боязнь потерять эту драгоценность. Она готова была положить эту драгоценность под стеклянный колпак, никого к этому колпаку не подпускать и только самой любоваться драгоценной собственностью. Вспыхнуло с новым жаром в Елене Владимировне и поблекшее было в городе материнство. Удар, нанесенный материнскому сердцу Анны Михайловны, слезы которой по ночам не раз слыхивала счастливая Елена

Владимировна, заставляли ее порою вскакивать с супружеского ложа и бежать к кроваткам Пети и Наташи. Любуясь спящими детьми, которые, казалось, сразу выросли, она испытывала безграничную радость, которая захватывала ее душу, как порыв бури. Елене Владимировне хотелось плакать, смеяться, молиться. Она осторожно целовала ручки своих ангелов, ниспосланных ей, конечно, Богом взамен всех пережитых огорчений, и, счастливая от головы до пяток, возвращалась к мужу. И вся радость и весь порыв счастливой матери изливался тогда на Павла Николаевича бурным весенним потоком. От неожиданных названий, подсказанных женским экстазом, Павлу Николаевичу становилось неловко. В самом деле, какой же он «Пончик», «Пупсик» или «Малявочка», когда, как маленькую девочку, носит на руках свою неистовую Леночку? И все-таки он радовался как мальчишка и начинал хохотать среди ночи, пугая мать-затворницу, погруженную по обыкновению в неотступные воспоминания о покойном муже и отнятых детях.

Жизнь прожить — не поле перейти. Не счесть путей жизни, не изведать всех дорог ее. Идет человек по большой знакомой дороге, а навстречу неожиданный «случай» кричит: «Сворачивай!» И нельзя не послушаться, сворачивает. Если пристальнее взглядеться в чужую и свою жизнь, то непременно откроешь эти всемогущие случаи, от которых начинаются крутые повороты нашей жизни.

Пошел в юности Павел Николаевич правду искать русскую, дошел до бунтарской «Золотой грамоты»[128], — случай: зашел к сотоварищу, а там — обыск.

— Сворачивай с дороги!

Бывший революционер сделался почтенным земским деятелем и мирно пошел новой дорогой, уверенный в том, что никуда сворачивать не придется.

Но вот в Петербурге на Невском проспекте поймали трех студентов с метательными разрывными снарядами, — и снова:

— Сворачивай с дороги!

И вот снова в отчет доме в шкуре помещика.

Сперва совсем счастливым себя почувство-

вал, но скоро опять голова кругом пошла от хлопот и забот по расстроенному имению. Никак всех концов не соберешь. Никак спутанного годами хозяйственного клубка не размотаешь. Начал все в систему приводить, всех жуликов на чистую воду вывел и вышвырнул. Весь образ жизни своей перевернул: раньше, в городе в десять утра вставал, часа в два ночи ложился. Теперь с шести на ногах, в десять — в постели. Про фраки и визитки и думать перестал, лакированные ботинки от тоски скоробились и высохли. Всегда в поддевке и высоких сапогах. Чуть-чуть пообедать поспекает. Так в новое дело ушел, что и без общества не скучает. Никого ему не надо. Хозяйство да семья. И так кстати соседи и знакомые заглядывать боялись. В уезде долго слухи ходили, что в никудышевской усадьбе вместе с хозяевами жандарм проживает.

Павел Николаевич и фундамент новый под новую жизнь подвел. Не революция, а эволюция. И главное — эволюция культурная. Политическая в свое время сама придет. Какая может быть революция в стране безграмотных полуварваров? Мужик словно только

что вылупился из пещерного человека. Надо поднимать народ не убийствами царей, жандармов и разных генералов, а терпеливой культурной работой. И для этого не надо ходить в народ с пропагандой чуждых народу социалистических утопий, а просто жить на глазах народа, непрестанно общаясь с ним на деловой почве. Если бы интеллигенция не разбегалась по центрам в погоне за исполинскими делами, а делала крепко, сидя на местах своих по провинции, добросовестно свое маленькое дело, то вся Россия давно покрылась бы маленькими культурными клетками и постепенно бы образовала культурную ткань, захватывающую и самый народ. Не надо опускаться по-толстовски до народа, а надо поднимать его. Если каждый культурный образованный человек, живущий среди народа, поднимет хотя бы двадцать, десять человек, полуварваров, на два вершка выше, — в общем это уже шаг в истории. История и сама ходит не гигантскими, а маленькими шажками. И ее не обогнать никаким героем. Глупо воображать, что мы, русские, едва выскочив из пеленок крепостного права, можем пере-

сколотить в социализм или даже в республику.

Так рассуждал теперь Павел Николаевич, когда после трудового дня подводил его итоги. Вот сегодня. Двух крестьянских коров слушал со своим породистым быком; уговорил мужиков купить миром веялку; рассказал одной бабе, почему не следует новорожденного ребенка кормить собственной хлебной жвачкой; объяснил пещерным людям, почему следует чаще мыться: ты дышишь не только легкими, но и порами кожи, и объяснил, что такое эти поры... Еще что-то было! Ах, да... Ну, это уж просто доброе дело, заставляющее и дающего и берущего помнить о самой главной истине, что все мы прежде всего — люди, а потом уж мужики или помещики. А было так.

Поймал в своем лесу порубщика и подарил ему два дерева, которые он успел срубить, причем объяснил, что дело тут не в одной собственности, а в том, что если каждый мужик будет рубить самовольно лес, где ему вздумается, то скоро Россия останется без лесов, реки обмелеют, наступят засухи и неурожай, а потом — голодуха; пожертвовал кишку

к сельской пожарной машине — общественная вся в дырах; подарил Мишке книжку — «Как и откуда пошла Русская земля»[129], — народ совершенно не знает истории своего государства, а книжка одобрена министерством.

Перед самым сном подумал: надо убедить никудашевцев построить мирскую баню. Прошлой зимой ночью погорели все бани, рядком стоявшие у замерзшей речонки. Строиться не на что, да и скупятся, а потому ходят немытыми или парятся в печке. Обовшивят все. Лесу он, так и быть, даст, даже и печь на свой счет сложит, а работают пусть сами мирской помощью. У них есть плотники.

Свободные от хозяйства часы Павел Николаевич отдавал семье, детям и вопросам их воспитания. Близился школьный возраст, но они решили с гимназией не торопиться: наша средняя школа коверкает ребят и физически и духовно да притом еще плодит незрелых революционеров. Лучше подольше не отдавать их в гимназию. Вот тут и не выходило согласия.

Павел Николаевич находил, что жена и ба-

бушка смешивают понятие о воспитании с хорошим тоном, упуская из виду, что времена барства и всяких сантиментов прошли и что родина требует не чувствительных и мечтательных идеалистов и утопистов, а людей крепкого здоровья и трезвой мысли, труда и практического опыта. Павел Николаевич — позитивист и реалист. Он хочет сделать из детей, особенно из сына, полезного гражданина. А воспитывать гражданское сознание следует с раннего детства на живом примере. По теории Павла Николаевича никаких прав у ребенка не оказывалось, а были только обязанности. Право всякой шалости и озорства оказывалось всегда в противоречии с каким-нибудь гражданским долгом. Как гуманист, Павел Николаевич признавал лишь моральные наказания: вразумление и разъяснение, пробуждение совести и стыда, возбуждение раскаяния в содеянном или сказанном. В крайности — лишение общения с людьми, животными и растениями, ибо одиночество содействует нравственному самосозерцанию.

— Где бы мальчишку хорошенько отодрать — целая история! — ворчала бабушка.

Елена Владимировна не соглашалась:

— Бить нельзя. Шалости у детей так же естественны, как смех или слезы.

Однако обе были против одиночного заключения и отцовских речей. Эти обвинительные и обличительные речи пробуждали в ребятах непролазную скуку и ненависть к гражданским обязанностям. Бабушка ворчала:

— Сам болтун смолоду был и детей болтунами сделает!

Мать жалела детей, скрывала их шалости от отца, а бабушка, когда не было поблизости родителей, выправляла родительскую систему, давая то шлепок, то подзатыльник внукам, приговаривая:

— Я по старому способу. Еще и ремнем выдеру...

В то время как Павел Николаевич находил совершенно ненужным скрывать от детей правду жизни, даже самую грубую, мать с бабушкой старались держать их подальше от всякой прозы и грязи житейской действительности.

— Никаких аистов, — говорил Павел Нико-

лаевич и таскал Петю с собой на скотный двор, где раскрывались все тайны половой жизни животных.

Из-за этой именно крайности между Малявочкой и его женой и произошла первая крупная ссора, после которой дети были как бы поделены и лишь озорник Петя остался под опекой отца. Относительно сына Павел Николаевич не шел ни на какие уступки жене и бабушке, и им приходилось действовать подпольными путями, пользуясь отсутствием отца. Мать любила наряжать детей в изящные костюмчики, завивала им волосы. Отец сперва мирился с этими пустяками, но в один прекрасный день, увидавши Петю в костюме пастушка из «Пиковой дамы», остриг его под гребенку и сердито сказал в пространство:

— Никаких кудрей! От них только вши разводятся.

Отец дарил детям исключительно полезные назидательные игрушки: лопату, тачку, лейку, модель паровой машины, атлас домашних животных. Мать дарила игрушечный театр, рыцарские доспехи, волшебную флейту, ящик с фокусами, сказки Андерсена.

Отец старательно искоренял предрассудки и суеверия, а попутно с ними, и суеверия религиозные, которые понимались им довольно расширительно, а мать с бабушкой наполняли души детей Богом и религиозной мистикой.

Елена Владимировна получила типичное для столбового дворянства того времени воспитание[130]. И дома, и в Институте благородных девиц, куда она попала с девяти лет, ее отстраняли от всех забот и мелочей повседневной жизни. И дома, когда-то в богатой помещичьей семье, и в институте она оставалась «птичкой Божией, не знавшей ни заботы, ни труда», или нарядной и веселой стрекозой, для которой «под каждым кустом был готов и стол и дом»[131]. Дома она по малолетству не успела разглядеть оборотной черной стороны человеческой жизни, а в институте, в этом волшебном, отрезанном от действительной жизни замке, тщательно берегли чистоту душ и прелестную наивность своих «принцесс» и лишь изредка показывали уголки подлинной жизни «избранного общества» в праздничном облачении душ и тела:

раз в год вывозили в театр, в оперу, где все, от театральных подмостков до капельдинеров, изображало счастливых людей; раз в год устраивали торжественный бал в институте, куда допускалась публика лишь по особому строгому выбору. Даже Богу молились они в отдельной своей церкви. Они беспечно порхали по наукам и искусствам, раскрывавшим им жизнь тоже с одной величественной и красивой стороны, изучали очищенную от прозы жизни литературу, обучались музыке, новым языкам, танцам, хорошим манерам, красивому рукоделью, красивым разговорам. Они выпускались из волшебного замка радостными, наивно-счастливыми, мечтательно-чувствительными, влюбленными в жизнь, добрыми ко всем людям.

Встреча с подлинной неприкрашенной жизнью не всегда для этих принцесс проходила благополучно. Так случилось с Еленой.

Отец ее, генерал Замураев, был настоящим столбовым дворянином: полагал, что на сем столбе зиждется если не весь мир, то все русское государство, с царем во главе. Он не понимал, что так было, но с падением крепост-

ного права стало иначе. Не понимал, что освобождение народа и последовавшие за ним реформы — неизбежная дань времени, и искренно был убежден в том, что Александр II, выпустив из рук вожжи, сам подготовил свою гибель. Не один генерал Замураев так думал. У него было много единомышленников в среде разоряющегося дворянства того времени. Конечно, генерал Замураев слышать равнодушно не мог о соседях Кудышевых, весь род которых был заражен свободомыслием и зловредными идеями освободительного движения. Только деловая необходимость и глубокое уважение и жалость к бывшей княгине Кудышевой заставляли его изредка сталкиваться с ее старшим сыном, самому заезжать к Анне Михайловне и принимать у себя в доме Павла Николаевича, этого «бунтаря и мошенника, придумавшего поднять мужичье фальшивой царской грамотой против помещиков».

И вдруг скандал на всю губернию: роман дочери с этим ненавистным субъектом!

И вот мечтательная влюбленная принцесса из волшебного замка впервые сталкивается

ся с оборотной стороной жизни, где столько непонятной злобы, столько обиды, несправедливости и жестокости. Храбрый генерал, принимавший участие в войне с турками за освобождение славян[132], не раз побеждавший в открытой схватке турок, не одержал победы в войне с дочерью: она бежала из родительского дома и повенчалась со своим рыцарем. Жалко было бедного глупого папочку, убежала вся в слезах и захватила с собой папочкин портрет, но под венцом стояла счастливая и поморщилась досадливо, когда священник спросил, не обещалась ли кому другому. Разве есть еще другие такие, как ее рыцарь?

Давно все это было. Быльем поросло. Папочка сперва видеть не хотел и пророчил, что ее муж, а с ним и сама Елена в тюрьме сгниют, но когда Павел Николаевич сделался членом губернской земской управы[133] — сменил гнев на милость: простил их. Приехал посмотреть внучат, поплакал и задним числом благословил иконою Спасителя.

Конечно, семейная катастрофа, неожиданно обрушившаяся на братьев Кудышевых в связи с новым злодейством революционеров,

оглушила генерала не меньше, чем Анну Михайловну. Поднялась в душе вся прежняя боль от нежеланного родства. Генерал прекратил всякое общение с Никудышевкой и два месяца строго выдерживал этот карантин. Но потом, повидавшись с губернатором и узнавши лично от него, что его зять в деле совершенно не замешан, и особенно после того, как губернатор пожалел, что случайные, не зависящие от него обстоятельства отняли у земства столь просвещенного и полезного работника, и высказал при этом надежду, что все это перемелется и Павел Николаевич вернется к общественной деятельности, генерал Замураев заехал в Никудышевку и не только ни единым словом не попрекнул дочери, но даже занял у зятя пятьсот рублей.

— Свои люди — сочтемся.

Навестила Никудышевку тетя Маша, сестра Анны Михайловны, с дочкой Сашенькой. Не узнать было прежней жизнерадостной хохотуньи, гимназистки из уездного городка Алатыря. Как послушница из монастыря: молчаливая, испуганная, бледная, не знает, куда девать себя.

Тетя Маша тоже печальная, растерянная. Заперлись две старухи в комнате на антресолях и долго шептались там. Позвали к себе Елену и снова заперлись. К обеденному столу все три пришли с заплаканными глазами и с испугом мимолетно посматривали на Сашеньку, которая ничего не ела и точно дремала с раскрытыми глазами.

Сашенька кончила гимназию и поступила учительницей в городскую школу в Алатыре, но мать говорит, что Сашенька все прихварывает, страдает головными болями и доктор советует отказаться от места, потому что шум в классе и ребячья суматоха расстраивают ей нервы.

Когда говорили про Сашеньку за обедом, она не поднимала глаз на родных и сутулилась, как старушка.

— Все в монастырь ходит...

— Уж ты, Саша, не влюбилась ли в какого-нибудь монаха? — пошутил Павел Николаевич.

Сашенька выскочила из-за стола и убежала на антресоли. Сколько ни звали, не шла. Заперлась в теткиной комнате.

— Не шути с ней так глупо, — строго сказала Елена мужу.

Ночью Елена раскрыла мужу тайну. Саша позапрошлым летом, когда гостила в Никудышевке, влюбилась в Александра Ульянова и, когда прочитала, что его повесили, повесилась. Только случайно удалось спасти: мать услышала ночью стук от падения стула и побежала посмотреть. Нашла на столе записку: «Проклятые люди!» — и больше ничего. Теперь хочет уйти в монастырь...

Долго не спали и говорили о Сашеньке. Елена тогда заметила, что Сашенька неравнодушна к Ульянову, но не придавала этому особенного значения. Молодежь всегда влюблена. Зиночка Замураева была, кажется, влюблена в Ваню Ананькина, Григорий — в Сашеньку. Как же быть? Надо что-нибудь предпринять. Придумали взять Сашеньку к себе — пусть занимается с Петей и Наташей...

Тетя Маша прогостила целую неделю и уехала, а Сашеньку уговорили остаться. Елена Владимировна и тетя Аня своим теплым и осторожным участием сразу привязали к себе несчастную девушку, и она почувствовала се-

бя лучше, чем дома, с матерью, безжалостно растравлявшей ее пораненную душу своими вразумлениями опомниться, понять, что таких негодяев, как этот Ульянов, нельзя не вешать, что вся жизнь впереди и еще не раз будешь влюбляться:

— Если бы все после первой неудачной любви вешались, так на земле, милая, давно и людей не осталось бы! Да и нашла же кого полюбить!

Слишком проста и старомодна была тетя Маша, чтобы понять и глубже взглянуть на страшную драму молоденькой порывистой девушки, с виду такой легкомысленной, а по натуре глубокой. Тетя Аня только на два года моложе ее, так же простовата и старомодна в своих взглядах на девичьи увлечения и любовь вообще, но переживаемое страдание и пережитая уже угроза потерять детей на виселице, как стало с Ульяновым, сделали ей понятным и близким несчастье Сашеньки.

Сашенька стала освобождаться от преследующих ее мыслей о смерти и монастыре, чему так хорошо помогали дети, Петя с Наташей. Незаменимое чудодейственное сред-

ство — дети около нас, постигнутых несчастьем, потерей близких и любимых. Давно ли Анна Михайловна пребывала в полном отчаянии и мрачно отсиживалась в запертой комнате, не желая никого видеть и слышать? Внучата вернули ее к жизни. Разве можно не отворить комнаты, когда тоненький чистенький голосок за дверью с обидой, чуть не со слезами, требует:

— Бабуся,пусти же меня!

Разве можно остаться холодным и не вернуться к жизни, когда маленькие теплые руки обовьют шею и лизнут мокрыми губами? А потом очень просительно протянут:

— Бабуся! Давай играть: я буду Красная шапочка, Петя — бабушка, а ты — волк!

А теперь вместо бабуси — Сашенька. Целый день с маленькими радостными, любопытными людьми. Не дают ни тосковать, ни думать о смерти и монастыре. Поминутно смешные неожиданности, смешные вопросы, открытия. Правда, и дом, и двор, и флигель, теперь пустой и заколоченный, — все напоминает о лете 1886 года, о Саше Ульянове, а в парке все по-прежнему стоит под дубом по-

кривившаяся, врытая в землю скамья, на которой они сидели в лунную ночь и чуть-чуть не объяснились в любви. Но это такое сладкое страдание! Ведь это правда: люди сперва страдают, потом начинают любить свои страдания.

Все довольны, что есть в доме Сашенька. Все ее здесь любят: и дети, и взрослые, и прислуга. Как-то и война из-за воспитания оборвалась. Точно перемирие заключили. Впрочем, Павел Николаевич и так находился в отступлении. Хозяйственные дела заедали. Вот сейчас только ушли мужики, с которыми все еще продолжают разговоры о постройке мирской бани. Уговорил уже однажды, согласились, а толку никакого нет. Сегодня пришли аренду внести. Один протянул деньги, а на рукаве вошь. Павел Николаевич увидал вошь и вспомнил про баню. И опять целый час разговоры. Как будто бы согласны, а все, дураки, чего-то боятся.

— Баня оно, конечно... без бани несподручно. Вот сход будет, мир свое решение даст.

— Да ведь сход был и согласились?

— Бабы мутят маленько... Малолюдно, де-

скасть, было, не всем миром, значит.

— А мы что же? Мы не препятствуем, строй!

— Стройте сами, я дам лесу и поставлю печь. А труд ваш.

— Почему для вашей милости не потрудиться?

— Не для меня будете трудиться, а для себя. Не я, вы будете мыться!

— Правильно.

Мужики ушли. «Кажется, уговорил-таки», — думал Павел Николаевич.

А мужики после этого такой разговор вели между собою:

— И почему им охота нас в бане мыть? Своего, говорит, лесу не пожалею, печь и котел поставлю, только стройте...

— Что-нибудь не зря же.

— Гигиену, байт, надо соблюдать...

— Они вымоют, — шутил деревенский остряк. — Вместо веников розгами станут нас парить. Соскучились, что царь Ляксандра ослобонил нас.

— Баню поставим, а потом взыскивать будут. Взыщут, сколько и вся баня не стоит. Чи-

сто вымоют!

Мужики с бабами хохотали и над барином, и над самими собой.

— Аренду сбавил. А про то не думает, сколько денег мы за нее на своем веку переплатили. Сосчитать, так и земля-то эта давно наша.

— Раньше выкупными маяли, а теперь арендой. Одно на другое и вышло.

— Царя-ослобонителя убили, а теперь нового хотят...

— Сказывают, что испугался новый-то, а то уж и манихест в кармашке держал, чтобы всю землю нам...

— И что такое? — пищала бабенка. — Быдта добрые они, зря не обижают, а все что-то в своем уме прячут, не показывают наружу.

XXI

В старомодном поместительном рессорном экипаже, запряженном тройкой сытых лошадей, обложившись подушками, чемоданами и ларцами, ехала никудышевская старая барыня в Симбирск хлопотать о дополнительной ссуде из Дворянского банка.

С Ванькой Кудряшёвым Анна Михайловна боялась ездить: гонит лошадей, не разбирая

места, того и гляди — вывалит, и никак не углядишь — непременно ухитрится на останках выпить; а тогда не разбирает ни гор, ни оврагов, свистит, как Соловей-разбойник, с ним недолго и голову сломить...

На козлах сидел любимец старой барыни, караульный мужик Никита, тот самый, который при обыске и допросах рассказал всю правду о барских разговорах. Павел Николаевич его прогнал, но спустя месяц старая барыня заступилась и уговорила сына принять Никиту на старое место. А Никита и лошадей жалеет, да и сам быстрой езды побаивается. Осторожный человек, и никогда пьяным не увидишь.

Мягко раскачивался и нырял на выбоинах экипаж с опущенным верхом, от которого пахло старой кожей и молью, и так умильно и ласково пели колокольчики под аккомпанемент бубенцов, что почти всю дорогу Анна Михайловна дремала, носясь смутными воспоминаниями в золотом веке прошлого. Чего не вспомнишь, чего не увидишь и где не побываешь долгой дорогой под ласковую воркотню колокольчиков и бубенчиков? Повида-

ла себя девочкой, повидала папу, маму, бабушку с дедушкой, побывала в Смольном институте, повидалась со всеми учителями, классными дамами, даже со швейцаром! Была на придворном балу и протанцевала там тур вальса с наследником-цесаревичем, потом встретила с красавцем корнетом Кудышевым и влюбилась в него, потому что он был очень похож на наследника: такие же усы и прическа... Никого нет! Все умерли!

Вздрогнув, раскрыла глаза и ненадолго возвратилась в мир настоящего.

Здесь все печально, все беспокоит и раздражает.

— Что у тебя экипаж-то скрипит, как немая телега?

— Мазал, ваше сиятельство, да не выходит. Старый он уж. Значит, так уж скрипеть ему полагается... Ничего, ваше сиятельство, не сделаешь. Человек, ежели старый, и тот скрипит. Тарантасу-то этому, поди, не меньше годов, чем нам с тобой вместе!..

Да, конечно: деды оставили.

И вот снова мысль убегает в золотой век прошлого...

Был тихий августовский вечер, когда окончательно покинули Анну Михайловну дорожные грезы. Открыла глаза: лошади стоят, Никита подвязывал колокольчики. На вечернем небе возносились румяно-золотистые перистые облака. На синеве небес по горизонту, словно четкий рисунок на земле, вставал силуэт родного города, тонущего в садах, над которыми вздымаются купола и кресты с детства знакомых храмов. В грустной тишине вечера гудели далекие колокола, от которых щемило сердце грустью невозвратимости...

Так давно уже Анна Михайловна не была в Симбирске!

Милый, родной, близкий, как мать, город. Она привыкла гордиться им. Да и как было не гордиться? Столько славных имен дал этот город России!

Одни имена связаны с большими историческими событиями, другие — с царским тронном, иные с литературой или наукой. Отсюда вышли герои, спасшие государство от кровавого разгрома Стеньки Разина, — князь Юрий Бярятинский[134] и Иван Милославский[135], отсюда знаменитый первый историк государ-

ства Российского Карамзин, отсюда Тургеневы[136], один учитель Карамзина, другой поборник освобождения крестьян, отсюда Языковы[137], один знаменитый в свое время ученый, другой — знаменитый поэт, отсюда романист граф Соллогуб[138], изъездивший на своем «тарантасе» весь Симбирский край, отсюда родом Аксаковы[139], один из которых написал бессмертную «Семейную хронику», отсюда писатель Гончаров, поэт Минаев[140], отсюда давшие столько известных государственных людей родовитые дворяне — князья Вяземские, Трубецкие, Баратаевы, Орловы, Зубовы, Бестужевы, Анненковы. Казалось, так прочно связали эти имена родной город с русской историей, с государственным и культурным строительством русского государства, с самим тронем царей Романовых. Куда же подевались все культурные дворянские гнезда, эти оазисы в пустыне непроходимой темноты и невежества населения, густо перемешанного с мордвой, чувашами и татарами? Как памятники на могилах, сохранились эти имена в некоторых названиях сел и деревень: Аксаково[141], Языково[142], Карамзинка[143], Ба-

ратаевка. Вместо именитых дворян в их былых гнездах сидят купцы да фабриканты-суконщики: Шихобаловы[144], Скурлыгины, Виноградовы, Ананькины...

Тут Анна Михайловна вздохнула — она подумала: «Да вот еще цареубийцы Ульяновы да помогающие им Кудышевы!»

Она отерла слезу и впилась затуманенным взором в приближавшийся с каждой минутой, развертывающийся вширь и вглубь город. С невыразимой тоской и любовью, с горьким упреком и с нежным любованием смотрела она на блудную столицу старого столбового дворянства. Вот так же она часто смотрела теперь на фотографические портреты Дмитрия и Григория, навеки запятнавших и род бывших князей Кудышевых, и все столбовое дворянство Симбирской губернии.

Немало горькой правды в мыслях старой никудышевской барыни.

Ни памятью к своему прошлому, ни благодарностью к предкам, творцам своей культуры и государственности, мы, русские, не отличаемся. Симбирцы не были в этом случае исключением. Они не помнили и не гордились.

Для живых симбирцев история и культура казались скучной мертвечиной, бесполезной и ненужной живым людям. Были, конечно, исключения в виде одиночек, любителей своей губернской археологии и древностей, но не с кем было им делиться своими изысканиями. Никто не интересовался. Некогда! Разве иногда летом, путешествуя по Волге, столичный житель или обрусевший иностранец вздумают остановиться в Симбирске и осмотреть город. И достанется же тогда этому любознательному человеку! Любители местных древностей и археологии затаaskaют по городу и его окрестностям, удивляя его множеством достопримечательнейших мест и предметов. А так, вообще-то, никто из жителей не интересуется и знает свою историю не больше Никиты, раза три-четыре в жизни побывавшего в Симбирске и теперь при въезде в город почувствовавшего себя, как в чужом незнакомом лесу.

А вот Анне Михайловне так знакомы эти тихие улицы, прячущиеся в садах дома, длинные заборы, магазины, площади-лужайки с белыми разгуливающими на них гусями. Точ-

но всю жизнь прожила в этом городе и никуда не уезжала!

— Поезжай к памятнику Карамзина!

— Это что же такое будет, про что говоришь-то?

На лице Никиты тупое выражение растерянности.

— Не знаешь памятника Карамзину?

Никита развел руками.

— Поезжай налево, потом свернешь на площадь!

Когда выехали на площадь с памятником, Анна Михайловна сказала:

— Ну вот он, памятник. Видишь?

— Мы зовем эту штуку чугунной бабой. Кабы ты, ваше сиятельство, сказала — к чугунной бабе, я бы знал куда.

Вот уже лет около пятидесяти стоит в Симбирске памятник Карамзину[145] в форме вознесенной на пьедестал музы Клио, — и все нечиновные, а простые жители, не знающие, что на свете существует какая-то история, называют памятник чугунной бабой.

— А почему, барыня, эта голая баба здесь поставлена?

— Как тебе сказать... На память об одном ученом человеке.

— А нашто голая?

— Муза эта. Клио называется. Богиня.

— Не православный, значит, был, что идолицу поставили?

Поди вот тут, объясни! Вспомнила, как однажды была в Баратаевке. Там в бывшем барском парке сохранилась еще пещера, в которой когда-то происходили собрания масонской ложи «Ключ добродетели»[146], основанной князем Баратаевым. Когда-то в этой пещере на каменном столе лежали меч и череп.

Мужики меч украли, а пещеру обратили в отхожее место.

На повороте Анна Михайловна узнала исторический дом, в котором родился писатель Гончаров, на этом доме прибита памятная дощечка, которой старый дом продолжает гордиться перед новыми, но жители этого не замечают: они полагают, что на дощечке значится фамилия домовладельца. Кстати сказать, есть в городе номера, когда-то названные в честь поэта «языковскими». Написано «Номера для г.г. приезжающих», но, за неиме-

нием таковых, туда пускают блудных горожан с проститутками. А было время, когда в этом старом доме жил поэт Языков и принимал своего друга Александра Сергеевича Пушкина.

Все жители знали Бову-королевича, Соловья-разбойника, Стеньку Разина и Емельку Пугачёва, но лишь избранные знали Пушкина и слышали о том, что на свете жил-был поэт Языков. А вообще-то порядочные люди стараются о «языковских номерах» умалчивать, а непорядочные при упоминании о них подмигивают многозначительно. Зато всякий от мала до велика знает живую знаменитость — Якова Иваныча Ананькина. Горожанин удивленно посмотрел бы на вас, если бы вы вздумали спросить его, кто такой и где живет Яков Иваныч. Ни Пушкина, ни Языкова, ни Карамзина не знали, а про Якова Иваныча рассказали бы вам столько, что целую книгу можно было бы написать.

Пришлось Анне Михайловне проехать и мимо этой знаменитости. Увидала свой дом, бывший «дворянский ампир», и отерла платочком слезу. Так жаль и стыдно. Точно ку-

пек Ананькин, изуродовавши купленный дом, оскорбил лично и ее, и всех ее предков. И обиднее всего, что придется сломить свою гордость и побывать у этого богатого мужлана: всего легче и скорее продать этому Ананькину новый урожай.

— Поезжай поскорее! — приказала Анна Михайловна Никите, желая быстрее оставить позади свой бывший дом.

Никита ударил по лошадям, и экипаж затрахтел, как чахоточный, быстро покотившись по булыжной мостовой, привлекая внимание и вызывая улыбочки прохожих и проезжих.

Проехали «Дворянские бани», «Дворянские номера», «Дворянский банк» и «Дворянскую опеку», подъехали к небольшому особняку, на парадной двери которого до сих пор еще блестела медью дощечка с надписью «Павел Николаевич Кудышев».

Одновременно с обыском в Никудышевке по особому распоряжению из Петербурга был произведен тщательный обыск и в покинутой только что Кудышевыми городской квартире. Павел Николаевич приехал в город сда-

вать свои служебные дела, прислугу рассчитал, квартиры не привел в порядок, запер и уехал в Никудышевку.

— Точно Мамай прошел, — ворчала Анна Михайловна, глядя на хаос в комнатах. Приказала поставить лошадей на постоялом дворе, задать корму, а самому Никите вернуться: надо хоть мебель-то на места поставить.

Никита задержался часа на два. Когда пришел, Анна Михайловна сделала ему выговор и приказала поставить самовар (провизия с собой). Никита не принял выговора:

— Ты вот, ваше сиятельство, небось чайку попить захотела, а ведь никого не везла, а в подушках ехала. А как полагаешь: не грех лошадок, на которых мы с тобой, ваше сиятельство, ехали, напоить да накормить?

— Долго ли это сделать!

— Скоро только слово сказывается. Не напимшись, лошадь кушать не будет. Вот и ты, ваше сиятельство, сперва чайку запросила. А поить лошадей сразу нельзя, надо чтобы остыли. Вот и высчитай время-то!

Анна Михайловна сразу смирилась, улыбнулась. Нравились ей в Никите прямота слов

и правдивость, с которой он всегда говорил со всеми, не исключая господ и властей. А главное лошадей уж очень любит. С двенадцати лет до поступления к ним в караульщики на почтовом пункте служил. До пяти-десяти лет ямщикчил. Бросил это дело только потому, что «оторвалось что-то внутрях, не то почки, не то печенка, дохтур сказывал, помрешь, брат, ежели на козлах трястись и дальше будешь».

Пили чай вместе: барыня за большим столом около самовара, а Никиту за маленький, в уголок, посадила. Во время чаепития и разговоров понюхала, повела носом и говорит:

— Откуда это винищем понесло?

Посмотрела на подававшего чашку Никиту и спрашивает:

— Не от тебя ли это?

— Верно, ваше сиятельство. Стаканчик выпил с устатку.

— А я думала, что ты не пьешь.

— Да ведь это как сказать, ваше сиятельство. Ты меня пьяным видела? Вот то-то и оно-то. Я с умом пью, не как другие. А при нашем деле невозможно. Я стаканчик выпью, у меня опять и почка, и печенка на своем ме-

сте. Я с двенадцати годков на козлах сидел. У меня на эфтом месте — кора, вроде как на пятке...

Опять рассмешил старую барыню, даже чаем поперхнулась.

— Что же ты землей не занимался?

— А ты, ваше сиятельство, перво-наперво дай ее мне, землю-то! Как молодой был, все думал: вот, дескать, деньжонок заработаю, своих лошадок заведу, станцию буду держать. А теперь куда уж!

— Ты вдовый или...

— Вдовый, ваше сиятельство, полагаю так, а сказать достоверно не могу тебе. Ушла от меня баба-то да и пропала без вести. А все из-за лошадей же. Бывало: брось да брось свою должность. Ни одной, дескать, ночки тебя на месте нет: то в разъезде, то в конюшне. Скучно оно, конечно, одной, бабенка молодая да озорная попалась. А я не могу без лошадей. Ну вот и убегла в город, в кухарки, что ли... Искал я ее сперво-началу-то. Думал — баба не иголка, в щель не завалится. А вот не нашел. Сказывали здесь, что в Нижний на ярманку поехала да и не вернулась.

— А ты через полицию искал бы.

— Я уж это, ваше сиятельство, пробовал. Есть, говорят, время нам ваших баб искать, у нас, дескать, своей работы по горлышко. Конечно, ежели какая благородная пропадет — найдут, а наших баб разя станут искать? Кому нужно?

— Променял семейную жизнь на лошадиную, — сказала Анна Михайловна с упреком.

— Я сызмальства к лошадям привык. Я каждую лошадь наскрозь вижу. Вот как скажу: ваши барские лошади, хоша и много жрут овса, а для разгону не годятся. Зажирели от господских хлебов. Если их поставить на правильную работу, и года не выдержат. Вот у меня была парочка: прямо собаки, не лошади!

— Ты говорил, что своих у тебя не было?

— Да не мои, хозяйские, а я только в своем распоряжении эту парочку имел. Я на ней за полчаса вашу тройку обошел бы.

— Чужим добром расхвастался.

Никита маленько обиделся, насмешки не принял.

— А это как сказать, ваше сиятельство. Своих лошадей мне Господь не даровал. Мо-

жет, оно и лучше. Христос-то сказал: кому много дано, с того много и спросится. Значит, грех тебе меня чужим добром попрекать. Вон царь Ляксандра хотел сделать поправку, чтобы ни вам, ни нам обидно не было, а его, ба-тюшку, убили. Что будет впереди, может, те-перешний царь нас вспомнит. Окромья Бога да царя некому нас пожалеть...

Анна Михайловна вспомнила про никитинское покаяние при допросе и решила прекратить щекотливый разговор. Не поймет, перевернет, и выйдет опять неприятность. Послала Никиту ковры на дворе выбить от пыли, а сама стала раздумывать и записывать, что из бросаемой квартиры в деревню взять, а что из мебели наскоро продать за бесценок скупщику. И все ей было жалко. Каждая вещь — как родная. С каждой связано какое-нибудь воспоминание, какая-нибудь радость, убежавшая в невозвратность...

На другой день проснулась рано: колокола разбудили. Господи, да сегодня Спасов день [147]! Вспомнился любимый Спасский монастырь и неудержимо потянул к себе встревоженную душу. Вот такая память: свой поми-

нальник в сафьяновом переплете на столике оставила; нарочно приготовила с вечера накануне отъезда и позабыла. На листочке стала имена писать, сперва за здравие, потом за упокой. За здравие — написала и удивилась: «Неужели некого больше?» Даже страшно сделалось: так мало живых осталось, всех смерть покосила. Вздохнула и за упокой стала писать. Написала раньше всех «В бозе почившего Государя императора Александра Николаевича», и тут точно дьявол созорничал: вспомнила про повешенного Сашу Ульянова. Остановилась рука. Великое смущение в душу толкнулось и влезло. Как же это можно и за царя, и за убийцу — на одном листочке. Писала имена умерших родных и близких, а мысль о Саше Ульянове не отходила, мешала вспоминать по порядку и близости. И точно кто-то напомнил, как распятый Христос за врагов своих молился. Пошла, но вернулась и дрожащей рукой приписала в конце имен «за упокой» еще одно — Александра. Вздохнула. Там уж как сам Господь рассудит. Наняла извозчика и поехала в Спасский монастырь.

Утро было светлое, радостное, прозрачное

и со всех сторон из садов наносило ароматом спелых яблок: то румяного аниса, то пудовщины, то антоновки. Такие знакомые запахи, уносящие детство и рождающие грустную радость. Сверкнула в прорезь поперечной улицы зеркальной гладью Волга, и опять в душу птицей вещей влетела грустная радость далеких-далеких воспоминаний: вспомнилось вот такое же радостное утро и первое путешествие по Волге с молодым мужем. Забилась в душе залетевшая птица порывом в невозвратность и улетела, оставив тоску одинокой старости...

С тоской этой вошла она и в старый, знакомый с детства монастырь. Все здесь как было. Ничто не изменилось. Как будто бы и монахини с монашками и клирошанками все те же самые. Только у Господа все неизменно. И поют все так же сладостно, плакать хочется, и солнышко все так же лучами огненными через окно в куполе храм озаряет, словно мечом архангельским, и большой образ Спаса Нерукотворного смотрит в полумраке притвора.

Почти всю обедню на коленях простояла в полутемном притворе. За всех молилась, за

живых и за мертвых, за убийц и ими убиенных. Поплакала незаметно для людей, и тихая кротость в душу низошла. Вчера еще была мысль несчастных родителей Саши Ульянова навестить, да ночью раздумала: не вышло бы какой-нибудь неприятности. А теперь все страхи прошли, и она решила после обеда побывать в несчастной семье.

XXII

И все-таки, когда Анна Михайловна подошла к воротам и заглянула в глубь двора, где стоял флигель, в котором жили Ульяновы, душа поддалась непонятному страху. Не того теперь испугалась Анна Михайловна, что пугало ее накануне.

Что-то иное, значительное и страшно волнующее, смутило душу. Испугал самый домик, в котором затаилась неразрешимая тайна: и великая скорбь человеческая, и торжество дьявольское. Самый домик показался необыкновенным, загадочно-страшным, отмеченным гневом Господа и радостью дьявола. Если нам вообще бывает страшно входить в дом великого несчастья, то войти в этот дом было и страшно, и тяжело.

Анна Михайловна остановилась на дворе, не дойдя до домика с палисадником, чтобы перевести дух от волнения. Но тут случилось нечто пустячное, что помогло ей побороть мистический страх перед роковым домиком. Она увидела на лужке двора, перед самым крыльцом домика двух плохо еще владевших своими движениями щенят, которые неуклюже прыгали, изображая драку. Такие они были смешные и милые: беспечно кувыркались, наваливаясь друг на друга, ворчали. прыгали, повизгивали. Трудно было удержаться от улыбки. И всё вдруг: и двор, и крыльцо, и самый дом — тоже словно улыбнулись Анне Михайловне и показались самыми обыкновенными и перестали пугать ее мистической тайной. Так бывает, когда, постояв в могильном склепе, выйдешь на волю и тебя сразу обольют лучи солнца, птичий гомон, зеленый шум кладбищенской рощи и беспредельный простор голубых небес. Анна Михайловна решительно пошла вперед и позвонила в домик. Очень долго не открывали двери. Это снова смутило решительность Анны Михайловны, и она ушла бы, если не послышалось

бы в этот момент шагов по лестнице. Дверь приоткрылась, и в нее выглянула девушка, гладко причесанная, длиннолицая, с некрасивыми чертами лица, узкоплечая, в мужском воротничке с галстуком, с испуганными и злыми острыми карими глазками.

— Вам что угодно?

— Не узнала меня?

— Нет, — тихо ответила девушка, остановив испытующий взгляд на Анне Михайловне.

Та назвала свою фамилию, и девушка растерялась не то от испуга, не то от неожиданности.

— Я сейчас... позову маму...

Девушка убежала вверх по лестнице, и спустя минут пять оттуда медленно, едва волоча ноги, спустилась пожилая полная дама [148] с пергаментным лицом и опухшими красными глазами.

— Вы к нам?

— К вам, к вам!

Дама рванулась к Анне Михайловне, прижалась головой к ее груди и разрыдалась. Анна Михайловна гладила ее по растрепанной

седеющей уже голове, целовала, стараясь поймать лицо, пыталась что-то говорить и давилась слезами. И так, обняв друг друга, они долго стояли, точно боясь посмотреть друг другу в глаза; наконец, Анна Михайловна произнесла шепотом, суя в руки той просфору:

— От обедни я. В Спасском была. За упокой вашего Сашу помянула...

Тогда та громко разрыдалась. С лестницы торопливо сбежала та же девушка и почти закричала:

— Мама! Не смей плакать! Пожалей папу.

— Не буду, не буду, не буду... Я ведь, Олечка, от радости: никто к нам не ходит и вдруг вот... Анна Михайловна пришла...

Понемногу все успокоились и пошли наверх.

— Ничего сами не говорите про Сашу с папой[149], — шепнула девушка, когда они поднимались по лестнице. — Не надо утешать. Если сам заговорит, тогда можно.

Вошли в переднюю, заставленную шкафами, сундуками, душную и неряшливую комнату, в которой пахло мехом, нафталином и

мылом. Тихо, на цыпочках шагнули через приотворенную дверь в шаблонное провинциальное зальце или гостиную — не разберешь. Кто-то осторожно изнутри притворил дверь в соседнюю комнату. В квартире было напряженно тихо и только где-то медленно стучали маятником стенные часы, подчеркивая лишь сильнее напряженное молчание. Страшно было нарушать это зловещее молчание, и долго все молчали, точно перед покойником. Потом мать сказала Оле шепотом:

— Посмотри, закрыта ли дверь в кабинет папы. Мы пройдем ко мне. — Потом еще тише, склоняясь к уху Анны Михайловны: — Ильюша избегает... даже своими тяготится. Ему очень тяжело. Все ночи курит, ходя по комнатам.

— Помогите вам Господь, — шепнула Анна Михайловна, покачивая трагически головой.

Показалась на мгновение Оля и кивком головы показала, чтобы шли.

Прошли столовую, коридор, заставленный полками книг, пахнущих особенной книжной пылью, и очутились в большой комнате с низким потолком. От желтых стен, от желтых

одеял на кроватях, от цветного стекла теплящейся на столе в углу лампады в комнате плавал янтарный полусумрак, напоминавший вечерний солнечный свет в церкви. В углу под образом возвышался алтарем столик, обтянутый шелковой шалью ярко-красного цвета, на котором что-то возвышалось, напоминая сорокоустовскую пирамидку из восковых свеч. Анна Михайловна невольно перекрестилась в ту сторону, прежде чем сесть около хозяйки. Тогда хозяйка сказала гостье:

— Там у меня могилка Сашеньки. Ведь мне некуда сходить поплакать. Никогда не узнаю, где зарыли моего мальчика...

Подвела гостью к столику. Теперь Анна Михайловна рассмотрела: на фарфоровом прямоугольном блюде — подобие могильного холма из мха и бессмертников; за ним высился портрет казненного сына в траурной раме. Саша был в студенческом мундире и лицом походил на Олю, свою старшую сестру[150], но казался красивее ее и, как живой, смотрел из рамки строгими не по-юношески глазами на подошедших мать и ее гостью. Перед портретом стояла зажженная лампадка, бросав-

шая светотени на лицо Саши, и от этого временами чудилось, что портрет вздрагивает и то прикрывает, то раскрывает глаза. Все, что увидела Анна Михайловна, не привлекло, а отпугнуло ее душу... Фальшивая могила, лампадка как перед образом. Кощунство какое-то.

Потом хозяйка снова усадила гостью и, подсев, начала вспоминать: рассказывать, какой умный и хороший был Сашенька. Вспоминала разные случаи из его недолгой жизни, иногда даже смешные случаи, а сама захлебывалась в слезах. Она торопилась, не договаривала про одно и хваталась за другое. Всякий пустяк и мелочь, связанные с казненным сыном, получали теперь в ее передаче таинственную мистическую окраску. И одно из таких воспоминаний прорвалось снова взрывом бессильных слез и стенаний. Вбежала Оля со стаканом воды. Потом появился низкорослый коренастый и сутуловатый юноша, рыжий, с калмыцкими скулами и глазками. Он угрюмо кивнул гостье круглой головой на короткой шее. зло сверкнул взором и, обращаясь к матери, пьющей жадными глотками воду, начал скрипеть ржавым

ГОЛОСОМ:

— Опять? Это невыносимо. Точно на кладбище живешь!

Он шагнул к столику с могилкой и задул лампадку. Мать метнулась, чтобы помешать ему, но не успела. Тогда она тоскливо опустила голову и пожаловалась:

— Я никому не мешаю. Вы не верите, а я верю. Ну и оставьте меня в покое!

Владимир спокойно и холодно начал урезонивать мать: во-первых, слезами не воскресишь, а во-вторых, глупо играть в эти могилки и лампадки и только растравлять этим горе, а в-третьих, слезы и истерика мешают заниматься...

— И папочку надо пожалеть, — добавила Ольга.

Владимир ушел. За ним и Ольга. Мать отерла слезы и, зажигая потушенную лампадку, прошептала:

— И плакать мне не велят...

Анна Михайловна стала извиняться: может быть, лучше ей было не тревожить их своим визитом. Мать не ответила, только снова обняла и крепко поцеловала гостью. Когда

они проходили через столовую, боковая дверь раскрылась и появился Илья Николаевич: громоздкий растрепанный человек с большим лбом, длинными спутанными волосами, с широкой мужицкой бородой. Немытый, нечесанный, с мешками под глазами, он испугал Анну Михайловну. Похож в своем пестром татарском халате на сумасшедшего.

— Простите меня, что я в таком виде. Почил от всех дел своих... Вот я все хожу и думаю: кто виноват? Кто, спрашиваю я, виноват, что наши дети берут бомбы и бегут на Невский проспект? Всех не перевешаешь. Мученики не ослабляют, а укрепляют идеи. Вот они теперь мстят. Хотя вчера и получено разрешение перейти моему Владимиру в Казанский университет, но пойдут ли ему в голову науки, когда туда посадили злобу. Затем третий сын, гимназист...[151] Меня просят взять его из гимназии. За что? И вот тоже... известно вам, за что попали в тюрьмы ваши дети. Допустим, что Дмитрий Николаевич и Саша мой были друзьями, и потому трудно допустить, чтобы ваш сын не знал о том, что готовилось на Невском. Знал и не донес. Не мог

предать, как Иуда, своего друга. Так за это на пять лет в каторгу и лишение всех гражданских и прочих прав да еще вечное поселение в Сибирь? Хороша правда и милость в судах, завещанная царственным отцом сыну!.. Ну а Григорий Николаевич? Его за что?.. Ведь мне доподлинно известно, что мой сын и ваш Гришенька были совершенно на разных политических полюсах. Я готов отдать руку на отсечение, что ваш сын упрятан безвинно, за компанию... Ну и что же дальше? Посидит, озлобится и выйдет из тюрьмы настоящим революционером, возьмет бомбу и пойдет на Невский проспект!

Он говорил таким тоном, точно обвинял растерявшуюся гостью.

— Избави и сохрани, Господи, от этого, — прошептала Анна Михайловна и стала прощаться.

Илья Николаевич провожал и говорил:

— Спасибо, что не побоялись заглянуть. Мы теперь, как прокаженные. Вон в нижнем этаже друзья жили, а как все это совершилось — и квартиру бросили. Я очень рад и поздравляю вас, что у вас никого не повесили...

— Папочка, не говори так громко...

— А мне чего бояться и кого бояться? Смерти? — Так она все равно скоро придет. Страшного суда? — Так я убежден, что на моей могиле базаровский лопух[152] вырастет...

И старик неестественно, как актеры на сцене, захохотал...

Этот хохот еще больше испугал Анну Михайловну. «Он — сумасшедший», — подумала она, торопясь поскорее захлопнуть за собою входную дверь. Очутившись на дворе, она глубоко вздохнула и торопливо пошла к воротам. При выходе из ворот на мгновение оглянулась, и снова оставленный домик показался ей страшным: в страданиях матери — порыв к Господу, а в хохоте несчастного отца — дьявол.

XXIII

Трудна была роль помещика Павлу Николаевичу Кудышеву. Нельзя сказать, чтобы он был плохим хозяином. Были у него и знания, и опыт, и инициатива, было и широкое поле для развертывания этих положительных качеств. Не было главного, на чем держится хозяйственное равновесие: терпения и способ-

ности к спокойному и равномерному расходованию своей энергии. Есть такие лошади: круто берут с места и норовят всех обогнать, а потому и в гору не хотят смириться и идти шагом, и быстро истрачивают свою силу и теряют охоту бежать. Всякое дело Павел Николаевич начинал рьяно, но первая же неудача его расхолаживала, и он терял интерес к нему. Мешали ему еще и интеллигентские добродетели, вечно пребывающие в противоречии с добродетелями хорошего помещика-хозяина. «Ни Богу свечка ни черту кочерга!» — смеялся он порой над самим собою. Затеивал разные новшества, производил опыты: разведение племенного скота, травосеяние, картофельный завод, но ничто не ладилось. Скот подыхал от плохого ухода деревенского пастуха, мешал свою породистую кровь с демократической; клевер воровали, топтали скотиной и уничтожали «потравами» мимоезжие крестьяне; крахмальный завод постоянно ломался и вместо исчисленного на бумаге барыша давал убыток. Бросал:

— С таким народом ничего невозможно, — говорил он. — Нет в служащих и в рабочих ни

сознания долга, ни умения, ни желания добросовестно трудиться над чужой землей. Никакими земскими начальниками не втолкнуть в него, что идея прав неразрывна с идеей обязанностей. И притом у него весьма примитивные понятия о собственности. Нет честности труда. А у меня нет в распоряжении оборотного капитала, чтобы все побороть и поставить на крепкую дисциплинированную основу.

Относительно «оборотного капитала» Павел Николаевич, конечно, был прав: развертываться с размахом, как бы ему хотелось, было невозможно. Но дело в том, что у него еще не было способности «рубить дерево по плечу». Что дерево не по плечу — он никогда не предвидел. Эта печальная истина постигалась всегда поздно. Другие помещики ухитрялись по годам не платить налогов, отсрочивать уплату процентов по закладным, выклянчивать отсрочки, ссуды, какие-то субсидии на несуществующие предприятия. Павел Николаевич не умел, да и не хотел этого. Не любил клянчить и унижаться, показывать свое денежное неблагополучие даже род-

ственникам, а главное — в нем жила особая гражданская добродетель: деликатность к интересам казны и сознание законности, совершенно неразвитое в большинстве помещиков, мало отличавшихся в этом отношении от крестьян. «У нас признают и держатся за закон только в тех случаях, когда он оказывается выгодным самому себе», — сетовал часто Павел Николаевич. А бывали и такие огорчительные минуты, когда он и вообще о законах в России выражался саркастически, повторяя пушкинское:

В России нет закона.

А столб, и на столбе корона! [153]

И вот частенько бывали дни, когда Павел Николаевич впадал в помещичье отчаяние, хватался за голову и кричал:

— Возьмите от меня бразды правления и дайте мне отдохнуть от этой каторги!

А мать при слове «каторга» сейчас же вспоминала несчастных отнятых детей, Митю и Гришу, и озабоченно, со вздохом, спрашивала:

— А не пора ли уже послать денег в тюрь-

му и каторгу?

Павел Николаевич раздражался еще более; — Что у меня, крахмальный завод или фабрика фальшивых денег? Я сам с удовольствием сел бы в тюрьму, согласился бы на ссылку к чертям на кулички, если бы кто-нибудь взял на себя обязанность получать доход с нашего Монрепо и снабжать меня ни к чему не обязывающей пенсией[154]!

— И не грех тебе, Павел, говорить такое про несчастных братьев? Мы с тобой живем, слава Богу; а они несут тяжелый крест!

— Я сам сидел в тюрьме, мама, и чувствовал себя героем, а вас с отцом, как теперь Дмитрий с Григорием — меня, считал эксплуататорами народа.

Тут Павел Николаевич колотил себя кулаком в грудь:

— Если я и согласился играть роль помещика, так только для вас и для наших героев. С нетерпением жду их возвращения: милости прошу попробовать управлять имением и оставаться в геройских светлых ризах!

Так повторялось в различных вариациях всякий раз, когда приходил срок высылки

братьям денег, которых не было. И однажды произошла сильно драматическая сцена. Только что Павел Николаевич схватился за голову и начал иронизировать насчет пенсии героям, как мать подала ему письмо от Григория. Он прочитал и, покрасневши до ушей, замолчал. А в письме было написано:

Милостью Божией я здоров и ни на что не могу пожаловаться. Благодарю за денежную помощь. Она не нужна мне. Я считаю своим нравственным долгом жить не лучше, чем живут другие. Все мои удовольствия здесь денег не требуют, а в питании я, как вы знаете, нетребователен, и всегда сыт. Всем низко кланяюсь и прошу не жалеть меня и не беспокоиться о моей судьбе: моя совесть спокойна, а это главное для души человека.
Григорий Кудышев.

— Точно почувствовал Гришенька твои упреки, — прошептала Анна Михайловна и, заплакав, вышла из кабинета, оставивши растерявшегося Павла Николаевича.

Ему сделалось стыдно. Взял брошенное на столе письмо, рассматривал со всех сторон:

штемпель «Просмотрено», начальные слова «Милостью Божией» почему-то зачеркнуты красными чернилами, но прочитать их легко.

Странное письмо. Аскетическое. Не видно, чтобы Григорий чувствовал себя героем, как это проскальзывает в письме, полученном с дороги от Дмитрия.

Елена Владимировна в таких неприятных случаях выдерживала нейтралитет. Она до болезненности боялась всяких семейных ссор и дразг, денежных подсчетов и недоразумений. Ей противно было, например, пересчитывать принесенную прислугой сдачу, брать расписки. Она чувствовала брезгливость к деньгам и совсем не знала им цены. Не любила крика и вообще повышенного разговора, а редкие ссоры Малявочки с матерью из-за денег и хозяйственных дел приводили ее в отчаяние. В этих случаях она или убегала в парк к детям, или затворялась в зале и гремела на фортепиано, заглушая Бетховеном или Мендельсоном все противные мелочи жизни. Она словно берегла свою душу от всего некрасивого, избегала грубых слов и движений. Когда муж приходил с поля или двора, она морщи-

ла свой тонкий изящный носик:

— Вот тебе мыло и одеколон. От тебя, Мавлячка, мужиком пахнет...

— А что такое помещик? Тот же мужик, только с образованием повыше...

Павла Николаевича всегда раздражало в жене это подчеркивание своей белой кости.

— Помещик, Елена Владимировна, есть не что иное, как культурный мужик. Все люди, милая, рождаются голыми. Ничего унижающего человеческого достоинство в слове «мужик» нет. Мужик значит собственно — муж. Поэтому бабы и называют своих мужей — «мой мужик»...

— Ну, хорошо, хорошо. Я тоже буду называть тебя своим мужиком. А все-таки бери мыло и одеколон и иди умываться и переодеваться. Лучше, если только в твоём кабинете будет пахнуть лошадьми и коровами!

Павел Николаевич не оставался в долгу:

— Это в тебе замураевская порода говорит, замураевская дворянская спесь и чванство.

Так говорилось по кодексу либерализма, а чувствовалось совсем по-другому.

Втайне Павлу Николаевичу был мил при-

рожденный аристократизм, породистость жены, ее изощренность чувств и восприятий, ее устремленность ко всяческой красоте. Правда, эти достоинства часто воплощались в невинную наивность, но это только смешило и радовало Павла Николаевича. В этом он находил, как некогда в сказке, отдых от утомляющей здоровой реальности, от докучливых будничных забот, это помогало вылезать из железного круга дней, в которых было столько здоровых и скучных повторений. Вернется иногда домой утомленный, рассерженный неудачами или мужицкой глупостью и недобросовестностью, промокший от осеннего дождя, грязный, всклокоченный, а в зале — празднично, культурно, уютно. Там скучные сумерки дня прогнаны лампами под цветными абажурами, грязная осень — комнатными растениями, серость крестьянских одежд — нарядностью и чистотой, изяществом костюмов жены, Сашеньки, детей. Там какой-то особенный аромат культурного общества. Вместо мычания коров и бляенья овец гремит фортепиано.

— А! Мой мужик пришел! Сашенька, дайте

ему одеколон и душистое мыло!

И вот преобразившийся мужик блаженствует.

— Хочешь, спою твоё любимое?

И красивая изящная женщина поет:

*Мне минуло шестнадцать лет,
Шестнадцать лет мне было...
[155]*

«Милая, — думает Павел Николаевич, глядя на жену, — да тебе и сейчас не больше шестнадцати лет!» Засмотрится, zalюбуется, загордится. С улыбкой вспомнит «Птичку Божию», и сразу, словно дым под ветром, сдует всю слякоть настроения.

Даже в печальную Сашеньку Елена Владимировна вошла своей беспечной радостью, приветливостью к жизни и людям, чистотой и красотой своих порывов к красоте жизни. Сашенька вылезла уже из монашеского одеяния, стала принаряживаться, смеяться, интересоваться людьми. Тетя Маша не знает как и благодарить Елену Владимировну, называет ее волшебницей. Ведь Сашенька и про монастырь теперь уже не говорит, а нет-нет да по-

кокотничает с молодым заезжим гостем, каким-нибудь земским статистиком или страховым агентом земства.

Теперь уездная интеллигенция уже совсем перестала бояться, и гости сделались совсем не редкостью. Даже алатырский исправник решился лично, мимоездом, навестить почтенную Анну Михайловну. Повадился вновь испеченный земский начальник, брат Елены Владимировны, Николай Владимирович Замураев. Не Сашенька ли тут причиной? Павел Николаевич его недолюбливает и даже не уважает. Таких оболтусов назначают опекать мужика! Из гимназии вылетел за преждевременное «пробуждение весны»[156] — соблазнил директорскую горничную и сделался в восемнадцать лет отцом незаконного младенца, подкинутого купцу Ананькину в Симбирске...

Продолжает носить военную форму и шпоры, штаны в обтяжку, того и гляди, что лопнут, картавит, гнусавит, пестрит свою речь французскими инкрустациями, командует мужиками, как ротный — солдатами, заявляет, что никаких законов не изучал и не будет

изучать: лучше, чем изучать, по какой статье мужика посадить под арест, дать ему несколько раз по морде — это выгоднее для мужика и для государства.

Павел Николаевич привык не любить военных вообще. Это осталось в нем от бывшей интеллигентской революционности: «война — зло, солдаты — пушечное мясо, офицеры — привилегированная каста бесполезных членов общества». Но этого своего родственника презирал вдвойне: он еще и земский начальник! «И это на правительственном языке называется отеческой, близкой к народу властью», — думал он, глядя на этого Нарцисса, незаметно поглядывавшего на себя и свою прическу в маленькое карманное зеркальце.

Но когда этот земский начальник пел арии из опер и чувствительные романсы, Павел Николаевич все прощал ему и удивлялся: этот аристократический лоботряс, как мысленно называл его Павел Николаевич, словно перерождался, умнел, облагораживался...

— В опере, Николай, ты был бы более на месте, чем в земских начальниках!

Когда кончилась помещичья страда и де-

ревенскую Русь завалило белыми сугробами, когда над оснеженными полями и лесами воцарился молчаливый похрустывающий лаптями Дедушка Мороз и единственной связью с культурным миром в доме сделались «Русские ведомости» [157] и «Русское богатство» [158], которые читались оптом и в розницу, — всякая пара или тройка с колокольчиками, подъехавшая к воротам, рождала радость новизны и оживление. Еще не знали, кто там в санях, а уже в доме шла суматоха: гости приехали! Тут всякому заезжему человеку обрадуешься. И какая же радость бывала в доме, когда сразу подъезжали две тройки, полные гостями, когда в числе вылезавших из подкативших к крыльцу саней через окно узнавали Ваню Ананькина со скрипкой в футляре, земского начальника Замураева с виолончелью и Зиночку с папкой нот! Это значит — сегодня будет музыкальный вечер, похожий на концерт, какие бывают там, далеко, за долами за лесами, в горящих огнями городах, где живут культурные просвещенные люди. И еще увеличивалась общая радость, когда в числе гостей узнавали заезжего из Симбирска

Дмитрия Николаевича Садовникова[159], признанного уже и печатавшегося в журналах поэта, певца Волги. Значит, и литературное отделение будет! Это Ваня Ананькин привез с собой из Симбирска поэта Садовникова сперва в Замураевку, куда притягивает его Зиночка, которую он тайно любит уже третий год и все не осмеливается сделать предложение, а теперь все гуртом вздумали махнуть на троечках к Кудышевым. Любит Ваня колотобродить. Он не только со скрипкой путешествует — из его саней целую корзину в кухню принесли: вина, закуски, фрукты. Так кстати: ничего здесь вкусенького не достанешь.

— Мамаша, — шепчет Ваня кухарке, — ты бы нам к ужину поросеночка жареного, чтобы корочка на зубах хрустела... Я уж сам посмотрю тут: надо, чтобы корочка была в самую точку...

Ваня всегда точно навеселе. От молодости, здоровья и близости любимой девушки. Не для себя он про поросеночка заговорил. Знает, что Зиночке поросеночек нравится. Ей угодить.

Пошла кухарка тормозиться: есть поросья-

та, да барин их бережет. Побежала к барину: как быть, гость, которого Ваней зовут, поросенка требует. На мгновение Павел Николаевич нахмурился: поросята есть, да породистые, на племя оставлены. Однако радость гостям побеждает в нем хозяйственный интерес:

— А, все равно! Вели заколоть одного... Впрочем, двух надо — народу много. Только боровков берите! Избави Бог, самочек трогать!

И вот среди снегов, среди пустыни, засыпанной сугробами, из которых чуть выглядывают деревни, как горсточки рассыпанной кем-то кучками соломы, среди беззвучной зимней ночи, сияющей далекими звездами и сверкающей синими огоньками снежного инея, вдруг появляется чертог, празднично залитый огнями, а в чертоге нарядные люди нездешнего мира, говорящие на своем изысканном языке, поющие свои непонятные песни, танцующие свои замысловатые танцы, шумные, радостные, смеющиеся.

Любопытно на них хоть в щелочку посмотреть. Дворня либо придумает предлог зайти в

кухню, либо в окошки подглядывает. К дворовым из деревни будто по делам бабы зашли, а тоже на господ поглядеть, узнать, не свадьба ли заехала, потому что ряженым рано: пост еще. Исподволь, потихоньку да помаленьку полная кухня набилась. Осмелели и дальше лезут: из передней выглядывают. А господа за столом отпиروвали, и теперь все в залу перешли...

Непонятно, а складно поют... то в одиночку, то парами, а то и втроем...

А господа даже не замечают, что полна передняя незваных гостей.

Елена Владимировна спела «Мне минуло шестнадцать лет» Даргомыжского, «Средь шумного бала» Чайковского и раскраснелась от дружных аплодисментов. Ваня потрясен: романс-то больно к его чувствам подошел. Потом земский начальник «Вы мне писали» пропел из «Евгения Онегина», потом «Смейся, паяц!» [160] фурор в зале произвел, а бабы в передней перепугались, некоторые из передней в кухню перебегли и шепчут кухарке: «Сперва я думала, ругаться и кричать на кого стал, а потом как захохочет! У меня так сер-

дечко и упало...» Пели дуэты: «Не искушай меня без нужды»[161], из «Пиковой дамы» пастораль[162], «На севере диком»[163], Ваня сыграл мазурку Венявского[164]. Потом упростили поэта продекламировать свои стихи. Он сперва прочитал свое любимое — про Стеньку Разина: «Из-за острова на стрежень, на простор речной волны, vyplывают расписные Стеньки Разина челны», потом на бис:

*Я пришел посланником свободы
Вас спасти от вражеского гнета.
Серп готов, давно созрели всходы.
Впереди — кровавая работа!..*

Анна Михайловна встала и ушла. Она поняла по-своему эти стихи, обращенные вовсе не к сидевшей в зале публике, а к черногорцам от имени Степана Малого[165], который в 1767 году пытался поднять их против турок-угнетателей. Анна Михайловна подумала о царевубийцах, вспомнила Дмитрия и Гришу.

Внизу играли тихо: Зиночка на фортепиано, Ваня на скрипке, а земский начальник на виолончели. Когда заиграли «Уймись, волнения страсти»[166] Глинки, Анна Михайловна сидела на антресолях в старом кресле и

плакала...

Конечно, гостей не отпустили и оставили ночевать. Куда ехать, когда уже третий час ночи, а на дворе метелица? Разбрелись по своим местам, но долго не могли заснуть: взбудоражили души музыкой, вином и разговорами.

Поэта Павел Николаевич с собой, в кабинете на диване положил. Поговорить со свежим человеком хотелось: Садовников недавно был в Петербурге по литературным делам, потом в Казань заезжал. Знал, что на свете делается. Поэт революционером не был, но настроен был революционно.

— Жив, жив курилка! — говорил он, сверкая в темноте огоньком папиросы. — Это нам, в глуши, в медвежьих углах кажется, что всю Русь они мертвой водой спрыснули и что все высокие идеи и идеалы в могилу закопали и осиновый кол вбили. Они вогнали только все революционные болячки внутрь. Вот нам и не видать в провинции-то. Будто бы тишь да гладь да охранная благодать. А в действительности далеко не так благополучно...

И гость стал рассказывать: снова беспоряд-

ки по всем университетам покатались. Министр народного просвещения глупый циркуляр выпустил, в котором заявил, что гимназии и университеты предназначены не для кухаркиных детей[167]! Наша чуткая к несправедливости молодежь ответила беспорядками и плюхами. И в Казани были беспорядки — и в университете, и в ветеринарном институте, и в духовной академии. «Между прочим, исключены и высланы и наши симбирцы!» — не без гордости заметил гость.

— Кто же?

— Наши общие знакомые: Елевферий Крестовоздвиженский и Ульянов, брат повешенного. И ведь как глупо кидаются на людей. Я видел обоих: Владимир Ульянов не принимал никакого участия в беспорядках[168]. Этот философ изобретает новую идеологию борьбы. Прочитал Карла Маркса и помешался. А Крестовоздвиженский, хотя на сходке и был, но, как я заключаю из его личных объяснений, не возбуждал студентов, а говорил о бесполезности террора и беспорядков, призывал взять знаменем образ Нерукотворенного Спаса! Оба свихнулись... Ульянов в Марксе Архимедову

точку опоры открыл...

Павел Николаевич вспомнил изобретенную Елевферием «схему», и они проболтали до свету.

XXIV

А уезжали гости, и снова тянулись деревенские будни с их деревенской бестолковщиной.

Перед Рождеством снова всплыла старая история с придуманной на свою голову Павлом Николаевичем «мирской баней».

С наступлением зимы дело с баней как будто бы двинулось. Начали ее ставить. Нарубили дарового барского лесу и поставили срубы. А потом бросили работу: повздорили о чем-то и отложили. А когда решили продолжать, так остановка вышла: заготовленного с разрешения барина леса не хватило. Оказалось, что сами мужики лес-то разворовали. Пришли выборные к Павлу Николаевичу: разреши еще порубить. Рассердился Павел Николаевич, узнавши, что лес разворован, но смиловивился и решил дать еще партию: в деревне от грязи ребята чесоткой болели.

Прошло две недели, опять пришли про-

сить лесу. Теперь не свои, а зареченские мужики нарубленный лес по своим дворам развезли.

— Не вам одним барским лесом пользоваться, — кричали они, ссорясь с никудышевскими. — Мы тоже покойного барина крепостные были, стало быть, тоже свои права имеем!

Когда свои мужики пришли жаловаться на заречных и барин назвал сторяча мужиков ворами, один из пришедших обиделся:

— Никакого воровства не было, а обидно, конечно: одним дал, а другим нет ничего.

— Как нет воровства? Да если я заявлю земскому начальнику, так вас за кражу судить будут!

— А ты, ваше сиятельство, пойми! Как мы, так и зареченские в стары годы одним господам, стало быть, дедам твоим, служили.

— Ну!

— А ты, стало быть, неправильно поступил: одни получили, а другим — ничего. Вот они, зареченские, и бают: поровну надо. Вы, дескать, в срубе двадцать венцов имеете, каждый по четыре бревна, всего, стало быть, вы-

ходит восемьдесят бревен. Мы, бают, увезли всего тридцать шесть дерев. Выходит у них, что им еще сорок четыре дерева надо с тебя получить... Вот как, а не воры...

Мужик говорил это таким тоном, словно и сам был в числе воров. Сперва рассмешило Павла Николаевича, а потом взорвало:

— Уходите! Ко всем чертям!

Старик обиделся:

— Как же так теперь, ваше сиятельство, это самое выходит? К чертям посылашь! Сам ты нам с этой баней навязался, мы тебя послушали, сколько трудов положили на это дело: и лес рубили и возили его за пятнадцать верст, и сруб поставили, а теперь — подите к чертям?

— Идите с Богом! Ваши воры так обленились, что подай им срубленное дерево. Наплевать мне, коли своей же пользы не понимаете...

— Мы, ваше сиятельство, завсегда Бога помним, а вот ты все черта поминаешь! Грех так-то... По правде надо...

Мужики ушли с обидой. Потом Павел Николаевич узнал, что и сруба на месте нет: пу-

стили в жеребьевку и тоже развезли по своим дворам.

Вот как-то раз поймал на барском дворе Павла Николаевича озорной мужичонка, по батракам ходит, бобылек, Лукашка шестипалый, и прицепился: какие-то деньги с барина требует.

— Я пять суток дерева рубил, а ни копейки не получил!

— За какие деревья? Кто тебя нанимал? Когда?

Дело объяснилось: Лукашка рубил лес для бани.

— С кого я должен теперь за убытки получить?

Вся дворня покатывалась со смеху. Лукашка сам по себе комик, а тут еще выпимши!

— Никудышеские мужики не хотят платить, потому что срубленные деревья украли зареченские, а зареченские — иди к тому, с кем рядился. Кто же, окромя тебя, должен заплатить? Больше некому. Твой лес-то.

И Лукашку Павел Николаевич к чертям послал. Повернулся и ушел. А дворня давай пьянького Лукашку подзадоривать:

— А ты, Лукаша, к земскому жалобу на барина подай!

А Лукашка куражился и убытки высчитывал:

— Я по-божески требую: пять ден рубил, по четвертаку на своих харчах, — и всего-то — рупь с четвертаком.

— А в бане мылся?

И снова раздался дружный хохот. Иван Кудряшёв хорошо шутит, да и Никита прибавляет:

— Ты бы догадался лесом получить. Спер бы бревна два — и квиты!

Идет обратно Павел Николаевич, а на дворе Лукашка народ потешает.

— Что тут такое?

— Медведь на пляске! Вот Лукашка убытки требует...

— Я ему уже сказал, чтобы к чертям убирался.

— Иди, Лукашка. Нехорошо. Барин обижается...

— Вы скажите, православные, с кого же я, бедный человек, должен за свой труд награждение получить?

— А ты иди, иди! На том святу все получишь, — говорит Никита, ласково выпроваживая со двора Лукашку.

— Спокаешься, барин, что бедного человека обсчитал! Получишь от меня свое!

В голосе полупьяненького прозвенела угроза. А что может удержать этого идиота: возьмет да подпалит хлебный амбар.

Павел Николаевич сунул Кудряшёву Ивану целковый:

— Догони дурака и дай ему целковый на похмелье!

А что же делать? Жаловаться на всякую мелочь начальству? И кому? Колечке Замураеву? Это и противно, да и смешно: точно взрослый подрался с маленьким. Долго ходил в кабинете, недовольный сам собою: зачем дал этому пьяному лентяю и нахалу рубль? Испугался? Но ведь этим только больше портишь и затемняешь мужицкое правосознание! Лукашка, наверное, убедился, что его иск к барину направлен правильно. Потом оправдывался перед собой: пока народное правосознание не введено в русло всеобщего закона, пока мужика не сделают равноправным

со всеми прочими сословиями, он будет пребывать в правосознании своем не выше Лукашки.

Кудряшёв рассказал потом Павлу Николаевичу, что, получив рубль, Лукашка продолжал ругаться:

— Обсчитал, говорит, на целый четвертак.

Никита вздохнул и сказал:

— Надо уж было, ваше сиятельство, не удерживать, а сполна отдать!

Павел Николаевич опять расхохотался: так удивило его сожаление Никиты.

Откуда у него это? Из каких посылок юридических? Стал с Никитой разговаривать дальше. Оказалось, что в мужицких юридических абсурдах есть и своя чисто мужицкая логика. Дело оказалось весьма сложным. Вот как толковал Никита:

— Все мужики, которые околь бани работали, бревнами свою плату получили, а Лукашке не дали. А почему не дали? Лукашка еще допрежде бани из барского, то есть вашей милости, лесу, не во гнев вашему сиятельству, два дерева для себя срубил...

— Украл?

— Ну, уж это как хошь зови... А он, Лукашка, оправдался: эти два дерева не рубил, дескать, в барском лесу, а отбил у зареченских мужиков, когда они лес на баню к себе волокли. Значит, его счастье. За эти, говорит, деревья он, Лукашка то есть, в драке полбороды лишился. Значит, правду сказал, что за свой труд, за порубку-то, ни с кого не получил, ни деньгами, ни бревнами...

А кончилось все это глупое предприятие по сооружению мирской бани очень неприятно и неожиданно для Павла Николаевича.

Никита возил старую барыню в церковь и все рассказал ей про неудачу с баней и про Лукашку, который за недоданный четвертак угрозу сделал.

Анна Михайловна возмутилась, что Павел Николаевич лес разрешает рубить, а главное, не только оставил угрозу Лукашки безнаказанной, а даже еще за нее и рубль подарил. И при первом же свидании с земским начальником Замураевым все ему рассказала и попросила вразумить мерзавца Лукашку...

Земский не только Лукашке морду набил, но еще на трое суток на хлеб и воду в темную

посадила.

А в ночь под Рождество у Кудышевых в лугах сенницу с сеном кто-то запалил. Павел Николаевич был убежден, что это дело Лукашки, но никаких улик не было. Следы пурга замела.

Снова ссора с матерью:

— Зачем ты вмешала в мои отношения с крестьянами этого дурака?

— Какого это дурака?

— Замураевского болвана! Если ты еще раз обратишься к нему с жалобами на мужиков, я брошу дело. Управляй сама! Сегодня подожгли сенницы, а завтра подожгут дом или хлебный амбар... Пойми, что услужливый дурак опаснее врага! Эти господа забывают, что крепостное право миновало...

Под «господами» Павел Николаевич подразумевает своего тестя, генерала Замураева, избранного в уездные предводители, его сына, земского начальника, и всю «замураевскую партию», победившую на последних дворянских выборах.

«Наше русское несчастье: нет умеренного прогрессивного центра. На одном конце рево-

люционеры, утописты, фанатики, на другом — закоснелые в старине бегемоты столбового дворянства, а в середине — пусто», — жаловался Павел Николаевич, отводя душу в разговоре с каким-нибудь заезжим служилым интеллигентом прогрессивного образа мыслей, и начинал жестоко критиковать внутреннюю политику, особенно же институт земских начальников, которые все казались Павлу Николаевичу похожими на родственника, Николая Замураева. Впрочем, тут Павел Николаевич выражал лишь прогрессивное общественное мнение, которое мало интересовало теперь правительство.

Прогрессисты-либералы считали институт земских начальников оскорблением суда и освободительных реформ прошлого царствования. Нельзя сказать, чтобы не было к этому оснований. В земские начальники шли по преимуществу захудалые дворяне, часто из современных «Митрофанушек» [169]. Шли как на приличное кормление. Все они были давно уже оскорблены в своих дворянских чувствах своей бедностью и ничтожностью, а потому с необыкновенным пылом принимая-

лись за исправление «испорченного» разными вольностями мужика и за поднятие престижа дворянина-помещика. Пробовали идти в земские начальники и интеллигенты-университанты с туманным славянофильским настроением, наивно думавшие, что как раз вот такие люди и требуются для воспитательной миссии среди народа. Но такие идейные друзья народа очень быстро вступали в конфликты с дворянскими бегемотами и убирались с мест. Зато прочно себя чувствовали вот такие, как Николай Замураев, изумлявший мирок ученых юристов своими мудрыми распоряжениями и решениями. Один воспретит петь песни и играть на гармошке после восьми часов вечера, другой станет штрафовать за скверную привычку народа — матерщинничать, оставляя это право исключительно за собой, третий арестует весь мирской сход.

Николай Замураев в этом отношении прославился еще прошлым летом. Он сделал распоряжение по своему участку, чтобы в каждой бесцерковной деревушке был поставлен жителями столб, а на столбе висел колокол для тревог в случае пожара — набат бить. В

его участке было немало татарских и черемисских деревень. Колокол был ими воспринят как тайное намерение властей обратить население в христианскую веру. Вышли беспорядки с сопротивлением властям, и в своем донесении губернатору Замураев назвал их почему-то «аграрными». Павел Николаевич напечатал об этой смешной истории в «Русских ведомостях», и Замураев сделался знаменитым.

Втайне земский начальник был убежден, что корреспонденция о нем — дело рук Павла Николаевича, и обратил особенное внимание на исправление никудашевского населения, развращаемого «вольнодумцем».

А мать Павла Николаевича тайно помогала в этом своему родственному земскому начальнику. В своей Замураевке земский начальник чувствовал себя губернатором: не свернет мужик вовремя с дороги — нагайкой! Не снимет шапки перед господами — нагайкой! Срубит — на трое суток под арест. Обругается скверным словом — по морде! Заберет мужик у помещика задаток под жнитво или косьбу, да не придет на работы — выпороть!

Права на это земскому начальнику не дано, но стоит только внушительно посоветовать волостному суду и там выпорют на законном основании. И общественные сходы, и волостные суды[170], формально совершенно самостоятельные, фактически очутились под опекой земских начальников. А ведь общественный приговор мог любого члена общины, как зловердного, сослать в Сибирь на поселение. Как же было не трепетать мужикам и бабам перед замураевскими господами?

И в Замураевке трепетали. А теперь начали трепетать и в Никудышевке. Если земский не приезжал часто в Никудышевку для исправления избалованного Павлом Николаевичем народа, побаиваясь бывавших уже стычек с либералом и семейных неприятностей, то вызывал провинившихся в свою камеру и воспитывал. А все неприятности свои от земского никудышевские крестьяне не умели отделять от своего барского дома. Бабы приходили к Павлу Николаевичу жаловаться на его сродственника, барыниного брата, падали в ноги и умоляли простить провинившегося в чем-то мужа, а Павел Николаевич

никак не мог растолковать бабе, что, хотя земский ему и родственник, но сделать все-таки ничего не может, потому что ему земский не подчинен.

— Чай, ты постарше его... Скажи, чтобы не озоровал. Должен старшего послушать.

Ловили молодую барыню, плакали и просили заставить братца родного отменить арест. Иногда растроганной Елене Владимировне и удавалось упросить братца Коленьку снять с мужика наказание, но это только сильнее укрепляло мужицкое убеждение, что наказания земского накладываются не без ведома и желания никудышевских господ:

— Они все друг за дружку держатся...

Когда Елене Владимировне не удавалось отстоять и она об этом сообщала бабе, та, хлюпая носом, говорила:

— На все ваша господская воля!

И, уходя с барского двора с затаенной обидою, шептала:

— Погодите, когда-нибудь отольются вам наши слезки... Господь правду-то видит, хоть и не сказывает...

Подобно былинному богатырю, новый царь попридержал на перекрестке дорог своего коня, всмотрелся в туманные дали и, повернувши коня, медленно поехал назад. Сперва надо свой Дом в порядок привести.

И всю жизнь он провел дома, занимаясь хлопотливым хозяйским делом. Человек большой воли и сильного характера, он и внешним образом своим напоминал русского былинного богатыря из тех, что помогали своей богатырской силой Святую Русь от всякой бродячей нехристи спасать.

Великую опасность почуял он от занесенной западными ветрами крамолы, толкавшей землю Русскую в пропасть революции, и, как всякий хороший хозяин, взял в руки метлу и прежде всего начал накопившийся сор из своей избы выметать. Старовера бородатого новый царь напоминал: старозаветных привычек и взглядов придерживался и никаких заморских новшеств не любил. Тяжело вздыхал, вспоминая, чем кончилась эта затея для отца родного. А как подмел наскоро избу, осмотрелся и подумал: «Много тут разных затей заморских покойный родитель понастро-

ил, не подходит это русскому человеку». По-молился да и за перестройку принялся. Ученых строителей да архитекторов на подмогу себе не взял: своим умом, по своему вкусу, хозяйственным порядком дело начал.

В стародавнее «окно в Европу» двойную раму вставил и зановесочку повесил, чтобы ротозеи русские туда не заглядывались. У всех заморских птиц, что свободами называются, крылья и хвосты подрезал, чтобы зря не летали, а как птица домашняя на глазах по двору ходили. Университеты да разные бабьи курсы поприжал: вместо верных царских слуг да хороших матерей и жен глупых умников да умных дур плодят[171]. Чтобы поменьше болтали расплодившиеся умники, везде языки подрезал: и в судах, и в печати, и на собраниях. Городские и земские самоуправления в правах урезал[172], чтобы не в свое дело не совались, а своим хозяйством занимались. Сам экономный был и слугам своим казенную копейку беречь приказал. Круто с ворами расправляться начал. Воевать не охоч был: некогда, дома дела много, пускай другие воюют, а мы поглядим, чужого нам не надо, а

своего тоже не отдадим!

И стало великое царство русское богатеть на страх и зависть всем иноземным народам. Плохо знали они русского человека и царство русское царством варваров называли. А ну как этот великан-варвар, медведь русский, что лежит на одной шестой части всего земного шара да сосет свою лапу, вдруг на дыбы встанет да на Европу полезет? На земле его сто пятьдесят миллионов варваров, а в земле — богатства не счесть!

И стали все народы света, не исключая тайных врагов и завистников, у царя варваров дружбы искать, а он посмеивался, широкую бороду поглаживал и говорил: «Подождем, торопиться нам некуда!» Поглядывал и думал: «Потише стало, а все еще настоящей тишины да порядку нет», — и на ленивых слуг покрикивал за недоглядки в Доме.

Крамола притихла, в подполье либо за границы ушла, а все нет-нет да и вылезет наружу, точно от старого пня молодые побеги выбиваются. Оно и немудрено: шестьдесят лет через «окно в Европу» крамольный ветер поддувал и царский трон расшатывал. Еще в 1825

году умники из дворян поход против самодержавия начали! Простой народ всегда в Бога да в царя веровал, а крамола сверху ползла. Откуда вышли декабристы, Бакунин[173], Кропоткин[174], Софья Перовская? А ведь дворянство искони опорой трона было, недаром и столбовым названо. Подгнили эти столбы, сами шататься стали: земля из-под ног их стала уходить после того, как покойный родитель вольнодумцев послушался. Значит, надо исконную опору утвердить...

Может быть, и на великую дорогу этот царь русский народ вывел, если бы в свое время догадался, что прошлого не воротишь и что старые столбы подгнили и в дело не годятся, что под царский трон надо новый фундамент заложить: сделаться царем крестьянским, а не дворянским. А и сделать-то для этого пришлось немного бы: выкупить заложенные да перезаложенные земли дворянские и передать их мужику, который веками за свою «правду» держался и при каждом новом царе этой правды от него ждал, а не дождавшись, говорил: «Господ боится!» Вот и теперь вместо земли земских начальников получили:

— Все господа крепостное право воротить желают!

За границей царя побаивались и уважали. Дома побаивались, а уважать и любить, кроме тех, кому это было выгодно, было некому. Для миллионов мужицкого царства он стоял выше любви:

— До Бога высоко, до царя далеко. Молитва за Богом не пропадает, а до царя наша нужда и слезы не доходят!

Вот покойного царя, Александра II, любили по-человечески: из рабства господского высвободил, а новый царь остался мистической отвлеченностью в ореоле недостижимого величия и всемогущества. Как чудотворная икона, которой не дано помолиться и испросить милости, — «Господа прячут».

Интеллигенция, в большинстве своем окрашенная духом наследственного революционного народничества или политическим западничеством, царя не любила и не уважала: «не дорожим мы шагом к крупному прогрессу и с треском пятимся назад»[175], «были накануне конституции и снова вернулись к домострою». Потихоньку ворчали, потихонь-

ку, где было можно, — пакостили, называли между собой «фельдфебелем в Вольтерах» [176] и все чаще жалели, что нет больше «Народной воли». Спрятавшиеся в подполье революционеры царя ненавидели и писали в заграничных газетах о нем, как о кровожадном деспоте, каких еще не бывало на свете, а свою родину и свой народ изображали стонущим под пятой этого варварского тигра. И тут революционерам сильно помогали вообще все передовые люди. И те и другие оплевывали и настоящее, и прошлое своей родины. За границей им верили охотно. Врагам России это было выгодно, ибо спланивало их между собой и утверждало их культурную гордость перед «варварской страной».

«Отцы» носили маску верноподданничества, а «дети» не умели и не хотели этого делать. Молодость всегда прямодушна и прямолинейна, чем всегда и пользовались расплодившиеся в невероятном количестве подпольные еропкины.

Продолжая гореть искренней любовью к родине и своему народу, полная жажды самопожертвования во имя благородных идей, мо-

лодежь, подстрекаемая этими Еропкиными, летела на огонь революции, как бабочка на свет. Без серьезных знаний, без опыта жизни, с единой верой в благородную идею молодежь продолжала отдавать все, что имела: свое пылающее сердце!

А революционерам помогали и ретивые царские слуги. Вот министр Делянов издал циркуляр, в котором повелительно разъяснил, что гимназии и университеты устроены вовсе не для бедных людей, не имеющих средств прилично кормить и одевать своих детей. Значит, только для богатых? Могла ли молодежь равнодушно промолчать, чувствуя острое оскорбление благородному чувству справедливости? Какой цинизм в устах государственного мужа, который призван руководить просвещением темного русского народа! А разве этот циркуляр не был в духе своего времени и задачи обосновать благоденствие многомиллионного царства на государственном откармливании разорившегося и вырождавшегося дворянства?

И вот по всем высшим учебным заведениям покатались беспорядки, и тысяча молоде-

жи очутилась с «волчьим билетом», и свершилась новая революционная мобилизация.

Всплыла на свет «Молодая народная воля». В 1889 году из Сибири бежали двое бывших народовольцев и, передвигаясь от Нижнего до Астрахани на плотах, останавливались в попутных городах и вербовали молодежь в организацию новой нелегальной партии [177]. А за ними по пятам двигались шпионы, и, когда созрела нива, по всей Волге пошли аресты. Урожай оказался хорошим.

Казалось, что революционный сор выметен начисто. В русской избе на долгие годы утвердились полная тишина и спокойствие.

Некому было любить царя. Кто любил — любил корыстно. Любили только «дворянские бегемоты», вроде Замураевых, да промышленники и фабриканты, вроде пронырливых Ананькиных, ибо торговля и промышленность расцветать начали.

Все надежды интеллигенции рухнули, вера в свою победу исчезла, руки опустились. Оставалось только тайно ненавидеть, тайно мстить, ворчать и с понурой головой ждать лучших времен. Воплотивший эти интелли-

гентские чувства поэт Надсон[178], любимец своего времени, писал:

*Пусть неправда и зло полновластно царят
Над омытою кровью землей.
Пусть разбит и поруган святой идеал,
И струится невинная кровь!
Верь — настанет пора, и погибнет Ваал
И на землю вернется любовь![179]*

Все понимали под «невинной кровью» кровь погибших революционеров, под Ваалом — русское самодержавие, а под ожидаемой «порою» — будущую революцию.

Книга вторая

I

На путях жизни Кудышевых снова всемогущий случай с крутым поворотом; в 1887 году был случай несчастный, а теперь — счастливый. Так было.

Павел Николаевич переживал «смутный период» душевного состояния. Такие приступы повторялись с ним всякий раз, когда были до зарезу нужны деньги, а их не было. Тогда все рисовалось ему в мрачном свете: и люди, и все дела их на свете, и сам себе он становился в тягость. Доходило до того, что и «птичка Божия», то есть Елена Владимировна, не разгоняла уже своим легкомыслием и наивностью мрачных дум, как тучи в ненастный день, носившихся в его голове, и заедающая самокритика ставила вопрос: счастлив ли он в личной жизни?

Именно до такой грани пессимизма дошел теперь Павел Николаевич, ибо нужда в деньгах осложнилась общей семейной ссорой.

Вы уже знаете, что когда-то Кудышевы владели помимо никудышевского еще дру-

гим именем, на реке Суре, от которого остались, как говорится в сказке о бабушкином козленке, лишь ножки да рожки: поемные луга (из-за которых не так давно был убит Егор Курносов, а трое виновников пошли в арестантские роты) да старый уютный дом в городке Алатыре, в котором жила теперь тетя Маша с «мужем на пенсии». Павел Николаевич не раз уже в критические моменты поднимал вопрос о продаже этого дома. Предложил этот проект и теперь. Алатырский городской голова купец Тыркин покупал дом за хорошую цену: место большое, около реки, паровую мукомольную мельницу вздумал тут поставить. Сразу можно бы все дыры в помещичьем корабле законопатить. Но мать и слышать не хотела: этот огромный дом с выродившимся садом и заброшенными огородами был единственным кусочком, оставшимся от ее приданого покойному Николаю Николаевичу, в этом доме она прожила раннее детство и видела столько радости, сколько не знала потом в течение всей своей жизни! Она вовсе не желает, чтобы этот родной дом превратился в мукомольную мельницу. С нее до-

статочно, что симбирский «ампир» попал в руки к мужлану, который опоганил его и изуродовал.

И вот снова сын заговорил об этом доме и о купце Тыркине. И, конечно, снова взволновал душу матери:

— Я тебе раз навсегда сказала уже, чтобы ты оставил этот дом в покое!

— У тебя, мать, не дом для людей, а люди для дома. Сама им не пользуешься и людям не даешь. Как собака на сене: сами не едим и другим есть не позволяем.

Это взорвало старуху: сын позволил себе сравнивать свою мать с собакой!

— Забудьте про этот дом: я оставлю его внукам, Пете с Наташей. Вы — ненадежные. Всё промотаете.

Павел Николаевич почувствовал себя оскорбленным. Он еще ничего не промотал, а лезет из кожи вон, чтобы сохранить никому не нужную Никудышевку, и делает это не для себя, а для них же.

В тот же день вечером, перебирая в уме все возможные источники заимствования, Павел Николаевич вспомнил, что тесть, генерал За-

мураев, уже скоро два года как не возвращает взятых заимообразно «на недельку» пятисот рублей, и отправил к нему Никиту с письмом, в котором напоминал о долге и просил прислать деньги с нарочным. Никита напоролся на земского начальника и был избит им за неприятное письмо нагайкой, а генерал прислал с ним письмо к дочери с жалобой на Павла Николаевича.

«...Нет ничего противнее, как одолжаться у близких родных, — писал в своей жалобе генерал. — Если бы я это своевременно предвидел, то, конечно, предпочел бы твоему мужу, дворянину и помещику, первого попавшегося жидо-ростовщика. Но я...» и т. д.

«Птичка Божия» расплакалась, назвала «жидом» своего Малявочку, — и вот опять драма. И мать, и жена набросились.

Вышло это накануне Нового года, и потому всеми троими почувствовалось вдвойне тяжелым. Хорошо начинается новый год! Предполагался «музыкальный вечер», а вместо него:

— Пошлость и мещанство! Две дуры. Ну, мать из ума выживает, а Елена? Э! — дура. Ду-

ра благородных замуравевских кровей.

Павел Николаевич заперся в своем кабинете и, раскуривая папиросу за папиросой, ходил взад и вперед, мрачно, на весь притихший дом отбивая шаг громким стуком больших охотничьих сапог...

О, если бы он знал, что счастье быстрыми шагами приближается к Никудышевке!

Но не дано знать капризы судьбы человеку даже и столь просвещенному, как Павел Николаевич.

Он оставался мрачным. Потребовал ужин в кабинет, причем крикнул повелительно вдогонку ходившему на цыпочках лакею, почтенному Фоме Алексеичу:

— Поддай водки!

— Слушаюсь, ваше сиятельство!

— Я не сиятельство. Не смей так называть меня. Я не желаю быть самозванцем.

— Слушаюсь, ваше сиятельство.

— Дурак!

И спать не пошел на обычное место, лишив во гневе своем «птичку Божию» супружеского ложа. Она ждала и вздыхала до полночи, а жестокий Малявочка улегся на диване и

читал Гоголя, «Мертвые души». Читал зря: все знакомо; скорей перелистывал, чем читал. Очень злорадствовал над последними страницами поэмы, где Гоголь так восторженно сравнивал Русь с бешено мчащейся, необгонимой тройкой с колокольчиками.

«...Не так ли и ты, Русь, что бойкая необгонимая тройка несешься? Дымом дымится под тобой дорога, гремят мосты, все остается и остается позади».

— Эх, господа писатели! И врите же вы!.. Почему Русь, когда в тарантасе сидит Чичиков, скупщик мертвых душ? Теперь другой пассажир: не Чичиков, а купец Ананькин или Тыркин, скупающие наследие душ дворянских. Разве мы, дворяне, не живые мертвецы?

Мысль Павла Николаевича перескакивала на дела государственные, правительственные, на ненавистных Замураевых, земских начальников. Читал: «Что значит это наводящее ужас движение?» — и хохотал.

— Движение! Шаг вперед и два назад!

Читал: «Русь, куда ж несешься ты? Давай ответ! Не дает ответа...»[180]

— Под овраг! В пропасть, которую сами се-

бе роём изо всех сил.

Читал: «...чудным звоном заливаются колокольчики, гремит и становится ветром разорванный в куски воздух, летит мимо все, что ни есть на земле, и, косясь, посторониваются и дают ей дорогу народы и государства!»

Тут уж нет сил не бросить книги и не расхохотаться. «Другие народы и государства!» Каково русское патриотическое сомнение?!

— Квасной патриотизм! Славянофильщина.

Злорадство над гоголевской «Русью на тройке» кончилось, но сама тройка осталась. А в самом деле, хорошо бы теперь плюнуть на эту семейную пошлятину на дворянской подкладке и махнуть куда-нибудь на троечке! Морозец окна кружевами расписал, звездное сияние на нем синими мерцаниями сверкает. Дороги хорошо накатаны. Лошади застоялись. Не махнуть ли в эту морозную ночку, полную величавой тишины, подальше? В Алатырь-городок, например? Хорошо! Отложить всякое житейское попечение и, поглубже забравшись в сани, в мягкие валяные сапоги и в си-

бирский ергак[181], помчаться так, чтобы все летело мимо, что есть на земле: и дороги, и родственные генералы, и все дураки, и дуры вообще!

Павел Николаевич оделся и пошел будить кучера Ивана Кудряшёва:

— Запрягай тройку! В корень Ваньку, пристяжками молодых: кобылу Игрунью и мери-на Лешего! Потеплей одевайся — поедем далеко!

На дворе торжественное безмолвие. Здоровый такой морозище молчаливый стоит — призадумался. Ночь звездная и звонкая. Собака пробежит — словно человек ногами похрустывает. Весь мир словно в серебристо-синем сиянии дымится. Звездное сверкание на небе и на земле, на крышах, на окнах, на взлохмаченных инеем деревьях сада и парка. Из парка маленькая церковка-часовня выглядывает и крестом со звездочками перемигивается — могилы там прадедовские. Все застыло, окаменело. Слово в заколдованном царстве.

Хорошо в такие ночи колокольчики звенят, бубенцы булькают и обозы по большим дорогам скрипят, и все больше с хлебом.

Недаром эти места житницей России зовутся. А спросишь, чей обоз? — непременно либо Ананькина, либо Тыркина назовут.

Перед выездом Павел Николаевич Ваньке Кудряшёву два стаканчика водки поднес, да и сам барин «как будто бы маленько выпимши». Значит, дело знамое: любит, чтобы лошади не бежали, а летели. Лихо покрикивает Ванька Кудряшёв, помахивая кнутиком, поют-заливаются колокольчики, и ныряют набитые сеном сани, словно по речным волнам, убаюкивая всю печаль и огорчения спрятавшегося в сибирский ергак Павла Николаевича, и все, как в гоголевской тройке, кроме народов и государств, остается позади: верстовые столбы, взлохмаченные избы деревенек, обозы и шагающие около них мужики с засебренными бородами...

Всю ночь в ушах колокольчики, скрип санных подрезов, ныряние по волнам и заунывные вскрики Ваньки Кудряшёва: «Иех, голубчики!» Потом остановка на постоялом, двухчасовой отдых и кормежка лошадей, и снова то же самое...

А к вечеру на другой день на снежном

взгорье, под темным сосновым лесом, над окутанной снегами Сурой рассыпанные по снегу огоньки запрыгали, словно брошенные с небес звездочки:

— Ну вот и Алатырь — Бел-Камень видать! [182] — весело бросил Ванька Кудряшев и взвизгнул, ударив по пристяжкам: — Иех, милые!

И приударили лошадки, чую конец далекого пути и теплую конюшню с овсом и сеном: только комья взбитого кованными ногами пристяжек снега в сани полетели...

Городок маленький, а как много подмигивающих огоньков! Точно звездочки прыгают по взгорью, скатываются вниз, ползут на высоту. После долгого пребывания в никудшевских сугробах как веселят душу эти приветливые, то желтоватые, то красноватые искорки! Так много людей. Все-таки есть с кем словом перекинуться: два врача, городской и земский, судебный следователь, городской судья, почтмейстер, путейский инженер или, как его здесь называют, — «водяной», лесничий, воинский начальник, учителя прогимназии, уездного училища, ветеринар, земский стра-

ховой агент — все это публика довольно интеллигентная, с «прогрессивным направлением мыслей», не считая служащих городской и земской управы, полицейских властей, духовенства, купечества, съезжающихся на зиму помещиков. Клуб общественный имеется, где люди сходятся, чтобы, приняв праздничный облик, повидаться друг с другом, посплетничать, пофлиртовать, поиграть в картишки, выпить в приличной компании, посмотреть любительский спектакль. Все-таки есть где маленько освежиться можно после никудышевской берлоги. На людей посмотреть да и себя показать. А Павел Николаевич здесь в почете и уважении: самый популярный земец. Давно на очереди в председатели земской управы числится, да сам уклоняется, не надеясь на то, что губернатор не опротестует его избрания: свежа еще память об истории на Невском проспекте и об обысках у Павла Николаевича.

Тетя Маша с мужем и обрадовались, и испугались приезду Павла Николаевича. Под Новый год семью бросил! Не произошло ли опять чего-нибудь «политического?»

— Освежиться маленько. Ну а кстати где-нибудь деньжонок призанять.

До полночи сидели за самоваром, семейные разговоры вели. Что и как там, в Никудышевке, в Замураевке?

— Ну, а что у вас тут, в Алатыре?

— А наш городской голова Тыркин не приезжал к тебе?

— Нет.

— Опять о железной дороге в Симбирск думают[183] у нас хлопотать! Так тебя хотят просить докладную записку составить. Ты по этой части собаку съел.

Мечтать о железной дороге стали. Теперь, как зима, точно от всего мира оторваны, а тогда — рукой подать — Симбирск, Казань, Волга. Если ветка на Симбирск пройдет — непременно через Никудышевку. Земля сильно в цене поднимется. Может быть, и отчуждение частных владений... если через никудышевское имение пройдет. Это не то что мужикам за бесценок продавать! И алатырский дом, и место новую оценку приобретут. Тыркин двадцать тысяч предлагал, а тогда можно тысяч за пятьдесят продать. Около реки. Тут и паро-

ходная пристань, да и вокзалу лучшего места не найдешь. Сто тысяч дадут! Машин муж, неслужащий дворянин на пенсии, когда-то прогрессивный мировой посредник, неудачно попытавшийся служить в земских начальниках (оказался неподходящим!), мог бы на постройке место получить. А вот, кстати, у них Егорушка весной Казанский университет кончает, врачом сделается.

— У тебя большие связи в земстве. Устрой его поближе!.. Земским врачом, Пашенька!

— Это можно, можно... А вот где бы тычонку перехватить?

— Да попроси у Тыркина — не откажет тебе.

— Так-то так, да... уж больно противно кланяться.

— Так зачем же кланяться? Он за честь сочтет, что тебе одолжение делает.

— Эти времена, тетушка, давно уже прошли.

Два дня Павел Николаевич никому в Алатыре носа не показывал. Жил инкогнито. Как вспомнит, что надо денег кланчить, так и завянет гордая душа. На третий решился в клу-

бе побывать. Настоящий фурор произвел: все общество взбаламутил. Точно чудо увидали. Все в радостном волнении, трясут руки и поздравляют...

В чем дело? Павел Николаевич смущен и ничего не понимает. Дамы кокетничают и называют «счастливым». На клубной сцене поставили «Не было ни гроша, да вдруг алтын» [184]. До поднятия занавеса прошло не более десяти минут, в течение которых его мимоходом поздравляли и называли счастливым, а потом пришлось сесть на место и смотреть представление. Павел Николаевич заметил, что и сейчас на него публика таращится изумленными глазами.

В антракте разъяснилось: сегодня вернулся из Симбирска голова Тыркин и привез экстренный выпуск «Листка» [185] с опубликованием номеров тех билетов первого выигрышного займа [186], на которые пали главные выигрыши. В сноске к одному выигрышу в двадцать пять тысяч рублей было напечатано жирным шрифтом с патриотической гордостью: «Этот выигрыш пал на билет нашего симбирца, бывшего члена земской управы

П. Н. Кудышева».

— Коли не веришь, погляди сам, — сказал Тыркин и сунул Павлу Николаевичу смятую бумажку.

Большого труда стоило Павлу Николаевичу досмотреть «Не было ни гроша...». Притворился, что смотрит и слушает, но на деле он ничего не видел и не слышал. На душе точно арфы играли, горели по временам уши и щеки, точно вдруг совестно делается человеку; хотелось вскочить с места, выбежать из клуба и мчаться домой. Пришлось все-таки уступить знакомым и приятелям — поужинать с ними в клубе. Тыркин потребовал шампанского. Пришлось оставить в клубе все двадцать пять рублей, что имелись в кармане.

— Я вам, господа, очень благодарен за привет и поздравления, но должен признаться, что выиграл не я, а моя мать. Я только закладывал билеты в банке!

— А тогда выпьем еще за матушку Павла Николаевича! Вот оно и вышло, как на сцене: не было ни гроша, да вдруг алтын!.. Ура!

На другой день ранним мутно-серебристым утром Павел Николаевич мчался на

тройке домой в Никудышевку и удивлял Ивана Кудряшёва своей веселостью: шутил, напевал, угощал папиросами. «Надо полагать, вдоволь погулял ночью-то, вот хмель в нем и бродит», — решил Иван Кудряшёв и старался угодить веселому барину: гнал лошадей и по-свистывал соловьем-разбойником. В сутробывалил, испугался, что ругаться будет. Ничего, смеется...

Только огни зажгли, а они уже во двор въехали. «Птичка Божия» на крыльцо в одной шали выскочила. Глаза заплаканы.

— Что ты, Павел, с нами делаешь? Мы третью ночь не спим. Мама захворала...

— Клад я нашел! На-ка вот, прочитай! Двадцать пять тысяч! Я точно предчувствовал...

Анна Михайловна сразу поправилась! «Птичка» без умолку трещала. Словно канарейка. Сашенька радовалась чужому счастью. Ребята соскучились по отцу и оседлали отцовские колени. За ужином чокались наливкой и поздравляли друг друга:

— С Новым годом, с новым счастьем!

||

Симбирский «Справочный листок» разнес

весть о выигрыше по всей губернии, и Павел Николаевич сделался снова столь же популярным, как в 1887 году после ареста своих братьев и обыска в Никудышевке. Однако была и значительная разница: тогда популярность была пугающая, а потому отталкивающая людей, а теперь ласкающая и притягивающая. Правда, за истекшие годы страх и отталкивание почти уже выродились, однако до сих пор еще некоторые из столбовых дворян и высших губернских властей относились к Павлу Николаевичу с настороженным холодком, хотя и вполне корректно. Да и нельзя было игнорировать: он оставался гласным уездного алатырского земства, а притом в своем ораторском искусстве на общих земских собраниях весьма ядовитым изобличителем человеческой недобросовестности и глупости.

И вот теперь, после выигрыша, даже эти скептики всё ему простили, всё забыли и произносили имя Павла Николаевича не иначе, как с приятной улыбкой на лице:

— Это ему в утешение за неприятности, которые пришлось перенести из-за родных

братцев, чуть его не погубивших! Что ж, дай ему Бог!

Одни смотрели на это событие как на чудо, милостью Божией явленное над Павлом Николаевичем, и он сам становился для них каким-то чудо-человеком. (Ведь говорят же остряки, что выиграть на билет государственного займа так же трудно, как на трамвайный билет!) Другие восчувствовали к Павлу Николаевичу необычайное почтение и, покачивая головой, мычали:

— Да, это не баран начихал!

Третьи испытывали уязвленную зависть (тоже имели такие билеты и только лет пятнадцать-двадцать платили страховку дважды в год!) и все-таки благоговели перед счастливым. А было немало и таких, у которых к чувству внезапного уважения подмешивалась радостная мыслишка: вот у кого можно тышчонки две перехватить до ликвидации урожая!..

Заезжали мелкопоместные дворяне — поздравить и, поговорив о том о сем, брали Павла Николаевича под руку, отводили в уголок и, растерянно улыбаясь и заикаясь, приступа-

ли к делу. Павел Николаевич тоже улыбался, пожимал плечами и разводил руками:

— Я ничего не выиграл. Выиграла мать. Обратитесь к ней!

— Вот как!

К Анне Михайловне не решались идти: знали, что дело это безнадежное. С почты дважды в неделю сыпались письма, которые неизбежно начинались так: «Ваше Сиятельство, всемилостивейший князь! Зная Вашего покойного батюшку, благодетельствовавшего своих крестьян и погибшего за правду...» или «Ваше Сиятельство! Узнав из газет, что Вы достойно отмечены слепой фортуной, и, будучи сам дворянином Симбирской губернии, я...»

В начале мая из Алатыря приехала депутация: городской голова Тыркин, соборный протопоп, благочинный[187] по уезду, отец Варсонофий, и секретарь земской управы, интеллигент по найму, бывший студент Казанской духовной академии, наш знакомый Елевферий Митрофанович Крестовоздвиженский, устроенный в секретари самим же Павлом Николаевичем. Тыркин — с золотой медалью

на шее, отец Варсонофий, массивный, борода-
тый, громогласный и медлительный, с на-
персным серебряным крестом, Елевферий —
в белой чесучовой паре и в пенсне. Отец Вар-
сонофий, а за ним и остальные, помолились
в передний угол. Павел Николаевич принял
благословение и поцеловал благоухающую
мягкую руку бабушки. Все честь честью, по
старине. Поговорили о благорастворении воз-
духов[188], а потом и настоящую цель приез-
да раскрыли:

— На ближайших выборах в председатели
земской управы присланы просить вас, Павел
Николаевич, баллотироваться!

Объяснили, что у них дело это сделано,
только бы сам Павел Николаевич не упря-
мился. Не один раз в долгие скучные зимы и
он сам об этом подумывал, и теперь радостно
всколыхнулась его душенька, стосковавшаяся
по службе народу и обществу.

— И рад бы в рай, да грехи не пускают! —
вздыхнувши, сказал он многозначительно.

Тыркин понял, разгладил бороду и тоже
многозначительно ответил:

— Это ведь, Павел Николаевич, только в ад

загоняют, а чтобы в рай войти — стучаться надо. Стучите, и отворится вам! [189] Важно, чтобы своя охота была.

Все в три голоса стали упрашивать, утверждая, что все Павла Николаевича уважают и желают иметь председателем земской управы. Павел Николаевич усомнился: среди дворянства у него немало недоброжелателей, назвал три фамилии.

Тыркин ухмыльнулся:

— Не опасны для тебя.

Похлопал Павла Николаевича по коленям, показал сжатый кулак:

— Вот где они сидят, все трое!

— Наконец, со стороны губернатора...

— А уж это мы поглядим, — многозначительно перебил Тыркин.

Подзакусили, попили чайку, пошли хозяйство смотреть.

Павел Николаевич похвастался лошаадьми и коровами, племенным быком, породистыми свиньями, новой веялкой, показал, как разводятся шампиньоны, которыми только что потчевал гостей.

— Всюду благолепие! — повторял бархат-

ным голосом отец Варсонофий.

— Вот оно, образованьице-то, что делает, — гудел Тыркин.

Потом гуляли в парке, и тут выяснилось, почему всем захотелось в председатели земской управы Павла Николаевича посадить. Когда-то Павел Николаевич был инициатором неудавшихся хлопот о соединении Симбирска, Казани и Алатыря железными путями. Много поработал над этим вопросом тогда Павел Николаевич, но ему мешали пугливые люди, а в их числе и алатырцы. И сам Тыркин был тогда против: боялся, что железная дорога повредит его пароходному делу на Суре. А теперь говорил:

— Нам без веточки никак невозможно.

Павел Николаевич напомнил ему о прошлом:

— Век живи — век учись! Теперь я полный расчет вывел. Кто будет материалы на постройку дороги возить? Мои же пароходы. Теперь и купечество, и дворянство желают дороге эту.

— Истинное было бы благодеяние для всей губернии, — сказал отец Варсонофий и, потя-

нув ноздрями воздух, прошептал: — Повсюду благовоние!

— Поди не одно благовоние, а и доходы от садов-то имеете? — спросил серьезно Тыркин.

— Много и яблок, и груш, и вишни... Некуда деть. Гниют.

— А вот была бы веточка, уложил бы в лубяные короба да и марш в Симбирск! Да, мы, русские люди, пугливые. Нам надо все на своей шее изучить, чтобы в свою пользу уверовать. А уж если уверуем, против нас никому!

— За границей не бывали?

— Какие там границы! Я который уж год в Киев хочу, угодничкам помолиться, и то не угожу. Все недосуг. Делов много, а за ними и Бога забываем.

— Если труды праведные, то Господь простит, — успокоил Тыркина бархатным голосом отец Варсонофий.

— Мы согрешим, ты, отец, замолишь! А что, чай, воруют яблоки-то?

— Конечно.

— А ты вот что... Я вот как в своем саду сделал... Тоже от воров деться некуда, так я того... научили меня... под забором-то кое-где

старые двери положил, гвоздями утыкал, вроде бороны, а сверху-то травкой прикрыл. Прыгнет он, вор-то, да и напорится ногами-то голыми на эту штуку! Двоих поймали... Бояться стали.

— Изувечить так можно человека, — усомнился Павел Николаевич.

— А не лезь по чужим садам! Ничего не будет! На меня в прошлом году жалобу подал один: его парнишка напоролся. А я дело нашему аблакату поручил, этому... жидку-то...

— Моисею Абрамовичу, вероятно? — подсказал отец Варсонофий.

— Ему. Хорошо отписался! По собственной, дескать, неосторожности.

— Мне вот поручение от него есть, — вспомнил отец Варсонофий, — креститься хочет в православие. Вашу матушку, Анну Михайловну, в крестные матери желал бы...

— Ну это уж вы, батюшка, сами с матерью моей поговорите. Это ее специальность — всяких инородцев крестить...

— Так вот по этой причине мы и решились вашу почтенную матушку беспокоить.

— Что это ему вздумалось веру менять? —

с иронической улыбочкой спросил Павел Николаевич.

— А в этом уж заслуга почтенного Елевферия Митрофаньча. Он его наставил.

— Не верю я таким перевертням, — заметил Павел Николаевич.

— Отец его заставляет, Абрашка! — пояснил Тыркин. — По торговым делам ему свой крещеный человек требуется, чтобы по всей России разъезжать и житьствовать имел права[190].

— Ну вот... Так я и думал...

— А как сказать, Павел Николаевич, — возразил отец Варсонофий, — Господь всякими путями вразумляет человека. Сказано, что бывает и грех во спасение! Бывает, что и из Савлов в Павлы превращаются[191]. Неисповедимы пути Господни.

— Много разговору идет о железной дороге у нас. Так вот и он, Абрашка, на всякий случай готовится. Про всех дела хватит. Абрашка какого-нибудь бедного дворянчика ищет. Жидам не дозволено имения покупать, так вот Абрашка дворянчика подыскивает: куплю, говорит, тебе имение, помещиком в

Польше будешь. Лес, говорит, мне отдашь, а всю голую землю себе бери.

Теперь для Павла Николаевича стало ясно, почему Машин муж недавно Абрашку вон из своей квартиры выгнал.

Посидели на скамеечке.

— Ну, так какое же твое, Павел Николаевич, решение будет? С чем домой поедем? — спросил Тыркин. — Не отказывайся, сделай милость!

И снова стали упрашивать в три голоса.

— А вы, господа, не сразу! Дайте срок подумать.

— До осени далеко. Думай! Только скажи покуда, что не отвергаешь...

— Послужить можно, но... Много всяких личных препятствий.

Тыркин похлопал Павла Николаевича по плечу:

— Человек положительный. Сразу видать. Вот нам такого и нужно. Семь раз, говорится, примерь, а потом отрежь! Будем в надежде.

Отец Варсонофий отправился на антресоли: внимание почтенной Анне Михайловне оказать да и о новообращенном поговорить.

Надо сказать, что Анна Михайловна действительно имела слабость крестить инородцев в веру православную. Немало у нее крестников было: и детей, и взрослых, среди чувашей и черемисов[192]. Но из евреев еще не было. Первый случай. Абрашка у нее водяную мельницу на Алатырке арендует. Платит аккуратно. Долго пробыл отец Варсонофий на антресолях. Не сразу, видно, убедил Анну Михайловну согласиться на нового крестника. Однако вернулся с удовлетворенным сиянием на лице.

— Как дела? — тихо спросил его Елевферий.

— Господь даже одной заблудшей овце, возвращенной в стадо, радуется на небеси, — тихо же ответил батюшка, отирая клетчатым платком пот с лица своего.

Тыркин посмотрел на часы:

— Ехать пора.

— Ничего, жары нет, по холодку-то лучше...

Все встали. Захватив шляпы, двинулись на двор. Павел Николаевич провожать гостей пошел.

— А что я попросить хочу... — начал отец Варсонофий, задерживая шаг. И Павлу Николаевичу пришла мысль — вероятно займы попросит. Оказалось не то. — Не продадите ли одного поросеночка из тех, что показывали нам давеча? Очень уж понравились породой своей. Почему вы их оцениваете?

— Полноте, батюшка! Да я вам подарю...

— Зачем же дарить? Нет, уж вы продайте!

Павел Николаевич подманил Ивана Кудряшёва:

— Возьми корзинку, набей сеном и пару поросят туда... В тарантас, для батюшки...

— Зачем двух-то? Господи! Напросился... Стыд-то какой...

— Боровка и самочку!

— Как вас благодарить? Слов не нахожу.

Кудряшёв приволок корзину с поросятами. Павел Николаевич принял благословение, попрощались, одарив друг друга всяческими благопожеланиями. Гости стали усаживаться.

Звякнули колокольчики. Покатился тарантас. Завизжали поросята.

Все: и гости, и ямщик, и лошади — уезжали довольными, сытыми и веселыми. Когда

проехали плотину и стали подниматься на гору, ямщик спрыгнул с козел и, придерживаясь за край кузова, пошел рядом с тарантасом:

— Хороший господин, — говорил он, покачивая кнутовищем.

— Кто? — спросил Тыркин.

— Да он, барин никудышевский! Сколь раз ни случалось сюда бывать, завсегда напоят, накормят, лошадям овса дадут.

— Истинно добрый человек, — откликнулся отец Варсонофий.

Тыркин тоже откликнулся:

— Разное про него болтают, а я одно скажу: башковатый, мозги хорошо положены. Ну а нам без таких невозможно. Без них нас загрызут. Дельный да зубастый нам нужен, а то позабудут, что и город Алатырь на свете есть. Сколь годов примерно хлопочем, чтобы нам вместо прогимназии полную гимназию дали [193]? А ничего не выходит. А почему? Зубастый человек нужен, чтобы и зубами крепко за укус держался да и языком острым, где нужно, растравлял дело. А у нас? Не председатель, а видимость одна. Его и слушать не хо-

тят, когда языком звонит. Все знают, что ничего умного сказать не может. Скучаешь только да ждешь, когда замолчит.

— Ну, не будем осуждать: у нашего лета значительные...

— Так иди на печь спать!

— Придет час, и мы состаримся...

— Состаримся, сами от дела отойдем...

Долго молчали. Потом ямщик обернулся и спросил:

— А что, сколько это будет миллион целковых?

— А зачем тебе это знать понадобилось? — неприветливо спросил Тыркин.

— А слышал я на дворе, быдта барин никудышенский миллион в карты выиграл?

— Слышите звон, да не ведаете отколь он, — наставительно сказал отец Варсонофий.

Ямщик прыгнул на козлы, подобрал под себя кафтан и ударил по лошадям. Небеса хмурились. Из-под горизонта ползла дождевая туча. Вдалеке погромыхивала приближающаяся гроза...

III

Приближался срок освобождения Григория

из тюрьмы, и отчий дом был в радостном волнении. Все было уже сделано: послано триста рублей в контору московских «Крестов»[194] для вручения выходящему на волю политическому арестанту, дворянину Симбирской губернии Григорию Николаевичу Кудышеву; послано письмо милому Гришеньке с бесчисленным количеством ласковых слов и поцелуев, с наказом дать телеграмму в Алатырь тете Маше о дне приезда в Симбирск, чтобы встретить блудного сына; за месяц вперед приготовлена на антресолях комната для Гришеньки, чтобы он непрестанно, и днем и ночью, был поближе к истосковавшейся матери. Комната отремонтирована, полы, дверь и окна покрашены заново, светло, бело, уютно, словно в девичьей спальне. Каждый день Сашенька на стол свежие полевые цветы ставит. Мать заходит и подолгу в пустой комнате сидит, предчувствуя близость с любимым сыном. От радости поплакивает. Павел Николаевич все, что про «толстовщину» в журналах и газете прочитает, здесь же складывает, все надеется от этой ереси брата оттолкнуть.

Ждали все по-разному. Мать горячо, тревожно, без всяких рассуждений о прошлом и будущем блудного сына своего. Легко сказать: больше двух лет тревожной разлуки! Сколько дум передумано, сколько слез по ночам выплакано! Теперь все это прочь! Только радость скорого свидания! Скорей, скорей лети, время! Приходи, желанный час! А дни ползут, как тараканы. Так мучительно ожидание, когда нарочный от Маши с телеграммой придет.

Елена Владимировна ждала радостно, но терпеливо и спокойно. Когда-то они с Григорием были большими друзьями, много откровенничали. Интересно, что за человек выйдет из Гриши после двухлетнего одиночного заключения. Вот женился бы на Сашеньке! Когда-то влюблен в нее был. Сколько таких браков между двоюродными братьями и сестрами бывает! Уехали бы куда-нибудь подальше, да и повенчались! Сашенька такая ласковая, такая застенчивая смиренница, у нее много общего с Гришей в характерах, вышла бы счастливая пара...

Сашенька тоже ждала. Первая любовь как

в тумане плавала, образ повешенного любимого покрылся ореолом святости и отодвинулся, не рождает уже тревоги в крови, а лишь отвлеченное благоговение перед его «геройской жертвой». Никто и ничто не могло бы поколебать в Сашеньке такого восприятия гибели юноши Ульянова и тех неизвестных, что были с ним. Через эту жертву Сашенька смотрела и вообще на революционеров. Она плохо разбиралась в политических событиях, но сердцем чуяла, что это совсем «не злые изверги рода человеческого», а совсем напротив. Вот и Гриша, просидевший в одиночной тюрьме, пострадавший вместе с ними, окрасился в ее представлении в геройский цвет. Сашенька много наслушалась от Елены Владимировны и Анны Михайловны о Гришеньке, вспоминала его влюбленность в нее, и теперь ее тоже тревожило ожидание... Ах, сокрытая в деревенской глуши девушка всегда ждет, что зазвенят колокольчики, подъедет экипаж, ловко выпрыгнет из него некто красивый и статный и... они полюбят друг друга. А ведь на сей раз это не пустая фантазия, и действительно скоро подъедет

гарантас с тем, кто влюблен в девушку. Как же не вздрагивать и не замирать сердцу перед близкой грядущей неизвестностью?

Шумно ждали ребята, Петя и Наташа. Мечтали как о друге, с которым будут жить душа в душу. Оба помнили одно только: с дядей Гришей всегда было интересно.

В ожидании Павла Николаевича, помимо родственных чувств, были и практические соображения. Он решил принять предложение баллотироваться в председатели алатырской земской управы. Мать этого еще не знает, но Елена Владимировна посвящена в тайну и согласна. И теперь Павел Николаевич надеется, что Григорий до некоторой степени заменит его и поможет матери в хозяйстве. А то мыкаться в разъездах между Алатырем и Никудышевкой, разрываясь надвое, тяжело и непродуктивно.

И вот однажды ночью к воротам подъехал нарочный от тети Маши и поднял на ноги весь барский дом. Запрыгали в окна огни, забегали полураздетые обитатели. Телеграмма:

Надеюсь быть Симбирске пятнадцатого мая. Целую всех.

Григорий.

Буйный взрыв торжествующей радости! Закрутила, как вихрь, эта радость старый дом, выдавший много уже и радостей и печалей. Но такой радости, пожалуй что, и не видал еще он. Мать разрыдалась до обморока. За фельдшером в Замураевку послали. Сашенька, бегая по лестнице, ногу вывихнула. Елена Владимировна нарочному три рубля подарила. Так и не ложились больше: проголодались все вдруг и затеяли второй ужин на рассвете. На все лады обсуждали, что и как теперь будет и что надо сделать.

— Я сама поеду Гришеньку встретить в Симбирск! — заявила Анна Михайловна.

— Когда пятнадцатое? Сегодня какое число?

— Боже! Да пятнадцатое через три дня!

— Может быть, Гриша уже едет...

— Лена! Дай-ка наливочки! Выпить захотелось...

Шумом и криками разбудили ребят. Вышла неожиданность, встреченная взрывом хохота: Петя с Наташей, прикрывшись одеялами, сбежали вниз и предстали в столовой с

вопросительными личиками:

— Дядя Гриша приехал?

Усадили и ребят за стол. Словом, весь установленный порядок в доме кувырком полетел. Впрочем, даже бабушка не сердилась на это: день и ночь — необыкновенные, исключительные. На все прочее можно рукой махнуть...

На другой день Анна Михайловна уже собиралась к отъезду. Лучше приехать раньше, чем опоздать. Не догадались условиться, как встретиться в Симбирске. Придется все пароходы из Нижнего встречать. И пропустить можно. Пройдет в толпе пассажиров и затеряется. Одна не справишься. Пусть поедет с ней Сашенька. Сашенька в восторге, а ребята хнычут:

— Ба-буш-ка, возьми меня!

— Куда я вас наберу?

— Дядю Гришу встречать...

— Кыш отсюда! И так голова вертится...

А Елена Владимировна наказы делает, что купить надо в Симбирске.

— Напиши и дай мне записочку, а то все позабуду!

И Никита доволен: знает, что с ним старая барыня поедет. Давно на козлах не сидел. Шутит на кухне с бабами:

— Троечкой поправлю, на козлах поцарствую, а то мозоль моя на энтом месте больно чешется, так размять ее надо.

С большим шумом выехала старая барыня навстречу Гришеньки. До моста все провожали, а ребята в экипаже ехали. Тут долго расставались, целовались, платками махали друг другу, а деревенские посматривали и посмеивались над Никитой: шляпу с пером старая барыня велела ему надеть. Долго упирался Никита, а пришлось надеть.

— Микита! Ты ровно Иван-царевич!

В Симбирск накануне пятнадцатого приехали. Весь город в яблочном да вишневом цвету потонул. Красота неопикуемая. Точно в раю.

— Эх, дух какой хороший от города, — сказал Никита, подвязывая колокольчики, и сравнение подыскал: — Точно и не город, а барыня душистая!

Под горами Волга сверкала, разлившись вширь версты на три. Веселая кутерьма у

пристаней гудела. А на горах, по садам уже соловушки зажаривали...

И у Анны Михайловны, и у Сашеньки на глазах слезки: одна от радости, другая от восторга плачут через улыбку, застывшую на лице.

— Где, ваше сиятельство, остановимся?

— Поезжай в «Дворянские номера». Знаешь?

— Знаю, знаю, найдем.

Остановился, с козел спрыгнул. Вскинула глаза Сашенька на дом и спрашивает:

— А зачем ты нас в баню привез?

Дураком обозвала старая барыня Никиту: к «Дворянским баням» подвез!

— Дальше! Вон там, где извозчики стоят!

Сняли большой номер с балконом на Волгу и долго любовались вознесенными над цветущим садом огоньками на реке и на пароходах и баржах, слушали вздохи буксирных и тревожную стукотню легких пароходов, заунывные свистки и врывающиеся в эти звуки соловьиные вскрики, приносимые ветерком из цветущих садов. Боже, как прекрасен Симбирск в майскую пору! Одурающий аромат

цветущей сирени, черемухи, ландышей, яблонь, груш, вишен. А с берегового «Венца» [195] уже доносится оркестровая музыка...

Сколько счастья и радости разлито в весенней природе! Не хочется уходить с балкона. А встать надо раненько: завтра четыре парохода сверху, а на котором едет Гришенька — неизвестно. Два — в семь утра, два — вечером в 6 и 10 часов.

Улеглись, а не спится: соловьи мешают спать Сашеньке, радость ожидаемой встречи с сыном — Анне Михайловне.

Не дается в руки счастье, когда люди ловят его. Вот не гадали не чаяли, а оно влетело и двадцать пять тысяч бросило. А тут ждали, ловили, а одно огорчение и слезы...

В пять утра поднялись и весь день пароходы встречали. Даже и обедали на пристанях: не ехать же на горы, в город, чтобы через час снова к Волге сползать? И гор Анна Михайловна боится, да и опоздать недолго.

Все четыре парохода встретили — четыре раза порыв волнения пережили, все глаза проглядели, а Гришеньки нет! Вернулись в номера в страшном отчаянии и плохо спали,

утешая друг друга: опоздал на день, завтра должен приехать...

Пришло завтра, и снова то же самое: нет Гришеньки! Анна Михайловна ночью и молилась, и плакала, а Сашеньке мешали спать соловьи и песнями своими убеждали девушку, что она любит Григория... Перебежала Сашенька с дивана на постель к Анне Михайловне и, утешая ее, обнимала и сама плакала...

— Может быть, завтра приедет?

И снова огорчение, перешедшее у матери в отчаяние. Не случилось ли чего-нибудь страшного? Не похоже это на Гришеньку: знает, что мать мучается, ждет.

Приходил с постоянного двора Никита и спрашивал:

— Не приехал молодой барин?

— Нет.

— Что же, ваше сиятельство, обратно сегодня поедем аль еще останемся?

— Подождем еще один денек. Может, подъедет.

Пять суток прожили в Симбирске. Анна Михайловна мучалась в догадках. Пошла в

Спасский монастырь [196] помолиться, успокоить свою тревогу и там с матерью Ульянова встретилась. Пошептались на паперти: посоветовала в жандармское управление сходить, пусть телеграмму в департамент пошлют с оплаченным ответом или, еще лучше, — к прокурору по политическим делам Петрушевскому, который у них в Никудышевке обыск делал.

Так и сделала Анна Михайловна. Прокурор телеграмму послал. Два дня подождали ответа. Окончательно измотались, измучались тревожными предчувствиями.

На третий день Анна Михайловна пошла за ответом, и, как говорили накануне карты, так и вышло — удар в сердце!

— Ваш сын, Григорий Кудышев, в административном порядке выслан на три года в Астраханскую губернию, в город Черный Яр [197].

— За что еще? На каком основании? — возмущенно воскликнула Анна Михайловна.

— Это сделано в административном порядке, и потому я не могу дать вам никаких объяснений. Меня это не касается.

— Да какие же это, батюшка мой, порядки, если за одно преступление два наказания дают? — возвысила голос Анна Михайловна, у которой, как всегда при сильном волнении, запрыгала правая бровь и заходила ходуном высокая забронированная корсетом грудь. Почти задыхаясь, она сказала:

— А потом вы придумаете еще какой-нибудь порядок, и в этом порядке моего сына снова посадите в тюрьму. Это, сударь мой, не порядок, а беззаконие?

Прокурор обиделся:

— Я, милостивая государыня, не сударь, а прокурор и призван не сочинять законы, а лишь следить за их точным исполнением...

— Значит, нет правды в наших законах! Вон у вас же написано: милость и правда да царствует в судах. Где же эта милость и правда? Это жестокость и кривда!

— Разрешите, милостивая государыня, не критиковать мне вместе с вами действия правительства, — вставая, раздраженно сказал прокурор и, поклонившись, вышел из кабинета, бросив посетительницу.

Анна Михайловна посидела на стуле в пол-

ном одиночестве и, полная возмущения, сдерживая с трудом слезы, пошла из кабинета. Не сдержалась:

— Совершенная правда! — громко сказала она в передней, вспомнив слышанное от Павла Николаевича. — В России нет закона, а столб и на столбе корона!

О, если бы охранительные власти могли заглянуть сейчас в душу огорченной и возмущенной столбовой дворянки, бывшей княгини Кудышевой! Ужаснулись бы. Выходя с крыльца, Анна Михайловна шептала кому-то:

— Ну вот и опять дождетесь этих... снарядов!

Потом в номерах, вспоминая все свершившееся, она и сама удивлялась своим словам и мыслям. Чуть только не пожалела, что не убили тогда на Невском государя-императора!

Была мысль пойти в храм и исповедь принять, очиститься от слов и чувств дьявольских, да Сашенька остановила: а вдруг поп жандармам донесет?..

— Да что ты, милая, говоришь? В своем ты уме?

— Да вон наш алатырский благочинный постоянно на сектантов доносы пишет...

— Ну что ж, уж не знаю, право, как поступить. Помолюсь да перед образом покаюсь. Ехать домой надо. Собирай вещи, Сашенька! Без Гришеньки вернемся.

Припала к Сашеньке и завывала по-бабьи. Не похоже, что и дворянка столбовая.

Вместо радости большое огорчение в отчий дом привезли. Но прошла неделя, и все, кроме матери, успокоились. Только душа матери не успокоилась и никак не могла прийти в равновесие. По ночам зажигала свечу и шла в приготовленную для Гришеньки комнату. Садилась в кресло, закрывала глаза, и чудилось ей, что через эту комнату она делается ближе к своим «несчастливым мальчикам»...

Точно что-то переломилось после этой неудачи в душе Анны Михайловны. Все по-прежнему она была величественна и внушала робкое почтение посторонним, а мужикам и бабам даже боязнь, все так же повелителен был тон ее с прислугой, но все-таки это была только копия прежней старой гордой бары-

ни. Переломилась гордость, сознание своей избранности. Стали появляться прорывы в исполнении той царственной роли, которую, казалось, она продолжала играть на подмостках жизненного театра. Точно пошатнулась в вере в самое себя. То чрезмерно величава, то чрезмерно кротка, то грозна, то моментами необычайно ласкова, то придиричиво хозяйственна, то совершенно невнимательна ко всем благам жизни. Повадилась одинокую прогулку предпринимать в проданную Ананькину березовую рощу, к его келье — кукушек слушать.

— Мама! Что-то вы обмякли очень...

— Ты еще вперед, Пашенька, смотришь, а я больше назад. Все ищешь, чего уже нет и не будет.

А Павел Николаевич усиленно смотрел теперь вперед. Злобился на властей, что Григория на три года от отчего дома отняли. Все письма из Алатыря получал: со всех сторон осенью баллотироваться просили! И еще сообщили, что весь уезд словно с ума сошел: узнали, что скоро инженеры приезжают изыскания для железной дороги делать. Круп-

ными деньгами в воздухе запахло. По ночам с женой совет держал. Придумали: тетю Машу с мужем в Никудышевку переселить на подмогу матери, а самим в Алатырь перебраться, в старый бабушкин дом. До осени проживут, а зиму, если в председатели выберут, снимутся всей семьей и в Алатырь — Бел-Камень!

IV

Все было благополучно налажено: губернатор одобрил, враги согласились не препятствовать, благоприятный исход выборов обеспечен. Павел Николаевич уже чувствовал себя председателем алатырской земской управы и заметно отрывался от почвы отчего дома. Старый бабушкин дом в Алатыре ремонтировался, а тетя Маша с мужем и сыном жили теперь в Никудышевке, занимая флигель.

Хотя лето проходило в обычной суете и суматохе от наплыва гостей, но хозяевам было теперь много легче. В лице Алякринских пришла трудовая смена. Павел Николаевич от всех докучливых дел почил. Он только вводил в курс приглашенного в управляющие в помощь матери родственника, Машиного мужа, спокойного и пунктуального Ивана Сте-

пановича, и все докучливые повседневные мелочи лежали уже на его терпеливой спине, а Павел Николаевич готовился к вступлению на общественную службу и, чтобы явиться туда вооруженным, старательно изучал по отчетам, сборникам и документам дела и труды Алатырского земства. Настроение у него было хорошее, приподнятое: он как рыба, очутившаяся после пребывания на суше снова в воде, плавал в знакомом любимом деле и загорался разными планами облагодетельствования родного края и его населения. А Иван Степанович Алякринский, несколько лет сидевший без места и скучавший от полного безделья, почувствовал себя вновь призванным к жизни и точно воскрес из мертвых. Давно уже был только «Машин муж», а тут — начальник и распорядитель большого хозяйства. Оба довольны.

Довольны и хозяйки, молодая и старая. Тетя Маша взяла на себя, подобно опытному генералу, командование внутренним домашним хозяйством и его служащими, и тут сразу почувствовалась твердая рука и точная распорядительность.

Раньше было двоевластие, не было разграничения функций молодой и старой барынь, а теперь — одна власть, тетя Маша. Анна Михайловна, точно отрекшаяся от никудышевского престола царица, заточенная на антресоли. Показывается лишь в исключительных случаях и не всем. И Елена Владимировна окончательно избавилась от заботы и труда. Радовалась, как птичка Божия, очутившаяся на полной воле. Ей только и осталось дела, как встречать, очаровывать и провожать гостей, гладить по головкам детей да миловать своего Малявочку.

А гостей, по обыкновению, было много. Росли, как грибы после дождя, но сердили они теперь только тетю Машу. «Да они всех нас живыми съедят», — ворчала она, видя с какой быстротой убывает птичье семейство.

В числе гостей оседлых, кроме семьи Алякринских, в которой было прибавление в виде сына, только что получившего звание лекаря, Егора Ивановича, или, как все называли еще его, Егорушки, были золотистая красавица, кончившая Институт благородных девиц, томная и мечтательная Зиночка Замураева;

непризнанный пока, но как бы отмеченный уже в книге живота, жених ее, всегда жизнерадостный, веселый, румяный парень с открытой душой, Ваня Ананькин, щеголявший этим летом в форме речного пароходного капитана; сделавшаяся уже своей в доме кроткая русская девушка с печальными глазами, Сашенька Алякринская, учительница и воспитательница подростков уже заметно Пети с Наташей, и проводивший здесь свой служебный отпуск секретарь алатырской земской управы, знакомый уже нам Елевферий Митрофанович Крестовоздвиженский, помогавший Павлу Николаевичу входить в курс дел будущего председателя.

Гостей пришедших, мимоезжих, часа на три или только с ночевкой, этим летом было больше, чем когда-либо: служилую холостую интеллигенцию уезда привлекали красивые, как на подбор, заневестившиеся девицы, а людей нечувствительных в этом отношении — желание поддержать приятные отношения с будущим председателем и какие-нибудь личные соображения и дела, в которых будущий председатель может быть нужным

и полезным. Впрочем, заезжали и друзья-единомышленники, земцы, без всякой задней мысли и корыстных расчетов...

Елена Владимировна с большим мастерством и разнообразием принимала гостей, всех одинаково очаровывая: кого гостеприимностью, кого кокетливостью. Сразу угадывала она, какой тон с каким гостем надо взять, хотя случалось, что и гостя-то впервые видит.

И все-таки бывали случаи, когда даже и Елена Владимировна терялась.

Однажды, когда Павел Николаевич с Аляк-ринским уехали на бегунках[198] в поле хлеба смотреть, а вся молодежь ушла в лес за земляникой, к воротам подъехала плетушка и привезла гостей, относительно которых усомнился не только Никита, но и дворовые собаки, поднявшие тревожный неутомный лай, перешедший потом в нервное подвывание.

Из плетушки[199] вылезли двое пропыленных сверху донизу путников и тут же у ворот начали приводить себя в порядок: чистили друг друга щеткой, той же щеткой смахивали пыль с ботинок; раскрывши древний, поте-

рваный форму чемодан, стали надевать крахмальные воротнички, помогать друг другу нацеплять галстуки и т. п. Причем и лица у них были на глаз Никиты неблагородные, а пес их знает, какие, вроде как цыгане.

— Это вам кого же нужно? По каким делам? — спросил Никита, не торопясь отодвинуть засов решетчатой калитки. — Барин с управляющим со двора выехавши.

— А мамаша? — строго спросил старший, бородатый, на глазах Никиты сменивший фуражку блином на старомодный цилиндр.

— Какая мамаша?

— Не знаешь, кто мамаша? Ну, сама княгиня!

— То есть ее сиятельство, старая барыня, что ли? — маленько оробев, спросил Никита.

— Ну да! Что ты, неграмотный?! Я имею важные дела с княгиней, а этот дурак... — как бы жалуясь и удивляясь, произнес старший младшему, и Никита, почесав в затылке, пропустил гостей, провожая их все же весьма сомнительным взглядом.

Это были приехавшие из Алатыря Абрам Ильич Фишман, арендатор алатырской водян-

ной мельницы, и его сын, частный ходатай по делам, Моисей Абрамович, пожелавший перейти в православие и получивший согласие Анны Михайловны быть его крестной матерью. Старичок лакей, Фома Алексеич, клевал носом, сидя под лестницей с газетой на коленях, и гости, вытягивая шеи, прошли мимо, высматривая вперед, откуда неслись звуки фортепиано. Елена Владимировна, растворившаяся в волнах приятных звуков, не слышала осторожных шагов позади и громко вскрикнула, случайно повернувши головку к двери. Испугалась неожиданного появления незнакомых и странных физиономий с застывшими искательными улыбками. Еще больше испугались сами гости.

— И чего же вы, прекрасная дама, испугались? Я же арендатор вашей мамы, а это — Моисей, мой собственный сын...

Елена Владимировна знала, что такой арендатор существует, и моментально сообразила: вероятно, привез бабушке деньги. Она состроила приветливую улыбку на лице и провела гостей на нижний балкон-террасу в сад, где всегда не сходил со стола самовар со

всеми приложениями к чаепитию.

— Мама сейчас отдыхает. Она скоро проснется уже и тогда... Может быть, можно и без нее? Хотите чаю? Пожалуйста! Наши все разбрелись... Вам непременно надо саму маму? У нас теперь всем заведует управляющий...

Абрам Ильич уже освоился и, предвкушая утоление мучившей его жажды поданным ему красивой женщиной стаканом чая, по обыкновению, начал острить:

— Если бы нам был нужен мужчина, то можно бы поговорить и с управляющим, но мы хотим иметь крестную мамашу, и она у нас уже готова...

— Какая мамаша? — широко раскрывая глаза, спросила Елена Владимировна.

— Ну, ваша мамаша! Она же будет и мамашей моего Моисея. Княгиня дала уже свое благородное слово, и мы приехали не скажу чтобы креститься, а по этому важному делу...

— Ах, да!

Елена Владимировна вспомнила мимолетно слышанный в доме разговор о том, что бабушка крестит еврея, и сразу сориентирова-

лась в положении.

— Мама у нас давно уже прихварывает. Едва ли она согласится поехать в Алатырь: ей тяжело трястись в такую даль. Вот если бы была железная дорога, тогда другое дело...

— Что вы говорите? Разве мы осмелились бы трясти мамашу! Никогда! Вы думаете, что мы не понимаем, что княгине совсем неприлично смотреть на раздетого Моисея! Этого совсем не нужно.

Тут заговорил Моисей Абрамович русским культурным языком, деловито и без всяких остроумных шуток. Он объяснил, что от Анны Михайловны требуется лишь письменное согласие на имя священника Варсонофия, чтобы ее записать крестной матерью. Вот они и приехали, чтобы, во-первых, сделать визит будущей крестной матери, а затем получить письмо к отцу Варсонофию.

— Тогда придется подождать, когда проснется мама...

Вот тут-то и оказалась Елена Владимировна не на высоте своего призвания. Надо было занимать гостей приятным разговором, а она не находила подходящих тем, ибо совсем не

думала, что Моисей Абрамович может говорить о чем угодно: и о политике, и о литературе, и о революции, и хлебном деле...

— Вы находите, что наша вера лучше вашей?

Моисей Абрамович смутился, даже как будто бы покраснел, а Абрам Ильич пожал одним плечом и засмеялся:

— Ну вера как вера. Разве не все равно Богу, как люди молятся? Бог же всегда был один — и ваш, и наш!

Елена Владимировна наивно спросила:

— А тогда зачем же менять веру? Никто вас не заставляет...

— Что такое вера? Человек думает, что если он вместо фуражки надел цилиндр, так он уже стал не тот же человек. А Бог смотрит на людей и смеется. Вот если бы я не надел цилиндр, то ваш мужик не пустил бы нас к вам... и мы не могли бы получить крестную мамашу!

Елена Владимировна весело смеялась, не углубляясь в сущность философии Абрама Ильича.

— Богу все равно, а только обидно людям.

Ну, так я сказал: надо так, чтобы ни нам, ни вам не было обидно! Пусть я, как был, так и останусь, евреем, а ты, Моисей, будешь русским. Попролам! Он же все равно от своей веры отстал...

Послали девку на антресоли. Анна Михайловна встала. Елена оставила гостей и, побывавши на антресолях, сообщила, что мама просит к себе будущего крестника. Гости всполошились. Отошли в сторонку, и Абрам Ильич наскоро шепотом наставлял сына. Потом отряхнул с его пиджака приставшую ниточку и сунул в руку пачку денег:

— Аренда!., за полгода... Возьми расписку!.. Скажи почтение от отца!

Девка повела Моисея Абрамовича на антресоли, а Елена Владимировна продолжала беседовать с его отцом.

— Мой Моисей готовится на зрелость...

Опять Елену Владимировну разобрал хохот:

— А не поздно? Вашему сыну сколько лет?

— Э!.. Ему только тридцать, а у него уже пять живых и два мертвых!

— Детей!

— И только один мальчик! Надо, чтобы человек был чем-нибудь приличным. Он очень способный человек. Я дам отсекнуть руку и ногу, если он не выдержит зрелость и не будет помощником присяжного поверенного! Он уже по наукам знает как профессор! Вы слышали новость? Уже разрешили железную дорогу, и весной приедут инженеры в Алатырь... Умный человек очень будет нужен. А есть такие дураки, которые боятся железной дороги! Я помню, что мужики боялись брать у помещиков землю, когда царь приказал дать им волю... Так много на свете дураков!..

Появился с письмом в руке Моисей Абрамович, весь красный и растерянный.

— Ну что? Она благословила?

Моисей Абрамович кивнул.

— Дай сюда расписку! Кланялся мамаше от меня?

— Ну, конечно.

— Почему же ты такой красный?

Моисей Абрамович поморщился и не ответил.

— Надо, папаша, торопиться...

Абрам Ильич наговорил Елене Владими-

ровне кучу смешных комплиментов и пожеланий. Моисей Абрамович приложился к ручке, и гости радостно и поспешно нырнули в дверь, оставивши Елену Владимировну в смешливом настроении.

Не улеглась еще пыль от уехавшей плетушки с переодевшимися у ворот гостями, не угомонились еще дворовые собаки, как подкатили бегунки с Павлом Николаевичем и Алякринским.

Елена Владимировна во всех подробностях рассказала про уехавших гостей и про свой разговор с ними.

— Мать согласилась?

— Согласилась.

— И охота ей, — раздраженно бросая шляпу на диван, произнес Павел Николаевич.

А Алякринский насупился:

— Да я не только родниться с этим Абрашкой-жуликом не посоветовал бы тете Ане, а на порог пускать его!

— Ничего не поделаешь! Слабость своего рода.

Появилась тетя Маша:

— Разве мало крещеных жуликов? Ну, од-

ним больше будет. Эка беда!

Алякринский проехался было вообще на счет «жидов», но Павел Николаевич поморщился и попросил очень деликатным тоном:

— Иван Степанович! В нашей семье слово «жид» не употреблялось до сих пор, и мне не хочется, чтобы оно употреблялось. Мы-то ничего, а вот дети... Народ это восприимчивый. Попрошу вас воздерживаться.

V

Большую драму пережил Павел Николаевич в юности, когда жизнь, эта жестокая насмешница над всеми нашими увлечениями, вырвавши юношу из объятий мечтательного революционного романтизма, пихнула в свою неприглядную действительность и стала грубо срывать красивые одежды со всех боготимых народнических идолов, обнажая топорно обделанное дерево. Теперь-то, вспоминая об этом далеком времени, Павел Николаевич лишь грустно улыбался, а были позади дни, когда он, приходя в отчаяние от разочарований, стоял на грани самоубийства. Попрдержала его на этой грани только нечаянная встреча с девушкой, которая принесла

ему новые очарования и обманы, в которых он потонул со всеми поверженными идолами. Тоска по ним тускнела и улетучивалась в образе плохих стихов, тетрадка которых до сей поры валяется в ящике письменного стола. В этой тетрадке между гимнами в честь Леночки Замураевой есть и «плач на стенах Вавилонских»[200]:

*У меня была книга заветная,
Я в ней правду святую читал.
На страницах ее чистых, искрен-
них,
Я усталой душой отдыхал...
Чьи-то грубые руки коснулись
Этих чистых заветных страниц:
Перепачкали грязью и выдрали,
Не щадя ни идеи, ни лиц.
И теперь заблудившимся путни-
ком,
Как в лесу без компаса, бреду,
Ни дороги, ни сладкого отдыха
Я в той книге святой не найду...
Почему же храню эту книгу я?
Что к ней душу больную влечет?
Брось в огонь! От былого заветно-
го
Сохранился один переплет...*

Как-то вечером, разбирая бумаги в письменном столе, Павел Николаевич наткнулся на пожелтевшую от времени тетрадь со стихами и увлекся собственными юношескими произведениями. Прочитал и это стихотворение с оглавлением «Заветная книга». Вздыхнул и печально улыбнулся. Подумал: «Не столь хорошо, сколь правдиво!.. И даже современно. А еще говорят, что не бывает пророков в отечестве своем!»

Трое пойманных на Невском студентов с метательными снарядами и четверо повешенных с Александром Ульяновым во главе, да неудачная попытка организовать снова партию народников[201], повлекшая к гуртовым арестам на всей Волге, что произошли в 1887 и 1888 годах, было последнею тучей рассеянной бури[202]. Над Россией всплыло солнышко с кроткими лениво-сонными небесами установившейся надолго мирной тишины и спокойствия. Потянулись безоблачные и безветренные дни и звездомерцательные ночи, торжественное молчание которых нарушали лишь одинокие лаявшие на луну собаки, верные спутники жизни мирного населе-

ния, занявшего одну шестую земного шара...

Антон Чехов начал писать «сумеречные рассказы» и «скучные истории»[203] и не находил одобрения в «Русском богатстве», которое читалось в Никудышевке.

Здесь по-прежнему оставались верны как «Русскому богатству», так и «Русским ведомостям»[204], как в Замураеве — «Русскому вестнику» и «Московским ведомостям»[205]. Заветные книги двух главных лагерей во всей России[206], а в том числе и среди Симбирского столбового дворянства.

Храм народничества был разрушен. Но «храм разрушенный — все ж храм[207], кумир поверженный — все ж бог».

Уже не было священного алтаря, на котором так недавно еще свершались обильные жертвоприношения, но «отцы» продолжали по инерции молиться старым богам и держались за старую веру, яростно борясь с разрастающейся «толстовской ересью», как некогда боролся простой народ с никонианством[208]. Хотя толстовская ересь и оставила в кумирах по-прежнему «мужика», но облекла его в новые ризы: народники почитали его природ-

ным социалистом, от рождения предназначенным к устройству земного рая во всей подлунной, а толстовцы открыли в нем специального и исключительного носителя и хранителя «Божьей правды», что внушало «отцам» опасение за судьбу революции, ибо какая же революция, когда проповедуется непротивление злу насилием? Какая же революция бывает без насилия? И какой русский интеллигент, спросим, перефразируя Гоголя, не любит быстрой революции?

Не успели «отцы» искоренить эту чисто домашнюю ересь, как появилась новая, еще более опасная, заграничная. Эта новая отодвигала революцию на задний план вместе с возлюбленным мужиком, предлагая самим пойти на выучку к капитализму Западной Европы, а мужика-дурака выварить в фабричном котле[209]. Когда, спрашивается, их вываришь, восемьдесят миллионов-то дураков?.. На место спихнутого с пьедестала мужика новая ересь ставила рабочего: вот кому молитесь! Вот кто — прирожденный социалист! И что казалось отцам особенно возмутительным, новая ересь утверждалась скрывшими-

ся за границей бывшими же народниками [210], рекомендовавшими русской интеллигенции бросить толчение воды в ступе: мужика, либералов, террор, — и заняться созданием по примеру Германии своей социал-демократической партии.

Егорушка Алякринский привез в Никудышевку из Казани номер органа заграничных еретиков, названный «Освобождением труда» [211].

Таким путем впервые в Никудышевке узнали, что бродившие среди провинциальной передовой интеллигенции слухи о какой-то «новой вере» среди студенческой молодежи имеют свое основание...

Конечно, в Никудышевке, когда туда заезжали друзья освежиться умными разговорами, новая ересь была поднята на штыки логики и здравого смысла.

— Идиоты! У нас сто миллионов мужиков, а фабричных рабочих — горсточка.

— Да и котлов фабричных два-три да и обчелся, где же будем вываривать-то?

— И что значит — пойти на выучку к капитализму? Искусственно создавать голоштан-

ный пролетариат? Обезземелить крестьянство в пользу Тыркиных и Ананькиных?.. Извините, Ваня! Из песни, как говорится, слова не выкинешь, — спохватился Павел Николаевич, увидя широкую улыбку на лице добродушного Вани Ананькина.

— Я ничего... Валяйте! Брань на ворота не виснет...

— Я не хотел обидеть вашего батюшку... Я, так сказать, символически...

— На то и щука в море, чтобы карась не дремал, — произнес Ваня безобидно и весело, возбуждив хохот окружающих.

Разговор шел в библиотечной комнате, куда собрались и «свои», и заезжие гости перед обедом. Земский врач Сергей Васильевич Милев, заматеревший в народничестве лохматый очкастый интеллигент лет под сорок, принял новую веру за личное оскорбление, и злость, и раздражение мешали ему говорить, а голос срывался на высоких истерических нотах:

— Значит, все насмарку?! Все жертвы, весь тернистый путь? Дайте мне в руки эту паршивую газетку! Не за границей она выпущена...

на, а департаментом полиции! Я... я не могу поверить... допустить... У нас не Германия! У нас надо сперва добиться парламента и признания политических партий... Ведь... ведь это подслуживанье капиталистам только на руку правительству!

— Ничего не понимаю... Или я от старости оступел, или... — говорил бывший мировой посредник[212], шестидесятник Иван Степанович Алякринский и, покосившись на сына как на источник этой непонятной новости, подозрительно спросил: — Да ты сам-то, Егор, как? Не спутался с этими дураками?

Егорушка уклонился от прямого ответа:

— Я просто интересуюсь... как очень многие...

— Да неужто можно этому поверить и...

— Есть такие, которые соглашаются... разделяют... надо во что-то верить...

— Но послушай, Егор! Если бросить веру в свой народ, то что же остается?

— В самого себя! — вставил весело Ваня Ананькин, и снова все засмеялись.

— Идем обедать... Дайте руку!

Зиночка улыбнулась Ване, и тот сделал ру-

ку кренделем.

— Господа! Бросьте толочь воду в ступе! Обедать зовут! — крикнул Ваня, уводя из библиотеки свою повелительницу.

Все гурьбой потянулись на веранду, а Егорушка с Елевферием остались и продолжали говорить о новой вере. Егорушка получил в наследство от отцов любовь к народу и жажду подвига, но безвременье томило его, ибо некуда было эту любовь расходовать и нечем утолить жажду. Хотелось найти точку приложения, а ее не было. Елевферий горячился:

— Боже мой! Господи помилуй! Как нечего делать? На каждом нашем шагу требуется и любовь, и подвиг... А вы теперь врач, будете служить народу. Кроме веры в Бога никакой другой веры не требуется. Все вот такие веры не от Бога, а от дьявола: не в Град Незримый тащат народ, а к Антихристу. В Богато верите?

— Хочется верить, но... сомнения есть... — сконфуженно произнес Егорушка.

— Верьте в Бога и в Божественную революцию! А все прочее бесовщина. Достоевского «Бесов» читали?[213]

Егорушка окончательно сконфузился. Кое-что читал, но вообще-то мало интересовался Достоевским: этот великий писатель почитался среди передовой интеллигенции вредным, ретроградным, его называли за «Бесов» «пасквилянтом»[214], и не принято было читать его.

— «Бесов»? Говорят, это пасквиль на наших революционеров...

— Плюньте тому в морду, кто вам сказал это! А что касается народа и интеллигенции, так вот вам схема моего сочинения...

Пришла девка и кликнула: «Обедать велели!»

— Ну, потом поговорим... Берегитесь стада бесовского!..

За обедом Елевферий опять заговорил о «Бесах» Достоевского, и начался спор: одни называли Достоевского писателем гениальным, другие — вредным ретроградом, третьи — пасквилянтом, оболгавшим всех передовых людей. Защищали немногие: тетя Маша с мужем (они всегда и во всем были согласны друг с другом), Елевферий, Зиночка и Ваня Ананькин. Остальные злобно нападали,

кроме Сашеньки, которая слушала и молчала. Особенную злобу проявляли Павел Николаевич и земский врач Миляев:

— У него сплошной сумасшедший дом даже в лучших романах! У него самый лучший, положительный тип — идиот! Чем читать Достоевского, лучше побывать в клинике душевнобольных. Это, конечно, имеет свой интерес, особенно для нас, медиков, но при чем тут изящная литература?

— Он психолог! — упрямилась тетя Маша.

— Отлично. Пусть будет психолог, а вернее — психиатр. Но, во-первых, литература — не клиника для душевнобольных, а во-вторых, всякий психиатр, проживший долго со своими больными, сам делается сумасшедшим, и во всяком случае не ему делать оценку крупных и сложных общественных явлений политического характера. Типы свихнувшихся людей — неподходящий аршин для их оценки...

— Я к этому добавлю, — кричал Павел Николаевич, — что Достоевский умышленный пасквилянт: он напакостил из личной мести Ивану Сергеевичу Тургеневу, изобразив его в

своим Кармазинове, напакостил знаменитому профессору Грановскому[215], а в «Бесах», которых вы, Елевферий Митрофанович, так рекомендуете молодежи, опоганил все святое русского освободительного движения. Я считаю Достоевского более вредным, чем даже Лев Толстой с его глупым рабским «непротивлением»...

— Истинный христианин! Истинный! — возглашал Елевферий в защиту Толстого.

— Даже и тут неверно: если Достоевский пытался, но не смог и струсил перескочить через Христа, спрятавшись за спину Великого инквизитора, то Лев Толстой перескочил через Христа[216], потому что признал в нем не Сына Божия, а лишь социального реформатора. Какой же он христианин?

— Я называю его истинным христианином постольку, поскольку он отверг все исторически-религиозные сделки с совестью современных людей, именующих себя христианами, вот таких, как мы с вами, Павел Николаевич, и преподнес нам учение Христа в чистом виде. Не убий — так не убий! Не суди — так не суди! Не противься злу насилием — так не

противься! Противься честным словом и честным поведением! Добрыми делами противься!

— Вон наш Григорий не противился, а в тюрьму и ссылку все-таки попал.

— Неверно-с! Григорий Николаевич только насилием не противился, а всей душой, словом и поступками всегда противился. А произведенное над ним насилие, как он сам мне написал недавно, послужило ему лишь в утверждение истины, а не в поругание... А вот взявший меч погибает если не от меча, так от веревки![217]

Обед уже кончился, а все продолжали сидеть в ожидании очередного самовара и, вероятно, продолжали бы горячиться, если бы стоявшая у перил веранды и смотревшая через ограду Сашенька не сказала, обернувшись:

— Кто-то приехал! На телеге!

Кто мог приехать на телеге? Все направили взоры на двор, к воротам. Сашенька узнала первой:

— Кажется, Владимир?

— Какой Владимир?

— Брат повешенного Ульянова...

Все притихли. Всех охватило странное беспокойство. Сашенька вспыхнула и метнулась с веранды в сад. Встала тетя Маша и, что-то непонятное буркнувши, торопливо ушла в комнаты.

— Маша, — шепнул ей вдогонку Иван Степанович и на цыпочках двинулся за женой.

Вспорхнула Зиночка; догоняя ее, исчез Ваня Ананькин.

— Куда же, господа, вы? — простирая руки, с укоризной произнес Елевферий, видя, что и Елена Владимировна сорвалась с места.

— Не хочу я... — бросила шепотом Елена Владимировна и тоже исчезла.

Павел Николаевич тоже немного растерялся: однажды обжегшись на молоке, будешь дуть и на воду. Однако бежать постыдился. Да было уже и поздно: появился Фома Алексеич и, подавая визитную карточку, сказал почему-то виноватым тоном:

— Вас желают видеть.

— Проводи в кабинет! Подашь в кабинет два стакана чаю!

— Слушаюсь.

Павел Николаевич постоял, посмотрел на карточку: «Кандидат прав, Владимир Ильич Ульянов». Над текстом — корона, символ столбового дворянства[218]. Павел Николаевич ухмыльнулся, поправил усы и решительно направился к кабинету.

VI

Когда-то Павел Николаевич называл этого человека «Володей», как его называла вся никудашевская молодежь. Но с тех пор прошло четыре года. А затем, это совершенно не шло к господину, который, поднявшись с кресла, шел навстречу. Да и тактична ли была такая фамильярность к «брату повешенного»?

— Добро пожаловать, Владимир Ильич! — серьезно и суховато произнес Павел Николаевич, отвечая на протянутую руку и всматриваясь в гостя слегка сощуренным взглядом. — Пожалуй, и не узнал бы без визитной карточки... Прошу садиться!

Пошел и повелительно крикнул в дверь:

— Дайте нам чаю!

Владимир Ульянов сильно изменился за четыре года. Все дефекты его лица и фигуры время подчеркнуло: сутулость, коренастость,

низкорослость, калмыцкие глаза со скулами, торчащие уши, бедную рыжую растительность, словом, всю некрасивую сторону его внешности. Гость был в приличной шевиотовой паре[219] темно-синего цвета, но сидела она на нем некрасиво: так бывает, когда нарядится человек в чужое платье и сам это постоянно чувствует.

Не сразу налачился разговор. Сперва оба точно ощупывали словами друг друга. Голос Ульянова скрипел чуть не на каждом слове, а Павел Николаевич злоупотреблял междометиями. Поклоны. Справки домашнего характера. Кто где и что делает и как себя чувствует. И за всем у обоих задние мысли и ощущение, что все это так, между прочим, а главное впереди.

Когда увертюра кончилась длинной тягучей паузой, гость заговорил о «подлых временах», то есть о беспросветной реакции. Конечно, Павел Николаевич охотно принял эту тему и постарался показать, что он не изменился в своих взглядах и остался по-прежнему передовым человеком. Однако в террор он давно уже не верил и не верит теперь. Павел Ни-

колаевич рассчитывал такой оговоркой обеспечить себя от всяких попыток со стороны брата повешенного утилизировать себя с этой стороны. Каково же было его удивление, когда гость, хитровато улыбаясь одними глазками, охотно согласился и, глоточками отпивая чай из стакана, сказал:

— Правительство именуется «гидрой» революционеров, а я думаю, что оно-то само скорее напоминает это чудовище. Срубит рыцарь одну голову, а на ее месте — две новых. Бесплодный труд и геройство. Давно пора это бросить. У правительства на каждого нашего героя — десять тысяч подлецов!

— Мда... конечно... если всех вообще политических противников условимся считать подлецами.

Они встретились глазами, и оба потупились.

— Вы правы: моральную оценку надо в данном случае оставить...

Гость помешал ложечкой в стакане. Павел Николаевич стал закуривать новую папиросу.

— Я полагаю, что и революцию надо пока

оставить в покое... — точно подумал вслух гость самым нейтральным тоном.

— М-м... вы имеете в виду культурную работу?

— Да. Революционно-культурную. Вместо меча — свободное революционное слово, направленное целесообразным образом, концентрированное в одну определенную точку...

— Не верю в прокламации и трескучие листовки, — сухо бросил Павел Николаевич.

— Это дело прошлое. Его тоже давно пора бросить, — согласился гость и поскрипел: — Кхе, кхе!

Потом моментальный вскид головы к потолку, словно там гость надеялся что-то отыскать, и потом глаза в глаза:

— Нам нужна помощь порядочных людей на одно серьезное дело. Вас я, Павел Николаевич, знаю со дней юности и... помню, что первым, кто решился войти в семью повешенного, была ваша мать...

Павел Николаевич стыдливо опустил глаза. Ему почудилось, что голос гостя задрожал. Вероятно, вспомнил несчастного брата. А

гость сказал про мать и сделал паузу. Павел Николаевич встал, протянул руку и пожал руку гостя.

— Вы понимаете, что только к таким людям мы и можем обращаться, хотя бы без уверенности в успехе, но с глубоким убеждением, что тайна дела обеспечена...

— Да в чем дело? — спросил ласково и благородно Павел Николаевич.

— Нужны средства на организацию тайной типографии. — Гость сделал «кхе, кхе» и стал ходить по кабинету. — Для серьезной литературы, а не для прокламаций, — скрипнул он между паузами.

Всем предыдущим Павел Николаевич был столь возвышен в собственных глазах, и так трудно было разочаровать гостя, который причислил его к тем немногим, к которым можно обращаться, оставаясь спокойным за тайну дела, что не поднялся язык спросить подробнее о типографии и людях, ее сооружающих. Да и не все ли ему равно? На мгновение только задумался о сумме, которую дать. Молча и решительно подошел к столу, выдвинул ящик и пошевырялся в бумажнике: тут

десятки, одна сторублевка, а из соседнего отделения торчит пятисотрублевый билет. Дать сотню — мало соответствует и серьезности предприятия, и его собственной революционной ценности. Вытащил пятисотенный билет и, вручая гостю, пошутил:

— Лепта мытаря![220]

Гость крепко пожал руку Павла Николаевича и не торопясь положил пожертвование в свой бумажник.

Благодарностей в таких случаях не требуется: люди исполняют свой долг.

И как только пятисотка перешла из бумажника Павла Николаевича в бумажник Владимира Ильича, напряженное состояние обеих душ исчезло и взаимоотношения как бы прочистились. Оба почувствовали себя удовлетворенными и совершенно независимыми друг от друга. Заговорили вдруг совсем с другой, более высокой ноты:

— А вы, Владимир Ильич, уже кандидат прав? Каким образом пролезли через все преграды? Ведь вы были, насколько мне помнится, исключены из университета без права продолжать образование?

— Разрешили сдать государственный экзамен экстерном. Беда теперь в том, что патрона не могу обрести. Никто не берет в помощники.

— Да неужели?

— Побаиваются.

— Да. Гражданская трусость у нас расцвела пышным цветом.

— Сперва все идет благоприятно, а как узнают, что — брат повешенного, — «дома нет». Прямо не отказывают, а измором берут. Если бы я имел право жить в Москве или Петербурге, другое дело, но пока я во всех смыслах еще только «кандидат прав».

Оба собеседника расхохотались.

— Даже такой столп провинциального либерализма, как казанский присяжный поверенный Рейнгардт[221], редактор «Волжского вестника», личный друг Михайловского, посадивший в секретари редакции бывшего бунтаря Иванчина-Писарева[222], — постыдно струсил.

— Да неужели?

Гость несколько раз кольнул «либеральную публику» мимоходом, как бы не допуская

и мысли, что попутно эти колкости задевают вообще «либеральную честь», а потому и честь самого Павла Николаевича, и он почувствовал гражданскую неловкость:

— Вы все-таки преувеличиваете, Владимир Ильич. В Самаре к кому-нибудь обращались?

— Нет, там не был.

— Вот видите. А между тем, если бы обратились к моему другу, присяжному поверенному Хардину[223], я не сомневаюсь, что этот человек не струсил бы...

Разговор о трусости кончился тем, что Павел Николаевич дал гостю письмо в Самару к своему другу и тем восстановил, по крайней мере, свою честь, после чего возвысился в собственных глазах. Заметив, что гость с аппетитом жует белый хлеб, Павел Николаевич решил быть до конца джентльменом:

— Я вас на одну минуточку оставляю...

Прошел на звук голосов к веранде. Вспорхнувшие, как воробьи от ястреба, обитатели дома снова слетелись, хотя не полностью. Думая, что всякая опасность миновала и что гость сюда не покажется, тетя Маша с мужем сидели на обычных местах: она в плетеном

кресле с вышивкой, он в качалке с «Русскими ведомостями». Егорушка с Елевферием играли в шахматы. Земский врач Миляев, Зиночка с Ваней, Елена Владимировна и Сашенька с ребятами были в саду около качелей и гимнастики.

— Тетя Маша! Надо подкормить гостя! Он голодный!

Сказал и ушел. Тетя Маша бросила на стол вышивку и, вздохнувши, пошла распорядиться насчет «глазуньи-яичницы». Все думали, что яичница отправится в кабинет, и были застигнуты врасплох, когда Павел Николаевич ввел на веранду гостя. Маленькое замешательство. Тетя Маша намеревалась было нырнуть незаметно в дверь, но Павел Николаевич помешал:

— Ведь вы, кажется, знакомы? Марья Михайловна Алякринская... А это...

— Владимир Ильич Ульянов.

— Как же, как же... помню, знаю...

Поздоровалась и удрала.

— А это ее муж...

— Весьма приятно-с, Алякринский!

А сам в дверь.

— Мы знакомы! — произнес Елевферий и, заметив вопрос на лице гостя, пояснил: — Помните мою «схему двух путей революции»?

Елевферий утвердил полным именем свое «я», и гость вспомнил:

— Что же, когда будем хоругви поднимать? — спросил насмешливо.

— А время терпит. Над нами не каплет.

Егорушка не то со страхом, не то с благоговением принял протянутую гостем руку. Не сказал, кто он, а гость не поинтересовался этим. Подали яичницу, домашнюю ветчину, простоквашу. Гость развеселился, покушал и подсел к упорным шахматистам. Впутался сперва советами, а потом обыграл обоих.

Павел Николаевич заинтересовался. Он когда-то считался лучшим игроком в шахматном клубе Симбирска, но отстал и забросил любимую игру. Да не было в окружении и достойных противников.

— А ну-ка попробуем!.. Вы, кажется, недурно играете, Владимир Ильич...

Вернулся Миляев и, когда ему представили Владимира Ильича, точно обиделся: он пред-

полагал в «брате повешенного» наличность наследственной или родственной герою внешности, а тут совершенно неинтеллигентная физиономия и вид не то приказчика, не то волостного писарька. Павел Николаевич играл с гостем в шахматы, а Миляев косился на Ульянова разочарованно, словно хотел сказать: «Федот, да не тот!»

Павел Николаевич проиграл очень быстро партию и замаскировал свою обиду поражения шутивным восхвалением соперника:

— Да, с вами, видимо, шутить не следует... Не знаю, как вы по юридической части, а в шахматах у вас большая смелость и расчет на разгильдяйство соперника. Вот этот ход ваш пешкой, — Павел Николаевич поставил пешку на старое место, — перевернул всю историю моей игры.

Ульянов засмеялся одними хитрыми глазами:

— Пешка в шахматной борьбе бывает дороже офицера. Надо только умело употребить ее в дело в подходящий момент. Фигуры — это герои, а пешки — толпа...

Тут вмешался врач Миляев. Он горел тай-

ным желанием услышать от Ульянова что-нибудь исключительное и придрался к первому случаю:

— А вы кому отдаете первенство в истории: героям или толпе?[224]

— Я? — скрипнул Ульянов, уставляя шахматы.

— Да, вы?

— Я — толпе.

— Очевидно, вы придерживаетесь материалистических воззрений?

— Нет, просто практических. Толпа всегда и прежде всего — дура. А разве для точки опоры требуется еще что-нибудь, кроме дубовой крепости материала? Ум потому и ум, что на свете царствует глупость.

— Значит...

Миляев даже вскочил на ноги:

— Вы противоречите самому себе. Героев отвергаете, а толпу называете дурой.

— Нужен не герой, а просто умный догадливый человек!

— Слишком упрощаете историю, молодой человек.

Не утерпел и Елевферий:

— Вот у нас тут недавно спор был о героях Достоевского... Сергей Васильевич всех его героев называет сумасшедшими и находит одного только положительного героя — князя Мышкина...

— Я добавил: «Да и тот — идиот!» — поправил Миляев.

— Мат! — хрипнул Ульянов.

— Ах, опять прозевал! Невозможно играть, когда...

Игроки бросили шахматы. Ульянов продолжал разговор:

— Как нет положительных типов? А Раскольников? Самый положительный тип. Человек, которому принадлежит будущее. Правда, он еще не допекся до сверхчеловека[225], но тут виноват уже не Раскольников, а сам Достоевский. Видимо, как всегда, автору были очень нужны деньги, и потому — роман, а романа никакого не вышло бы, если бы, убивши паршивую старушонку, Раскольников не подвергся бы каким-то мукам совести и раскаяния, а стал действовать как подобает умному человеку...

Пауза общего изумления и сомнений.

— Оригинально! — протянул Павел Николаевич.

— Но невразумительно, — со вздохом произнес Миляев и разочарованно пошел с террасы в сад: не стоит, мол, слушать эту чепуху!

А Елевферий взвинулся и взял быка прямо за рога:

— Ну а вот «Бесы»... Шигалев — тип отрицательный?

— Я защищаю умных и решительных людей. У нас принято курить фимиамы перед геройством Дон Кихота, а для меня он — просто полоумный и потому вредный для других и себя самого человек. А вот Санча — тип положительный, жизненный и потому побеждающий. Каким отличным губернатором был он на острове!

— Этот прохвост и жулик? — изумленно спросил Елевферий.

— По-моему, умный прохвост куда ценнее благородного дурака!

Снова пауза. Павел Николаевич растерянно улыбался и потрясывал ногой, Елевферий сидел злой и красный. Егорушка опустил голову и расставлял на доске шахматы.

— Вы, Владимир Ильич, напоминаете мне... — виновато начал Павел Николаевич, — извините уж за сравнение! Напоминаете...

— Не стесняйтесь! Я не из обидчивых.

— Есть у Глеба Успенского рассказ[226] про одного волостного писаря, который обучал своего приятеля занимать дам разговорами: ты, говорит, что ни скажет дама, — не соглашайся и говори напротив! — вот разговор и выйдет... Так вот вы напомнили мне этого хитрого писаря...

— Что же, писарь — человек умный, вполне правильно оценил тех дам, которых приходится занимать умными разговорами...

Павел Николаевич покраснел:

— Но мы-то, нас-то... вы... Мы все-таки не из таких дам...

— О присутствующих не говорят, Павел Николаевич!

Оба засмеялись, и гость стал прощаться, а Павел Николаевич не задерживал. Даже не пошел проводить к воротам, а остался на крыльце.

Очутившись в кабинете, Павел Николаевич

вич долго ходил взад и вперед, полный недовольства самим собою: приехал, обобрал, обругал дураками и уехал! Зачем-то выдвинул ящик письменного стола, посмотрел в бумажнике содержимое и, задвинув ящик, запер его на ключ. Было у него такое чувство, словно его обокрали...

VII

Оставим на некоторое время Никудышевку, откуда осенью вся семья Кудышевых переехала на постоянное жительство в уездный городок Алатырь и где осталась на зиму только тетя Маша с мужем...

Не грех вспомнить о братьях Павла Николаевича, потерпевших три года тому назад жестокое крушение на путях искания «правды»...

Дмитрий Кудышев был не из той породы людей, которых тюрьма и каторга ломают и душевно и физически. Он захватил с собою туда такой запас жизнерадостности, здоровья, а главное — веры в свою правду и окончательное торжество ее в будущем, которое не казалось ему особенно далеким, что не только ни в чем не раскаивался и в этом

смысле не исправлялся, но портился. Сознание того, что он страдает за высокие идеи, превращало его в собственных глазах в «героя», а лишения и страдания каторги лишь подливали масла в огонь злобы и ненависти к правительству, пробуждая темные инстинкты мстительности...

«Будет некогда день, и погибнет Ваал» — строчка из стихов Надсона сделалась его любимым присловием во всех случаях каторжной жизни, когда начальство пользовалось бесправным положением каторжан, давая чувствовать свою тяжелую и властную руку. Помогало в деле стойкости и то обстоятельство, что каторга надолго отрезала Дмитрия Николаевича от действительной российской жизни с годами политической реакции, с долгими «сумерками», плодившими в изобилии, с одной стороны, чеховских «унтеров Пришибеевых»[227], а с другой — «Ионычей»[228]. Каторга, так сказать, замариновала Дмитрия в первобытном состоянии веры и надежд, да прибавила еще воинственности.

Чтобы понял и почувствовал читатель, что сделала каторга с душой Дмитрия Николаевича

ча, я, предвосхитив время событий, приведу стихи, которые написал он по выходе из каторжной тюрьмы на поселение, что еще должно случиться в 1892 году. Вот этот воинственный пафос:

*Нет, головы своей я не склоню покорно
И не скажу: «Напрасная борьба!».
Своих колен я не склоню позорно
Перед врагом, с смирением раба!
Пусть в лагере врагов победу торжествуют
И гимн поют в честь пошлости и тьмы,
Пусть там злорадствуют, смеются и пируют,
И пусть измучены, изранены все мы!..
С открытой грудью, безоружный, слабый,
Но грозный знаменем, которое несу,
Вперед пойду, погибну смертью славной.
Но жертвы идолам врагов не принесу.*

Вот подлинный документ из семейной хро-

ники никудышевского отчего дома.

Мать писала Дмитрию длинные слезливые письма, старший брат делал на них наскоро приписочки с поцелуем. Дмитрий отвечал редко и о чувствах своих не распространялся. «Письмо получено. Здоров. Жизнь течет обычным порядком. Белье получил. Спасибо! Пришлите французскую грамматику и русско-французский словарь. Изучаю язык. Я четыре года отмахал и нигде не отдышал[229]. Будет некогда день... Всех целую. Ваш Дмитрий Кудышев» — таков был характер его писем с каторги.

Совсем иначе отражалось тюремное одиночество на Григории Николаевиче.

Страдал он неповинно, героем себя не чувствовал, ни злобой, ни ненавистью не воспылал, но только глубже ушел в самого себя и в свои заветные мысли. От природы мягкий и добрый, склонный к религиозно-мистическим настроениям, он с кротким стоическим равнодушием относился к свалившемуся на его голову несчастью. Потерпев сам от человеческого возмездия за мнимую провинность, он лишь утвердился в мысли, что зла

не победишь теми средствами насилия, к которым прибегают как революционеры, так и само правительство, и что зло возможно побеждать только добром, добро же, как золотоносная руда в земле, таится не вне, а внутри нас. И вот, пребывая в одиночестве, как отшельник, возделывал он виноградник души своей[230]. В тюрьме охотно давали так называемые божественные книги, и Григорий за поем читал книги по философии религий, творения отцов церкви, жития святых. Обильную пищу для размышлений в одиночестве давали эти книги. Григорий с головой и сердцем ушел в них. Можно было подумать, что он готовит себя к духовной деятельности.

И видом своим он уподобился человеку из духовного звания: оброс волосами, ходил по камере и на прогулке смиренными шагами, с опущенной головой, говорил нараспев и, чтобы не лезли волнистые пряди волос в глаза, носил на голове обруч из черной материи, отодранной от подкладки своего пиджака. Прямо точно Христос в терновом венце!

Кротость и смирение Григория привлекали к нему тюремную стражу, которая душев-

ным чутьем угадывала, что человек этот страдает невинно.

Однажды новенький страж, очутившись с глазу на глаз с Григорием, спросил:

— Неповинно, отец, страдаешь?

— На земле, брат, нет неповинных перед Господом, а человек человеку — не судья.

Страж вздохнул, потупился и, помолчав, спросил:

— Из монастыря, что ли, взят?

Григорий улыбнулся:

— А не все равно — откуда? Все из земли родимся и в землю обратимся, — ответил и почувствовал приятность, что он принят за монаха.

Да и чем он не монах? Живет в полном уединении, как отшельник в пустынной келии. Даже и небеса видит только однажды в день, на десятиминутной прогулке для арестантов. Отвергает животную пищу, не ведает плотской любви. Восставая от сна и отходя к нему, молится. Весь день занят божественными книгами. Вот только в тюремную церковь ходить отказывается: не находит он в современной церкви «правды Божией», как и

многие сектанты наши. Покоряясь власти гражданской, церковь благословляет меч и потому убийство — вот это главным образом и отталкивает его.

Григорий пишет домой длинные письма, в которых нет никаких житейских попечений, а все отвлеченные рассуждения на отвлеченные темы. Павел Николаевич обычно не дочитывал их до конца и, передавая матери, говорил:

— Послание от смиренного Григория!

Едва ли когда-нибудь сидел в тюрьмах на положении политического преступника более кроткий и спокойный человек!

И вот все-таки этот смиренный попал в ссылку под гласный надзор, как человек вредный для общественного и государственного спокойствия. Сперва его отправили в городок Черный Яр, на Волге, в Астраханской губернии. Маленький, насквозь пропыленный песками, позабытой людьми и Богом городок! Когда-то этот городок нес государственную службу: Иван Грозный, подбираясь к царству Астраханскому, строил по берегам Волги защитные крепостцы. Такой крепостцей и был

некогда Черный Яр. А теперь, без этой исторической справки, у всех мимо проезжающих вопрос безответный встает: зачем тут, как ненужный мусор, брошен городишко, похороненный в песчаных степях, скучный и нудный, одним видом своим нагоняющий тоску на пассажиров останавливающихся у Черного Яра пароходов. И никто не хочет знать о его исторических заслугах, о том, как русские люди, далекие и неизвестные теперь никому предки наши, бились с татарвой поганой и костью ложились под земляными валами этого городка, открывая нам широкую дорогу на Хвалынское море[231], воспетое во множестве русских старинных песен...

С весны до осени под жгучим солнцепеком, среди раскаленных песков, тучами вздымающихся во время ветров над городком, зимой отрезанным от всего мира и засыпающим, как медведь в берлоге, этот маленький муравейник, казалось, имел исключительную миссию от правительства: вываривать, вялить и высушивать впрок, как делают с воблой, души человеческие.

Летом домики от закрытых ставен каза-

лись пустыми. Скучная растительность от пыли казалась искусственной. Улицы пустовали. Даже собак не было видно и слышно. Жители, раздевшись почти донага, валялись до вечера, как снулые щуки. Немногие ползали, как мухи осенью, к Волге и сидели на берегу в полудремотном состоянии.

Под вечер свершалось чудо. Странно так: вдруг начинали выползать из ворот люди, раскрываться ставни, начинало брэнчать разбитое фортепиано.

Словно волшебник плеснул на мертвый городок чудесной живой водой!

И тогда оказывалось, что и в этом спящем царстве есть исправник, полицейское управление, номера для приезжающих, в которые никто не приезжает, лавки с колониальными товарами... Есть даже кружок любителей драматического искусства, что доказывалось тем обстоятельством, что ковыляющий на клюке инвалид-солдат ходит по улицам с кувшином и мазилкой и ляпает на заборы афишу, обещающую «Женитьбу Белугина»[232].

Жизнь даже из-под камня гонит живую травинку!

Казалось бы, что Черный Яр — самое подходящее место для исправления политических преступников: все крамольное должно из них выпариться. Скука — адская, жара — адская, лень — непролазная, тоска — смертная. А не исправлялись! Бацилла революции и тут не дохла. Горсточка ссыльных продолжала питаться собственным соком: спорили, горячились, сходились и расходились, возвеличивали и развенчивали друг друга, судились судом чести, влюблялись, решали мировые вопросы и судьбы государства Российскойско-го...

Временами, однако, по веснам, наступал вдруг такой момент, когда всем становилось тошно смотреть друг на друга: все сказано, все выяснено, каждый видит другого насквозь, знает, что тот скажет, как поступит, какой жест сделает. Тогда кто-нибудь вдруг возьмет да и убежит из Черного Яра.

Событие, которое сразу окрылит всю ссыльную публику! Такой же подъем бывает, когда появится новый политический свежий человек! Беда тогда этому новичку: как клопы, накинутся на этого свежего человека.

Так было с Григорием Николаевичем, когда он появился в роли ссыльного в Черном Яру. Переполох вышел необычайный. Засуетились, запищали, как мыши в подполье. Еще бы! Брат, родной брат чуть-чуть не повешенного Дмитрия Кудышева! Впрочем, тут спорили: одни утверждали, что — брат родной, другие, — что брат двоюродный.

Не успел Григорий Кудышев выпить чаю с дороги, как в дверь номера постучали. Предполагая, что это просто предупредительный знак номерной прислуги, Григорий продолжал умываться, освободившись от пиджака и жилета. Тогда за дверью прозвучал мелодичный женский голос:

— Можно к вам на одну минуту?

Григорий всегда был конфузлив и застенчив, а после долгого одиночного заключения совершенно отвык от женского общества.

— Простите, — виновато заговорил он в щель слегка приотворенной двери. — Я не совсем одет — умываюсь.

— Эка важность! Вы в брюках?

— Я? Да, я... но...

— Этого у нас вполне достаточно. На одну

минуту!

— Позвольте... я сейчас того...

Но было поздно: дверь отворилась, и появилась хорошенькая девушка с искусственно серьезным лицом.

— Вы ссыльный?

— Да.

— Вы брат того Кудышева, который... которого чуть не повесили с Ульяновым по процессу «Первого марта»?

Григорий смутился:

— Почему вы этим интересуетесь?

— Я от кружка, от колонии политических. Меня послали узнать. Брат вы?

— Ну что ж... брат.

— Родной или двоюродный?

— Ну... родной брат.

— Пока больше ничего.

Девушка протянула руку, крепко пожала руку Григория и, уходя, отрекомендовалась:

— Я — Татьяна Николавна Линева. По делу Сабунаева[233].

На другой день в номер Григория Николаевича зашел господин средних лет, по лицу из интеллигентов, по костюму не то мещанин,

не то фабричный, с длинной трубкой во рту, и отрекомендовался уполномоченным представителем колонии:

— Степан Скворешников![234] Наверное, слышали?.. Я статистик-экономист, сотрудничаю в «Юридическом вестнике»...[235] Освещаю вопросы с точки зрения материалистического понимания истории. Я, батюшка, могу себя считать первым марксистом в России... Плеханов[236] и заграничная братия со своей «Охраной труда»[237] пошла по моим следам... А пальма первенства все-таки за мной...

Григорий совершенно отстал от современности и плохо понимал, о чем идет речь, а гость понял его молчание как признак несочувствия своему направлению и, оборвавши самовосхваление, деловито и лаконично передал приглашение колонии прийти по общему адресу вечером на кружковой чай.

После первого же товарищеского чая, на котором все ощупывали новичка в программном отношении и попутно ругались между собою, Григорий почувствовал себя здесь чужим и далеким. То, что было для Григория

значительным, для этих людей не стоило выеденного яйца, и наоборот: что казалось им значительным, не трогало Григория. Своими ересями по адресу социализма и коммунизма он вызывал сперва злость и нападки, а потом общий хохот. Революционное реноме Григория быстро пало, и все, не исключая женщин, перестали относиться к нему серьезно и начали называть просто Гришенькой.

Изредка Григорий Николаевич посещал все-таки «чайное повечерие», не зная, куда бы пойти. Слушал рефераты «первоучителя Скворешникова» и шумные споры разномыслящих слушателей после реферата. Сидел смиреннько в уголке и не ввязывался, так как все вопросы, которые он пытался было задавать на вечерних сходках, оказывались «не относящимися к делу»...

Скворешников читал о росте капитализма в России, о путях революции, об интеллигенции как категории капиталистического строя, и так сух и безразличен был в своих цифрах и выкладках, словно и сама Россия-то существовала только для того, чтобы подтвердить марксовский «Капитал»[238].

Сперва эти рефераты сопровождались боями до хрипоты и ссор, но с течением времени ересь уже перестала возмущать. Терпеливо слушали, тайно позевывая от уныния, и не возражали. А Скворешников воспринимал это как победу и гордился...

Вот уже третий год, как этот «первоучитель марксизма» разъезжает по городам и городкам Волги и проповедует евангелие от Карла Маркса[239]. Владимира Ульянова числит в своих новообращенных учениках, но жестоко критикует его статьи, появившиеся за границей под псевдонимом Ленин:

— Марксист, да ненастоящий! Неправоверный. Перескочки делает[240].

Целый год Григорий Николаевич слушал рефераты, но однажды потерял терпение, выступил с заявлением, что для того, чтобы народ воспринял социализм, необходимо освятить его идеей Бога и христианской моралью. Скворешников сразу оборвал:

— Стара шутка! Нас на мякине не проведешь.

Только посмеялись над Гришенькой и его отсталостью. Кто теперь верит в Бога? Только

научные невежды да попы некоторые, а весь религиозный культ служит только буржуазии для устрашения эксплуатируемого человечества.

Григорий перестал посещать чайные вечера. А вскоре произошел и совершенный разрыв с колонией.

Пришла девочка, дочка одного ссыльного, и принесла Григорию письмо:

Многоуважаемый коллега! Колония ссыльных желает выяснить следующие вопросы: 1) правда ли, что, встретясь на улице с исправником, вы подали ему руку? 2) известно ли вам, что у нас не принято этого делать и что таким лицам мы предпочитаем не подавать своей руки? 3) что вы предпочитаете: пожимать руку исправника или нашу? Ждем категорического ответа. Колония единогласно при одном воздержавшемся.

Григорий Николаевич прочитал письмо, покраснел и, подсев к столу, написал и отдал ответ:

Предпочитаю руку исправника.

Григорий Кудышев.

Так Григорий Николаевич остался одиноким. Товарищи выкинули его из списков интеллигенции и при встречах обдавали презрительным взглядом.

Однажды в Черный Яр заехал священник-миссионер, специалист по обличению сектантов, которыми так богато все низовое Поволжье. Начались обычные диспуты. Григорий начал ходить на эти диспуты и принимать в них активное участие. Сектантские начетчики почувствовали в новоявленном защитнике умного книжного человека, заинтересовались им. Откуда взялась эта птица залетная? Познакомились и сдружились. Один из них наезжал из Черемшанских скитов[241], другой — с Иргиза[242], третий — с реки Еруслана[243]. Сходились и беседовали.

И когда они разговаривали, даже в случае разногласия в глазах искрилась ласковая улыбка, взаимная симпатия, тяготение душ. Такая большая разница между ними во всех отношениях: в научных познаниях, в кругозоре мировосприятия, в методах мышления, не говоря уже об общественном положении и

бытовых условиях жизни, и все-таки Григорий Николаевич чувствовал этих умных от природы и ласковых бородачей ближе и роднее себе, чем интеллигентных колонистов. Что роднило их души? — Неутолимая жажда найти путь от небесного к земному и от земного к небесному, найти не на словах только, а на деле. И тут Григорий Николаевич, стоявший во многих отношениях выше своих новых друзей, чувствовал себя ниже их. То, что они познали почти из единственной открытой им книги, из Евангелия, они старались утвердить всей своей жизнью, а вот он многое познал, а все стоит на одном месте, не двигается. «Во многом знании несть спасения!»[244] — повторял он иногда в часы одиноких размышлений.

Было еще у Григория одно близкое, что роднило его с новыми друзьями: Лев Толстой, единственный русский писатель, которого знали и чтили эти ищущие правды простые русские люди. Один из этих начетчиков был у Толстого и говорил о нем:

— Мудрый человек, а я все-таки так скажу тебе: заплутался он в мудрости своей.

— Как заплутался? Почему?

— Говорит: Бог есть любовь!..

— А ты не согласен?

— Нет. Любовь только дар Божий, а не Бог.

Любовь — сила, которую передали нам апостолы Христовы через Духа Святого. Бог-то не только милует, а и карает, а разя можно потому сказать: Бог есть гнев, покарание? И вера, и любовь нам даются от Бога. Кабы всем людям эти дары были даны, так и Царствие Божие на земле свершилось бы. А оно... в том-то и беда наша... у одного человека любовь есть, да веры мало, а у другого вера есть, да с добрыми делами не ладится, потому любви мало. А много и таких, у которых ни веры, ни любви, а только гордость сатанинская.

Особенно полюбился Григорию Николаевичу этот, с реки Еруслана, Петр Трофимович Лугачёв. С первого диспута полюбил. Очень уж этот старик убежденно и спокойно со священником препирался и частенько-таки ставил его в затруднительное положение своей детски мудрой простотой. Миссионер высмеивал тех еретиков, которые объявляют себя пророками, на которых будто бы Дух Божий

почил. А Петр Трофимович покачал головой и говорит:

— Батя, в каждом человеке может Дух святой местожительствовать. И все мы, христиане то есть, уповаем на это...

— О, гордость дьявольская! Яко надменные фарисеи!

Тогда Петр Трофимович спросил:

— Скажи же ты мне, батя, почему в молитве Царю Небесному все люди просят: «Прийди и вселися в ны?» Молятся, а когда вселится, ты кричишь: врут от гордости дьявольской. Не веришь в это, так почто Бога просишь?

Полубился с той минуты Петр Трофимович Григорию Николаевичу. Пока тот гостил в Черном Яру, каждый день виделись. А уехал на свой Еруслан, стали письмами обмениваться. К себе в гости все Петр Трофимович Григория звал.

Когда толстовская колония, куда поступил Григорий Николаевич после окончания ссылки, развалилась из-за внутренних ссор и мелочных дразг членов колонии, он не поехал в отчий дом, где его так ждали, а пешком, в виде странника Божия, побрел на реку Еруслан

отыскивать Петра Трофимовича...

Ушел и пропал без вести. Как в воду канул на много лет... В последнем письме матери написал:

Не ждите меня. Ухожу на трудовую жизнь к чистым сердцем и душою простым людям. Благословите, мама, в путь-дорогу...

Писали, справлялись, Сашенька ездила в Черный Яр, оттуда — в бывший толстовский поселок. — Не нашли. Исчез.

VIII

Встрепенулся и ожил весь Симбирский край: началась постройка железнодорожного пути между Казанью и городком Алатырем. По самым глухим медвежьим углам. Точно золотую тучу нанесло, и дождь золотой стал кропить живой водой ленивых, заспанных жителей. Огромный капитал был брошен в дело постройки, и, потянув носом, все почувствовали, что жареным пахнет. А позабытый Богом и людьми городок Алатырь — Бел-Камень на малосудоходной реке Суре так тот прямо именником сделался и сразу широкую извест-

ность получил: и в газетах про него стали писать, и от званых и незваных гостей стало деться некуда. Понаехало разных инженеров, механиков, техников, таксаторов[245] и землемеров, бухгалтеров, счетоводов — хоть пруд пруди, да большинство еще и с семьями. Эти надолго. А то еще птицы перелетные: директора заводов, присяжные поверенные, подрядчики и поставщики, скупщики земель и домов, контролеры разные да проныры без определенных занятий и звания, купцы из Симбирска... Всех и пересчитать трудно. Весь город битком набили, места не хватает. И по всем дорогам простой народ, как на богомолье в Лавру[246], и на телегах, и пешком тянется. В Поволжье голодовка[247], повалили на постройку на земляные и лесные работы. И не надо бы больше, да ничем не остановишь: нужда гонит.

Везде кипит работа. Работают лесопилки, молоты по железу, растут амбары, лабазы, новые дома, керосиновые и нефтяные цистерны, грохочет чугун, поет медь, скрипит кирпич на возах, позванивают рельсы, пыхтят буксирные пароходы купца Тыркина. Тракти-

ры и лавки растут как грибы после дождя. Гулящих нарядных девиц понаехало много, жуликов — тоже. Улицы народом кишат, на площадях точно всегда базар или ярмарка. С раннего утра над городком гул стоит.

Застонали дремучие леса под пилами и топорами: просеки для полотна делают. Дикое зверье и птица от ужаса во все стороны мечется. Приходит конец и Лешим, и Лесачихам, и Бабе-Яге, и всякой лесной нечисти, что веками спокойно в дремучих лесах сосновых и дубовых около Суры хоронилась. Да и в городке не все довольны: старики мещане, что хлебопашеством да огородами помаленьку жили в мирной тишине, ворчали и ругали и инженеров, и железную дорогу нехорошими словами: пьянство, блуд, воровство, драки, трактиры с музыкой, девки продажные, песни по ночам — ничего этого раньше не было, а жизнь чуть не вдвое вздорожала.

— Жили отцы и деды без этих заморских затей, и мы прожили бы!

Тяжеловато и властям всяким стало: и городской судья, и полиция были кляузами завалены, город и земство свое имущество от

алчных железнодорожников охраняло — но ровили безвозмездно отчудить и землю, и постройки, грозили вокзал за три версты от города построить. И голове Тыркину, и председателю земской управы Кудышеву приходилось крепко вожжи держать, да в оба глаза посматривать. А тут у земства опять война с губернатором началась из-за голода, обрушившегося на все Поволжье от Нижнего до Саратова. Земство пророчит голод и бьет тревогу, а губернатор отрицает, и никаких мер не принимается. И в газетах нельзя тревогу бить: голод приказано называть недородом. А какой уж тут недород, когда народ с Рождества начал скотину резать и муку с мякиной и желудями есть!

И вот всколыхнулась и матушка-Волга, и все Приволжье от бродячего голодного люда: из деревень и сел по городам и городкам стали, как тараканы, расползаться. Алатырь одним из магнитов сделался. Началась там тифозная эпидемия. Неспокойно сделалось: давай работы, а работа вся уже расхватана...

Павел Николаевич на своем посту остался, а всю семью на всякий случай в Никудышев-

ку пораньше отправил: дома-то спокойнее и надежнее.

По пятам за голодом и революция змеей поползла из подполья, начала правительство в пяту жалить. Такой уж у нее обычай сохранялся: всякой бедой на родине пользоваться для борьбы с самодержавием и властями и внедрения в голову народа всяких революционных идей. Голод давал революционерам крупный козырь в руки: и в нелегальных своих, и в легальных иностранных газетах они круто расправлялись с правдой — к каждому умершему от истощения или тифа они набавляли не меньше сотни мнимых, сочиненных, а голод объясняли жестокостью и кровожадностью русского самодержавия, сдирающего с народа в виде податей и налогов последнюю рубашку, а если она оказывалась уже снятою помещиком, то с мужика драли шкуру. Не дремали они и дома: по всей Волге на пристанях и пароходах разбрасывались лживые, хлестким языком написанные прокламации с призывом к восстанию против властей и помещиков, пьющих и сосущих народную кровь и бросающих высосанных людей в ла-

пы голодной смерти.

Эти лживые летучки, случайно попавшие за пазуху к мужикам, разносились ими во все стороны, куда расползлся полуголодный люд, и, конечно, мутили и так уже взвинченный несчастьем народ.

Все эти подпольные печальники народа были рады всякому несчастью в России и не только не жалели народ, а утверждали, что «чем хуже, тем лучше», а потому рекомендовали не кормить голодных, а предоставить их в полное распоряжение голодной смерти.

Впрочем, как ни старались революционеры отуманить здравый смысл и живое чувство любви к ближнему, никто их не слушался. Великий писатель Лев Толстой как бы ответил на эту дьявольскую злобу, отправившись лично помогать голодающим[248]. Бесконечным потоком полились пожертвования, а учащаяся молодежь массами пошла в добровольную армию борцов с голодом и различными болезнями, отдавая свои силы и часто саму жизнь...

Надо, однако, сказать правду: поток пожертвований направлялся главным образом

в земства или персонально известным общественным деятелям или частным лицам и учреждениям, а не в правительственную кассу. И это, конечно, только усиливало подозрительность правительства, возбуждало его ревность и толкало к бестактности его представителей, тормозивших дело помощи голодному народу.

Воевал, конечно, и Павел Николаевич, оказавшийся одним из тех популярных в губернии лиц, в распоряжение которых охотно и изобильно жертвовались средства на открытие столовых, организацию санитарных отрядов, оборудование лазаретов. Воевал он успешно, ибо имел к этому большой навык, большие связи, острый язык, прессу и — главное — общественное доверие. В числе первых жертвователей у него были купцы Тыркин и Ананькин: прислали ему по тысяче рублей и написали: «Распоряжайся сам, как хочешь, расписки не надо».

Павел Николаевич скакал по уезду и спешно и энергично налаживал борьбу с голодом и эпидемиями.

В никудышевском районе было тоже

неблагополучно. Хотя здесь голодовка запоздала, но уже Пасху встречали полуголодными, а с мая начали питаться хлебом, в котором было больше разных примесей, чем ржаной муки, и народ стал прихварывать желудками.

Барская усадьба осаждалась бродячими семьями из окрестных сел и деревень, вынужденными «пойти в кусочки». То и дело за решеткой двора или за оградой палисадника пели то мужские, то женские голоса:

*Батюшки, матушки,
Кормилицы, поилицы,
Подайте Христа ради!*

Приходили и свои никудышевские бабы с малыми ребятами и тоже, изловивши тетю Машу, Сашеньку или какую-нибудь гостью, плакали, отирая концом головного платочка слезу, и просили:

— Сами-то уж как-нибудь перетерпим, а вот ребятешек жалко: весь день и ночь ревут — есть просят...

Беспокоят эти голодные совесть, мешают беспечно обедать и чувствовать, что — вкус-

но, мешают читать книги, пить чай с вареньем и с белыми сдобными булками, мешают играть на фортепиано...

Отрывались и подавали либо медяками, либо натурой. Сперва с чистым добрым сердцем, потом без особенной доброты и, наконец, с раздражением: всех голодных все равно не накормишь! А главное — прямо часу не проходит, как опять за душу тянут своим: «Батюшки, матушки, кормилицы, поилицы». А скажешь: «Бог подаст, не прогневайтесь», — совесть потом скулить начинает. Надо что-нибудь сделать. Так невозможно.

И вот прискакал ненадолго Павел Николаевич из Алатыря и устроил «питательный пункт» для детей Никудышевки в возрасте от трех до двенадцати лет. Тетя Маша — во главе. Ее муж — кассир и бухгалтер. Сашенька и попова дочка Глашенька помогают тете Маше. Никита — вроде надзирателя за порядком. Для сношения с жителями — никудышевская расторопная баба Дарьюшка, вдовая солдатка: дежурит во время обеда или, как выразилась Елена Владимировна, кормления зверят. Павел Николаевич вытребовал к себе

сотского Никудышевки, сделали перепись голодающих ребят. Вышло сорок восемь душ намеченного возраста. У остальных — дело терпит. Местом питательного пункта наметили лужок в дальнем углу второго барского двора, под старым кленом. Павел Николаевич распорядился сложить здесь печь и поставить под вязом столы и скамьи. Высчитали приблизительный расход на детскую душу. В обед — картофельная похлебка и гречневая каша с салом; вместо ужина — сладкий чай с хлебом. Павел Николаевич выдал тысячу рублей Машиному мужу и, посекретничав с женой, всех перецеловавши, сел на троечку с колокольчиками и — поминай как звали...

Никита взял лопату, топор и пилу и, помолвившись, начал работать под старым вязом, а дня через три на барском дворе началась веселая суматоха. С раннего утра беготня и крик. На заборе, что около вяза, как воробьи, деревенские ребятишки сидят и смотрят, что делается около печи и под вязом, у столов. Пугает их Никита метлой, да толку мало; спрыгнут, а через минуту снова белобрысые головы вырастают. Очень уж интересно, как бары

обед им стряпают и чем пахнет. В полдень у ворот, словно около улья, гомон, писк, смех, плач. Никита по номеркам ребят и баб с малышами во двор пропускает, наблюдая, чтобы без номерка не проскочили шустрые. Бабы как галки трещат, между собой ругаются. Никита же и мирит их. У Никиты сердце жалостливое: всех бы пропустил без всяких номеров, а что поделаешь: не приказано без номера пропускать, а потом и правда: всех не накормишь. А разве бабы понимают это? Готовы разорвать Никиту от злости:

— Небось ты сам с утра господской сладкой пицци налопался, а мово Ваську не пропускаешь! Что он, Васька, меньше, что ли, голодный от годочка лишнего? Если двенадцать годов так можно, а коли тринадцать, так и не жрамши проживет?

Не растолкуешь. Всякими словами ругают бедного Никиту. Готов сквозь землю провалиться. Точно всему он, Никита, виноват.

А под вязом — радость, оживление, веселый гомон: на лавках, как на жердочках птицы, мальчишки и девчонки разноцветные. Полукругом — бабы умиленно на них погля-

дывают, наблюдают зорко, чтобы их ребят супротив других не обидели. Никита покрикивает:

— Мишка! Нашто хлеб за пазуху положил? Я тебя, стерва, ложкой по лбу!

— Мамыньке хотел отнести...

— Все будете по домам разносить, так этак и господ съедите! Положь!

Ребята на две группы поделены: от 3 до 6 и от 7 до 12 лет. Около первых — Глашенька, около вторых — Сашенька. Прибегают Петя с Наташей посмотреть. Тетя Маша гонит их: мама не велит сюда бегать — заразятся еще чем-нибудь, а они без спроса. Деревенские ребята так вкусно едят, что и Пете с Наташей попробовать картофельной похлебки хочется. И так интересно деревянной ложкой!

Выросли ребята: Пете 15, Наташе скоро 14 лет. Осенью Петю в гимназию отдадут, а с Наташей еще не решено: мать и бабушка хотят ее в Казань, в Институт благородных девиц, а Павел Николаевич упрямится и настаивает на гимназии. Большие уж: не слушаются тети Маши, не уходят.

— Никто не заражается, а мы заразимся!

Бабы обижаются:

— Никакой заразы от нас не будет, барыня... Пущай поглядят!

Едят быстро. Через полчаса — на молитву и по домам.

Только бабы с малыми не уходят. У каждой горшочек под фартуком: остатки от обеда на руки раздаются. Самый неприятный момент: ссоры, взаимные обличения. Того и гляди, в волосы друг дружке вцепятся. Тут уж Никита с Дарьюшкой бабьи бунты усмиряют:

— Что вы собачью грызню подняли? Кыш по домам!

— Постыдитесь, бабы! Нехорошо, чай... Вам помогают, а вы как на базаре...

— Никому не давать, коли так...

Притихнут бабы и с ворчанием расползаются, чем-то очень недовольные.

А вечерком — чай. Пускают только ребят от 7 до 12 лет, без баб.

Тише и веселее ужин проходит. Тут иногда и бабушка с внуками появляется — гостинцев приносят. После чая не сразу расходятся ребяташки: слушают через окна барскую музыку. Но вот появляется Никита, и кончено.

— Кыш со двора!

Все в барском доме большое душевное облегчение от этого доброго дела почувствовали. Доброе дело само себе наградой бывает. Приятно быть добрым и хорошим! Но вот что непонятно: никудышевцы не чувствовали никакой благодарности, хотя постоянно приворялись благодарными. Почему?

Опять своя мужицкая логика по отношению к барам: если они кормят, значит — им кем-то приказано это делать, а они неправильно кормят, свою выгоду соблюдают: что это за закон, чтобы до двенадцати годков кормить, а коли больше, так с голодухи околевай? Опять и то сказать: может, в расход на всех показывают — кто их проверять будет?

Так разговаривали втихомолку никудышевские жители, дети которых кормились на барском дворе, под вязом. А матери, дети которых не попали в список, еще и злобствовали:

— Сами жрут с утра до ночи, с годами своими не считаются, а у нас каждый лишний годок засчитывают.

Но такие разговоры до ушей господских не

доходили. Это оставалось мужицкой тайной, господ же получали поклоны, посулы награды от Господа и пожелания царствия небесного покойным родителям — все честь честью...

IX

Приходит беда — растворяй ворота: беда беду за собой тянет. За голодом холера пришла. Голодные бродили во все стороны, и она расползлась по всей Волге и Приволжью, а так как Симбирская губерния голодных особенно теперь притягивала, то добралась холера и до Алатыря, а оттуда пошла гулять на все четыре сторонюшки. На реку Суру перебросилась, в большом селе с хлебными пристанями загнездилась, нашему знакомому, земскому врачу Миляеву, много хлопот прибавила, а купцу Тыркину — расходов и убытков: на всех пристанях и на пароходах — карантин, задержка, а время горячее и доходное — только поспевай с пароходами оборачиваться: ненасытна утроба строящейся чугулки, бездну всяких материалов жрет. В селе Промзине холерный пункт с бараками. А Промзино от Никудышевки — рукой подать, всего-то верст сорок. И дорога почтовая на Алатырь

близко, а по дороге той беспрерывно артели голодных ползут и больных на пути своем оставляют. Слухи в барский дом прилетают: то тут, то там поблизости холерных подбирают. Вот и в самой Никудышевке жители стали брюхом болеть. Двое померли.

Приехал врач Миляев с Егорушкой Алякринским, который к нему в помощники по холерному делу определился. Обошли больных и, вернувшись, не пошли в главный дом, а ночевали во флигеле. Напугали Елену Владимировну: нарочного к Малявочке отправила. Прискакал на тройке Павел Николаевич, переночевал, переговорил с деревенским начальством, съездил к земскому начальнику в Замураевку, помчался в Промзино к Миляеву.

Спустя неделю в Никудышевке, в недостроенной еще Павлом Николаевичем школе, холерный пункт готов. Егорушка Алякринский в заведующие этим пунктом попал. В его распоряжение прислали санитарный отряд: фельдшера, сестер, санитаров — все учащаяся молодежь: кто из Казани, кто из Москвы.

Несмотря на строгий приказ тети Маши прекратить всякие сношения между барским

домом и холерным пунктом, молодежь обеих сторон быстро перезнакомилась через Егорушку, не умевшего еще начальство разыгрывать, и сдружилась. Никакие приказы и страхи не могли преодолеть взаимного тяготения. Одну сторону притягивало любопытство к случайным залетным гостям, а другую — барский дом — этот оазис в пустыне, кусочек культурного мирка: там так ярко светят через листву деревьев по ночам приветливые огни, из раскрытых окон доносится музыка, там есть огромная библиотека, туда из Москвы и Петербурга прилетают газеты и журналы, там совсем иначе звучат женские голоса и смех, там не давит окружающая темнота и невежество, не пахнет махоркой и кислятиной, там все устроено так, чтобы жизнь протекала приятно и красиво.

Началось с библиотеки, через ограду. Потом встречи в парке, потом разговор через ограду двора... И вдруг шумная история: тетя Маша накрыла «холерных студентов» во флигеле у Сашеньки с Глашенькой! Каким образом попали, когда Никита всегда у ворот, а ему не велено пускать никого из холерного

пункта без разрешения тети Маши?

По произведенном тетей Машей расследовании оказалось, что холерные студенты влезли в окно флигеля при помощи поданного им из окна стула.

Целая гроза в отчем доме!

Тетя Маша так гремела гневом, что девицы плакали, а студенты убежали без фуражек, неповинный Никита ждал расчета. Никита, конечно, во всем винил барышень господских:

— В окошко парней допускают... А еще благородные! И я же виноватым остался! Вот у них правда-то какая... Виноват не виноват, а раз мужик — отвечай!

Когда приехал Павел Николаевич, вся эта история была передана на его рассмотрение. А кончилось все к общему удовольствию. На семейном совете, без участия, впрочем, бабушки, которую не решались посвящать в историю с окошком, было вынесено такое решение: как сам Егорушка, так и его холерные студенты и девицы однажды в неделю, а именно в субботу, имеют право посетить легальным порядком не только флигель, но и

дом, но предварительно должны побывать в бане и затем облечься в особые халаты, которые будут храниться в беседке парка и будут выдаваться им лично тетей Машей. «Нахалы», как назвала тетья Маша сгоряча холерных студентов, забравшихся через окно к девицам, оказались очень скромными и симпатичными, так что все другие страхи, кроме чисто холерного, у тети Миши отпали, да и холерный страх сбавился, потому что холерные кавалеры и девицы тщательно соблюдали сами все предосторожности, завели даже особые туфли и омовение рук раствором сулемы. Хорошо проходили эти субботники, на которые гости приходили по очереди. Особенно было весело, когда в очередь попадал исполнявший роль фельдшера кончавший курс в Петроградской военно-медицинской академии Коренев, в которого были влюблены все барышни, холерные и не холерные, в особенности же попова дочка Глашенька, прямо таившая у всех на глазах от влюбленности и умиленности. Даже начальник пункта Егорушка Алякринский как-то стушевывался в присутствии Коренева, и все вели себя с по-

следним так, словно не Егорушка, а именно он был главным. Тете Маше, впрочем, он не особенно нравился. «Столичная штука!» — говорила она про Коренева, сравнивая его со скромным и невеселым Егорушкой: совсем не умеет вести себя в женском обществе!

Случалось, что субботники обрывались. Это значило, что эпидемия вспыхивала, и на пункте работали до полного изнеможения.

Ценили ли эту самоотверженность молодежи крестьяне, то есть народ, на помощь к которому молодежь самоотверженно бросилась в годину несчастья? Ведь лет тридцать скоро, как в России работает земство, тысячи больниц разбросало по селам, миллионы крестьян прошли через эти больницы и амбулатории, пользуясь достижениями медицинской науки и любовным уходом русской интеллигенции: ведь народ миллионами собственных глаз мог убедиться в том, что и наука, и ее служители направляют свой труд и заботы только на благо простому народу?

Нет. Не ценили.

Не научились уважать науку и относиться с доверием и благодарностью к ее представи-

телям. Еще подгородные крестьяне верили в доктора и охотно ходили в больницы. Но стоило верст на двадцать пять отъехать от города, как картина резко менялась: верили больше знахарям, заговорщицам, даже колдунам и колдуньям, чем земскому врачу и акушерке. Посылаешь больного к доктору, а окружающие тормозят:

— Все в руках Божиих. Коли Господь к себе призывает, — никакой дохтур не поможет...

Никакие чудеса медицинской науки их не трогали и не удивляли:

— Значит, так Господу было угодно.

А знахари и заговорщицы да повитухи большую практику имели и, случалось, на большую округу знаменитостями числились.

Не потому ли, что для мужика и бабы доктор, как и все люди науки, были прежде всего господами, барами, взятыми на веки вечные под народное подозрение?

Недружелюбно посматривали и никудышевцы на школу, где приютился пока холерный барак:

— Попадешь к ним, живой не выйдешь!

Скрывали заболевших. Боялись дезинфек-

ции. Боялись приближавшихся к избе студентов и сестер, избегая с ними встреч и разговоров. Еще больным признают! Злобились, что к попавшим в барак никого из родных не допускают, а помрет, так не в церковь, а прямо на погост поволокут, как стервятину в ямы закопают да еще известью зальют. На деревне болтали, что в Промзине одного человека холерным признали, а он просто выпимши был, сродственники не давали, так урядник приехал и силой забрали в бараки, а там и уморили каким-то зельем. Вообще свой барак с его хозяевами никудашевцы воспринимали, как вредный нарост на своем теле, вскочивший по воле барского дома вместо школы.

— Сперва баней угощал — не удалось, потом школу посулили, а вместо нее — холерный барак сделали...

Видя, что никудашевцы не слушают совета — не пить сырую воду из грязной речки, мешают дезинфекции и вообще не принимают никаких мер предосторожности, Егорушка Алякринский в одно из воскресений сказал в церкви после обедни слово: что такое холера и как от нее уберечься. С недоверчивым лю-

бопытством слушали «барина в пенсиях», говорившего будто бы и по-русски, но совсем непонятно, разглядывали его с головы до пяток и хитровато улыбались...

— От сырой воды, говорит. А я вот пью ее, сколь душенька запросит, а мне ничего не делается.

— Врут они. Вон у Якова все семейство одну воду из одного ведра пили, а брюхом заболел только один, а все остальные — здоровы.

— Огурцы, говорит, нельзя есть, воды не пейте, а хлеба и так нет. Чудаки!

— А сами чего только не жрут, а вот не помирают...

У каждого было в запасе много случаев из своей и чужой жизни, которые доказывали, что все, что наговорил барин в церкви, один обман:

— Народ и так с голодухи пухнет, а они — того не ешь, этого не пей...

— А я так, старики, замечаю: не было этого барака, у нас меньше и болели и помирали. У меня у самого раза три брюхо схватывало: баба баню истопит, попарит, и кончено, полежишь да и встанешь. А в барак попал бы...

— Оттуда прямо на погост!

О холере ничего из слов Егорушки не поняли, а что ухватили памятью, так только сомнения увеличивало и давало пищу для неприязненного остроумия и высмеивания докторов и господ вообще. Наследственное крепостное эхо крепко сидело в душах и при всяком несчастье в жизни начинало шевелиться старой неприязнью и подозрительностью к «барину» во всех ее видах и формах: к помещику, чиновнику, врачу, агроному, статистику. Как передовой интеллигент с революционным настроением в подходящих и неподходящих случаях обвинял самодержавие и правительство, а интеллигент ветхозаветный — отмену крепостного права и всякие свободы нового времени, так мужик какими-то тайными путями своей логики всегда упирался в «барина», который помешал убитому им царю отдать крестьянам всю барскую землю, да мешает это сделать и новому царю.

Иногда по субботам, когда гости из холерного пункта, все в белых балахонах, как живые покойники, сидели на веранде барского

дома вместе с хозяевами, которые в таких случаях тоже облачались из осторожности в такие же белые балахоны, и, попивая чай, оживленно разговаривали и смеялись, за оградой останавливались проходящие и смотрели в дырки решеток:

— Матушки! Гляди-ка, гляди-ка: все в сава-нах!..

Странными, загадочными, совершенно чужими людьми чужого племени казались они наблюдателям за оградой. Вероятно, мы, культурные люди, с такими же глупыми выражениями на лицах смотрели бы на каких-нибудь полинезийцев.

Все по-другому, по-своему: и чай пьют, и ходят, и одеваются, и разговаривают.

Крестьянские парни с девками хихикали:

— Гляди, слушай: вон она, стриженная-то, чихает как! Со смеху помрешь!

— Как она, эта штука, у него на носу держится? — спрашивали про Егорушкино пенсне, а другой пояснял:

— Вишь, за ухо привязывает!

— На што это он?

— Для красоты.

— А ноги-то, ноги-то! Как у журавля!

— Они зайцов жрут...

— Чаво зайцов! Лягушек жрут!

— Врешь?

— Ей-господи, сам видал!.. Поймал вон тот, долгий-то, лягову и сейчас давай потрошить, как рыбу! Сам видал, вот те крест!

— Вот погань, прости Господи! Мне, девки, инда блевать захотелось...

— А почему околь них холерой мрут, а им ничего не делается?

— Слово такое знают...

— Никита сказывал, что вон энтот, долгий, к нашим барышням в окошко по ночам лазит;

— А это, чтобы холера не забирала! — острит смешливый, и все прыскают со смеха.

Подходит Никита:

— А вы проходите! Чаво не видали? Нехорошо. Вот тетя Маша увидит, она...

— Боишься?

— Она как ведьма злая... И тоже четыре глаза имеет... Два своих собственных, да два стеклянных, казенных...

И любопытство, и страх, и неприязнь, и на-

смешка за оградой. А на веранде принципиальный спор: одни утверждают, что надо сливаться с народом, а другие не согласны: надо до себя поднимать темный народ...

Х

Приближалось время покоса, а там и жнитво недалеко уж. Если в обычное время этот период лета сопровождался всегда большим передвижением рабочего крестьянского люда на заработки, то в этот голодный год народ бродил целыми семьями, и пешком, и на телегах. Раньше народ сплывал в низовья Волги на пароходах. Теперь боялся: холера косила голодный народ, пароходы бегали под желтыми флагами (знак неблагополучия), особенно же пугали плавучие холерные бараки-баржи, вымазанные дегтем и похожие на огромные черные гроба, куда сдавали пароходы заболевших. И вот, минуя опасный путь, народ расползлся вглубь Поволжья, двигаясь кто в Малороссию, кто на Дон, кто в Засурье...

Ползли и через Никудышевку. Кто пешком «людьми странными», с котомкой на спине и с бадогом в руке, кто на телегах — семьями и артелями, наподобие бродячих цыганских та-

боров. С ними расползалась и тревога по русской земле.

Останавливались около трактиров, постоянных дворов, на лужках около церквей или располагались таборами за околицей на ночевку. Снимались и двигались дальше, оставляя позади, по селам и деревням, недовольство, озлобленность и короб всяких тревожных и невероятных слухов про голод и про холеру.

Всех прохожих и проезжих пугал никудышевский холерный пункт. Кому отдых или ночлег был нужен, сворачивали, объезжая Никудышевку задами, и располагались верстах в двух от Никудышевки: подальше от греха!

Выпрягали заморенных лошадеенок и пускали их щипать выгоревшую придорожную травку, а сами разжигали огонек под кустиками и располагались на отдых. Подтягивались к огоньку отставшие, останавливались никудышевцы, начинались взаимные расспросы. А там на огонек и пастухи из ночного подходили. Начинались свои интимные мужицкие разговоры.

Ночь душная, темная. Небо от туч — как покров черного бархата. Гром где-то далеко погромыхивает, осины да дубки посохшей листвой шепчутся. Давно дождем небеса дразнят, а дождей нет. Пропадает трава, пропадают хлеба... Горит и трава, и хлебушко... Греха, видно, много на земле накопилось!

На лесной опушке костер трепыхается. Табором дальние ночуют, из Самарской губернии перетянулись.

Около костра светло, а шагни в сторону шагов на десять — темень, хоть глаз выколи.

Шагал по дороге из Замураевки в Никудышевку Лукашка-лодырь, тот самый, что убытки с Павла Николаевича потребовал, когда мирскую баню мужики разворовали. Тот самый, которого в поджоге сенниц барских подозревали. Шел он от земского начальника с набитой за озорство мордой. Тряпицей грязной глаз завязан. Увидав под леском огонек, свернул с дороги, подошел полюбопытствовать: две телеги в распряжку, оглоблями в небо, два зада лошадиных на свету лоснятся, а народу не видно, одна баба у костра: вялую грудь из-за пазухи вывалила, затыкает рот

плачущему ребенку, да подросток лет пяти, босой, шелудивый, у котелка на развилках сторожит: картошку, видно, варят. Никого больше не видать, а в ночной тишине голоса мужицкие слышны.

— Здорово живешь, бабынька!

Оглянулся по сторонам. А тут зарница в небесах полыхнула, пыльную дорогу и никудышевскую колокольню показала, а под кустиками и ночлежников обнаружила: мужики в кружок сбились, беседу ведут. Лукашка сигарку от костра закурил и к компании:

— Мир вашей беседе!

— Милости просим!

Не все чужедальние. Есть и свои, никудышевские. Со своими поговорил, присел послушать, что дальние говорят.

Теперь везде один разговор: про голод, холеру, про землю, про бар и про земских начальников:

— Вот я тоже к земскому ходил насчет пособия от казны, а вместо пособия он мне морду своротил да чуть глаз не вышиб. Поглядите вот, люди добрые!

Две бабы из темноты выплыли и подсели,

пригорюнившись. Чуть только лица в темноте намечаются; потом солдатишко, что ли, шатающийся какой, в лаптях, а на затылке фуражка солдатская с медной пуговицей вместо кокарды. Маленький, невзрачный, и сколько ему годов от роду — не поймешь: с лица немолодой, а ни усов, ни бороды нет. Слушают, что никудашевский старик-пастух рассказывает:

— В грязи, говорит, живете, вот от этого самого и холера, и ребятишки помирают...

— А что бы нам с ними делать-то, если бы не помирали? — вставила баба жалобным голосом.

— У них все сыты, — отозвался Лукашка. — У их собаки ржаного хлеба не жрут...

— Видишь вот: а у нас ребяток нечем покармливать. Вот водила свою девку в экономию к вам, так не взяли.

Девка хмыгнула носом и стала рукавом утирать слезы.

— Видно, в город ее надо...

— В город! — запел хриплым тенорком солдатишко. — А вот я — из городу. Живут, братцы, там люди суконные — дома у них камен-

ные, глухие, решетками чугунными огорожены, а на дворе — собаки злющие. А окошки хоть и огромные, а рукой не достанешь и занавесками прикрыты. И ничего им не видать и не слышать. А Христа ради просить будешь, так в полицию, и никакого разговора... И морду набьют, и по этапу отправят. Оно, конечно, обидно, а зато с голодухи не подохнешь в тюрьме-то...

Самарский мужик заговорил:

— У нас на Волге бунты пошли... Под Хвалынском дохтуров этих самых холерных бьют, вон изгоняют, бараки палят. Людей они морят, чтобы барам было просторнее. Народу перемрет много, и земли прибавится, про барскую позабудут...

Солдатишко покачал головой:

— Слышал и я про это в Пензе, а только так полагаю, что это глупость одна.

Баба как с цепи собака сорвалась:

— Верно, верно — морят хрестьянский народ! Мне один человек сказывал что своими глазами видел, как фельшар у них заразу в воду из махонького пузырька наливал...

— Что-нибудь видал, да понятия настоящей-

го не имеет, — возразил солдатишко. — Это, смотри, для санитарности что-нибудь...

Мужики заговорили все разом:

— А кто их, докторов с докторицами, подсылает? Понаедут со всех сторон, и, как куда приедут, хуже народ помирать начинает.

Лукашка подтвердил:

— Правильно, бабочка, правильно. И у нас так же сперва мало помирали, а барак этот сделали да докторов с докторицами пригнали, так самый мор и пошел кругом.

— А какая им нужда народ морить? — не унимался солдатишко.

Самарский бородач заговорил сурово:

— Вот что, служивый. Когда в прошлом году у нас в барской экономии[249] барская ко-роva сдохла, приехал, это, скотский доктор и давай у нас живой скот приканчивать. Понял теперь?

— А что вы желаете этим доказать?

— А вот, значит, так и теперь с холерой. Которые есть действительно, что сами помрут... Смерть придет, все помрем!.. Ну двое-трое сами помрут, а десять душ заразой уморят... Чтобы болезнь до городов не доходила.

Боятся господа-то, что голодный народ к ним холеру-то занесет, вот они и понастроили везде этих самых барачков да и перехватывают и морят, чтобы в города не доходили... Войны, видишь, давно не было, народ-от множится, а земли не прибавляется. Узнает царь-батюшка, что столько народу по земле голодного шляется, должен будет манифест выпустить. Понял теперь?

— Вот это, пожалуй, и так... — неохотно согласился солдатишко, а самарский бородач про землю заговорил:

— У нас вот земли на ревизскую душу по две с половиной десятины приходится. А душа у человека не ревизская, а живая. У меня трое сыновей взрослых да две девки на возрасте, а ревизский-то я один. Приехал, это, к нам земский, мы его насчет земли и попытали. А он нам: которые, байт, земли мало имеют, пусть у помещика в аренду берут. Вот, значит, и работай на барина опять, как до воли было...

Тут снова Лукашка выступил:

— Палить их надо и больше ничего! Выжигать, как вшей из рубахи...

Разговор перешел на царей: царя-освободителя убили, нового тоже хотели убить и манифест задержали, и Лукашка рассказал, как два брата никудышевского барина в злодействе запутаны, а сам деньгами откупился: сто тысяч в карты выиграл и всех задарил...

— Все они из одного дерева сделаны!

Всполыхнула в тучах зарница. Заворчал где-то гром, и наступила тишина.

Самарский бородач вздохнул шумно и вслух подумал:

— Сотворил Господь небо и землю, моря-окияны, леса и горы, и нет конца просторам Божьим, а мужику деться некуда...

Когда Лукашка подходил к Никудышевке, там было тихо и мертво. Темными кучами, похожими на овины, казались во тьме избы, и чуть-чуть маячила на взгорье церковь. Только в деревьях, за которыми пряталась барская усадьба, как огромные звезды, сверкали освещенные окна, из которых вливались в темную бездну ночи обрывки струнных вздохов фортепиано, да в холерном пункте светились огни.

Остановился Лукашка, проходя мимо бар-

ской усадьбы, послушал музыку, поправил повязку на глазу и прошептал злобно:

— Погодите: отольются вам когда-нибудь наши слезки!

Выругался скверными словами и пошел прочь.

— Кто там матершинит? — спросил пробудившийся Никита под воротами.

— Не лай, барский пес... Не страшно, — проворчал Лукашка, скрываясь в темноте.

А из окон все струилась «Лунная соната»: это Елена Владимировна скучала по своему Малявочке...

XI

По задворкам Никудышевки, по овражку меж кочек и осоки протекал к пруду ручей, грязный, тинистый, с незабудками и лягушками, с пискарями и пиявками, с бегающими по радужной поверхности жуками-водолазами. Большое удобство для той части села, избы которой выходили задами к этому ручью: бабы делали тут запруды и брали воду для поливки огородов, полоскали белье, поили скотину, случалось, что по лености идти к колодезю брали воду и для домашней надобности.

Детвора в этих запрудах-яминах купалась, ловила пескарей и лягушек, пускала лодочки. Изб восемь занимали эту выгодную в летнее время позицию, и бабье население этих изб почитало себя счастливыми, вызывая зависть в бабах другой части и концов села.

Побывавшие в этом счастливом бабьем уголочке студенты-санитары сообщили об этом очаге заразы своему начальнику, Егорушке Алякринскому, а тот сделал распоряжение, чтобы из ручья не брали воды, не мыли в нем белья и не поили из него скотины. Так как бабы не слушались и не исполняли Егорушкиных распоряжений — на утренней зорьке потихоньку и воду брали, и белье стирали, — «холерный доктор» обратился за содействием к заехавшему уряднику. Этот решительный шаг был чреват последствиями. Молодежь раскололась и поругалась. Женский персонал находил нетактичным и ненормальным вмешивать в свои отношения с населением сельскую полицию. Сестра Маруся Соколова однажды в разговоре по этому поводу, откровенно заявила:

— По-моему, жаловаться полиции вооб-

ще... возмутительно, чтобы не сказать более.

Егорушка покраснел:

— Это женская логика. Если нас не слушают, мы вынуждены заставить слушать!

— Мы должны убеждать словом!

— А если из этого ничего не выходит? Принимаете вы на себя ответственность, если в результате вашей сентиментальности и брезгливости к урядникам, заболеют и умрут лишние десять человек? Всех, кто принимает на себя вместе с сестрой Соколовой моральную ответственность, прошу поднять руку.

Никто, даже и сама Соколова, руки не поднял. Урядник покричал на баб, погрозил посадить в темную, напугал сельского старосту самим губернатором. Бабы озлобились еще пуще на холерный пункт.

— Приехали незваны-непрошены да и безобразничают в чужом дому!

Дня через три под вечер сельский староста, насмерть запуганный урядником да и баб побаивающийся, поймал «холерного барина» и выдал ему тайну счастливого уголка:

— В одной избе там мальчонка хворый есть... Лихоманка, что ли... Не велят вам ска-

зывать-то, а я вот все-таки объясняю, чтобы потом на меня вашего гнева не было... Ты бабам про меня ничего не говори, а обойди сам весь порядок... В избе Ванина ищи! Прячут они... Я как перед Богом... всю правду тебе сказываю, а только меня в это дело не путай, сделай милость!

На другой день утром Егорушка взял двух санитаров и пошел осмотр никудышевской «Венеции» делать. Там и так не улеглось еще бабье возмущение незванными-непрощеными, что в их дому распоряжаются, поэтому появление их было встречено с большим неудовольствием со стороны населения. Слетелись, как сороки, бабы из всех уголков и застрекотали визгливыми голосами. Через ребятишек, словно по телеграфу, по всем избам уголка весть разнеслась:

— По избам пошли!

Со всех дворов потянулись, в толпу сбились около избы, куда холерные студенты пошли. Тревога по всем избам побежала, словно неприятель вошел... Беготня, перекличка улицы с избами через окошечки.

Когда к избе Ваниных осмотр подходил, у

ворот — бабья сходка. Как злые, спущенные с цепи собаки, встретили бабы врагов своих. В бабьем настроении было столько воинственности, что Егорушка со спутниками не решились сразу идти во двор и в избу, а вступили в мирные переговоры.

— Уходите от греха с Богом! — визжала самая злющая баба, с вилами в руке.

— В этой избе больной мальчик есть. Посмотреть надо.

— Нечего вам тут смотреть!

Подтянулись мужики. После долгих препирательств между бабами и стариками такое решение вышло: всех не пускать, мальчонку не отдавать, а пусть один, главный из них, зайдет в избу и поглядит больного мальчика, а потом лекарства пришлет.

Егорушка под конвоем баб вошел в избу, и испуганный плач зазвенел там и вылетел в окошко на улицу. Больной мальчик испугался Егорушки в белом халате, точно дьявола увидал. Егорушка погладил его по белобрысой головенке, успокоил ласковыми словами и сам успокоился: никаких признаков холеры не было.

Егорушка дал мальчику конфетку.

— Не ешь, Минька!

— Брось, брось! — закричали в несколько голосов бабы.

— Ну вот... Ничего опасного нет. Лихорадка. Видно, воды из ручья напился...

Бабы заслонили стеной больного. Егорушка кивнул головой и пошел из избы:

— Пусть ко мне кто-нибудь придет — хины дам!

— Не надо нам ваших лекарств! И так поправится, без вас...

— Сам пей их, а холера тебя заберет...

— Их она не смеет...

Смущенные и растерянные под перекрестным огнем насмешек, уходили Егорушка и санитары от избы Ваниных. Злобно торжествовала злая баба с вилами:

— Надел седло на нос, так думаешь, испугаемся? А вот это видал?

Злая баба сделала неприличный жест, и вся улица загоготала дружным хохотом.

— Вот этак-то с ними лучше... Ай да бабы! — кричали мужики.

Эта бабья победа явилась причиной круто-

го перелома в мужицкой психике: утратили страх и почувствовали свою силу и волю. Нужен был только толчок, чтобы эта воля могла найти воплощение. Таким толчком явилось случайное совпадение: больной мальчик в избе Ваниных поправился, а в это же время в бараке умер мальчик одних лет с выздоровевшим. Мать умершего мальчика, как полоумная, бегала по улице, кричала: «Уморили моего касатика, золотого ненаглядного сынка Степушку!» — причитала и грозила кулаком по направлению барака. Выбегали со дворов бабы, сползались мужики и парни. Шумная толпа, как снежный ком, лепилась и росла около несчастной матери. Появилась злющая баба с вилами и двумя-тремя злобными словами потянула за собой толпу к холерному пункту. По пути приставали любопытные, проходящие странники, появился полупьяный Лукашка-лодырь.

— Ослобонить надо всех из барака, которых еще не уморили!

— Вон их всех отсель! Чтобы духу ихнего не было!

Когда толпа с возбужденным криком подо-

шла к бараку, Егорушка понял, что дело плохо. Ужас охватил всю молодежь. Коренев успел-таки запереть входную дверь. Трясущимися руками заряжал схваченный с полочки револьвер.

Женский персонал оказался храбрее: сестры, высунувшись в окно, переговаривались с толпой:

— Отдайте всех, а сами вон от нас!

— Отпирайте дверь, а то не поглядим на запоры!..

Толпа нервилась все более. Лукашка стал бить коленями в дверь. Злая баба тыкала вилами в окно.

Егорушку осенила мысль — спастись через подволоку: там, под крышей, есть слуховое окошко, а под ним — крыша амбара, а за амбаром — поросший крапивой и бурьяном заброшенный пустырь.

— За мной, господа! — крикнул Егорушка.

Толпа разбивала дверь, а они лезли на подволоку. А когда толпа ворвалась в барак, весь персонал его бежал пустырем по направлению к барскому дому.

Если бы они остались, все могло выйти

иначе. Забрали бы своих больных по рукам, а дохторов прогнали бы из барака. Но на беду ребятишки заметили убежавших и закричали, махая руками:

— Бегут! Бегут! Вон они, сволочи!

Часть толпы, оставшаяся за дверью барака, заревела, заулюлюкала, засвистала разбойным свистом. Бабы и ребятишки, несколько парней, повыдергав из плетня колья, погнались за убежавшими. Ужас, объявший убежавших, словно окрылял их бегство. Однако погоня усилилась перебежкой наперерез, с каждой минутой приближалась. Смерть гналась позади по пятам. Уже слышалось тяжелое дыхание и задыхающаяся ругань. Несколько кольев с жужжанием прокатились мимо ног...

Казалось, надежда на спасение рухнула. Тогда Коренев приостановился и, обернувшись, выстрелил в воздух. Среди преследователей произошло замешательство. Это дало возможность многим увеличить расстояние, на котором гналась смерть, но зато приблизила к ней Коренева и изнемогавшего от удушья Егорушку Алякринского. Еще выстрел в воздух, другой... Снова смерть отстала, но те-

перь позади всех остался санитар Кузмицкий, самый молодой и хрупкий, сильнее всех чувствовавший свой «долг перед народом» и так хорошо напевавший под аккомпанемент мандолины малороссийские песенки, Володя Кузмицкий, тосковавший в лунные ночи о далекой, оставленной где-то невесте...

Ему, этому трогательному юноше, почти мальчику, и суждено было расплатиться за всех остальных.

Перепрыгивая через попутную канаву, он упал и не мог сразу вскочить на ноги. И вся ярость настигнувшей свою жертву толпы обрушилась на него одного. Заметив издали этот ужас, Коренев выстрелил еще дважды, но это лишь разъярило толпу, а стрелять больше было нечем.

Володю Кузмицкого били кольями, он пытался подняться, его пинками ног валили и снова били и топтали ногами, испуская злобный вопль сквозь зубы. Били с такой жадностью, точно холодной водой утоляли нестерпимую жажду. А всех остальных бросили. Они успели добежать до барской усадьбы и скрыться за оградой.

Совершенное злодейство утолило злобу толпы. Побросав колья в крови, она в угрюмом молчании расползлась от совершенного греха. А свернувшийся клубочком, обезображенный и окровавленный Володя Кузмицкий лежал в канаве и смотрел одним широко раскрытым синим глазом в небеса, точно спрашивал: «За что?»

Красный ужас ворвался в барский дом вместе со спасшимися от смерти за его оградою. И в этом ужасе не сразу вспомнили о Володе Кузмицком.

Только один Коренев видел, что Володя попал в лапы жестокого зверя, но Коренев, как и все остальные, убежавшие от зверя, были полны еще двойственным чувством: радостью спасения и страхом смертельной опасности, ибо чудилось еще всем, что погоня продолжается и вот-вот толпа появится у ворот и ворвется за ограду. Все долетавшие в дом голоса и звуки со двора превращались в угрозу жизни, и в доме происходила бестолковая трусливая суматоха. Елена Владимировна заперлась с детьми на антресолях и была там, как деревенская баба. Бабушка гордо и

величаво молилась, исповедуясь в грехах перед образом Владычицы. Сашенька сидела в уголке за фортепиано, бледная как полотно, с застывшим в глазах ужасом. Молодежь, как мертвецы в белых саванах, металась, вооружаясь чем попало. В этом паническом хаосе не растерялась только тетя Маша. Она уже распорядилась запереть ворота и калитки, организовать всю дворню, вооружив ее топорами, вилами, кирками, послала Никиту верхом в Замураевку к земскому начальнику и к уряднику. Назвала «киселем» своего мужа, который слонялся, опустив руки и позабывши, что в доме есть охотничьи ружья...

Дворня посмеивалась над этой мобилизацией и над тетей Машей, называла ее «командером» и успокаивала:

— А вы не бойтесь! Никто вас не тронет... Не звери же, поди, а люди: опомнились уж, сами теперь боятся, попрятались...

Коровница бегала на луг посмотреть на убитого барина. Пришла в слезах. Рассказывает:

— Никого там нет... А он лежит в канавке махонький, скрючился, одним глазочком

смотрит... Весь в кровях... Уж так жалко смотреть и сказать не могу, миленькие... И что теперь будет? Господи... Грех-то какой!

В доме понемногу успокоились. Вечером приехал урядник, и все ему обрадовались, как родному человеку. Допрос снимал с пострадавших.

Тетя Маша попросила урядника ночевать у них в доме и отвела ему комнату Фомы Алексеича, под лестницей. Хорошо накормила и водочки поднесла.

Отправили нарочного в Промзино и послали телеграмму Павлу Николаевичу.

Ночь прошла спокойно: урядник под лестницей всем давал уверенность в полной безопасности. Даже Маруся Соколова, недавно возмущавшаяся принципиально сношением с полицией при борьбе с холерой, находила теперь совсем нелишним присутствие урядника в такой непосредственной близости: под лестницей. Она всю ночь проплакала: она тайно любила Володю Кузмицкого.

XII

Володя Кузмицкий, горевший неутолимой жадной подвигом во благо родному народу,

превратился в страшное для Никудышевки мертвое тело. Это «мертвое тело» из барского дома оставалось лежать на лужке в канаве, под рогожей до приезда властей, но его в очередь караулили отряжаемые для того мужики-никудышевцы. Днем к караульным подходили бабы с обедом, прибегали любопытные деревенские ребятишки, подходили поговорить старики. Ночью около «мертвого тела» трепыхал красным огоньком костер, около огня было не так страшно оставаться с покойником. Все, кто приближался к страшному месту, были печальны, сумрачны, озабочены, кроме деревенских ребятишек, которые были только пугливо-любопытны и старались об одном: приподнять рогожку и посмотреть на страшный раскрытый глаз. Караульные гнали их прочь, но они, отбежав, ждали, когда те проворонят, чтобы воспользоваться моментом.

Никудышевцы присмирели. Злоба и воинственность сменились раскаянием во грехе и страхом ответственности. Если мужицкое «мертвое тело» всегда считалось мирской бедой (затаскают по судам и виноватых и пра-

вых!), то барское «мертвое тело» казалось много опаснее обыкновенного:

— Их воля, господская, — шептали, вздыхая мужики, поглядывая на барский дом.

И дом этот, и холерный барак, и мертвое тело на лужке — в мужицких головах связалось в одно целое. Да и как же иначе? Господский дом и барак никак не отделишь друг от друга: и там и здесь — господа, в дружбе промежду собой, вот и спасаться в барский дом побегли! А днем два холерных барина (это были Егорушка с Кореневым) вместе с урядником из барского дома в барак ходили и там порядок наводили и протокол какой-то писали. А к вечеру то и дело колокольчики звенеть начали: всякое начальство в Никудышевку скачет и всё сперва прямо в барский дом. Только тройка проехала почтовая, опять пара колокольцами позванивает...

— Все начальство забеспокоилось... Будет теперь нам горюшка-то, — вздыхают мужики с бабами, шепчутся о виноватых: кто бил, да сколь раз ударил, да кто добил в глаз колом... Били все, кто на лужке были, те, что догнали, и те, которые после подбежали, а каждый ви-

ну в убийстве на другого сваливает:

— Кабы колом в глаз не пырнули, не помер бы... отдышался бы.

— Не надо друг на дружку показывать... Ничего не знам, и никакого другого разговору. Пусть сами допытываются. Тут правды не найдешь. Один Бог правильно рассудит...

— Вон опять колокольчики звонят! Становой это...

Много понаехало: врач Миляев из Промзина, Павел Николаевич из Алатыря вместе с судебным следователем и городским врачом, становой пристав, земский начальник из Замураевки. Только становой остановился на въезжей, а все остальные прямо на барский двор. На дворе — староста, сотские, понятые, урядник, взбаламученная дворня. За оградой — куча любопытных. Тетя Маша с мужем с ног сбились: всех надо накормить и всем ночлег приготовить. Даже о ямщиках и лошадях чужих позаботиться. И своя тяжелая забота на душе лежит: за своего Егорушку боится. Уж какая тут служба народу, когда он с камнем за пазухой и своих же благодетелей по глупости убивает? Сперва вся молодежь от

службы решила отказаться, а приехали Павел Николаевич с Миляевым и стыдить стали, в трусости и малодушии упрекать. Теперь опять все расхрабрились. «Мы обязаны на посту остаться», — говорит Егорушка, а без револьвера из дому не выходит. Это уже не работа, а война какая-то. Да еще в дом холеру затащат: осмотры разные делают, допросы во флигеле идут, из барака и в барак то и дело людей посылают и сами ходят, а обедают и ужинают все вместе, в столовой главного дома. Халатов на всех не хватает. Хотя бы уж не засиживались: поужинали и расходись! А то часов до двенадцати чай на террасе распивают да между собой чуть только не ругаются. Права бабушка: «И как только языки не отвалятся?» Как съехались, так в первый же день после ужина сцепились.

Спор вышел действительно не только горячий, но обостренный, скользивший часто по грани личных ссор. Тема самая избитая, на которой и литературные перья, и языки давно, казалось, поломались: народ, правительство и интеллигенция. Сперва говорили просто о холерных бунтах и о голоде. По всей

Волге эти бунты с избиением врачей, фельдшеров и санитаров. Под Самарой, под Камышином, под Саратовом.

— Вот и до нас докатилось...

— А кто виноват? — насмешливо спросил земский начальник Замураев.

— Вы изволите меня спрашивать? — отозвался Миляев.

— Я вообще... всех и никого в частности, — произнес Замураев и, вздохнувши, потише уже прибавил: — Что посеешь, то и пожнешь!

— Поправки эта пословица требует: в этом году и семян не соберут! — отозвался из угла Машин муж.

Павел Николаевич насторожился: он сразу понял, в чей огород родственный земский начальник камешки бросает.

— А помнишь притчу: сеял сеятель доброе семя, а в ночи пришел дьявол и посеял в пшеницу плевелы?[250] — насмешливо же спросил он родственника.

— Такой притчи, положим, нет, но что-то подобное имеется... Но в таком виде притча поучительна. Вот я про дьявола-то имею в виду...

— Не совсем грамотно: можно иметь в виду дьявола, но не про дьявола...

Миляев покосился через сползающие очки:

— А позвольте спросить, кого же вы разумеете под дьяволом?

— А уж это вы сами догадайтесь!

— Тогда скажите, правильно ли я догадываюсь? Мне кажется, что под дьяволом следует разуместь тех, кто вместо света тьму сеет или мешает свет сеять? Правильно ли я понимаю?

— Правильно. Только надо примечание сделать: не принимай волка в овечьей шкуре за овцу и не смешивай дьявола с сеятелем света! Вот интересно, как вы на наше убийство смотрите, на этот бунт? Кто его посеял? На чью голову падет кровь этого... убитого санитаря... как его? Кузминского или...

Подвинулся судебный следователь:

— Вопрос, кажется, интересный и для нашего брата следователя...

— Виновников убийства найти не трудно, Виталий Васильевич, а вот где вдохновители? Не те ли господа, которые лет двадцать стара-

ются всеми средствами народ бунтовать против нас, помещиков, его вооружать против властей и так далее? Вот я и сказал: что посеешь, то и пожнешь! Вот вы все, господа, нас, земских начальников, в газетах третируете и шельмуете, а...

— Одним словом, добрые сеятели — вы, земские начальники, а дьяволы — мы? Это ты хочешь сказать? — нетерпеливо перебил Павел Николаевич.

— О присутствующих вообще не принято говорить, и потому твой вопрос, Павел Николаевич, я признаю не... даже нетактичным. Я говорю вообще по поводу происшедшего убийства и бунта... Если у нас интеллигенция убивает царей, почему мужику не убить студента?

— Позвольте вам заметить: в нашей среде никто не убивал не только царей, но и земских начальников... и...

— Я говорю не о нас, а о народе и интеллигенции вообще, об их отношениях к государству и правительству.

Павел Николаевич расхохотался немного искусственно, делано:

— Государство! Построили огромный дом, населили его квартирантами, поставили управляющего с дворником и квартальным и стали жить-поживать да добра наживать! В основе государства должен быть не дворник и квартальный, а гражданин! Я спрошу вас, когда русский человек был гражданином? Были рабы разных видов и рангов, были жители, обыватели, все что угодно, но только не граждане. Вот в том-то и беда наша, что гражданское творчество веками является монополией правительства и полицейский участок искони является исключительным пунктом общения между нашим государством и жителем. У нас даже свободно думать небезопасно, ибо это уже создает образ мыслей, за который у нас высылают куда Макар телят не гоняет!

— Что ты этим хочешь доказать? Свою либеральность? Так она мне известна, как и всем окружающим, — огрызнулся земский начальник.

— Я хочу сказать, что наше так называемое государство без граждан — ибо какой же мужик гражданин? — антигосударственно, ибо государственность народа, нации, пребы-

ваает в теснейшей связи со степенью его гражданственности, то есть сознания своих прав и обязанностей по отношению к своей родине и государству. А народ столетиями держался в искусственной темноте. И вот результаты темноты и гражданского невежества: убивают тех, кто бескорыстно идет на службу народу и государству! И либерализм тут совершенно ни при чем. Все это государственная азбука, которой не знают и не хотят знать наши государственные мужи, не говоря уже о... земских начальниках, смешивающих свет и тьму, пшеницу с плевелами и сеятелями правды и законности с дьяволом!

— Все это очень красиво звучит, но только здесь, в комнатах, а...

Но Павел Николаевич не мог сразу остановиться:

— Сиди! Не суйся! Не рассуждай! — вот формула для гражданского поведения жителей. Ну вот сто двадцать миллионов мужиков и баб и сидят, молчат, не рассуждают, а когда терпенье лопнет, разрешают все дела топором да вилами! Понятно теперь, кто виноват?

Видя, что спор принимает неприятный ха-

рактер ссоры, Машин муж ввернул словцо с целью, как полагал он, всеобщего успокоения политических страстей:

— Однажды лебедь, рак да щука везти с поклажей воз взялись! Из кожи лезут вон и прочее... как оно там, в басне-то?

— Кто виноват, кто прав — судить не нам, а только воз и ныне там!

Миляев покосился в сторону Машиного мужа:

— Ну, а как же вы распределяете роли? Кто лебедь, кто рак, кто щука?

Машин муж хихикнул и ответил:

— Лебедь это, конечно, наш милый Павел Николаевич. Он всегда в облаках!

Павел Николаевич приятно улыбнулся, а земский начальник сказал:

— Не возражаю...

— Щука... это, между нами сказать, революционеры...

— И вообще, все прочие, тянущие государство в омут социализма и анархизма! — добавил земский начальник.

— Ну а рак...

Павел Николаевич договорил:

— Это — земский начальник! И все те, кто их сотворил!

Все, кроме Замураева, засмеялись, а Замураев обиделся!

— Я прошу при мне не выражаться так о государе-императоре! — сказал он и сердито постучал мундштуком папиросы о тяжелый серебряный портсигар с золотыми вензелями.

Всех это покорило. Наступила неприятная пауза.

Замураев походил крупными шагами по столовой, позвякивая шпорами и покашливая. Потом громко сказал:

— Не считаю возможным оставаться в обществе, где оскорбляется личность нашего Государя императора...

И решительно двинулся к передней, ни с кем не простившись.

Все многозначительно переглянулись. Судебный следователь покраснел и почувствовал себя неловко. Миляев пожал плечами, а Павел Николаевич как бы подумал вслух полупшепотом:

— Дурак...

В дверях появилась фигура Замураева:

— К кому относилось ваше... ваше... слово «дурак»?

— К дураку, конечно, — ответил Павел Николаевич.

— А именно? — угрожающе спросил Замураев.

— Ко мне это относилось! — крикнул из уголка Машин муж.

— Подтверждаете? — хмуро спросил Замураев, постукивая ручкой нагайки о голенище лакового сапога.

— Кто принял на себя, тот, значит, и дурак!

— Я принял! Я дурак!.. Один рак, другой — дурак...

Замураев прихлопнул за собой дверь, и было слышно, как он кричал ямщику:

— Спишь, чертова кукла? Подавай лошадей!

Потом звонко вскрикнули колокольцы валдайские и посыпались, как серебряные шарики, бубенчики...

Долго все молчали. Потом Миляев произнес:

— Однако!

Судебный следователь выглядел растерян-

НО:

— Как это неприятно!.. С такими господами можно и неприятностей нажить...

— Волков бояться — в лес не ходить! — сказал Миляев, а Машин муж добавил:

— И с волками жить — по-волчьи выть!

— Я ведь больше молчал... Я, кажется, господа, ничего лишнего не сказал? — успокаивал себя судебный следователь.

— Да не беспокойтесь, Виталий Васильевич! — ласково похлопав по плечу следователя, сказал Машин муж. — Мы с вами держали правильную линию: свои собаки грызутся, чужая не приставай! Мы с вами больше молчали. Черт меня копнул про эту басню... Думал, всех помирю, а вышло совсем иначе.

— А ведь я боялся, что он вас на дуэль потребует, — сказал Миляев Павлу Николаевичу.

— У меня громоотвод хороший есть на этот случай: драться на дуэли согласен, но не прежде, чем этот рыцарь уплатит мне 500 рублей долгу на возможные похороны...

Все маленько посмеялись, поострили и стали расходиться на покой.

XIII

Восемнадцать человек мужиков, парней и баб никудышевских были привлечены по обвинению в разгроме холерного барака и убийстве студента Владимира Кузмицкого. Все, за исключением несовершеннолетних, были арестованы и посажены в тюрьму до суда.

Уныние и печаль воцарились как в Никудышевке, так и в барском доме.

В числе посаженных в тюрьму оказалось немало мужиков, которых давно и хорошо знали в барском доме: знали, как хороших, добрых и честных, во всяком случае, лучших крестьян в Никудышевке. Сродственники посаженных до суда в тюремный замок, старики и старухи, приходили на барский двор, ловили тетю Машу, валились в ноги и со слезами упрашивали помиловать... Ловили барина-управителя Алякринского на поле и упрашивали похлопотать перед старшим баринном, Павлом Николаичем.

Выстораживали Сашеньку и плакали, стараясь разжалобить остающимися на руках сиротами. Приносили в кухню гостинцы: яиц,

масла, сметаны — и приходили в полное отчаяние, когда Никита гнал их прочь, говоря: «Не приказано принимать!»

Конечно, они понимали это как господский гнев и угрозу в предстоящем судилище. Вот ведь и ребятишек бросили на своем дворе кормить после того, как они холерного барака не пожелали и прогнали дохторов холерных!.. Все урядник к ним теперь с какими-то бумагами ездит. Сказывают, что все господа против них свидетелями на суде желают выйти... Конечно, они все друг за дружку держатся. Пропали наши головушки!

Разве могли все эти темные люди поверить, что главным мучением в барском доме теперь и являлся вызов на суд в качестве свидетелей по делу: тети Маши с мужем, их сына, Егорушки, кроткой Сашеньки — и что Павел Николаевич думает выступить по делу в качестве свидетеля только с той целью, чтобы помогать защите обвиняемых?

Только двое в доме спали спокойно, не мучаясь угрызениями совести, тайно нашептывавшей всем прочим, что есть какая-то «правда», затерянная и позабытая, в силу которой и

они все не безвинны в том, что восемнадцать мужикам и бабам грозит каторга и арестантские роты, разорение и сиротство за свою темноту... Старая барыня Анна Михайловна не находила ничего драматического в том, что за убийство ссылают виновных в каторгу, и по настоянию именно ее прекращено было доброхотное кормление на дворе голодных деревенских ребятишек: «Их кормят, а они убивают!»

А Елена Владимировна пребывала в интересном положении и витала в заоблачных сферах, как никогда ранее. Она была счастлива каким-то особенным, отчужденным от всего земного счастьем, которое поверяла в молитвах Богу да в музыке. Это было совсем необыкновенное женское чувство застенчивости, пугливости постороннего человеческого вмешательства, ревнивое чувство, о котором нельзя говорить обыкновенными словами и с обыкновенными людьми, в том числе даже с Малявочкой, главным виновником этого счастья. Вместо слов — экстазная молитва и экстазная музыка. И молитва у нее походила на музыку, а музыка — на молитву.

Словами нельзя было рассказать о своем чувстве. Уже не было в Елене прежней животной утомляющей привязанности к мужу и к подросшим детям, а была тихая, молчаливая и радостная удовлетворенность бытием, какое-то новое постижение его тайн и неутолимая благодарность к Господу, к голубым небесам, к убегающим облакам, к старым березам и липам парка, к ночным звездам. Ко всему на свете, кроме живых людей и их дел на земле. Все это — пустяки, неважно, случайно, не волнует и не интересуется, а важно лишь то, что у нее под сердцем вздрагивает будущий новый человек. Есть нечто огромное, важное, непонятное, вечное, и частица его осенила своим крылом ее душу. Иногда она прислушивалась сама к себе, и лицо ее озарялось необыкновенно прекрасной улыбкой. Она смотрела и ничего не видела, слушала и не слышала. Точно была в ином мире.

Но кто потерял и спокойствие, и деловую самоуверенность, так это Павел Николаевич. Ничего подобного с ним не было со времени истории с родными братьями, оказавшимися в числе обвиняемых в покушении на царе-

убийство. Обвинение вызовет его в качестве свидетеля на суд. Он, известный печальник и защитник народа, должен помогать в суровых расправах с мужиком, виноватым только в том, что он по вине же правительства невежествен, не научился уважать науку и ее работников, что, как ребенок, не понимая причин своих бед и несчастий, он, доведенный до отчаяния, бросается на своих же друзей! Роль неподобающая для честного общественного деятеля, да еще из «передового лагеря»... Но что его неприятно озабочивало, так это самый процесс, подчеркивающий в глазах темных мужиков его принадлежность к одному лагерю с другими помещиками, становыми, земскими начальниками, от близости и единомыслия с которыми он всегда старался отгородиться. Надо было спасти свою либеральную репутацию и не укрепить в темном мужицком сознании личной враждебности со стороны окружающего имене населения. Тут и без того не особенно благополучно: вспоминался убитый из-за лугов Егор Курносов и трое попавших из-за барских лугов в ка-торгу, вспоминался Лукашка, спаливший бар-

ские сенницы и оставшийся безнаказанным, вспоминались еще и угрозы некоторых мужиков после каких-то хозяйственных недоразумений. А тут дело снова пахнет каторгой. И все это, конечно, записывается в мужицких душах в кредит своему барину.

Долго Павел Николаевич обдумывал наилучший выход и нашел-таки его.

Он съездит в Самару и уговорит своего друга, присяжного поверенного Хардина, старого идеалиста-народника, принять на себя защиту главных обвиняемых (талантливый оратор и бескорыстный человек!), а сам он выступит свидетелем не от обвинения, а от защиты и, конечно, будет лучшим помощником на суде своему другу.

До суда было еще далеко. Хотя он и назывался по-прежнему «скорым» и «милостивым», но раньше как через год слушаться дело не будет. Да и на милость рассчитывать невозможно: такие дела теперь слушались без присяжных заседателей, а с сословными представителями — предводителем дворянства, городским головой и бессловесным волостным старшиной.

И вот все пошло своим порядком. Павел Николаевич в Никудышевке не жил, а семья его оставалась там. Не было только в доме прежнего шума, смеха и людности. В половине августа Сашенька повезла Петю с Наташей в Казань: Петя должен был поступить прямо в четвертый класс гимназии, Наташа — в третий, а по институтскому счислению в пятый класс Института благородных девиц. Таким соглашением окончилась давно уже борьба за воспитание детей между отцом и бабушкой в союзе с матерью. Бабушка же настояла, чтобы Петю не отдавали в симбирскую гимназию: оттуда цареубийцы выходят!

Скучно стало бабушке без внучат. Ведь теперь все ее надежды упирались только в новое поколение Кудышевых, ибо родные дети не оправдали ожиданий. Не своим детям, а внучатам решила она оставить по наследству все, что еще уцелеет ко дню ее смерти. До ее смерти пусть все будет как было, а потом — все внукам, Павел же останется только опекуном до совершеннолетия...

Потосковала-потосковала бабушка, сидя на верхнем балконе, как галка на березе, и со-

рвалась: решила ехать в Алатырь, в старый, родной с детства дом... А за бабушкой потянулась и Елена Владимировна: не хотела оставаться одна с тетей Машей и ее мужем. Не было у них взаимного тяготения друг к другу.

Барак холерный прикрыли. Егорушка поступил в Алатыре железнодорожным врачом на постройку, вся молодежь разлетелась. Тетя Маша с мужем жили в одном из флигелей. Затишье и нахмурился барский дом. Точно вымер весь. Только вороны галдели в саду и радовались полной безопасности: гуляли по крыше, по бабушкиному балкону, по перилам садовой террасы. Не горят больше по ночам огни в окнах, не слышатся музыка и пение. Угрюмо молчит барский дом, словно все думает какую-то тяжелую крепкую думу...

Приехала ненадолго Сашенька. Свое дело сделала: ребята хорошо выдержали экзамены, Наташа сдана в общежитие института и сильно плакала, прощаясь. Петя отдан, по указанию отца, в семью старого друга Павла Николаевича, с которым они когда-то вместе делали революцию, в семью популярного теперь в Казани профессора анатомии Вехтерева[251].

А сама Сашенька подала прошение на Казанские женские фельдшерские курсы и скоро тоже уедет в Казань.

Пожила с недельку Сашенька около отца с матерью, погуляла по саду и парку, побывала на могиле убитого Володи Кузмицкого, украсила простой деревянный крест венком из полевых цветов, поплакала и почувствовала себя здесь одинокой и ненужной. Точно вся радость здесь пропала. Тоскливо-тоскливо... Собрала чемодан, простилась застенчиво с родителями и уехала на паре с колокольчиками...

Долго стояли за воротами тетя Маша с мужем, а когда колокольчики оборвались, тетя Маша отерла платочком слезы и сказала мужу:

— Ну что ж, пойдём Ваня...

— М-да...

Павел Николаевич ещё осенью успел побывать в Самаре и повидаться со своим другом, присяжным поверенным Хардиным. Очень удивился, встретясь у него с Владимиром Ильичом Ульяновым, совершенно забывши, что сам же помог ему когда-то устроиться

у друга помощником. Тут же вспомнился Павлу Николаевичу и последний визит Ульянова в Никудышевку, когда гость с ловкостью фокусника вытянул с него пятисотрублевую бумажку и вместо благодарности иносказательно обругал и уехал. Скользнула в душе Павла Николаевича невольная неприязнь к этому «нахалу», но, конечно, Павел Николаевич скрыл ее приветливой улыбкой и напускной радостью встречи...

Вместе обедали и говорили о предстоящем деле, о разгроме никудышевского барака и убийстве Володи Кузмицкого. Павел Николаевич, выпивши несколько бокалов вина, почувствовал потребность к умным разговорам и остановился на любимой своей теме о пропасти между народом и интеллигенцией, так наглядно вскрывшейся в этой печальной истории с разгромами бараков и убийствами врачей и санитаров.

— Пропать глубокая, боюсь, что бездонная... — грустно философствовал он, устремив неподвижный взор в бокал с вином. — Крепостное право... — пропять правовая и экономическая... раз! Церковный раскол и сек-

тантство... — пропасть религиозная... два! Язык народный и наш литературный — пропасть... пропасть творческая, художественная... три! Наука, литература, искусство — пропасть духовно-этическая... четыре! И что же еще осталось общим у нас с народом? И ничем не засыпешь этой пропасти и... свалимся мы в нее когда-нибудь...

— Туда нам и дорога! — неожиданно заметил с ехидной улыбочкой Ульянов.

Павел Николаевич вопросительно посмотрел на соседа.

— Это вы — серьезно или... шутите?

— Совершенно серьезно. И народ ваш, и интеллигенция слюнявая только задерживают нормальный ход истории и ее основу — классовую борьбу. Россия со всеми ее trebuхами может сослужить человечеству только одну-единственную службу...

— А именно?

— Хороший погреб пороховой для того, чтобы взорвать всю буржуазно гнилую Европу. И потому, чем больше накапливается у нас взрывчатого материала, тем выгоднее для исторического процесса.

Хардин укоризненно покачал головой:

— Какой же вы, Владимир Ильич, марксист! Маркс, насколько мне известно и не изменяет память, был против всяких неожиданных социальных взрывов, а вы... вы просто устарелый бунтарь!

— А не приходит вам в голову, что не я устарел, а Маркс со своей социальной научной эволюцией? Я признаю Маркса, когда он не скучный профессор, а революционер, и тут есть чему у него поучиться для подлинного революционера. В конце концов, всякая эволюция должна кончиться революционным взрывом. Революция, по моим взглядам, всегда хаотический взрыв, вызываемый накоплением экономического и политического неравенства. В социальном процессе, как и в природе: чем больше неравенства, тем сильнее стремление к равенству... И с этой точки зрения, я приветствую у нас всякий бунт, даже глупый бунт, а защищать ваших мужиков-дураков тоже не буду. Чем хуже, тем лучше! Пора бросить все слюнявые сантиментальности. Пока чем меньше социального равновесия, тем ближе к всемирной социаль-

ной революции...

Павел Николаевич, давно отставший от всяких идеологических трансформаций в среде революционной интеллигенции, с растерянным удивлением посматривал на Ульянова. Сперва полез было на дыбы, но на первых же порах оказалось, что он не в курсе современности, не читал того, не знаком с этим, и потому им овладела какая-то трусость вступить в словесное единоборство с этим новым типом интеллигента. Да и друг Хардин, переглянувшись с Павлом Николаевичем, мимикой и жестом руки посоветовал плюнуть на эту галиматью молодого озорника революции. Павел Николаевич начал игнорировать реплики Ульянова, и разговор завял. Ульянов сослался на какое-то деловое свидание и, попросившись, надел пальто, котелок, прихватил трость и удалился. Все в нем показалось Павлу Николаевичу противным, отталкивающим: и модное пальто, и котелок, и язвительная неискренняя улыбочка на скуластом лице.

— Ну и фрукт! — произнес он, когда Ульянов затворил дверь отдельного кабинета, в

котором они обедали.

Хардин весело расхохотался:

— Зачем же ты, Павел Николаевич, навязал мне его в помощники?

— Да я никак не думал... не ожидал, что он... идиот...

— Ты ошибаешься. Он далеко не идиот. Он только любит прикидываться дурачком, а всегда себе на уме...

— Ну а как помощник полезен он тебе?

— Да он только раз выступал по пустяковому делу...[252] Он совершенно равнодушен к своей профессии... Он тут только и делает, что молодежь марксизмом напичкивает... У нас тут две газеты[253]: в одной всякие интеллигенты с бору по сосенке — и бывшие народолюбцы, и постепеновцы, и всякие радикалы, а в другой — гнездо марксистов. Сам Ульянов там не появляется, но тайно руководит этой компанией. Почитай этот первый в России марксистский орган, — нахохочешься: даже под ссору Ивана Ивановича с Иваном Никифоровичем марксистский фундамент подкладывают! На каждом шагу — прибавочная стоимость, классовая точка зрения и произ-

водственные отношения. С героями, братец, покончено, с моралью покончено, с богами покончено, с совестью покончено, с семьей, религией, правом... Камня на камне не оставляют! Удивительно только одно: газета самая правоверная, марксовский «Капитал» у них как Евангелие, а первосвященник-то, по-моему, просто идеологический жулик в марксистской маске. Мы частенько с ним за шахматами интимные беседы ведем, и тут, вдали от своей паствы, жрец этот маску-то и снимает. Зашел разговор о надеждах на революцию... вот этот марксист и говорит: без мужика-дурака у нас не обойдешься, надо его утилизировать! Я удивился: как же так? — спрашиваю, — ведь Маркс крестьянство считает мелкой буржуазией и потому не только пользы для социальной революции не усматривает, но даже вредным классом, тормозом считает, а вы, марксист, и вдруг такую ересь говорите! А он хихикнул, оглянулся на дверь да и ляпнул:

— Пастырю важно, чтобы овцы свято веровали в книгу живота, а самому нужна не столько эта книга, сколько кнут и палка, дабы

пасомое стадо шло куда нужно и не разбрелось.

Ислам, говорит, был так долго непобедим только потому, что верил только в себя и в каждом немагометанине видел врага. Точно так же и социализм: он может завоевать мир лишь при том условии, если будет сохранять и поддерживать веру только в себя.

— Да вы что, спрашиваю, в пророки, что ли, собираетесь? Несть пророков в отечестве своем! Да и какие же пророки, когда вы сами всех героев упразднили?

А он мне с хитренькой улыбочкой:

— Да не будут тебе бози, инии разве мене!
[254]

— Этот маленький господинчик, скажу тебе, носит в себе огромнейшую гордыню. Это не марксист, а Герострат какой-то, вознамерившийся сжечь не один храм Дианы, а все храмы на земле вообще... А с виду такой гладенький, в котелке, с тросточкой, и мелкими шажками бегают...

Долго говорили друзья о новой интеллигентской ереси, о временах, подлее которых еще не было, о судьбе братьев Павла Никола-

евича и о многих погибших в борьбе друзей юности. Говорили и о никудышевском деле: Хардин охотно согласился выступить защитником. Конечно, совершенно бескорыстно, даже обиделся, когда друг поднял вопрос этот.

— Надежд мало. Дело будет рассматриваться сословными представителями, но мы все-таки... повоюем!

XIV

Только на третий год весной назначено было к рассмотрению дело о разгроме барака и убийстве Володи Кузмицкого.

Хардин мобилизовал все наличные силы идейной адвокатуры Поволжья, взяв в свои руки общее руководство. Нельзя сказать, чтобы главным двигателем тут была любовь к народу и, в частности, к несчастным никудышевцам. Никудышевцы были на самом дальнем плане. Двигала неприязнь к правительству, ненависть к реакции во внутренней политике, желание воспользоваться трибуной суда для обличительного слова, хотя бы в рамках особого, так называемого эзоповского языка.

Зал суда выглядел необычайно торже-

ственно, почти празднично. В публике — вся передовая интеллигенция, масса нарядных дам. В кулуарах — точно раскрашенные в разные цвета пчелы, жужжат и роятся в дверях, стремясь протискаться в улей. Встречи знакомых, влюбленных, врагов и друзей. Быстро-летный обмен взглядами, улыбками, приветствиями. Изредка проносятся с портфелями под мышкой, с глубокомыслием во взорах люди в черных фраках, которым публика любезно уступает место. Это защитники, выглядящие сегодня именинниками...

Привлекают две двери в коридоре, у которых стоят солдаты с винтовками: в одной — свидетели, в другой — обвиняемые. В свидетельской комнате не меньше тяжелой напряженности, чем в комнате обвиняемых. В последней — одно общее горе, общая участь, все други по несчастью. В свидетельской — точно враги, разбившиеся на три кучки: в одной — интеллигенция, тут все наши знакомые из отчего дома; в другой — земский начальник, становой, урядник, все — народ форменный; в третьей — мужики и бабы, деревенское начальство: староста, сотский, десятский. Все

три группы настроены по отношению друг друга недоверчиво и враждебно, тихо, полупрошепотом говорят только со своими, да и то пристав то и дело напоминает, что разговаривать неудобно. Мужичья группа по-разному посматривает на две другие: на интеллигенцию исподлобья, с враждебным недоверием, на группу начальства — с испугом, мимоходом, со вздохами. Интеллигентная группа смотрит на форменную — с насмешливой улыбкой, на крестьянскую — с задумчивой грустью. А форменная группа игнорирует обе других и выглядит именованно.

Звонок. Хаотический шум. Тишина и возглас:

— Суд идет! Прошу публику встать!

И так далее, по заведенному порядку. И вот все на положенных местах: защитники, судьи, сословные представители, обвиняемые, прокурор, секретарь, конвойные. За судейским столом — величие. На скамьях подсудимых — испуг, смешанный с изумленным любопытством: никогда не случалось быть в таких хоромах и в столь многочисленном блестящем обществе; поразевали рты, озира-

ют с изумлением потолка, стены, публику. Вместо присяжных заседателей — все наши знакомые: предводитель дворянства, тесть Павла Николаевича и отец земского начальника, генерал Замураев, в дворянском мундире, при всех орденах; замещающий городского голову, член городской управы купец Ананькин и волостной старшина, сам похожий на обвиняемого, рыжий плешивый и бородатый мужик, пугливо бегающий глазами по судейскому столу и каждую минуту готовый сказать: «Правильно», «так точно». Зато генерал смотрит орлом и сидит на отскочке от сотоварищей — Ананькина и волостного старшины. Купец Ананькин, неизвестно почему, весел, подвижен, кивает кому-то головой и играет большими пальцами сцепленных рук для времяпрепровождения. Никакой тяжести на душе не чувствует. Ему уже не впервой сиживать на этой скамье, весь порядок хорошо известен...

Начался бесконечный опрос свидетелей, разные заявления со стороны защиты, словом, никому из публики не интересные подробности и формальности. Кому в самом де-

ле интересно, когда и где родился какой-нибудь бородатый мужик с лысиной Савелий Прокофьев или курносая баба Прасковья Тютюнина? Чем занимаются? Женаты или замужем? Были ли под судом и пр.?

В перерыв осведомились у судейских, когда начнется интересное, и зал опустел.

Интересное началось только на третий день, и тогда снова зал переполнился и до конца дела уже не пустовал. Нужно только отметить проскользнувший в скучные минуты для публики и потом ее весьма удививший факт: один из защитников внезапно заболел (один, впрочем, из второстепенных, не интересных для дам), а, по его заявлению и с согласия суда, на его место вступил добровольно Павел Николаевич Кудышев, которому не удалось попасть в свидетели.

Мы с вами хорошо знаем, что и как случилось в Никудышевке! Поэтому не станем шаг за шагом описывать движение процесса. Отметим только общие характерные черты и моменты. Вся интеллигентская группа свидетелей, хотя и вызванная со стороны обвинения, производила впечатление не свидетеле-

лей, а защитников. Вся форменная группа казалась не свидетелями, а товарищами прокурора, по крайней мере, а наш приятель, земский начальник Замураев, даже упустил из виду, что он не на съезде земских начальников, а свидетель на заседании судебной палаты: заговорил о распущенности народа, о том, что его испортили разные свободы, что мужики — лентяи, пьяницы, воры, и даже начал стращать сословных представителей революцией, после чего по просьбе защиты был остановлен и деликатненько ограничен в теме показаний. Интересно и многозначительно еще такое обстоятельство: когда дело доходило до показаний и объяснений подсудимых, тяжелое и страшное дело превращалось в комедию, сопровождаемую веселым и радостным хохотом публики, что несколько раз заставляло председателя суда предупреждать публику, грозя устранением ее из зала заседаний.

Подобно тому, как нас, интеллигентных людей, удивляет и раздражает публика народных спектаклей, часто смеющаяся в самых сильных драматических местах, так здесь, в

суде, хохотала культурная публика, когда мужчины и бабы рассказывали и объясняли глубокое, значительное, драматическое души своей, часто со слезами на глазах. Образный язык и построение речи, сверкавшее для культурной публики всякими неожиданно-стями, и своя, мужицкая, логика казались такими странными и смешными, что трагедия превращалась в комедию...

Только немногие, близко знавшие и постоянно общавшиеся с простым народом, не смеялись, а слушали молча и дивились, чему публика смеется. Один из защитников, молодой и горячий, не сдержался и, когда публика засмеялась, крикнул:

— Над собой смеетесь! — за что получил выговор от председателя.

Нечего и говорить, что обвиняемые, мужчины и бабы, плохо понимали, о чем их со всех сторон спрашивали, почему хохочут, когда им хочется плакать, не понимали, кто тут их обвиняет, а кто защищает. Свой мир они резко отграничили от всего зала со всей публикой: есть они, которых судят и на которых нападают, и есть весь этот зал, полный господа-

ми, барами, перед которыми они провинились и которые их судят и грозят каторгой и Сибирью. Они порой высказывали и против своих защитников: «Неверно говоришь!» — поправляли, как говорится, на свою голову, что, конечно, тоже вызывало общий хохот.

Они за правду стоят, а господа хохочут над ними! Один из обвиняемых, рыжий лысый старик, поставил в глупое положение самого Хардина:

— Вот ты мне приказал сказывать, что я не побег за дохтурами, а остался околь барака, а я врать не хочу и вот, как перед Богом заявляю, что повинен, побег, но только когда добежал, то барина прикончили, и я уже мертвого ногой попробовал... Вот и вся моя вина! Только ногой мертвого тронул...

И опять хохот в публике: всем смешно это выражение: «ногой тронул». Смешно в душе и самому председателю, но он прекрасно тренирован для таких случаев: ни одним мускулом не покажет, что ему смешно. Самым нейтральным и спокойным тоном он спрашивает:

— Вот ты ногой тронул, другой колом по-

трогал, третий легонький толчок в спину дал, то есть тоже потрогал, а барин и помер! Если нога в хорошем сапоге с гвоздями, так можно так тронуть, что человек сразу Богу душу отдаст...

И снова в публике смех, а лысый старик недоуменно озирается и крестится:

— Вот как перед Богом сказать: у меня и сапог-от года три не было, в лаптях ходим!

Ничего смешного, а все смеются. Старик разводит руками и садится. Насмешила одна баба.

— Что скажешь? В барак ворвалась? Не отрицаешь?

— Ну так что ж? Была там, с народом...

— Дверь ломала?

— Да чего ее ломать-то! Пихнул Лукашка ногой, и кончено!

— А ты ему помогала?

— Я позади его, Лукашки, стояла, а как народ попер, так и я Лукашку должна была придавить... Кабы ты сам, ваше благородие, тут стоял, так и с тобой так бы вышло!

Смеются.

— Лукашка на дверь, ты — на Лукашку, на

тебя Гришка, на Гришку — Микишка, — вот дверь и высадили... Так?

Все в публике вспомнили сказку про «Репку» и засмеялись, а баба свои права отстаивает:

— Я не для разбоя прибегла, а чтобы свою Агашку забрать. Нет такого закону, чтобы от матери с отцом дите отымать! Небось ни одного господского робенка в барак не посадят, а от нас силком отымают... По правде судите!

В голосе — дрожь, в глазах — злоба на всю публику. Притих весь зал... А баба завывала и закричала с истерикой:

— Не перед вами, а перед Господом я за свое дите отвечаю! Кабы не отобрали бы мое дите, так и жива бы осталась, а пожила в вашем бараке, и нет ее больше... Вы уж и меня туда же!., там Господь меня рассудит!..

Председатель старается оборвать обличение, но баба не унималась. Председатель объявил перерыв заседания, потому что на скамье обвиняемых повели себя ненадлежащим образом: другие бабы завывали, а мужики стали кричать:

— Верно, верно она сказывает!

И так продолжалось три дня: то смешно, то жутко. На четвертый день речи начались.

Павел Николаевич, который первым из защитников должен был выступить с речью, растерялся: точно прокурор подсмотрел сделанный Павлом Николаевичем конспект своей будущей речи и предусмотрительно опроверг все те защитительные доводы, которые были намечены Павлом Николаевичем — малоземелье, нужда, темнота, голод, бесправие. Обо всем этом прокурор сказал в своем вступлении. Сказал тепло, с сочувствием, с жалостью. Когда он говорил это вступление, можно было подумать, что говорит не прокурор, а защитник. «О чем же я-то буду говорить?» — растерянно соображал Павел Николаевич, а прокурор, поскорбев о несчастных, спросил вдруг громче, чем говорил вступление:

— Пусть все это так: и бедность, и голод, и малоземелье, и необразованность. Но следует ли отсюда, господа судьи и сословные представители, что мы должны мириться с разгромами экономий, барачков, казенных учреждений, с сопротивлением государственной власти прямым и косвенным? Мыслимо ли суще-

ствование государства, если государственные законы будут игнорироваться ста миллионами темного народа? И действительно ли наш народ настолько темен, чтобы за тысячелетие нашего государства считать себя безответственным за такие преступления, как убийство своих сограждан и уничтожение таких учреждений, как больницы, аптеки, медицинские пункты по борьбе с государственным бедствием? Почему, однако, темный народ не громит тех учреждений, правительственных и частных, которые работают по борьбе с голодом? Я, господа судьи и сословные представители, согласен даже с выступавшими здесь от интеллигенции свидетелями: мужик — плохой гражданин, за тысячу лет государственной жизни не научился гражданской ответственности. Но что же отсюда следует? Освободить от законной ответственности? Но не значит ли это усугублять темноту правового сознания мужика?

Тут досталось всей «идейной интеллигенции», революционерам, либералам. А затем прокурор перешел к фактам свидетельских показаний, следственному материалу, разо-

брал по косточкам обвиняемых, распределял их на три группы по степени важности и активности преступных действий и потребовал в общей сложности 20 лет каторги, 16 лет арстантских рот, 6 лет тюрьмы. От обвинения двух несовершеннолетних и второстепенных преступников прокурор благородно отказался, зато еще раз напомнил, что там, где идет вопрос о законных устоях государственности, жалость и слабость неуместны.

Начались речи защитников. Речь Павла Николаевича с интеллигентской точки зрения была самой блестящей. Отложив уже ненужный теперь конспект, Павел Николаевич пустился в далекое плавание на всех народнических парусах. Начал с момента освобождения крестьян, не сделавшего мужика равноправным со всеми гражданином, проследил всю крестьянскую политику двух царствований, не увеличивших, а убавивших в крестьянстве сознание гражданственности, причем уже дважды получил предостережение со стороны председателя, после чего поплыл осторожнее. Кто и как учит народ законности и правосознанию? Тут досталось

всем властям предержащим, в особенности же земским начальникам, подающим пример беззакония. Тут речь его и кончилась, потому что в публике раздались аплодисменты, а председатель сделал оратору третье предостережение, с которым кончалось право Павла Николаевича продолжать речь. Вышло очень эффектно и выгодно для самого Павла Николаевича, ибо он был близок к замешательству: выговорился уже.

Когда говорил Павел Николаевич свою речь, судьи сидели нахмурившись, морщились и часто перешептывались, после чего раздавалось председательское предостережение. Генерал Замураев сердито поводил белками глаз и покручивал крашеный (в черное с зеленоватым отливом) ус и пожимал плечами. Купец Ананькин хитровато поулыбовывался и был доволен: здорово он всех их хлещет! — молодчина. Ей-богу, молодчина! Под орех разделявает... Публика замерла, боялась за оратора и удивленно пожирала бесстрашного героя взорами.

Для обвиняемых эта речь была, конечно, только камнем на весах осуждения. По суще-

ству ничего не доказал, а всех гусей раздразил. Просто приятное удовольствие публике доставил. Обвиняемые его не поняли: «То за нас, то быдта против нас!» А лысый старик с упреком качал головой во время его речи, а потом, в тюрьме, говорил:

— На царя Ляксандру-освободителя жаловался... Не так, байт, сделал, что освободил... Недоволен, видишь, наш барин-то, что волю нам дали...

Речь Хардина не блистала особенным красноречием, но юридически была самой важной и содержательной. Разбил все доводы обвинения в участии своих подзащитных в убийстве. Убийство есть, но кто именно из 18 человек убил, никаких доказательств в деле и в свидетельских показаниях не имеется, а потому лучше оправдать четырех невинных, чем осудить неизвестного пятого.

Приговор был вынесен ночью: никакие доводы защиты и старания свидетелей не помогли. Пять человек — в каторгу, восемь — в арестантские роты, пятерых оправдали. Страшный бабий рев и стон огласили пустой уже зал. Публика не пришла: это уже не так

интересно...

XV

Поздно этим летом съехались в Никудышевку. По разным причинам: Павел Николаевич был завален неотложными делами и кляузами между земством и строителями железнодорожной ветки; Елена Владимировна, благополучно разрешившаяся от бремени младенцем Евгением, еще не чувствовала себя достаточно окрепшей, боялась дорожной тряски, и обе с бабушкой ждали, когда Сашенька, захватив Петю с Наташей, подъедет из Казани, чтобы тронуться в отчий дом сразу всем вместе. А детей отпустят только числу к двенадцатому июня. В Никудышевке пребывали пока только тетя Маша с мужем и радостно готовили главный дом к встрече дорогих гостей. Наскучились они оба за зиму страшно, со скуки вздорили между собою, читали «Русское богатство» и спорили, сами не зная о чем. Обленилась за зиму дворня. Она тоже привыкла к беготне и суматохе, а тут будто и делать совсем нечего. С господами тошно, а без них — скучно. Народ в Никудышевке как будто отдышался от голодной и хо-

лерной напастей и повеселее, подбробнее стал. Девки уже приносили землянику, но управительница не купила, а рассердилась: дорого просят, мол, — а вот будь сами господа — не посмотрели бы на цену, с руками оторвали бы. Они не скупаются, как «тетя Маша ихняя, которая за кажнюю копейку дрожит». Некому и курицу продать: тоже не берут. Мужики справляются:

— А что, Микита, как слышно? Когда сам-то барин приедет?

— Ничего неизвестно. К тетке Маше идите! Она заместо всех у нас.

— Это нам не подходит, — говорили задумчиво мужики и вздыхали.

Конечно, не подойдет: на ее мужа, управителя, хотят пожаловаться Павлу Николаевичу, а он, Никита, к его жене посылает. Жена мужу не судья, не наказчица. И с арендой многие тянут: надеются, что сам барин сбавит, а управитель этого сделать не может. Бабы старую барыню спрашивают: больно лечит от зубов хорошо, а энта, тетка Маша, давала капель, да что-то не помогают. Никудышевские плотники приходили: будет али нет

барин заместо пустого холерного барака школу достраивать? Всем вдруг господу понадобились, когда их не стало. Точно скупают! Все уходят озабоченными и печальными, узнавши, что не приехали и неизвестно, когда приедут. Говорят между собою:

— Не едут... Не иначе это, как обиделись за барак свой!

— Да ведь оно знамо, что обидно... А нам не обидно, што ли? Все люди, всякий свою выгоду и свою правду отстаиват...

Честь Павла Николаевича в Никудышевке была восстановлена. Один из оправданных по делу молодых мужиков, грамотный и понатершийся около умных людей на стеклянной фабрике, объяснил, что барин за них стоял и доказывал, что земли мало дали, как воля пришла, а вовсе не против воли сказывал. Которые удостоверились, а которые были в сомнении:

— Что же они сами нам свою землю-то не отдали?

Была враждебность в семьях, члены которых из-за барака и убийства в Сибирь пошли, но и та притупилась от мелочей повседневно-

ной крестьянской жизни и от примиренности: большой грех на себя взяли, человека убили, значит, и страдание надо принять, за это и сам Бог не прощает, а не то что люди.

— От тюрьмы да от сумы не зарекайся!

Когда тут злобиться? Весной и поплакать-то некогда. Горит человек в работе.

Вот и в барском доме тумаша[255]: тетя Маша дом приготавливает, муж на поле либо на дворе, в сараях и амбарах, как крыса, роется либо с мужиком вздорит.

Однажды ночью, когда тетя Маша с мужем сладко спали в своем флигеле, их разбудил стук в окошко. Послушали — Никитин голос хрипит.

— Что он там?

Набросил на плечи Иван Степанович старенькое пальтишко, в темные сенцы вышел:

— Ты, Никита?

— Я самый.

— Что случилось?

— Приехали к нам господин с бабочкой... А я сумлеваюсь ворота им отпереть... Сам бы вышел, барин, да поглядел! Брат, говорят, я вашему барину, а я гляжу: личность неизвест-

ная. Я обоих братьев нашего барина хорошо помню. Разя еще какой есть...

— Пришли или приехали?

— На телеге приехали. Мало ли всякого шатущего народа теперь... Боюсь пустить. Ворота у меня на запоре. Ждут они.

Усомнился и Иван Степанович: один брат, Дмитрий, только в прошлом году с каторги на поселение вышел и живет теперь в Иркутской губернии, другой, Григорий, третий год без вести пропадает. Никакого письма не было и вдруг...

Посоветовался с тетей Машей: велела одеться и с фонарем к воротам выйти посмотреть сперва, а на случай в карман револьвер захватить. Встревожилась и тетя Маша. Засветила лампу, наскоро оделась, вся в любопытной тревоге. Что за история? Осталась ждать.

Подошел с фонарем в руке к воротам Иван Степанович. Никита там уж, через решетку переговаривается. Посветил Иван Степанович через решетку: баба в телеге, около телеги — никудышевский мужик, у ворот — господин незнакомый: с головы будто интелли-

гент, а дальше не то мещанин, не то приказчик. Борода, щеки в кучерявых волосах, усы. Совершенно незнакомое лицо!

— Кто вы такой и по какой надобности? — строго и негостеприимно спросил Иван Степанович, а фонарь на лицо незнакомое навел.

— Да нешто, дядя Ваня, ты не узнаешь меня? — спросил незнакомый, сверкнул кроткими большими глазами и показал белые зубы в улыбке.

И в этой улыбке было столько близкого и знакомого для Ивана Степановича, что он радостно воскликнул:

— Гришенька? Ты? Господи Боже мой!.. Не узнаешь тебя, родной мой!

Никита тоже теперь признал по голосу и бросился отворять ворота. Тоже обрадовался:

— Вот ведь как оно! За покойника считали, а он тут стоит!.. Чудны дела Твои, Господи!

Раскрылись ворота. Григорий с дядей Ваней трепыхались в судорожных объятиях и чуть не попали под въезжавшую телегу.

— Ах, Боже мой!.. А мать твоя все слезы давно выплакала... Что ж ты третий год весточки матери не дал? И не грех тебе...

— Так уж вышло... Потом сам поймешь...

Иван Степанович думал, что сидевшая в телеге женщина с мужиком обратно со двора выедет. Смотрит, а женщина тоже слезла. Спросил дядя Ваня Гришу на ухо:

— А это кто же, женщина-то?

— Жена моя, дядя! Вот познакомься, Лариса!

Подошла женщина в платочке, одетая во что-то среднее между городом и деревней, кивнула головой и сверкнула огромными карими глазами под тонкой бровью в лицо Ивану Степановичу. Только глаза и заметил пока Иван Степанович и подумал: «Глазастая!» Но почувствовал смущение: сразу видно, что из простого звания. Открытие совершенно неожиданное и чреватое всякими осложнениями в благородном семействе. Но какое ему дело? Сам он, Иван Степанович, этих словных предрассудков не придерживается и свое уважение к человеку этой меркой не меряет, а потому:

— Милости прошу к нам! Лариса, а... по ба-
тюшке?

— Петровна!

Прихватили вещи: старый чемодан, узел с подушками и одеялами, еще два мешка и сундучок окованный, — и пошли за Иваном Степановичем во флигель, в окно которого с удивлением смотрела давно уже тетя Маша. «Никак к нам потащил», — сердито подумала она и пошла навстречу с недовольным лицом. Не любила тетя Маша беспорядку в жизни и ночных гостей. И вдруг:

— Машенька! Гришенька вернулся!

«Гришенька!» — несется радостное восклицание в раскрытую дверь.

— А вы-то, тетя, узнаете меня?

— М-м-м! — выпустила тетя Маша и кинулась прыжком на Гришеньку. Поцелуй молчаливый, долгий, со слезой.

А Иван Степанович:

— Вот и правда моя: я всегда говорил, что твои карты, Маша, врут! А это — жена Гришеньки, Лариса Петровна!

Тетя Маша скрыла удивление, но в голосе сразу прозвучала растерянность.

— Да, моя жена! — сказал Григорий, помогая Ларисе сдернуть верхнюю кофту.

Тетя Маша притворно обрадовалась и, по-

низив голос, вместо поцелуя взяла Ларису за плечи и потянула к лампе:

— А ну-ка я посмотрю... какая вы...

— А вы полно! Никаких узоров на мне нет! — застенчиво и конфузливо пряча свое лицо от света пропела Лариса.

— Откуда ты выкопал такую красавицу?

— С реки Еруслана, тетя... Уверяю вас... Есть такая река в России: Еруслан!

Тетя Маша засуетилась: наверное, с дороги покушать хотят.

— Ваня! Разбуди поди Палашку: пусть самовар поставит, а я вам яишенку сделаю... Какую ты, Гриша, бороду отрастил! Вот уж никогда бы не узнала...

— А у меня водочка осталась, к радостному случаю...

— Водки мы, дядя, не пьем.

— Давайте я самовар-от поставлю! Чего людей ночью беспокоить. И так уж извинения просим, что вас потревожили... — пропела Лариса, охорашивая темные волосы в толстых косах, расползавшихся под платком.

— Сам я поставлю, — говорит Иван Степанович, тыча самовар к печке.

Хозяева хлопотали с ужином, ахали, охали, бросали множество бессвязных вопросов и незаметно поглядывали на усевшихся у стола гостей. Иван Степанович удивлялся и редко-редкому неразгаданному еще случаю этого брака, и необычайной красоте молодой женщины, а тетю Машу, помимо этого, осаждали вопросы: повенчаны ли они, и где их уложить спать? Если сразу водворить в главном доме, не рассердилась бы тетя Аня, которую, конечно, очень огорчит этот странный брак с женщиной, которая, хотя и красива, но ни говорить, ни держаться не умеет и от которой, как от коровника, несет деревней.

— Ну, а давно вы поженились? — нащупывала между делом тетя Маша.

— А мы с Григорьем Николаичем убегом... Я ведь не церковная...

Тетя Маша притворилась, что не слышала этого признания, а Григорий пояснил:

— Из сектантской семьи она, Лариса... Не православная.

Тетя Маша запнулась за стул и с ласковой шутовливостью опять пощупала:

— А сам-то ты... раньше толстовской веры

придерживался, а теперь?

— Наш же он, духоборец! [256] — ответила Лариса, а Григорий вздохнул и сказал:

— Куда! Не знаю сам, какой я веры, тетя. Не в названии дело. По жизни да по делам человека узнается вера. Немало ведь на земле православных нехристей...

— Так-то так, а все-таки... Ну вот и яичница готова... Может, грех по вашей вере яйца есть?

— Можно, можно! — пропела Лариса. — Не то оскверняет человека, что в уста входит, а что оттель выходит...

— «Оттуда» — говори, Лариса, а не «оттель», — ласково поправил Григорий.

— А что, разя непонятно говорю?

Ели яичницу, пили чай с хлебом, и тетя Маша исподволь замечала все неуклюжие повадки деревенской красавицы. Григорий не замечал их, да и сам нет-нет да промахивался: то словцом, то жестом. «Совершенно опростился!» — думала тетя Маша и чувствовала неловкость за Григория. Мало узнали тетя Маша с мужем про жизнь Григория за время безвестной отлучки. Начал было Григорий

рассказывать про то, как он в толстовской колонии под Черным яром жил и в толстовцах разочаровался, а запели петухи, и Лариса, зевнувши, пропела:

— Батюшки-матушки, никак вторые кочета поют уж! И так глянь в окошко-то: светает уж... Вдругоряд поговоришь, надо спать укладываться...

И Григорий бросил рассказ и по-мужицки перекрестился двоеперстием. Поклонился тебе и дяде:

— Спасибо за хлеб — за соль!

— Не стоит... Сыты ли?

— Много довольны, благодарствуем! — пропела Лариса и зевнула сладко, во весь рот с красными чувственными губами и сверкавшими белизной крепкими молодыми зубами. — А где мы лягим-то?

Тетя Маша уже постлала им в первой комнате, игравшей роль приемной, на широком турецком диване. Лариса присела на диван, толстые косы ее выпрыгнули из-под сбившегося с головы платочка, и засмеялась:

— Ровно на коровьем брюхе! Инда подкидывает!

Тетя Маша засмеялась и поспешила оставить молодоженов.

Долго не спали тетя Маша с мужем: тихо, шепотком, говорили о том, какое новое горе ожидает тетю Аню и как поступить: написать ей или предоставить все течению времени?

— Нам лучше не вмешиваться, Маша...

— Не написать ли все-таки Павлу Николаевичу? Как же промолчать: приехал брат, которого считали пропавшим, а мы — ни словечка!

— Ума не приложу. Вот уж не ожидал от нашего Иосифа Прекрасного такой прыти. Как девушка красная был и женщин боялся... а тут извольте посмотреть!

— Ты понял, что Григорий украл ее? Ну а как же: она сама сказала, что убегом... Значит, без согласия отца с матерью.

— С убегом вовсе не значит, что без согласия родителей...

Заспорили, поссорились и, отвернувшись друг от друга, замолчали...

Когда на другой день они встали, в соседней комнате гостей не было. Все было чисто прибрано и расставлено по местам. Тетя Ма-

ша вышла и увидала Никиту. Тот сказал с веселой улыбкой, что молодые господа в садах разгуливают.

Любопытный Никита уже успел поговорить с приезжими, а потом и с дворовыми мужиками и бабами. Все радостно удивлены и взволнованы, шепчутся, хихикают. Как же не дивиться, не смеяться и не радоваться? — чудо дивное случилось: молодой барин, Гришенька, на крестьянке женился! Подглядывали за молодыми, искали случая лишний раз мимо пройти, на себя внимание обратить и поближе на чудо дивное поглядеть. По всему видать, что деревенская бабочка: и по разговору, и по ухватке, и по одежде...

В людской кухне точно праздник. Успокоиться не могут:

— Вот те и дворянская кровь! — говорит Никита. — Видно, наша, деревенская-то девушка, послаще дворянской оказалась!

— А ты погляди сам: король-бардадым[257], а не баба! — замечает Иван Кудряшёв, — идет, как пава плывет, глазом-бровью поведет — инда сердце упадет.

— Небось, обнимет, так все барские косточ-

ки затрещат!

— Отколя такую кралечку вывез он?

— Теперя и нам послабже будет: своя собственная барыня есть!

Только коровница Пелагея не проявляет радости:

— Барыня! Из грязи да в князи... Залетела ворона в барские хоромы... Поиграт с ей маленько, а потом — поди, откуда пришла! Они все на свеженькое-то кидаются, а отведают и в сторону!

— А ты не каркай!

Бабенка из деревни в кухню зашла. Еще поклоны кладет перед божницей, а уж ей новость радостную объявляют:

— А у нас чудо-то какое! Слыхала аль нет, что наш молодой барин на хрестьянке обжегнулся?

— Да что ты!

— Вот те хрест! Провалиться на месте, если вру!

Через час вся Никудышевка на все лады обсуждала невероятное происшествие.

XVI

В алатырском доме уже все были в сборе.

Сашенька привезла из Казани ребят, и дважды уже начинался отъезд на дачное пребывание в Никудышевку. Но в первый раз помешала болезнь Наташи: думали, что дифтерит, все страшно перепугались, а оказалась просто ангина; а во второй раз...

Во второй раз с бабушкой первый «удар» случился, и все так перепугались, что и думать о Никудышевке перестали. Казалось, что в старом доме, где бабушка родилась, и умереть ей суждено.

Принесли почту. Павла Николаевича дома не было. Рылась бабушка в почте и нашла два письма из Никудышевки: одно на имя Павла Николаевича, а другое — на свое. Прочитала оба. Сперва распечатала свое, и с первых же строк у ней помутилось в голове от хлынувшей в душу радости: «Дорогая мама!» Посмотрела на подпись: «Блудный сын ваш Григорий».

— Гришенька! Жив! — вскрикнула, заплакала, засмеялась и, сунув за рукав оба письма, с тяжелым дыханием, путаясь отяжелевшими ногами, поползла по лестнице в свою спальню. Торопилась, словно боялась, что письма у

нее отнимут. Не хотела пока делиться радостной и невероятной тайной, а спрятаться, запереться и один на один со своей душой впитать в свое настрадавшееся материнское сердце слова, написанные рукой Гришеньки...

И вот спряталась, заперлась, легла в постель и стала читать:

Дорогая мама! Опускаюсь на колени перед вами и прошу простить меня. Это прежде всего. Я почти три года не писал вам и слышал от дяди Вани, сколько горя и страданий заставил вас пережить своим поступком. Да, родная моя, я молчал, но не думайте, что я сделал это по жестокости или нелюбви к вам. Есть в Евангелии такие слова: «Самые опасные враги — домашние твои!» [258] Это значит, что привязанность к родным, близким и любимым, привязанность к родному дому отдаляют нас от Христа и от большой и главной любви к правде и справедливости, от Царствия Божия, а не человеческого. Не думайте, что мне самому легко давался этот плотский разрыв. Бывали случаи, когда пла-

кал я в малодушии своем. Боялся я искушений по слабости своей: вот, думал я, получу от вас письмо со слезами и упреками, с призывами в родной дом, и не выдержу, и любовь моя малая победит большую. Боялся еще, что вы, родные мои, станете посылать мне деньги и тем помешаете мне жить трудами рук своих...

Вы, мама, и раньше знали мои взгляды на жизнь и на людей. Я никогда не скрывал, что мою совесть тяготит и звание, и положение барского сына, проживающего на счет незаработанной наследственной собственности, с сокрытой в ней исторической неправдой перед народом.

Не буду вам описывать тех тяжелых путей, по которым я шел искать своей правды. Искал ее в толстовстве и жил в толстовской колонии. Не нашел, чего искала душа моя. Оглядываясь, вспоминаю об этой жизни в колонии с душевным прискорбием: нигде не видал я столько ссор, дразг и обид, как в этом месте. Был я и на Афоне. В послушании. Почему я пошел туда? Живя в колонии, видел, как много сору и дразг

вносили в нашу жизнь женщины. Из-за них больше и свою веру, и свою правду в жертву дьяволу отдавали. Уйти от женщин думал. Тысячу лет не ступала нога женщины на святую Афонскую гору. Туда и пошел. Там нет земли, и нет земной правды, и люди думают, что они заживо попали на небо. С виду смирение, а под ним святая гордость, и в этой святости уже не зрят, что за черной мантией тянется попираемая правда земная. А сказано: «Да придет царствие Твое яко на небеси, тако и на земли»[259]. Был в сектантских скитах на реке Черемшане и в скитах на реке Еруслане. Тут искренно ищут и Бога, и правды и не только небесной, а и земной. Полюбились мне эти чистые сердцем люди. Долго старался я слиться с ними душою. Мешало мне в этом многознание. Поистине несть в нем спасения, и только устами младенцев по знанию Господь глаголет. И тут нашел, да поднять не мог. Тут надо крепко верить, что не солнце вокруг земли, а земля вокруг солнца ходит, а я не сумел в это поверить... и пошатнулся. И пошатнувшись, мама,

упал я. Долго и не нужно рассказывать вам об этом. Скажу кратко. Встретил я на путях своих женщину и не поборол слабости человеческой. Полюбил ее. Знаю, что и тут принесу вам горе и страдание, но не хочу скрывать от вас правду: я соединил свою жизнь с девушкой из одной сектантской семьи, простой неученой девушкой, и счастлив, мама, с ней. Мама, вы — столбовая дворянка, но вы еще христианка. Вспомните, что не из высшего сословия Христос избрал первых учеников своих, а из неграмотных и бедных рыбаков. Вспомните и смирите свою гордость и благословите наше счастье. Сейчас мы с женой в Никудышевке, поселились пока во втором старом флигеле и помогаем дяде Ване. Как мы думаем устроить свою жизнь, пишу брату Павлу, а пока целую ваши руки и жду вашего решения.

Ваш блудный сын Григорий.

Мать медленно читала строки письма, обрывала, опускала руку с письмом и плакала: — Бедненький, мальчик мой! — шептала, глотая слезы, и снова принималась читать.

Но вот насторожилась, села в постели: проженщину пишет Гришенька... Дочитала, и выпало из рук письмо. Схватила руками за виски: — Ну вот... дожили!.. Привез в дом деревенскую бабу и мать Христом тычет! Что же это такое? За что же все это мне, Господи? Вот моя радость...

Прибежала впопыхах Наташа:

— Бабуся! Обедать! Ты плачешь? Что случилось? — раздался голос за дверью.

— Оставьте меня в покое! — закричала бабушка, и понесся истерический вопль.

Повскакали усевшиеся уже за стол члены семейства, и загремели стулья, раздались тревожные вскрики. Побежали наверх к бабушке: стонет длительным стоном и не отвечает на просьбы отпереть дверь. Прибежал только что вернувшийся домой Павел Николаевич, торопливо вбежал по лестнице за Наташей и коленом вышиб петлю крючка. Бабушка лежала на ковре. Около нее валялись письма: распечатанное и в конверте.

— Петя! Беги в земскую больницу за доктором! Пусть немедленно же, с тобой! Если в больнице нет — на дом...

— Я знаю...

Позвали прислугу и перенесли грузную и тяжелую бабушку в постель. Она медленно стонала и не приходила в сознание. Освободили богатырскую грудь бабушки от всех уз. Положили на голову холодный компресс. Суе-тились, сердились друг на друга и на прислугу. Наташа, забившись за дверь, потихоньку плакала. Привез Петя доктора. Всем стало легче. Клизма! Лед на голову! Полный покой!

Только к вечеру бабушка отдышалась и пришла в полусознание. Всю ночь в доме не спали. Петя на побегушках, Наташа молилась за бабушку. Сашенька неотступно дежурила около постели.

К утру бабушка пришла в полное сознание и крепко заснула. Сильно храпела, и Петя сбегал в больницу и спросил доктора, хорошо ли это, что бабушка храпит.

— Отлично! Не беспокойте! После больницы заеду.

Перестанет бабушка храпеть, опять страшно: дышит ли? не умерла ли? Сашенька слушает пульс и успокоительно кивает головой.

Письма подобрал Павел Николаевич, но не

сразу вспомнил о них в суматохе и тревоге. Только когда опасность миновала и стало понятным, что говорит бабушка, он вспомнил и прочитал оба письма.

Вот что писал Григорий в письме к старшему брату:

Дорогой брат, Павел Николаевич! Свершивши круг долгих блужданий одиноким путником, вернулся я в наш отчий дом, не найдя, чего искал, но уже не один, а с женою. О своих блужданиях не буду говорить: думаю, что тебя они особенно интересовать не будут, ибо ты всегда был по отношению меня скептиком и в юности называл меня «никудышевским философом». А если есть к этому любопытство, все узнаешь из моего письма к матери, которое посылаю одновременно.

Я не знаю еще, куда поведет меня в будущем путь жизни, но сейчас душа моя в великом хаотическом смущении пребывает, и решил я, как на долгом привале в пути жизненном, остановиться в родных местах. Не хотел я беспокоить маму, и очень трудно мне, так далеко отошедшему от ее душев-

ного мира, говорить с ней, ибо и слова надо подбирать и взвешивать, и за каждую фразу следить, чтобы не причинить ей боли или не обидеть ее взглядов и правил жизни. А дело в этом смысле очень щекотливое. Хотя и с тобой мы люди совсем разные, но нам легче мириться с несходством наших воззрений на жизнь, на ее цель и пр. Ты — защитник свободы совести, а потому без обид спокойно встретишь и обсудишь мою просьбу, или, вернее, мое предложение.

Мне нужен земельный крестьянский надел средней величины: 3–4 десятины. Купить такой кусок земли мне не на что. Заарендовать на стороне невозможно: мешает клеймо бывшего политического арестанта, сживут со свету власти, если кто-нибудь из помещиков согласится даже отдать мне кусок земли. Вы с мамой сдаете землю крестьянам в аренду. Оставьте и за мной такое право и на тех же условиях арендной платы. Чтобы не быть конкурентом крестьянам, я прошу отдать мне новый, никогда еще не обрабатываемый участок: большую

лесную поляну, примыкающую к парку с восточной стороны имения вашего, вдоль проходящей здесь дороги на Замураевку. Мы с женой осматривали места и облюбовали эту поляну. От вас в стороне, не на виду, есть вода — ручей из прудов, не потребуются тяжёлого труда по корчевке. Рассчитываю, что лесу на постройку избы со службами вы нам дадите в кредит, с рассрочкой уплаты на пять лет арендного срока. Деньги на первоначальное обзаведение хозяйственным инвентарем у нас с женой найдутся, а в кредитоспособности не сомневайся: я хороший столяр, кузнец, слесарь и сапожник, а жена моя Лариса Петровна — женщина работающая, хорошая хозяйка, не боится никакого труда, огородница и рукодельница. Хотим сделать пристань хотя бы на пять лет, а там видно будет. Вот это есть наша просьба и предложение. Я отлично понимаю, что жить нам в общем доме нельзя из-за того, что жена моя — простая крестьянка. Для вас, да и для нас — дело неподходящее. И так болит сердце за маму, которая, конечно, при своих

взглядах, примет мой брак и мое счастье за несчастье и оскорбление своего дворянского достоинства. Ты, как я знаю, не страдаешь этими сословными предрассудками, а потому я и пишу о своем деле тебе.

Помоги делу по-братски, успокой маму и найди в разговоре с ней такие слова, чтобы не разгорелась в ее душе обида на меня и на мою жену, ни в чем не повинную. Главное тут еще в том, что я прошу землю в аренду за плату. Вот это может оскорбить мать, и тут я надеюсь на твой ум и твою тактичность, которой совсем не имею.

Слышал от дяди Вани, что скоро вы все собираетесь двинуться в отчий дом. Постарайся все выяснить и разрешить вместе с мамой до вашего приезда, а мне напиши о решении. Кто знает? Может быть, мама так воспылет гневом, что лучше нам и не видеться? С волнением ожидаю решения и письма твоего, а пока целую тебя по-братски и посылаю поклон от жены. Твой брат Григорий.

Павел Николаевич прочитал письмо,

встал и стал мерить шагами свой кабинет.

— Гм! — по временам выпускал он из-под усов. Садился в кресло, курил и снова вскакивал. Такая, казалось бы, простая задача на все четыре действия, а не знаешь, с какого конца подойти к ее решению. Лично для Павла Николаевича тут нет, конечно, ничего мудреного: пусть его! У всякого барина своя фантазия. Но вот с матерью... с ее заскорузлыми, застывшими, закостеневшими понятиями? Тут вопрос весьма сложный и действительно щекотливый...

Поговорил с Леночкой.

— Сын, родной сын, просится в арендаторы?! Ради Бога, не говори об этом бабушке! Да ее новый удар хватит... Дайте ей поправиться. Пусть пока живут в старом флигеле... Хорошую партию сделал твой братец!..

Поссорились.

Уже все в доме знали о чрезвычайном событии. Только бабушке и Елене Владимировне оно казалось трагическим. Павел Николаевич усматривал тут комическую гримасу жизни и, сохраняя серьезное лицо, тайно предвкушал будущий веселый фарс в дворян-

ском доме. Сашенька отмалчивалась, но в глубине души была всецело на стороне Григория, который от женитьбы на простой крестьянке в ее глазах только возвысился. Сашенька на курсах уже успела набраться вольного духа и отрешиться от многих предрассудков своей дворянской провинциальной среды. Ребята, такте не осуждали, а просто радостно изумлялись:

— Знаете что? Наш дядя Гриша на бабе женился! Ей-богу! На бабе! — сообщали они в первую голову гостям...

Как-то зашел бабушкин любимец, отец Варсонофий, тот самый, которому Павел Николаевич подарил пару йоркширских поросят. Конечно, дети и этого гостя встретили в передней сообщением животрепещущей новости о дяде Грише. И тут услышавший из кабинета разговор детей с гостем Павел Николаевич перехватил отца Варсонофия и надолго заперся с ним в кабинете. Павел Николаевич нашел совершенно неожиданный подход к разрешению трудной задачи с помощью отца Варсонофия. Посвятил его во все подробности раскрытой уже ребятами тайны, признался,

что болезнь матери стоит в связи с этим семейным событием, и сперва повел разговор о ценности человека вообще, потом о влиянии христианства на этот вопрос, и все в приятном для отца Варсонофия духе:

— Совершенно правильно! Для Господа Бога все люди равны в своей ценности и несть бо ни элин, ни иудей![260]

— Вот вы, батюшка, и убедите мою мать, что бывает и так, что жена-дворянка, да не радоваться, а плакать приходится, и что жена-крестьянка может быть чище и выше перед людьми и Господом, чем дворянка...

— Да ведь не Господь, а мы, грешные, всех людей поделили по одежке да знатности и богатству, а Христос-то рыбарей к себе призывал...

— Именно, именно. Так убиваться, чуть не помереть оттого, что сын на крестьянке женился! Пожалуй, чего доброго, проклянет вместо благословения...

— Избави, Господи, помилуй нас!

— Так вот моя покорнейшая просьба к вам, отец Варсонофий! Наставьте в истине мою старуху! Только вы и можете вернуть ей здо-

ровье и спокойствие. Доктора тут бессильны с лекарствами...

— Тут доктора ничего не могут... Я понимаю... Постараюсь, Павел Николаевич, и верю, что Господь поможет мне в этом деле. Я собственно и пришел проведать почтенную Анну Михайловну... об ее драгоценном здоровьи... Услыхал, что прихворнула, и вот...

Часа полтора просидел отец Варсонофий у постели выздоравливающей бабушки. Заперлись. Горничная подумала, что исповедуется бабушка. Дети перепугались.

А отец Варсонофий спустился вниз с радостным лицом и, прощаясь с Павлом Николаевичем, подмигнул и бросил словцо:

— Сделано! — обернулся к двери и добавил: — Волею Божиею смирилась!

Еще раз кивнул головой, улыбнулся добродушно-ласковой улыбкой и исчез.

Перед сном Павел Николаевич зашел проститься с матерью, спросил о здоровье.

— Слава Богу, лучше... Вот что, Паша... Возьми там икону Спасителя... Пошли Грише от меня... Бог с ними! Я им не судья. Пусть живут как хотят, по-своему. Напиши, что про-

цаю и желаю счастья...

XVII

Не без оснований бабушка Анна Михайловна назвала свой отчий дом «никудышевским зверинцем». Вот теперь этот зверинец пополнился еще одним новым и редкостным для дворянских гнезд зверем. Я говорю о подруге жизни Григория Николаевича Кудышева, Ларисе Петровне Лугачёвой.

Не сразу раскрылось, что это за зверь и какой породы. Но по ходу повествования нам приходится воспользоваться теми отчасти фактами, отчасти слухами, которые раскрылись лишь с течением жизни, чтобы теперь же знали, каким экземпляром обогатился «никудышевский зверинец».

Родом Лугачёвы с вольных степей Дона, из казаков, в смутное время государства Российского, когда искоренялись всякие засорившие православие ереси, перебежавшие на восток, за Волгу, к рекам Черемшану и Еруслану. Весь род Лугачёвых был исстари еретическим: искал Бога по разным путям и дорогам вне православия и государственной церкви. Ныне Лугачёвы принадлежали к весьма распростра-

ненной и правительством преследуемой секте «Нового Израиля»[261], разделявшейся на несколько «кораблей»[262], но одинаково именующих себя «духоборцами». Православные люди, стоявшие далеко от сектантских кругов и тайн, даже духовенство, боровшееся с ересями, не говоря уже о полицейских властях, духовенству в этих случаях усердно помогавших, плохо разбирались в сектантских учениях и тайнах, валили все «корабли» в одну общую кучу с вульгарным названием «хлыстов»[263] и верили всем гадостям, которые возводились на голову сектантов, от чего несведущему человеку эти люди казались развратниками, кощунниками, злостными обманщиками, половыми психопатами и т. д.

Григорий Николаевич, близко стоявший к этим сектам и сам, по-видимому, одно время поблуждавший по этой дорожке, не любил по этой части откровенничать, но все же, возмущаемый ходячими по адресу сектантов сплетнями грязного характера, иногда не выдерживал своего молчания. Вот что небольшое мы могли бы узнать о том «корабле», к которому принадлежала Лариса, а может быть, и сам

он.

Мир погряз во грехах, отошел от Христа, исковеркал Евангелие. Церковь утратила Благодать Божию, данную ей некогда Святым Духом через апостолов. Церковь на службе у правительства и у богатых людей. Дух Святой давно отошел от церкви и церковнослужителей, сделавшихся просто чиновниками, а не слугами Христа. Но Дух Святой, Благодать Божья, уйдя из церкви, не ушла с земли, а почиет на особых избранниках, людях праведной жизни и праведных дел, которые не только говорят «Господи, Господи!» и поминутно крестятся, а и творят волю Господню примером собственной жизни и добрыми делами...

Сектанты, о которых идет речь, в поисках спасения и праведной жизни среди греховного океана жизни, воссоединившись братскими общинами, плывут на духовных кораблях. Корабли эти стремятся повторять общину Христа с учениками. Христос, по их учению, называется сыном Божиим не потому, что он сын Бога, а избранный Богом человек, на котором почил Дух Божий. И в наше время отошедшая от церкви благодать, Дух Божий, мо-

жет почитать на избраннике, и тогда явится человек, современный живой Христос. Христос не тот, о котором идет речь в Евангелии, а другой. Не с большой, а с маленькой буквы! Такой христос может явиться в каждой общине, в каждом корабле. И когда такой явится, то повторяется вся земная жизнь Иисуса Христа: апостолы, Петр, Иоанн, Богородица, старец Иосиф и так далее. Тут творится Евангельская мистерия, а не кощунственное самозванство. Бывает таким образом в общине свой Христос, апостолы, божья мать и так далее, смотря по степеням заслуг, характеру, роли в общине. Все такие избранники почитают себя и другие их тоже — святыми, ибо на них почил Дух Святой. Сектанты таким путем стремятся к правде Божией на земле, приближению к Евангельскому Христу и Его жизни на земле. Но человек всегда остается святым лишь в своих устремлениях, а в жизни даже и святые праведники не чисты от греха, тем более простые, мало просвещенные люди, для которых наши знания и наука — книга за семью печатями и которые всю мудрость почерпывают только из Библии, Еван-

гелия и творений Святых Отцов да Четьих-Миней.

— Ну, а хлыщут друг друга? Свальный грех бывает? — спросил скептик-интеллигент Григория Николаевича, когда он рассказал, что написано выше.

Григорий Николаевич поморщился и ответил:

— А вам известно, что в древней христианской церкви толпа экзальтированных верующих кружилась вихрями, подобными пляске? А не плясал царь Давид в моменты вдохновенного пения своих псалмов? Теперь нам с вами, конечно, все это кажется и смешным и кощунственным...

— Ну а все-таки?

— Бывает и тут религиозный экстаз, так называемая пляска в Духе. Это не пляска в подлинном смысле, а кружение в экстазе, вдохновенность, признаваемая взыгранием почившего Духа Святого...

— Ну а свальный грех?

— Да неужели вы верите в эту клевету, распускаемую попами и полицией! Повторяю, что люди — везде и всегда люди. Разве у хри-

стиан-католиков не бывает случаев уклонения религиозного экстаза в область религиозно-половой психопатии? Вспомните брюлловскую картину[264]: изображена молодая спящая монахиня, и снится ей, что изображение Христа, висящее над ней на стенке, украшается бравыми усами красивого любовника!

Вот все, что рассказал Григорий Николаевич в редкую минуту откровенности. Откровенности, как сами видите, очень сдержанной.

На несчастье Григория Николаевича, избранница его, Лариса Петровна, как живая иллюстрация святых намерений «корабля», на котором плавала в океане грешного мира, совершенно не подходила. Возможно, что это был как раз пример тех уклонений в человеческие слабости, о которых говорил сам Григорий Николаевич.

Очень уж была красива, красива чувственно, и уж очень палило от нее грехом человеческим. Если легенда о перевоплощениях души человеческой не сказка, то нет никаких сомнений, что некогда, в веках прошлого, Лариса плясала в хороводах Вакха[265], прини-

мала участие в религиозных оргиях в честь Астарты[266] или Венеры Лесбийской[267] либо была степной кобылицей в степях скифских.

Грех земли, грех буйной первобытной страсти бытия, скованный и укрощенный веригами христианской морали...

И в пьяных, немного бесстыжих глазах, и в истомной потяге, и в красных чувственных губах, в смехе, в походке вперед богатырской грудью — везде только палящий душу грех, а совсем не святость!

Но вот поди же! Несомненно, что сама она искренно верит в свою если не святость, то в кандидатство на нее, верит в возможность наития Святого Духа. Наизусть знает все Евангелие, морит себя постами, изнуряет плоть свою тяжелыми физическими работами, которые впору разве здоровенному мужику. И удивительнее всего, что не худеет, а только больше пылает и глазами, и грудью, и смехом.

— Чертова баба! — подумал однажды вслух дядя Ваня, любуясь издали таскавшей доски Ларисой.

На что уж он, дядя Ваня, давно вступил по возрасту в пределы святости, а все-таки нечто греховное почуял в телесах своих и почесал свой плешивый затылок.

Да и вообще весь наличный состав мужского пола в доме и на дворе чуял то же, что бедный дядя Ваня. И Лариса чуёт свою женскую власть, но, вероятно, приписывает её своей близости к небесам и тайно пребывающему в ней Духу Святому, а в окружающих мужчинах видит грешников, жаждущих облечься в ризы праведные: очень уж смотрят с почтением и удивлением!

И разговор в свободное время у Ларисы божественный больше, и руки на груди по-божественному сложены, и платочек как на кейнице. А палит грехом смертным! Палит из масляных глаз, от красных губ, поминутно облизываемых при разговоре, от контральтового голоса, от вздымающей тряпье груди. И кажется временами, что вся святость этой молодой женщины земли — ложь, притворство, хитрость бесовская.

Однако тому, кто впал бы в сомнения и попытался путем опыта проверить свои иску-

шения, пришлось бы наткнуться на страшный гнев Божественный и убедиться в ошибке своей. Не буду передавать вам наименование такого Фомы неверующего, но скажу, что такой был уже и пришлось ему смиренно и сконфуженно сказать:

— Прости, Лариса Петровна! Бес попутал.

Опустила глаза Лариса в землю, только укоризненно вздохнула всей грудью.

— Бог простит! — сказала и успокоила: — Пройдет это с тобой... Промеж нас останется. Иди с миром!

Но не будем предупреждать событий. Пока Лариса остается для нас таинственной незнакомкой, только что появившейся вместе с Григорием Николаевичем в отчем доме. И видели ее пока только тетя Маша с мужем да дворня и никудышевские жители. Дядя Ваня не доверяет ее святости, но посматривает частенько на нее не без изумленного восхищения (мужского, конечно), а тетя Маша говорит: «Жох-баба!», Никита называет: «Король, а не баба», а Иван Кудряшёв — «бардадым!». Никудышевские бабы не наглядятся и называют «нашей барыней», гордятся ею:

— Эта в обиду не дастся! И на голос, и на язык неуступчива.

Пришло два письма из Алатыря: дяде Ване и Григорию Николаевичу. Слава Богу, все обошлось благополучно. И землю, и лесу Павел Николаевич согласился дать, да еще и распоряжение дяде Ване сделал: отдать брату всю заготовку бревен и досок, что была предназначена на достройку школы, открытие которой власти нашли ненужной. «Если брат захочет, может разобрать и самую школу, перенести ее на свое место. Мне надоело сражаться с дураками под предводительством нашего земского начальника Коленьки Замураева!» Мало того, Павел Николаевич разрешил брату пользоваться в свободное от хозяйственных работ время лошадьми.

Повеселел Григорий Николаевич, а Лариса точно хозяйкой на барском дворе себя почувствовала и повела. Бегала в Никудышевку школу смотреть, с мужиками и бабами запросто погуторила. Мужики и бабы рады, что приезжая новая молодая барыня думает от них школу убрать:

— Бог с ей, со школой! Еще не открыли, а

греха с ей не оберешься... Так же было вот и с баней... Мы тебе ее, Лариса Пятровна, помощью в один дух разберем и куда хочешь поставим! А ты нам ведра два водочки поставишь...

— Сама водки не пью и другим не подношу. А сколько два ведра стоят, деньгами дам, а вы уж как хотите, так и празднуйте.

Ивана Степановича дяденькой, а тетю Машу тетенькой называет, Никиту — Микитушкой, Кудряшёва — Ванюшкой. Шутит с ними, подсолнухами угощает. Всю дворню пленила лаской да шутками.

Закипела работа и на дворе, и на облюбованной полянке за парком, и в Никудышевке. На дворе Григорий работает, доски тешет, пилит, звенит топором — изумляет своим мастерством всю дворню.

— Вот те и барин!

Лариса бревна и доски со двора на свой участок на барских лошадях перетягивает. Никита помогает. В Никудышевке школу разбирают. И везде делают свое дело проворно, весело, с шутками. Только звон и стук идет!

Отец Варсонофий помог Анне Михайловне смириться, утолить свою печаль кротостью Святого Страдальца, который и распятый молился за распнувших Его. Она приняла свершившееся как новое ниспосланное ей Господом испытание. Простила сына заблудшего, но не сделала пира радостного по случаю его возвращения в отчий дом, как бы оно следовало по притче Евангельской[268].

— Пусть живут как хотят! Бог с ними.

Не могла понять и не могла простить до конца. Гордость сатанинская только притаилась в испуге перед отцом Варсонофием, спряталась от самой бабушки. Но прошло три дня, и она снова, как змея, зашевелилась в душе человеческой и стала сосать сердце материнское. Переломилась душа: любовь материнская тянула ее в Никудышевку. Пять долгих лет не видала Гришеньки, своего любимца, почитала его погибшим, а он воскрес из мертвых. Но почему он сам не поспешил в объятия матери? Знает, что она больна, и не боится потерять ее, прежде чем они свидятся! А был такой ласковый, нежный, почтительный, скромный, чистый, непорочная девушка... и

называли его в отчем доме когда-то Иосифом Прекрасным.

И тут вставала на путях воспоминаний и обрывала их деревенская «баба», на любовь к которой сын променял любовь матери и честь дворянского рода. Ненавистна делалась ей эта баба, которой она никогда не видала...

— И не хочу ее видеть... — шептала бабушка, — уйду в монастырь...

Не Христос смиренного всепрощения, а гордость сатанинская рождала в ней... мысли о монастыре. Она даже и монастырь уже наметила в мыслях своих: Желтоводский Макарьевский[269], на Волге. Была она там однажды, и очень ей там понравилось. Позади лес, впереди водная ширь и гладь Волги и высокие горы, и звон колоколов, очень уж печальный, точно из веков далеких доносится...

Непрестанно боролись любовь с гордостью, и гордость победила.

Елену Владимировну с ребенком и няней Павел Николаевич решил отправить на лето в Крым, — все что-то плохо поправляется после последних родов.

— Может быть, мама, и вы поедете с Ле-

ночкой? Вам бы тоже не мешало отдохнуть около моря.

— Не в Крым, а в монастырь мне надо... жизнь доживать.

Павел Николаевич поморщился. О монастырях он был общеинтеллигентского мнения: они набиты лентяями и лицемерами обоюго пола, ловко эксплуатирующими народное невежество и суеверия. Коротко и ясно.

— Вы полагаете, что в монастыре попадете под крылышко святости?

— Нет, не думаю. Я и сама не святая. Не здоровые, а больные нуждаются в святом пристанище. Ваша двоюродная бабка, княгиня Марья Алексеевна, в молодости большая грешница была, а умерла в монастыре. И все свое состояние в монастырь отдала...

Легкий испуг шевельнулся в душе Павла Николаевича. Не от корысти, а просто от мысли, что мать может так глупо распорядиться имением. Он-то проживет, ему наплевать, но есть другие, есть внуки, а главное — очень уж досадно лености и тунеядству покровительствовать...

— Моя двоюродная бабка поступила весьма глупо: монастырь, конечно, никаких добрых дел с помощью ее земельного дара не творит, а сдает землю втридорога мужикам, а монахини жиреют...

— Да ведь у вас нет ничего святого!..

— Бог дал нам голову и руки: работай во благо Господу, себе и ближним. Все в монастырь уйдем, так работать будет некому.

— Да ведь люди, Павел, не из одного брюха сделаны. Я, слава богу, потрудились и на себя, и на вас всех.

Павел Николаевич пожал плечами:

— Так-то оно так, а все-таки без пищи, как установлено наукой, обойтись тоже невозможно. Даже этому пророку... как его?.. Илье! Так и ему понадобился ворон, чтобы таскать пищу[270].

— Какой ты циник! Оставьте меня в покое...

Надо сказать, что Павел Николаевич, как и вообще вся наша передовая интеллигенция, любил иногда побогохульствовать. Настоящим атеистом он не был, от церкви и православия не отпадал, раза два-три по собствен-

ной инициативе посещал храм Божий и несколько раз в году представлял перед Господом от земских учреждений на молебнах и панихидах в разных торжественных случаях, но, в сущности, вопрос о Боге он еще в юности отложил в сторону и никогда уже им особенно не занимался и совершенно не интересовался тем, что будет с ним после смерти. Праздный и пустой вопрос. Тем не менее, ни с Богом, ни с церковью Павел Николаевич не воевал, никаких обрядов и таинств не отвергал, раз в год говел и причащался, во все кружки и тарелочки клал, даже и свечи перед образами возжигал. Исполнял все это, как дань известной социальной корректности, приличий. «Пустая вещь галстук, а без него обойтись все-таки нельзя в обществе!» — говорил он. Бог, церковь, религия — все это было для него неизбежными условностями социальной жизни и общения, и то внимание, которое Павел Николаевич уделял Господу, напоминало тот поклон с напускной приветливостью, которым обмениваются при встречах малознакомые и часто мало уважающие друг друга горожане. Павел Николае-

вич, как и все передовые люди своего времени, стоял за полную свободу религиозной совести, но свобода эта была весьма несовершенная: относясь очень почтительно к религиозной совести всяких иноверцев, Павел Николаевич совершенно не церемонился со своей верой, своей церковью и своим духовенством. Над «своими» допускалось, довольно злое порой, издевательство, не говоря уже об игривых остроумных шуточках. Стоило очутиться Павлу Николаевичу в веселом подвыпившем и сытно покушавшем мужском обществе, как сейчас же начинались нескромные анекдоты, и религиозная свобода совести кончалась примитивным грубым кощунством. Это кощунство, впрочем, перло из всех интеллигентных душ. Вся соль и пикантность рассказываемых в таких случаях анекдотов заключалась в том, что свобода совести разрешала передовым и просвещенным людям делать действующими в анекдотах лицами монахов, монахинь, священников и не щадить для пикантности и красного словца никаких святынь церкви и своей религии. Стоило только одному начать эти анекдоты, как каж-

дый из присутствовавших спешил выложить из своей души весь огромный запас накопленной и хранимой кощунственной скверны, причем рассказчиков нимало не смущало, если среди многих кощунствующих присутствует один-двое людей искренно верующих, и никто не находил нужным считаться с их религиозными убеждениями и совестью. Да и сами эти верующие не возмущались и не протестовали, а смиренно слушали и слегка по улыбывались, так что трудно было кощунникам понять: одобряют или не одобряют. В глубине-то души эти верующие, конечно, возмущались, но им не хотелось показать себя людьми отсталыми...

Не интересуясь совершенно Богом, эти люди с гордостью называли свой народ, по Достоевскому, «богоносцем»[271] и уважали, особенно сектантов, именно за богоискательство, которое лично для себя считали пустым вопросом. Все это пришлось сказать не с целью обличить Павла Николаевича, а чтобы объяснить его поступки и поведение по отношению к действующим в повествовании лицам, особенно же к жене брата Ларисе Пет-

ровне и ее родственникам.

Мысль о монастыре не покидала Анны Михайловны, но вопрос этот был большой и нелегко разрешимый, а предстояло сделать выбор — ехать либо в Никудышевку, либо в Крым с невесткой. В Никудышевке ее пугала неизбежная встреча в своей семье с новой родственницей — «бабой». И страх, и гордость, и неизбежное унижение перед соседями-дворянами и дворней. Анна Михайловна отказалась от поездки в Никудышевку. Туда пока отправили только Сашеньку с Петей и Наташей. Жену с ребенком, няней и матерью Павел Николаевич проводил в Крым. Удобно, не надо трястись в экипажах по ухабистым и пыльным дорогам: голова Тыркин посадил на свой лучший пароход, предоставивши в распоряжение путешественников всю рубку отпавляющегося пустым буксирного парохода до Нижнего, а там сел в поезд и катись до самого Севастополя! Сам Павел Николаевич пока остался еще в Алатыре.

Таким образом, первыми ласточками в Никудышевке были Сашенька с гимназистом пятого класса Петром и с институткой Наташей.

За ними был прислан на тройке Никита, и дорога от Алатыря до Никудышевки была полна радости и веселых приключений. Вылезали из экипажа и рвали во ржах васильки и розовый куколь[272], ловили молоденького зайчика, нашли ежа, видели деревенского дурачка, пили чай на постоялом дворе, где какая-то баба кричала — родила ребеночка. Много интересного! И разговоры с Никитой не обрывались всю дорогу: надо узнать все новости в Никудышевке, а их так много накопилось за год!

— Дядя Гриша живет?

— Как же! Слава Богу... живы, здоровы...

— Какой он?

— С бородой уж...

— И усы есть?

— Как же не быть? Не скопец он.

— А жена у него — баба?

— Гм... Чай, на мужиках не женятся!

— Нет, не про то! Она не барыня, а баба?

— Была баба, а стала барыня.

Все интересно: и про Гришу, и про его бабу, и про старого Волчка.

— Околел зимой Волчок! По лесам мыкал-

ся; видно, что маленько волки погрызли...

— Бедненький...

— Никак, барышня, плачешь? По псам-то грех плакать...

— Ну да! Я думаю, жалко мне Волчка...

— Больно уж вы жалостливы. А вот я помру, ты, барышня, не поплачешь!

Сашенька молчалива. Она везет с собою и радость, и грусть тайную: в Казани жених остался, студент Гаврилов, медик, на пятый курс перешел. Никто этого не знает, и никому она этого пока не скажет, даже матери. Вот когда приедет в Никудышевку, тогда...

Вот и последний знакомый лес перед Никудышевкой. Гуляли здесь когда-то с Сашей Ульяновым. И с убитым Володей Кузмицким гуляли...

Сладкая грусть воспоминаний теплится в Сашенькиной душе от далеких уже воспоминаний, но встанет в памяти лицо Гаврилова, и радость шевельнет девичьи губы...

Так грустно звенят в лесу колокольчики. Наташа гриб увидала, — непременно надо остановиться.

— Тпру! Ну, вылазь! Где ты там увидала

гриб? Рано еще грибам...

— Пенек это! — разочарованно звенит голос Наташи...

Влезла в экипаж. Никита погнал лошадок, замелькали стволы деревьев мимо; ветви норовят по лицу хлестнуть. Солнышко вечернее золотом пятнится на лесных лужайках, а в глубинах лесных зеленый сумрак стелется. Даже страшно.

— Никита? А Леший бывает на свете?

— Сколько угодно! Однажды я ехал маленько выпимши, так он взял под уздцы лошадок-то да и завел с дороги в трясину... Я проснулся, а он из куста глядит да смеется... Я его, это, окрестил, он и того... не видно.

Про кикимору тоже начал рассказывать Никита, да лес в стороны разбежался, и впереди никудышевская церковь за господскими садами колокольной выглянула на Петю с Наташей. И про кикимору стало неинтересно. Вдрогнули сердца радостью горячей:

— Никудышевка!

Никита еще ходу надбавил. Въехали на взгорье, и все как на ладошке. Родной дом крышами из зелени смотрит. Под крышей

окошечко от солнышка заходящего золотом сверкает. Вот и речка с мостиком, а с него две дороги: направо в Никудышевку, а налево — к барской усадьбе.

— Эй-эх, милые! Попрыгивай! — кричит Никита, поигрывая кнутом.

Застучали бревнушки моста, промелькнула баба деревенская. Петя и Наташа про Гришину жену вспомнили. Не она ли?

На барском дворе собаки колокольчики услышали — лай подняли, встречать бегут. Ворота растворены, и из них воз с досками навстречу потянулся, а около телеги — женщина...

— Вот она, супруга-то Григория Миколаича... Лариса Пятровна...

— Жена Гриши?

— Она самая...

Дал дорогу и шапку приподнял Никита, а красивая баба смеющимися глазами на Петю с Наташей посмотрела, кивнула головой в платочке и сказала:

— Здравствуйте, гости дорогие! Добро пожаловать!

Проехали. Все оглянулись, даже Сашенька.

Приехали!

Поцелуи, визги радости, лай дворовых собак, беготня дворни, торопливые расспросы и ответы про папу, маму, бабушку, взаимные новости.

Ожил сразу молчаливый дом: окна распахнуты, уже тронута мимолетным прикосновением целый год молчавшее фортепиано, уже скрипят лестницы, хлопают двери...

— Где же Гриша?

Нет Гриши: он на постройке. Ну, разве можно вытерпеть и не побежать на постройку, когда слышно, как звенят где-то близко топоры и скребет пила?

Сашенька распоряжается, куда какие вещи нести, тетя Маша хлопочет об ужине.

— Мы — на постройку! К дяде Грише!

— Ваня! Иди с ними! Не попали бы под бревно или под топор...

Ребята смеются:

— Мы, тетя, не маленькие...

— Выросли, да ума не вынесли еще... Иди с ними! Недолго там...

В обход, по дороге не так близко, но можно парком: там в заборе лазейка проделана: пря-

мое сообщение для пешеходов. Успели уже и тропинку к заборной дыре протоптать. Даже собаки знают: впереди бегут и в дыру ныряют.

Хорошо, весело тут на стройке! Топоры звенят, и щепки летят. Гудят бревна сухие от удара, от падения. Свистит-скребет пила, стучит молоток. Дом подрастает. Пахнет хорошо от щепок и досок. Три мужика бородатых венцы кладут. Лариса стоит подбоченясь в подоткнутой юбке, в мужских сапогах и командует. А дяди Гриши не видать.

Дядя Ваня познакомил ребят с Ларисой.

— Жена вашего дяди, Лариса Петровна, а это дети Павла Николаевича.

— Знаю, знаю, слыхала...

Отерла свои полные красные губы и поцеловала в щеку смущенную Наташу, а когда намеревалась проделать то же с Петром, тот покраснел и не дался.

— Вот те раз! Чай, ты мой сродственник, племянник, что ли, двоюродный мне... Не поцелуешь?

Лариса напугала Петю: он пятится, рожа глуповатая, весь красный.

— Так и не поцелуешь? — шутливо кокетничает Лариса.

Наташа заступалась:

— Он никогда не целуется с женщинами... и мы так мало знакомы... с вами.

— Ладно уж покуда. Не бойся. Не трону.

Стоят и с улыбочками рассматривают друг друга.

Выглянул в окно сруба Григорий Николаевич с ремешком на голове и с карандашом за ухом, в рабочем фартуке, со стружками в волосах. Совсем не похож на дядю Гришу. Вылез из окна, идет с улыбкой на лице к ребятам. Опять великое смущение: совсем не таким представлялся им дядя Гриша. Помнили его таким, как видели шесть лет тому назад. Однако оба с ним поцеловались без всяких протестов. Только не решилась Наташа говорить с ним на «ты»:

— А зачем вы ленточку на голове носите?

— Это ремешок, чтобы волосы в глаза не лезли...

Все засмеялись, а Петя назвал Наташу дурой. Она обиделась до слез: стыдно перед дядей Гришей и Ларисой.

— Грубиян и невежа! — прошептала Наташа и, повернувшись, торопливо пошла прочь.

Рассердился и дядя Ваня:

— Извинись перед сестрой!

— Больно много чести будет... — буркнул Петя. — Обругалась сама, а я извиняйся!

И тоже зашагал прочь. Закричал вслед Наташе:

— Институтки глупы, как утки!

Наташа не обернулась. Только ускорила шаги. Лариса удивленно смотрела на эту непонятную ссору.

Дядя Ваня рассердился. Поговорил с Григорием о постройке, постучал по звонким доскам палочкой и медленно побрел к дому. «Оболтус растет», — думал про своего племянника, которого он вообще недолюбливал за дерзости старшим и злостное озорство. «Лоботряс!»

Дома рассказал все тете Маше.

— Папенькин сынок!

За ужином посадили Наташу в серединку, под свою охрану, и не разговаривали с Петром.

На другой день тетя Маша сделала новое

открытие: Петр ворует у отца папиросы. Сделала допрос — отперся самым наглым образом, хотя в кабинете, откуда Петр только что вышел, пахло табачным дымом, и заметно убыло в «коробочке барабаном» папирос. Вечером Сашенька с Наташей купались в пруду. Тетя Маша понесла им простыню и поймала Петьку: сидел в кустах сирени и подглядывал.

— Ты что тут делаешь?

— Лежу.

А сам покраснел, как печеный рак.

Тетя Маша с мужем и Сашенькой совещались, как поступить: рассказать обо всех скверных проделках Петра отцу или — наплевать. Решили, что толку никакого не выйдет, потому что Петька вывернется, как налим из рук, и останется только ссора с Павлом Николаевичем. Он так пристрастен к своему первенцу, что либо не поверит, либо найдет оправдание любой гадости, объясняя ее переходным возрастом. Такой пример был уже: нарисовал такие гадости в своей общей тетрадке, что нехорошо и рассказывать, а показали отцу — сами виноваты остались. Что, говорит, тут неприличного? Карикатурное

изображение расстройства желудка. И нарисовано очень талантливо. Надо, говорит, самому иметь грязное воображение, чтобы реализм в искусстве смешивать с пошлостью... При ваших, говорит, институтских понятиях, надо выпороть Овидия, Апулея, Боккаччио [273], уничтожить анатомию и физиологию. Вообще, говорит, ерунда! Довольно нам, говорит, аистов!

XIX

Приехал Павел Николаевич. Тетя Маша все-таки не вытерпела:

— Ты разрешаешь Пете курить?

— А что? Накурился? Пустяки. Все запрещенное только сильнее притягивает.

И рассказал, как сам он в детстве утащил у отца сигару и, накурившись, свалился, потерял сознание. «И теперь терпеть не могу сигар!»

На этом попытка тети Маши и закончилась: пусть как хотят, так и воспитывают. Свои собаки дерутся, чужая не приставай!

Встреча братьев после шестилетней разлуки была лишена восторженной радости. Поцеловались, поласкали друг друга взорами,

но все это носило отпечаток не то какой-то осторожности, не то конфузливости. Да и то сказать: они узрели друг друга совершенно в ином образе, чем остался в их памяти. А особенной душевной близости между ними и раньше не было. Конечно, сильно усиливало с обеих сторон конфузливость и осторожность еще и присутствие Ларисы, за которую как-то боялись обе стороны. Обычно Григорий с Ларисой обедали отдельно, в своем флигеле, но обедать без брата в первый день встречи после шестилетней разлуки показалось Павлу Николаевичу нетактичным: подумает, избави Бог, что гнушается его женой. А с другой стороны, очень уж любопытно поближе рассмотреть эту особу из «Нового Израиля», благо, что ни жены, ни матери, с их дворянской щепетильностью, теперь в доме нет, а тетка Маша с мужем и Сашенькой достаточно демократичны для такой обеденной коалиции. Григорию Николаевичу приглашение брата вместе пообедать не так чтобы особенно улыбалось, но отказать — значит обидеть брата. Только Лариса не находила в этом никаких неудобств:

— Что не пообедать-то? Не все одно, что за раз, что в розницу?

Принарядилась все-таки. По-праздничному. Тетя Маша, предвидя всякие случайности, уже переделала ей свое синее шерстяное платье и научила из толстых кос прическу делать по-старинному, гнездом[274]. На плечах — шаль расписная, в ушах серьги покачиваются, ручки больше на животике. Поморщился Григорий, поглядев на наряженную Ларису — не понравилось ему: «Точно невеста из пьесы Островского „Бедность не порок“»[275], — да не вздорить же из-за таких пустяков? Маскарад так маскарад: и сам надел свою потертую интеллигентскую пару. И вот в таком маскарадном виде гости и появились за обеденным столом.

Бывали в Никудышевке и раньше обеды с демократическим духом: с Ананькиным, с Тыркиным, с волостным старшиной, но тогда бывало много публики и демократичность растворялась в преобладающей интеллигентности и как-то не вылезала на глаза. Совсем иначе вышло теперь. Центр общего внимания все время оставался неподвижным: Лари-

са с Григорием. И обед оказался не настоящим, а словно только притворялись, что обедают. Как на театральных подмостках. Если были бы посторонние зрители, то, несомненно, в публике бы то и дело взрывался веселый хохот, но зрителей не было, а все были актерами и очень талантливо исполняли свои роли. Павел Николаевич был отменным резонером, дядя Ваня исполнял бессловесную роль и только всем деликатно услуживал передачами, тетя Маша недурно исполняла роль гранд-дамы и великолепные комики были Лариса с Григорием. Но ни единого смешка не слышалось. Правда, озорной Петр моментами издавал-таки какие-то звуки и дважды выбежал из-за стола, но смотрел все время в свою тарелку и так низко наклонялся, что лица его было не видно, а когда он после пребывания в отлучке снова возвращался к столу, физиономия его была даже сугубо серьезная, строгая. Наташа сидела, точно на экзаменах, в каком-то испуге, и моментами как бы беспричинно краснела до ушей включительно. Лариса знала, что в таких случаях надо церемониться, и повторяла усердно:

— Много довольна! Благодарствуйте!

И поджимала сердечком губы. Сперва по-малкивала, но Павел Николаевич то и дело тревожил ее своими вопросами, и она разговорилась и быстро освоилась, и сама стала задавать вопросы. Вся простота и наивность с их красочной и яркой формой народного языка засверкала такими словечками, что стала пугать Григория и тот сидел как на иголках: вот брякнет! Павел Николаевич тоже ждал этого, но не подавал виду. И вот брякнула!

Употребила в дело весьма образную и звонкую, по натурализму своему совсем неупотребительную в порядочном обществе — народную поговорку, от которой Наташа застыла в ужасе, Сашенька прикусила губки, а Петр прыснул носом, как рассердившийся кот, и стремглав выскочил из-за стола. Григорий Николаевич поморщился и опустил взоры. То же сделала и тетя Маша, а муж ее вздохнул, повел взором по комнате и произнес:

— Дождя бы надо!

Лариса, при всей простоте своей, была женщина сметливая и наблюдательная: сей-

час же поняла, в чем дело, и произнесла певучим маслянистым голосом:

— Уж извините, если что неладно сказала. Мы люди неученые, а из песни слова не выкинешь...

Григорий поддержал:

— Ничего, Лариса Петровна, и на старуху бывает проруха, а ты еще молоденькая.

— Ведь у вас, у господ, как? Семь раз примерь, а один раз отрежь. А у нас что на уме, то и на языке.

Павел Николаевич, как говорится, и бровью не повел. Но ребята всё заметили: вилку не умеет держать, с ножа ест, из солонки соль щепоткой берет, пальцы обсасывает.

По окончании обеда, прежде чем поблагодарить, Григорий и Лариса в передний угол поклонились, потому что узрели там икону, а креститься на «картину рук человеческих» не полагалось [276]. Чтобы не обидеть хозяев, Лариса и поклонилась, а Григорий Николаевич последовал ее примеру. Павел Николаевич, никогда не молившийся после обеда и ужина, принес себя в жертву этому предрассудку и торопливо присоединился, чем немало уди-

вил тетю Машу с мужем. Конечно, он сделал это просто из особенной любезности к Ларисе.

После обеда пошли на террасу — чайку попить. Тете Маше было некогда, и Лариса без предложения со стороны Павла Николаевича начала хозяйничать за чайным столом. Очень мало заварила чаю, а когда Павел Николаевич попросил сделать покрепче, сказала:

— Не запарился еще чай-от.

Пила чай, как все крестьяне, с блюдечка, вприкуску, звонко щелкала, отгрызывая сахар, а когда напилась, опрокинула чашку вверх дном, вынула из-за пояса платочек и стала им обмахиваться, как веером:

— Взопрела-то как, инда каплит!

Братья начали обсуждать, сколько пойдет каких материалов на постройку и в какую сумму она обойдется Григорию Николаевичу. Рисовали план участка, занятого под постройку, и планировали садик, огород, надворные постройки, колодец. Григорий наметил кузницу, слесарню и сапожную мастерскую. Столярничать будет летом на воле, а зимой — в

кухне.

А Лариса занимала разговором дядю Ваню. Тот молчал и только, как китайский болванчик[277], покачивал утвердительно головой, а сам подремывал под певучий бабий голосок.

Наташа села за фортепиано и, наигрывая «упражнения», забегала пальчиками по клавишам. Лариса подошла и остановилась за спиной Наташи, изумляясь проворству ее рук и пальцев.

— А у меня папаня на флюсгармонье[278] хорошо играет, но только так руками не может. Да оно и не подходит к божественному-то...

Наташа путалась, обрывала, а Лариса не понимала, что мешает, — нет-нет да и бросит словцо:

— Вот меня поучила бы!

Наконец, все разошлись и почувствовали радостное облегчение. Павел Николаевич устал-таки играть свою роль и с удовольствием растянулся в своем кабинете на диване с пачкой нераспечатанных «Русских ведомостей». Но читать не мог: все Лариса стоит пе-

ред глазами. Думает: «Вот она, подлинная Катерина из „Грозы“ Островского! На сцене даже у лучших исполнительниц она выходит фальшивой, потому что никак не удастся им спрятать свою интеллигентность. А тут — во всей натуральности!»

Снова нос в «Русские ведомости».

Опять оторвался: «А на редкость красивая баба!» Засмеялся: «Такая и в хлыстовщину загонит... Воображаю!»

Снова — в «Русские ведомости». Не читается. Прикрыл лицо газетой и задремал. Но и тут в мимолетном сонном видении — Лариса опаляющая. Очнулся, отбросил газету и вскочил с дивана.

— Вот чертова баба!..

Посмеивался над братом:

— Вот тебе и вегетариянец!

Чувствовал неловкость перед самим собой. Стоит ли так долго думать об этой бабе? Сел за письмо к своей Леночке в Крым: лень и потягота одолевают. На чужой роток не накинешь платок, а тут еще такое исключительное событие: дворянин Кудышев-младший женился на деревенской бабе!

Мужики с бабами судачат и весело посмеиваются, в поместно-дворянских сферах одни удивляются, другие возмущаются, третьи — злорадствуют. В родственной Замураевке всё вместе: и удивление, и возмущение, и злорадство. А вот земский начальник, как и прочие уездные власти, старается подчинить свои чувства разуму, а разум заставляет их поглубже смотреть в эти с виду пикантные происшествия. Если принять во внимание, что Григорий Кудышев-«политический» и еще женился на крестьянке, то, конечно, и цель тут тоже политическая. Подозрительно еще, что женился он не просто на бабе, а на сектантке. А давно уже известно, что господа революционеры испокон веков устремляли свои надежды и действия в сектантскую среду, настроенную антиправительственно. Нельзя сказать, что и передовая уездная интеллигенция не взвешивала этого события на тех же самых весах. И, представьте, по таким же соображениям. Что-нибудь тут кроется конспиративное. А в общем всем очень любопытно было лично взглянуть на «бабу».

И вот начали заезжать под разными пред-

логами представители обеих сторон. Прежде всех других, конечно, побывали Замураевы, Зиночка с братом, земским начальником. Как же не повидаться с Гришенькой, когда он точно воскрес из мертвых? Григорий Николаевич с Ларисой были на постройке. Гости надеялись увидеть их за обедом, но они не появились. Гости много говорили и расспрашивали о Григории Николаевиче, но боялись поднимать разговор о его браке, как будто было неприлично напоминать о таком скверном поступке своего родственника. Ведь не принято говорить о веревке в доме повешенного! А свои домашние тоже не заикались об этом несчастий. Так и играли в прятки. Между тем любопытство все сильнее мучило Зиночку с братом. Как женщина, Зиночка оказалась находчивее. Она увела в парк Наташу и подговорила ее показать ей «зверя», но только издали, чтобы не надо было знакомиться. Условились, как это сделать, и пошли на постройку. Зиночка осталась в отдалении, а Наташа отправилась к постройке и, как было условлено, вызвала Ларису из сруба и поднесла ей захваченную с клумбы розу.

Григорий Николаевич мастерила стропила для будущей крыши в сотрудничестве с мужиком и был так занят и увлечен работой, что не обратил никакого внимания на девиц. Но Ларису Зиновья хорошо рассмотрела и потом изумленно говорила:

— Подпоясалась, в сапогах... да она и на бабу-то не похожа. Точно переряженный деревенский парень... Ноги растопырила, подбодрилась. Неужели Григорий полюбил такую?

— Не знаю. Тетя Маша сказала: любовь зла, полюбишь и козла!

— А где они венчались?

— Тетя Маша сказала, что они венчались вокруг ели, а черти пели![279] Она такая смешная и говорит такие глупости, что стыдно слушать... Когда бабушка узнала, что дядя Гриша женился на бабе, она так расстроилась, что чуть не умерла...

Зиновья незаметно выпрашивала Наташу обо всем, что оставалось в семье Кудышевых тайной отчего дома, а Наташа разболталась и выдала ей все семейные секреты, связанные с романом Григория и происхождением его «бабы».

А Николай Владимирович Замураев так и уехал, не увидав ни Григория, ни Ларисы. Посылали Никиту на стройку — сказать, что приехал земский начальник из Замураевки, но Григорий не счел нужным явиться. Это обидело родственников, и они быстро покинули Никудышевку.

— Не плюй в колодец: пригодится воды напиться! — произнес Николай Владимирович, проезжая мимо строящегося хутора.

Интересовался исправник, становой, судебный следователь, врач Миляев, отец Варсонофий, Елевферий Митрофанович Крестовоздвиженский. Пикантная новость долетела уже до Симбирска: приехал купец Ананькин с приказчиком и, как говорится, прямо быка за рога взяли — в гости на недостроенный хутор заявили. Ананькин и сам из сектантов, только больно уж закрутился в делах житейских, — вот и захотелось ему свою душу божественными разговорами проветрить. Только ничего не вышло: не пошла на такие разговоры Лариса Петровна. Женщина осторожная — зря перед людьми свою душу не отпирает. И чаем напоила, и слов приветливых наговори-

ла, и с поклонами да пожеланиями всякими проводила, а насчет тайны божественной — полсловом не обмолвилась.

Ехал купец из гостей с хутора и заместо божественного в душе одно бесовское смущение увозил.

— Хорошую бабеночку из скитов барин увез! Невредная женщина...

— Ничаво.

— Как это ничаво? — точно обиделся Ананькин на приказчика. — Да видывал ли ты красивее этой бабы?

— Я за энтим, Яков Иваныч, не гонюсь.

— Гонись, пожалуй! — все одно не догонишь...

Замолчали. А купец под звон колокольчиков все о бабочке красивой думал. Как лошади шагом пошли, он опять про то же:

— Одно скажу: не за святостью барин погнался... Сразу это видать: беспокойство в нем телесное. Да я так думаю: какой бы веры баба ни была, а с ней все одно — не спасешься!

— Где с бабой спастись, Яков Иваныч!

— Сосуд скудельный, грехом смертным наполненный![280]

XX

В то время как Павел Николаевич с восхищенным любопытством посматривал на полную неисчерпаемой энергии красивую «бабу», около которой «никудашевский философ» и неутомный когда-то искатель «правды Божией» обрел пристань свою, тетя Маша с мужем в тайниках душ своих таили ревнивые подозрения к этой «жох-бабе», прибравшей к своим рукам «замудровавшегося помещика».

— Бывает, что простота-то хуже воровства! — говорила тетя Маша мужу, видя, как ловкая баба колдует своими чарами около Павла Николаевича, а тот тает от этих чар, теряя силу отказывать ей в таких услугах, которые вредят интересам собственного хозяйства. Сам-то Павел Николаевич им теперь мало интересуется, ну а тете Маше с мужем, на которых вся ответственность теперь свалена, конечно, видно и досадно. То захватят лошадь, которая нужна, то нет десятичных весов, то лопаты все исчезли. Пустяки все, мелочи, но из таких мелочей все хозяйство состоит. Раньше хотя бы спрашивали, можно ли

взять, а потом и спрашивать перестали. Сердило и удивляло тетю Машу с мужем и разгильдяйство Григория Николаевича: умный человек, а не видит, что ловкая баба им командует.

— Ослеп от блудливой святости-то, — злится шепотом тетя Маша.

Одна деревенская старуха по секрету ей в людской кухне рассказывала, что Лариса-то в «богородицах» у еретиков ходила[281], а Григорий соблазнил ко греху смертному ее, вот они и убежали из скитов-то.

— Слух такой, матушка, у нас идет... А уж правда это али врут — одному Богу известно. Богородица, дескать, отставная, у хлыстов-то была, да проштрафилась. Вот и поп замураевский тоже остерегаться ее советовал: волк, байт, в овечьей шкуре...

Если тетя Маша с мужем иногда захаживаются на строящийся хутор, то вовсе не из расположения и уважения к Ларисе, а просто лишний разок присмотреться и хорошенько раскусить замыслы этой хитрой бабы. Болтлива она бывает порой, а в простоте-то своей, сама не ведая того, и лисий хвост свой показывает.

Вот недавно такой случай вышел.

Пришли тетя Маша с мужем — Лариса и посадить не знает куда. Самовар сапогом раздула, варенья плошку поставила, пряников мятных. Словом, такую радость проявила, словно отца родного с матерью встретила. Тетя Маша только локотком мужа подталкивает. Когда Лариса на минутку их вдвоем оставила, тетя Маша сказать мужу успела:

— Что-нибудь просить будет!

Так и вышло. Поговорили о том о сем. Григорий с крыши слез — посидеть ненадолго с гостями явился. Лариса пожалела, что Павел Николаевич временно из Никудышевки по земским делам отлучился. А тетя Маша любопытствовала:

— А по каким делам он тебе нужен, Лариса Петровна?

Ну и показала лисий хвост. Сперва издали начала, про Льва Толстого:

— Вот Лев Толстой признает, что человеку только три аршина земли нужно...[282]

— А ты не согласна?

— Не согласна. Это покойнику хватит три аршина, а живому человеку не меньше трех

десятин нужно...

Тетя Маша незаметно мужа локтем тронула: слушай, дескать, что дальше будет. А дальше вот что оказалось:

— Да вот хоть бы у нас. Пожалуй, не меньше двух десятин в аренду взято. Думали — достаточно. А поставили дом да службы, под кузницу место отвели да под баню, огляделись — нехватка! Надо сад насадить, надо огороды сделать, под картошку, под клевер, скотину ведь тоже надо кормить, лошадку, коровушку: без навозу-то какое же хозяйство, — сами понимаете... И видим, что еще десятинку придется Павлу Николаевичу братцу-то уступить. Мы с Григорием Николаичем еще полянку одну в лесу присмотрели...

— Да, — задумчиво произнес муж тети Маши, — в лесу полянок много...

— Близехонько тут. Очень сподручно нам.

— Дело не мое. Я тут не хозяин. Вот придет Павел Николаевич...

— Время-то очень уж дорого. Надо землю подготовить к дождям, покорчевать малость придется, взборонить поглубже... Поди, не осердится Павел-то Николаич? Не даром про-

сим, аренду тоже платить станем.

Стала просить разрешения забрать новую полянку, а тетя Маша подкрепила мужа: «Мы тут не хозяйева!» Лариса такой довод привела, что у тети Маши с мужем и души замутились:

— А что Павлу-то Николаичу наше дело тормозить? Мать помрет, все детям достанется. Чай, и Григорий мой не будет обижен...

Тетя Маша с мужем потупились от изумления и нахальства хитрой бабы. Лисий хвост без зазрения совести выставила.

Тетя Маша нахмурилась, кашлянула, точно подавилась чем, а потом и сказала:

— Во-первых, неизвестно, когда кому Господь смерть пошлет... Может быть, моя сестра Анна Михайловна и нас с вами переживет...

— Да я не про то! — спохватилась Лариса. — Дай Бог ей много лет здравствовать!

Тут тетя Маша прямо захлебнулась от злости и не могла продолжать. Но муж пришел ей на помощь и сказал:

— А во-вторых, неизвестно, как Анна Михайловна своим достоянием, движимым и недвижимым, распорядится...

Григорий Николаевич покраснел и всту-

пился за Ларису:

— Моя жена говорит не про наследство, которого нам не надо, а про аренду лишней десятины! Вы, тетя, не поняли. Лариса только указала на формальную сторону наших законов, а живем мы с ней по законам не чужой, а своей совести...

Помялся около стола и ушел работать. А Лариса продолжала, как были уверены тетя Маша с мужем, лисьим хвостом следы свои с когтями замечать:

— Мы с Гришенькой так веруем, что не дано нам землей властвовать. Земля Божия, и неизвестно, как Господь Бог ей распорядится... Обиды тут ни вам, ни нам никакой нет. Мы просим только в аренду сдать, хотим, чтобы старший братец помог это дело для младшего у мамыши ихней исхлопотать...

Трудно сказать, правы ли были тетя Маша с мужем, почуявшие в Ларисиных словах покушение на родовое имение дворян Кудышевых. Возможно, что со стороны Ларисы это был просто неудачный дипломатический шаг, не имевший никакой иной цели, кроме получения в аренду еще одной лесной полян-

ки, но этот разговор окончательно убедил тетьку Машу с мужем в тайных вожделениях хитрой бабы при помощи околдованного ею барина приобщиться к правам наследства на барскую землю:

— Земля-то, видите ли, не помещичья, а Божья... Божья, пока не попала в мужичьи руки. Ну, а когда это случится, — кол в руки и никто не касайся! Моя земля! — острил Иван Степанович.

Ну, а когда тетя Маша с мужем по возвращении в Никудышевку Павла Николаевича остороженько попробовали раскрыть карты хитрой бабы, Павел Николаевич обрушился на Ивана Степановича, который, как бывший при реформе мировой посредник, оказался виноватым в страшном историческом грехе дворянства, помешавшего воссоединиться интеллигенции и народу путем полного и всестороннего, то есть экономического и политического, освобождения крестьянства.

— Постой! Постой! Я-то тут при чем?

— Мы тут в чем виноваты? — пробовали защищаться тетя Маша с мужем.

Но Павел Николаевич не внимал.

— Все виноваты! И вы виноваты! — продолжал он повышенным голосом. — С той поры народ считает себя обманутым и не верит нам, его искренним друзьям. Народ всех нас валит в одну кучу обманщиков... С тех пор народ считает правду Божию попорченной...

Тетя Маша даже обиделась:

— Мы-то, Алякринские, тут в чем повинны? У нас нет теперь ни земли, ни усадьбы. Если ты считаешь себя виноватым перед народом, так поправься сам! Раздай землю, имущество, вообще сними со своей души грех...

— Я вас не обвиняю, а хочу только объяснить, что вы-то зря обвиняете других. Лично я в рассуждениях Ларисы не вижу никакой задней мысли, в которой вы ее подозреваете. Это просто отражение народных взглядов и понятий о правде и справедливости, о земле и правах на нее человека...

Чуть только не поссорились.

— Не Иван Степанович освобождал крестьян! — заступалась тетя Маша за растерявшегося под наскоком Павла Николаевича мужа. — Царь освобождал! Царь! Мы не царствовали с ним!

Тетя Маша обозлилась. Вечером она послала Павлу Николаевичу очень резкое письмо, в котором были такие строки:

...из-за вашей прекрасной родственницы Ларисы свет-Петровны, из-за которой весь сыр-бор загорелся, ты не только потревожил тень почившего императора Александра-освободителя, но стал кричать на нас с мужем. А все дело в том, что эта нахальная баба забрала в руки не только Григория, но, кажется, и самого тебя. Лариса начинает распорядиться здесь, совершенно не считаясь с тем, что нам поручено здесь хозяйство и что мы с мужем отвечаем перед твоей матерью. А ты не находишь тут ничего особенного. При таком положении нам с мужем всего лучше отказаться от чести управлять имением и уехать из Никудышевки...

Павел Николаевич, читая эти строки, и краснел, и пыхтел, и пожимал плечами. «Самое страшное — влезть в бабью пошлятину!» — говорил он кому-то в пространство. Тяжело было это, а пришлось объясняться с су-

пругами Алякринскими и употребить в дело всю свою изобретательность по части смягчения обстоятельств и умиротворения оскорбленных душ. В этом Павел Николаевич, как говорится, собаку съел. Часа два проливал бальзам лести в теткину душу и убедил супругов, что у него и в мыслях не было обидеть чем-нибудь любимых людей, без которых давно пропало бы все имение! А что касается Ларисы, так он поставит ее в смысле самостоятельности на подобающее место. Разве он не понимает, что хозяйство требует единодержавия, а не республики!

— Вот в том-то и дело!

— Вообще недоразумение... И мы с мужем, конечно, погорячились...

Тетя Маша с мужем взяли обратно свою отставку и расцеловались с Павлом Николаевичем. А с Ларисой он поговорит. Павел Николаевич отлично понимает, что никто ее тут зря не обидит. А известный порядок необходим.

— Бог с ней! Мы им ни в чем не препятствуем. Только спроси сперва!..

Павел Николаевич побывал на строящемся, почти готовом уже хуторе. Конечно, с по-

спешностью разрешил брату взять и вторую лесную полянку, никому не нужную до сей поры. Похвалил и брата, и Ларису за быструю и хорошо сработанную постройку, а за чаем, в дружеской беседе мягко так и осторожно, по секрету поговорил о людской обидчивости вообще и о капризном характере тети Маши, о всяких предрассудках людей старого порядка по части видимых знаков почтительности. Словом, не затронувши самолюбий брата и его жены, а взвалив все на тетю Машу с мужем, попросил выполнять внешнюю формальность и, когда понадобится что-нибудь взять со двора на работы, попросить разрешения у Ивана Степановича. Человек он добрый и хороший, но помешан на субординации!..

— И лучше, если не Лариса Петровна, а сам ты будешь говорить в таких случаях.

— Да, да... Я уже сам об этом думал. Два мира, совершенно не понимающих друг друга.

Григорий рассказал о недоразумении между тетей Машей и Ларисой при разговоре о второй лесной площадке, когда тетка с дядей заподозрили Ларису в покушении на наследство, — и братья вместе посмеялись над подо-

зрительностью родственников. Павел Николаевич только еще раз убедился в полном бескорыстии Ларисы, виноватой разве в том, что по простоте своей она не понимает, что с такими заскорузлыми людьми, как тетя Маша, нельзя говорить напрямую и без оглядки.

Пожалел Павел Николаевич Ларису: зря ее обидели своими подозрениями Алякринские. С запасом нового очарования возвращался домой Павел Николаевич и был неприятно взволнован, когда шедший ему навстречу Иван Степанович с видимым удовольствием сообщил новость:

— Поп из Замураевки тебя ждет давно уже...

— Что ему нужно?

— Да и он что-то поговорить хочет о Ларисе Петровне...

— И он о Ларисе Петровне!

У ворот знакомая таратайка[283]: сразу видно, что земский начальник свою лошадь и таратайку попу дал и, конечно, не из одной любезности к батюшке. Так и есть! И парнишка на козлах с замураевского двора.

Павел Николаевич уже с некоторым заря-

дом в душе пошел в кабинет, где его ожидал батюшка, но виду неудовольствия не подал, а совсем напротив, даже благословение в пригоршню принял.

Поговорил батюшка о здравии членов кудышевского дома, об ожидаемом урожае, дождях и градобитиях, за грехи людям посылаемых, а потом после паузы признался, что одно дельце секретное к Павлу Николаевичу имеет...

— Вас послал генерал Замураев или его сын, земский начальник?

Батюшка опешил:

— Избави Бог! Я сам от себя...

— А я увидел генеральскую лошадь и подумал, что по его поручению...

— Лошадь... это так. Случилось. А собственно я сам от себя...

— Ну хорошо. Слушаю.

Батюшка покашлял в ладонь руки, оправил волосы и тихо начал:

— Как говорится, конфиденциально... Не совсем ладно у нас. И без того, как вам, Павел Николаевич, известно, много всяких ересей в наших местах, а тут еще новый источник... И,

к сожалению, сей источник оказался недалеко от дома сего... Вот я и захотел лично с вами, многочтимый Павел Николаевич, поговорить, не найдете ли вы каких путей воспрепятствовать...

Павел Николаевич притворился, что ничего не понимает:

— Какая ересь? Где?

Тогда батюшка кротким и ласковым голосом пояснил, что, по-видимому, супруга вновь прибывшего Григория Николаевича, сама будучи из известного на юге еретического рода Лугачёвых, занимается соращением истинно верующих на уклонение от православной церкви, именуя оную «Вавилонской блудницею»[284], а нас, служителей церкви, — наемниками власти Антихристовой.

— Ежели прямо донести, куда надлежит, для вас, Павел Николаевич, неприятно будет, на меня же посетуете, почему первоначально до вашего сведения не доведено. Вот я и решил посвятить вас в сию неприятность и просить вас воздействовать своим внушительным словом на... особу сию, Ларисой Петровной Лугачёвой именуемую. Именую же оную

особу Лугачёвой на том полном основании, что называться госпожой Кудышевой сия женщина не имеет законного права, ибо законного брака в сей ереси не признается и потому я не имею оснований называть сию особу женой вашего почтенного брата...

Все это батюшка произнес без передышек, под запал, наворачывая слово на слово, как нитку на моток. А Павел Николаевич слушал и постукивал карандашиком по доске письменного стола.

— Почему вы возводите на Ларису Петровну обвинения в соращении?

Батюшка рассказал: работает на стройке замураевский мужик, отставной солдат Глеб Синев, нетвердый в вере человек. Вот его там, на новом хуторе, и обрабатывают. А он, приходя на праздники домой в Замураевку, там эти разговоры повторяет.

— Да какие разговоры именно? И кто их слышал? Вы их слышали?

— Самолично я не имел случая, но слухом, как говорится, земля полнится... Пришла ко мне недавно одна старушка и спрашивает: правда ли, что Богородица по земле теперь

ходит со Христом и апостолами? Откуда, спрашиваю, такое известие и кто мог сие утверждать? Ну и призналась старушка на духу мне, что слух сей распространяет солдат Синев, а откуда Синев его взял, само собой ясно... Я и ранее слышал уже, что женщина, Ларисой именуемая, в скитах сектантских в богородицах числилась...

Вы уже знаете, как односторонне понимал Павел Николаевич свободу религиозной совести, а тут священник и действительно давал повод возмущению, а потому Павел Николаевич злым псом на батюшку набросился:

— Как же вы, служитель Христовой церкви, выпытывая на духу греховные тайны человека, обращаете исповедь в орудие полицейского сыска? Кому вы тут служите: Христу или полиции и жандармам?

— Но я, Павел Николаевич, ответственю перед властями и Божескими, и человеческими за свое пасомое стадо...[285] Как полицейскую власть, так и правительствующий синод не я учредил. Мое дело донести о неблагополучии в моем стаде, а уж ежели духовная власть входит во взаимодействие с властями госу-

дарственными при борьбе с врагами истинной православной церкви — не я тут причиной, а интересы государственного управления, осуждать кои я никогда не решался и ныне не хочу...

— Э, у нас все спутали: и Бога, и попа, и станового! Не разберешь и не разделишь, что надлежит Богу, а что — Кесарю! [286] Избавьте меня от участия в этой тесной компании... Имею честь кланяться!

Павел Николаевич вскочил со стула, слегка кивнул гостю и вышел из кабинета. Батюшка долго ждал его возвращения, вздыхал, отирал платком пот с лица, прислушивался... Даже и проститься не с кем!

Задумчиво вышел, повертел в руке соломенную шляпу и пошел к воротам.

К вопросам веры и религии, как мы знаем, Павел Николаевич относился совершенно равнодушно, и в этих вопросах для него свобода совести казалась важнее самого Бога. Так как православная церковь сильно грешила против этого принципа и в борьбе с сектантами и разными еретиками пользовалась не только словом убеждения, но и подмогой

государственных властей, то, конечно, все симпатии Павла Николаевича были заранее отданы гонимым за религиозные убеждения людям, в особенности же тем сектам, которые если не прямо, то косвенно носили антигосударственный характер. На первый взгляд, это казалось абсурдом: ярый «западник», государственный, поддерживаает антигосударственные секты! Однако все станет понятным, если мы установим одну самобытную предпосылку нашего исторического бытия: монополизировав государственное строительство, наше правительство искони смешивало понятие «антиправительственного» с «антигосударственным», вследствие чего и русская интеллигенция в борьбе со своим правительством перестала отличать интересы правительства от интересов государства. Государство оказалось на втором плане как у правительства, так и у передовой интеллигенции. Из-за деревьев стало не видно леса! Эта печальная историческая самобытность породила немало разрушительных абсурдов. Так, например, развенчала понятие о патриотизме, сузив его до раболепного служения не государству, а пра-

вительству, породило наше «пораженчество», — страшную социально-психическую болезнь, при которой граждане при войне с другим государством желают победы врагу, а себе — поражения...

К осени в лесу за парком отчего дома вырос и засверкал на осеннем солнышке, в золотящейся зелени свежесрубленный скит совращенного в ересь Григория Кудышева. Большая чистая и высокая изба с крылечком, с прилипшими к ней пристройками различных хозяйственных служб и сарайчиков; у тесовых ворот выходящих на проезжую дорогу, — кузница; на дворе — сад и огород с парниками. Три старые березы красиво поднялись над домом и посыпали новые крыши золотом опадающей листвы. Размахнулся в небеса журавель колодца. Паслась на лужке рыженькая мохнатая лошадка, мычала где-то корова, на дворе, гремя цепью около конуры, хрипло лаяла злая собака, рылись в кучках неубранной щепы и опилок курицы с огненным петухом во главе. В сумерках загорались желтым светом огни в окнах с занавесочками.

Появился на хуторе завсегда — бобыль, отставной солдат из Замураевки, Синев: помогал Григорию в кузнице и на работах на разделке огорода и сада. Про Синева шла молва, что он тоже еретик: не то калугур, не то из бегунов, не то из штундистов[287]. Это и был тот самый человек, про которого говорил замураевский батюшка.

Дыру в заборе парка заколотили наглухо, и хутор как бы совершенно отмежевался от барского дома. Тетя Маша с мужем успокоились: никто больше не нарушал установленных ими порядков, и единодержавие восстановилось в прежней полноте.

Тетя Маша вела переписку с сестрой Анной Михайловной, и бабушка не захотела захватить из Крыма в Никудышевку, как это предполагалось ранее. Она проехала вместе с Еленой Владимировной из Крыма прямо в Алатырь. Сашенька получила распоряжение привезти ребят в Алатырь, чтобы оттуда отправить их в Казань — продолжать учение. Укадил и Павел Николаевич.

Потянулась грустная осень с дождями, листопадом, грязью. Отчий дом нахмурился. В

парке по утрам и вечерам галдели вороны. Перелайвались по долгим ночам собаки. Пели петухи. Раскачивал ветер вершины деревьев в парке, и дождь барабанил по стеклам и крышам... Скучно.

XXI

Поздней осенью этого года скончался богатырь из дома Романовых, крепкий хозяин земли Русской, царь Александр III.

Подобно тому, как огромный мужицкий мир с каждым новым царствованием ждал восстановления попранной «правды Божией», то есть царского манифеста с желанной и долгожданной вестью о переходе земли от бар-помещиков к крестьянам, так либеральная передовая интеллигенция с каждым новым царствованием вспыхивала надеждами на чудесное пришествие своей заморской интеллигентской «правды», то есть на дарование с высоты престола благородной хартии о попранных «правах человека и гражданина».

[288]

Надежд на победу в открытой борьбе не было. Крепкая рука покойного царя так стиснула волю к борьбе, что даже всеподданней-

шие записки о государственных нуждах стали казаться подвигом величайшего геройского мужества. В это русло и потекла замаскированная оппозиция самодержавию со стороны передовой интеллигенции. По всей России путешествовала идея обращения к новому царю с ходатайствами о расширении нрав и полномочий земских и городских самоуправлений, о создании условий, благоприятствующих общественной самодеятельности, словом, о замаскированной в защитные цвета конституции без упоминания ее подлинного имени, которое произносилось лишь шепотом и с оглядкой на все стороны.

Застрельщиками были испытанные либералы тверского дворянства[289]. За ними закопошились и все прочие либеральные дворянские гнезда и передовые земцы.

В столбовой Симбирской губернии за время крепкого царствования покойного императора либерализм и в дворянстве, и вообще в культурном обществе сильно поветрился, потерял много позиций и утратил былую храбрость... Поэтому не было ничего удивительного, что «идея» очутилась на попечении

Павла Николаевича Кудышева.

На первых порах Павел Николаевич взвинтился, помолодел, забил барабаном языка тревогу к наступлению. Метался то в Симбирск, то по губернским гнездам единичных единомышленников, то заседал с ближайшими друзьями в старом Алатырском доме. Говорил возбуждающие речи, призывал к гражданским обязанностям, читал сочиненное им всеподданнейшее ходатайство. Ему аплодировали, с ним соглашались, сочиненную им записку одобряли и еще усиливали более определенной формой выражения, но когда был назначен тайный съезд в Никудышевке для последнего оформления и подписи всеподданнейшего ходатайства, то приехало всего-навсего четверо стойких героев. При виде такой малочисленности своей армии Павел Николаевич пал духом, а четверо стойких печально развели руками, подивились подлым временам и общей трусости, но подписывать сочиненный адрес новому царю отказались. Хорошо, сытно пообедали, выпили, отдохнули и разъехались по домам с тайным чувством избавления от грозившей опасно-

сти.

Недолго скорбел и сам Павел Николаевич над этой неудачной затеей — попросить у нового царя гостинца в виде самоограничения. Очень скоро Павел Николаевич убедился, что все, что ни делается, — к лучшему: отважные тверцы, сунувшиеся к новому царю со своей конституционной докукой, пустившие, так сказать, первый пробный шар, были оскорблены и унижены в своих лучших гражданских чувствах[290]: царь топнул ногой и назвал их конституционное вожделение бессмысленными мечтаниями.

Конечно, Павел Николаевич был глубоко возмущен таким некультурным поступком молодого царя, но в глубине души утешался тем, что хорошо это вышло, что и они, симбирцы, не сваляли такого же дурака, как тверцы!..

Лбом стены не прошибешь! Опереться не на что... Один в поле не воин...

Не более счастливым оказался и огромный мужицкий мир: никаких манифестов о земле не последовало, и вместо него мечтательный русский народ получил от нового царя совет:

«Не верьте лживым слухам о земле, распространяемым среди вас людьми злонамеренными, и слушайте ваших земских начальников»[291]. А слухи о земле летали по необъятным просторам всего мужицкого государства. Прилетели они на тайных крыльях и в Никудышевку.

Однажды зашедший во флигель по хозяйственным делам Никита помялся и спросил Ивана Степановича Алякринского:

— А что, барин, у нас опять про манихест болтают... Быдта вышел манихест про землю... Почему его в церкви не прочитают, народу не объявляют?

Алякринские в два голоса убеждали Никиту, что никакого манифеста не выходило про землю, удивлялись, откуда идут эти глупые слухи. Никита поддакивал:

— Конечно, так... Зря все болтают... Вам знать лучше...

Но по застывшей хитроватой улыбочке на лице Никиты было ясно, что он не верит тете Маше с мужем, а пришел только пытаться, что скажут господа...

Такие же слухи ползали и в Замураевке.

Кто их распространял — одному Богу известно. Точно из земли же и рождались они. Генерал Замураев и сын его, земский начальник, оба волновались, искали виноватых, подозревали то одного, то другого жителя, но слухи не умирали. Ползали, летали, таились по молчаливым избам.

Наконец-то урядник выловил и приволок к земскому начальнику одного болтуна, отставного солдата Синева. Собрались мужики около кузницы в Никудышевке — колеса чинили, а солдат и давай болтать про манифест, который господа от народа спрятали. Дошло до урядника: какая-то баба по глупости спросила его про землю и созналась, что около кузницы солдат Синева баил что-то. Солдата Синева становой арестовал и куда-то отправил, а земский начальник принял немедленно меры к прекращению зловредной болтовни.

Он созвал на свой двор в Замураевке всех старшин и старост своего участка. Выстроил всех перед крыльцом и громко и сердито сказал:

— Среди вас снова появились болтуны,

распускающие зловредные слухи о царском манифесте, о земле и прочей чепухе. Я недавно поймал одного болтуна. Ловите и вы их, зорко наблюдая...

— У нас нет этаких! — произнес впереди стоявший мужик, на которого случайно упал строгий взгляд земского начальника.

— А как ты стоишь? Зачем расставил ноги на полтора аршина? Встань как следует!

Мужик не понял, что от него требуется. сосед, более сметливый, пояснил:

— Прими ноги-то! На што раскорячился? Нехорошо. Перед начальником стоишь.

— Так вот, предупреждаю вас: впредь я буду строго карать за всякие глупые слухи о земле, о манифесте и разной такой чепухе. За эти слухи буду считать виноватыми не только одних болтунов, но и тех старшин и старост, у которых такие болтуны окажутся. Не в манифестах ваше благополучие, а в труде и молитвах... Кто усердно работает, молится Богу, платит все недоимки, тому не нужны никакие милости, ни царские, ни барские!

Мужики поддакивали:

— Правильно!

— Так точно. Ежели пьяница али лентяй — все одно... и земля ни к чему.

— В деревнях и селах приказываю вам составлять хлебные запасы, чтобы не подыхать с голоду во время неурожая, как было два года тому назад. Помните, что сказал новый Государь император: «Слушайтесь и повинуйтесь вашим земским начальникам!» Ушей не распускать! Смутьянов не слушать! Если в деревне объявится такой болтун, как солдат Синев, хватайте его и ведите ко мне!

— У нас таких не слышно, вашескобродие!

— У нас тоже! Наш народ как тихая вода. И ловить некого...

— Ну а теперь идите с Богом и не забывайте, что я вам приказал и что повелел вам новый Государь император... Ура ему!

Земский взметнул рукой и крикнул «ура». Мужики не догадались подхватить, а только радостно зашумели: обрадовались, что никаких особенных неприятностей на этот раз не последовало.

— Так точно! Будем помнить.

— Будем стараться!

— И всем другим скажите, что я приказал!

— Всем будет сказано и приказано!

— Постараемся, вашескобродие!

Народ, не покрывая голов, с шапками в руке, двинулся к воротам. Когда мужики вышли за ограду барской усадьбы, они накинули шапчонки и начали в интимном порядке матерщинить по адресу земского начальника:

— Погляди, сколь время продержал народ зря!

— Ну и наговорил же! Надо бы лукошко захватить, а то все его слова дорогой, как лошадь дерьмо, растеряешь...

Заговорили о солдате Синеве:

— Умнейший человек! Он тоже зря болтать не любит. За что схватили старика?

— А про землю не заикайся!

— Большая им власть дадена...

— Так-то так, а когда-нибудь правда раскроется! Правду не спрячешь! Бог-то ее видит, только не скоро сказывает... Когда-нибудь отмаемся же!

— Верно, мужики. Всему конец бывает. По-терпим покуда что...

Евгений Чириков. Прага. 1927–1928 гг.

Книга третья

I

Прошло пять лет нового царствования. Тихо и благополучно: никаких подкопов, взрывов и выстрелов. Под опекой отеческой власти земских начальников народ молчит, а что он думает — никому не известно и не интересно...

Народ молчит,

*предоставив почтительно нам
погружаться в науки, искусства,
предаваться страстям и мечтам,*

а потому —

*в столице шум, гремят витии,
кипит словесная война, — [292]*

продолжается горячий, ожесточенный бой между народниками и марксистами, и победа явно клонится на сторону последних.

Не страшит эта словесная война ни царя, ни правительство: пусть грызут друг друга, и хорошо это, что побеждают марксисты, пренебрегающие народом, то есть мужиком, и

отвергающие «героев», в течение двух царствований охотившихся за царями и их верными слугами. Конечно, и этих новых «беспочвенных болтунов» нельзя оставлять без всякого надзора, но для этого все уже сделано и все предусмотрено: главный штаб марксистов, в котором начальствуют два молодых марксистских генерала — Струве[293] и Туган-Барановский[294], толстый журнал «Начало»[295] издается охранным провокатором Гурвичем на казенные средства. Пусть побеждают марксисты: это выгоднее, не грех и помочь новым пророкам!

И вот «интеллигенция» сражается: у одного богатыря вместо палицы — мужик, у другого — рабочий. О «героях», впрочем, уже не стоило спорить: они давно вывелись, а новых не нарождается. В этом отношении — полная тишина и спокойствие, радующие нового молодого царя и утверждающие его в мысли, что советы мудрого старца Победоносцева [296] — правильны.

Ослепленный могуществом и властью покойного отца, добрый, но слабовольный царь уверовал в водворенное благополучие, в

гранитную верность и любовь народа и в беспочвенность всяких социальных и политических мечтателей. Видя свое царство и свой народ только из окон салон-вагона проездом из столиц в Ливадию[297] или через зеркальное стекло коляски, проезжая по улицам попутных городов, принимавших тогда сугубо радостный праздничный вид и оглашавшихся немолчным «ура» наемных статистов, поставляемых субсидируемыми патриотическими организациями, — новый царь доверился льстивым и продажным царедворцам. Шайки провокаторов патриотизма своим звериным ревом заглушали все попытки одиноких и смелых граждан раскрыть царю глаза на грозящие опасности. Такие одинокие и смелые казались царю подозрительными, а потому организованным жуликам патриотизма ничего не стоило превращать их в покусителей на исконные устои русского царства...

Один из таких смелых написал царю[298]: «Крестьянство освобождено от рабовладельцев, но продолжает находиться в рабстве произвола, беззаконности и невежества; государство при таком положении ста миллионов

жителей не может идти вперед»; царь только разгневался и почувствовал в смелом подданном — врага. Не пугала его и новорожденная социал-демократическая партия, ибо не грозила она ни бомбами, ни выстрелами...

Между тем новая интеллигентская вера росла, крепла и множилась последователями, разлагая и расшатывая все устои национального народничества. Молодежь, застигнутая идеологическим переломом, поболтавшись некоторое время в безверии, косяками, как рыба из моря в устья рек, поплыла к берегам марксизма. Ведь давно уже известно, что русский человек не может жить и быть без веры. Тут одинаково как у мужика, так и у интеллигента. Мужик издревле стоял на вере в Бога, Царя Небесного, и на вере в царя земного, а интеллигент переименовал Бога в «человечество», в «правду-истину и правду-справедливость»[299], в свой «народ» (мужика). Но народническая вера, а с ней и мужик, призванный создать рай на земле, — развенчаны. Во что же верить? Надо же во что-то верить! Вон народоволец Михайлов[300], казненный по процессу 1 марта 1881 года, именуя себя соци-

алистом, написал все-таки: «Если Бог есть любовь, правда и справедливость, то я верю в Бога!»[301]

«Герой» развенчан. Человеческая личность принижена. Когда-то всякий гимназист старшего класса мог мечтать о славной роли благодетеля если не человечества, то своего народа. А теперь научно установлено, что в жизни царит всемогущая историческая необходимость, а доступное всем нам дело — только помогать ей при «социальных родах»[302]. Вроде акушерки! Обидно, конечно, но против рожна не попрешь. Акушерка так акушерка! И тут утешение можно придумать: конечно, хочет или не хочет акушерка, но роды произойдут, как это всегда в жизни наблюдается, даже без акушерки. Но с акушеркой вернее: без нее младенец может появиться либо изуродованным, либо мертворожденным, а нередки случаи, когда и сама роженица отправляется на тот свет...

И вот молодежь спешила попасть если не в герои, то хотя бы — в акушерки, тем более что, по исследованиям ученых марксистов Струве и Туган-Барановского, Россия — в ин-

тересном положении: капитализм растет, как живот беременной женщины, а родится непременно социальная революция. Пес с ней! Хоть какая-нибудь революция! Столько поколений интеллигенции ждали и бредили этой заморской гостьей, а она все не приходит, надувает. С мужиком ничего не вышло. Авось выйдет с рабочим. Без веры невозможно...

Уверовали в «рабочего»...

А ведь еще Достоевский отметил: уж если русский человек во что-нибудь поверит, то не просто поверит, а уверует, сотворит себе из этого религию[303]. Если, например, он перестанет верить в Бога, то даже из атеизма сотворит себе Бога!

Так было с молодежью. Иначе вышло с «отцами». Немногие, боясь очутиться за бортом исторического корабля, предали веру своих отцов и стали притворяться марксистами. Появился особый вид помеси народника с марксистом (породистого пса с дворняжкой)[304]. Но большинство отцов старую веру утратили, а в новую не уверовали и пошли торной дорогой так называемого западничества: сперва

все политические свободы и парламент, а там видно будет! Рассеянные на различной культурной работе на необъятных просторах провинции интеллигенты пожилого возраста очутились в положении людей без веры и без всяких путевых вех. На душе — сумерки, печаль, уныние, в работе — вялость и апатичность. Впереди — никаких маяков. Для таких жизнь превратилась в сплошную чеховскую «скучную историю». Стали во множестве плодиться чеховские герои — Ионычи и Чебутыкины[305], сомневающиеся даже в том, существуют они или только кажется, что существуют. В революцию без героев такие поверить не могли, а жить без этой веры с каждым годом становилось тяжелее. У мужика хотя бы надежда на царствие небесное и вечный покой, а у них и этого нет! Скучно, душно, тошно. Картишки, водочка, любовные приключения, скандальчики в клубе, и никаких мечтаний и надежд! Любимыми книгами в провинции сделались: у мужчин — «Санин» Арцыбашева, у женщин — «Ключи счастья» Вербицкой...[306]

Да, невозможно русскому человеку без ве-

ры, без кумиров, без мечтаний о Граде Незримом. Вон в Западной Европе иначе: там при переписи населения в листиках даже особая графа лиц, не принадлежащих ни к какой религии, имеется. Много таких жителей, и живут они спокойно, без всяких проклятых вопросов и угрызений совести и сомнений, довольствуются тем, что можно урвать у жизни в маленьком кружочке своего бытия. На небеса не заглядываются: не стоит попусту время тратить. Давай синицу в руки, а журавли пускай себе в небесах летают!

У нас по-другому. Обидится любой мещанин захолустного городишка, если заподозришь его в таком безразличии:

— Что я, свинья, что ли! Поди, я по образу и подобию Божьему сотворен...

Вон наш знакомый, алатырский купец Тыркин: разбогател и разъелся на хлебном и пароходном деле, а все на совести неспокойно. Не о хлебе едином печется. За пять лет немало добрых дел натворил: богадельню для престарелых устроил, для уездного училища дом построил, койку в память умершей супруги в больнице на свои средства содержит,

купол на соборе позолотил!

То же и другой наш знакомый, симбирский купец Ананькин: каждую субботу на своем дворе нищих кормит, на голодающих жертвует, каждую весну где-нибудь в монастыре единоверческом поживет, а потом в свою березовую рощу, у Кудышевых купленную, кукушек послушать приезжает — погрузить да за водочкой поплакать о хорошей неведомой праведной жизни и о горькой судьбине каждого человека: из земли бо родимся, в землю превратимся...

Всем: и мужикам, и купцам, и дворянам — в сокровенных мечтаниях Град Незримый чудится...

II

Беспокойна душа русского человека. Никак не приучишь ее курицей по своему грязному двору ходить. Крылатая душа, все норovit к небесам взлететь, в небесной синеве поплавать, в туманах синих, в блеске солнечном, в тучах громовых. Больно уж широки, бескрайны просторы русские, больно далеки горизонты с далями притягивающими, больно сказочно-таинственны леса дремучие. И

всё сладостной грустью о далеком и несбыточном пропитано. И сказки русские, и песни русские. А великие многоводные реки: Волга, Кама, Ока, Днепр, Дон! Широкими стеклянными дорогами бегут по этим просторам к морям синим и непрестанно беспокоят душу и сердце неутомными думами о краях далеких, неведомых, заставляют грезить о великом счастье, которое, как клад заповедный, не дается в руки русскому человеку...

Немало теперь ученых умников развелось, которые утверждают, что русскую душу славянофилы да народники выдумали, что у нас, русских, нет никакого «национального лица» [307]. У всех культурных народов такое лицо имеется, а у нас нет.

Каждый из таких народов выработал свой законченный национальный внешний и внутренний психологический тип. За словом «немец», «француз», «англичанин», «американец» — всегда рисуется определенный образ, с определенным содержанием. При слове же «русский» — ничего определенного не рождается.

Такой ученый умник сейчас же вспомнит

о ходячей сказке про какую-то «широту русской природы» и скажет:

— Старо! Никого этим не обманешь.

Ему даже стыдно и неловко повторять эту ходячую пошлятину, и он сейчас же с иронической улыбкой заговорит о купце, который один хочет в двух каретах ехать или бьет в ресторане зеркала, мажет горчицей физиономию лакею и кричит: «За все плачу наличными!»

Да, бывают и такие дикие случаи с русским человеком. Смешно и возмутительно такое проявление «душевной широты». Но и тут все-таки эта широта имеется: в душевном экстазе, пусть диком и возмутительном, русский человек не жалеет денег, деньги теряют над ним власть. Но ведь приводить такие примеры — значит отделяться шуточками от серьезных вопросов...

Это тоже — ходячая пошлятина и так же старо. Ну, а вот это *беспокойство* русской души? Разве русская история на протяжении веков не дала нам тысячи примеров, в которых широта природы является в иных, высоких образах? А множество русских людей, мужчин

и женщин, различных классов и сословий, бросавших свои богатства и привязанности и уходивших в монастыри спасать душу? А боярыня Морозова[308]? Протопоп Аввакум? [309] А наш раскол, с его гонениями, рождавший миллионы ищущих спасения в «древнем благочестии»? А наше неумиравшее сектантство, рождавшее «бегунов», «самосожигателей», «духоборов»? [310] Неважно, что в них — тьма, а важен свет, который в этой тьме светит: жажда праведной жизни, праведной веры, искание правды Божией, попираемой земной кривдой. Пусть невежественный купец способен в пьяном виде набезобразничать, но важно, что свое безобразие он чувствует, понимает, важно, что он нет-нет да и затоскует в своем свинятнике, и начинает из всех сил свою свиную жизнь приукрашивать делами добрыми, щедро жертвуя из скопленных капиталов на культурные и благотворительные дела своего города. Сколько таких беспокойных совестью темных людей рождал и продолжает рождать русский народ — мечтателей о другой, чистой и праведной, жизни? В любом провинциальном горо-

де вы найдете немало вещественных памятников этой беспокойной совести и широты натуры в виде ли храма, больницы или ночлежного дома, родильного приюта, столовой для бедных.

Тесно и душно русскому человеку даже в своем благополучии. Копит-копит деньгу, а потом как будто ни с того ни с сего заскучает, затоскует и ломает всю свою жизнь; либо запьет, разорится и в босяках, как Любим Торцов, гуляет, либо, как описанный Горьким в «Фоме Гордееве» волжский купец Артемьев, все свои богатства на добрые дела раздаст [311], а сам в черную ризу облечется и, приняв великий постриг, в монастыре свою бурную жизнь кончает...

Тоска живет в русской душе неистребимая по какой-то великой правде, попоранной жизнью человеческой.

Интеллигент «по свету рыщет, дела себе исполинского ищет», всё осчастливить, если не всё человечество, так хотя бы свою родину, хочет [312], устроив в ней зримым Град Незримый. Тоскует купец в свинской жизни и стремится добрыми делами себе путь ко Граду

Незримому расчислитель. Мужик в своей грустной песне про «чужедальную сторонушку» поет[313], странником шатается по святым местам, по праведным угодникам Божиим, ищет путей к жизни праведной, путей ко Граду Незримому.

Широка и беспокойна душа великого русского народа. Правда его заедает, тяга к далекому, прекрасному, неведомому. И в *этом* его счастье и несчастье!..

Непонятен и смешон этот великан иноземным культурным народам. И смешон, и удивителен, и страшен. Не умеет и не хочет ходить той торной дорогой, которой все культурные народы шли. Все норовит по новым неведомым тропинкам сократить путь свой... Куда?.. В труппы и болота, заблудившись, попадает, но не вязнет. Кажется, вот-вот утопитя в непролазной грязи, в трясуцей болотине. Ан нет! Вылезет, пообчистится и снова в путь-дорогу...

Смешной, а все-таки — Великан. А ученые умники — «лица своего нет!»[314].

Вселенским правдоискателем и богоискателем был этот Великан исстари, таким и

остаётся. Ко Граду Незримому исстари шел, в поисках его блуждал и теперь блуждает. Слепой Великан. А поводырь лукавый... Ученый, но лукавый. Звездочет заморский. Град Незримый своим, нерусским, подменил. У народа русского сей град издревле градом Китежем именовался[315], а лукавый поводырь, Звездочет заморский, в рай социалистический потянул.

Может быть, и обманет, а покуда не удаётся, потому что хорошо помнит русский народ свой родной град праведный и вот что о нем из поколения в поколение рассказывает.

Был некогда на Руси град праведный, осиянный благодатию Божией, град Китеж. Когда на Русь обрушилась лавиной «татарва поганая»[316] и, разрушая города, посады, села и деревни, оскверняя храмы и святыни русские, предавая позорному насилию чистоту и целомудрие жен и девушек христианских, обращая в веру басурманскую детей, приближалась к стенам града Китежа, Господь не предал возлюбленный праведный град позору и разграблению татарвы поганой: боголюбивый град со всеми храмами, дворцами и хи-

жинами тихо погрузился в сокрывшее его озеро Светлояр. Татарва металась вокруг, тщетно отыскивая сокрывшийся град, истоптала конями все окрестные луга, леса и овраги, но града Китежа не нашла и в великом смущении, поражаемая лютыми болезнями, насланными на орду Господом, в страхе отхлынула прочь. А праведный град и поныне пребывает в сохранности, сокрытый от наших глаз глубоким и чистым озером, и живы там все праведники, от иерархов и градоправителей до последнего бедняка. Незримый град тот всплывет со дна озера и вновь засверкает куполами и крестами своих храмов, когда народ слезами покаяния омоет душу свою от греха неправды и тем победит воцарившуюся на земле кривду. И тогда правда Божия вновь воссияет на Русской земле...

Эта прекрасная легенда, давшая богатейший материал для нашего национального творчества в области поэзии, музыки и живописи[317], — не мертвое преданье старины глубокой, ибо русский народ до сего дня знает, где именно произошло это чудесное событие. Он укажет вам и озеро Светлояр, на дне

которого пребывает до сей поры праведный град Китеж. Находится это святое, чтимое до сей поры место в глухом лесном краю Нижегородской губернии, в Семеновском уезде. Каждый год под Иванов день[318] туда стекается множество паломников, странников и странниц со всех углов нашей необъятной родины, как православных, так и людей древнего благочестия, и особенно сектантов-богоискателей и правдоискателей. Три дня и три ночи пребывают здесь люди Божие, взыскующие Града Незримого, проводя их в спорах о путях праведных, в беседах о чудесах Божиих, в чтении Святых Писаний, молитв и пении духовных стихов, в надежде после этого подвига удостоиться особенной милости Божией: услышать, припав к земле, сладостные звоны в храмах Града Незримого, что иногда и случается...

Живая, действенная до сей поры легенда, какой не имеет ни один из христианских народов в Европе! Но многие ли из наших культурных людей, из интеллигенции народолюбивой, интересовались этим Светлоярмом русской души[319], и многие ли побывали на чу-

десном озере, сокрывшем праведный град Китеж? Увы! Большинство просвещенных людей знакомо с этой живой легендой лишь по опере Римского-Корсакова или по выставочным картинам наших художников, не подозревая даже, что легенда живет не только запечатленным в искусстве образом, а подлинной жизнью, вместе с сотворившим ее народом. Живет и не умирает с веками и поколениями.

Не знают этого даже печальники народа. В Никудышевке, например, только теперь впервые услышали об этом, и то случайно, от Ларисы Петровны и ее приезжих гостей с реки Еруслана. Вопреки строгому запрещению бабушки Наташа тяготела к дяде Грише и к его подруге жизни Ларисе и частенько тайно забегала на хутор, где все было необычайно интересно. Вот в одно из таких тайных посещений Наташа и узнала, что град Китеж не только в опере, которую она очень любила, а и вправду есть: туда собирались этим летом ехать дядя с Ларисой и гостившим у них бородастым стариком, Петром Трофимовичем Лугачёвым, который страшно понравился Наташе

и оказался отцом Ларисы. А Наташа взбаламутила уже всю гостившую в Никудышевке в это лето молодежь: непременно надо поехать на Светлое озеро, к граду Китежу! И в доме, и в обоих флигелях только и разговору было, что о поездке на Светлое озеро.

Надо сказать, что за пять истекших лет много всяких перемен произошло в барской усадьбе. Точно на четыре стана отчий дом раскололся, на четыре лагеря, на четыре племена. В каждом — дворяне из рода Кудышевых, но общего между ними либо очень мало, либо и нет ничего. Чистокровные только в главном доме: там бабушка, Анна Михайловна, ее старший сын, Павел Николаевич, и внуки: Петр, Наташа и Евгений со своей матерью, Еленой Владимировной; на хуторе — полубарин Григорий со своей «бабой». В одном флигеле по-прежнему жили супруги Алякринские, а во втором флигеле — незаконная жена Дмитрия Николаевича, акушерка Марья Ивановна Иванова, с мальчуганом лет шести, Ванькой, плодом сожителства революционера Дмитрия с якуткой в бытность его в Сибири на поселении. С виду все лагеря враждеб-

но непримиримы, но ниточки между ними все же протянуты, не порваны. Бабушка не желает никаких компромиссов и не только сама ни на хутор, ни во флигеля не ходит, но и Наташе разрешает бывать только в правом флигеле, у тети Маши. В левый флигель только Петр из главного дома похаживает, а с хутора — Лариса туда забегает. Петр бабушкины запреты в грош не ставит и на хутор, и к акушерке свободно ходит. Наташа на хутор потихоньку от бабушки бегает, акушерку же, Марью Ивановну, не выносит, как и бабушка. Тетя Маша тоже. А вот Сашенька с мужем своим, Гавриловым, приехавшие погостить к Алякринским, — с акушеркой дружат. Злая судьбина связала тетю Машу с мужем родственными связями с этой особой, проживавшей в левом флигеле с «якутенком» Ванькой: зять-то, Гаврилов, двоюродным братом акушерки оказался, да и по взглядам-то политическим, кажется, они два сапога пара... Павел Николаевич с виду держит нейтралитет, ни близости, ни враждебности особенной к окружающим его лагерям не проявляет, но как он об этом ни старается, а все-таки частенько,

поглядывая на левый флигель, морщится и хмурится. Как заметно, и он не чувствует особенной симпатии к акушерке Марье Ивановне Ивановой... Особенно же беспокоят Павла Николаевича приезжающие к ней лично гости то из Казани, то из Нижнего Новгорода. Подозрительные гости. Павел Николаевич чутьем старого революционера унюхал, что недавний гость, прогостивший у нее во флигеле целую неделю, все время прятавшийся и внезапно исчезнувший (что совпало с заездом к Анне Михайловне исправника алатырского), — субъект на нелегальном положении. С этой родственницей можно в какую-нибудь новую историю вляпаться. В главный дом эта особа пока не ходит: бабушка приняла ее однажды так негостеприимно, оппозиционно, что та надулась и больше носа не показывает, а бабушку старается совершенно игнорировать, не замечать, если случай столкнет на дворе...

Путаница, неразбериха в отчем доме: не поймешь, кто кому — друг и кто кому — враг, кто кому — родственник, а кто чужой. Был только тут один человек, который точно и яс-

но всем своим поведением это устанавливал: бабушка. Только к двум обитателям усадьбы она теплое чувство питала, помимо Наташи, — к тете Маше и к своему любимцу, мужику Никите... Ото всех прочих, даже от детей своих, душа ее все больше отгораживалась и строила забор невидимый, подобно тому, как Григорий отгородился от отчего дома забором вещественным. А кого бабушка видеть спокойно не могла, так эту Марью Ивановну, акушерку. Если с балкона узрит эту особу, так и то не выдержит: бросит свое мягкое насиженное кресло и уйдет с балкона.

— Таких зверей не было еще в нашем зверинце! — шепчет старуха.

III

Разлюбила старая барыня свою Никудышевку: на каждом шагу — боль по утратам, призраки невозвратного и непримиримости с настоящим, чуждым, враждебным и оскорбительным. И нет там ни отдыха, ни успокоения, так нужных нам в старости.

За протекшие пять лет примирилась было со всеми несчастьями. И сына блудного Григория простила. Бог с ним, пусть живет по-

своему! Но жить подолгу в Никудышевке все-таки не могла. Потянет душу невозвратное, и нет силы противиться, — позовет старика Никиту:

— Покорми хорошенько лошадей, завтра утром в Никудышевку поедем!

Какая радость для Никиты!

— У меня, ваше сиятельство, лошади всегда сыты. Я сам не поем, а уж лошадок никогда не забываю... Только время жаркое, надо, ваше сиятельство, чуть свет выехать. Я тебе в окошко постукаю, как светать зачнет...

Вот уже два года, как старая барыня забрала к себе в Алатырь любимца Никиту с парой смирных лошадей, и мужик изнывает в тоске по родным местам. Привык, привязался к Никудышевке, к барской усадьбе, к барскому двору, где не только люди, а даже собаки и те ему — как родные. И вот лицо старика расплывается в радостную улыбку, в хитроватых глазках сверкает огонек. Боится только одного: не передумала бы за ночь барыня — «У их с вечера так, а утром по-другому!»

— Только уж не отменяй своего решения! Я с вечера тарантас подмажу и овса лошадям

полную меру дам. А лошадь овса нажрется — стоять ей вредно. Мне все одно, а только лошадей испакостим этак... Ехать так ехать...

И вот чуть только на небе первая зарница заиграет — у Никиты все готово. На дворе колокольчики побрякивают. Лезет по деревянной лестнице к занавешенному окошку, осторожно постукивает и, вздыхая, ждет ответа. Не сразу поймет барыня в чем дело, а потом рассердится:

— Что ты барабанишь? Три часа только...

— Ехать так ехать, ваше сиятельство... Ни слепня, ни комара по холодку-то...

Всю дорогу — разговоры про Никудышевку и про дела на барском дворе. Смешно Анне Михайловне: Никита с такой любовью и теплотой говорит об этих делах, словно не им, помещикам Кудышевым, а мужику Никите всегда принадлежала и теперь принадлежит Никудышевка.

Как рыба в воде чувствует себя в Никудышевке Никита, а вот старая барыня вместо радости только тоскует, плачет и сердится. Новый хутор, выросший за парком, — как нарыв на душе. Хотя баба, с которой связался Григо-

рий, при ней и глаз не кажет, но у нее такой звонкий и острый голос, что от него никуда не спрячешься.

— Труба Иерихонская![320]

И как донесет попутный ветерок эту «трубу», все поджившие раны души раскрываются, и сейчас же — бессонница, мигрень и зубная боль... И вот не пройдет недели, как призывается Никита:

— Приготовь с вечера лошадей: завтра утром домой поедем!

— Что так? Говорила, месяц проживем, а теперь...

«Разя с ними, господами, поговоришь? Они сами не знают, чего желают...»

И тут едут обратно, все опечаленные: и старая барыня, и Никита, и лошади... Барыня точно больная, Никита ворчит, лошади тащатся нехотя. То дуга ослабнет, то подпругу надо подтянуть. Все не ладится. Остановит Никита лошадей и, поправляя упряжь, начинает разговаривать с лошадьми. Барыня сердитая, молчит, с ней теперь не разговоришься, а попрекнуть ее охота. Пусть слушает разговор с лошадьми:

— Неохота, видно, из Никудышевки-то бежать? Вот ведь лошадь и та свой дом знает! Какая вам жисть в городе? Стой в конюшне... света Божьего не видать. Она хошь и животная, а любит солнышко, приволье, чтобы и травку на лужке пощипать, и на спине поваляться...

Молчит барыня. Взглянет на нее Никита, а у нее на глазу слеза застыла... Как-никак, а раньше раза два в лето приходилось Никите с барыней в Никудышевку понаведаться. Теперь совсем перестала туда ездить. Называет «зверинцем». Иного и названия у нее нет для родового имени бывших князей Кудышевых: «Наш зверинец!»

С прошлогодней весны в этом зверинце появился новый экземпляр, который окончательно оттолкнул Анну Михайловну от отчего дома. Если уже проживавший там, да притом в особом отделении, за загородкой, зверь в образе «бабы, с которой связался Григорий», отравлял старухе жизнь в своей деревенской усадьбе, то этот новый зверюга внушал ей непреодолимое отвращение и страх. А пока и видела-то она этого зверюгу всего три дня в

своей жизни.

Кто же и откуда взялся этот новый зверь, обогативший никудашевский зверинец?

Остриженная под мужскую «польку» [321] миловидная дама средних лет, в пенсне, всегда папироска в зубах и дым из ноздрей, сидит по-мужски — нога на ногу, по-мужски же гладит свою голову, тычет окурки в цветы, в подоконники, в блюдечки и тарелки, трещит языком неустанно, пестря свою речь иностранными словами, и научными терминами, и латинскими пословицами, носит кофточки, похожие на косоворотки, с ремненным пояском, по профессии — акушерка, сверху донизу набитая революционными банальностями. Зовут, однако, Марьей Ивановной — имя самое благонадежное.

Первое появление ее на кудышевском горизонте было столь же неожиданным, сколь и комичным, за исключением, впрочем, старой барыни, для которой эта Марья Ивановна была новой семейной трагедией...

Начало было похоже на веселый водевиль, в котором Павлу Николаевичу пришлось играть роль доброго, но глуповатого дядюшки.

И вот как это было.

Однажды ночью, когда в алатырском доме все, кроме только что вернувшегося из клуба Павла Николаевича, спали крепким безмятежным сном, загромыхала извозчичья «гитара»[322] и остановилась у крыльца. Павел Николаевич посмотрел в окно: дама с мальчиком лет пяти в груди багажа. Сразу видно, что пассажиры с поезда. Приехать было некому. Вероятно, остановились по ошибке. Звонок...

— Кого там черт путает, — прошептал Павел Николаевич и сам вышел в сени и выглянул в парадную дверь: совершенно незнакомая особа.

— Вам кого угодно?

— Это дом Кудышевых?

— Да. Вам собственно кого нужно?

— Павла Николаевича Кудышева.

— Я к вашим услугам. Что вам угодно?

Дама сперва крикнула извозчику: «Здесь! Неси багаж!», — а потом уже ответила:

— Вы получили мое письмо из Иркутска?

— Не имел удовольствия...

— Ну, значит — перехватили!.. Мерзавцы

какие...

Извозчик носил уже в сени бесчисленные узлы и чемоданы. На дрожках ревел мальчик. Дама разрывалась на части: надо объяснить Павлу Николаевичу, кто такая она и почему приехала к Кудышевым, надо присмотреть за вещами и что-нибудь сделать с мальчишкой. Дама вела себя впопыхах таким образом, что Павел Николаевич чувствовал себя во всей этой истории на самом последнем месте: сперва вещи, извозчик и мальчик, а уж потом он, Павел Николаевич.

— Потом все объяснится... Осторожнее с этим ящиком! — Там посуда... Ванька! Прекрати рев!

Павел Николаевич, всегда отличавшийся изысканной любезностью с дамами, застыл в полном недоумении и растерянности, а дама командовала. Но вот эта стремительная атака кончилась, сени кудышевского дома были взяты приступом: дама считает вещи и торгуется с извозчиком, а любезный хозяин утешает плачущего мальчугана, дама между делом помогает ему в этом:

— Не бойся, дурачок! Это не чужой дядя...

он тебя любит...

У дамы не хватило мелочи, чтобы прибавить извозчику на чай:

— У вас есть мелкие?

— Пожалуйста!

— Дайте ему двугривенный! Вот эту корзину и чемоданчик надо захватить, а остальные вещи пока можно оставить в сених...

Павел Николаевич исполняет роль носильщика, помогает снять пальто даме и раздеть мальчугана, ведет их в гостиную, но все еще не знает, как и почему все это произошло. Случалось Павлу Николаевичу бывать в щекотливых положениях, но в столь глупом, как сейчас, он никогда еще не бывал.

— Вероятно, устали с дороги.

— Немудрено: более месяца путешествуем, — ответила дама с некоторой резкостью, словно вопрос Павла Николаевича ее обидел. — Прежде всего надо уложить Ваньку.

Она обвела испытующим взором гостиную:

— Ваньку можно на двух креслах, а я устроюсь здесь, на диване... — решила она.

— Я могу на эту ночь уступить вам свой ка-

бинет. Там огромный турецкий диван... Ваше имя... а-а-а...

— Марья Ивановна. Моя фамилия, вероятно, вам известна по процессу 193-х... Иванова! [323] Это была моя мать. Сама я — по делу Сабунаева...

— Помню, помню... — из деликатности произнес Павел Николаевич, помогая даме разговориться, чтобы догадаться, наконец, кого он приютил. Перевел гостей в свой кабинет, разбудил кухарку и велел поставить самовар и сварить яиц. Спустя полчаса в кабинете за самоваром дело стало разъясняться. Ванька спал поперек дивана, а Марья Ивановна во всех подробностях раскрывала тайну этого происшествия.

Она — жена брата Дмитрия, который благополучно бежал с поселения и теперь где-то за границей. Вероятно, в Цюрихе. Сама она была в ссылке, которая окончилась. Родом из Казани. Вернулась на родину, но там не осталось никаких связей, чтобы устроиться акушеркой в земстве. По совету Дмитрия приехала сюда: Павел Николаевич, конечно, устроит ее в своем земстве...

— А мальчик... ваш сыночек?

— Нет. Я не имею к этому никакой склонности. Ванька — сын Дмитрия от якутки. Про домо суа[324] — непредвиденное обстоятельство. От первого брака, вызванного, так сказать, естественною необходимостью. Якутка умерла от родов. Я сочла нравственной обязанностью взять этот случайный приплод. Любишь кататься, люби и саночки возить! Багаж, правда, для нас, революционеров, самый неподходящий, но... что поделаешь? Плод собственной, так сказать, неосторожности...

Говорит как пишет, дым из обеих ноздрей валит. Выражение лица, как у глубокомысленного профессора, и при этом — полная свобода слова, решительная, прямолинейная, не ведающая никаких сомнений. На что уж Павел Николаевич — из свободомыслящих, а и тот поминутно смущался перед такой непосредственной откровенностью со стороны женщины. Слушал и ужасался при мысли о предстоящей встрече и разговоре этой новой родственницы с матерью. Даже в краску вогнало Павла Николаевича, когда Марья Ивановна, не желая покидать научной термино-

логии своей специальности, рассказывая об одном случае из своей практики, назвала женскую грудь — «половыми органами»... Оробел, смутился, сказал, что пора уже спать, и, пожелав спокойной ночи, на цыпочках удалился из кабинета...

— Что там внизу случилось? У тебя были гости? — спросила Малявочку жена, когда он укладывался на супружеское ложе.

— Родственники!

Долго шептались, то смеялись, то ссорились. А в конце концов Елена расплакалась:

— Я не хочу, чтобы она жила с нами!

— Но что же я могу сделать?

— У нас не постоянный двор и не детский приют!

— Единственный выход — спровадить ее на место земской акушерки. К несчастью, ни одной свободной вакансии и штук двадцать кандидаток...

— Сказал бы, что у нас негде, не можем. Здесь есть номера для приезжающих.

— В Никудышевку ее покуда отправим... Гм... Миловидная женщина, но ни капли женственности...

— Ну вот... миловидная... Ты и растаял!

Новая ссора шепотом, слезы, упреки... Только на рассвете, когда под окном заворковали голуби, помирились и, покорные вечным законам, заснули в объятиях друг друга.

Когда семейство Кудышевых пробудилось. Марья Ивановна уже распорядилась внизу как дома, на правах родственницы. Этот неожиданный сюрприз положительно оглушил бедную старуху, которая только что бежала с тоской и обидой из Никудышевки. Первая же встреча и разговор с Марьей Ивановной наполнили душу старухи такой враждебностью и отвращением к этой особе, что она все прожитые гостией в алатырском доме три дня почти не вылезала из своего убежища и сидела взаперти.

— Если эта особа немедленно не уедет, я ухожу в монастырь!

Так никудышевский зверинец обогатился новым интересным экземпляром, да еще с детенышем от скрещення бывшей княжеской породы с вымирающим инородческим племенем.

Новых зверей поместили во втором флиге-

ле, в соседстве с Алякринскими, и с тех пор Анна Михайловна перестала наезжать в отчий дом...

IV

В тягость не только другим, но и самому себе. Такова трагедия всякого состарившегося человека, если он не отмечен какой-нибудь индивидуальной исключительностью, которая делает человека развалинами того храма, который «хоть и разрушенный, — все ж храм...». Обыкновенный человек, созданный по шаблону современности, всегда переживает самого себя и в старости превращается в живого мертвеца, в ту ненужную рухлядь, которую таскают с собой родственники при перемене местожительства. Не нужно, а жалко бросить... Седьмой десяток доживает Анна Михайловна. Уже трех царей пережила. Огромный кусок русской истории протек на ее глазах. Испила всю радость и горечь жизни. Уже все позади. Где-то близко — могила. Кажется, что все нити, связывавшие ее с текущей непрерывно рекой жизни, уже порвались. Все чуждо, непонятно, неприемлемо...

А умирать не хочется!.. Душа все еще ищет,

за что бы зацепиться, чтобы не чувствовать себя совершенно оторванной от земли и людей. Сперва цеплялась за детей — оборвалось! Казалась такой крепкой эта ниточка и все же оборвалась. С болью и кровью оборвалась. Чужими стали. Нет, больше, чем чужими. Враждебными. Зацепилась за внуков. Всю любовь и ласку материнства перенесла на них. Петя и Наташа. Две ниточки. Пока были они маленькими, бабушка чувствовала, что кому-то нужна на свете. Нередко казалось, что бабушка нужнее самих родителей. Бабушка! Бабушка! Прямо невозможно без бабушки. Правда, Петька всегда был у бабушки на втором плане, не внушал ей особенных надежд этот «папенькин баловник и любимчик». Зато Наташа всегда была убежищем одинокой бабушкиной души. В Наташе точно кусочек собственной жизни, далекой, невозвратной и прекрасной. А вот выросли Петя с Наташей, и снова скребет душу, как мышшь, огорчение: Петя — из новой породы, которая плюет на бабушек и дедушек и, как известно стало бабушке через прислугу, называет ее за глаза «бегемотом»; Наташа — одна старой породы, полна

всяких добродетелей, какие ценит бабушка в девушке дворянского рода, но нет в ней прежней нежной привязанности к бабушке и по выходе из института она заметно портится, поддаваясь влияниям «никудашевского зверинца»: то сгрубит, то что-нибудь скроет, то снисходительно подсмеивается. Увы! — исчезает заметно прежняя закадычная дружба с бабушкой, и душа девушки начинает прятаться за лживыми словами. Правда, ничего серьезного, противоречащего добродетелям, Наташа не проявляет, но все больше чувствует бабушка, что и у Наташи нужда в бабушке как-то сокращается и никак ее не удержишь. Последняя ниточка! Есть еще внук Женя, но ревнивая мать всецело владеет этим сокровищем и устраняет всякую возможность сделаться для этого внука второй матерью, как было с Наташей. Что ни сделает бабушка для этого маменькиного любимчика — все неладно, а глядя на мать, и Женька начинает чуждаться бабушки. Вот выйдет Наташа замуж — к этому, кажется, идет дело — и все оборвется. И с внуками неблагополучно. И эта мечта о внуках осквернена: «Дмитрий подкинул свою

незаконнорожденную сибирскую обезьяну... Гришина баба тоже того и гляди — родит...» Вот какие внуки идут впереди! Дожила! Пора умирать... А жизнь-обманщица новой смутной надеждой подманивает: выйдет замуж Наташа и родит того желанного правнука, с которым свяжет остатки своей жизни Анна Михайловна... Какой бабушке не хочется сделаться прабабушкой? Да и невозможного-то тут ничего нет. Похоже на то, что дело это близится.

Недаром говорится, что суженого конем не объедешь...

Катались позапрошлым летом по Волге и познакомились с одним первоклассным пассажиром. Говорят, — известный московский присяжный поверенный. Как звать — бабушка не помнит, а фамилия — Пенхержевский. Польская фамилия. Пароход — такое место, где люди легко знакомятся, но тут, как видно, не простой случай: надо было этому господину в Саратове слезть, а он с ними проехал до самой Астрахани, а оттуда на том же пароходе — обратно и проводил до Симбирска. Всю дорогу около Наташи вертелся. Мужчина вид-

ный, в возрасте уж, положительный, ответственный. Бабушка сразу заметила, что не простая это встреча, а с последствиями, потому что и Наташа как-то насторожилась, была встревожена, непоседлива, беспокойна. До рассвета с палубы в каюту не загонишь.

Ночи, видите ли, лунные, и соловьи спать мешают. Прибежит на минуточку в каюту, повернется перед зеркалом, прикроет головку татарской чадрой и так и этак или цветочек в волосы воткнет и опять — на палубу.

— Ложись! Довольно бегать.

— Не хочется... Спи, бабушка!

Спи, бабушка... Беспокойно на душе у бабушки. Отворит она окошечко и выглядывает под занавесочку: так и есть! — все с этим господином вдвоем вокруг парохода гуляют и не наговорятся досыта. Да ведь столичные краснобаи и не такой девчонке голову вскружат. А этот и подавно: все молодые дамы на него с улыбочками посматривают. Говорун занятный. Не любо — не слушай, а врать не мешай!

Из Саратова возвращался — визит в Никудышевку сделал. Хорош визит — две недели проболтался, все свои дела забросил, с моло-

дежью закужился. Подружился, видите ли, с Павлом Николаевичем. Такими друзьями оказались, что и водой не разольешь. А зимой стала Наташа письма из Москвы получать... Павел такого порядка придерживался, чтобы ребячьих писем не читать, а отдавать прямо в руки. Да разве можно молоденькой неопытной девушке такую свободу давать?

— От кого письмо получила?

— Из Симбирска, от подруги.

А бабушка своими глазами видела на конверте штемпель «Москва». Некому, кроме этого краснобая, Наташе из Москвы писать. Виду бабушка не подала, а на ус, как говорится, намотала. Наташа к обедне в собор пошла, а бабушка тем временем подобрала ключ и обыск в Наташином столе произвела. Так и есть: двенадцать писем из Москвы от этого господина! Сперва бабушка в ужас пришла, но прочитала письма и успокоилась: вполне приличный человек с серьезными намерениями; хотя из каждой строчки видать, что пишет мужчина влюбленный и страдающий, но все очень прилично и деликатно. Ни ручек, ни ножек, никаких этих романсов! Только в под-

писи: «Беззаветно преданный». В последнем письме пишет, что ближайшим летом поедет опять по Волге по своим делам и просит разрешения заехать в «незабвенную Никудышевку». Умненко написано: про любовь ни слова, а все ясно — любит.

Все меры бабушка приняла, чтобы скрыть свое преступление: всё уложила в том же порядке, как было, а вот поди же! — заметила противная девчонка. Скандал подняла:

— Кто у меня в столе шевырлся? Ты, бабушка?

— И не думала. А ты запирай, если родных ворами считаешь!

— Да стол заперт был...

— Что же, замок сломали?

— Да не сломали, а я вижу, что шевырелись...

— Что же, секреты, что ли, у тебя от родных завелись? У меня вот душа всегда для вас раскрыта...

— Душа! Сама все столы и шкафы запираешь...

Чуть не плачет. Пунцовая, глазенки горят. Побежала вниз и набросилась на брата. Крик.

Прислушалась бабушка: Петр хохочет и говорит:

— Обратись в наше Охранное отделение, к бегемоту!

Это он, негодяй, про бабушку! Не понимает, дурак, что бабушке честь внуков дороже жизни...

Зарок дала бабушка больше в Никудышевку не ездить, а тут сомнение в душу закралось. Больно легкомысленны родители-то, да свободы много девчонке дают. Человек, по письмам, солидный, да ведь слово — одно, а поведение — другое. Девчонка влюблена, людей и жизни еще не знает, не понимает, что среди столичных франтов немало волков в овечьей шкуре. Мало ли всяких случаев в жизни бывает? Видно, надо самой поехать, ничего не поделаешь. Невозможно в таких случаях без призора девочку доверчивую оставить, особенно в этом зверинце, где на глазах родные дядюшки брак отменили...

— Поедем-ка, Наташенька, вместо Никудышевки в Крым!

— Ни за что! Ни на какие Крымы Никудышевку не променяю!

Вот видите! Раньше говорила, что Никудышевка надоела, а теперь, когда туда этот господин собирается приехать, так ни на что Никудышевки не променяет...

— А что ты покраснела-то?

— Ничего не покраснела...

Может быть, бабушка и воздержалась бы от поездки, но однажды услышала через стенку ночью разговор Павла с Леночкой. Всего не разобрала, но поняла, что говорят о Наташе и Пенхержевском, узнала, что Пенхержевский женат, но разводится. Тут уж бабушка на всю ночь сна лишилась. Женатый! Бросит жену да на Наташе поженится! Когда еще развод состоится, а он в женихи полез! Значит, — предложение родителям сделал. Скрывают. Ты сперва разведись, а потом женихайся! Да и как поверить такому на слово? Много есть таких: завертит девке голову, а потом до свидания! К законной супруге. Надо ехать. Нельзя не ехать. Тут нужен глаз да глаз. Поневоле свою гордость в карман спрячешь. Наплевать на всех незаконных баб и на акушерок! Надо Наташеньку побережь...

Разом и уныние, и все обиды отлетели. Ах,

как необходимо человеку чувствовать, что он нужен окружающим! Снова Анна Михайловна свое место в жизни нашла. Приободрилась, не жалуется на ревматизмы, на зубы, отряхнулась от одолевающей дремоты и сонливости, в которые частенько погружалась, приближаясь к нирване. Даже походка изменилась: стала увереннее, тверже. Подтянулась старуха, словно воин перед сражением... А вскорости и боевые действия открыла... Написала своей племяннице в Москву, чтобы немедленно произвела дознание: кто такой Пенхержевский, насколько он порядочен, какое положение занимает в обществе, его средства и связи, семейное положение, пьет или нет, играет ли в карты, как он считается по женской части? Затем сделала наступление на родителей Наташи. Прямо, без всяких предисловий:

— Вот что, голубчики... Вы намечаете Наташу за этого пассажира, Пенхержевского, отдать. Так вот что...

Родители смутились. Начали изображать изумление. Павел Николаевич плечами пожимает, Леночка: «Откуда это вы взяли?»

— Эту комедию вы оставьте! Откуда бы ни взяла, а я Наташе не чужой человек, а бабушка. Не грех бы и со мной посоветоваться... А я вот что скажу...

И начала!

Павел Николаевич по обыкновению за своими «свободами» укрылся: Наташе девятнадцатый год идет, это раньше дочерей замуж выдавали, а теперь они сами выходят, время Домостроя миновало и т. д. А Леночка только поддакивает...

— Это в ваши времена дочерей, как коров, продавали, — говорит.

Взорвало это Анну Михайловну:

— Вот что, голубушка, скажу тебе: чья бы корова мычала, а твоя — молчала. Ты, хотя и Институт благородных девиц окончила, а поступила не лучше Гришиной бабы: из дома родительского, как корова со своего двора, сбежала... Хорошо, что Павел мой честным человеком оказался, ну а если бы на подлеца нарвалась? Так ты хочешь, чтобы Наташа твоему примеру последовала? А вот я этого не хочу и не допущу!

Сразу оба опешили и отступать начали.

Успокойтесь, не волнуйтесь, человек известный, пока говорить о замужестве Наташи преждевременно; если об этом говорилось, то предположительно...

— Однако вы его приглашаете гостить в Никудышевку!.. Наташа в него влюблена... Как же понять тех родителей, которые это подстраивают, не имея решения сблизить свою дочь с малоизвестным, да еще женатым человеком!

Это был удар оглушительный! Враги отступили в полном беспорядке... А затем внушительное и властное заявление:

— После Пасхи я еду в Никудышевку и проживу там до осени. Так ты, Павел, напиши своим арендаторам и акушеркам, чтобы они оставили меня в покое и не являлись в мой дом. Ни вашей бабы Ларисы, ни акушерки с приплодом я видеть не хочу. Когда умру, можете со всего света всех уродов собрать в Никудышевку, а пока я жива, — не желаю поганить свой дом и свою родословную... Я лучше все в монастырь отдам... Жива еще я, жива, голубчики...

— Ради Бога, тише! После... потом... Ната-

ша идет!

Павел с Леночкой покинули позиции. Алатырский дом очутился как бы на военном положении.

Только на Страстной[325], перед исповедью бабушка сняла военную охрану. Во-первых, долг христианки требовал полного примирения со всеми врагами, а во-вторых, Анна Михайловна получила из Москвы успокоительные вести относительно Пенхержевского: во всех отношениях хорош; женат, но с женой не живет; по слухам, она — безнравственная особа и изменяет ему; хотя фамилия польская, но он православный; говорят, что имеет в Западном крае большое имение, но оно записано на имя жены; судится с ней.

Анна Михайловна перед всеми, кто жил в доме, постояла на коленях и попросила:

— Простите меня, окаянную, если обидела словом, делом или помышлением.

На четвертый день Пасхи стала собираться и обрадовала Никиту:

— Завтра в Никудышевку поедем. Приготовь лошадей! Христос Воскресе!

— Воистину, ваше сиятельство, воскрес!

Никита полез христосоваться. Анна Михайловна трижды облобызалась с ним крестнакрест и подарила своему любимцу целковый:

— Только не напейся! Завтра ехать...

— Я? Чтобы напиться?

— От тебя и сейчас водкой припахивает...

— Так ведь праздник-то какой, ваше сиятельство! Сказано: возрадуемся и возвеселимся и простим все Воскресением[326]! Ты не попрекай, а лучше тоже уважь — стаканчик поднеси!

Растрогалась и улыбнулась строгая барыня. Приказала девке поднести Никите стаканчик.

— Только больше не пей, а то с пьяным не поеду.

— А когда ты, ваше сиятельство, меня пьяным видела?

— Случалось...

Барыня напомнила, а Никита руками развел:

— Ну и злопамятна же ты! Больше года прошло, а ты все забыть не можешь!

Напился-таки с радости, что домой в Нику-

дышевку наконец поедет, и надолго.

И вместо «завтра» старая барыня только под Николин день выехала.

V

Тихо еще в отчем доме. Пусто и в комнатах, и в саду, и на дворе. Наговорились досыта старые сестрицы, все новости друг другу поведали, и посмеялись, и поплакали, делясь своими печальями и маленькими смешными радостями и происшествиями. Время не ждет, дела не терпят. У тети Маши с мужем уже в полном разгаре страда деревенская[327]. Некогда. А вот Анне Михайловне как будто бы и делать нечего, кроме того, чтобы грустить о прошлом и невозвратном... Побродит в саду, в парке, помолится у часовни, где близкие люди непробудным сном покоятся, проглядит снова старые альбомы — точно всю свою долгую жизнь пересматриваешь с юных лет до подкравшейся старости.

Молодое растет, а старое старится. Вот и дом совсем состарился: полы повытерлись, ногами их люди за долгие года выскребли. Лестницы скрипят, как телега немазаная, ступени под ногой ходуном ходят. Стекла в ок-

нах радугой отливают. Обои местами обвисли. Печи потрескались, дымят. Колонны облупились — дожди да ветры обглодали. Перила везде подгнили. Балкон будто бы упасть хочет. Хорошо бы полный ремонт сделать, поддержать вовремя, да то денег нет лишних, то руки не доходят. Разрушается отчий дом, и никому, кроме Анны Михайловны, не жаль его.

Зато буйно разросся сад и парк. Даже темно, сумеречно как-то там стало. Сирень прямо в комнаты лезет, если окошки в сад раскроешь. Липовая аллея — точно великаны, в боевой порядок выстроившиеся. Заросли пруды осокой и камышами. По ручьям, звенящим в траве невидимо, лопухи, точно зонтики дамские, раскрытые. Крапива, малинник, бузина так разрослись, что и не продраться. Заглохли и сад, и парк. Посердилась Анна Михайловна на Машиного мужа: плохо за садом и парком смотрит. А заговорила, тот обиделся:

— Мне не разорваться! Тут уж не до оранжерей и тюльпанов, — говорит, — не до жиру, быть бы живу... Садовника теперь не держим, а мне чуть с хозяйством управиться.

Ничего, видно, не поделаешь... Надо хотя бы колонны-то поправить да побелить. Да вот еще родные могилы в порядок привести. Вот тут, около мужа, и она скоро ляжет. Недолго уж. Вот только Наташеньку бы за хорошего, благородного человека пристроить Бог привел! А то вон Зиночка бедная: отдали за Ваньку Ананькина, на чужие капиталы позарились, а только жизнь обоим испортили: в одну телегу впрячь неможно коня и трепетную лань[328] — говорится, а Ванька и не конь, а лошадь ломовая. То ноги целует, то дерется. Тоскует Анна Михайловна о невозвратном, а вся тварь вокруг от вешней радости захлебывается. Для нее нет прошлого и нет будущего, а только вот этот весенний благоухающий вечер. Радостно и хлопотливо щебечут населившие сад и парк пичуги, стрекочут в траве кузнечики, верещат в прудах справляющие свадьбы лягушки, галдят тучей взлетающие над парком галки, а где-то спряталась кукушка и плачет о нашей коротенькой жизни... Медленно шагает, переваливаясь, как утица, старая барыня с костылем в руке, вся такая старомодная сверху донизу, похожая на старого

филина в своих роговых очках... И так идет ее фигура к разрушающемуся барскому гнезду, над которым плачет кукушка!

Только дом, сад, парк и двор остались на своем месте, а все рабочие мужики и бабы дворовые — незнакомые, новые. Даже и собаки — не те, не хотят признавать настоящей хозяйки и злобно лают на нее, рвясь с цепи. Один Никита уцелел. Увидит его и, как родному, обрадуется.

Григорий пришел в первый же день ее приезда. Хотя и принарядился, а все каким-то лабазником выглядит. Один пришел, без Ларисы, а мать про нее даже не спросила. Похристосовались, а разговаривать будто и не о чем... И чай по-мужицки пьет, с блюдечка и вприкуску! Больше молчали. С полчаса посидел и встал. В руках шапчонкой болтает, говорит:

— Ну покуда, мама, счастливо оставаться...

— Посиди...

— Дел много. И рад бы да...

Поцеловал у матери руку, та губами до его влажного лба прикоснулась, и расстались. В тягость друг другу. Ушел, а на ковре навозная

ляпушка осталась. Позвала девку:

— Подбери.

Лучше бы уж не показывался! Всю ночь возилась в постели старуха, охала да шепталась сама с собой. Всю душу разбередил.

Только боль притихать стала, эта «особа из левого флигеля» с визитом пожаловала. И якутенка с собой привела. На бабушку, видите ли, поглядеть! Взорвало старуху:

— Какую бабушку?

— Вот тебе и раз! Поди, вы ему бабушка?

— Незаконной бабушкой никогда я не была, да и быть ею не желаю, сударыня.

Пожала плечиком Марья Ивановна и засмеялась, острить вздумала:

— К сожалению, Анна Михайловна, внуки без разрешения бабушек рождаются!

А той было известно от тети Маши, что мальчишка не крещен до сей поры...

— Верно, верно, теперь вместо законного брака венчали вкруг ели, а черти пели, а родится от такого брака ребенок, так вместо попа — акушерка, а вместо купели — корыто. Я человек старых взглядов, сударыня: ни жен таких еловых, ни внуков еловых не признаю.

— Мне ваше признание не требуется, мальчик этот — не мой, а поручен только мне вашим сыном Дмитрием Николаевичем для передачи его родным на воспитание...

— Напрасно, сударыня, вы приняли на себя такое поручение... У меня вовсе не приют для незаконнорожденных!

— Но Дмитрий Николаевич усыновил этого ребенка, он носит его фамилию. По законным документам он — Иван Кудышев.

Пока разговор шел об этом внуке, Иван Кудышев, оставленный без внимания обеими сторонами, очутился в гостиной и разбил там старинную фарфоровую вазу, подарок покойного бабушкиного мужа. Объяснение оборвалось, бабушка разрыдалась и впала в обморочное состояние. Марья Ивановна — человек опытный: клизму!

Когда бабушка очнулась и пришла в себя, она почувствовала себя в полной власти этой противной акушерки. Около дивана сидела тетя Маша, а Марья Ивановна ходила по комнате с заложенными за спину руками, с папироской в зубах и чувствовала себя, как призывкла чувствовать на родах.

— Марья Михайловна! Пусть бабушка лежит спокойно. Пока все идет великолепно. Вы ночуйте здесь, с бабушкой. Если ей снова будет худо, закатите еще одну клизму. Я верю в клизму, как в Бога. Вот здесь — валерианка... Клизма и валерианка... Если потребуется моя помощь, постучите мне в окошко...

Воткнула докуренный окурок в цветочный горшок и, как дуэлянт, ранивший противника и простивший ему оскорбление, гордо удалилась...

После этой клизмы Анна Михайловна окончательно возненавидела Марью Ивановну.

Кругом одни неприятности. Поехала в Замураевку родственников проведать, и ничего хорошего не вышло. Генерал петухом наскочил. Оказалось, что его сынка, земского начальника, с места убрали и перевели в другой уезд после корреспонденции в «Русских ведомостях», а что это — дело рук Павла Николаевича, никто у них не сомневается.

— Такой подлости мы не ожидали! Если ты благородный человек, так борись открыто: подай донос куда следует за своей подписью!

А тут из-за угла, в паршивую газету, без подписи. Даже на дуэль некого вызвать! Поступок, недостойный дворянина...

Пилил, пилил, даже голова разболелась у Анны Михайловны. Потом из-за Зиночки расстроилась: убежала из Симбирска от своего Ваньки — напился, приревновал и ударил. Дважды в Замураевку приезжал, в ногах у генерала валялся, просил жену вернуть. Зиночка отказалась, а теперь сама тоскует. Исхудала, глаза от слез опухли. Нельзя узнать прежней птички радостной.

А вернулась домой — на дворе тройка колокольцами позвакивает. Отец Ваньки Ананькина приехал.

— А я кукушек приехал послушать, да и заехал...

Винищем на версту разит...

То да се, а потом упрашивать начал:

— Помири ты, Христа ради, Ваньку с женой! Совсем извелся парень. Мало ли что промежду мужем с женой случается? Ну, разгорячился, ударил раз... Пущай бы побил как следует, а то всего раз один и ударил... легонько по щеке помазал... А кто виноват? Не пяль

глаза-то на ахтеров, если ты законного мужа имеешь! Сама и виновата-то... Уважь уж! А я тебе соловья подарю... Такой соловей, что век бы слушал. Из Курска мне привезен.

Надоел разговорами глупыми. Опять голова разболелась. Позвала после отъезда гостя тетю Машу и на всякий случай наказала:

— В случае если опять припадок, ты сама мне клизму поставь!

Припадка не случилось. Только тоска начала мучить.

— Уж поскорей бы наши приезжали! Вместе — тесно, а врозь скучно...

И вот начался съезд своих и чужих, званых и незваных. Прежняя монархия отчего дома с царившей в нем Анной Михайловной окончательно рухнула, распалась как бы на четыре равноправных штата с женщинами в качестве президентов: в главном доме — бабушка, в правом флигеле — тетя Маша, в левом — самозванка, акушерка Марья Ивановна, на хуторе за забором — баба Лариса. Никудышевские соединенные штаты — каждый с полной автономией и собственным уставом внутри, но с некоторым, чисто внешним признанием

суверенности центрального штата во взаимных отношениях, очень осложнившихся и запутанных не только различным политическим вероисповеданием, но и личными симпатиями и антипатиями.

«Бабушкин штат» — стародворянский, аристократический. Кроме самой бабушки здесь жительствовавали: Елена Владимировна, Наташа, Петр, Женя, сбежавшая от мужа Зиночка и склонная к аристократизму Наташина подруга, дочь алатырского городского головы Тыркина, Людочка (Людмила), прекрасно усвоившая себе все повадки и манеры чистокровной дворянской барышни, но бессильная против здоровья и пышности купецкой породы уездных девиц, изображаемых с таким мастерством художником Кустодиевым[329]. Штат этот по характеру своего населения был бы целым, если бы не нарушал этой цельности Петр, студент Казанского университета, бывший под долгим влиянием профессора Вехтерева, позитивист больше Конта[330], дарвинист больше Дарвина, материалист до цинизма, руководствовавшийся при классификации людей одним только подразделени-

ем их: на мужчин и женщин. Понятно, что такого «дворянина» не могли сдерживать никакие перегородки штатов, раз там появлялись «интересные экземпляры самок». Глядя на проделки этого внука, бабушка печально покачивала головой и шептала:

— Вот тебе и «никаких аистов!»

«Тетушкин штат» — в правом флигеле — новодворянский, безземельный. Тут — как в старом чулане: обломки шестидесятников и кающихся дворян, служивые люди, породившие оппозиционный «третий элемент» в городском и земском самоуправлении. Кроме тети Маши с мужем здесь жительствоваали теперь: их дочь Сашенька с мужем, Гавриловым, она — земская фельдшерица, он — больничный врач, с двумя ребятишками (один ходит, другой еще ползает), и брат Гаврилова, только что испеченный студент, Костя, лохматый и угрюмый, полный великих дум о судьбах человечества.

«Акушеркин штат», в левом флигеле, — ярко революционный и двуликий, с неустойчивым текучим населением. Тут как-то сплетается старая народническая вера с новой марк-

систской, подобно Ноеву ковчегу с чистыми и нечистыми зверями: то бездействующий замаринованный террорист, то философствующий толстовец, то марксист «настоящий», правоверный, то «ненастоящий», то плехановец, то ленинец[331]. Кроме Марьи Ивановны с якутенком здесь наиболее оседлыми оказались наш знакомый статистик с трубкой, Скворешников, первоучитель материалистического понимания истории, и родная сестра Марьи Ивановны, новообращенная ярая и пламенная марксистка Ольга Ивановна...

«Штат бабы Ларисы» — толстовско-богоискательский, сектантский, отгородившийся от прочих забором, в котором, однако, была снова проделана дыра, лазейка для взаимного с прочими штатами общения. Здесь, помимо Григория с Ларисой, жили более усидчиво старик Лугачёв и побывавший в тюрьме за зловерные слухи сектант Синев. Остальное население в виде наезжавших родственников и гостей — быстро сменялось...

Таков был в это лето никудышевский зверинец.

Недельки две бабушка жила спокойно: одна в целом доме да и во флигелях никого, кроме коренных жителей, не было, а хутор казался совершенно отрезанным и ничем не напоминал о своем существовании. У старой барыни сохранилась иллюзия прежнего единодержавия. Тетя Маша с мужем этой иллюзии не мешали, акушерка поджала хвост и не появлялась ни в главном доме, ни в саду, а уединялась со своим якутенком в дальнем углу парка, вообще не лезла на глаза. Не видать и не слышать было и бабы Ларисы, крепко сидевшей за забором и разросшимися деревьями парка. Тишина была вокруг благостная, и чудилось, что барский дом с облупившимися колоннами все по-прежнему царствует в Никудышевке, попирая все окружающее. Дух «старой барыни» как бы незримо витал над ним и, должно быть, внушал всему окружающему некоторое почтение, а если не почтение, то молчание, притворный пиетет. Никто пока не приезжал гостить ни в правый, ни в левый штат. Точно и гости побаивались старой барыни, старой совой посиживавшей на дряхлом балконе и дремавшей под теплым

и ароматным ветерком в своем старинном кресле...

Но вот приехал Павел Николаевич с женой, Наташей и Женькой, — и, как птицы перелетные, потянулись со всех сторон во все штаты гости званые и незваные. Бабушкин дух сразу испарился в пространство и заменился либеральным духом Павла Николаевича. Гостеприимный хозяин, просвещенный, а потому в высшей степени терпимый и деликатный человек, умевший за приятной улыбкою прятать все свои симпатии, общественные и личные, как и антипатии, особенно к женщинам идейным, — Павел Николаевич — точно привез с собою «хартию прав человека и гражданина» для всех жителей «никудышевских соединенных штатов». И бабушка сразу стушевалась и утратила свои устрашающие свойства. Жители получили все свободы: свободу слова, которую бабушка именovala «болтовней», свободу совести, которую бабушка называла, «свободой от совести», свободу сходок и собраний, которую бабушка называла «базаром», право совместного пользования садом, парком, прудами, ба-

ней и право иметь собственных гостей, с возложением всех расходов по кормлению и удовольствию населения за счет отчего дома.

И вот кончилась грустная тишина в заросшем саду и в парке, на поросшем травкою барском дворе, и заколдованное царство пробудилось от человеческой суеты, громких вскриков, звонких женских голосов, молодого смеха...

Так шла одинокая фигура старой барыни к этому мертвому, напоминающему старую могилу барскому имению, и так не гармонируют с ним все эти наехавшие внезапно люди! Удивленно, кажется, смотрит на них и старый дом, и сад, и парк, и все окружающее. Отвыкли. Все точно испуганно насторожилось. Старым липам и плакучим березам грезятся картины прежней шумной барской жизни; прудам — былые празднества с разноцветными фонариками, отражавшимися в их водяных зеркалах, с любовным смехом или шепотом в беседках, на островках, стоны клавесин из загоревшихся ночными огнями окон барского дома, шепчущиеся в кустах сирени парочки, поцелуи...

Удивленно и недовольно смотрят со стен старинные портреты мужчин и женщин, молодых и старых, никому теперь не нужных и забытых предков князей Кудышевых, разодетых в чопорные костюмы, и кажутся смешными, дерзкими, не умеющими себя держать все, кто перед ними останавливается и улыбается насмешливо...

Было здесь недавно так тихо и спокойно всем: и старым портретам, и старым липам, и плакучим березам, и заросшим камышами, водорослями и тиной прудам, и галкам, и щукам, и карасям, и лягушкам в прудах, и залетавшим сюда дупелям и бекасам, и мраморным костям нимф, погребенным в гниющей листве и лопухах... И вдруг налетели смешные и дерзкие современники, с их мудрыми разговорами, спорами и ссорами, с непонятными играми и танцами, с непристойными романсами — и нарушили вечный покой отжитой жизни, отжитых дум и чувств, радостей и печалей. Недоволен и старый дом: ветхие ступени лестниц тревожно задрожали и заскрипели под дерзкими ножками в туфельках и башмаках — такая беготня, какая была

в прошлом столетии, когда случился ночью пожар. Вот то же и в парке. Никому не было нужды тревожить покой полуразрушенных каменных лестниц, вьевшихся в землю и поросших бархатным зеленым мхом, а беспокойным людям захотелось походить по этим каменным трупам, напоминавшим надмогильные плиты, хотя удобнее ходить по тропинкам, проложенным в обход этих развалин. Тихие заколдованные пруды избороздились дорожками, оставленными Бог весть откуда взявшейся новой раскрашенной лодкой, до смерти напугавшей и щук, и карасей, и лягушек с выпученными от изумления глазами, и одичавших уток, считавших пруд своей исконной собственностью, и поселившегося здесь дупеля с дупелихой и семейством...

Старая барыня посиживала на своем балконе и тоже изумлялась, поглядывая на шумливую молодежь. И свои, и заезжие не нравились ей: слишком громко и грубо хохочут, и неприлично одеваются, и дерзко разговаривают, и в манерах мужиковаты, и игры у них какие-то нерусские, и поют бессовестные ро-

мансы, в которых все больше воспевается незаконная любовь и необузданные страсти с угрозами убить или утопиться, особенно же изумляли и возмущали бабушку танцы, на которые и смотреть-то порядочному человеку неприлично... Привыкла было бабушка к тишине, к ровной и правильной, как часы, жизни, к молчанию и безлюдью в доме, в парке, к безмятежной неподвижности своего царства. А теперь, когда понаехали званые и незваные, — опять ни покоя, ни порядка нет. И все в чужой монастырь со своим уставом лезут, а Павел Николаевич за глаза ворчит, а в глаза мило улыбается...

— Эх, дипломаты!

Старшего внука, Петра, не любит бабушка; набрался такой премудрости, что и слушать тошно: ни Бога, ни черта, ни царя, и род свой ведет не от князей Кудышевых, а от обезьяны. В дядюшек пошел — не миновать каторги!

Одно утешение у бабушки — Наташа. Сразу видно, что девушка благородной крови и воспитания такого же. А вот подруга-то, девица Тыркина, неподходящая: вертушка, нет застенчивости с мужчинами, кокетка злостная.

Хоть и с французским произношением, и в манерах — ничего себе, а все купчиха вылезает, ничем, видно, «парвеню»-то не прикроешь...[332] Не испортили бы Наташеньку! Болит за нее душа. Уж поскорей бы на руки приличному человеку передать! Подслушала вчера разговор... Петр про любовь барышням говорил. Так бы топнула ногой, обозвала нахалом и погнала вон из своего дома. Недавно поинтересовалась бабушка, какую книжку дал читать Наташе братец. Вытащила книжку из-под подушки Наташиной, почитала, покуда все по лесам разбежались, так волосы на голове дыбом поднялись. Семьдесят лет скоро на свете прожила, а стала читать — глазам не верит, чтобы такую скверность напечатали и продавали за целковый всем, кто хочет. «Золотым ослом»[333] называется. Такая развратница описана, что не прославлять такую бабу, а либо выдрать да в Сибирь, либо в сумасшедший дом надо отправить. А этот идиот, папенькин сынок, сестрицу и девицу Тыркину просвещает!

Девушки чуть-чуть только институт кончили, а он им все пакости выложил: на! — по-

учайся. Показала эту книгу Павлу Николаевичу, а он:

— Классическое произведение!

— Да ты почитай!

Слово за слово, и поссорились, сперва с отцом, потом с сыном, Петром.

Ах, какой дерзкий и противный негодяй: и крокодиллом обругал, и жандармским полковником. Три дня бабушка взаперти сидела в своей комнате, туда ей и кушать подавали... Поскорей бы уж умереть, что ли! Тошно жить на свете.

— Настоящий зверинец, а укротителя нет!

Когда все разбегутся из дому, бабушка выползает из комнаты своей и бродит. Смотрит на старинные портреты, как на портреты родных людей. Все другие рассматривают этих людей, как картины на выставках или восковые фигуры в паноптикумах, и говорят не о людях, на которых смотрят, а о живописцах, которые их написали. А вот бабушка любит посидеть один на один с предками. Сядет, положит руки на живот и умиленно смотрит то на одного, то на другого, угадывает черты сходства в живых Кудышевых с мертвыми.

Оказывается, что у каждого предка есть какая-нибудь черточка в лице, напоминающая родных современников. В памяти бабушки сохранились слышанные в детстве от родных разные случаи из жизни этих портретов, то смешные, то драматические, любовные истории, придворные успехи. Для бабушки это не портреты, а люди, близкие и родные. С укоризной и печалью, кажется бабушке, взирают они на своих обедневших и потерявших свое княжеское достоинство родственников. На них — генеральские ленты, звезды какие-то, у некоторых вся грудь в орденах...

Куда все это подевалось!

— Нет ничего... Зверинец какой-то остался...

Побывавши в гостях у славных предков, бабушка пропитывалась снова горделивым величием и на целую неделю заряжалась боевым настроением. Вытащит вдруг из дубового, медью окованного сундука, отпирающегося с музыкой, парадное шелковое платье, допотопную шляпу и мантилью. Нарядится, важно усядется на расхлябанный тарантас и поедет к обедне помолиться за упокой всех

именитых предков...

Смешной кажется тогда старая барыня всем: и родным, и гостям, и прислуге, потому что ведет она себя в такие моменты очень уж величественно — голос трубный, жест повелительный...

— Опять на старой барыне черт поехал! — шутит Никита.

Опять вытащила плисовую шапку[334] с пером, приказала Никите надеть. А тот:

— Лучше уж расчет дайте, а я в этой шапке в церковь не поеду! — пожаловался Никита Павлу Николаевичу.

Павел Николаевич посмеялся, расчета не дал, а шапку с пером отобрал и опять с матерью поссорился. Та и церковь отменила, не поехала. Снова несколько дней взаперти сидела, плакала да молилась, а потом отмякла и появилась кроткой, тихой и смиренной. Так всегда эти приступы гордости кончались.

— Отошла наша старуха! — радуются на кухне.

Казалось, что временами души предков, изображенных на старых портретах, прилетали из прошлого и вселялись в бабушку. Точно

старый крепостной мир все еще бродил бес-
сильным призраком около Никудышевки,
как неотпетый покойник около своей моги-
лы. Смирится бабушка, переломит нахлынув-
шую гордость и спесь вельможную, а душа
все-таки непрестанно скорбит: не приемлет
душа нового мира. Чужая она ему. И дети, и
внуки — все, дорогие и близкие по крови, но
для души — чужие и далекие. И любя их,
только мучаешься. Точно кровоточащие ра-
ны они для старухи, живущей воспоминани-
ями о невозвратном. Случалось — смот-
рит-смотрит бабушка на свою любимицу На-
ташу и вдруг, прильнув к ней, расплачется.

— Бабуся, милая! Что с тобой?

— Не знаю, родненькая... сама не знаю.

VII

Цветет земля и небо. И ликует все живое...
Троица![335]

В Никудышевке — храмовой престольный
праздник. Празднично и в деревне, и в бар-
ской усадьбе. Все разное, а праздник общий.

Вчера с вечера девки с ребятишками разу-
красили и церковь, и улицу молоденькими
березками, а сегодня с раннего утра все при-

нарядились: и мужики, и бабы, и девки с парнями, и ребятишки, старики и старухи. Все — как новенькие деревянные куклы, в красное, синее и белое раскрашенные. На широком лужке вокруг церкви — точно ярмарка. Еще и в колокол не ударили, а тут — толкотня. Из окрестных деревень люди сошлись и съехались. Пестро, ярко, цветисто от платочков головных, от сарафанов, от белых, синих и красных рубах, от лент девичьих. Урядник верхом на коне приехал, для порядка: на Троицу в церковь и начальство, и господа приезжают — надо, чтобы дорогу дали, безобразий каких не сделали. Случается, что и до обедни иные напиваются. Известно, что кто празднику рад, тот до свету пьян.

Отчий дом тоже принарядился и приукрасился. Бабушка давно уже распорядилась все колонны к празднику выбелить, и теперь старый дом точно помолодел и приободрился. И расход маленький, а точно весь дом обновился. Хитрая бабушка. А молодежь, позабывши все свои принципиальные разногласия, отдала дань стародавнему обычаю: везде гирлянды из цветов и пихты, вензеля из сирени, мо-

лоденькие березки и елочки темно-зеленые с весенними изумрудными свечечками. Наташа с Людочкой Тыркиной даже убежденных атеистов, Петра Павловича, Скворешникова и Костю Гаврилова на эту работу поставили.

— Ну и пусть — буржуазные выдумки, но ведь красиво?

Вчера до полуночи вся молодежь возилась, украшая дом, оба флигеля, кухню, ворота. Девушки увлекли своей восторженностью даже солидного столичного гостя, Адама Брониславовича Пенхержевского. Даже это «бабушкино пугало», подозреваемое старухой в любовном покушении на любимую внучку, помогло им цветы собирать...

А всего больше, конечно, помогла сама буйная весна: перед террасой — цветники точно персидские ковры, сад точно в бело-розовом конфетти — яблони, груши и черешни в полном цвету. Садовая изгородь обвесилась кистями благоухающей сирени, белой и фиолетовой. Перед рассветом маленько дождичек попрыскал, и к утру точно вся земля умылась, засверкала чистотой, слезками радости на травке, на цветах, на древесных листоч-

ках...

Боже мой, как радостно это праздничное утро. Каким ароматом дышат и сад, и парк, и лес, и, точно коврами зелеными покрытые, просторы полей...

Ликуют земля и небо. Неумолчно хор пернатых славословит Господа и поет хвалебные кантаты в честь Земли. Ведь сегодня она — в Духе Святом сочетается с Небесами. Тоже невеста, и так же нарядна и радостна, как Наташа, тайно влюбленная и тайно счастливая, — тайный жених к ним приехал.

Сегодня «старая барыня» торжественно выезжает в своей старомодной колымаге в церковь, и потому обедня служится не так рано, как в обычные воскресенья. Бабушка хотела, чтобы Наташа вместе с ней ехала, но та заупрямилась: свои планы:

— Мы все — пешком!

— Разве и наши балбесы в церковь вздумали?

Под балбесами бабушка разумела всю мужскую молодежь, которую считала безбожниками.

— Какие балбесы? Мы идем с папой и Ада-

мом Брониславовичем!

Бабушка смутилась:

— Ну, это — другое дело.

Торжественно выплыла из дома бабушка, сводимая с лестницы двумя девками под локотки. Зрелище, привлекшее внимание всей дворни. Бабушкина колымага была тоже украшена березками. Это проделал Петр с явным умыслом пошутить над бабушкой: колымага напоминала теперь скорее садовую беседку, чем полуоткрытую карету. Принарядившийся Никита с густо намазанной коровьим маслом головой вскарабкался на высокие козлы и тронул лошадей. Вздогнули колокольчики, посыпались бубенчики, и садовая беседка поплыла к распахнутым воротам, где топталась уже куча деревенских ротозеев и ребятишек...

— Ровно баба-яга в ступе, — шепотком подсмеиваются никудашевские варвары, а шапки на всякий случай с голов сбрасывают:

— С праздничком, ваше сиятельство!

Одно зрелище кончилось, началось новое: пешее шествие господ. Расступились, пожирают насмешливо-любопытными взорами,

опять шапки долой и хором: «С праздничком!»

Впереди всех Наташа с Людочкой в белых кисейных платьицах, в веночках из белой сирени, под зонтиками: у Наташи зонтик ярко-пунцовый, у Людочки — синий. Точно два цветка: мак и василек. За ними — Костя Гаврилов и Петр Павлович в пристяжках[336] к соломенной вдове[337], Зиночке Ананькиной; Костя в вышитой русской рубаше, Петр в чесучовой паре[338], Зиночка вся в фиолетовых тонах, а зонтик у нее — японский. Затем Сашенька с Марьей Ивановной: первая в малороссийском костюме, вторая в неизменной кофточке с ремешком. Позади всех — Павел Николаевич с гостем, Пенхержевским... Оба — в белых костюмах и соломенных шляпах-панамах.

Есть на что посмотреть! — Все ротозеи глаза разинули, бабы с девками в восхищенном умилении зашептались, делясь между собой впечатлениями от разных поразивших их подробностей в одежде и украшениях.

Не будем строги к этим варварам: если в городах у модных витрин с манекенами по

часам трутся культурные и просвещенные зеваки, почему бы жителям Никудышевки не взглянуть на столь редкостную выставку живых манекенов из господ и их гостей?

Бедный лохматый Костя Гаврилов безнадежно влюблен в Наташу. Петр Павлович разводит свой очередной «адюльтер» с Людочкой Тыркиной. Едва вышли за околицу, как эти, по бабушкиному выражению, балбесы начали осаждать спутниц. Наташа молчалива, строга, полна религиозно-праздничным настроением и своей тайной. Она охраняет эту тайну от постороннего взгляда, бережет ее, как драгоценность. Нет в ее душе ни хитрости, ни ревности, ни зависти, ни жажды кокетничать. Любовь ей кажется глубокой и огромной, как море, как небо, манящей и страшной стихией, прекрасной и роковой. Нельзя шутить, нельзя иронизировать над этим таинством души. А Петр с Людочкой «паясничают», изощряясь в остроумии и дешевеньких, вычитанных из плохих французских романов диалогах на любовные темы, а потом еще и другой кавалер одолевает умными разговорами о прибавочной стоимости и

производственных отношениях, о мире как нашем представлении, об анархизме, который разделяется на два вида[339]. Увы! Ни Карл Маркс[340], ни Шопенгауэр, ни Штирнер [341], даже сам Ницше[342] не помогают в делах нежного чувства! Костя старается поработить девушку своими познаниями, своей начитанностью, глубиной мысли и чувств, но девушка остается молчаливой и невнимательной. Наташа прислушивается к своей душе, и чудится ей там необыкновенная музыка, тихая-тихая и такая нежная, что для нее все эти умные слова — как топор или барабан...

Подтянулась к молодежи Марья Ивановна. Она давно уже видит, что «чепуха» происходит: идейный Костя, которому надлежало бы ответить взаимностью влюбленной в него Ольге Ивановне (оба — марксисты!), ухаживает за чуждым «классовым элементом», за кисейной барышней. И ей и досадно, и обидно за свою сестру Ольгу, которая плачет по ночам от бессильной ревности.

Послушала-послушала она, как Костя старается Наташу идейным разговором очаро-

вать, и не вытерпела. Оттянула его за рукав в сторонку и шепнула:

— Не мечи бисера! Не стоит...

Густо покраснел Костя Гаврилов, сердито отдернулся от акушерки и снова прилип к Наташе... Настойчивый и очень уж надеется на Карла Маркса!

Около церкви не продерешься. Вся ограда запружена народом. В распахнутые двери паперти вырывается хоровое пение, видны бесчисленные огоньки горящих восковых свечей.

— Осади! Осади! — покрикивает урядник, делая под козырек нарядной компании никудышевских господ и раздвигая густую толпу потных парней, мужиков и баб. Народ расступается, насмешливо и враждебно посматривая на сильно запоздавших нарядных богомольцев и богомолков. А потом затаенно ропщет:

— Нас не пропускают, а им — пожалуйста!

— Это для нас нет места в храме Божьем, а для них всегда найдется...

— Милее, видишь ли, они Господу-то. Вишь, как разряжены, словно ангелы!

Около церковной ограды — несколько тарантасов, запряженных парами лошадей. Позванивают лениво колокольцы. Это с разных сторон — господа и начальники. Тут же и бабушкина колымага в березках. Около тарантасов — ямщики. Тут же и Никита. Про своих господ сплетничают, душу отводят, рассказывая про их причуды, несправедливости и глупости. Всякого тут наслушаешься, больше, впрочем, дурного и смешного, чем хорошего и дельного. В общем, критика господ — недоброжелательная.

В церкви тесно, душно, жарко и шумно от кашля, детского плача, ссор и шепотов. Господам отдельное место уготовано: решеткой впереди огорожено, чтобы не теснили и белых платьев не испачкали. Точно какие-то Божии избранники! Бабы с мужиками эту загородь в насмешку «раем» прозвали:

— При жизни в рай-то попадают!

И урядник встал около загороди. Мужиков и баб отпихивает, господское спокойствие охраняет.

Этот рай бабушка учредила, и там у нее даже мягкая скамеечка поставлена.

Все в этот рай вошли, кроме акушерки, Сашеньки и ее мужа. Те отказались принципиально. Марья Ивановна очень удивилась и рассердилась на Костю Гаврилова, который примкнул к «привилегированному сословию» и оказался за решеткой. А еще марксист!..

Когда обедня кончилась, батюшка с крестом прежде всего «господ из загороди» обслужил. Сперва бабушка приложилась, а за ней все прочие. Так уж издавна установилась эта очередь. Приложились господа, получили по просвирочке и домой, а тогда уж и к народу крест обратился. Толкотня, давка, визги и ссоры. Поскорее уйти от этого безобразия! Урядник прочистил путь, и господа первыми, под перезвон колокольный из церкви вышли и между собой в ласковое общение вошли: поздравления, поцелуи, восхищение костюмами. Вот и господские лошади тронулись: зазвенели на разные лады колокольчики и бубенчики, все село этими веселыми звонами наполнилось, а мужицкие собаки заголосили от злости... Вот и бабушкина колымага в березках поплыла... Смотрят вдогонку парни,

мужики и бабы, не попавшие в церковь за теснотой, и присоединяются к собакам:

— Ровно собачья свадьба!

А колокола церковные гудят. Из церкви яркая толпа мужицкая выливается. Говор, гомон, смех, визги. А вдали уже — гармошка и пьяный голос:

*А сегодня Троица,
Девки в речке моются![343]*

После обеда, за которым сидело пятнадцать человек, разбрелись кто куда: молодежь пошла в луга, к речке, смотреть, как девки венки завивают да в воду бросают, — гадают о судьбе своей[344]: чей венок потонет — тому умереть, а чей на бережок выкинет — тому замуж пойти, а чей венок вода унесет, — в чужедальнюю сторонушку готовиться. На лугах, по бережкам, в лесу по опушке — везде девки с парнями: песни поют, хороводы играют, в горелки бегают. Визг по кустикам, смешки да шепоты, в разных концах гармошки наигрывают под песенки подговорные. К вечеру девки в лес пошли — «с кукушкой кумиться»: выбрали березку, разукрасили ее лентами, бу-

сами, веночками, стали под песенку яичницу готовить, поели яичницы и кукушке немного оставили, попрятались и стали ждать, когда кукушка петъ начнет, а запела кукушка — спрашивать стали.

— Кума моя, кумушка, милая кукушечка! Скажи, много ль годов мне на земле еще прожить? Долго ли, кумушка, мне в девках ходить? Много ль, кума милая, детей мне породить?

Шумно день прошел. Не заметили, как ноченька подкралась. После ужина — бал устроили. Даже бабушка с антресолей своих вылезла посмотреть, как молодежь веселится. Все шло чинно и благородно, пока Петр, Костя, статистик Скворешников и Марья Ивановна с Ольгой Ивановной, тайно исчезающие по временам из бального зала, не наклюкались наливки. А тогда такое «варьете» пошло, что бабушка в ужас пришла: Петр с Марьей Ивановной угостили публику «кэк-куоком»[345] с неприличными, на взгляд бабушки, фокусами, а танец сей неприличный играла, к изумлению бабушки, Людочка Тыркина, а после этого напившийся статистик Скво-

решников с Ольгой Ивановной начали пролетарскую «карманьолу» [346] отплясывать...

А вот на хуторе за забором совсем по-другому день прошел. Ведь сегодня — сошествие Святого, а не дьявольского Духа. Перед этим днем — долгий пост, чтобы плоть очистить и получить благодать Духа Святого, переданного нам через апостолов. На хуторе тоже гости съехались, но там тихо и таинственно. Гости там одеты чисто, но не в светлых красочных одеждах, а в холщовых саванах. Весь день молились, ожидая Гостя Небесного, читали Евангелие, прерывали чтение тоскливым монотонным пением, точно плакали хором.

VIII

Позвольте познакомить вас поближе с заезжей столичной знаменитостью, присяжным поверенным Адамом Брониславовичем Пенхержевским, быстро сделавшимся в «никудышевских штатах» общим любимцем.

Постоянным местожительством Пенхержевского была давно уже Москва, но едва ли не большая часть жизни его протекала в разъездах по разным концам России по делам своей профессии: он выступал защитником,

главным образом, по делам политическим и сектантским, а из дел уголовных — лишь в таких, которые давали возможность, пользуясь материалами следствия, строить свою защиту таким образом, чтобы за спинами обвиняемых всегда вставал как главный и безнаказанный преступник — режим царского самодержавия. Пенхержевский летал по всем судебным округам, и потому у него было много друзей среди провинциальной передовой интеллигенции и поклонников, и особенно поклонниц тайных, даже среди местной судебной аристократии. Приезд Пенхержевского в какой-нибудь губернский город всегда делал там целое событие, и процессы с его выступлением привлекали всегда столько публики, что приходилось пускать ее по билетам.

Был он уже не так чтобы молод. Серебристая сединка, как первый мягкий и пушистый снежок, поблескивала на висках его темной волнистой шевелюры, но эта сединка не старила, а лишь как-то особенно заинтриговывала, делая Пенхержевского значительным и интересным, ибо была резким контрастом с молодежьим лицом и горящими карим огнем

глазами и со всей его крепкой, высокой и стройной фигурой, свидетельствовавшей лишь о силе и зрелости, а никак не о старости. О том же свидетельствовал и его голос — тенор драматического тембра, полный кипучего темперамента. Всегда безукоризненно одетый, веселый, остроумный и неистощимый собеседник, Пенхержевский неотразимо действовал не только на женщин, но даже и на судей, и присяжных заседателей. Послушать Пенхержевского было множество охотников даже в лагере тех людей, которых Павел Николаевич называл «бегемотами его величества»...

— Такой воспитанный, такая умница, такой симпатичный и защищает таких негодяев! — говорила высокопоставленная крокодильша, а обслуживавший ее крокодил, вздыхая, произносил:

— Этого умника, ваше превосходительство, давно бы следовало повесить!

— И все-таки он — обворожительный! — шептала дама, лорнируя Пенхержевского.

Адам Брониславович был именно обворожителя. Чары этой обворожительности бы-

ли так сильны, что даже бабушка, очень подозрительно относившаяся к этой «столичной штучке» ранее, через три дня после приезда гостя была уже им очарована. Бабушка уже таяла от его благородной воспитанности и изысканной деликатности, когда гость развлекал ее разговорами или пасьянсами.

— Каков бы он ни был, но прежде всего это — воспитанный человек, — говорила бабушка, польщенная отменной деликатностью за карточным столом к ее особе. Из всех бывших в Никудышевке мужчин только с одним Пенхержевским бабушка находила приятным говорить на «французском диалекте»:

— Настоящий парижанин!

Каждую ночь бабушка взвешивала теперь гостя на весах брачных, как будущего Наташиного мужа, и шептала:

— Воспитанный, положительный, благородный, со средствами... Если бы маленько помоложе! А впрочем...

Адам Брониславович был действительно «человеком со средствами», и весьма, как говорили, значительными. Не профессия «политического защитника», конечно, принесла

ему эти средства и обеспеченность. Политические процессы не только не приносили ему никаких доходов, но обыкновенно требовали расходов из собственного кармана. По рассказам самого Пенхержевского, родители его были люди богатые, владели когда-то огромным имением в Польше, но отец его принял участие в восстании 1863 года и за это был сослан в Уфимский край с конфискацией всего имущества[347]. Откуда же средства?

Вторая бабушкина осведомительница писала ей по этому вопросу кое-что не совсем лестное для Пенхержевского: женился на вдове, богатой купчихе, чуть не вдвое его старшей, обобрал ее дочиста и бросил, процесс о разводе затеял да еще безвинную супругу осрамил, обвинивши при помощи «благородных свидетелей» в прелюбодеянии! Конечно, всякое бывает на свете, но и то надо сказать: люди любят злословить, а языки у них без костей. Сколько тут правды и сколько лживого злословия — установить невозможно. Одно верно, что Пенхержевский развод получил с правом вступить в новый брак...

По личному же впечатлению бабушки та-

кой воспитанный и благородный человек не может сделать такой подлости, в какой его московские сплетники обвиняют. Да и как поверить осведомительнице, когда сама она — сплетница первого сорта! Попытала с этой стороны бабушка Павла Николаевича — тот даже рассердился за своего нового друга:

— Идеальный, честнейший и бескорыстнейший человек!

— А средства откуда?

— Фабрику фальшивых ассигнаций имеет!

Если Павел Николаевич гордился дружбой с Пенхержевским, если бабушка была пленена его благородством и воспитанностью, то все прочие жители штатов прямо благогове-ли перед этим, как они называли гостя, «другом революции». И действительно, защищает он политических преступников, как может защищать только отец своих детей: бескорыстно, всей силой разума, красноречия, темперамента и таланта и всей ненавистью к русским царям и русскому правительству, полученную им от униженных, разоренных и лишенных родины отцов и дедов. Ни к какой политической организации Адам Бронисла-

вович не принадлежал и сам лично революцией не занимался, но всеми силами помогал ей и тут, пожалуй, был поопаснее для русского правительства, чем сотни профессиональных подпольных революционеров. Бросая свои словесные бомбы со скамьи защитника в публику, Пенхержевский творил то же самое дело разрушения власти и государственности, что и революционеры, но оставался неуязвимым для охранителей. В каждом политическом процессе, в суде гражданском, военном или особом, если только допускалась защита, Пенхержевский участвовал как и в сенсационных и скандальных для властей предрержащих процессах, где являлся простор для сатирических речей в щедринском духе. Нельзя было даже определить, какой из нелегальных политических партий сочувствовал Адам Брониславович и какую из политических программ считал для себя наиболее приемлемой. С одинаковой готовностью и, казалось, искренностью он перевоплощался в единове́рца со своим подзащитным, какой бы партии он ни был. Достаточно было того, что клиент тем или иным путем «ниспровергал

существующий порядок». С одинаковой убежденностью он защищал как террориста, так и отвергающего террор революционера, и в первом случае доказывал, что террор — естественное и неизбежное следствие нашей внутренней политики, во втором случае ставил в заслугу своему клиенту именно то обстоятельство, что он отвергает террор, как морально неприемлемое для него средство, как безнравственное злодеяние, довольствуясь единственным данным нам Господом оружием — словом и велением совести, а поэтому этот преступник — не преступник, а вполне естественное явление на путях исторического процесса — снятие оков с человеческого слова, которое всегда можно назвать «пропагандой». Из процессов неполитических Адам Брониславович, как уже сказано, выступал лишь в таких, которые сулили скандал для особ высокопоставленных или целого министерства. В этих случаях он брал под свою защиту самых видных мерзавцев и негодяев, строя их оправдание на том основании, что эти мерзавцы и негодяи и не могут быть иными, если на негодяйстве покоится вся система государ-

ственного управления. Человек умный и хитрый, научно и литературно образованный, талантливо-вдохновенный и остроумный, он находил для своих «речей с бомбами» такие формы, которые, давая ему возможность зло вышучивать правительство, суд и самый закон, не давали суду возможности посадить на скамью обвиняемых самого защитника. В больших делах выступал лично, а в маленьких всегда охотно давал советы партийным вождям, безразлично народовольцам или марксистам, а потому и был общим другом всем воинствующим разрушителям государства Российского. Это был подлинный «друг революции», тайный пламенный мститель за свое поруганное и отнятое отечество, искусно притворявшийся другом русского народа и его «правдоискателей»...

Вот почему во всех никудышевских штатах, несмотря на их взаимное отрицание, Пенхержевский оказался одинаково приемлемым, чтимым и желанным гостем.

Все были в восторге от редкого гостя с его исключительными добродетелями: красотой, воспитанностью, бескорыстностью, идейно-

стью и прочее, и прочее. В восторге девицы, в восторге бабушка, в восторге Павел Николаевич, в восторге даже статистик, первоучитель марксизма, Скворешников, гость акушеркиного штата.

Сегодня за общим ужином, за которым чувствовался гость приветами, Скворешников, жестикулируя трубкой, произнес речь от левого штата, в которой, между прочим, сказал:

— В своих речах вы даете такие блестящие характеристики и иллюстрации нашего беззакония, бесправия и насилия, нашего варварского деспотизма, что русская мысль всех классов общества приковывается к вопросу: что надо делать, чтобы повалить русское самодержавие?

И все бурно аплодировали, а Марья Ивановна вскочила, ткнула папиросу в тарелку соседа и продекламировала:

*Буди барабаном уснувших,
Тревогу без устали бей! — [348]*

и поперхнулась, забыла, как дальше...

Когда начались эти похвальные речи, Пенержевский очень смутился, но увидя, что ба-

бушки за столом уже нет, успокоился и, выслушав все глупости, встал и произнес дифирамб в честь всей русской интеллигенции, неустанно борющейся за права всего человечества и всех народов, попираемых тяжелой пятой царского сапога, и поднял бокал за тот прекрасный день, когда русские и поляки дружным совместным напором повалят общего врага... Боже, что тут произошло!

И «шестидесятники» в лице тети Маши с мужем, и «либералы» в лице Павла Николаевича, и народники-революционеры в лице Марьи Ивановны и супругов Гавриловых, и «марксисты», чистые и нечистые, в лице Скворешникова, Кости Гаврилова и Ольги Ивановны — все, не ожидая будущего победного дня, потянулись с бокалами и братскими поцелуями к Пенхержевскому, олицетворявшему сейчас несчастную поруганную Польшу... Потом, желая ублажить представителя несчастного польского народа, пропели хором:

Еще Польша не сгинела...[349]

чем до слез растрогали пана Пенхержев-

ского. Он подсел к фортепьянам и громко и победно заиграл «Марсельезу»[350], а хор подхватил. Пенхержевский запел по-французски, а остальные, не зная языка или слов, воинственно махали рукой, отбивая такт и крича вдохновенно:

*Тра-та-та, та-та-та, та-та-та,
Тра-та-та, та-та-та, та-ра-ра!*

И грозно подтоптывали ногами...

IX

Наташа получила «предложение», родители дали согласие, и отчий дом закипел в радостной суматохе. Весть об этом событии быстро разнеслась по соседям, по всему уезду и долетела до столицы дворянства, Симбирска. Зазвенели колокольчики: гости потянулись с разных сторон — узнать, правда ли, а кстати взглянуть на столичную знаменитость... «Хорошего бобра» убили Кудышевы! Все дворянские невесты чуть только не плакали от зависти...

«Бабушкин штат» сделался именинником, и со стороны казалось, что вся жизнь сосредоточилась теперь в старом доме с побеленны-

ми колоннами. Все прочие штаты как-то притихли и стушевались перед радостным семейным событием в отчем доме, и никто не интересовался, что происходит там...

А между тем в «акушеркином штате» под радостную суматоху семейного события обдѣльвались свои «конспиративные дела». Там появился свой знаменитый гость, которого зря никому не показывали и о пребывании которого знали только немногие избранные. Подруга жизни Владимира Ильича Ульянова, «товарищ Крупская»[351]. Она была командирована «главной швейцарской квартирой» в Россию, привезла транспорт «Искры»[352], успела побывать в главных «штабах» Москвы и Петербурга с конспиративными поручениями «Центра» и, желая повидаться с родными «Ильича», оказалась в Симбирской губернии. На сей случай ей было дано Дмитрием Николаевичем поручение повидаться с Марьей Ивановной и передать ей письмо в Никудышевку. Конечно, неожиданная гостыя была принята Марьей Ивановной как родная, тем более что они знали друг друга еще по Сибири, хотя всегда стояли на разных «платфор-

мах», соответственно платформам своих мужей. Впрочем, Марья Ивановна, давно уже разлучившаяся с мужем, стала утрачивать программное чутье, и марксисты-победители немало уже засорили ее идеологическую чистоту. Поэтому партийная враждебность сибирской жизни потускнела, тем более что по редким письмам Дмитрия Марья Ивановна начинала понимать, что Дмитрий склоняется на сторону марксистов и дружит с Ильичом. Душевные разговоры с гостьей подтвердили эту догадку Марьи Ивановны, и она совершенно растерялась и сразу утратила всю свою недавнюю прямолинейность в рассуждениях о благе человечества и русского народа.

«Товарищ Крупская» по внешности своей была однотипной с акушеркой Марьей Ивановной без ее, однако, миловидности. Держалась так же, по-мужски, и причесывалась по-мужски, с рядом посередине, и кофточки с ремешком носила. Широколицая, с воловьими глазами, она говорила так, словно всегда сердилась на того, с кем говорила, и фанатическое упрямство сквозило и в ее неподвижном

взоре, и в тоне басовитого голоса, и в отрывистом жесте руки, которой она словно подчеркивала свои слова. Мужа своего в разговоре она именovala «Ильичом», которым была пропитана, как губка водой, и, как грампластинка, одним и тем же тоном и неизменно повторяла, как заводная игрушка, отрывки из напетых на эту пластинку Ильичом мотивов. За три дня тайного пребывания этой гостьи в Никудышевке из «бабушкиного штата» только один Пенхержевский под условием абсолютной тайны удостоился конспиративного свидания и беседы с «товарищем Крупской». Такого доверия он удостоился по той причине, что в прошлом году после впервые отпразднованного харьковскими рабочими Первого мая[353], осложненного сильным избиением толпы казаками и конной полицией, взял на себя защиту трех изувеченных рабочих и предъявил иск правительству, по вине чинов которого они утратили трудоспособность. Этого было вполне достаточно, чтобы помимо «друга революции» произвести Пенхержевского в звание «друга рабочего класса» и потому единомышленника «марк-

систской интеллигенции».

Марья Ивановна, поймавшая в парке одиноко блуждавшего Адама Брониславовича, взяв с него клятву молчания, открыла ему секрет и передала желание «товарища Крупской» повидаться и поговорить с ним.

— Приходите, когда все улягутся спать. Из вашей комнаты — дверь в парк, и никто не подумает, что вы у меня. Пусть этого никто не узнает!.. Даже Павел Николаевич! Моя гостья сделает доклад о том, что делается в главном центре, в Швейцарии... Не смущайтесь, что в моем флигеле не будет огня: это вовсе не значит, что мы спим. Мы занавешиваем окна... Мы считаем вас другом и потому...

— Благодарю за доверие... но обижен за своего друга, Павла Николаевича.

— Гусь свинье не товарищ!.. Так ждем... Есть последний номер «Искры»...

Марья Ивановна подозрительно огляделась по сторонам и метнулась с липовой аллеи в кусты, между которыми крутилась малоторная тропинка. Исчезла.

Пенхержевский с мефистофельской улыбкой проводил взором Марью Ивановну,

потом весело засмеялся. Не успел спросить, за кого же эта особа принимает его: за свинью или гуся? Неосторожное обращение с половицами...

Сперва Пенхержевский решил не идти. Разошлись сегодня раньше обыкновенного, и к полуночи главный дом погрузился в темное молчание. Пенхержевскому не спалось. Он знал, что его ждут, и теперь испытывал такое ощущение, точно кто-то дергал незримые ниточки, протянувшиеся из левого флигеля к его мозгу. Беспокоило это и раздражало. И вдруг осторожный стук в окошко! Точно ошпаренный, вскинулся в постели: а вдруг эта дуреха сама явилась под окошечко? Увидит кто-нибудь из прислуги — черт знает что подумают...

Чтобы поскорее оборвать грозившую опасность, Пенхержевский покашлял и тихо промычал:

— Слышу. Иду.

Нехотя, но проворно оделся и вышел в парк. Оттуда калиткой прошел во двор. Залаяла цепная собака, но поджидавший на дворе Костя Гаврилов поласкал пса и повел Пенхер-

жевского в левый флигель.

— Это вы стучали в мое окно?

— Я.

Старая-старая и такая знакомая картинка! Пенхержевский сразу вспомнил Петербург, Васильевский остров, конспиративное сборище и своего друга Пилсудского, попавшего на каторгу по процессу второго «Первого марта» в 1887 году. Напряженно серьезные лица, облака дыма, поблескивающий на столе самовар и молчание, свидетельствующее о значительности момента. И сразу бросается в глаза, так сказать, гвоздь сборища — «товарищ Крупская». Окна завешены одеялами. Лампа под зеленым абажуром освещает только небольшую окружность на столе, оставляя в полутьме все углы, по которым восседают нахмуренные участники, а «товарищ Крупская» — под лампой, с выражением ответственности на лице, торжественно надутым. К ней, конечно, прежде всего и подошел Пенхержевский.

— Пенхержевский! — мягко и певуче произнес он, протягивая руку.

— Крупская!

Остальным общий кивок головой. Тут супруги Гавриловы, Костя Гаврилов, Ольга Ивановна, Марья Ивановна и Скворешников с длинным, как фабричная труба, чубуком дымящейся трубки в губах. Единственный седой человек и держится независимо и, пожалуй, даже невнимательно к центральной фигуре собрания. Сразу видно, что его, старого воробья, на мякине не проведешь...

Поговорили полупшепотом о том о сем, и басовитый голос товарища Крупской спросил:

— Можно начинать?

Молчание. Покашливание. Шелест бумажных листочков. Докладчица обвела сердитым взглядом все углы с попрятавшимися слушателями и начала:

— Если в восьмидесятых годах еще можно было мечтать о свержении самодержавия и переходе к социализму при помощи одной интеллигенции и ее героев, то теперь всякому умному человеку ясно: такая борьба безнадежна...

Крупская рассказала, как четверо эмигрантов: Плеханов, Аксельрод[354], Засулич[355] и

Дейч[356] — объявили себя последователями Маркса, а пролетариат — единственной революционной силой.

— Революция восторжествует как движение рабочих или совсем не восторжествует!

Скворешников бросил из угла сердитую поправку:

— Я заявил себя марксистом в России совершенно независимо от группы Плеханова!

— Разговоры потом!

Крупская продолжала излагать краткую историю рабочего движения, причем разделила ее на два периода: до Ильича и после побега за границу Ильича.

В первом периоде, до Ильича, наши социал-демократы погрязли в «экономизме».

— Политическая борьба — дело буржуазии, рабочие должны вести лишь экономическую борьбу с капиталистами! — говорили они, и наша партия плелась в хвосте буржуазной демократии, а рабочие пропитывались мещанским эгоизмом. Экономизм и профессионализм укорачивали жертвенность класса во имя будущей социальной революции. Нашему рабочему движению грозила опас-

ность, подобно немецкой социал-демократии, превратиться в никому не страшную домашнюю скотину буржуазного парламента...

За четверть часа Крупская исчерпала первый скверный период, а после небольшого перерыва приступила ко второму периоду, с Ильичом. Введением к этому периоду были попутные личные воспоминания о том, как они с Ильичом соскоблили с Карла Маркса ту ученую буржуазность, в которой некогда обвинял его Бакунин, и открыли в нем истинное лицо революционера, указующего не эволюционный, а революционный путь борьбы [357].

И вот бежавший в Швейцарию Ильич начинает вытаскивать увязший в болоте экономизма воз нашего социализма на новый единственно правильный путь: политической борьбы с самодержавием и экономической с капиталистами. Если ждать, когда эволюция придвинет исторический момент к социалистическому перевороту, то это значит — ломать дурака или играть в дурачки с буржуазией. Сроки пришли, надо делать социальную революцию...

Ильич вступил в редакцию «Искры» и начал там воевать с экономистами. Плеханов уже побежден: признал необходимость политической борьбы, хотя и называет Ильича «бунтарем». Мартов тоже побежден[358]. Другие упираются, но будут побеждены. Необходимы стачки, демонстрации с кровью, массовой террор, восстания... Пути революции поливаются кровью, и глупо думать, что мы идем вперед, когда топчемся на месте...

Потом — Ильич, Ильич, Ильич... Думает так-то, сказал то-то, убежден в том-то... Многие из членов Петербургского и Московского комитетов согласны с Ильичом... Сейчас не революционная крепость, а идеологический монастырь. Ильич все это переделает по-своему. Надо раздуть революционную искру, чтобы Россия вспыхнула сперва политическим, а потом и социальным пожаром. Если в России невозможно еще создать социалистический строй, то можно разжечь социальное пожарище, и зарево его поднимет пролетариат культурных стран. Для этого опыта время созрело: озлоблен рабочий класс, озлоблено крестьянство, либеральная интеллигенция.

Тишина — перед грозой. По всем горизонтам сверкают уже молнии... и только слепые этого не видят.

Кончила. Продолжительное молчание. Покашливание. Переглядка. Скворешников заметно взволнован и раздражен. Трубка гаснет, и он поминутно чиркает спичками. Вот, как паровоз, стал он ходить, выбрасывая из ноздрей клубы дыма. Нагоняет пары, сейчас пустит на полный ход свою идеологическую мельницу.

— Гм! Гм! Что касается первой части доклада, исторической, то я должен внести существенные поправки. Товарищ Крупская упустила из виду или, вернее сказать, не заметила из-за спины своего гениального супруга вашего марксистского органа «Рабочее дело»...[359] На его знамени было начертано: политическая борьба постольку, поскольку того требует борьба экономическая. Совершенно правильная, самим Марксом обоснованная позиция. Буржуазный политический строй, как бы он ни назывался: самодержавием, конституционной монархией или республикой, — не может изменить рабского поло-

жения и эксплуатации рабочего класса. На кой же черт, позвольте спросить, вмешиваться рабочему в буржуазную политику и таскать из огня каштаны голыми руками для либеральной буржуазии? Это — интеллигентщина с ее народовольческой отрыжкой!.. Если у Плеханова с товарищами была экономика без политики, то ваш гениальный супруг Владимир Ильич готовит нам политику без экономики, а вместо социальной революции — бунт! Вы говорите о том, что ваш гениальный супруг при вашей помощи открыл Америку, узрел в чистом виде революционное лицо Маркса? А я вам скажу, что Владимир Ильич подло насилует Маркса, делая из него прикладное искусство — делать революцию! Мы этого не позволим!

Пронесся шепот негодования. Это зашипели из угла Костя Гаврилов и Ольга Ивановна, а Крупская возвысила голос:

— Я требую от товарища Скворешникова, чтобы он взял обратно употребленное им прилагательное — «подлый». Это оскорбление отсутствующего товарища Ильича!

Ольга Ивановна и Костя Гаврилов присо-

единились к Крупской и тоже потребовали. Скворешников уперся. Супруги Гавриловы остались загадочно-молчаливыми, но на их лицах играла радость. Марья Ивановна предложила Скворешникову извиниться перед Крупской.

— Во-первых, вы употребили прилагательное «подлый», а во-вторых, прилагательное — «гениальный»... Вы несколько раз подчеркнули: «ваш гениальный супруг»...

— В первый раз слышу, чтобы прилагательное «гениальный» было оскорбительным!

Крупская покраснела от злости:

— При чем тут «супруг»? Гениальный супруг? В данном случае я говорила об Ильиче не как о своем муже, а как о товарище Ленине, как о вожде нашей партии...

Скворешников уперся:

— Тогда надо вообще выкинуть из языка прилагательные! При всем своем почтении к вождю и его супруге, я никем не уполномочен на такую чистку русского языка...

Назрел скандал. В комнате запахло «третейским судом»[360]. Предчувствуя это и не

желая попасть в будущие судьи, Пенхержевский начал тушить ссору своими домашними средствами, без пожарных. Мягким бархатным голосом, который всегда звучал очень убедительно, Пенхержевский стал логически и юридически разбирать состав преступления Скворешникова: слово «подлый» было употреблено как прилагательное к слову «насилие».

— Я не думаю, чтобы кто-нибудь из присутствующих пожелал бы вступить за честь и достоинство насилия. Нет такого прилагательного, которое могло бы оскорбить насилие! Поэтому я не понимаю, почему употребленное оппонентом выражение — «подлое насилие» — показалось личным оскорблением... Что касается прилагательного «гениальный», то тут я не вижу оснований обижаться. Мадам... товарищ Крупская говорила здесь о том, что товарищ Ленин сделал такое открытие, изучая Карла Маркса, которое достойно гениальности, тем более, что это открытие дало возможность товарищу Ленину силу и возможность спасти застрявший в болоте экономизма социализм, а потому некоторым обра-

зом повернуть колесо истории. Это по силам только гениальному человеку. И этот человек — ваш супруг! Если вы считаете оскорбительным слово «супруг», тогда другое дело, но я этого не думаю... Можно оскорбиться за слово «насилие», но тут вопрос в толковании Карла Маркса и его теории... Если товарищ Скворешников и сказал о насилии, то понимать его нужно лишь в научном смысле...

— Я это доказывал и снова могу доказать! — прохрипел из угла Скворешников. — Товарищ Ленин употребляет Карла Маркса как орудие для производства бунта и переворота, то есть устраивает именно те «преждевременные социальные роды», которые Карл Маркс отвергает! [361]Я называю это гнусным насилием! Это чистейшее бунтарство, а не марксизм.

— Может быть, есть желающие высказаться? Товарищ Скворешников говорил уже достаточно, — вставила растерянная Марья Ивановна.

Выступил Сашенькин муж, старший Гаврилов:

— С чувством приятного изумления мы, со-

циалисты-революционеры, выслушали доклад товарища Крупской, — начал он далеко не приятным и не радостным тоном. — Нам приятно и радостно, что господа марксисты признали, наконец, политический фактор борьбы если не более, то столь же важным, как и экономический. Но политический фактор упирается в борьбу с самодержавием, с которым мы всегда боролись и продолжаем бороться. Мы весьма польщены признанием *нашей* тактики: стачки, демонстрации, террор, народное восстание — все это открыто вовсе не марксистами... Но мы не только обрадованы, но еще изумлены: если *неомарксизм* товарища Ленина включает все эти средства в тактику своей борьбы, то на каком основании товарищ Ленин продолжает называть нас, социалистов-революционеров, идеологами мелкой буржуазии, предателями социализма, социал-патриотами и т. д.?

Крупская пожала плечами, нахмурилась:

— Что вы, с неба свалились? Опять с азбуки начинать. Хорошо, скажу вкратце. Мы ставим социальную революцию своей основной цепью, революцию в планетарном масштабе,

средствами только рабочего класса, а вы гонитесь за политическим переворотом в России, который нужен буржуазии. Ваши мечты не выходят за решетку русского национального курятника...

— Ого!

— Да-с! Вы скрытые националисты, а мы чистейшие интернационалисты. Вы смотрите на революцию, как на свое русское предприятие, смотрите со своей русской колокольни и танцуете от русской печки, на которой спит ваш Илья Муромец, русский мужичок, мелкий буржуйчик и хозяйчик. Ваша основная цель — буржуазное мещанство.

— Ого!

— Да-с! Вы хотите, чтобы у каждого русского мужичка была курица в супе... Из мелкого буржуйчика вы стремитесь сделать маленько покрупнее. Вы подменяете всемирную социальную революцию своей национальной и патриотической. Вот почему товарищ Ильич и называет вас социал-предателями и социал-патриотами. У вас на первом плане — родина, отечество, а социализмом вы только прикрываете, как фиговым листочком, свою

буржуазность! Вы продали свое первородство за национально-патриотическую похлебку! Вы, как и вообще вся наша интеллигенция, — только категория капиталистического строя, а мы, марксисты, вожди рабочего класса, который единственно призван свершить социальную революцию... Вот и вся азбука... Вы стараетесь свергнуть самодержавие, чтобы на его месте устроить буржуазный парламент, а мы сметем самодержавие на пути к всемирной революции... Если мы и признаем террор, то лишь в массовом объеме, а не в геройских выходках против генералов, полицмейстеров и жандармских полковников. Не буржуазный парламент, а диктатура пролетариата! Понятно теперь? У вас — отечество, а не человечество. У вас родина, а у нас — весь мир, наша родина всюду, где светят звезды! Вот это и есть интернационализм, который требуется от подлинного социалиста...

Старший Гаврилов задыхался от злости. Сашенька чуть не плакала от обиды. Марья Ивановна окончательно растерялась, не зная, кого поддерживать, и тщетно искала мысленно таких слов, чтобы на чем-нибудь поми-

рить враждующие стороны. Зато ликовали физиономии Кости Гаврилова и Ольги Ивановны, восхищенно пожиравших глазами по-другу своего кумира Ленина.

— Что же ты молчишь? — злобным шепотом спросила мужа Сашенька.

Тот покашлял, но не сразу бросился на обидчицу. У него было такое ощущение, будто Крупская все время хлестала его плухами по лицу, а плух было так много, что он терялся, с которой из них начинать. Поэтому утратил обычную уверенность и, начав возражать, долго скакал заячьими петлями, свидетельствовавшими о страшной взволнованности и растерянности. Сашенька подала ему стакан воды, он жадно проглотил ее и пошел ровнее, без галопа, как хороший рысак:

— На каком основании вы присвоили себе монополию на интернационализм? Надо условиться, что мы понимаем под этим словом. Вы толкуете интернационализм как *антинационализм*. Но я укажу на вождей немецкой и французской социал-демократии Бебеля[362] и Жореса[363]. Эти, несомненно, социалисты понимают интернационализм,

как и мы, а именно: как сотрудничество всех национальностей в творчестве на благо всего человечества, как обмен всяческими национальными достижениями, а вовсе не как национальную кастрацию. Национальная стихия для человека — как вода для рыбы, в ней он наилучшим образом приспособлен для всяческого творчества. По своей национальности я — русский, и в России я наиболее приспособлен к творчеству на всех путях, в том числе и на социальном. Я не знаю ни английского, ни французского языка, не знаю, допустим, ни истории, ни нравов и обычаев этих народов, — пошлите меня к этим народам, и я окажусь там совершенно бесполезным как для окружающих, так и для себя самого. Если национальность есть зло, то почему же вы сами стоите за национальное самоопределение народов?

— Это необходимый временный компромисс... с буржуазными предрассудками...

— Необходимый, однако? Временный! На сколько тысячелетий, позвольте узнать? До того момента, когда все человечество заговорит на общем волапюке[364]? Те же Бебель и

Жорес признали полную совместимость социалистических убеждений с долгом социалиста защищать свою национальную независимость... Значит, Бебель и Жорес, по Ленину, буржуи? Отлично, тогда и мы согласны называться буржуями! Далее... Мы танцуем от русской печки, на которой спит Илья Муромец. А вы танцуете от Марксовой печки, которую только еще строите, но ваш Маркс танцевал только от английской печки[365]! Короче: необходимо каждому народу танцевать от своей национальной печки.

— Одним словом — вы националист и русский патриот, о чем я и говорила!

— Такой же, как вожди Второго Интернационала, ваши же Бебель и Жорес!

— Вот поэтому-то Ильич и говорит, что пора сбросить грязное белье Второго Интернационала[366], в котором царствует буржуазный социализм, и создать новый, Третий Интернационал...

— С вашим супругом во главе?

— Опять «супруг»! — с отчаянием произнесла Марья Ивановна, и все дружно захохотали.

— Есть еще желающие?

Скворешников постучал чубуком трубки:

— Прошу слова!

На сей раз приятная для Марьи Ивановны неожиданность: Скворешников оказался на стороне еще раз обиженной «супругом» Крупской. Он стал доказывать, что давно пора сдать в архив на хранение все эти национализмы и патриотизмы, потому что все это — буржуазные надстройки и баррикады на путях к социализму:

— Я утверждал это значительно раньше товарища Ленина. Я всегда повторял, что национализм и патриотизм — категории старого мира, несовместимые с грядущим социализмом. Это был компромисс, в котором ныне уже нет ни необходимости, ни смысла. Очень жаль, что товарищ Ленин приписывает это открытие себе... Я писал об этом еще в 80-х годах[367], — Скворешников злобно покосился на супругов Гавриловых и продолжал: — Да и на что нужна эта национальность, когда капитализм ломает все перегородки между народами, и в недалеком будущем человечество разделится только на две нации: одна очень

много кушает и мало работает и другая — очень мало кушает и очень много работает!

Все, кроме Пенхержевского, дружно захотали, а Пенхержевский, посмотрев на часы, встал и начал одинаково любезно со всеми прощаться:

— Чрезвычайно интересно, но, к сожалению, поздно уже...

Докладчице он сказал:

— Я чрезвычайно рад счастливому случаю познакомиться с вами. Прошу засвидетельствовать мое почтение вашему супругу! Я во многом пока с ним не согласен, но это неважно: все дороги ведут в Рим! [368]

Х

Товарищ Крупская как внезапно появилась, так внезапно же и скрылась с никудышевского горизонта, но вызванное ею в отчете доме возбуждение умов продолжалось. В «акушерском штате» еще долго шла идеологическая грызня, и ее отголоски нередко раздавались на буржуазной террасе главного дома за вечерним чаепитием, когда сюда стягивались все кадры разнопрограммной революционно настроенной публики.

Однажды начавшись перестрелкой между молодежью, это возбуждение разгорелось в настоящий общий бой, захвативший даже Машиного мужа и Павла Николаевича. Сашенька явилась с томом сочинений Н. Михайловского, а Костя Гаврилов, перелистывая эту книгу, случайно наткнулся в «Литературных заметках» автора на такое место [369], которым удобно было пырнуть Сашеньку и собственного брата, отстаивавших во время диспута с Крупской возможность совмещения национализма и патриотизма с социализмом. Конечно, Костя сейчас же прочитал вслух это каверзное место: «Что такое отечество? Это не просто известная страна... это — сумма географических, экономических, юридических и политических фактов и идей, завещанных отцами, совокупность предрассудков и установившихся идей, которых не может принять все человечество. Культ слов, дающий возможность надуть не только других, но и самих себя!» Вот что сказал ваш же Михайловский!

С этого и началось. Бабушки не было, а потому воцарилась полная свобода слова. Са-

шенька с мужем начали огрызаться:

— Смотришь в книгу, а видишь фигу! Михайловский пишет тут о наших черносотенцах, превративших отечество в корыто для собственного кормления!

Стрельнула Ольга Ивановна:

— Любовь к отечеству и своей национальности есть любовь к собственным болячкам!

— А вы, сударыня, без этих болячек? — спросил хмуро Машин муж.

— Мы? Нас не надуешь тем, чем надувал Карамзин наших дедов! [370]

— Какую же мазь, сударыня, вы употребляли для излечения этих болячек?

— Марксистскую! — выстрелил в поддержку Ольги Скворешников.

— А! Понятно, понятно! Ваш Карл Маркс, как еврей, не имел отечества, вот поэтому эта мазь так успешно излечивает от любви к отечеству и национальной гордости... от веры в Бога, от законного бракосочетания, от любви к своему народу... Никаких болячек не оставляет.

Иван Степанович, продолжительное время молча слушавший спор молодежи, наконец

не выдержал и прорвался:

— А вот сам-то он этой мазью, наверное, не мазался. Только другим эту вселенскую смазь делал! А вот мы, старики, гордимся этими болячками.

— Кто это «мы»?

— Отцы ваши!

Павел Николаевич громко заявил:

— Прошу меня из списков отцов вычеркнуть! Я не отношу себя к патриотам своего отечества!

— Может быть, ты не считаешь уже себя и русским? — спросила ехидно тетя Маша.

— Русским считаю.

— Слава Богу! А то я испугалась: не помазали ли уж и тебя этой мазью!

— Но я — не националист!

— Знаю, знаю... Ты признаешь все национальности, кроме русской!

— Мне никаких признаний не требуется... со стороны... защитников «самодержавия, православия и народности»...

Тетя Маша демонстративно удалилась. За ней ушел и Иван Степанович.

Последовала продолжительная пауза

неловкости.

Пенхержевский, по обыкновению, выручил:

— Это наша общая славянская черта: сражаться между собой больше, чем с общим нашим врагом.

— Они меня не поняли, — как бы оправдываясь, заговорил Павел Николаевич, — есть неприемлемый для меня национализм и есть национальное сознание. К сожалению, у нас культивируется главным образом национализм, национальный шовинизм, чувство звериной неприязни к другим национальностям.

Разговор временно перешел к «отцам», Павлу Николаевичу и Адаму Брониславовичу. Как будто бы и согласны они, но Адам Брониславович все делает маленькие оговорочки, поправочки и, наконец, очень деликатненько, с боязнью за разномыслие решается формулировать свое особое мнение:

— Я в этом вопросе стою на индивидуальной платформе, дорогой друг мой. Я полагаю, что культурный человек как бы в силу исторической психологической наследственности

получает уже при рождении это шестое чувство — чувство национальности, как инстинкт национального самосохранения. Пока ничто не угрожает этому самосохранению, национальное чувство остается спокойным, бездейственным. Но как только общественный организм, частицей которого человек остается, как гражданин, подвергается опасности, так сейчас же это чувство начинает работать, и чем сильнее опасность, тем быстрее оно растет и превращается в то, что вы, дорогой друг, называете шовинизмом. Зло это? Я затрудняюсь ответить. Это как высокая температура при болезнях, как увеличенная селезенка при лихорадке. Возможно, что это совершенно нормальное явление при болезнях социального организма. Ну, флюс, что ли, сопровождающий часто болезнь зубов. Возможно, что для больного социального организма и этот шовинизм спасителен, как рычаг в борьбе за национальное самосохранение...

Павел Николаевич понял, что тут говорит оскорбленное национальное чувство поляка, и поторопился согласиться. Но прямолинейный марксист с трубкой не пожелал никаких

компромиссов, и, облекшись в халат учено-сти, позитивизма, дарвинизма и материализма, начал анатомировать понятие национальности:

— А позвольте вас спросить, что такое эта пресловутая национальность? Вот защитники ее утверждают, что содержанием этого понятия являются язык, религия, нравы и обычаи, территория. Вскроем!.. И что же мы увидим?.. Вы говорите — язык. Но язык дело проходящее, языки рождаются и умирают, подвергаются взаимодействию. Вывезите русского мальчика во Францию, и он утратит свой язык, хотя по национальности будет именоваться русским. Стало быть, язык не есть нечто неотделимое от национальности. Есть нация без языка — евреи. Вы говорите — религия... Но можно принять любую религию и остаться в своей национальности. Есть, например, болгары и сербы, исповедующие ислам, есть турки-христиане и т. д. О нравах и обычаях и говорить не стоит: они непрерывно меняются и потому не могут составлять постоянной неотъемлемой от национальности величины... Наконец, территория... Но ма-

лайцы и папуасы живут на общей территории, а принадлежат к разным национальностям, евреи и цыгане совсем не имеют своей территории. Есть нации без общего языка и религии: швейцарцы и жители американских штатов...

Павел Николаевич улыбнулся и накинул еще пример:

— Вот и в наших никудышевских штатах нет общего языка, религии, морали...

Пенхержевский хитровато улыбнулся и обратился в сторону чувствующего себя победителем Скворешникова:

— Все, что вы утверждаете, можно было доказать еще проще. Возьмем русского глухонемого идиота! У него нет ни языка, ни религии, ни обычаев и нравов и на всякой территории он — идиот. Тем не менее он — русский, то есть не утратил своей национальности...

Пенхержевский произнес это тем же научным тоном, каким говорил Скворешников, и тот не понял: шутка это или просто издевательство со стороны Пенхержевского.

— Идиотов можно не принимать во вни-

мание, — сердито буркнул он, покосившись на подозрительного единомышленника. — Я говорил не о дураках и идиотах.

Пенхержевский ухмыльнулся и ласково так бархатным голосом сказал:

— Не скажите! На свете больше дураков, чем умных, и при всеобщем голосовании, которого мы с ними добиваемся, придется очень и очень считаться и с дураками, и с идиотами. А кстати, еще одно замечание относительно власти национальности. Даже социализм не избег общей участи и получил печать национальности: у французов — синдикализм, у немцев — социал-демократизм, у англичан — тред-юнионизм, у русских — бунтарство... Было народническое бунтарство, а теперь, как мы узнали недавно, народилось бунтарство марксистское...

— Ленин никогда не был настоящим марксистом! — сердито возразил Скворешников.

— Да, по-моему, и над научным социализмом Маркса царит национализм: это еврейский социальный талмуд.

Скворешников поморщился и незаметно скрылся, ни с кем не простившись.

Он окончательно разочаровался в Пенхержевском: не друг революции и не марксист, а самый злостный буржуй... Плененная Пенхержевским Марья Ивановна не раскусила, как Скворешников, обворожительного человека и вернулась в свой флигель по-прежнему влюбленной. Она была удивлена и возмущена, когда Скворешников назвал Пенхержевского буржуем:

— У вас все, все, кроме вас самого, буржуи!

Слово за слово, и поругались. Скворешников закурил трубку, взял свой ручной чемоданчик с «Капиталом» Маркса, сменой белья и табаком и ушел. Не вернулся. И никто не пожалел об этом. Точно этого гостя тут и не было. Напротив, все как будто обрадовались этому исчезновению. Даже марксисты почувствовали душевное облегчение. Очень уж он надоел всем «прибавочной стоимостью» и «производственными отношениями», совершенно пренебрегая всякими иными, не исключая любовных. Всем мешал. Мешал смеяться, мешал радоваться солнцу, мешал играть в лото, в карты, в крокет, мешал пококетничать и поухаживать. Ушел, и словно го-

ра с плеч! Ни одного доброго пожелания, ни одной грустной улыбочки не унес с собою этот блуждающий проповедник! Даже дети и собаки боялись этой фигуры с длинной трубкой в зубах! Зато сколько обидных прозвищ: «унтер Пришибеев», «дева престарелая», «очарованный странник», «чеховский хирург»... [371]

Последнее прозвище дал Скворешникову Пенхержевский. Читали вслух чеховскую «Хирургию», много хохотали, а потом Пенхержевский и говорит:

— Вот так же справлялся Скворешников с национальностью: У тебя что? Язык? Садись! Раз плюнуть! У тебя — религия?.. Садись! Раз плюнуть! У тебя — территория? Садись! Раз плюнуть! Берет «козью ножку», лезет в рот грязной рукой и ломает все зубы национальности. Настоящий чеховский «хирург»!

Говорят, что любимая книга вскрывает душу человека. Такой любимой книгой у Пенхержевского была «Книга великой скорби» Мицкевича [372]. С ней он никогда не расставался. Привез ее и в Никудышевку. Это книга

была для Пенхержевского как Евангелие для верующего. Однажды заговорили о партийной грызне русской интеллигенции. Пенхержевский перечитывал свою любимую книгу. Оторвался от нее и, вздохнув, сказал:

— Это наша общая славянская черта! Я как раз об этом же читаю...

Все заинтересовались книгой, но она на польском языке. В старинном кожаном переплете с золотым тиснением. Автограф. Наташа попросила жениха перевести автограф: «Дорогому любимому сыну Адаму от отца. Береги эту книгу; умирая, передай своим детям. Не забывай нас с матерью, но прежде всего свою несчастную Родину»...

Заинтересовался и Павел Николаевич. Он даже не подозревал о существовании этой книги.

— Хотите, я вам переведу одну притчу из этой книги, написанную для польской интеллигенции? У нас тоже грызлись, как теперь в России. Тема животрепещущая до сей поры...

— Да, да! Пожалуйста, Адам Брониславович!

Пенхержевский осторожно, с благоговей-

ной почтительностью, как Евангелие, раскрыл книгу и прочитал по-русски: «Некая женщина впала в продолжительную летаргию. Сын созвал лучших врачей, но каждый из них дал свой диагноз и предлагал свой метод врачевания. Врачи спорили, и больная оставалась без помощи. Тогда сын стал умолять врачей, чтобы перестали спорить и пришли поскорее к согласию. Но те не соглашались, продолжая спорить между собой. Сын пришел в отчаяние и воскликнул:

— О несчастная мать моя!

И вот на голос страдающей любви сыновней больная женщина раскрыла очи свои и стряхнула смертный сон, воскреснув к жизни.

Есть люди в среде вашей, говорящие: пусть лучше Польша спит в неволе, чем пробудится на голос аристократии. И другие, говорящие: пусть лучше спит, нежели проснется по воле демократии! Есть и третьи, говорящие: пусть спит, лишь бы не проснулась в этих границах!

Все они — врачи, а не дети и не любят они матери, Отчизны своей. Истинно скажу вам:

не доискивайтесь о том, какое будет правление в Польше! Довольно вам знать, что оно будет лучше всех бывших. И не загадывайте о границах, ибо они будут шире, чем когда-либо. Ибо каждый из вас носит в душе своей семя грядущего закона и меру будущих пределов».

XI

Несколько раз Пенхержевский откладывал свой отъезд под перекрестным упрашиванием обитателей «бабушкиного штата», но вот пришла какая-то телеграмма, и жених и обворожительный гость должен был экстренно покинуть друзей и будущих родственников. Проводы были шумные, людные, с тройками, цветами, поцелуями... Накануне приехал из Симбирска тоскующий Ваня Ананькин с корзиной шампанского с целью новой попытки примирения с Зиночкой. На этот раз дело сладилось и потому устроился исключительный ужин, за которым отпраздновали сразу два радостных события: помолвку Наташи с Адамом Брониславовичем и примирение супругов Ананькиных. Гремели бокалы с шампанским, звучали поцелуи, говорились речи,

устроили пляс... Всю ночь напролет пировали в барском доме. Так и не ложились. В тумане опьяненности провожали Пенхержевского, мчались целым поездом троек под музыку колокольчиков и песни, взбаламутили всю Никудышевку... А проводили — спали целые сутки, и отчий дом пребывал в таком молчании, точно исчезли все сразу его жители...

Приехал купец Ананькин с обещанным подарком для Анны Михайловны — с курским соловьем, и даже испугался: тишина и молчание! Что за оказия? Видно, случилось что-нибудь недоброе... Вспомнил давнишнее, про жандармов, и потихоньку — в людскую кухню — справиться:

— А что там, в доме-то? Благополучно?

— Пировали до утра, а теперь спят... Раньше ужина не подымутся... Есть захотят и проснутся...

— А мой Ванька здесь?

— Здесь! Вчерась со своей супругой в церкву молебствие служить ездили...

— Ну, слава Те Господи!

Яков Иванович поставил клетку и троекратно перекрестился двуперстием.

Посидел с полчаса, пить захотелось.

— Пойти к Ларисе Петровне чайку попить... Не будить же их...

Забрал клетку с соловьем и пошел на хутор.

Точно другой мир там, за забором.

Не малый барский и не великий крестьянский. Помесь двух миров и двух культур, сближенных между собою общим обоим мирам «правдоискательством» и «богоискательством» через «мужика-барина» Льва Толстого [373].

Тихий обнесенный высоким забором двор с усадьбой под покровом плакучих берез, крест на коньке крыши и особый ласковый и скромный уют напоминают тайную сектантскую обитель, какие строились когда-то в лесах на реке Керженце [374], укрывавшимися от религиозных гонений раскольниками.

Кузницы уже нет! Сплошной высокий забор, а на месте бывшей кузницы — ворота с навесом и калиточка, а в калиточке — кругленькая дырка, чтобы сперва посмотреть, кто стучит, а потом уже отпирать. Через кузницу много неприятностей выходило: шпионов

подсылали и становой, и поп: становой на революционеров охотился, а поп — на еретиков. А в кузнице всегда всякий проезжий народ толчется и всякие разговоры. Мысль-то у людей вольная, язык на веревочку не привяжешь. Вот и бросили, сломали кузницу. Довольно и сапожного ремесла да земледелия. Хозяйство налажено. Живется без нужды. Есть время и «правде Божией» послужить: о путях праведных поговорить, заблудших наставить, в беде ближнему помочь, словом и делом направить. Григорий Николаевич третий год мудрое сочинение пишет: «О путях ко Граду Незримому». По-разному жизнь-то людьми распоряжается. Григорий с годами все больше духовной жаждой томится, все сильнее ищет незримого. А вот Лариса Петровна плотью все ярче цветет, а Святым Духом слабеет. Привычка к Божественному прежняя, а горения-то настоящего маловато стало. Оба за пять лет изменились. Григорий бородищу отпустил, глаза глубже упали, горят, как фонари в нощи, похудел, ссутулился, голос у него погрубел, речь омужичилась, руки в мозолях — не отмоешь, а все похож на переодетого бари-

на. А Лариса Петровна, как земля жарким летом, когда хлеба зреют, зерно наливают, тяжелый колос к земле клонят...

Она на стук Якова Ивановича калитку отпереть вышла; глазом через дырочку с глазом гостя встретилась — вздрогнул даже Яков Иванович от этого лукавого огненного глаза! Сразу бес выиграл. Дело прошлое. Яков Иванович однажды поборол Лукавого, который начал его через эту женщину к греху блудному в помыслах склонять. Измором тогда грех вытравил: целый год от встреч с этой женщиной уклонялся. Отошел от зла и сотворил благо. Успокоился. Думал — начисто, безвозвратно победил, а вот как отворилась калитка да предстало это зло в наряде праздничном, так сразу блудомыслие зашевелилось. Поздоровались: рука у нее горячая, мягкая, выпустить неохота. И хорошо помнит старое, что большое беспокойство этому степенному человеку сделала.

— Уж какими ветрами тебя, купец, к нам занесло? Два года не бывал...

— Попутным ветром, Лариса Петровна! Эх, как ты раздобрела от святости-то!

— А что сделаешь? И пощуся, и работаю до устали, природа, видно, такая... Не тебе бы только попрекать меня: у самого брюхо-то в два обхвата!

— А ты бы смирила: может, и в один обхват окажется...

Вот и словоблудие сразу! Спросила, что за птица в клетке и для какой надобности:

— Соловей-птица. Волшебная. Пойду к ночи в лес, повешу на дерево, она запоет и милую приманит... Хочу попытаться, как с тобой выйдет...

— Не надейся! Зря прождешь.

Улыбочка на красных губах, смех в глазах искрится. Привела в комнату Григория, попросила тут посидеть, а сама вышла. Где-то люди говорят. Видно, гости. Огляделся Яков Иванович, потом любопытствовать стал: не то мужик, не то барин квартирует — по стенам лавки, как в мужицкой избе, а на стене господские картины, в одном углу — вроде как сапожник, в другом — лопаты, кирки, скребки; на вешалке мужицкий кафтан, а рядом спинжак господский. Под лавкой — лапти и башмаки господские рядышком; у сто-

ла — барское кресло, а на столе — как в чулане: чего только нет! И семена огородные, и чашы в починке, и банка какая-то вроде как для электричества, как при звонках ставятся, стекло увеличительное, книги, бумаги. Все вперемешку. Видно, что человек ученый живет. И опять же — эта самая фисгармония. Потыкал пальцем — не играет. Не такой, значит, механизм, как у них в симбирском доме — рояль. Пришел Григорий Николаевич. Поздоровались. То да се. Где-то люди разговаривают, а туда не зовут. Лариса Петровна на подносе стакан чаю со всеми припасами подала. Стеснение какое-то в обоих. Видно, что не вовремя пришел. Незванный гость хуже татарина. Опять про соловья заговорили, подарочек старой барыне по случаю примирения Ваньки с супругой.

— Что же, худой мир лучше доброй ссоры, — пропела Лариса Петровна. — А слышали: Наталия Павловна у нас просватана? Осенью свадьбу играть будем...

— Хорошо это вышло: прямо ко дню ангела. Ванька-то мой скоро именинник!

— А мы нонче под Иванов-то день на Свет-

лояр пойдём. Надо у Града Незримого Китежа побывать. Бывал ли ты, Яков Иваныч, когда там?

— Лет десять не бывал... А раньше ежегодно... В хлопотах и заботах где уж за Незримым утонишься, — вздохнувши, произнес Яков Иванович.

— И эту святыню попы к рукам прибрали, сказывают... В прошлом году водосвятие сделали церковники и свою часовню там поставили: свое проповедовать на Светлояре будут — словесную брань от церковного правительства, стало быть... Григорий Миколаич поратоборствовать собирается... А я говорю — лучше не связываться: им становые да урядники помогают.

— Так, так, так...

Лариса говорит, а Григорий молчит. Допил стакан чаю. Часы с кукушкой пробили. Яков Иванович опрокинул вверх дном допитый стакан, погладил бороду и:

— Благодарствую!

— Что уж это, выкушайте еще стаканчик!

— Много доволен! Поспешать надо...

Простился, забрал соловья и ушел... Лариса

Петровна за ним калитку заперла.

Яков Иванович действительно пришел не вовремя. Петр Трофимович Лугачёв с Ерусла-на не один приехал. Гостя редкого привез. Друга всех сектантов, ученого человека и революционера Владимира Дмитриевича, по фамилии Вронч-Вруевич[375], старого своего приятеля, который Ларису еще девушкой знал и которой когда-то очень понравился. Гость из таких, которых спокойнее посторонним людям не показывать, потому что у властей, у полиции и жандармов — на счету, как и хозяева хутора. Вот почему Яков Иванович и не встретил на сей раз обычной приветливости и гостеприимства со стороны Григория Николаевича с Ларисой. У них — «свои дела»...

Как видите, каждый никудышевский штат нынче был осчастливлен знаменитым и редким гостем: бабушкин штат — Пенхержевским, акушеркин штат — товарищем Крупской, Ларисин штат — Врончем, тоже «товарищем»...

И этот последний гость стоит того, чтобы познакомиться с ним поближе. Молодой еще,

рослый, крепко сколоченный блондин с рыжетцой, круглолицый, в очках, с вкрадчивым тенором, картавит по-аристократически. Из обрусевшего литовского рода. Когда-то народоволец, променявший свою веру на новую, марксистскую. Еще во времена народнические он узрел в нашем сектантстве значительную оппозиционную правительству силу, которую и решил использовать для грядущей революции. А вышло так, что не Вронч — сектантство, а сектантство Вронча использовало. Своеобразный и многообразный мир правдоискателей и богостроителей русского народа увлек революционера на путь научного исследования, и он написал несколько книг о сектантстве, получивших признание со стороны специалистов. Вронча стали приглашать в качестве научного эксперта на судебные процессы по борьбе с еретиками, зловредными для государственности, а так как Вронч, как революционер, всегда старался давать отзывы, благоприятные для обвиняемых, то его имя скоро сделалось популярным в среде сектантов, а это ему дало множество друзей и связей в сектантском мире.

Из Вронча образовался «друг сектантства и революции»... Когда Вронч понял, что при старой народнической вере останешься за бортом революционного корабля, он, революционный карьерист, принял новую марксистскую веру. Пока жрецами ее оставались правоверные экономисты, они не только не ценили заслуг новообращенного, а подсмеивались над Врончем. Ведь народнический опыте хождением в сектанты потерпел крах, а главное, что новая вера совершенно упразднила всех богов, а потому и всяких богоискателей и богостроителей. «Глуповатый фантазер!» Но сметливый Ленин понял, что Вронч-Вруевич может быть очень полезен: если невозможно из многомиллионного сектантства сделать безбожников, то ими можно воспользоваться как силой, враждебной государственной церкви, именуемой сектантами «Блудницей Вавилонской», а власть царей — «властью Антихриста». Ленин говорил: «Самодержавие так тесно слито с православием, что, разрушая последнее, разрушаешь и самодержавие, а потому, товарищ Вронч, продолжайте свое дело». Вронч начал молиться на

Ленина, лакействовать перед ним...

— С Богом воевать у нас преждевременно и опасно до захвата власти. Можно воевать только косвенным путем: с попами и православием... — поучал Ленин.

Вронч ручался, что сектантство пойдет за партией:

— Они ищут правды не только на небе, а и на земле... Вот вам и основание для смычки! Погодите, Владимир Ильич, они своим Христом вас объявят. Осторожненько только надо... Пусть думают, что мы с Блудницей Вавилонской сражаемся...

Надо сказать правду: этот елейный революционер не внушал особого доверия Ильичу — корыстен и жуликоват. Но Ильич смотрел на дело очень прозаично: каждого жулика можно в дело употребить, иногда даже с большим успехом, чем рыцаря чести.

— Организуйте ненависть к православию и попам!

И вот Вронч-Вруевич разъезжал по сектантским гнездам, вел дружеские беседы с вожаками и начетчиками антигосударственных сект. Тут он был неразборчив: даже скоп-

цы и бегуны пригодятся!

Так через «правдоискательство» строился мост между народом и революционной интеллигенцией, а правительство своими гонениями на сектантов помогало строить этот мост.

Мягенький, добренький, елейный Вронч был подлинным волком в овечьей шкуре в стане правдоискателей русского народа...

В уютном, залитом солнышком зальце с геранью, занавесочками, с портретом протопопа Аввакума вместо образа пытит светло начищенный самовар. Лариса Петровна хозяйничает, дорогого гостя угощает и румянцами вспыхивает: старое вспомнилось, девичье. Петр Трофимович Лугачёв дружески гостя по спине похлопывает. Григорий Николаевич с мужичком каким-то спорит о том, как толковать заповедь «Не убий». Можно ли воевать по приказу царя? Тут же акушерка, Марья Ивановна, все к Врончу жметя: старые знакомые, когда-то Вронч за ней ухаживал между делами революционными. Паренек деревенский сидит и почтительно слушает разговор Вронча с Петром Трофимовичем...

Странное на первый взгляд содружество!

Но ведь все стоят за бедных против богатых, все не признают православной церкви, все согласны, что нет на Руси правды, что этой правде не дают дохнуть становые, земские начальники, жандармы. Всех одинаково преследуют власти предержавные...

Складно поет Вронч медоречивый:

— Царская власть служит только богачам. Царь — первый барин и помещик. И вместе с попами вашу веру гонит, ваше христоролюбивое воинство...

— Христовым воинством мы себя называем!

— Вот, вот!.. Христово воинство. Потому благодать Духа Свята не с православной церковью и попами, а с нами...

— Именно!

Петр Трофимович проповедует «Христову коммуну» — общность имущества в своих сектантских кораблях, о «Христовом воинстве» говорит как о части человечества, стремящейся жить по заветам Евангелия, а Вронч подсовывает коммуну социалистическую и революционное воинство. Остается только

«Единое стадо людей» подменить «единым классом», а «Единобожия Пастыря» — Лениным. Вронч, однако, избегал слова «социализм», а Ленина называл «Мессией правды Божией».

Потом Вронч попросил Ларису спеть любимую им духовную песню. Она покуражилась маленько, но после упрасиваний гостя и приказа отцовского сложила руки на животе и затянула, а Вронч и Петр Трофимович стали подтягивать:

*Трубите в трубы на Сионе свя-
том!
Бейте тревогу по лицу всей земли!
Все готовьтесь: грядет Божий
День.
Становитесь, люди, в ряды Бо-
жьих войск!*

*Духа мудрости примите.
Ветхий разум обновите,
По стезе Правды ходите —
Грядет Божий День!*

*Заря Правды загорелась, пробуж-
дается народ:
От Востока к людям Божьим
муж Правды идет.*

*Муж тот, сильный и кроткий,
возрожден во Христе,
Восстает Солнце Правды, озаря-
ет бездны везде![376]*

Сектанты, восторженно поющие свой гимн, понимают под «Мужем Правды» ожидаемого ими духовного Водителя народа. Вронч начинает рассказывать про Ленина...

Подарочек он привез. Подарил Ларисе портрет протопопа Аввакума с напечатанными внизу выдержками из речей этого духовборца, первого борца с Вавилонской блудницей и Антихристом, завоевавшим Русь. Вот что было написано под портретом:

В коих правилах писано царю церковью владеть? От века несть слыхано, кто бы себя велел в лицо святым звать, разве Навуходонсор Вавилонский[377]: Бог есмь Аз! Кто мне равен? Разве царь Небесный! За то и досталось ему, безумному: семь лет быком проходил. Так-то и ныне близко тому. Ах ты, миленький, посмотри-тко за пазуху, царь христианский!

XVII

Поделился отчий дом на четыре штата,

каждый со своим уставом, своей верой, симпатиями и антипатиями, а насмешница — любовь со своим единым и вечным уставом во все монастыри лезет и все карты идеологические путает.

Марксист ленинского толка Костя Гаврилов безнадежно влюблен в невесту Пенхержевского, в буржуйку Наташу: тоскует, ревнует, злобится на весь мир и на самую любовь человеческую. А марксистка того же толка Ольга Ивановна безнадежно влюблена в Костю Гаврилова и ревниво презирает как Костю, влюбившегося в буржуйку, так и буржуйку Наташу. Людочка Тыркина влюблена в Петра Павловича, а тот не страдает, а только говорит ей разные глупости, а сам... (сама она видела!) целуется с дворовой девкой Лушкой... Марья Ивановна тоже влюблена, но и сама не может понять в кого: в обворожительного Пенхержевского или Вронча. И тоже — никаких надежд: один женится, а другой, кажется, с Ларисой шуры-муры разводит под носом у мужа: вчера ночью в парке на них наткнулась — сидят на скамеечке, прижавшись друг к другу. Тоска! Марья Ивановна

грустно напевает: «Так жизнь молодая проходит бесследно!»[378], позабывши, что ее молодость давно уже прошла и наступили серенькие «средние лета»...

Уже стих барский дом. Погасли огни во всех штатах, заменившись звездным сверканием на стеклах окон. Спит мертвым сном и Никудышевка. Только петухи да собаки нарушают безмолвие. Безмятежно плывет звездная летняя ночь с таинственными шорохами и вздохами земли и старого парка, с ласковым дыханием теплого ветерка, пропитанного ароматами трав и цветов.

Не спится в такие ночи влюбленным.

В затаенной тишине слышатся голоса. Это в саду, на террасе. Никак не могут наговориться и разойтись. Сбились в кучку все враги и общими силами пытаются разрешить неразрешимое: что такое любовь?

Костя Гаврилов смотрит на этот вопрос мрачно:

— Все — чепуха! Любовь есть только инстинкт к размножению!

Но вот какая странность: размножаться он никакого намерения не имеет, но от взгляда

и голоса Наташи забывает начисто Карла Маркса и обжигается ревностью.

— Господи, какую ерунду вы, Костя, порете! — тайно краснея, шепчет Наташа, глубоко оскорбленная за собственное чувство, полное кристальной девичьей чистоты. — Если вы будете говорить такие глупости, я уйду!..

— К сожалению, эти глупости утверждает философ Шопенгауэр... Любовь есть ловушка природы, спаривающая особи для продолжения на земле жизни. Кто это понял, тот уже неуязвим. Его не надуешь!

— Вы поняли? — насмешливо спрашивает Людочка Тыркина.

— Понял!

— Значит, никогда не женитесь?

— Почему же? Я смотрю на союз мужчины с женщиной как на трудовое и идейное содружество. Для этого не требуется ни воздыхать, ни в телячий восторг приходить, ни стреляться..

— Скучная ваша любовь, — прошептала Наташа.

— А я согласна, — твердо заявила Ольга Ивановна. — Главное в этом союзе — не влюб-

ленность друг в друга, а согласие в мирозерцании, в убеждениях... Глупо влюбиться и страдать из-за человека, с которым нет ничего общего...

— А вот объясните любовь Григория Николаевича к Ларисе!

— Вот вам и пример ловушки. Природе все равно. Для нее неважно равновесие в образовании, во взглядах и убеждениях. Ей надо лишь соединить особи. Она здоровенная и сильная, а Григорий Николаевич — слабый физически. Вот природа и уравнивает... Экономия сил.

— Брехня! — авторитетно заявляет молчавший доселе Петр Павлович. — Умствуешь, братец.

— А по-вашему? По-вашему? — пристает к Петру Людочка Тыркина.

— По-моему? Любовь для человека — как солнце для земли!

— Правда, правда, Петя... — шепчет Наташа.

Но Костя язвительно хохочет:

— Да ты говоришь то же самое, что и я! Солнце для земли — оплодотворяющая сила.

Земля не может рождать без участия солнца.

— Хотя ты, Костя, и сознательный, но все-таки дурак! — небрежно бросает вместе с окурком докуренной папиросы Петр. — Солнце есть свет и тепло, необходимые для жизни вообще. Размножаются люди обыкновенно без солнца, в темноте!

Наташа встала и ушла.

Распахнулось окно, и в нем появилась, как алебастровый бюст, фигура Павла Николаевича в ночной рубашке. Все примолкли.

— Что вы разболтались?

— Про любовь. Социалисты ерунду порют! — ответил Петр.

— Мы рассуждаем исключительно с научной точки зрения. Мы рассматриваем любовь под микроскопом познания сущности явлений и утверждаем, что любовь — инстинкт размножения, а все остальное — буржуазные сантименты...

Нельзя сказать, чтобы Павел Николаевич интересовался этой темой, но ему не спалось и захотелось почесать язык. Он высунулся еще больше в окно и присоединился к себе-седникам:

— А кто скажет нам, что такое инстинкт размножения? Кто, как и зачем вложил его в человека и во все живущее и умирающее?

— Закон природы!

— Но закон, голубчик, подразумевает волевое принуждение, а потому ему предшествует сознание. Значит, природа сознательна?

— Ну, Павел Николаевич, это уж метафизика! Удивляюсь, как вы, позитивист и дарвинист...

— Да вы ложно понимаете позитивизм! Если точные науки считают для себя некоторые вопросы неразрешимыми, значит, они допускают и метафизику. Они лишь не хотят ею заниматься...

— Первобытный человек ловил женщину в лесу, бил ее по голове дубиной и... и так далее.

— Но ведь это у дикаря. А мы — люди культурные. Наша любовь требует идеализации, поэзии, одухотворенности чувства. Тут участвует и этика, и эстетика, и фантазия, и творчество. Когда современный горожанин ловит на улице продажную женщину, как ловил ее в лесу дикарь, мы это уже не называем любо-

вью. Откуда у вас, марксистов, эта жажда оголить человеческую душу? И зачем вам это понадобилось?

— Пора открыть массам голую истину и снять с глаз все повязки...

Но тут хлопнула дверь на балконе, и раздался хрипловатый и раздраженный голос бабушки:

— Дадите вы уснуть или нет с вашей любовью?

Все испуганно затихли и стали, как мыши, разбежаться в разные стороны.

А бабушка разворчалась:

— Дрыхнут до двенадцати часов, а по ночам разговоры про любовь! Шли бы куда-нибудь подальше, а то под самыми окнами галдят... Я и так измучилась, а тут и отдохнуть не дают...

Бабушка действительно с утра до ночи была в хлопотах. До свадьбы два месяца осталось, а у них ничего не готово. Бабушка возилась со старинными сундуками, пересматривала и откладывала накопленное женщинами кудышевского рода добро: старинный шелк, белье тонкого полотна, с нежными кру-

жевами, вышивками, ковры и коврики, старинное серебро, посуду. Теперь в отчем доме — как в развороченном музее. Две выписанных из Симбирска швеи неутомно трещат на швейных машинах. Наташу мучают примерками. Бабушка составляет опись приданого. На дворе выветривают пуховые перины и подушки, выколачивают ковры, сушат вымытое белье. Вся дворня с ног сбилась...

Бабье царство. Лучше не путаться. Все мужчины в доме стушевались. Скучно им смотреть на этот прозаический хаос. Порядок в доме нарушился: стынут самовары — не соберешь публику за стол ни к чаю, ни к обеду.

Наташа, как на небе ангелом: душа у нее постоянно поет гимны Господу и далека от этой суматохи, а ей мешают. Поминутно:

— Барышня! Вас бабушка на примерку требуют.

— Господи, как это надоело!

— Семь раз примерь, барышня, а один раз отрежь!

Бабы и девки на барский двор напролом лезут: любопытно очень на барское приданое поглядеть, на ковры, на рубашки, простыни

барские. Дивятся богатству одежды, зависть берет. А дворня подзадоривает:

— А ты бы поглядела, что в доме-то выложено! Шелков да бархатов, да серебряной посуды, да одежды разной, шубки да юбки, браслетки всякие...

— За богатого же отдают?

— Разя за бедного отдадут? Богатство-то к богатству завсегда тянется...

Мешают теперь мужчины в доме. Мешают и гости разные. До них ли теперь бабушке с Еленой Владимировной?

Узнала бабушка, что молодежь на Светлое озеро путешествие затевает, так даже обрадовалась:

— С Богом, с Богом! Проваливайте поскорей только! Не до вас...

— Я, бабушка, тоже поеду! — заявила Наташа.

— Да ты что, с ума сошла, что ли? Как же это невесте с мальчишками таскаться! А примерку делать?

Наташа в слезы:

— Манекен я, что ли!..

— Назвалась грибом, полезай в кузов...

Два манекена из Симбирска швеи привезли, а оба не подошли. Смешное вышло с манекенами этими. Увидали девки два манекена в телеге, прикрытых от пыли простыней, и до смерти напугались: за покойников приняли! Смеху было и в доме, и на кухне, и разговоров в Никудышевке!

— Вроде как две бабы, а только без голов и без ног!

— На што им эти бабы деревянные?

— А пес их знает! Куклы, что ли, будут делать...

— К свадьбе привезли...

XIII

Тихо плывет теплая летняя ночь с таинственными шорохами и вздохами, с далеким звездным сверканием, дышит ароматами пьянящими, и дьявол греха сладостного летает на крыльях ветерка над Никудышевкой...

Полетал над бабушкиным штатом, и закрипели предательские ступени под ногами крадущегося Петра. Не спится ему от мыслей блудных, и нет сил противиться дьяволу. Тихо вышел во двор: как вор, оглядываясь и прислушиваясь, подошел к каретнику, где

спали девки-работницы, и покашлял.

Кашлянула там и Лушка: слышу, дескать, не разбуди других. Выкралась из каретника:

— Приходи, Луша, в парк. Я там подожду...

Поломалась: боюсь, страшно ночью-то там.

На Алёнкином пруду вчерась голую девку видели, волосы расчесывает. А когда молодой барин начал сердиться и громко говорить, испугалась, что в каретнике девки проснутся и засмеют. Махнула рукой:

— Иди, молчи уж... Приду сейчас...

Полетал дьявол греха сладкого и над хутором божественным, заглянул в окошечко, в щелку зановесочек: там тайное происходит. Григорий и Петр Трофимович с акушеркой спорят. Акушерка говорит, что «любовь к нам явилась облитой кровью, с креста, на котором Христос был распят», а потому можно и царей, и министров убивать. А тайный гость Вронч собирается какие-то книжечки прятать и с Ларисой шепчется.

— Всего лучше на острове, на Алёнкином пруду, спрятать: там беседка развалившаяся есть, так под камнями. Люди туда не ходят, боятся, да без лодки и увязнуть можно, а я пе-

реход знаю: не выше колен, и там у нас старые книги спрятаны.

Горячится акушерка:

— Если ты увидишь, Петр Трофимович, что на твоих глазах разбойник человека убивает, а ты можешь предупредить это, потому что у тебя топор. Убьешь разбойника?

Хитровато улыбнулся Петр Трофимович:

— А я тебя тоже спрошу: а ну как тот — тоже разбойник, да еще пострашнее?.. Добро али зло сделаешь своей защитой?

Ввязался Григорий, и пошла старая мельница работать.

— Теперь на всю ночьку это... — шепнула Лариса и жалобно посмотрела в глаза гостю: уедет завтра.

— Может, еще три-то денька прогостите, а потом все на пароходе поедем. До Макарьевского монастыря попутчиками будем, а там мы на Светлое озеро, а вы — по своим делам...

— Уж не знаю, как...

— Поди, еще к нам когда заглянете?

Встретились глазами, и оба смутились. Опустила глаза Лариса:

— Приготовили? Так я пойду и схороню.

Будьте спокойны. А кто придет с вашей запиской, тому и выдам. Только ночка-то темная больно...

Я с вами пойду. Надо мне место знать, на случай.

— Что ж, пойдем вместе... И лучше оно: одной-то страшно.

Захватил Вронч тючок, в клеенку запакованный, и они нырнули в темноту сеней...

А дьявол только и ждал этого: заставил в темноте друг дружку нечаянно в двери прижать. Подошли к забору, где тайный пролаз, и опять то же случилось. Очутились в парке старом: совсем темно, деревья шепчутся, кусты в человека превращаются...

— И откуда этот страх наш, бабий? Никого, кроме Бога, не боюсь, а в темноте душа дрожит, пугается...

Гость тронул кнопку фонарика, скользнул ярким светом по лицу Ларисы. На мгновение сверкнули лукавые глаза, брови, губы, и снова все исчезло, потому что Лариса отшатнулась и прошептала:

— Не надо свету-то! Чужой глаз приманим. Тут дорожка мне хорошо известна, а вот за-

рослями пойдём, там можно и в пруд попасть. Что-то лягушки начали верещать: дождь, видно, будет.

Примолкла. Свернули в сиреневые заросли. Все шло благополучно, и вдруг Лариса ша-рахнулась в сторону и прошептала:

— С нами крестная сила!

Вронч брызнул в темноту ярким светом фонарика и вырвал из темноты фигуру Петра. Вдали отчетливо слышался топот убежавших босых ног.

Вронч моментально потушил фонарик. Они остановились переждать в гущине сиреневой. Лариса взволновалась и смущенно объясняет:

— В садах ягода поспела... Девки дворовые лакомятся... Ежели нас увидали, нехорошее подумают. Положим, это для меня важности не составляет. Думай что хочешь! Про меня и так всяку всячину говорят. А вот вам, может, неприятно будет...

— А мне наплевать! Разве Григорию Николаевичу наплетут — вот это будет неприятно нам обоим...

— Ну, этого не бойтесь! Он это безо всякого

внимания оставляет. Мы греха в этом не видим, да признаться давно уже в святости живем...

Лариса говорила просто, наивно, без всякой задней мысли. Между тем ее спутник от этой простоты и наивности сразу забеспокоился, ибо почувствовал их как намек и вызов. Фразы Ларисы «наплевать, что подумают», «этого не бойтесь!» и «мы давно с ним в святости живем» подействовали на елейного лицемера и идеологического бабника поощрительно...

— Верно. Греха тут никакого нет, а просто повеление природы. Это мы, горожане, наложили печать пошлости на такие радости жизни. А Бог сказал: будьте, как дети...[379]

Спутник начал рассказывать про секту адамитов[380], которые жили, как в раю, ходили голыми и любилась свободно и бескорыстно...

Но вот без фонарика нельзя уже было обойтись: вступили в самую гущу зарослей. Тропинка вилась под плакучими березами, меж густых кустарников жимолости, бузины и маличника, попадала в высокие камыши.

Под ногами трясинник. Синевато-серебристый свет фонарика, вылавливая из темноты замысловатые комбинации растительности, создавал сказочное настроение. Камыши, затрагиваемые путниками, издавали шелковые шорохи, болотце под ногами позванивало: прыгали и лопались пузырьки. Взорвался бекас и, вознесясь к небесам, заблеял там в темных облаках, как заблудившийся молочный барашек...

Вронч шел позади, и дерзкая и грешная мысль преследовала его, как надоедливая муха, которую никак не отгонишь. Поскользнулась Лариса, а он этим воспользовался и, поднимая ее с колен, подхватил под руки и привлек, не выпускает... Она и сердится, и смеется:

— Да отцепись же! Что с тобой?

Вырвалась и убежала в темноту. Вронч постоял, огляделся, отдышался, поискал фонариком — нет, не видать. Поднял выроненный тючок с «Искрой» и пошел назад, весь в эротическом тумане. Добрался по памяти до плачущих берез и дальше не знает куда. И вдруг женский затаенный смешок в сторонке, близ-

ко. И от этого женского смешка снова помутилось в голове блудливого идеолога. Метнулся на смешок в темень под плакучими березами и осветил ее фонариком: стоит Лариса, оправляет косы распавшиеся и лукаво улыбается...

— Чур меня! Хотела убежать от вас, да жалко: в болоте, пожалуй, завяз бы!

Тяжело дышит, мешает «вы» с «ты».

— Околдовала ты меня... колдунья...

— А ты перекрестись, и пройдет!

— Не проходит...

Подошел. Она не успела рук от головы опустить — опять облапил...

— Отпусти, медведь этакий! Не поборешь...

Я сильная...

А сама смеется и в смехе теряет и силу, и волю...

Уже бес сладкого греха готовился торжествовать победу, как вдруг сиповатый мужицкий окрик:

— Что за люди?

Никита с палкой. Барыня приказала по ночам сад и парк обходить: ягоды воруют.

— Мы это, мы!

Очень сконфузился старик. По голосу при-

знал Ларису Петровну. Подумал, что с мужем она, с Григорием Миколаичем, разыгралась, — такая темень, что не признать человека.

— Прости Христа ради... Думал: воры, по ягоды... Хм!..

Пошел в сторону, тихо посмеивался в бороду и шептал:

— Хм! Ровно глухари на току!

Затрещал в колотушку.

Вернулись Лариса с гостем. Гость что-то не в себе, а она улыбается. Акушерка еще тут.

— Долго вы... — говорит.

— Да темно. Хоть глаз выколи!.. Назад принесли...

— Да, да... Неудачно...

— Совсем было дошли, да на Никиту напоролись. За воров нас принял...

Лариса смеется.

— Давайте мне: я на подволоке спрячу, — предложила Марья Ивановна.

— Пожалуй!.. Дней на пять... Со стеклянной фабрики человек придет один. Лучше без всякой записки. Пароль скажет: «От кума поклон!» А мне надо в Нижний торопиться...

к Максиму Горькому.

— Обожаю Горького! — подумала вслух Марья Ивановна и начала декламировать:

*Рожденный ползать летать не
может!*[381]

— Это что же за господина Горьким-то называете? — поинтересовался Петр Трофимович.

Вронч начал рассказывать про удивительного булочника, который превратился сразу в знаменитого писателя, причем то и дело называл его «нашим писателем». Это обидело Марью Ивановну. Хотя она в последний год сильно поколебалась в своей народовольческой вере, но когда до нее дошли вести, что народовольческая партия воскресла в новой организации «социалистов-революционеров» [382], таких же террористов, бывшая гордость зашевелилась в ее душе, и теперь она не захотела уступить Горького марксистам:

— Почему он — ваш? Горький стоит за героев! Возьмите его рассказы: «Уж и сокол», «Старуху Изергиль», «Буревестника», «Человека», который звучит гордо![383] Ясно, что

он — социалист-революционер...

Вронч не уступал:

— Горький не установился еще, но он вышел из низов, из пролетарской среды и если пока не совсем наш, то будет *нашим*. Сознание его проясняется. Это видно по рассказу «Челкаш», где явно все симпатии автора на стороне рабочего класса...[384]

Чуть не поругались из-за Горького...

Надо сказать, что если в 80-х годах прошлого столетия любимцем интеллигенции был поэт Надсон, в 90-х годах — Антон Чехов, то теперь таким любимцем сделался Максим Горький. С шумом и быстротой ракеты взлетел этот молодой писатель на горизонте русской изящной литературы. Выпустил только две книжечки про выдуманных романтических босяков[385] и привлек все интеллигентские души. Еще в полном расцвете блистал талант Короленко, Чехова, еще жил и творил великий писатель земли русской Лев Толстой, а уже шумели и кричали только о Горьком. И критики, и читатели. Горьковский босяк воцарился от студенческой мансарды до аристократической гостиной... Откуда взя-

лась эта обаятельная и притягательная сила горьковских босяков, безыдейных хулителей и разрушителей всех ценностей культуры и цивилизации?

Это было знамение грядущего времени — для одних и ярким обличием настоящего — для других.

И читатели, и критика слишком злобно-дневно восприняли яркую красочную босяцкую ненависть к существующему и вложили в нее свое собственное содержание: ненависть к долгой укрепившейся реакции, к существующему политическому бытию, узрели борьбу с «сумерками» жизни, мещанством и пошлятиной устоявшейся действительности. Жизнь казалась тогда загнившим болотом, в котором плодились Ионычи, Чебутыкины, дяди Вани и всякие хмурые люди, — и вдруг яркий, красочный обличитель и ругатель жизни, горьковский босяк! Опостылели русскому человеку тишина и спокойствие, ибо беспокойна душа его. И вот точно молния на горизонте после продолжительной изнурительной жары. Хотелось грозы и бури и мало думалось о положительной ценности нового

прокурора, ругателя и обличителя, разрушителя всех благ и добродетелей, на которых крепилась жизнь государства и общества. Всякий вкладывал в босяцкие громы собственного бога, непременно враждебного ко всему существующему. Никто не хотел узреть, что ничего, кроме ненависти к устоям жизни и разрушительных тенденций всех культурных и государственных ценностей, в босяке не имеется. Яркий, красочный язык, сверкавший неожиданными жемчужинами народной речи, отсутствие обычного литературного нутя, непосредственность, взрывчатый, не партийный, а нутряной анархизм, буйство свободной души, которыми наделил автор своих героев, заморозили и критику, и читателей, а необычная биография автора привлекла к нему симпатии всех кругов и классов, склоняла к нему всех чем-либо обиженных и недовольных... даже просто скучающих от тоски и безделья...

Уже в самом обличении, ругательстве и разрушении — была боевая революционность, и потому Максим Горький оказался желанным для всех революционных партий.

Партийная революционная интеллигенция начала охотиться за Горьким[386]. Горький стал напоминать Пенелопу, окруженную женихами-соперниками[387]. Каждый жених имел своего бога и веру и стремился окрестить в нее талантливое писателя. Горькому только оставалось, подобно князю Владимиру Киевскому, выбрать веру по своему вкусу и разумению[388]. Но тогда Горький еще плохо разбирался в вере, а по темпераменту своему больше «пел песни безумству храбрых...»[389].

Вронч-Вруевич имел от Ленина поручение «завоевать» Горького: он из низов, из пролетарской среды, он — гордость рабочих и по роду-племени должен принадлежать идеологам рабочего класса, тем более что песенка народников спета, а марксизм победно шествует.

Марксистский жених нашептывает Пенелопе соблазнительные слова:

*И будешь ты царицей мира,
Подруга вечная моя![390]*

И вот тщеславный босяк уже написал но-

вого босяка, который глаголет словами марксистского катехизиса.

— Существуют законы и силы... Как можно им противиться, ежели у нас все орудия в уме, а ум тоже подлежит законам и силам? (Разумей: сознание определяется бытием, а не бытие — сознанием![391]) Значит — не кобенься, а то сейчас же разрушит в прах сила! (Разумей: приходится принять марксистскую веру!)

XV

Во всех штатах приготавливались к путешествию на Светлое озеро, ко Граду Незримому Китежу...

По вечерам на террасе о чудесах разговаривали. Откуда такая легенда в народе взялась и почему в нее так простой народ верит? Павел Николаевич старался каждое чудо объяснить самым простым образом. Например, чудо насыщения пятью хлебами пяти тысяч человек[392] на озере Генисаретском он толковал так: у всех был припрятанный за пазуху хлеб, и всем стало стыдно, когда Христос начал делить последние пять булок. Ну вот и стали свои запасы вытаскивать, и оказалось,

что все наелись, да еще и остатки получились. Чудо в Кане Галилейской[393] разъяснял еще проще: все перепились, тогда хозяин разбавил водой остатки вина, и пир продолжался. А спьяну эту смесь пили за вино, да еще и похваливали! И теперь, когда говорили о чудесной легенде, Павел Николаевич высказал трезвый взгляд:

— Возможно, что и был такой городок Китеж, а потом почва опустилась, образовалось озеро. Возможно, и то, что случай этот совпал с татарским нашествием... Хорошо бы спустить воду из этого озера и произвести археологические раскопки...

Наташа недовольна:

— А как же говорят, что и теперь колокольные звоны праведные люди слышат?

— Возможно. Галлюцинация слуха. Наши глаза и уши — инструменты весьма несовершенные. Наш взгляд на небеса, например, коренным образом изменился с изобретением оптических инструментов. Раньше думали, что земля с небом сходится: «пряжу девоньки прядут, прялки на небо кладут!». А теперь небесная сказка развалилась, как карточный

ДОМИК.

— Разве можно верить в Бога и не верить в чудеса? — прошептала Наташа, устремляя застуманенный взор в пространство.

— И в Бога верить не обязательно! — сердито скороговорочкой воткнула в разговор акушерка, пустив из ноздрей два облачка табачного дыма.

— А помните, что сказал Вольтер? — заметил Павел Николаевич. — Если бы Бога не было, то следовало бы его выдумать[394].

Тут вмешался Костя Гаврилов:

— Вот его и выдумали правящие классы с попами, чтобы держать народные массы в своей власти.

Наташа обиделась, голос ее задрожал:

— Наплевать мне на ваши массы, я сама для себя верю в Бога!

Павел Николаевич тоже возразил:

— Идея Верховного существа живет в душе народов с незапамятных времен, молодой человек. Жила и в те времена, когда еще ни буржуазии, ни пролетариата и в помине не было...

Акушерка поставила вопрос ребром:

— Да сами-то вы, Павел Николаевич, неужто верите в эти сказки?

Павел Николаевич смущенно пожал плечами:

— Как вам сказать... Интеллигентный человек, конечно, не может веровать в той форме, в которую укладывает веру религия, не может верить так, как верует, например, мужик, но...

Павел Николаевич начал длинное разъяснение. Выходило так, что ему, как образованному человеку, можно обойтись без религии и всегда носить в душе незримого Бога, а вот простому человеку это недоступно, ибо он не способен к отвлечениям и нуждается в видимых формах...

Наташа опять обиделась:

— Значит, я — неинтеллигентный человек... — шепнула она.

— Отнимите у народа религию, и он обратится в скота!

Акушерка пыхнула дымом прямо в физиономию Павла Николаевича:

— А вот мы хотим и для мужика такого же сознания, как для всех прочих.

Акушерку поддержал Костя Гаврилов:

— Мы хотим это пугало с буржуазного огорода совсем убрать!

— И свое поставить? Опасный опыт. Вон Великая Французская революция попробовала Бога упразднить, да ничего не вышло. Пришлось признать Высшее существо взамен сооруженного храма Разуму...[395]

— Мы, марксисты, этого не допустим! — пискнула Ольга Ивановна, и этот писк был так неожидан и решителен, что последовал веселый взрыв хохота.

А потом Костя Гаврилов, нахмурия лоб, заявил:

— Покуда массы верят в незримый град Китеж, они непригодны к революции. Надо с корнем вырвать веру в эти сказки.

— Что же останется? Темное звериное дикарство?

— Лучше пустое место. На пустом месте можно что угодно выстроить.

— Вместо Бога Маркса хотите поставить?

— Веру в социализм.

— Вместо града Китежа — коммуну?

— Да, коммуну! Наш Светлояр — рабочий

класс, а град Китеж — социализм...

— Зачем же вы в таком случае собираетесь ехать? Вам с Ольгой Ивановной нечего там делать, — недружелюбно сказала Наташа.

Коля Гаврилов переглянулся с Ольгой Ивановной и сердито ответил:

— Конечно, не звоны подземные слушать!

— Мы не с вами... Мы странниками...

— Знаю, знаю! Вы — с Гришей хотите...

Они с Ларисой на телеге поедут...

Надо сказать, что план поездки на пароходе вместе с Врончем на хуторе расстроился. После дьявольского искушения, описанного в предыдущей главе, Вронч до смерти испугался Ларисы, которая повела себя слишком откровенно, многообещающе, причем совершенно игнорировала своего Григория Николаевича. Вронч сослался на экстренность и сбежал малодушно накануне полной победы. На Ларису напал покаянный стих. Посиживала у окошечка, пригорюнившись, и думала о том, что, если и не случилось, так могло случиться. Вот Григорий в человеческое могущество верит, а какое могущество дано человеку на земле, когда он сам не знает, что с ним бу-

дет через минутку? Разя она думала о грехе, когда пошла с гостем к Алёнкиному пруду? Не грешно, если «в Духе» случится, а тут — как сука какая... Не наткнись тогда на Петра с Лушкой, которых дьявол подсунул, никогда бы и в мыслях не явилось блудничать-то. Все береглась, силу своей святости чувствовала с мужчинами. Второй годе мужем в непорочности живут, позабыли, что и муж с женой. Так, думала, и вперед будет. А теперь вот ядом-то этим греховным словно одурманилась, по всем жилочкам яд этот течет, женскую волю потеряла. Григория стала, как Ева, дьяволом наущенная, сманивать. Твердый человек. Пишет свое сочинение и оставляет без внимания.

— У, проклятый! — шепчет Лариса, вспоминая уехавшего гостя, а глаза все еще пьяные, и волосы из-под платочка выскакивают, и сладкая потягота одолевает... Пост бы, что ли, сорокадневный на себя наложить... Да разя годна она теперь на такой подвиг?!

Ушла в спальню, прилегла на кровать и заплакала. Услыхал Григорий, что женщина плачет, подошел, спрашивает:

— Что с тобой? Зубы, что ли, болят?

А она смеяться начала.

— Над чем смеешься?

— Над тобой.

— Почему так? — Руку на плечо положил.

— Уйди от меня!

— Я как брат к тебе... Не бойся!

— Не бойся! Есть кого бояться...

Примолкла. Григорий отошел, сел на сундуке. Голову опустил.

— Поганая я... Ты меня запирай на ночь-то... И спать не могу... Грех меня мутит...

— Ничего. Погаснет, перегорит... Бог простит.

— Пошел от меня! Убирайся ко псам!

Села в кровати, косы упали, глаза злобой горят...

— Скройся с глаз моих, немочь лядящая! У, трухлявый...

Отвернулась к стене и смолкла. Вздохнул Григорий и тихо вышел. А прошло минут десять — завопила:

— Гришенька! Братец мой миленький! Прости меня, окаянную...

Потом прошло. Стихла. Как овечка стала.

Ко граду Китежу зовет:

— Пешком я пойду до самого Града...

— На телеге поедем...

— Не сяду. Всю дороженьку пешком пойду... Как собака за тобой побегу!

Упала на колени перед Григорием. Разметались по полу черные косы, как две змеи, поползли под ноги ему:

— Прости Христа ради мне, окаянной!

Разрыдалась слезами покаянными. Поднял ее с полу Григорий, а она забилась в судорогах, и пена на губах. Оставил на полу, за холодной водой побежал. Отливать стал. «Порченными» таких в деревне называют — бес в ней сидит. Побился один, не приходит в себя — за Марьей Ивановной побежал, испугался. Перенесли на кровать. Марья Ивановна валирианкой отпоила. Холодный компресс на сердце положила и на голову. Припадок беснования прошел.

— У-у, хо... лодно, хо-олодно мне...

Лихорадка бьет. Марья Ивановна в «бабушкин штат» сбегала — коньяку принесла. Григорий полчашки налил:

— Пей! Пей!

Приподнял за плечи, льет в рот огненную жидкость. Не открывая глаз, глотает Лариса. Выпила, засмеялась и упала, зарылась в подушках:

— Хорошо! Ах, хорошо! Спасибо, родненькие... Простите меня, шкуру окаянную... у-у!

— Спи! — приказала Марья Ивановна и увела Григория.

— Что с ней такое? Второй раз в этом году...

— Объелась. Через часик клизму ей хорошую... Не Богу молиться да поститься, а родить бабе надо... вся дурь и пройдет!

Покраснел Григорий Николаевич и замолчал. Точно виноватый.

Старик отец сомнительно головой покачивает: бес в ней сидит, с той поры засел, как с «баринном» встретилась. Тогда еще бес закрутил ее... Только неохота про это людям зря говорить. Вот поедет ко граду Китежу, пусть трижды в святой воде окунется! Только попы озеро освятили: пожалуй, ничего не выйдет теперь...

XVI

30 июня ранним утром с хутора телега с

холщовым шатром выкатилась. Телега огромная, а лошаденку чуть видать. Много народу понабилося. Точно цыгане со становища снялись. Под шатром Григорий с Ларисой, акушерка, Петр Трофимович, старик, отставной солдат Синев, еретик переметный, до старости дожил, а все своего «корабля» не нашел еще; мельник бородатый, человек древляго благочестия, аввакумовец, хотя и православный, а в церковь не ходит, в своей молельне молится, на свои образа, по своим книгам, ест-пьет из своей посуды, своей ложкой хлебает, с никонианцами не поганится; паренек Миша, Григорием в «толстовство» обращенный. Он лошадкой правит. Все попрятались: не хотели, чтобы люди видели, кто поехал. Как барскую усадьбу миновали и в поля выехали, Лариса вылезла, пешком за телегой пошла. За ней Синев вылез и Миша: лошадку жалко, тяга большая, а путь дальний — три ночи в пути ночевать...

Только верст десять отъехали, а навстречу две тройки, с подборными колокольцами и бубенцами. Прямо музыка играет. На первой тройке Ваня Ананькин с женой. Он в капи-

танской форме, галуны[396] и пуговицы золотые, на фуражке околыш золотой и якорь. Прямо как исправник. И сигара в зубах. А Зи-ночка в синем плаще с башлыком и под японским зонтиком — королевной развалилась. А за ними — тройка порожняя, вместо пассажиров — ящики и корзинки.

Махнул кнутиком ямщик: сворачивай, мол, господ везу! Чуть успели в рожь податься — пролетели как ветер, только пыль столбом за ними...

— Рано что-то он нынче праздновать-то поехал...

Обыкновенно Ваня Ананькин праздновал день своих именин в Никудышевке.

Лариса подумала, что и теперь на свои именины скажут. Ошиблась.

Ваня все еще праздновал свое примирение с женой и от радости бесновался.

Зиночка как хотела вертела им. Запросилась на Светлое озеро под Иванов день — изволь, голубка! А чтобы веселей голубке было, решил компанию прихватить да на своем пароходе и махнуть. А сам — капитаном.

— Одни поедем! Ни одного пассажира не

приму! Как дома...

А тут уж все порешили не на Симбирск, а на Алатырь ехать: купец Тыркин своего «Аввакума» специальным рейсом пускает до села Лыскова на Волге, и объявление такое сделал, что всех странников, ко граду Китежу направляющихся, этот пароход бесплатно до Лыскова доставит.

Ваня Ананькин не принял во внимание, что тут дочка Тыркина, Людочка, присутствует, начал пароходство Тыркина хулить, а свое возносить:

— Грязную публику только на его пароходах возить! Знаю я этого «Аввакума», у нас же куплен. Старое корыто, а не пароход! А я на своей «Стреле» вас повезу. Восемь кают первого класса, рубка с музыкой — пьянина есть, буфет первоклассный. Знаменитый повар от князей Барятинских[397]. Ни одного пассажира не возьму...

Людочка за свои пароходы обиделась:

— Папа нам весь первый класс тоже отдает. И пароход «Аввакум» очень чистый и быстроходный. Может быть, у вас вместо пароходов корыты и калоши, а у нас старинное

пароходство...

— То-то вот больно старинное. Для Суры [398], впрочем, ладно. У вас народ неторопливый...

И тут Людочка без ответа не оставила:

— На Алатырь по Суре — самый близкий путь до Лыскова, и притом Сурой по воде побежим, а Волгой — против воды, трое суток надо на вашей «Стреле» ползти.

И Коля Гаврилов, и Ольга Ивановна, и Марья Ивановна, и Сашенька находили, что без пассажиров ехать неинтересно:

— Странники-то и есть самое интересное!..

Долго упирался Ваня.

— Как хотите. Мы и одни можем...

— Я хочу со всеми... Одна не поеду! — капризно заявила Зиночка.

— Тогда вальнем все на «Аввакуме»! Я человек компанейский... Для буфета у меня полный ассортимент!

Людочка торжествовала. За ней пришлют тройку из Алатыря. Теперь всем места хватит.

Началась война с бабушкой за Наташу. Бабушка не соглашалась. Ни слезы, ни мольбы на нее не действовали:

— Что-нибудь одно: либо замуж выходить, либо подол трепать!

— Ну и не надо! Не желаю замуж!.. А поеду в Китеж...

— Ну, а я плюну на вашу свадьбу и уеду в Алатырь!

Наташа так взлелеяла мечту об этой поездке, что никакие угрозы бабушки не действовали.

— Что же, я такая скверная, что меня нельзя с глаз выпустить?

— Кабы ты была скверная, так я рукой бы махнула: поезжай куда хочешь! Тебя берегу!

— От кого?

Тут уж все обиделись. Все — на бабушку!.. Вздохнула бабушка и сдалась... Общее ликование. Суматоха. Смех. Поцелуи.

— Ура! Бабушку победили...

А бабушка сидит в кресле грустная и задумчивая: устала вдруг сражаться, опустились, как крылья, руки.

— Нет. Уж, видно, помирать мне пора...

Наташа порывисто обнимает и крепко-крепко целует бабушку. На глазах у обеих слезы. Шепчет, глотая слезы, бабушка внучке:

«Одна ты у меня, вот и боюсь: отнимут...»

— Кто, бабуся?

Молчит. Кто? Как их назовешь? Все эти — новые, чужие, далекие, дерзкие, безбожные, бессовестные, развратные... Вон что сделали с Зиночкой-то, не узнаешь: и курит, и водку пьет, и неприличное рассказывает... И не подумаешь, что из старого дворянского рода... На арфистку какую-то стала похожа. Ванька ее по ярманкам с собой таскал, всю пакость ей показал человеческую. Насмотрелась и наслушалась всякой гадости... Всегда с собой гитару возит...

Поймала Сашеньку и шепнула:

— Ты уж присмотри за Наташенькой-то!.. Только на тебя и надеюсь... Я дам свою пару, вас с Наташей Никита повезет. Боюсь я этих купеческих лошадей: и ямщики, и лошади бешеные... Ох, поскорее бы уж провалились!

«Провалились» только на другой день под вечер.

Четыре тарантаса из ворот барских выехали. Звону — как на Пасхе! Дуги расписные, шлеи на лошадях — кованые, вожжи — ременные, лошади одна к другой подобраны, та-

рантасы просторные, ямщики нарядные, молодые да еще и навеселе.

Народу у ворот сбилось — не проехать. Визг и писк бабий, гогот мужичий, смех и ругань. Как рванулась передняя тройка — все врассыпную... вторая, третья... позади всех Никита. Сразу поотстал. Насмешки ему вдогонку полетели...

Загикали ямщики. Заклубилась золотая пыль под колесами. Засверкали подковы, землей высветленные. Погнались деревенские собаки... Запели хором малиновым колокольчики, посыпались серебром бубенчики по дороге, под собачий аккомпанемент. Пристяжки наотмашь, галопом скачут, а коренники высоко головы вскинули, широкие груди вперед подали и мелкой рысью жарят. Словно танцуют лошадки под музыку. Встречные телеги мужицкие — в стороны кидаются. Мужики шапки неуверенно приподнимают: может, начальство какое...

— Господа разгуляться поехали!

Наташа сердится на Никиту: отстают. А тот урезонивает:

— Барышня милая, разя за ними угонишь-

ся? Поспеем. Вишь, пылищу-то какую подняли? Задохнешься! Надо либо впереди ехать, либо отстать подальше.

— Обгоняй всех!

Попробовал Никита объехать — куда тут! Обиделись ямщики купецкие, — не дают ходу. Ванька хохочет, платочком помахивает: прощайте, дескать!

— Тише едешь, барышня, дальше будешь!

Отстали на версту. Только через час, когда в лес въехали, нагнали. Шагом все поползли. Пристяжки на ходу листочки с березок и кустиков пощипывают. Колокольчики точно устали: лениво позванивают на разные голоса. Ямщики идут рядом с тарантасами. Махорочкой от них на весь лес попахивает.

Но вот сбежались вылезшие пассажиры, все с цветочками, подумаешь, что за этим делом только и вылезали. Поскакали на свои места. Свистнул передний ямщик, и снова музыка по лесу полетела...

Вылетели из лесу — ширь зеленая и голубая раскрылась, радостная, солнечная, сверкающая. Как море — небеса, как море-степь хлебная, шелком золотистым переливающая-

ся. Чуть-чуть слышно через музыку колокольчиков, как в небесной выси жаворонки от радости захлебываются... Простор и радость в душу льются.

Никита песенку запел:

*Калина с малинушкой рано расцвела,
В эту пору-времячко мать дочь родила...
В эту пору-времячко мать дочь родила,
Не собрамышь с разумом, замуж отдала...[399]*

Прислушалась Наташа и про себя подумала. Скоро замуж. Грустно-грустно сделалось ей вдруг. Даже слезка выкатилась...

*Рассержусь на мамыньку, на родимую,
Не приду я к мамыньке ровно три года...
На четвертом годике пташкой прилечу,
Сяду я на веточку в зеленом саду...
Сяду я на веточку в зеленом саду,
Пропою я матушке про тоску*

свою...

Расплакалась Наташа. Жалко стало себя, маму с папой и свой сад с парком, с которыми скоро придется расстаться.

Сашенька понять не может, что случилось с Наташей, а она не хочет признаться: смеется и плачет...

Опять отстали... Только теперь не хочется уже Наташе и догонять. Пусть лошади идут шагом, а Никита поет грустную песенку...

*Услыхала мамынька песенку в са-
ду,
Не признала в пташечке доченьку
свою.
Что ты, пташка малая, жалобно
поешь,
Своей песней жалостной спать
мне не даешь?*

Замолчал Никита, попридержал лошадей: шлея сползла, поправить надо.

— Ну, а дальше как?

— Ты про что?

— Песня-то?

— А, ты про песню! А вот дальше-то и запомятовал.

— Узнала она дочку-то?..

— Признала. Человечьим голосом запела. Зачем, дескать, за немилото да старого отда-ла?..

— А потом что было?

— А потом: не хочу, байт, пташка, из роди-мого сада улетать, а лучше навеки птицей останусь. Лучше, дескать, вольной птичкой быть, чем с немилым жить... Понравилась пе-сенка-то?

— Очень!

Нагнали спутников уже на остановке. Загнали пьяные ямщики лошадок. Поломался еще тарантас у Вани Ананькина. Все ночевать на постоялом остались, а Никита покормил лошадей да через два часа дальше двинулись. Посмеивался Никита:

— Вот моя правда и вышла, барышня: тише едешь — дальше будешь!

Наташа с Сашенькой раньше приехали и успели в алатырском доме и умыться, и переодеться, и чайку попить. С парохода записку прислали: почему гости не являются? Пароход задерживают. Потом сам Тыркин на рысаке прискакал. Объяснили. Тыркин сам доста-

вил Наташу с Сашенькой на пароход и приказал не отчаливать без своего приказания.

Запоздавшие подъехали к пристаням под вечер, когда солнышко последними улыбка-ми румянило реку, пароходы, лодки, людей и белых чаек, кружившихся около речного становища, где было много поживы.

Пароход был уже битком набит странниками, странницами, нищими калеками, какими-то полумонахами и полумонахинями, собирателями на построение храмов Божиих, слепцами певучими. Объявленный Тыркин-ным бесплатный проезд до села Лыскова, что на Волге, против Макарьевского монастыря, согнал такую массу блуждающего люду, что пришлось поставить наряд полиции и прекратить доступ на пароход «Аввакум». Около пристани копошилась, пошевеливаясь живым чудовищем, толпа, шумливая, бурливая, как река взволнованная...

Много набилось желавших проехаться по Волге под видом богомольцев! Кричали, ругались, толкались, спорили с полицией, бранили купца Тыркина и его пароходство, капитана, матросов и всех, кто попал на пароход...

— Почему одних пропустили, а другим не позволяют?

— Я тоже странник на земле... в святое место жалаю попасть!

— А ты поговори еще, так заместо святого места в участок попадешь!

Толпа не пропускала подъехавшие тройки к пароходным мосткам.

— Если не пропускать, так никого!

Сам Тыркин вступился. Махнул полицейскому надзирателю, тот будочникам, а те — кому тычок в загривок, кого шашкой в ножах. Прорезали толпу, как просеку в лесу прорубили, и всех именитых гостей на пароход провели.

— Нам нельзя, а господам можно?

— Богомольцы, видишь, дитару понесли!

— Богатых пропускают, а бедных — в шею!

Так в объявлении-то и написали бы!

Посыпались на проходивших со всех сторон насмешки. Резко прозвучала враждебность большого мира к малому, культурному. В несколько минут, пока господа проходили просекой, им пришлось выслушать в метких и злых словах всю затаенную веками нена-

висть... Да и бывшие на пароходе помогали береговым.

— За что они нас так... ненавидят? — испуганно спросила Наташа.

Ваня махнул рукой:

— Круглое невежество...

С берега кричали к пароходу:

— Эй! Капитан! На ярманку, что ли, девок-то везешь?

— Идемте, господа, в рубку... Тут наслушаешься... — предложил Ваня, желая избавить девушек от долетавшей с берега пошлости, направленной по их адресу.

Женщины торопливо юркнули в дверь рубки и скрылись от гоготавшей толпы.

Прогудел последний свисток, и «Аввакум» начал отчаливать от пристани... По реке уже мерцали красные и желтые огоньки бакенов, фонари на судовых мачтах. И в городе, уплывавшем назад, тоже мигали уже огоньки окон. И вот и пароход, и все люди на нем словно оторвались от земли и повисли в синих сумерках опускающейся летней ночи.

Все успокоились, позабыли о враждебной встрече народа, разместились по каютам,

уютно устроились и почувствовали себя как дома. Ведь весь первый класс населен только своей, «чистой» публикой. Рубка — как общий зал в своем доме. Матрос притащил самовар. Повар забарабанил ножами — готовит вкусный ужин. Ваня разворачивает свой подорожный буфет с винами, водками, закусками, фруктами, со всякими деликатесами. Полная чаша!

Первоклассная компания вкусно и сытно покушала и занялась музыкой. Наташа захватила с собой партитуру любимой оперы Римского-Корсакова «Град Китеж». Вздумали спеть хоровой номер. Вышло совсем недурно. Звучало так торжественно, молитвенно. И вот что случилось во время этого пения. Окна в рубке были занавешены опущенными шторами. Во время пения Ваня Ананькин приподнял штору и заглянул в окно: под окном стояли богомолки-странницы и молились под их хоровое пение. Свет электрической лампочки освещал лица молящихся: на этих лицах светилось религиозное умиление, женщины молились широким размахом и, возводя взоры к небесам, что-то шептали гу-

бами.

— Господа! А ведь люди-то молятся под оперу! — обернувшись, сказал Ваня с улыбочкой, и всем сделалось смешно. Только Наташа почувствовала неловкость и застыдилась. Перестала петь и хлопнула крышкой пианино.

— Почему? Продолжайте! Пусть их молятся...

— Нехорошо.

— Почему — плохо?

— Объяснить не могу, но чувствую. Мы забавляемся, а они...

— Они думают, что мы молебствие служим!

— Бросим, бросим... Нехорошо.

А подвыпившая Зиночка взяла свою гитару и забряцала струнами, напевая:

*Говорят, что я — кокетка, что
любить я не могу...[400]*

Наташа рассердилась, ушла в свою каюту и заперлась... Грустно ей сделалось и беспокойно на душе. Сама не знает почему. Соскучилась вдруг по своему дому, мамочке и бабушке. И точно разлюбила вдруг Адама Бро-

ниславовича... Казался таким прекрасным, умным, интересным, а теперь точно померк. Он уже старый: на висках седой и чужой, совсем чужой! Он какой-то хитрый и осторожный. Не узнаешь никогда, что он думает...

«А вдруг я не люблю его?»

Смотрела в раскрытое окошечко испуганными глазами в синий туман ночи, и слезы сверкали на ее ресницах. Легла на койку, долго потихоньку плакала и не заметила, как заснула.

Проснулась ранним утром от холодка на плечах. Села, прислушалась: под окном точно голубь курлычет. Заглянула в щелку под занавесочку — старик в очках читает, а вокруг толпа слушателей. Прислушалась:

«...Аще ли который человек обещается идти в той град Китеж и неложно от усердия своего поститься начнет, и пойдет во Град и обещается тако: аще голодом умрети, аще ины страхи претерпети, аще и смертию умрети, но не изыти из него, — такого человека приведет Господь силою Своею в невидимый град Китеж. И узрит он той град не гаданием, но смертными очима, и спасет Бог того человека.

Аще же кто пойдет, обаче мыслити начнет симо и овамо, таковому Господь закрывает невидимый град Свой. Осуждение и тьму кро-мешную примет всяк человек, иже такому Святому месту поругается. Понеже на конец века сего Господь чудо яви: невидимым сотвори град Китеж и покры его десницею Своею, да пребывающие в нем не узрят скорби и печали от зверя-Антихриста...»[401]

— Невозможно, стало быть, узреть град сей и услышать звоны в нем колокольные?

«— Все от Милости Божией! Первое дело — усердие. В безмолвии на берегах Святого озера надлежит пребывать. И вот начнет усердного святой брег качати, аки младенца в зыбке. Тогда твори молитву Иисусову и ни словом, ни воздыханием не моги о том ближнему поведать. И егда приидет час блаженным утреню во граде Китеже петь, услышит усердный звон колоколов серебряных. Лежи тогда недвижно и безмолвно, о земном не помышляя. Заря на небе заниматься зачнет — гляди тогда в озеро и, яко в зеркале, узришь золотые кресты, и весь град с стенами, башнями, палатами каменными, княжьими, хоронами

боярскими, с теремами высокими. А по улицам града узришь ходящими птиц райских, Алконостами[402] именуемых...»

С широко раскрытыми глазами слушала Наташа про тайны града Китежа и, крестясь на иконку в переднем углу каюты, шептала:

— Господи! Если бы дал Ты мне радость услышать благовест Твой к нам!

Румянилось и золотилось утро. Солнышко умывалось в реке. Поплескивали над ее поверхностью серебряные и золотые рыбки. Плыли и кувыркались белые чайки. И фимиам фиолетовый возносился от земли к небесам...

XVII

Глухая сторона. Когда-то в эти места и проезда не было. Как звери дикие, люди по тропам да меткам на деревьях пробирались куда надо. Немало тут таких поселков в два-три домика было, о которых никакое начальство не подозревало, не говоря уже о землянках, сокрытых в непролазных трупцах. Леса тянулись на сотни верст по всему левому побережью Волги, захватывая Казанскую, Нижегородскую и Рязанскую губернии. Знаменитый

своими разбойниками лес Муромский когда-то входил в эту общую лесную зону...

Беглые из Сибири каторжники, беглые крестьяне помещичьи, беглые от солдатчины, от суда, от гонений религиозных и политических, когда-то почти не отличае­мых друг от друга (Бог — царь небесный, царь — Бог земной) — все тянулись спасаться в эти глухие леса, как злодеи разные, так и люди праведной жизни и веры, поломанной сперва патриархом Никоном, а потом Петром Великим[403].

С незапамятных времен у народа русского, особенно же у людей «древляго благочестия» и всяких искателей истинного Бога и истинной веры, озеро Светлояр, сокрывшее праведный град Китеж от татарвы поганой, святым почиталось. Трудно было пробраться к этому святому месту. Большим это подвигом считалось. Однако никакие трудности не пугали людей Божиих: усердие большое к Господу было, много скитов праведной жизни, тайных, здесь понастроили, и был в тех скитах приют для всех гонимых...

Теперь от Нижнего до городка Семенова

[404], что верст на двадцать от Святого озера находится, почтовый тракт проложен: все леса им насквозь перерезаны. Да и леса уже не сплошные, а огромными островами, а на островах тех и проселочных дорог немало понаделано, потому что деревеньки как из игрушечных домиков понастроены, по-старинному — с резьбой на ставнях, на крылечках, на воротах, с крестами да с петушками на коньке крыш. Никуда теперь от начальства не спрячешься. А все-таки и теперь еще такая глушь в этих местах, что никакая культура туда и носа не показывает. И живут здесь люди, похожие на детей или дикарей: робкие, пугливые, твердо верующие не только в Бога и черта, а и во всякую нечисть лесную — в леших, в кикимор, в лесачих (лесных девок развратных), в оборотней из человека в зверя. Лес живет и растет тут вместе с человеком. Лесные люди. От лесов и кормятся: из дерева всякую утварь и посуду выделывают: чашки и ложки, корзины, бочонки и кадки, сундучки, туесы берестовые, лапти лыковые, игрушки детские, кору дубовую и липовую дерут, грибы белые сушат, грузди солят...

А плутоватый скупщик ярославский по лесам своим караваном тянется да за гроши скупает или обменивает на гвозди, спички, керосин или инструмент разный все эти заготовки и богатеет, в купцы второй гильдии вылезает.

Как ни стараются люди городские, земские, темных лесных людей просветить — толку мало получается:

— Нам это не в надобе! И так проживем!

Дети с малолетства родителям помогают дерево обдeldывать, чтобы ремесло перенять. Школа одна верст на пятнадцать в окружности. Хорошо, если деревенька близко от школы. А походи-ка зимой, в лютые морозы за десять верст в конец!

Зато в каждой семье свой грамотей имеется: по церковно-славянскому писанию и чтению. На досуге соберется вокруг такого грамотея вся деревенька и слушает «божественное». Не все понимают — слова-то больно мудреные, но это не мешает чувствовать силу и мудрость Слова Божьего. Есть и церковки в лесах этих кое-где, верст на сорок друг от друга, да пустуют: народ здесь больше — потом-

ки староверов да сектантов разных, от государственной церкви отбившихся. Град Китеж у них свой — «Новый Иерусалим». Под Иванов день (память дня сокрытия чудесного града Китежа) бросают работы и все по-праздничному одетые толпами бредут на Светлый Яр. Дома только самые старые да самые малые остаются.

Не любят здесь господ любопытствующих: сами и в Богато не веруют, а все выпытывают, хитрят, подглядывают. Разрядятся и ходят вокруг Светлого озера, как на ярманке. Как на гульбище, а не в святом месте!

Дивуются лесные люди: ноги тоненькие, штаны узенькие, башмачки на барышнях — словно копытца чертовы. И что лезут? Взять бы метлу да по задам-то их, по задам!

Много стало любопытных господ приезжать. Из святого места себе забаву делают... На тройках с колокольцами! Смеются, кричат...

А нынче из городов большой съезд всяких правдоискателей.

Все растерялись в толпе странников. А Наташа нарочно поотстала, чтобы никто из сво-

их не мешал и не надоедал разговорами... У Наташи новое необычайное настроение — ощущение чудесного, ощущение светлое и радостное.

Точно сказка превратилась в правду вдруг...

Удивительно красиво Святое озеро в рамке зелени и холмов, поросших старыми соснами и березами! Холмы и берега озера усеяны, как копошащимися муравьями, странниками и странницами в старинных народных домотканых сарафанах, платках и шالях. Ярко и пестро. Господи, каких только людей здесь нет! То похожие на апостолов и мудрецов, то на берендеев из «Снегурочки»[405], то словно с картин Нестерова[406] сюда слетелись. Не то мужики, не то переряженные профессора: в совиных очках, с толстыми книгами в старинных переплетах. Монахи, юродивые, слепцы, нищие, больные, калеки, старухи, молодухи, девушки застенчивые. И все изумительно: и одежда, и лица, и духовное пение, и разговоры божественные.

Взобралась на холмы. Тут что-то особенное делается... Спорят! Два старца: один лы-

сый, другой весь волосами оброс, только глаза из-под нависших бровей сверкают. Удивительно на Льва Толстого похож!

Наташа пододвинулась к бабам, поближе к этому двойнику Толстого и стала слушать... Сначала что-то смешное... Но надо быть серьезной, как все другие.

Слушает и дивится Наташа: точно по-своему «женский вопрос» разрешают!

— *Вот ты говоришь, что весь грех на земле от женщины, а...*

— *Правду говорю, отец! Недаром половица-то говорится: где черт не сможет, там ему баба поможет...*

— *Лучше бы нам, гордый человек, не поминать черта ибо пребываем мы в месте святом, под стенами Града Незримого...*

— *А посему нам и не следует черта бояться. А я так полагаю: раз Бог допустил черта на землю к людям, так от него никуда не спрячешься. Потому и сказано: где Бог, там и черт! [407]*

— *Не от него ли ты и разговариваешь, что женщину, тварь Божию, срамишь? — спросила богомолка обиженным голоском.*

— Верно! — произнес похожий на Толстого. — Не Бог ли сотворил женщину? Выходит, что ты Бога осуждаешь? — Неверно говоришь! Я Бога не задеваю... Он же и гадюку сотворил. Я только объясняю, что и черт, и баба у Бога на одной должности...

Обиженный бабий голосок вставил из-за спины волосатого старика:

— А кто твоя Праматерь? Прародительница? Ева же, поди?

— Ева.

— А ведь тоже баба была, как все мы, грешные...

— Вот что отвечу тебе, женщина: не равняй себя с Евой! Не греши!

— Да ведь баба же она, как все мы?

— Неверно говоришь. Два сапога, да не пара. У тебя, женщина, на брюхе — пуп, а Ева пупа не имела. Она — не рожденная, а сотворенная. А у вашего отродия завсегда на брюхе — пуп!

— Да ты что, видал Еву-то?

— Неразумная! Погляди, как Ева на образах пишется! Пишется без пупа, а у тебя — пуп, печать греха райского, смертного!

— Да сам-то ты без пупа, что ли?

— Верно: пуп имею. Только скажи, кто виноват этому? Я тоже рожден, а не сотворен. Это вы себя в гордости творением Божиим именуете, а я не называю: через Еву и я во грехе рожден. Значит, Ева, женщина, повинна в этом сраме...

— У них во всем баба виновата! Что же Адам-то махонький был? Не знал, что делал?

Вылезла вперед похожая на черную галку старуха:

— А про Матушку-Владычицу позабыл? Тоже рожденная, а не сотворенная, а в раю по правую сторону самого Христа восседает!

Постукала в землю батошкой и погрозила костлявым пальцем:

— Она, хотя и женщина, а в раю пребывает, а мы с тобой неизвестно, куда попадем. Не попасть бы тебе, старик, на колени к Вельзевулу, рядом с Иудею...[408]

Похожий на Льва Толстого снова заговорил:

— Истину святую сказала старушка Божия. Если через женщину прегрешаем, так через нее же часто и спасаем-

ся. Только твое маловерие и гордыня дозволяют тебе хулить женщину!

— Что мы, бабы, не люди, что ли?

— Помолчи, женщина! Дай сказать старцу праведному...

— Вспомни, маловерный, сколь женщин мученическую смерть за веру приняли и сколько их во святых пребывает! Не считано еще, кого больше в раю пребывает: мужеска или женска пола...

— Вот то-то, что не считано. Да и не видано. Я в раю не бывал, не считал. А вот что известно: когда праведник в пустынях спасался и дьявол ничем соблазнить его не мог, так он всегда бабу выставлял вроде как туза козырного. Возьми святого Антония! [409] Все искушения дьявол ему навязывал, не действовало, а напоследок бабу подсунул, и тот в сомнение пришел. Вот и выходит по-моему: черт и баба — на одной должности!

— Лжешь! Вспомни про жития многих женщин, целомудрия ради смерть принявших, венцом святости украшенных и к лику святых сопричисленных! Про жену благоверную Юлианию слышал?

Во имя ее и сейчас собор в Торжке красуется[410]. Про мученицу Фомаиду слышал?[411] Смерть прияла, защищая целомудрие свое, и на могиле ее чудеса совершались: блудники, как мужеска, так и женска пола, исцеление получали, к праведной семейной жизни возвращались. А слышал ли про преподобную деву Марию, в мужестем образе Марином именуемую? А ведь все они во святых пребывают, хотя пуп имели... — По вашей вере столько святых выходит, что в рай и места не хватает. А кто у вас во святые производит? Бог? Нет! Производит правительствующий Синод да царь, сами себя благочестивейшими и святейшими нарекише. С Анной-то Кашинской как вышло[412]? Сперва ко святым причислили, потом отчислили, а ныне снова во святые пожаловали. А по-нашему — все люди на земле обязаны праведно жить, и никакой заслуги и святости тут нет. Всяк живи праведно, вот рай на землю и снизойдет, и будет Воля Господня яко на небеси, тако и на земли, о чем в молитве просим...

— Как же ты можешь такое неподоб-

ное про наших святых говорить?

— А что? Урядника позовешь?

Лысый старик махнул рукой и, взвалив мешок на спину, пошел прочь, в лесные овраги. За ним стали расползаться и его единомышленники. Остались около волосатого старца бабы одни, и он начал им повествовать про преподобную Марию, иже в мужестем образе Марином именуется[413]:

— Жил некогда в Вифании муж праведный Евгений. Имел он супругу благоверную, зело Бога боящуюся, и оба земно скорбели, что не дает им Господь детей. Особливо же скорбел о сем Евгений. И вот Бог дал им дите, Марию, но призвал к себе мать ее. Преставилась после родов дочерью. Идут года, а Евгений скорбит по утрате своей и не находит утешения. Вот и Мария уже отроковицею стала, а несть ему утоления печалей. И вознамерился Евгений оставить мирскую жизнь и уйти в монастырь. И рече:

— Возлюбленная дочь моя, Мария! Все достояние свое отдаю в руки твоя, сам же ухожу в пустыню ради спасения души своей. Несть бо мне радости

другой в жизни, как послужить Господу...

И глаголаша ему отроковица мудрая: — Отче! Почто сам хоцещи спастися, меня же погубити в богатстве твоём? Возьми меня с собою послужить Господу!

— Како сие возможно, неразумная! Аз иду в мужеск монастырь, ты же еси женска пола. Не можешь со мною быти, ибо женским полом диавол брань на рабы Божие воздвигает.

Она же отвещает отцу своему:

— Не девою вниду в обитель, но остригоша на главе власы своя и облекушесь в мужския одеяния, никому же ведующу, что женска пола есмь...

Тако и свершили. Евгений роздал все достояние свое бедным, и пошли они в обитель. И содеялась Мария отроком Марином. Егда Марин подрос, великое смущение вселилось в сердца братии: почто у отрока Марина не являхуся власы на устах и браде. Но мниша, по раздумий, что от подвига то тяжело, от плоти изнуренной, не растут власы, и голос инока тонок, яко у женщины. Егда Евгений скончался, инок

принял постриг и пребывал в великом почтении у игумена и всей братии за свою чистоту, смирение и братолюбие. И вот случилось единожды пойти иноку Марину с тремя братьями на поля монастырские потрудиться над сбором урожая. От восхода до захода солнечного иноки трудились на полях, ночевать же приходили в гостиницу, хозяин которой имел дочь, деву лет возрастных, грехом плотским обуреваемую. И возгорелась та дева грехом блудным ко иноку Марину, зело бо с лица был прекрасен, и, яко жена Пентефрия — Иосифа, стала склонять ко греху Марина прекрасного. Марин же, не открывая ей тайны естества своего, оставался к ней хладен и не внимал к соблазнам ее. И вот, желая поглотить Марина ревностью и завистью, блудная дева предалась плотию другому иноку. Когда же зачала во чреве своем, то возвела клевету на инока Марина. Побив плетью дочь свою, гостинник прииде и поведаша игумену о блудодействии инока Марина. Разгневался игумен на гостинника, ибо неподобное сказаша на чистого духом и плотию

возлюбленного инока. Призваша инока и вопроша:

— Правда ли?

Инок же Марин, пожелав приять страдание за брата своего и злословие блудницы, яко новый подвиг, отвещав игумену:

— Тако, отче. Аз, грешный, подлинно свершил мерзость сию!

Зело разгневался игумен и вся братия с ним:

— Изыйди, нечистый блудник, из стен обители, недостоин бо слуга диавола пребывать среди слуг Божиих!

И вот изгнан бе Марин за врата монастырские со срамом велием и нача жити, яко нищий, у стен обители. Истинный же виновник, мучимый совестью своей, тайно питал Марина остатками трапезы. Яко зверь дикий, жил Марин в пещере, на молитву же приходил к вратам и стоял здесь в коленопреклонении часы многие. Егда дева блудная родила младенца, гостинник принес его к монастырю и, поймав инока Марина, сказал:

— Возьми плод блудодействия твоего! Так преподобная дева Мария стала и

матерью, и отцом младенцу и возлюбивша чадо чужое вдвойне: яко мать и отец. И дивились иноки великой любви той, и, воспылав жалостию, стали просить игумена да простит Марина. И устыдися злобе своей игумен и прияша Марина с младенцем в обитель, яко привратника вратам монастырским. Егда младенец подрос, красотою подобен матери блудной своей, Марин отдал его обители и стал младенец тот отроком Виталием. Пребывши в трудах и великом подвиге до старости, Марин скончался и при омовении тела усопшего сокрушились все тайны и вся ложь и клевета человеческия, ибо Марин оказался женска пола. И сокрушились сердца всех клеветников и всех, иже с ними. И придоша к телу умершей Марии истинные блудники и с рыданием велиим покашася пред всей братией... Немалый подвиг свершил и Виталий преподобный. Яко рожденный от блудницы, великою жалостию воспылал он ко всем блудницам. Жил он в Александрии в великом труде и, скудно питаясь, отдавал заработок свой блудницам, с условием пребыть каж-

дой едину ночь чистою от греха. Переписах всех блудниц во граде Александрии и ходяща по очереди к ним на ночлег, всю ночь молился, по утру же уходил на работу. И тоже великий позор и клеветы приял на главу свою.

Едина от блудниц воспылала грехом блудным к праведнику. Прияв его дар, в нощи помыслила соблазнить праведника, не успев же в сем, оклеветала Виталия, рекоша, что для блуда ходит он по блудницам. А егда преподобный скончался, истина раскрылась. Сошлися к телу усопшего все блудницы со града Александрии и с рыданием проводили его до могилы. Пришла и оклеветавшая и покаялась...

Вот и зрите, православные: подвиг во спасение нашед преподобный Виталий не токмо чрез женщину праведной жизни, а даже чрез блудницу! А еретик к бабьему пупку привязался!

Сперва Наташа сдерживалась: очень уж смешно было, когда про пуп говорили, а потом смех пропал, и она стала волноваться: сердилась со всеми бабами на лысого обличителя женщин и радовалась, когда ему удачно

возражали. А потом увлекла ее повесть о Марии и Виталии. Боже мой, как все это интересно! А вот слепцы идут с отроком-поводырем. Поникшие, с пустыми и страшными глазами, а мальчик — в золотящихся на солнышке кудерьках, голубоглазый. Точно на картинке какой-то видела! Душа болит от их монотонной тоскливой песни:

*Воззримте, людие, на сосновы гробы,
на наши предвечны дома!
Житие наше маловременное. Слава
и богатство — суета!
Бог дал нам много, а нам все мало:
Ляжем во гробы, прижмем руци к
сердиу,
Души наши пойдут по делам нашим,
Кости наши — земле на предание,
Телеса наши — червям на съедение,
Не возьмем с собой злата и серебра...
Покинем же гордость, богатство
и славу,
Молитвою купим небесное цар-*

ство!..

*О, смерти! Нет от тебя обороны,
И у царей отъемлешь короны,
Пред архиреи и вельможи не мед-
лишь,
Даров и посулов не приемлешь...
[414]*

Страшно от этой песни... Радость из души
убегает... Лучше не слушать.

XVIII

За холмами приозерными — лес: сосна, ельник, береза да осина, и овраги с лужочками — здесь стоянки дальних, с разных краев к Святому озеру приехавших. Точно лагерь военный от неприятеля сокрыт. Телеги, холщовыми шатрами крытые, оглобли — к небесам, лошаденка около пасется, стреноженная. А в телеге, под телегой и около нее — либо семья, либо партия «содругов». Многие больных привезли — с отнявшимися ногами или руками, кликуш, бесами одержимых, слепых, глухонемых: чудеса бывают после омытия водой из глубин Святого озера. Тут же, по оврагам — стоянки сектантских «начетчиков» — учителей жизни, и около них всегда толпа. Стоит

учитель на своей телеге и поучает либо спор божественный ведет, старается слушателей в свою праведную веру перетянуть. Случается, что и попик подойдет послушать: это миссионер, посланный для борьбы с ересями. Не любят их в оврагах: из-за них большие неприятности выходят. Кто с попами желает ратоборствовать — иди на гору, к озеру, где православную часовню построили, там попы — хозяева, а по оврагам — вольное слово! За попами всегда и «слухачи», начальством подсланные, ходят. Чуть слово лишнее, неосторожное — сейчас привяжутся, у рядника на коне приведут и запротоколят:

— Вот этот человек заявил, что священнослужители православной церкви властям правительства раболепствуют и что власти из креста, знамения Господня, награды и ордена для попов сделали! А вот этот с бородой произнес, что у нас идолам молятся: иконы наши идолами обозвал!

Запротоколят, а потом по судам затаскают, обыски начнут делать, старинные книги духовные и рукописные поучения учителей жизни — отбирать...

А как убережешься от вольного слова, если «правде Божией» взыскуешь?

По оврагам гнездятся больше секты гонимые: духоборцы разных «кораблей», иконоборцы, беспоповцы, скопцы, бегуны, молокане[415]. С ними и попы и власти вместе борются, друг дружке помогают. Да и как с ними быть? — И божеские, и государственные устои подкапывают! Не действует одно слово вразумления. Ведь и Христос храм от кощунников бичом очищал![416] Невозможно и начальству без надзора Святое озеро оставить: ходят тут волки в овечьих шкурах и в мутной воде рыбу свою ловят: от правды небесной к неправде земной разговоры направляют и плевелы беззакония и смуты сеют...

Вот здесь, по оврагам, и наши знакомые бродят: акушерка Марья Ивановна и Костя Гаврилов с Синевым. Не узнаешь их: акушерка в платочке, пенсне сняла, в Ларисину кофту нарядилась, а Костя — в Никитином кафтане и в лаптях. Синев у них — застрельщиком...

Давно этот искатель правды и еретик в лапы к «барским правдоискателям» попал.

Родом он из семьи «бегунов», а «бегуны» эти по своему учению оказались весьма близкими к учению, которое граф Толстой потом начал проповедовать: к толстовскому «неделанию». По вере бегунов, царская власть — апокалипсический зверь, икона — его власть гражданская, а тело наше — власть духовная, ибо тело заставляет подчиняться Дух человеческий. Казенная государственная печать — печать Антихриста. Так как открыто бороться с этим зверем нельзя, то следует *бегать* от него, уклоняться от работы на него, от повинностей, от присяги, от паспортов, от солдатчины, вообще ничего не делать, что зверь требует. Это пассивное уклонение от борьбы с государственным злом, это *неделание*, роднящее бегунскую веру с толстовской, сблизило Синева с Григорием Кудышевым. Но пытливый ум человека из бегунов толкал его к поискам путей, как положить конец царству Антихриста. Болтался он по разным сектам, правду Божию отыскивающим, и все критиковал, пока в тюрьму за распространение ложных слухов о манифесте царском касательно земли не попал: там с «политическими» столкнулся, со-

циализма маленько понюхал и почувал, что вот тут-то самая правильная дорога к правде и сокрыта. Когда тюрьму отбыл и снова в Никудышевку вернулся и стал на хутор похаживать, — акушерке ничего уже не стоило растолковать ему веру правдоискателей-интеллигентов. И вышла помесь бегуна, толстовца и социал-революционера.

Святой ключ в оврагах есть. Сказывают, что родник бьет из глубин Святого озера, с того места Града Незримого, где Главный собор стоит.

Тут много чудес бывает. Однажды в роднике том цветок всплыл красоты необыкновенной, такой цветок, каких на земле никто не видывал, и дух от него — как из кадила. Не иначе как из садов Града Незримого принесен водой. Хотела одна женщина тот цветок из воды рукой достать, а он вспыхнул, как солнышко, и пропал! Рукам греховным не дался!

Собрались у чудесного родника люди Божии и поют песню о Правде и Кривде:

*Не два зверя собиралися, не два
лютых собегалися:*

*Правда с Кривдою сходилися, меж
собой дралися — билися...
Кривда Правду переспорила, ушла
Правда к Богу на небо,
Ко Христу, Царю Небесному...
Пошла Кривда по Земле гулять...
И от Кривды Земля всколебалася.
[417]*

Смиренно, с вздыханием прослушали песню люди Божии, а Глеб Синев смущает их:

— Правду-то господа съели. Стих верно сказывает: нет правды на Русской земле.

А с мужиками, какой они веры ни держатся, только заговори про господ и землю, сейчас же старые болячки занюют:

— Верно!

Один мужичонко из певших про Кривду сейчас же на эту удочку поймался.

— Для чего Господом Богом земля сотворена? Сотворена для всех людей, чтобы в поте лица, по приказу Бога, ее обрабатывать. А вот я — безземельный и приказа Божьего выполнять не могу, хоша и желал бы...

— По грехам нам и страдания, — шепчет бабенка, а Синев ей:

— А они что, безгрешные, что ли? Тут не в грехе нашем дело, а в глупости, бабочка. Ни земли, ни воли народу не будет, покуда сами дураками будете! Антихристу служите! Вот погляди: чей портрет? Протопопа Аввакума. А что под ним написано? Слова его...

Прочитал Синев подпись под портретом, огляделся по сторонам:

— Как понимать эти слова? Про царя написано. Правду сказал, а что с ним за это сделали? На огне сожгли. Вот она где, кривда-то! Вот почему Правда с Русской земли ушла...

— Да будет Воля Твоя яко на небеси, тако и на земли!

— На Бога надейся, а сам тоже не плошай!

Вмешивается старичок подслеповатый, дальний, со скитов черемшанских:

— Нет ее, правды, на русской земле, — правильно. Однако должна прийти она. Вот какое видение имел у нас один старец жизни праведной...

Блуждал он около Волги, в пещере жил и ягодой питался. Вот раз ползает по травке в тех местах, где разбойник Стенька проживал, и слышит стон, такой стон, что у старца душа

заболела. По стону слышать, что великое страдание где-то человеческое поблизости свершается. Вот и пошел он на этот стон человеческий. Прошел мало ли, много ли, видит человек на земле в кустах лежит, а на груди у него птица — орел двухголовый — сердце ему терзает, инда кровь ручьем бежит. Слезами жалости восплакал старец, Божий угодник, и взмолился: «Господи! Почто послал муки такие человеку незнамому?» И вдруг это голос ангельский в сиянии огненном от крыл его: «Не молись и не проси за человека этого! Крови много пролил! Встань и иди своею дорогою!» Однако старец не смирился: «Не встану, пока не помилуешь. Господи, страдальца сего!» Упал ниц, восплакнул слезами горячими и больше не помнит ничего, сон нашел приятный на праведника. А когда проснулся, нет ничего. И не понимает: не то видение имел, не то приснилось ему это. Пошел себе. Молитву поет да ягодки щиплет. И вдруг зрит, что на обрыве волжского берега стоит агромадный человек. Подошел старец и спрашивает: «Что ты за человек?» А тот ему: «Тот самый, за которого ты помолился». За что же, спрашивает

старец, тебе такие страдания посланы? А тот ему: «Я — Стенька Разин![418] Поди, — говорит, — и скажи православным нехристям, что пройдет триста годов и, если на Руси по-прежнему будет кривда царствовать, я второй раз по всей Русской земле пройду и будет мой приход горше первого: всю землю Русскую слезами и кровью вымою...». Сказал и пропал...

— Так оно и должно быть, потому что одной молитвой ничего не сделаешь, — вмешался стоявший за спиной Синева Костя Гаврилов. — Правда-то к нам с Креста, на котором Христа распяли, пришла, кровью Христа она была куплена. Кровью только кривда и смывается, господа!..

Посмотрели люди Божии на Костю: с виду свой, а речь барская, и с лица больно нежный, чистенький.

— А как же, по-твоему, правду-то искать?

— Да вот так же, как Стенька Разин искал!

Замолчали. Покашливать стали, исподлобья на Костю поглядывать. Потом старичок подслеповатый сказал:

— А почему такое страдание Господь на-

значил разбойнику сему? Столько веку прошло, а все сердце ему клюет птица-орел? А потому, что много крови человеческой пролил! Не прощается это, господин хороший... Ибо сказано нам: «Не убий!..»[419]

— Для дураков это и сказано. Чтобы на царствие небесное надеялись, а на земле в рабстве у царя, у помещиков да у попов оставались!

Сразу все возроптали. Синев за рукав Костю незаметно дернул: помолчи, дескать! Но было поздно — всех возмутил:

— Стало быть, Христос это для обману сказал?

— Не Христос, а Моисей это сказал! Он же сказал: «Око за око, а зуб за зуб...»[420]

— А ты что, Моисеева закона, что ли?

— Зря, господин, народ мутишь! Христос сказал нам по-другому. Вам, говорит, сказано: «Око за око и зуб за зуб», а я говорю: «Кто ударит тебя по щеке, подставь ему другую»[421], и когда в садах Гефсиманских апостол Петр меч выхватил, Господь сказал ему: «Не смей! Взывший меч от меча погибнет!»

— Ты сам что же, новой веры какой, что

ли? Нехристианской?

— Лапти-то надел, а видать, что барин!

— Вот за такими-то надо бы урядникам смотреть, а они заместо того к нам привязываются...

Подтолкнул локотком Синев спутников, и те поняли, что лучше им помолчать, а сам заговорил, успокаивать начал:

— Не следует властей в разговоры впутывать! И так лезут, а ежели еще сами будем им помогать, так лучше совсем в молчании ходить...

— Язык-то без костей! Ушли уж... Сами не понимают, что болтают...

— Верно. Язык мой — враг мой...

Струсили-таки Костя с акушеркой. Юркнули в толпе и покинули овраги. Потом ссориться стали. Марья Ивановна на Костю обозлилась. Во-первых, пропаганда — дело непустяковое и требует большой подготовки и опытности, а главное: марксист и лезет к мужику!

— Идите к рабочим! Для вас крестьянство — буржуи.

— Да, с дураками трудненько разговари-

вать!

— Да и вы неумно говорили. Предоставили бы Синеву, лучше было бы... С вами арестуют еще... До свиданья! Я не желаю с вами...

Разошлись в разные стороны.

А вот у Синева дело хорошо идет, потому все чувствуют, что — «свой человек».

Подошел Синев к другой кучке людей — здесь про сотворение человека разговор идет:

— Како сотворен человек бысть?

— По образу и подобию Божьему!

— Правда, да не вся! Вот как было. Когда Сатана был низвержен с небес, он владыкой на земле оказался. Владыка — владыка, а царствовать не над кем. Что делать? Слепил он из глины подобие человеческое, а оживить не может. Узрел то Господь с небеси и совершил чудо[422]: дыханием своимдохнул в лицо творению Сатаны, и подобие ожило и человеком сделалось. Вот и вышло, что плоть наша от дьявола, а душа от дуновения Божьего. В нас и божеское, и дьявольское, добро и зло, две воли: одна — к земле, другая к небеси устремляется. Какое же, братие, наше назначение? Побеждай в себе дьявола! Старайся не

дьявольским, а Божиим рабом содеяться...

Вот тут и впутался опять Глеб Синев:

— Ты, старик, как видимо, очень много знаешь. Скажи ты нам, почему Бог одних господами, а вот меня мужиком сделал?

— У Господа все мы равны. Разделения этого нету!

— Стало быть, сами люди это сделали?

— Выходит, что так. Сами.

— Ну, а если на небеси все равны, так почему на земле нет этого уравниения? Сказано в молитве Господней: «Да придет Царствие Твое, яко на небеси, тако и на земли». Как же теперь правду небесную к нам на землю переправить? Сделать, стало быть, так, как на небеси: все равны, нет ни богатых, ни бедных, ни господ, ни слуг, а все братья и сестры! Уравниение, значит, всех правое. А покуда этого не добьемся, кривда будет гулять...

Подошли к толпе слушателей Ананькины, Людочка Тыркина: любопытно, о чем тут спорят. Все притихли, насторожились: Вани в капитанской форме испугались, а Синеву их не видать, спиной стоит, разглагольствует. Шепнул ему на ухо старик — оглянулся Синев и

смутился, а Ваня пальцем ему погрозил и сказал:

— Опять, видно, по тюрьме соскучился?

Тот виновато улыбнулся и развел руками:

— А что я говорил? Я молитву Господню толкую.

Толпа поддержала Синева:

— Ничего худого этот человек не говорил. Про божественное наши разговоры...

Ваня со спутницами ушли, а тут шептаться начали:

— Что господа, что попы, что урядники — все одно.

— Друг за дружку вступаются...

— Не хотят, чтобы на земли яко на небеси было...

— И правду сказал человек этот: они правду-то съели!

— А вы помолчите: вон опять подошел этот, «слухач» господский!

Стали подниматься с насиженного места. Точно воробьи ястреба увидали. Поползли кто куда, больше в зеленый сумрак оврагов...

Ваня с Зинойчкой и Людочкой пошли к православной часовне послушать, как Григорий

Николаевич с попами-миссионерами спорит.

В этом году около православной часовни такие бои с еретиками шли, что миссионеры подкреплений из Нижнего потребовали. С утра до вечера — сражения словом Божиим. Голоса у священников спали, охрипли оба, а врагов — конца нет. Из густой толпы, кольцом, как вражескую крепость, осаждающей православную часовню, все новые свежие бородатые богатыри от еретиков выходят, на бой словесный вызывают.

Это отклик на «отлучение» графа Льва Толстого от православной церкви[423].

И так большое волнение прокатилось по всей Русской земле, а тут миссионеры придумали на стену своей часовни сочиненный Победоносцевым для Святейшего синода текст отлучения наклепать:

Известный всему миру писатель, русский по рождению, православный по крещению и воспитанию своему, граф Толстой, в прельщении гордого ума своего, дерзко восстал на Господа и на Христа Его, и на Святое Его достояние, явно пред всеми отрекшись от

вскормившей его Матери, Церкви Православной, и посвятил свою литературную деятельность и данный ему от Бога талант на распространение в народе учения, противного Христу и Церкви, и на истребление в умах и сердцах людей веры отеческой, веры православной, которая утвердила вселенную, которою жили и спасались наши предки и которою держалась и крепка была Русь святая.

Святейший Правительствующий Синод. 1901 г. Февраля 22-го.

Не от мудрости налепили это отлучение миссионеры! Великое и радостное возбуждение в душах и умах сектантов оно произвело. Знали все, что Лев отлучен, но немногие читали это послание. Точно сушняку в костер раскола подбросили они. Пламя таким вихрем словесным и дерзким взметнулось под стенами Града Незримого, что они и сами испугались!

Не все сектанты раньше интересовались Толстым. А теперь, когда отлучили его от «Блудницы Вавилонской» и к народу обращение от Синода выставили, — все горой за Тол-

СТОГО встали:

— Свят, свят, свят Господь Саваоф, а Синод не свят, а *святейший*. Стало быть, святее самого Бога!

— Отцы наши древлей церковью спасались, когда Патриархи всю правду в глаза говорили! Когда за митрами золотыми не гнались пастыри, а как митрополит Гермоген от царя Грозного, за правду и заступу за народ-то смерть принимали[424]! А ваша правда где? За кого во имя Христа вступаетесь?.. Молчи! Правду не смей сказать: сейчас ваши святейшие за шиворот да в тюрьму!

— Один истинный христианин у вас был, Лев Толстой, так вы и того, яко врага, прокляли! А за кого он вступился? За народ, за бедных и гонимых! Глаголете «Господи, Господи!», а волю Господню на земле попираете! Не вами Святая Русь держалась, не вами и сейчас держится!

Подъехали два урядника на конях. Толпа — во все стороны, врассыпную. Один на горку вбежал и кричит оттуда:

— Святейший синод урядников-то прислал?

XIX

Сон это или наяву?.. Быль или сказка?.. Россия XIX или Русь Святая XVII столетия? Пять миллионов вот таких еретиков, ищущих правды небесной на земле через Христа, Евангелие, Библию, божественные древние книги, религиозные мифы и легенды!

Тут — все науки, искусство и творчество. И невольно напрашивается вопрос Достоевского: «Что мы, культурные люди, дали народу *нравственного*, какую драгоценность дали мы ему в форме европейской культуры?»[425] Не занимались ли мы тем, что лишь торопились отнять у народа и последнюю доступную ему «божественную науку», стремясь взамен «Града Незримого» подсунуть ему кровавую утопию о социалистическом рае на земле?

Чуял народ, что чужой дорогой идет культурная интеллигенция, и отвертывался от нее. Свою интеллигенцию создал он в лице великого множества разных «учителей жизни», богоискателей и богостроителей, алчущих и жаждущих правды, яко на небеси, тако и на земли, и за ними шел, с каждым годом все более отрываясь от государственной церк-

ви и государственности, отстраненный от нее малым миром властвующих в Доме своем...

Мы обокрали народ: создали русскую национальную культуру — богатейшую литературу, живопись, музыку, но она осталась недоступной и далекой от народа. Мы не научили его понимать и любить ее. У него своя наука, своя литература, свое искусство... И все это вот тут, около Града Незримого! Даже историю он творит «по-божественному». Свой собственный метод!

Подошла Наташа к одному из таких «историков» и вот что узнала от него про русскую старину:

— Есть в лесах керженских еще Святое место, но не дано нам найти его. Мы пребываем околь Града Незримого, а есть в этих краях еще Храм Незримый. Близко околь другого озера, верст так десять отсель. А может, и меньше. Не считано. Так сказывают старые люди... Теперь, который город Василь-Сурском называется[426], ране Василь-городом звался. Царь Иван Грозный его построил и в память папаши своего Василем нарек. И храм там выстроил во имя Варлаама Хутынского

[427]. Прошло много ли, мало ли времени, смута на Руси пошла: Царство Русское помутилось. Расстрига-монах Гришка убиенным царевичем Дмитрием из Углича назвался [428], на польской королевне поженился, а она ему заявила: так и так, русской царицей желаю быть! А на нашем престоле царском в те поры никого не оказалось. Должность, значит, открылась. А поляк себе в башку взял, чтобы через свою королеву всю Расею к своим рукам прибрать. Собрали войско, кавалерию, артиллерию и все, как следует, и повели Гришку с полькой на престол сажать. В русском народе смута пошла: одни Гришку признать жалают, другие не признают царем-то. А полька старается поскорей на престол сесть и торопит на Москву. И шлют по всем городам и селениям гонцов, народ русский сманивать: земля, дескать, барская, и государева, и монастырева, ваша будет, если Гришку с полькой признаете. Пришли скороходы и в Василь-городок. Собрался народ вокруг храма Варлаама Хутынского, обедню прослушали, а потом стали совет держать. Видят скороходы, что признания Гришки не выходит, постра-

щали и ушли. А в те времена все эти края промежду Волгой, Окой, Камой и Сурой... и туда, к Вяцкому краю, были всякой нехристью набиты: черемисы, мордва, чуваша, татарва поганая. Гришка с полькой стали их переманивать. А тем все единственно, кто на русский престол сядет, а только все они злобу против царей русских таили: потому покорили они под ноги своя всю эту нехристь. И вот, покуда во граде Василе ссоры да перебранки, собирается нехристь со всех сторон. Несметные полчища погани этой. Все от русского царя отделиться хотят и опять своих князей поставить. Как полез звонарь во граде Василе на колокольню, — видит: вокруг тучи этого самого нехристя. Позвонил да к настоятелю: так и так, говорит, нехристь со всех сторон натукает. А уж по городу слух пошел, и народ в смущении: что супротив такой силы поделаешь? У нашего воеводы и войска всего сорок человек! Колокол к обедне звонил, а народ и про Бога позабыл, как теперь, в наши времена... И в храм никто, окромя воеводы и сорок воинов, не пришел. Эти обедню прослушали, к кресту приложились и с попом к народу вы-

шли. А тут соблазн полный: от страху смертного все переметнулись на Гришкину сторону и требуют, чтобы градские ворота отперли и нехристь с хлебом-солью встретили. Как ни отговаривал поп и настоятель не отдавать града на поругание, кричат: «Иди сражайся, а мы не жалаем!» Озлобился от страху народ-от, а настоятель поднял крест и говорит: «Сим победиши!»[429] Только на смех его подняли маловерные: иди, мол, один, потому тебе со крестом нечего бояться. Однако воевода и сорок воинов поклялись перед крестом за веру и Русь свои головы сложить. И вот настоятель молебствие отслужил, и воевода с воинами навстречу врагу из ворот вышли. И вот тут на глазах всего народа чудо великое свершилось: началось сражение, и вдруг вся нехристь тронулась и тысячами прочь побежала, а воевода и сорок воинов — за ними! Вся нечисть от города отхлынула в превеликом ужасе, а воевода с дружиной невредимыми вернулись да еще с собой и пленную мордву и чувашу привели. А маловерный народ смотрит и глазам своим не верит: думает, что тут что-нибудь не так, хитрость и обман ка-

кой со стороны врага. И боится радоваться-то, показывать перед нехристью, что победа ему приятна. Во храме к молебствию благодарственному звонят, а народ опять нейдет. Опять во храме только воевода и сорок воинов. Вышло духовенство с иконой чудотворной преподобного Варлаама Хутынского, а вся нехристь в ужасе на колени попадала. Стали спрашивать, почему так? Вот нехристь и рассказывает: как началось сражение, впереди православных монах на белом коне появился и, поднимая крест, стал поражать тысячами. И признали, дескать, мы в лице, что на иконе написан, того самого монаха на белом коне! Нехристь на колени попадала, а народ все в сумлении и никакой благодарности Господу за чудесное спасение... И вот прогневался Господь на маловерных градских жителей, а преподобный Варлаам Хутынский не пожелал во граде маловерном остаться. И икона чудотворная и за ней храм во имя преподобного Варлаама ушли: впереди на воздушных иконах поплыла, а за ней и храм вознесся, поплыл. И весь крестный ход за ними двинулся, к Волге. А как к Волге подошли, она разверзлась, ма-

тушка, на две стороны, и все духовенство и воинство благочестивое по сухому дну за Волгу прошли, вослед иконе и храму. И вот прошли в леса керженские со звоном колокольным. Дошли до озера Нестияра[430], и тут икона остановилась.

Глядят — и храм Божий на землю осел, и врата растворились. Икона сама во храм невидимо вошла и на своем месте очутилась, а с колокольни по всему лесу трезвон радостный. Вошло духовенство и воинство во храм, закрылись врата, и храм пропал, незримым содеялся... Сказывают, что, когда на Руси люди опомнятся и по заветам Христа станут жить, тогда храм этот снова обретут, раскроются врата его, и все праведники, во храме сокрывшиеся, выйдут, живыми окажутся!

Так-то! Только мы-то уж не доживем: не приметно, чтобы люди праведнее делались, а так заметно, что год от году хуже. Кривда правду-то побеждает...

Ослепли и оглохли люди-то. Немало стало и таких, что не веруют. Какой, говорят, храм и кто его видел? А того не понимают, что не всё и не всем дано видеть! А был и такой че-

ловек, который удостоился видеть храм-то для нас незримый. Пошел этот праведный человек к озеру Нестияру под Светлую заутреню, а вернулся только на Фоминой[431]. И лик имел просветленный и радостный и в радости несказанной преставился на третий день. А перед смертью и рассказал. Долго, дескать, по лесам блуждал, и сил больше не стало: только чуть снега сходить начали, топь, овраги, измок весь. Под Светлую заутреню озеро увидал. Побродил вокруг — нет ничего. Прилег на сухом бугорке и заснул. Проснулся, а над лесом сияние! Что такое? Перекрестился и посматривает. И вот видит он — через лес огни загорелись, вроде как в окошках каких. Сперва подумал — звезды через лес, а тут вдруг ударил колокол и купола с крестами засияли... Но только он от этого пасхального звона в беспамятство впал — такой звон по лесу пошел, что инда земля задрожала. А в себя пришел, нет ничего. Как во снах, помнит и звон, и пение духовное... Узрил, услышал, а домой вернулся и в радости преставился!..

— Наташа, мы тебя ищем, ищем... Где ты прячешься?

Вздрогнула и оглянулась Наташа — Зиночка с Людочкой.

— Идем на стоянку! Там ждут. Покушать надо... Неужели ты не устала?

Наташа только сейчас почувствовала, что и устала и кушать хочется.

Не хочется уходить.

— Потом опять пойдем. Надо же отдохнуть!

«Господский лагерь». Ваня Ананькин палатку привез.

Лужок около лесной опушки, и на нем, точно лебедь на зеленом озерце, — белая палатка. А около нее — крестьянская телега и лошаденка, на которых из города Семенова они на Светлояр приехали. Около палатки костер курится. На ковре, точно на скатерти-самобранке, всякая всячина: и бутылки, и коробки с закусками, а над ними — самовар дымит, комариков отгоняет. Все тут теперь. Ваня хозяйничает. У всех — аппетит волчий. Палатка низенькая: туда медведями ползают, когда понадобится. Там только женщины ночевать будут, а мужчины — на телеге или под телегой. Где кому любо. Крестьянские под-

ростки около них вертятся, с испуганным любопытством глазенки таращат.

— Неприятно, когда тебе в рот смотрят! Чего не видали? — сердится Зиночка.

Ваня привстал — все пятками засверкали.

Наташа полна чудес и сказок. Все еще опомниться не может. Наслушалась.

— Что ты такая? Что с тобой?

— Ничего особенного... Просто задумалась!

Костя Гаврилов мрачен. Неудачная пропаганда окончательно убедила его в том, что мужик совершенно не пригоден для революции. Ольга Ивановна — тоже.

— Пока Бога из него не выколотишь, — рабом был, рабом и останется...

Ваня не согласен:

— Мужик, покуда в Бога верит, только и годится...

— Для кого годится? Для вас, буржуазии?

— Для дела. Все работаем.

— Кто работает, а кто прибавочную стоимость слизывает, — проворчала Ольга.

— Это кто же, мы — буржуазия?

— А кто вы такие? Пролетариат, что ли?

Ваня необидчивый, смеется и подшучивает.

ет:

— И как вас, господа идеологи, не стошнит от «прибавочной стоимости»? Вы, Ольга Ивановна, целую коробку сардинок съели, а в ней не меньше, чем на гривенник, прибавочной стоимости!

— Налейте стакан чаю!

— Испейте лучше водицы: в ней никакой прибавочной стоимости!

Хорошо покушали, напились чайку, винца хлебнули. Солнышко закатывается, а никто, кроме Наташи, о Граде Незримом не беспокоится. С места не подынешь. Отяжелели. И Град Китеж всем, кроме Наташи, успел уже надоесть. Говорят о возвращении. Ваня предлагает от Семенова почтовым трактом на Нижний махнуть: все кишки вытрясет, если опять проселочными дорогами поедут.

— Поедемте-ка сейчас! Всё видели уж... — лениво позевывая, говорит Зиночка.

Наташа на дыбы:

— Ни за что! Говорили, что с ночевкой, а теперь... Я останусь. Я с дядей Гришей вернусь...

И Ваня, и Зиночка, и Людочка запротесто-

вали: бабушка отпустила Наташу под их ответственность. С Григорием и Ларисой она ее не отпустила бы.

— А я сегодня не поеду.

Согласились переночевать и двинуться завтра утром. Когда стало темнеть, поползли снова к озеру. И снова Наташа ускользнула и затерялась...

Опустилась ночь. Луна то пряталась в облаках, то выглядывала ненадолго и словно путалась: исчезала за темной облачной занавеской, золотя ее бахрому. То темень, то вспышка лунного света. И лес на холмах, и озеро то погружались в темноту, то резко рисовались вдруг в сказочно-волшебном освещении. Когда пряталась луна, ярче вспыхивали звезды и отражения их сверкали в озере и перемещивались с огоньками восковых свечей, плавающих по озеру на обломках древесной коры. И тогда казалось, что на дне озера зажглись огни Града Незримого. С разных сторон приносилось хоровое пение молитв и духовных стихов. Не в храмах ли Града сего поют и молятся праведники? Вокруг озера с возжженными свечами, коленопреклоненно

медленно движутся человеческие фигуры. На седьмом кругу припадают к земле и долго остаются в неподвижности: надеются, что Господь сподобит услышать звоны колокольные в Граде Незримом. Редко теперь сподобляются. С того года, как православное духовенство осватило озеро погружением креста и молебствием, а на горе воздвигло свою часовню для ратоборства словесного, никто уже не удостаивался не только зреть Град Праведный, а даже и звоны его услышать. По лесным оврагам костры пылают, и, как в зареве пожарном, горят лица людей, напряженно внимающих проповедям «учителей жизни»...

Наяву или во сне все это? Быль или сказка?

Чудо давно небывалое люди вымолили: в темноте в безумной радости женский голос прозвенел:

— Слышала! Слышала! Слава Те, Господи!

И потом плач, тоже особенный какой-то. Так не плачут люди от страданий.

И вот Наташа своими глазами увидела счастливую женщину, окруженную толпой странниц. Эта женщина была как полоумная

в радости своей, и лицо ее светилось как лицо христианской мученицы, готовящейся принять страдания и приобщившейся ко Христу...

Загудело, как потревоженный улей, все приозерье. С быстротой молнии весть разнеслась о чуде радостном...

Поздно возвращалась Наташа на стоянку, углубленная в свои мистические переживания. Еще издали она увидела под лесом свое становище: здесь ярко пылал костер и в красно-желтом ореоле его четко рисовались силуэты маленьких человеческих фигурок. Подошла поближе и удивилась: Ваня Ананькин, показалось ей, тоже что-то проповедовал окружившим его слушателям, мужикам. Боже мой! Да Ванька напился и мужиков поит... Набрался он в кудышевском отчем доме либерального духа и, как только подопьет, так и начнет революционера корчить. Жестикуют, позабывши, что в руке стакан с коньяком, и декламируют:

*Друг мой, брат мой, усталый,
страдающий брат!
Кто б ты ни был, не падай ду-*

шою...

Верь: наступит пора и погибнет

Ваал,

И вернется на землю любовь...

[432]

— Да, вернется! Верьте мне! Без Бога ни до порога! Где любовь, там и Бог!

— Это правильно!

Ночь. Успели мы все насладиться.

Что же нам делать? Не хочется спать...[433]

— Положительно не хочется! Спи, кто может, я спать не могу.

Пожелаем тому доброй ночи,

Кто все терпит во имя Христа!

— Во имя Христа! Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь! — Допил.

— Ваня! Перестаньте ради Бога паясничать!

Выползла из палатки Зиночка. Злая.

— Чего собрались? Пьяных не видали?

Испугались. Побрели прочь.

— А ты что? — набросилась на оставшегося.

— Али не узнала? Да я вас сюда доставил! И лошадь моя. Усмирила Ваню. Ямщик под телегу залез. Наташа юркнула в палатку.

А Ваня сидел, пригорюнившись, и тихо напевал:

*Не женися, дружок Ванюшка,
Если женишься, переменишься...
Если женишься, переменишься.
Потеряешь свою молодость! [434]*

— Замолчишь ты или нет?

Грустно Ване. И сам не знает отчего. Ночка такая тихая, кроткая и печальная.

— А вот я — свинья... Самая подлая свинья!.. — шепчет Ваня, глядя на далекие звезды.

Замолк. Опустил голову на руки. Никак плачет... И жизнь будто хорошая, и с женой помирился, а душа все чего-то просит, чего-то ищет. Недовольна душа. Тоскует о чем-то душа...

Пришла, запыхавшись, Марья Ивановна. Осмотрелась вокруг и тронула за плечо Ваню:

— У вас все благополучно?

— Слава Богу. А что?

— Ольгу с Костей сейчас арестовали. По-

везли куда-то...

— Эх!

Сразу отрезвел Ваня. Разбудил заснувших женщин, разбудил ямщика-мужика:

— Запрягай! Сейчас поедем!

Выползли из палатки испуганные женщины и начали торопливо собирать вещи.

— С дураками свяжешься, сам дурак будешь, — ворчал Ваня и торопил мужика, который лениво почесывался, впрягая лошадедку.

Уселись и поехали на телеге до городка Семенова. Там взяли почтовую тройку и помчались лесным трактом по направлению к Нижнему Новгороду. Ваня все оглядывался: ему чудилась погоня...

XX

Было время, когда русская интеллигенция крепко верила в свой народ и любила его. Эта вера и любовь послужили фундаментом нашей национальной литературы и искусства. Можно сказать, что без этой любви и веры у нас не было бы ни Пушкина, ни Гоголя, ни Тургенева, ни Алексея Толстого, ни Некрасова, ни Достоевского, ни Льва Толстого. Все эти

столпы нашей художественной литературы, многие из которых завоевали всемирное признание, родились через приобщение к родной земле и к душе родного народа, и родную землю и душу народную отразили в своем творчестве каждый по-своему, соответственно индивидуальным качествам и особенностям своих талантов.

Народ — терпеливый страдалец, кроткий мудрец, богоносец, искатель «правды Божией» — такова характеристика, данная народу русскому названными столпами нашей классической литературы.

На этом строилась и наша интеллигентская идеология. Революционная интеллигенция всю характеристику эту приняла и добавила к ней свою сказку, будто мужик, кроме того, еще и прирожденный социалист.

Когда мужик не оправдал надежд революционной интеллигенции и не пошел за бунтарями и цареубийцами, а новая интеллигентская вера, сбросив мужика с пьедестала, посадила на него сочиненного по Марксу рабочего, о народе стали быстро забывать и в литературе, и в жизни. Национальная

устремленность, которая только и могла в мужицком царстве строиться на мужике, стала испаряться. То, что написал о мужике и деревне новый писатель Бунин, звучало горьким разочарованием в своем народе, зарождая невольный вопрос: да неужели все старые большие художники слова обманулись сами, да и нас всех обманули? Или народ так изменился в своих душевных качествах, что его и узнать невозможно? Конечно, «времена меняются, и мы вместе с ними»[435], терпение могло лопнуть, кротость исчезнуть, мудрость превратиться в глупость, доброта — в злобу, недоверие — в ненависть. Но вот что свидетельствовал другой современный писатель, беспристрастный и склонный к пессимизму художник слова, А. П. Чехов, далекий от всякой тенденциозной предвзятости...

Уже во время горького разочарования интеллигенции в народе, этот художник продолжает отмечать в своих произведениях такие черты народной души, которые свидетельствуют нам о том, что старые писатели писали нам правду, а не обманывали. Нарисовавши нам в повести «Мужики» ужасающую

темноту и грязь мужицкой жизни, Чехов все-таки отмечает, что при всех тяжелых безрадостных условиях своей жизни народ тянется к Богу и к его правде и там только почерпает утешение и надежды. В рассказе «По делам службы», говоря о сотском Лошадине[436], автор пишет: «Сколько в жизни таких стариков, у которых в душе каким-то образом крепко сжились стаканчик водки и глубокая вера в то, что неправдой не проживешь».

Описывая в повести «В овраге» горькую участь одной крестьянской семьи, автор говорит: «Чувство безутешной скорби готово было овладеть ими. Но казалось им, кто-то смотрит с высоты неба, из синевы, оттуда, где — звезды, и видит все, что происходит в Уклеевке [437]. И как ни велико зло, все же ночь тиха и прекрасна, и все же в Божьем мире правда есть и будет, и все на земле ждет, чтобы слиться с правдой, как лунный свет сливается с ночью». В рассказе «Моя жизнь» есть такое место: «В самом деле, были и грязь, и пьянство, и глупость, и обманы, но при всем том, однако, чувствовалось, что жизнь мужицкая в общем держится на каком-то крепком здо-

ровом стержне. Каким бы неуклюжим зверем ни казался мужик, идя за сохой, и как бы он ни дурманил себя водкой, все же, приглядываясь к нему ближе, чувствуешь, что в нем есть то нужное и важное, чего нет в Маше и докторе (интеллигентах), а именно: он верит, что главное на земле — правда и что спасение его и народа всего — в одной лишь правде, и потому больше всего на свете любит он справедливость. Мы видим пятна на стекле, но стекла-то и не видим!»

Это пишет про народ нелицеприятный летописец жизни, объективнейший и никакими тенденциями не зараженный художник слова!

Все та же неистребимая вера в Бога, все та же жажда правды Божией и все те же пути исканий ее — пути божественные. Через Христа и Его Евангелие. Все тот же общий всему народу «Град Незримый»...

Но не все в нем благополучно. Вот эти миллионы еретиков, с каждым годом возрастающих численно! Не указывает ли это на то, что даже и в божественном пути исканий своих народная мысль и совесть начинают прихо-

дить в столкновение с земной действительностью, с гражданскими и духовными водителями народа?..

Казна государственная наполняется, промышленность расцветает, растут фабрики и заводы, богатеют купцы и промышленники, ширится торговля с иностранными народами, а мужик беднеет: народ плодится и множится, а земли не прибавляется, а убавляется. Бросает крестьянство, идет на фабрики: кто лишь на зиму, а кто — навсегда. И болит старая историческая обида в душе народной. Все ждет, все надеется мужик, что правда восторжествует и Бог внушит царю, помазаннику своему, снизойти к народу своему царской милостью и отдать ему неправильно отнятую когда-то землю...

Так пишет про *землю* и *мужика* сердцеведец народный, писатель Достоевский[438]: «Земля для мужика все, а из земли у него уже и все остальное: и свобода, и жизнь, и честь, и семья, и дети, и порядок, и церковь, одним словом, все, что есть драгоценного!»

Так правда небесная сливается в душе народной с правдой земной.

И жаждет эта душа, что бы Божья правда царствовала, яко на небеси, тако и на земли...

Нет пока этой правды. Сокрыта она Святым озером во граде праведном, во Граде Незримом Китеже. Там никто никем не обижен... Таков «Град Незримый» у русского народа.

Изменялись времена и нравы, а «жемчужина» души народной и с наступлением XX столетия оставалась в неприкосновенности: вера в Бога, в конечное торжество правды Божией. О, если бы те, кто строит государственную и народную жизнь, своим вниманием к своему народу берегли бы эту жемчужину! Какая огромная непобедимая сила была бы в руках государственных вождей.

Но они не только не берегли эту жемчужину, а сами же разрушали ее, пока не пришел Антихрист и не воспользовался этой жемчужиной народной души для великого обмана, великой провокации и кровавого разрушения... и не повел алчущих и жаждущих правды в свой собственный Незримый Град.

XXI

Есть в Швейцарии, на берегу Женевского

озера, местечко, звучащее божественно для русского уха, — «Божи», а в этом Божи — молочная ферма и ресторан, содержащийся эмигрантом, старым испытанным революционером-народником[439], прошедшим все превращения революционного народничества. Если существует «Бабушка русской революции», его по справедливости можно было бы назвать «Дедушкой» ее[440].

Вот это Божи с молочным рестораном и было местонахождением интеллигентского «Града Незримого».

Тут вроде революционного Ноева ковчега: всевозможные сектанты, странники, правдоискатели обоих полов, всяких национальностей и возрастов. Хотя в верах и расходятся, а молочка попить, кислого и сладкого, да простокваши и сырков разных покушать все сюда стекаются и терпимо пребывают под единой кровлей, и из общей посуды вкушают и старoverы, и еретики разные...

Почва нейтральная, а за границей (не то, что дома!) все за одними общими скобками себя чувствуют: все одинаково гонимы правительством царя, которого единодушно назы-

вают почему-то «Николаем Кровавым», все одинаково специализируются на делании революции, многие от сей профессии питаются, и хотя себя интернационалистами именуют, а тяготение к своим, русским, все-таки побеждает. Свой своему поневоле брат.

А теперь здесь особеннолюдно и оживленно: на революционной бирже акции всех подпольных организаций поднимаются, ибо гипноз гражданской сонливости, в котором пребывала Россия в течение целого десятилетия, уже миновал и по всем горизонтам стали вспыхивать зарницы революционного электричества. Политическая погода в конце XIX столетия стала портиться, сонливые безоблачные небеса начали заволакиваться зловещими тучами с «гнилого Запада»: на фабриках — забастовки, первомайские демонстрации, в университетах — беспорядки, в земском и городском самоуправлении снова — «бессмысленные мечтания» о конституции [441], протесты, возмутительные ходатайства и резолюции, — молчаливая тоска по разным свободам заморским дерзким языком заговорила и стала толкать либеральную интелли-

генцию к сплочению путем всевозможных съездов и организаций...

Казалось бы, что новым положением 1890 года, отдавшим в руки дворянства земское дело, усилившим над ним опеку губернаторов и превратившим председателей и членов земской управы в государственных чиновников, — тишина и спокойствие обеспечены навсегда, тем более что в ведении самоуправления оставлены исключительно «местные нужды». Так нет, и тут ухитряются враги самодержавия находить щелки и дырочки, чтобы пролезать к кормилу корабля, соваться не в свое дело. Опять как грибы после дождя стали выскакивать стоваривающиеся между собой «бессмысленные мечтатели», пользующиеся всяким случаем, чтобы делать правительству и царю неприятности.

В 1896 году в Поволжье начался голод, следом за ним в 1897 году Вольно-экономическое общество обращается с призывом[442] ко всей стране и привлекает земства к организации особого комитета по исследованию причин голодовок населения и выработке мер борьбы с ними. Очевидный стговор! Воль-

но-экономическое общество разогнали. Новоторжское уездное земство под видом «местных нужд» требует освобождения населения своего уезда от телесных наказаний. Шестой Пироговский съезд[443] повторяет это требование в пределах целого государства. В Петербурге без всякого разрешения властей устраивается съезд председателей земских управ [444]. Разогнали. Стремясь защитить население от произвола земских начальников, земства стали открывать при управах особые юридические консультации. Воспретили. Земский врач Жбанков издал книгу «Телесные наказания в России»[445] — книгу изъяли из обращения. «Юридическое общество», вздумавшее поговорить о том же, закрыли [446]. В 1899 году в Поволжье снова началась голодовка, и снова происходивший в Казани седьмой Пироговский съезд[447] полез не в свое дело: образовал Комитет помощи голодающим. Комитет закрыли. Начались нелегальные «слеты» земской оппозиции. Особенно тревожен был 1901-й неурожайный год: в Москве состоялся съезд деятелей агрономической помощи местному населению, в Полта-

ве — съезд кустарный[448], празднования 40-летия со дня освобождения крестьян, — и на всех съездах и празднествах «гидра революции» гордо поднимала свои бесчисленные головы в образе земских и городских деятелей, профессоров, врачей, учителей и всякого служилого «третьего элемента»...

В том же году в Петербурге на Казанской площади произошла студенческая демонстрация[449] с красными флагами, причем заодно со студентами были избиты казацкими нагайками известный писатель из «Русского богатства» Анненский[450] и сенатор князь Вяземский[451], пытавшиеся остановить избивание молодежи; «Союз писателей» выпустил по сему случаю и напечатал в заграничных газетах воззвание к культурным народам [452]. «Союз писателей» закрыли...

Министры Сипягин[453], Витте[454] и обер-прокурор Синода Победоносцев садятся на козлы «Русской тройки», придя к общему соглашению, что земское самоуправление несовместимо с самодержавием. Для обуздания Финляндии, которая тоже стала отстаивать свои права на самоуправление, туда по-

слан фон Плеве[455]. Последовало Высочайшее повеление об отдаче в солдаты изгнанных из университетов за беспорядки студентов. Писатель земли русской Лев Толстой отлучен от церкви... Указами министров земство устранялось от забот по народному продовольствию[456] и ограничивалось в правах земского обложения. Был составлен проект, которым земство совершенно отстранялось от дела народного образования...[457]

Только что произошел политический скандал: либералы какими-то тайными путями выкрали копию докладной записки почтившегося либеральным министра[458] Витте Государю, в которой тот доказывал несовместимость земского самоуправления с самодержавием, и передали ее для опубликования в нелегальной заграничной печати!..

Не было сомнений, что земскому самоуправлению и всем остаткам от великих реформ царя-освободителя приходит конец!

И это толкнуло всю лояльную оппозицию на путь нелегальной борьбы: земские и городские деятели, вступив в тайную организацию, решили издавать за границей свой ор-

ган борьбы с самодержавием — «Освобождение»[459] и марксистствующий профессор Струве появился за границей в качестве редактора этого органа.

Говорят, что сперва у земских оппозиционеров была мысль воссоединиться с ленинской «Искрой», чтобы совместно бить врага: ведь и Ленин на первый план выдвигал борьбу с самодержавием, но соглашение не состоялось, ибо Ленин, желая и умея пользоваться «либеральной буржуазией», не пожелал никаких компромиссов, затушевывающих пролетарскую позицию.

— Пойдем врозь, а бить будем вместе! — говорили соглашатели.

— У меня более сложное дело: я должен бить и самодержавие, и вас одновременно. Бейте отдельно: для нас это выгоднее, — ответил с хитроватой улыбочкой Ленин.

Оппозиционеры решили издавать свой орган в Германии...

XXII

Так вот почему в интеллигентском «Граде Незримом» царит теперь исключительное оживление!..

Есть о чем поговорить, поспорить, новостями животрепещущими поделиться за стаканом молочка или кружкой простокваши. Да и хозяин-то очень уж гостеприимный. Похож на лохматого, простодушного, ласкового мужичка-русачка, простачка. Со всеми в обнимку. Точно никогда идеологическими врагами и не были! Веротерпимость необычайная для русских интеллигентов. Да оно и понятно: сам из крестьян, бывших крепостных, а наш мужичок, как это можете узреть, например в Поволжье, со всеми языками умеет в мире жить: мордва, чуваша, черемисы, татары, калмыки, персы — все люди, человеки, все под одним небом ходим, хотя и разным богам поклоняемся. Однако это не мешает ему крепко за свою веру держаться и с басурманами разными насчет веры не поганиться... Он — старовер, народоволец, а ныне прикнул к только что организовавшейся партии «социалистов-революционеров», признавших опять и героев, и террор.

Кого тут только не увидишь! И Ленин, и его правая рука — Зиновьев, и Нахамкис, и Луначарский, и Чернов, и Савинков, и Бреш-

ко-Брешковская, и бородатый ветхозаветного вида Минор, и губастый, негроподобный великан Азеф, Потресов, Аксельрод и Дейч, почтенная Вера Засулич[460]. Можно увидеть порой и самого «отца русской социал-демократии» Плеханова. Тут же трутся иногда и заезжие из России освобожденцы.

Сегодня общее внимание привлекают два новых странника из России: широкоплечий круглолицый блондин в очках, картавящий по-аристократически и всем мило улыбающийся — это присланный из Петербурга марксистами по революционным делам Вронч-Вруевич, и бактериолог из Минска, красивый огненно-темпераментный Гершуни [461]: из глаз прямо бомбы взрываются!

Летучий освобожденец, томимый потребностью поделиться своими бурлящими оппозиционными чувствами[462], только что подробный доклад о положении дел в России сделал, и, всеобщее одобрение заслужив, великой радостью наполнил все души, алчущие и жаждущие революции. Доклад был так приятен слушателям, что они готовы были расцеловать этого буржуя и наперерыв его интер-

вьюировали. А тот чувствовал себя героем: точно все, что он рассказал, сам он устроил.

— Несомненно, мы у порога революции!

— А скажите, пожалуйста...

Вопросы сыпались со всех сторон, и на каждый из них случайный гость давал многоречивые и откровенные пояснения. Взвинтился и разболтался. По простоте не принял во внимание, что тут, наряду с убежденными революционерами, имеется всегда достаточно всяких жуликов и спекулянтов, кормящихся от русской революции, помимо шпионов различных правительств...

Вот тоже и Вронч-Вруевич, присланный с поручениями к Ленину, по своей болтливости большой промах сделал: похвастался на публике, что марксисты Максима Горького завоевали. Сенсация! Эсеры оскорблены: они делали уже попытку завоевать Горького, для чего посылали специального делегата, почтенного Минора, и тому показалось, что Горький завоеван. Эсеры не верят Врончу: не может быть, чтобы автор «Буревестника», «Ужа и Сокола» и «Человека, который звучит гордо» склонился перед производственными отношениями!

Началось вышучивание Горького. Подошел Зиновьев и увел Вронча в укромный уголок:

— Какого черта вы, товарищ, откровенничаете?

— Да ведь это факт! Я имею поручение от самого Горького к Владимиру Ильичу...

— И все-таки не следует говорить о нем на улице... Я дам вам, товарищ, хороший совет: ешь пирожки с грибами, а язык держите за зубами! Я скажу вам даже больше: прежде чем делать доклад в редакции «Искры», вы должны поговорить секретно с Лениным... Предупреждаю, что иначе останетесь за бортом. Насколько мне известно от самого Владимира Ильича, вы, товарищ, стоите за новую тактику? Ну, а тогда — ни шагу без указаний Владимира Ильича!

Вронч краснел, пыхтел и напоминал побитую собаку.

— Понимаете: теперь надо быть мудрым, как змея, а вовсе не соколом! Вы должны получить информацию о внутренних отношениях в партии лично от Владимира Ильича. Мы поворачиваем руль нашего корабля сильно налево, но пока этому мешают старики

[463].

В марксистском корабле было действительно неблагоприятно. Владимир Ильич, влезши в самый верхний центр марксизма, где управляли делами партии правоправные марксисты и основоположники, строгие блюстители всех основ научного социализма: Плеханов, Аксельрод, Дейч и Вера Засулич — начал все чаще проявлять свои еретические наклонности, сперва осторожно и легонько, а потом все откровеннее и грубее. Это он начал поворачивать руль, имея тайное намерение отогнать от него старых рулевых и встать у кормила правления единолично. Сперва старики беззаботно посмеивались и озорником Ильича называли, а потом почувствовали беспокойство и опасность: поворачивая руль, еретик марксизма начал «древнее Марксово благочестие» расшатывать и прижавших Марксову веру в бунтарей переделывать. Точно слон забрался в посудную лавочку, а вернее сказать — в аптеку, где все было рассортировано, расставлено по отдельным полочкам и шкафам, все помечено номерами и лаконическими терминами и приготовлялись разные

порошки и микстуры по рецептам исключительно четырех специалистов по научному социализму. Забравшийся в похожий на аптеку храм марксизма Ильич начал путать все полочки и шкафы и сочинять свои еретические рецепты, рекомендуя старые домашние средства, которые употреблялись когда-то сошедшими со сцены народниками. Довольно, говорит, идеологию разводить да в ступе воду толочь, надо революцию делать.

Так и сказал — «революцию делать»! Вы, говорит, своей экономикой из рабочего класса благополучных мещан выделяете, а надо выводить их на улицу да приучать строить баррикады. А для этого необходимо рабочий класс подчинить единой партийной воле и повелевать самодержавно. Иначе, дескать, грозит опасность завязить ноги в буржуазном болоте, что случилось уже с немецкой социал-демократией...[464]

Белиберда! Чепуха! Неграмотность! Отрицание всех основ научного социализма. Социальные революции не делаются, а свершаются историческим путем; делаются только политические и дворцовые перевороты. Рос-

сия — самая отсталая земледельческая страна, а потому менее всего подготовлена для социальной революции. Устраивать же политические перевороты — это значит таскать из огня руками рабочего класса каштаны для буржуазии. Затем организация рабочего класса должна покоиться на сознании и демократических принципах, а не на самодержавии интеллигентских вожakov. Наконец, разве честно толкать рабочих на смерть, зная, что ничего путного в данный исторический момент из этого не выйдет? Это именно и называет Маркс устройством преждевременных социальных родов, чем занимались у нас бунтари и народовольцы.

Какой же это марксист!

Расхождение по всем основным пунктам с правоверными основоположниками. Ответы еретика дерзки, возражения неожиданны и еще более возмутительны...

Условия для революции готовятся историческими путями, но самая революция творится человеческими руками, и творится без перчаток, галстука и крахмала. А потому вопрос о честности и морали и всей прочей

буржуазной белиберде отпадает. В этой борьбе — все средства хороши, а кровь самое необходимое. Эта борьба-война, а на войне необходимо подчинение всех действий единому плану и единой воле, а потому демократическое миндальничанье надо бросить! Россия, особенно в настоящее время, самая подходящая страна для начала действий: всеобщее недовольство, которым легко воспользоваться в своих целях и действиях. Либеральная буржуазия пропитана ненавистью к самодержавию, и нет ничего легче, как сделать ее игрушкой в своих руках. Крупные промышленники напуганы заигрыванием правительства с рабочим классом по системе провокатора Зубатова[465], которая весьма чувствительна для их кармана, а потому они тоже начинают мечтать о конституции... Рабочий класс уже достаточно организован и находится на революционном подъеме...

— Россия — мужицкая страна, а мужик — собственник, буржуй и всегда и везде был и остается бревном поперек дороги к социальной революции!

— Верно, но он исторически бредит прав-

дой Божией и землей. Нет ничего легче, как надуть мужика этой землей и правдой! Надо только отбросить всякие разговоры о правде и честности в нашем штабе и оставить их для употребления только с мужиками... Вы-то говорите, что при этом опыте может погибнуть Россия? А зачем вам Россия? Черт с ней, с Россией. Пусть горит в этом социальном пожаре, но от этого пожара вспыхнет социальная революция у немцев, и весь мир охватит огонь революции и очистит земной шар для нового строительства.

Дерзкому еретику указали на немецкие социалистические авторитеты — в грош не ставит ни Каутского, ни Бебеля:

— Старые портянки!

По адресу заговорившего о честности и морали сказал:

— Только старые девы берегут свою никому не нужную невинность!

Основоположники возражали на каждое заблуждение Ильича текстами из Маркса, но тот на каждую цитату приводил из Маркса же несколько цитат в свою защиту, и те терялись. Чертова память у этого озорника! Всю

марксовскую литературную требуху наизусть помнит! И творца научного социализма его же словами в своего единомышленника превращает. И все клонит к тому, что прежде всего надо разрушить ненавистное самодержавие!

— Все средства для этого хороши. И массовой террор, и обман, и провокация, и убийства, и бунты, и глупость масс, и Христос, и дьявол!

Вронч-Вруевич послушался данного ему Зиновьевым совета: прежде чем выступить в коллективном центральном органе, отправился побеседовать с Ильичом на его квартиру. Но и здесь осторожный Ильич не захотел откровенничать. Пошли на свой Светлояр, на Женевское озеро, взяли лодочку и вдвоем поехали покататься. И тут оборотливый Вронч понял, что надо ставить карту не на Плеханова, а на Ленина. Учужал, что этот человек победит в начатой им игре против основоположников, которых Ильич называет то резонерами, то соглашателями и социал-предателями. К удивлению своему, Вронч убедился, что видимое содружество Ленина с

Плехановым — тоже игра, необходимая Ильичу временно в процессе борьбы за власть. Заговорил Вронч о Плеханове, «отце русской социал-демократии», в почтительном тоне, а Ильич и огорошил:

— Господин в перчатках и с тросточкой! Теперь нужны не идеологические болтуны, а практические политики...

Вронч порадовал Ильича завоеванием Максима Горького: к социал-демократам присоединился.

— Этого, Владимир Дмитриевич, мало. Необходимо, чтобы он присоединился к нам с вами...

Вронч посмеялся над Горьким: плохо разбирается в марксизме, видно, что знаком с Марксом только по компилятивным брошюрам.

— Да не в этом дело! Нам нужно его имя, как вывеска для международного пролетариата. Учителя поставим... Луначарского[466] надо. Живо обрабатает!

В разговоре Ильич то и дело употреблял выражение «нам с вами» и этим положительно завоевал Вронча. Тот подобострастно под-

дакивал Ильичу, и они оказались полными единомышленниками. Ильич пошутил:

— Погодите, вместе управлять делом будем. Вас государственным канцлером сделаю!

Оба посмеялись...

— Чем черт не шутит, Владимир Ильич!

— Верно, Владимир Дмитриевич! Кстати, маленький совет. Мне сказали, что вы тут с Дмитрием Кудышевым компанию водите. Будьте осторожней с этим перевертнем... Не откровенничайте!

— Откуда у вас эти сведения?

— Сорока на хвосте принесла, Владимир Дмитриевич.

Вронч покраснел и начал объяснять: он привез Кудышеву письмо от жены из Никудышевки. Беседовали исключительно по семейным делам. Никакой откровенности!

Оказалось, что Дмитрий Кудышев, которого еще в Сибири завоевал Ильич, как только организовалась партия социалистов-революционеров, перебежал к ним.

— В герои захотел? А у нас нет вакансии...

— То-то в Россию собирается. Жаловался, что брат ему деньги перестал высылать...

Заговорили о новой организовавшейся партии эсеров. Вронч, в угоду Ильичу, подшучивать над этими идеологами мелкой буржуазии начал. Ильич не поддержал:

— Пусть бросают бомбы! Дело и нам полезное. А мужичков мы все-таки у них отберем. Без мужичка и нам не обойтись. Тут, Владимир Дмитриевич, на вас сильно рассчитываю... На ваших правдоискателей...

XXIII

Горд и честолюбив был «отец русской социал-демократии». Хитрый Ильич сразу подметил эту слабую струнку Плеханова и начал все чаще на ней поигрывать. Знал, кого на какую удочку можно поймать! Веру Засулич очаровал своей буйной ненавистью к самодержавию и русским царям, о которых говорил с кровью в глазах и дрожью в голосе и революционным темпераментом, которым та объясняла все словесные еретические выходы этого исключительного фанатика революции. Разбив в центральном органе единодушие по отношению к собственной персоне, Ильич, ловко маневрируя этими симпатиями и антипатиями, начал поодиночке отодви-

гать на задний план старцев, основоположников[467], пока глаза их не раскрылись и пока они не почувствовали общей опасности. Тогда спохватились, да было поздно: Ильич успел уже сильно укрепить свои позиции как в России, так и за границей.

Озорник и хулиган марксизма к своим рукам вожжи прибрал и почувствовал себя Архимедом, нашедшим точку опоры, чтобы, освободившись от «мягкотелых слюнтяев» — как он называл стариков, — повернуть колесо исторического процесса...

Спыхватились старички и натравили на дерзкого еретика самый крупный тогда авторитет социалистический, Каутского[468].

В «Граде Незримом» необычайная сенсация: в партийном органе социал-демократов, в «Искре», появилось открытое письмо Каутского[469] с осуждением как тактических приемов Ильича, так и его бессовестной демагогии, извращающей праведную веру. Взволнованно радуются и эсеры, и старички-основоположники. Первые радуются тому, что марксисты сами секут друг друга, а вторые — тому, что теперь хулиган марксизма автори-

тет свой потеряет, а они снова возвысятся и станут блюсти чистоту риз марксистских... Пишет на радостях один старичок другому старичку:

— Итак, первая бомба отлита, и с Божьей помощью Ленин взлетит на воздух.[470]

Даже Бога на радостях вспомнил — так приятно было читать письмо непрерываемого авторитета Каутского!

— Необходим общий план кампании против Ленина. Взрывать его, — так взрывать до конца! Надо выпустить на него еще Розу Люксембург[471] и Парвуса[472]. Это, знаете, для того, чтобы ударить по лбу наших меднолобых, рассеять гипноз и сделать их восприимчивее для аргументации по существу, а не для одних сакраментальных словечек...

Радуетя старичок, а его все-таки страхи и сомнения обуревают:

— Но как быть? Заполним ли мы «Искру»? Может быть, выпустить против Ленина коллективный протест? Плеханов против этого: слишком много чести. Соображение правильное. Но как быть?

А Ильич прет себе вперед, локтями растал-

кивая праведников. Он все взвесил и рассчитал: победа будет за ним, а потому, отбросив все побасенки о стыде и совести, — действуй!

Воля железная, глаз меткий, хитрость дьявольская, душа свободна от всяких буржуазных добродетелей, гордость сатанинская. Когда-то Раскольников говорил: «О, как я понимаю пророка Магомета с саблей на коне! Велит Аллах и повинуйся, дрожащая тварь! Прав пророк, когда ставит где-нибудь батарею и дует в правого и виноватого, не удоставивая даже объяснений. Повинуйся, дрожащая тварь, и молчи, не желай, потому — не твое дело!»[473] Говорить-то он говорил, а сделать не смог, потому что не хватило смелости через Христа и его слюнявую мораль перешагнуть, а вот он, Владимир Ульянов, перешагнет через все пороги! Только таким путем и можно сдвинуть мир с мертвой точки. Пусть для этого потребуется море крови и реки слез. Его не растрогают дети с кувшином слез матери, который растрогал гауптмановского Гейнриха в «Потонувшем колоколе»...[474]

Над «героями» Ильич смеялся, а сам был с головы до пят пропитан жаждой всемирного

героизма, жаждой воссесть на трон вождя всемирного пролетариата. И на этом пути нет ничего недозволенного, нет ничего святого, нет решительно ничего, о чем стоило бы пожалеть!

Где-то в сокровенности души пошевеливалась еще радость отмщения русским царям за убийство любимого брата, кровь которого так и осталась неотомщенной...

В интеллигентском «Граде Незримом», на берегах Женевского озера, созревал тайно будущий Антихрист и Великий провокатор мира сего.

Но не пришел еще час его...

Евгений Чириков.

Моравия, с. Роскошь.

Лето 1929 г.

Книга четвертая

I

Когда-то и критика, и читатель жаловались на то, что вся наша литература и искусство пропахли «мужиком» и что даже в великосветских салонах и гостиных воняет «мужицкой избой»...

Давно прошли эти времена. «Мужик» пропал со всех горизонтов искусства и литературы. Только одинокое «Русское богатство», где отсиживались обломки разгромленного народничества с Михайловским и Короленко во главе, продолжало во всех своих отделах долбить русскому человеку, что в огромном царстве, где «мужик» остается основным кормильцем и защитником государства, мужика никак не скинешь со счетов русской экономической и политической жизни.

Царь и его правительство по-прежнему стремились укрепить трон на «дворянине», а новая идеологическая интеллигенция, сотворившая себе кумира из «рабочего», превратила «мужика» в некоторую алгебраическую величину с отрицательным знаком, с которой

все-таки необходимо было считаться при разрешении задачи построения социалистического строя по рецептам нового евангелия от Карла Маркса. По этим рецептам надлежало «выварить мужика в фабричном котле». Итак, для правительства — только дойная корова, терпеливая и выносливая, для интеллигенции — сырье для выделки необходимого пролетариата...

Но все это там, далеко, в столицах, где решались судьбы мужицкого царства без мужика, где всякие операции над ним производились как научные опыты над кроликом, где всегда за мужика и от имени мужика думали, говорили и решали правительство, интеллигенция и «первенствующее сословие», дворянство. На необъятных просторах русской земли мужик был молчалив, терпелив и кроток:

— Мы люди темные. Вам, господам, виднее...

Но случалось, что и мужик, потерявши кротость и терпение, неожиданно и без разрешения заговаривал, и уж если заговаривал, то не иначе как с топорами, вилами и кольями в

руках.

Эти мужицкие разговоры сперва назывались «стихийными движениями русского народа», потом бунтами, теперь — аграрными беспорядками.

В 1579 году — разбойник Ермак[475]. Прошло сто лет — Стенька Разин. Еще через сто лет — Емелька Пугачев[476]. Аккуратно через каждые сто лет заговаривали неспрошенные.

Не знаменовала ли самая повторяемость этих, хотя и «жестоких и бессмысленных», по выражению поэта, бунтов[477], что в самом фундаменте нашего государственного строительства имелась какая-то архитектурная ошибка, приводящая все государство к периодическим потрясениям? И при всей своей жестокости и кровожадности так ли уж они бессмысленны?

Разбойники-то очень уж необыкновенные! Вон Ермак удостоился впоследствии памятников. Стенька Разин выставлял целью своего разбойного похода освобождение народа от боярской неволи и приказных[478] и высказывал намерение перестроить всю Русь по вольному казачьему устройению. А Емелька

Пугачев вот какой манифест к народу выпустил:[479]

...Жалуем всех, находящихся прежде в крестьянстве и подданстве помещиков, верноподданными нашей короны и награждаем древним крестом и молитвою (то есть свободой религиозной совести для того времени), вольностью и свободою, не требуя подушных[480] и прочих податей, землями лесными и сенокосными угодьями, рыбными ловлями, солеными озерами, головами и бородами, и освобождаем от всех прежде чинимых от злодеев-дворян, градских мздоимцев и судей отягощенияев крестьянам.

Разве тут нет мысли, идеи бунта? Разве не более бессмысленна идея просвещенного науками идеолога — выварить шестьдесят миллионов мужиков в фабричном котле?..

Разбойные бунты жестоко усмирялись. Народ надолго замолкал и смирялся. Просвещенные и культурные сословия и правительство успокаивались и погружались в беспечность. И все оставалось по-старому...

С большой вероятностью можно было бы

предсказать, что через сто лет после Емельки Пугачева снова появился бы какой-нибудь разбойник и увлек бы за собой мужика к новому бунту. По законам исторической статистики это должно было случиться в семидесятых годах прошлого столетия. Но на дороге к этому бунту встал умный, предусмотрительный царь Александр II и в 1861 году предупредил бунт манифестом об освобождении крестьян от крепостного рабства.

Царь сказал неразумному дворянству:

— Лучше освободить народ сверху, чем ждать, когда освобождение придет снизу!

Однако неразумные и тут помешали: великая реформа освобождения народа оказалась сильно укороченной сравнительно с первоначальными планами царя и его сподвижников, укороченной в интересах дворянства. Она не оправдала надежд и ожиданий крестьянства.

Немногие честные и прозорливые люди из того же дворянства предупреждали царя и предсказывали, что это ввергнет Россию в будущем в величайшие бедствия и потрясения. Но сила оказалась на стороне тех, которые

привыкли строить свое благосостояние на рабстве и кротости народа...

И как только совершилась эта историческая ошибка, мужик снова заговорил на своем страшном языке с властями и помещиками: в течение двух первых лет после падения крепостного рабства было более тысячи народных бунтов и восстаний!

Народ не хотел признать царского манифеста, называл его «подменным» и считал себя и царя обманутыми со стороны господ и подкупленных ими чиновников.

Слепцы по монастырям, по большим и проселочным дорогам жалобно пели:

*Кривда Правду переспорила,
Ушла Правда к Богу на небо,
Пошла Кривда по земле гулять,
И от Кривды земля всколебалася!*

А мужики с бабами вздыхали и утешали себя терпеливой надеждой:

— Бог правду-то видит, да не скоро ее сказывает... Потерпим уж...

Великие реформы царя-освободителя ни в экономическом, ни в политическом отношении не сделали мужика равноправным со

всеми другими сословиями жителем. Мужик не сделался собственником земли, которую обрабатывает: она принадлежала общине и подвергалась переделам. Для мужика был оставлен особый волостной суд[481], который, руководствуясь обычным правом, мог подвергать мужика телесному наказанию, порке розгами. Мужик был ограничен в правах передвижения и отлучки из места своего постоянного жительства. Вместо прежнего единого господина, помещика, он очутился под опекой множества всяких властей, а с введением земских начальников, большинство которых принадлежало к дворянскому сословию, в конце концов, попал и под опеку помещиков, у которых вынужден был за недостатком надельной земли арендовать ее, часто по чрезмерно повышенным ценам... Помимо всего этого мужик, как плательщик всяких налогов, был связан «круговой порукой»: исполнив свой личный долг перед государством, мужик обязан был платить налоги за тех членов общины, которые оказались неплатежеспособными...

Полусвободный гражданин второго сорта!

Общая дойная корова.

Россия въезжала в ворота XX столетия с хроническими «голодными годами», с эпидемиями, с вспыхивающими то там, то сям аграрными беспорядками. И вот что было странно: народ хирел, беднел, нес непосильную налоговую тягу, а между тем государство богатело. Государственный бюджет быстро приближался к двум миллионам рублей, в полтора раза обгоняя бюджеты Англии, Франции и Германии. Два последних года XIX столетия ознаменовались неслыханным подъемом промышленности...

В чем разгадка этого чуда?

Государственный контролер[482] еще в 1896 году в своем отчете царю заявил: «Платежные силы находятся в *чрезмерном* напряжении».

Для мужика в «мужицком царстве» сахар был непосильной по цене роскошью, между тем как в Англии русским сахаром откармливали свиней!

Как расцветшая промышленность, так и государственная поддержка разоряющегося и разлагающегося дворянства, именуемого

«опорой трона», держались исключительно на выносливой и многотерпеливой мужицкой спине...

Благополучный бюджет и рост промышленности как будто бы свидетельствовал о том, что мы быстро догоняем на своей гоголевской «русской тройке» Европу, а вот мужик, как говорится, портит всю музыку: то голодает, то бунтует, не желает «выпариваться в фабричном котле» и кричит: «Земля ничья, она Божия! Не затем она Господом сотворена, чтобы помещики ее нам в аренду сдавали!»

Мужик никак не мог понять, что земельная собственность священна, неприкосновенна, и своим правовым невежеством ставил в щекотливое положение и царя, и правительство, видящих свою опору в земельном дворянстве. Придворные сферы были набиты представителями крупного земельного дворянства, и мужицкий вопль о земле оставался гласом вопиющего в пустыне, между тем как «Союз объединенного дворянства»[483] всегда незримо присутствовал при царском дворе...

Молодой царь, не обладавший ни твердой

волей отца, ни государственным кругозором, необходимым для самодержавного властелина огромного царства, всегда неуверенный в себе и искавший помощи у окружающих, к великому несчастью России, не обладал еще и даром удачного выбора помощников. Большинство быстро менявшихся министров не столько думали о России и народе, сколько торопились при помощи придворной дворянской камарильи сделать блестящую карьеру. Единственным подлинным государственным человеком был министр финансов Витте, но его царь получил вместе с престолом от покойного отца.

Нужны были поистине мудрость змеи и хитрость лисы, чтобы, лавируя между разбрасываемыми придворной камарильей минами, так долго оставаться у кормила государственного корабля и незаметно и вопреки господствующей около царя клике поворачивать руль от дворянско-крепостных берегов в открытое море свободного плавания... Вот этот единственный государственный человек при царе только один и понимал, что первенствующее по своему значению для государ-

ства сословие — не дворянство, а крестьянство. Один в поле воин!

Не поставим поэтому в суд или осуждение, что временами ему приходилось изобретать такие способы, чтобы и волки были сыты, и овцы целы...

Мужик все чаще и чаще заговаривал на своем антигосударственном языке о земле и воле[484]. Придворная обстановка дворянского засилья мешала коренному разрешению крестьянского вопроса, между тем что-то сделать было необходимо немедленно. Витте прибегнул, так сказать, к «домашнему средству»: чтобы хотя на время отвлечь мужицкие вождедения от помещичьей земли, он предложил царю план великого переселения малоземельных и безземельных крестьян в Сибирь[485], по линии магистрали Сибирской железной дороги. Пусть они заселяют сибирские пустыни, колонизируя малолюдные края Дальнего Востока!

Насколько было трудно тогда что-нибудь сделать в пользу и благо народа, как опасно было прикасаться к этой государственной болячке — показывает то обстоятельство, что

даже этот безгрешный план до смерти напугал помещиков, крупных магнатов землевладения: ведь мужик хлынет в Сибирь, а это удорожит крестьянский труд, уронит арендную плату на землю, раскроет перед мужиком горизонты и породит в нем стремления к вольностям! В результате большой переполох в придворных дворянских сферах. Проект Витте признан опасным не только для первенствующего в стране сословия, но и для самого государства, а автор проекта заподозрен в «масонстве» и прозван при дворе «красным министром».

Дворянство почуяло в этом министре невыгодного для своих интересов реформатора и, с одной стороны, спешило укрепить свои позиции при дворе и в правительстве, с другой стороны — уронить влияние Витте на молодого царя. Главным средством для этого служило пробуждение в царе подозрительности: не кроется ли в тайных замыслах государственного человека покушений на самодержавие и его устои? Одним из главных устоев является дворянство. Вот эту опору трона и следует укрепить прежде всего. Для

этого необходимо всеми мерами сохранить землю в руках помещного дворянства, остановить его оскудение, поддержать его падающий престиж. Между тем министр финансов не проявляет в этом отношении никакой инициативы, а напротив, тормозит это основное дело.

Вместо того чтобы открыть совещание по вопросу о поднятии благостояния крестьян, молодой царь под воздействием сильного своими связями при дворе дворянства открывает в 1895 году «Комиссию по дворянскому вопросу»[486], программа которой весьма откровенно раскрывала желание оскудевающего дворянства пополнить свои пустующие карманы за счет государственной казны, разбогатевшей главным образом путем *чрезмерного* напряжения мужицкой спины...

Первое торжественное заседание этой Комиссии ознаменовалось крупным государственным скандалом. После приветственных речей, главное содержание которых заключалось в экскурсиях ораторов в отечественную историю с целью доказать, что как образование, так и существование Российской импе-

рии обязано главным образом дворянству, выступил «красный министр» и начал говорить, что дворянам не может быть хорошо, если плохо крестьянам:

— Я нахожу, что дворянское совещание поступит правильно, если прежде всего займется вопросом о благосостоянии крестьян!

Речь Витте разорвалась бомбой в торжественной обстановке дворянских гусей, гордившихся тем, что их предки спасли Рим!
[487]

Эта внезапно разорвавшаяся бомба так ошеломила все благородное собрание, что председатель, министр внутренних дел Дурново[488], прервал заседание и объявил, что он должен испросить указаний Его Величества, прежде чем продолжить совещание.

Поистине «скандал в благородном семействе»![489]

Зато какой удобный случай — спихнуть с дворянского пути врага своего!

Какова была беседа у царя с председателем Комиссии — об этом история умалчивает, но вот что произошло на следующем заседании.

Министр открыл заседание объявлением

следующего Высочайшего повеления:

— Государю благоугодно было назначить Комиссию для изыскания средств к улучшению положения русского дворянства, а не крестьянства, а потому Комиссия не должна затрагивать крестьянский вопрос!

Молодой царь был возмущен и озадачен: не масон ли, не тайный ли революционер этот Витте?

Было бы ошибкой думать, что министр финансов Витте питал особенно благожелательные чувства к русскому мужику. Нет, только он при своей государственной дальновидности понимал, что мужик, эта дойная государственная корова, может давать золотое молоко для всех нужд государства, и в том числе для подкармливания расползающегося дворянства, лишь в том случае, если сама корова поправится от своей худобы и получит должный разумный уход со стороны доящих...

Вскоре после этого скандала по всей России стала гулять крамольная открытка с картиночкой: худющий мужичонка пашет на худой лошаденке свою худую землю, а за сохой следом за мужиком идут с большими

ложками в руке семь человек, олицетворяющих представителей власти и культурных сословий, с надписью внизу: «Один с сошкой, а семеро с ложкой».

II

Нетерпеливый читатель может спросить автора:

— Какое отношение все, что выше написано, может иметь к «Отчему дому» и его героям? Зачем автору понадобились эти вылазки из пределов семейной хроники симбирских дворян Кудышевых в область общей государственной жизни?

Критики тоже недовольны автором: одни заподозривают его в желании нанести удар влево, другие — вправо, в намерении кого-то обвинить, а кого-то оправдать. Так, один критик назвал мою хронику обвинительным актом против всей русской интеллигенции, другой обвинил автора в намерении взвалить всю тягу ответственности за революционную катастрофу на плечи вождей старой Императорской России во главе с трагически погибшим царем...

Несомненно, что и критики в той или дру-

гой степени отражают впечатления читателей.

Я думаю, что эти обвинения, такие противоречивые по своему содержанию, основаны на том, что большинство из нас утратило историческую перспективу, а меньшинство и совсем ее не имело и ныне не имеет. И те и другие во власти закона личной психологии: «что прошло, то будет мило», — тем более, что наше настоящее по сравнению с прошлым можно уподобить самочувствию изгнанных из рая прародителей наших...

Такие без исторической перспективы смотрят на нашу революцию, как на скверное историческое происшествие, и ищут виноватых только среди своих современников. Для одних все зло проистекло от интеллигенции, для других — «от жидов», для третьих — от революционеров, для четвертых все зло вообще в «отцах». Есть и такие, которые все зло усматривают либо в Витте, либо в Милюкове [490] с Керенским[491]...

Такие забывают, что настоящее рождается из прошлого, а будущее из настоящего и что их никак нельзя разорвать; забывают, что в

истории существует своеобразная «круговая порука» поколений и что колесо истории не поворачивается и не останавливается по воле и желанию, даже по приказу самодержавного императора. Не хотят знать и того, что революции не сваливаются с небес, а подготовляются долгим историческим процессом...

Вот только этот исторический процесс мне и хотелось отразить в семейной хронике.

Эпиграфом к ней я взял евангельские слова: «может ли слепой водить слепого? не оба ли упадут в яму?»

Кто же был историческим поводырем темного, а потому и слепого русского народа?

Цари, правители, культурные сословия, духовенство, интеллигенция — это и есть наш общий национально-государственный «Отчий дом». Как же было автору обойтись без этого главного дома, когда кудышевский отчий дом — только миниатюра этого общего дома? Ведь мой «Отчий дом» подобен капельке расплавленного зеркала, в которой с исторической неизбежностью должны отразиться все добродетели и пороки нашего исторического бытия...

В мою задачу вовсе не входил суд над современниками, желание выловить из них виноватых. Я имел намерение показать историческую поруку поколений, в которой нет невиноватых...

Вот вам пример. Отмечая разрушительные тенденции нашей интеллигенции, я все же не скрыл, что та же интеллигенция со дня манифеста о раскрепощении крестьян неустанно твердила о необходимости коренной земельной реформы, народного просвещения, превращения мужика в полноправного гражданина. Разве не ту же цель, но лишь с большим опозданием выставил в конце концов единственный государственный человек в правительстве Николая II — Витте? Вот какое письмо написал он царю в 1898 году:

...Крымская война[492] открыла глаза наиболее зрячим. Они сознали, что Россия не может быть сильна при режиме, покоящемся на рабстве. Ваш великий дед самодержавным мечом разрубил Гордиев узел. Он выкупил душу и тело своего народа у их владельцев. Россия преобразилась, она удесятирила свой ум и

свои познания. Император Александр II сделал крестьян свободными сынами своего отечества. Император Александр III, поглощенный восстановлением международного положения и укреплением боевых сил, не успел довершить дело своего отца. Эта задача осталась в наследство Вашему Императорскому Величеству. Она выполнима, и ее необходимо выполнить. Крестьянство освобождено от рабовладельцев, но этого недостаточно: необходимо еще освободить его от рабства произвола, незаконности и невежества. От этого неустройства проистекают все те явления, которые, как надоедливые болячки, постоянно дают себя чувствовать...

Государь! Государство при настоящем положении крестьян не может идти вперед. То голод, то земельный кризис, то беспорядки, а в это же время поднимается вопрос о доблестях отдельных сословий и даже о поддержке ими престола!.. Боже, сохрани Россию от престола, опирающегося не на весь народ, а на отдельные сословия! Весь вопрос в крестьянском неустройстве. Там, где плохо овцам, плохо и овцеводам. Между тем развитие России

требует все новых и новых расходов. Расходы эти по количеству населения не так велики, но они непосильны для крестьян по неустройству их быта. Это — великая радость для всех явных и тайных врагов самодержавия! Здесь благодатное поле для всяких вражеских действий. Крестьянский вопрос является ныне первостепенным вопросом жизни России. От Вас, Государь, зависит сделать врученный Богом Вашему попечению народ счастливым и тем открыть новые пути возвеличению Вашей империи...

Глас вопиющего в пустыне!

Царь два года отмалчивался. Но наступил 1901 год, и кроткий и терпеливый мужик заговорил снова на своем страшном языке. Бурная волна крестьянских волнений и бунтов покатила с юга, откуда писали в столичные газеты:

...У нас в воздухе висит что-то злое. Каждый день на горизонтах — зарево пожаров. По земле стелется по вечерам кровавый туман. Нельзя пройти по деревне, не услышав угрозы. Надо

уехать, пока не сожгли или не повесили на воротах...

Впрочем, не одни помещики жили в тревоге и смутном предчувствии близких политических вихрей. Вот уже два года, как вся культурная Россия пребывает в тревоге и возбуждении: студенческие беспорядки, забастовки на фабриках и заводах, демонстрации с красными флагами, убийство министра народного просвещения Боголепова[493] студентом Карповичем, отлучение Льва Толстого от церкви, борьба земского и городского самоуправления за отнимаемые у них права, тайные съезды с направленными против самодержавной власти резолюциями — все это одних пугало, других радовало и всех заставляло терять душевное спокойствие, пребывать в непрестанном нервном возбуждении. Одни боялись революции, другие ждали эту желанную гостью. А тут вдруг, словно на подмогу явным и тайным врагам самодержавия, — крестьянские бунты, расплзавшиеся с юга во все стороны...

Правительство и придворная дворянская камарилья пришли в испуганное замеша-

тельство и впервые усомнились в чудодейственной силе полицейского кулака. Интеллигентской крамолы на верхах отвыкли бояться, но крамола сверху, подкрепляемая бунтами снизу, не на шутку испугала и царя, и всю «опору трона».

Царь вспомнил о советах министра Витте, о его позабытом дерзком письме в Крым. Что-то надо поскорее предпринять. Кто научит? Кто скажет правду? Где умные и мудрые?

Царь с тревогой озирался по сторонам, и мысленный взор его неизбежно упирался все в того же единственного государственного человека, в уме которого царь никогда не сомневался...

Так возник проект особого совещания, если не специально по крестьянскому вопросу, то все же весьма к нему близкому, с компромиссным наименованием «Особого совещания о нуждах сельскохозяйственной промышленности»...

Однако скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Когда-то там еще организуется и начнет действовать особое совещание, да когда-то его работы и постановления

ния начнут воплощаться в разные государственные реформы, долженствующие успокоить бунтующего мужика, а пока необходимо принять экстренные меры для локализации и тушения расплзающегося пожарища. Тут ничего нового пока не придумано даже умным министром финансов... Да и не его это дело. Хотя по действующим законам телесные наказания на мужика может налагать только мужицкий же волостной суд (пусть мужик сам себя порет!), но в таких случаях власть не привыкла считаться с законами вообще: стреляли, пороли, арестовывали, а потом уже предавали суду и наказывали по уголовному кодексу.

Такие крутые расправы временно успокаивали мужиков, но успокоение это, конечно, было обманчивым. Вся боль и обида пряталась в глубину мужицкой души и там тайно гнездилась под обликом внешнего раскаяния и смирения. Этими крутыми экзекуциями власть уподоблялась тому человеку, который, посеяв ветер, должен пожать бурю...

Невозвратно прошли для России те времена, когда

*В столицах шум, гремят витии,
Кипит словесная война,
А там, во глубине России,
Там — вековая тишина...*

В столицах кипела не только словесная, а подлинная революционная война с правительством, а там, во глубине России, не стало прежней идиллической тишины и сладостной дремотности.

«Русь! Куда ты мчишься?»

«Русская тройка» точно вырвала вожжи из рук ямщика[494] и, въехав в ворота XX столетия, понесла седоков без пути и дороги с какой-то роковой предопределенностью к крутому обрыву... над пропастью.

III

Симбирск с давних времен считался столицей русского столбового дворянства, и потому дворяне Симбирской губернии давно уже чувствовали себя как бы именованными. Если дворянство вообще — опора царского трона, то симбирцы — в первую голову. Однако нигде в такой степени не чувствовался разгром и вырождение дворянского сословия, как именно в Симбирской губернии. С одной сто-

роны, горсточка уцелевших «зубров» и «бегемотов», продолжающих владеть огромными территориями, породнившихся с богатыми купцами и, в компании с ними, бравших разные казенные подряды; с другой стороны, дворянская мелкота, материальное и духовное убожество, полное «Митрофанушек» и обедневших героев из гоголевских «Мертвых душ», казавшихся непохороненными покойниками.

Такова была здесь «опора трона»...

Оба вида этих дворян, один от огромных appetитов, другой — от бедности и убожества, почувствовали возможность всяких даяний с высоты престола и торопились использовать заслуги своих предков через своих предводителей. Сплотившись в Симбирское отделение «Союза объединенного дворянства», они шумно манифестировали свой патриотизм и свою преданность царю и отечеству.

В оппозиции к этой опоре трона стояла в губернии маленькая кучка подобных Павлу Николаевичу вольнодумных либеральных дворян-помещиков и так называемый «тре-

тий элемент» земского и городского самоуправления[495], служивший по вольному найму в качестве различных специалистов: статистики, агрономы, врачи и фельдшеры, акушерки, инженеры и техники, землемеры, учителя. Правда, многие из них по документам числились еще дворянами, но ни земли, ни другой недвижимой собственности не имели. Это были потомки старого дворянства, переродившиеся в бессловную русскую интеллигенцию с большой примесью «выходцев» из народа, из низших его сословий.

«Опора трона» давно уже унюхала, что как помещики-либералы, так и огромные кадры этого «третьего элемента» — враги существующего порядка: одни мечтают о парламенте, другие об облагодетельствовании мужика за счет опоры трона, а все вместе — о революции.

И все были по-своему правы: опора трона вполне основательно боялась и парламента, и революции, потому что с ними кончился бы «праздник на дворянской улице», враги же существующего порядка вполне основательно возмущались этим праздником «зубров» и

«бегемотов» и не находили никаких иных средств остановить его, кроме парламента или революции...

Что касается подлинных профессиональных революционеров, то этот праздник на дворянской улице их тайно радовал и был праздником и на их улице, ибо служил делу пропаганды и революционизирования народных масс лучше всяких агитационных прокламаций...

Крутая расправа с бунтующим за свою «правду» мужиком со стороны властей, явно стоявших за правду дворянскую, помещичью, давала революционерам возможность ронять в народе все еще крепкую веру его в царя:

— Напрасно ждете и надеетесь: царь первый помещик!

В то время как волна крестьянских бунтов на всю Россию не на шутку перепугала царя и придворную дворянскую камарилью, симбирская «опора трона» пребывала еще в полной безопасности: до Симбирской губернии далеко, и волна эта не докатится, ну а если и докатится, то власти не дадут в обиду «опору трона».

Тревожные слухи и разговоры, правда, по всей губернии среди крестьян ползают, но губернатором уже приняты необходимые меры пресечения этих вредных слухов: земские начальники получили тайные циркуляры — «обратить внимание на „третий земский элемент“, занимающийся тайной пропагандой и организацией революционных „крестьянских кружков“, ловить неизвестных молодых людей, раскидывающих нелегальщину по дорогам и деревням, и лично на волостных сходках разъяснять мужикам несостоятельность революционных учений»...

Такие же циркуляры получили исправники.

Теперь вернемся к никудышевскому отчому дому и его окрестностям.

Никудышевка и Замураевка, хотя и расположены поблизости друг от друга, но, продолжая пребывать в кровной родственной связи, они теперь так же далеки друг от друга по своей сущности, как окопавшиеся в траншеях и готовые каждую минуту вступить в сражение враги.

В одном лагере Павел Николаевич с бра-

тъями и своими друзьями, в другом — предводитель дворянства, тесть его, генерал Замурав, опора всей уездной «опоры трона».

Между лагерями — глубокий ров, но мост через этот ров еще не взорван.

Дочь генерала, Елена Владимировна, пребывает в долголетнем замужестве за Павлом Николаевичем, а дети Павла Николаевича приходятся внуками вождю враждебного лагеря. Помимо того, этот вождь преисполнен глубочайшей преданности и почтения к единственной в никудышевском лагере представительнице старого дворянского рода, Анне Михайловне Кудышевой. Имеются еще общие, нейтральные, так сказать, друзья по бабушке, как, например, — исправник, воинский начальник, благочинный отец Варсонофий, друзья обоих домов — купцы Ананькин и Тыркин.

Мост довольно крепкий. Случается моментами, что часовые на мосту временно останавливают взаимное движение, но женщины и дети, как бы по взаимному соглашению врагов, беспрепятственно путешествуют из одного лагеря в другой и мешают взорвать за-

ложенные с обеих сторон мины...

Дальше больше: случается, что через женщину вражеским лагерям приходится сходиться за одним общим столом.

Так вышло на свадьбе Наташи.

Охрана моста была снята, и свадьба эта, к особенной радости бабушки, была признана праздником обоих лагерей.

Бабушка торжествовала. Радовало ее как это прекращение вражеской разобщенности родственников, так еще и две большие победы, одержанные ею перед свадьбой.

Одна победа, правда, сопровождалась большими волнениями в отчем доме и была одержана бабушкой не без помощи друзей из вражеского Павлу Николаевичу лагеря, но для бабушки это было на втором плане. А главное: исчезла с никудышевского горизонта ненавистная бабушке акушерка Марья Ивановна со всей тайной компанией.

Двое из этой компании, как помнит читатель, были арестованы еще на Светлом озере, около стен Незримого Града Китежа, а недавно приехавшие из Симбирска жандармы увезли с собой в даль неизвестности и Марью

Ивановну с какими-то вещественными доказательствами. Конечно, это происшествие взволновало всю Никудышевку, а всех жителей соединенных штатов заставило пережить очень сильные ощущения, но в общем жандармы оказались деликатными, никуда не полезли, кроме левого флигеля. Пострадал только один «акушеркин штат»...

И вот душа бабушки ликовала: «Давно бы это следовало сделать!»

Бабушка выглядела боевым орлом, ездила с визитом к генералу Замураеву налаживать свадебные отношения лагерей: худой мир лучше доброй ссоры! Как прекрасно, что к Наташиной свадьбе опустел левый флигель!

Посмотрит на него бабушка, облегченно вздохнет, перекрестится и скажет:

— Точно мозоль с души срезали!..

Бабушка приказала левый флигель привести в порядок, оштукатурить снаружи и оклеить новыми обоями внутри, чтобы и духом акушеркиным не пахло!

Оглядывая стены в комнатах, удивлялась:

— Можно ли подумать, что тут жила благородная женщина!

Усмотрела бабушка в чулане флигеля акушеркин инструмент, с помощью которого когда-то была оскорблена, брезгливо поморщилась и позвала девку:

— Возьми эту гадость и выброси в помойную яму!

Девка унесла, но не выбросила, жалко стало, — подарила на деревню, там ребяташки из клистирной трубки пожарный насос устроили.

Большим огорчением был сперва оставшийся безпризорным незаконнорожденный якутенок с громкой фамилией столбового дворянина Кудышева, но тут тоже устроилось: якутенка Ваньку пожалели Григорий с Ларисой и взяли к себе на прокормление и воспитание.

Вторая победа — над будущим зятем Пенжержевским. Хитрый! Намеревался повенчаться с Наташей по католическому обряду в Симбирске и там же в тесном семейном кружке отпраздновать, да и поминай как звали: за границу, в свадебное путешествие!

Не тут-то было! Бабушку, как говорится, на кривой не объедешь... Бабушка все своевре-

менно взвесила и принялась воевать. Родители Наташи не придавали этому вопросу большого значения: не все ли равно? Ведь Бог у всех один! А бабушка:

— Ну, если у всех один, так почему в костеле, а не в нашей православной церкви?

— Не понимаю, — говорил Павел Николаевич, — молитесь о соединении церквей, а как доходит до дела...

— Хорошо! Соединение так соединение: сперва в нашей, а потом и в костеле. А праздновать по старине: в родном доме!

Само собой разумеется, что бабушка давно настроила Наташу по-своему. Когда заговорил Павел Николаевич на эту тему в присутствии дочери, та сказала:

— Папа! А кто будут у нас дети, если родятся: поляки или русские?

Павел Николаевич сейчас же понял, что бабушка тут уже поработала:

— Вера и религия это — одно, а национальность — другое. Есть католики и среди русских... И все это чепуха!

Тогда выступила бабушка:

— Если повенчают по-католически, в ко-

стеле, то твои дети, а мои правнуки будут поляками!

Наташа написала жениху длинное письмо, и в ответ пришло сразу три письма: одно Наташе, другое — бабушке, третье — Павлу Николаевичу. И во всех письмах была одна и та же фраза: «Я так люблю Наташу, что готов повенчаться по обрядам всех религий в мире».

И все были в восторге. Бабушка от своей победы, Павел Николаевич — от высокой просвещенности Адама Брониславовича, а Наташа — от богатырской силы любви жениха...

Значит, теперь всё в порядке, все — на своем месте.

Бабушка с удвоенной энергией подготавливала свадебное пиршество. Она пустила в оборот заветную шкатулку, куда долгие годы прятала от жадных взоров Павла Николаевича денежку на черный день. Светлый день пришел, однако, раньше черного, и бабушка решила во славу и честь своей любимой внучки последний раз в жизни устроить «ассамблею» по всем правилам старины: пир на весь мир, с музыкантами, с бенгальскими огнями и фейерверками, с лакеями в перчатках,

с печатными приглашениями с короной и родовым гербом...

Увы! Только по размаху своему этот семейный праздник несколько напоминал давно прошедшие невозвратные дни симбирского столбового дворянства. Что прошло, то не вернется!

Вышла не старинная дворянская ассамблея, а злая карикатура на нее, словно умышленно устроенная, чтобы показать, что никакого столбового дворянства не существует, а есть только землевладельцы из дворян, похожие на обедневших и переряженных героев из гоголевских «Мертвых душ», купцы и фабриканты из дворян, чиновники из дворян, интеллигенты и тайные революционеры из дворян, да вот такие чудом уцелевшие осколки, как престарелая величественная бабушка Анна Михайловна Кудышева...

IV

Прежде чем перейти к описанию Наташиной свадьбы и бабушкиной ассамблеи по тому поводу, я должен рассказать вам о некоторых происшествиях, предшествовавших этому чрезвычайному событию в Симбирской гу-

бернии.

Весной этого года весь Симбирск был встревожен появлением на его улицах первого автомобиля. Не менее чрезвычайное событие!

Героем его был Ваня Ананькин... и Англия, откуда родом было это чудо последних годов истекшего столетия.

Поехал Ваня в Англию со своей Зиночкой, чтобы на людей поглядеть да и себя показать, а кстати проведать о новости в пароходном деле: какие-то бесколесные пароходы — «теплоходы» — придуманы. А в пьяном виде вместо машины для «теплохода» автомобиль купил. Очень уж захотелось Симбирск удивить.

Там же, в Англии, Ваня и управлять этой удивительной каретой научился.

В то время даже в столицах автомобили были редкостью, а в провинции просвещенные жители о них слыхали, но никогда не видывали. Понятно, что Ваня всех удивил и, когда катался по улицам, производил фурор и смятение: за автомобилем гонялась толпа зевак, как за слоном из цирка, извозчичьи лошади пугались, и седоки часто терпели кру-

шения, составлялись протоколы, но в законах гражданских не было такой статьи, чтобы прекратить это безобразие, а штрафов, налагаемых городским судьей за неосторожную езду, Ваня не боялся.

Однако Ване мало было скандалов в Сибирске. На свете чуда нет, к которому не пригляделся бы свет! Ваня задумал пробраться на автомобиле в Никудышевку, к Наташиной свадьбе. До Алатыря погрузил автомобиль на свой пароход, а от Алатыря решил ехать вместе с Зиночкой автомобилем. Дело было дня за три до свадьбы.

Покатались они по городу Алатырю, взбудоражили его просвещенных и непросвещенных жителей. Предложили отцу Варсонофию с диаконом, которые должны были венчать Наташу, поехать с ними, но отец Варсонофий уклонился:

— Так-то так, премного благодарен вам, однако... Как сказать? Как-то оно мне и диакону как особам духовного звания непристойно на этом инструменте...

Предлагали еще кое-кому из собравшихся на свадьбу. Всем хотелось, но все побаива-

лись: «А черт его знает! Вдруг взорвет?» Никто не согласился подсесть...

Погрузили в автомобиль два ящика шампанского и поехали одни...

Был погожий денек. Деревенская страда спала.

Золотые моря хлебов исчезли и раскрыли безбрежные горизонты, уходящие в глубину синих далей, в которых с изумительной четкостью рисовались там и сям, словно игрушечные, деревеньки, колоколенки со сверкавшими на солнце крестами, контуры далеких лесов. Такое спокойное и радостное настроение было разлито во всей природе и такое взбудораженное в людях... Со злобной ненавистью бросали взгляды на Ваню и Зиночку встречные и обгоняемые люди. Впрочем, Ваня не замечал этого. Пока путь лежал по большой шоссейной дороге, Ваня гнал машину. Быстрое движение подчинявшейся его рукам машины и лавирование между опасностями столкновений держали Ваню в особенном боевом настроении, в самочувствии борьбы и преодоления, и от этого в его душе рождалась радость, гордость и чувство соб-

ственной значительности...

А препятствий для борьбы и преодоления было много. Встречные мужики и бабы, возвращавшиеся с базаров и полей на медленно ползущих телегах, пробуждаемые от сладкой дремы хриплыми и страшными гудками чудовища, с быстротой мчавшегося им навстречу, испуганно шарахались в стороны, настегивая по худым бокам испуганных же лошадеенок, и потом долго кричали и ругались вдогонку Ване, а старики крестились и долго не могли опомниться от ужаса и удивления: весь в желтой коже, в шлеме с болтающимися наушниками и в огромных зеленых очках, скрывавших половину лица, Ваня казался им самим дьяволом, скачущим на чудовище с двумя светящимися глазами и изрыгающим вонючий дым из-под хвоста!

— Дьявол окаянный!

— Чертова машина... Тьфу! Чтоб ты провалился сквозь землю.

Дивились, а маленько успокоившись, начинали изобретать средства самозащиты:

— Вот бы бревно поперек дороги-то положить!

— Ничего ему, проклятому, не сделается: перескочит! Яму надо вырыть, — вот это дело...

— Нечистая сила... Напугалась я до смерти... Инда и сейчас сердечко бьется.

Местами запоздали с уборкой овса, и по полям краснели яркими пятнами бабьи платочки, синели сарафаны, резко звучали перекликавшиеся голоса. По дорогам, усеянным золотистыми соломинками, тянулись телеги со снопами, наполняя тишину полей скрипучей музыкой немазанных колес. В прозрачном воздухе плавали паутинки, предвестники хороших ядреных солнечных дней.

Солнышко грело, но не было уже прежней духоты, и казалось, что земля отдыхала в сладостной истоме, как женщина-мать после родов...

Не шел к этой благодушной истоме и тишине, к этой грустной радости русской природы гудящий, грохочущий, ревущий, воняющий бензином и дымящий зверь европейской культуры. Лошаденка, плетущаяся со скоростью трех верст в час, и эта непонятная чертова машина, птицей пролетающая, с

угрозой смять и раздавить все попадающее на пути ее!

Господа эту машину придумали для себя, а для мужика и деревни — она только одно зло и неприятности.

Охваченный радостью быстрого движения, Ваня по временам не так внимательно следил за препятствиями и плохо взвешивал опасности. Хотелось как можно скорее прилететь и всех поразить.

Клубами вихрилась пыль, и неслась за автомобилем свора деревенских собак, когда Ваня пролетал широкой улицей попутного села Вязовки. Вот здесь и вышла первая неприятность. Раздавили спавшую в лужице свинью. Страшный визг, толчок... Ваня растерялся от визга и затормозил. Свинья уже не визжала, но визжали бабы и сбегались мужики. Точно нападение диких на европейца! Готовы разорвать на клочки и Ваню, и Зиночку. Кто-то запустил уже в заднее стекло кузова камнем, и оно со звоном посыпалось на Зиночку. День был воскресный, и подвыпившие мужики, настроенные слухами с юга, точно потеряли обычный страх перед господами.

Ваня предлагает за раздавленную свинью десять рублей:

— Десять целковых получите да еще и свинью съедите! — урезонивает он освирепевшую толпу.

А ему в ответ:

— Мы дохлятину не едим! Это вы всякую погань жрете!

— Им что свинья, что мужик, — не разбирают!

— А мне эта свинья дороже барина!

— Бей его, дьявола, робята!

Плохо бы кончилось, если бы Ваня не догадался зареветь гудком и пустить мотор с места в карьер... Толпа от неожиданности пугливо рассыпалась в стороны, и Ваня улепетнул. Спихнулись, помчались, полетели вдогонку камни, ругательства и угрозы:

— Погодите, скоро всем вам конец будет!

Собаки продолжали гнаться, а мужики бросили: разве эту чертову машину догонишь?

Ваня гнал, а Зиночка впала в обморок. Очувшись в полной безопасности, Ваня остановил машину и sprыснул Зиночку шампан-

ским прямо изо рта...

Раскрыла глаза, опомнилась. Точно в лихорадке: зубами щелкает...

Маленько успокоил, напоил шампанским, укутал пледом, ругается:

— Не народ, а прямо разбойники!

Поехал осторожнее, тем более что шоссейная дорога кончилась и началась проселочная, хотя и хорошо накатанная, но с изъятиями...

Слава Богу! Недалеко уже и Никудышевка. Последняя попутная деревенька...

Во избежание всяких неприятностей решил объехать деревеньку на косогоре лугами и спустился под гору...

Не проехали и версты по луговой дороге, как неожиданно целый каскад водяных брызг и пыли взвился из-под передних колес автомобиля.

Не успел Ваня понять в чем дело, круто свернул в сторону и высоко взлетел, стукнулся больно головой, автомобиль же остановился, продолжая беспомощно работать мотором. Дал задний ход и убедился, что застрял основательно в болотной колдобине. Передние ко-

леса глубоко въелись в топь. По привычке русского человека Ваня сперва обругался скверным словом, потом вылез, почесал за ухом и вздохнул:

— Ах ты, Боже мой!

— Что случилось? Что? — с ужасом спрашивала Зиночка.

— Да не бойся ты! Просто в лужу сели...

Осмотрел автомобиль, закурил и стал блуждать вокруг взорами. Усмотрел ползущий по лугам воз сена. Ваня перерезал ему путь, дождался и вступил в переговоры. Подвел мужика к автомобилю. Мужик давно уже заметил ехавшую чертову машину и теперь с изумленным любопытством ее разглядывал. Посмеивался одними хитренькими глазками и говорил:

— Выходит, барин, что моя лошадка сподручнее. Тише едешь — дальше будешь. А чем это она, машина то есть, кричит? Глотка-то больно у ней здоровая!

— Выпряги свою лошадь, зачалим веревкой и выволочем!

— Разя моя лошаденка сладит с такой тягой! Ты возьми сытых барских лошадей, а

моя... Пожалеть надо: цельный день в работе, а овса не видит...

— Я тебе заплачу.

Мужик насмешливо оглядел страшный костюм барина, покачал головой и пошел прочь, к возу, хихикая себе в бороденку.

Должно быть, с горы жители Вязовки тоже увидали, что ехавший в карете без лошадей барин увяз. С горы бежали в луга стайки мальчишек и девчонок, за ними медленно, не торопясь, спускались взрослые. Ребятишки радостно кричали и махали руками взрослым:

— Увяз! Увяз!

Ребятишки не решались приблизиться к похожему на черта барину, поджидая взрослых. А взрослые остановили ползшего им навстречу мужика с возом сена, и до Вани долетали обрывки их разговора:

— Крепко сидит! Пуцай еще постоит, — засосет его поглубже!

— Помощи просил...

Смех, взмахи рук, ругань. Мужик пополз в гору, мужики и бабы пошли к увязшему барину. Скоро вокруг него сползлось много жите-

лей. Весело гуторили, бросали шуточки, острили над барином с барыней и над чертовой машиной:

— Хм! Вот ведь каку штуку сделали! Без лошадей! Сел и поехал...

— А много ли дашь, ежели выволочем?

— Пять рублей дам.

— Что больно скуписься? Поди, твоя чертова кобыла много тысяч стоит?

Притихли, стали совещаться вполголоса. Кто-то бросил:

— Пуцай посидит. Нам торопиться некуда.

— Ну, черт с вами, десять целковых!

Опять совещание:

— Вот что, барин, четвертную[496] дашь, и по рукам!

— Ах, жулики! — пропищала Зиночка, выглядывавшая печально из автомобиля.

— Зачем жулики, барыня? Мы не неволим. Сиди, коли так, да молись Богу: может, ангелов пошлет вызволить тебя с барином... Они, ангелы, задарма для вас поработают, а нам уж надоело на вас батрачить-то...

— Черт с вами! Дам четвертную...

Толпа оживилась. Отделившись, в гору по-

бежали, сверкая голыми пятками, двое подростков, им вдогонку кричала бабенка:

— Обеих лошадей ведите!

— Вожжи! Вожжи!

— Оглоблю, Мишанька, захвати!

Минут через десять-пятнадцать с горы галопом скакали на лошадях парнишки, а за ними старик волок оглоблю.

Началась работа. Подперли оглоблей зад автомобиля и, зачалив вожжами к лошадям, с криками, визгами и свистом, помогая лошадям, выволокли машину из колдобины. Ваня отдал четвертную, но долго еще возился около автомобиля, возбуждая жизнедеятельность мотора. Наконец раздался сердитый взрыв, испугавший всех, малых и взрослых, и мотор ритмически заворчал. Толпа с визгами и криками попятилась в стороны и дружно захохотала, приправляя смех сквернословием. Зиночка залезла внутрь. Ваня занял шоферское место, испугал зевак еще раз ревом гудка, и автомобиль покатился. Вдогонку полетел бабий голос:

— Почаще, барин, тут езд!

Только поздним вечером добрались Ваня с

Зиной до Никудышевки: ехали тихо, осторожно, с остановками и предварительными исследованиями пути.

Конечно, и в Никудышевке произошел среди жителей переполох. Около барского дома, как на базаре. Всякому охота поближе на чертову машину поглядеть. Лезут во двор. Пришлось запереть ворота.

В отчем доме — восторг. Ведь и здесь большинство никогда еще не видело этой безлошадной кареты. Только старик Никита полон всяких сомнений и проявляет враждебность к этому чуду:

— Как же это можно, чтобы человеку без лошади?

— А вот приехали! И кормить не надо. Никакой заботушки!

— Кормить! А как же: ведь навозу от нее нету? Лошадь кормишь, так от навозу-то ее не только человек, а и птица по дорогам питается...

Зиной в тот же вечер поехала в Замуравку и там рассказала о всех пережитых ужасах путешествия, причем все это невольно преувеличила, и получилось из истории со

свиньей прямо разбойничье нападение мужиков и баб, чуть только не убийство, а из истории под Вязовкой — издевательство и вымогательство.

— Вот они, освободительные реформы! — озабоченно произнес генерал Замураев и посоветовал. — Не учить, а воспитывать народ надо. Побольше стражников и поменьше школ! Того и гляди, что и у нас начнут разбойничать, как в других губерниях. Надо предупредить: пороть хулиганов до беспорядков, а не после!..

Генерал был сильно взволнован и возмущен бездействием властей.

Долго писал и в ночь отправил с нарочным письмо к становому и телеграмму в Алатырь — к исправнику.

Надо сказать, что происшествие в Вязовке, носившее комичный характер, имело продолжение и драматический конец. Вот что там случилось после того, как выволоченный из болота барин с барыней скрылись с горизонта.

На лужке около церкви собрался мирской сход, и начали решать, куда употребить полу-

ченные с выволоченного барина двадцать пять рублей. Было несколько благих предложений со стороны стариков, но каждое отвергалось большинством. Двое собственников лошадей, которыми выволакивали чертову машину, все время крикливо доказывали, что четвертная принадлежит не миру, а только им двоим. И как только они начинали доказывать, поднимался такой ропот, что — вот-вот их начнут лупить всем миром.

— Кабы не болотце, не увяз бы он, барин-то! А болотце чье? Ваше? Вы, что ли, рыли эту колдобину? От Бога она тут... Я эту колдобину мальчишкой знал.

— А чьи лошади выволакивали?

— Да что лошади! Кабы не болотце, так и лошади ни к чему. Все от Бога. Значит, эту четвертную надо поделить всем, чтобы никому не обидно!

Прикидывали, по скольку придется на душу:

— Если баб и робят считать — меньше двугривенного...

— На што баб и ребятишек считать?

Все перессорились и переругались до хри-

поты, пока какой-то местный финансист не внес предложения:

— Чтобы никому не обидно было — пропить ее, эту четвертную всем миром!

Все разногласия разом кончились.

— Четыре ведра водки, а остальные — на прянички девкам да ребятишкам!

— Вот это правильно!

— А Ивану с Мироном, как, значит, их лошади и выволакивали, стаканчика два-три не в счет.

— Вот это по-божьи!

Все остались довольны. Смеялись над баарином и над его чертовой кобылой и жалели об одном:

— Продешевили, братцы! Он и больше дал бы...

— Ну, что Бог даст, братцы... Может, опять увязнет!

Перепились не только все мужики, но и много баб. Мирон забыл, что уже получил лишних три стаканчика за лошадь, и начал требовать добавки, ругаться, что его обжулили. Ссора, драка... Пустой бутылкой по голове, и в результате — «мертвое тело» и общие про-

клятия барину: семья осиротела!

История со свиньей и мертвое тело осложнились новой историей: не успевшие ничего получить с барина за раздавленную им свинью собственники пришли к земскому начальнику Замураеву, а тот, знавший уже о нападении мужиков на автомобиль с сестрой, набил им морду и отправил на трое суток под арест.

Земский только собирался раскрыть виновников разбойного нападения, а они сами явились! На ловца, как говорится, и зверь бежит.

Приходили в Никудышевку две бабы, старуха и молодая, мать и жена убитого в драке Мирона. Но посаждаемые толпой любопытных ворота отчего дома оказались запертыми. Никого не пропускали. Там, за оградой, никому не было дела до плачущих по какой-то причине баб. А им казалось, что они осиротели по вине барина, который, по справкам, приехал сюда — вон и машина во дворе та самая стоит! — и надеялись, что виноватый барин пожалеет и заплатит сколь-нибудь за сиротство. «Ничего у них не добьешься! Человека разда-

вят, и то им ничего не будет!» — заметил кто-то в толпе, знавший уже об истории со свиной в Вязовке. Сироты выли, жаловались добрым людям, и, конечно, в мужицких и бабьих душах всплывали все обиды, действительные и воображаемые, которые копились там в течение многих лет. Про все вспоминали тут никудашевцы: и про суд над однопороденцами после убийства содержателя почтовой станции Егора Курносова, и про суд после холерного бунта.

— Сколько за их невинных в Сибирь угнали да по тюрьмам посадили, сколько народу осиротело, а вы захотели вознаграждение от них?! На том свету, видно, расплатимся...

Синев тут же болтается. Послушал разговоры, впутался:

— А вот в Херсонской да в Харьковской губернии не желает народ, чтобы на том свету с ними рассчитываться! Жгут их и грабят...

— Да что толку-то? Слыхали мы: стреляют и порют, сказывают...

— Всех, братец мой, не перестреляешь и не перепорешь! Нас сто миллионов, а их не больше тридцати тысяч. Правильный подсчет это-

му сделан...

V

Неведомо, по чьему велению, с раннего утра в день свадьбы появились конные стражники. Во всяком случае, это было сделано без ведома и желания Павла Николаевича неизвестными благожелателями. Это сильно взволновало и переконфузило Павла Николаевича, которому было стыдно перед будущим зятем и перед своими друзьями из передового лагеря.

— Что такое? Кажется, объявлена и у вас мобилизация? — не без иронии осведомился Адам Брониславович.

Павел Николаевич смущенно пояснил пожатием плеч, что для него это — полная и неприятная неожиданность:

— Вероятно, это ваш будущий родственник, предводитель дворянства и, к сожалению, мой тесть, генерал Замураев... распорядился.

Адам Брониславович сочувственно улыбнулся Павлу Николаевичу и сказал:

— Услужливый дурак опаснее врага! Эта дворянская мобилизация только ускорит от-

крытие военных действий...

— Вполне с вами согласен! В отдельности каждый мужик смирен и боится всякой чучелы, облеченной в форму, но когда мужик сбивается в стадо, в многоголовое, многорукое и многоногое чудовище, индивидуальный страх пропадает. Тут три стражника только смешат мужика. А между тем эти три дурака могут так раздражить и обозлить коллективного зверя, что потом и целая сотня их окажется бессильной...

Толпа вокруг барской усадьбы с каждым часом вырастала. Не одна Никудышевка, а множество окрестных деревень выслали сюда своих представителей. И барская свадьба, и чертова машина сгоняли любопытных со всех сторон.

Давно отвыкшему от деревни столичному жителю Адаму Брониславовичу приходило на ум, что это чернокожие дикари осаждают укрепленный лагерь европейцев. Это его и смешило, и смутно беспокоило. Особой воинственности эти дикари пока не проявляли, но кто мог поручиться за дикаря, за это «быдло»? Он был прав, когда предлагал отпраздновать

бракосочетание в Симбирске в небольшой избранной компании, а не в этой кунсткамере или, как выражается бабушка, зверинце.

Но кто себя чувствовал особенно неприятно, так это Павел Николаевич. Как гостеприимный хозяин, он должен был спрятать в карман все свои политические взгляды, симпатии и антипатии, с улыбочкой выслушивать всякую галиматью, которую пороли «бегемоты» обоего пола, и всегда держаться на какой-то пограничной линии компромисса, чтобы как в глазах друзей, так и во мнении врагов не уронить своего либерального достоинства, не загрязнить чистоты своих риз, но в то же время быть со всеми одинаково любезным.

Три стражника гарцевали на конях около ворот и ограды и покрикивали:

— Слезь с ограды! Здесь не балаган, где фокусы показывают!

Балаган не балаган, а все-таки за оградой столько всяких чудес происходит, столько занятного, странного и непонятного творится, что эти окрики не производят должного впечатления и его приходится время от времени

усиливать ударом нагайки вдоль спины озорников и хулиганов.

В толпе осаждающих всего довольно: и восхищения, и насмешки, и зависти, и осуждений, и злобного издевательства.

— Ты у меня поговори! За такие слова и арестовать можно!

Не боятся: гогочут и дразнят стражников замечаниями и восклицаниями, облакаемыми в красочную форму цветистого языка и приправленными скверной руганью по адресу и бар, и стражников...

Два совершенно различных мира, ни в чем не похожих друг на друга. Мир большой, мужицкий, смотрит на мир малый, господский, как мы смотрим в зоологическом саду на обезьян в больших железных клетках, где они кувыркаются, ищут блох, нянчат детей, играют... С таким же удивлением и острым любопытством смотрела толпа мужиков, баб, девок, парней и ребятишек через железную решетку ограды на барский дом и двор...

Как будто бы и на людей похожи, эти господа самые, а не люди!

«Военное положение» беспокоило только

Павла Николаевича, Адама Брониславовича и представителей «третьего элемента». Для всех прочих участие полиции лишь украшало торжественность события и вливало полное успокоение в душу. Для большинства полицейский кулак все еще казался несокрушимым средством всякого спокойствия и гражданской безопасности. Психологией толпы не занимались ни помещики, ни стражники, ни урядники.

Раз при казенном обмундировании выдается нагайка, значит, полагается ей действовать...

И действовали...

Действовали, когда Ваня повез невесту с шаферами и подругами на чертовой машине в замураевскую церковь. Толпа навалилась к воротам, и нельзя было ни пройти, ни проехать. Никакие уговоры и угрозы словесные не действовали. Что же прикажете делать?

День был праздничный, и потому барская свадьба превратилась в народное гульбище, в бесплатное зрелище. И Никудышевка, и Замураевка, и весь путь между ними кишел толпами народа...

По всем дорогам в Замураевку звенели колокольчики. Это съезжалась окрестная культурная интеллигенция: помещики с семьями, служилое сословие. Званные и незванные на свадьбу. Посмотреть на такое исключительное событие всем любопытно. Немудрено, что простой люд толпами двигался к церкви...

Так как в церковь пропускали только «чистую публику», а отбор ее делался стражниками, то, конечно, подлинный народ в церковь не попал и толпа роптала. Здесь происходило то же самое, что и в Никудышевке около ограды барского дома. Отгоняемые полицией от церковной ограды мужики, бабы и девки с парнями пребывали в буйно-веселом оппозиционном настроении к господам и их охранителям и вели себя неприлично и дерзко. Автомобиль с невестой, шаферами и девицами был встречен свистом и гиканьем, остротами и шуточками, от которых краска стыда вспыхивала на щеках девушек и бессильная злоба — в сердцах кавалеров.

Из храма неслась торжественная песнь в честь невесты: «Гряди, гряди, голубица моя!» [497], а Наташа поднималась на паперть хра-

ма с низко опущенной головой и со слезами в испуганных глазах...

Зато в церкви было тихо, красиво, торжественно и благоговейно. Венчали Наташу благочинный алатырского собора, знакомый нам отец Варсонофий с похожим на льва басыстым диаконом, пел прекрасный хор. Вечернее солнце врывалось в высокое боковое окно храма и огненным мечом как бы охраняло венцы на головах жениха с невестой. Голубой дым кадильный возносился к небесам и таял в прекрасных звуках хорового песнопения.

Все неприятное и оскорбительное сразу куда-то провалилось и исчезло. Слезинки еще не высохли на ресницах невесты, но радостное личико в флердоранже[498] было спокойно и прекрасно как никогда.

Но когда венчание кончилось и Ваня усаживал молодых в свою «чертову машину», пришлось снова пережить весьма неприятные минуты, а стражникам снова пришлось поработать нагайками.

Молодые вернулись домой первыми. С ними и маленький Женя с благословенной иконой. Ни бабушка, ни родители Наташи в

церкви не были: бабушка не могла покинуть своего командного поста, а родителям по церковному обряду присутствовать там не полагалось[499]. По намеченному заранее церемониалу бабушка спрятала молодых на антресолях, арестовала их до поры до времени. Бабушка нас с вами туда не пустит, а потому мы пока осмотрим брачные чертоги!

Огромный зал и отделенная от него колоннадой гостиная уставлены двумя рядами столов, сверкающих белоснежными скатертями, хрусталем и фарфором в полном вооружении для предстоящего чревоугодия. На стене транспарант из цветов с инициалами молодых. В соседней с залом комнате прячется оркестр музыкантов, выписанный из алатырского клуба. Есть дамская «секретная комната». На садовой веранде — чай и кофе. Веранда, терраса и парк украшены разноцветными китайскими фонариками для иллюминации. На Алёнкином пруду приготовлен фейерверк и бенгальские огни... Есть еще и специальный мужской буфет, под который Ваня обратил кабинет Павла Николаевича... Тут Ваня одержал победу над бабушкой. Она терпеть

не могла пьяных и всячески стесняла Ваню в его планах по части алкогольной широты. Долго она не разрешала этого специального буфета, который Ваня называл «мертвецкой». Ваня все-таки убедил бабушку не препятствовать:

— Я, бабушка, гарантирую, что пьяный уровень не поднимется выше 40 градусов.

— Да как же ты это сделаешь?

— А я, бабушка, устрою в бильярдной особый приемный покой «зеленого змия»... У кого из гостей температура поднялась выше 40 градусов, — карета скорой помощи: под ручки и пожалуйста в бильярдную впредь до падения температуры до надлежащего градуса!

— Боюсь, что тебя самого туда прежде всех и придется отправить!

Но вот у ворот барской ограды шум толпы, колокольчики, гарцующие стражники. Вереницами подъезжают гости на брачный пир...

VI

Отчий дом — как растревоженный улей — наполняется веселым оживленным говором, смехом радости, приветствиями, восклицаниями, говорком, напоминающим голубиное

воркование. Где-то застенчиво позванивают скрипочки. Суется выписанные из алатырского клуба лакеи в перчатках. Звенят детские голоса птичками...

В общем, пестро и не стильно. Не дворянская ассамблея былых лет, а действительно зверинец. Есть фраки, но есть и весьма поношенные пиджачки. Есть платья самого новейшего фасона, но есть и прошлого столетия. Есть дворянский мундир, но есть и поддевка с высокими сапогами. Немало лохматых и очкастых интеллигентов с застывшим на лице «политическим направлением», но не меньше и таких физиономий, которые напоминают Собакевичей и Маниловых, переряженных в современные костюмы.

Все спуталось в один клубок и скорее напоминало уездный бал после земского собрания, чем дворянский праздник, праздник «опоры царского трона».

Только бабушка да предводитель дворянства генерал Замураев имели какое-то тайное сходство с иронически посматривавшими на гостей портретами предков. Бабушка с напудренной головой, в старинной прическе, с ве-

личественными жестами и милостивой улыбкой. Генерал Замураев в дворянском мундире, бравый, решительный, орлом посматривающий на окружающих, крутящий жесткий подкрашенный ус с зеленоватым отблеском, громче всех говорящий и смеющийся раскатисто.

Около генерала группируется вся прочая «опора трона» в смешении с сельскими властями: тут исправник, становой, отец Варсонофий.

Около Павла Николаевича держится больше лохматый и очкастый интеллигент.

Сразу видно, что тут два магнита, притягивающих разношерстную публику. Только алатырский голова, купец Тыркин, да симбирский купец и землевладелец Яков Иванович Ананькин как-то лавировали между этими двумя магнитами: то тут, то там. Нейтралитет держат. И везде приемлются как единомышленники и друзья.

Есть и среди «опоры трона» двое таких: князя Енгалычев и Виноградов, дворяне, держащиеся весьма самостоятельно и с достоинством, без всякой умиленности перед генера-

лом Замураевым, которая замечается со стороны всех прочих дворян-помещиков. Князя Енгалычев и Виноградов самые богатые дворяне в Алатырском уезде. Первый имеет два винокуренных завода и гонит спирт для казенной монополии. Второй имеет суконную фабрику в компании с Ананькиным и берет подряды на поставку солдатского сукна.

Но вот бабушка сделала повелительный жест в пространство. Все стихло, и грянул туш: появились под руку выпущенные из-под ареста молодые... Оба страшно взволнованы и смущены. Бабушка обсыпает приготовленным хмелем молодых и целует их. Аплодисменты, многоголосое «ура» и взрывы оркестра сливаются в дружный вихрь звуков. Все уже поздравили молодых в церкви, но, следуя бабушкиному примеру, снова потянулись к молодым и заставили их еще раз подвергнуться этой долгой и скучной для них операции. Затем отец Варсонофий прочитал молитву, благословил столы, и гости начали рассаживаться по записочкам на приборах.

Эта сортировка гостей потребовала от Павла Николаевича напряжения всех его дипло-

матических способностей. В основу рассадки он принял свою мечту — парламент: устроил правую, левую и центр. Для полной изоляции сторон посадил между ними политических младенцев, не отличавших правой руки от левой[500]. И все почувствовали себя в более или менее привычном и приятном окружении.

Все гости были достаточно голодны и потому объединены еще и вкусными перспективами. Все мысли направлялись в одну сторону. Сразу родился подъем настроения, того особенного настроения, когда проголодавшиеся люди начинают напоминать виляющих хвостами собак, ожидающих около миски, когда хозяин скажет:

— Пиль![501]

Лакеи в перчатках сомнительной чистоты уже топчутся за спинами гостей и наполняют тарелки таким ароматным дымящимся борщом, что в носу свербит и в горле щекочет... А подрумяненные маленькие ватрушечки! — ум, как говорится, отъешь!

В демократическом кругу замешательство: возьмешь одну ватрушечку, а рука тянется за

другой. Может быть, неудобно взять две сразу? Не принято? Пока происходит колебание души, поднос с ватрушечками уплывает. Приходится соображать с быстротой молнии. И затем — темп вкушения борща: рано съешь, неудобно как-то, опоздаешь — еще хуже. Многие не блистают познаниями по части правильного употребления инструментов столового оборудования: путаются в ножах и ножичках, в салфетках, в тарелках и тарелочках...

Больно уж накрутила тут бабушка! Похожий на льва диакон совершенно спутался и растерялся: повертел маленькую салфеточку и без всякого заднего намерения положил ее вместо носового платка в свой глубокий карман. Зато на правой, где бабушка, генерал Замураев, князь Енгальчев и Виноградов, кушают как по нотам, непринужденно, самостоятельно, без оглядки на соседей и ухитряются еще приятными разговорами перекидываться...

После борща — огромные сурские стерляди на блюдах! А сурская стерлядь к царскому столу подается, славится своим исключитель-

НЫМ ВКУСОМ...

— А стерлядь-то, господа, плавает! По рюмочке надо! — произносит Ананькин.

Водочка подбавляет смелости и темперамента. В воздухе как бы висит уже потребность высказаться. Как будто бы к тому же обязывают и звуки настраиваемых где-то скрипок. Попискивают застенчиво скрипочки, пробуя свою настроенность... Стерлядь съедена. Скрипочки смелее струнами позванивают. Все чувствуют, что пора внимание на молодых перенести... Уже лакеи на подносах бокалы с шампанским из-за кулис тащат...

Сразу три смелых оказалось: почти одновременно встали купец Тыркин, купец Ананькин и чуть попозднее сам генерал Замураев. Как только купцы заметили конкурента, моментально опустили с жестом извинения. Все притихли, и лишь на левом фланге неприлично бунчали, оказывая сим как бы недостаточную почтительность к предводителю дворянства. Но когда возмущенный этим исправник громко постучал ножом по своей тарелке, притихла и левая. Все ожидали тоста в честь молодых. Уже раздали

бокалы с искрящимся шампанским...

И как же ловко подсадил генерал всех либералов и интеллигентов, разных статистиков этих, агрономов, земских врачей и прочую крамольную братию!

— Господа! По древнерусскому обычаю, как истинно верноподданные Государя императора, мы поднимем и осушим первый бокал за первого дворянина Земли Русской, за здоровье Его Величества и всей августейшей семьи... Ура!

Для левого фланга это было не совсем вкусным сюрпризом, но что поделаешь? Пришлось засвидетельствовать свою верноподданность.

Тут вышло маленькое недоразумение: не разобравшись в тосте, оркестр заиграл туш, и этим воспользовались некоторые из упрямых крамольников: выпив глоточек, поставили бокалы и сели. Исправник поправил ошибку, и оркестр, оборвав туш, заиграл «Боже, царя храни!»

Тут уж опять ничего не поделаешь: хочешь не хочешь, а стой, пока музыканты трижды не проиграют гимна.

Генерал самовольно захватил командование:

— А теперь я предлагаю выпить заздравный кубок за княгиню и князя, как называет русский народ «молодых» в своих свадебных песнях!..

Уже собирались закричать «ура», но генерал сделал жест молчания и продолжал:

— Прежде чем осушить эти заздравные кубки, выскажем наше напутствие счастливым супругам... Молодая княгиня, Наталия Павловна! Волею Божией вашим избранником на жизненном пути оказался витязь не русского, а польского дворянства. Мы принимаем это как залог окончания всяких счетов между двумя народами[502] и дружной совместной работы обоих на процветание Великой Российской империи и во славу нашему единому государю! Мы глубоко надеемся, что вы, Наталия Павловна, отдав руку и сердце своему избраннику, своей прекрасной душой сумеете остаться русской женщиной, одной из тех неувядаемых роз русского столбового дворянства, которых воспел наш бессмертный поэт-дворянин Александр Сергеевич

Пушкин! Обращаясь к вам, счастливый избраннык, мы, благословляя ваше счастье и радуясь ему, вручаем вам прекрасную подругу жизни в полной уверенности, что вы будете, как зеницу ока своего, беречь эту чудесную розу симбирского дворянства... За здоровье молодых! Ур-ра!

Хотя эта бестактная речь генерала Замурева возмутила весь левый фланг, многих из «центра» и, конечно, больше всех — Адама Брониславовича и Павла Николаевича, но что поделаешь? Бокал поднят за счастье молодых...

И вот опять — хочешь не хочешь, а кричи «ура» и таким образом как бы расписывайся под манифестом «зубров» и «бегемотов»...

Не успели музыканты кончить туш, как генерал произнес третий тост в честь бабушки Анны Михайловны как хранительницы всех традиций русского столбового дворянства и особенную гордость симбирского!

И снова — хочешь не хочешь, а кричи «ура» и, подходя с бокалом к величественной старухе, прикладывайся к ее ручке!

Бабушка растрогалась от избытка гордо-

сти, радости, благодарности за признание ее заслуг перед царем и отечеством. Она расплакалась и, чтобы не смущать общего веселья, извинилась и вышла, опираясь на руку председателя дворянства, из зала на свежий ветерок, на веранду. Трудно передать состояние душ левого лагеря. Удар за ударом и как бы полное отступление в молчании. Кто-то должен взять команду и нарушить позорное молчание! Нужен ответ, достойная отповедь «зубрам» и «бегемотам» Его Величества. От оскорбления и бессильной злости на левом фланге лица подергиваются гримасой негодования и глаза ищут отмщения со стороны Адама Брониславовича и Павла Николаевича. Их лица тоже хмуры, жесты порывисты, во рту у них пересохло, языки прыгают. Но Адам Брониславович, как лицо чествуемое, не может на заздравный тост ответить толком... Да и все другие, как гости, чувствуют себя связанными по рукам и ногам. Одна надежда на Павла Николаевича. Вопросительно и поощрительно обращаются на него взоры всех друзей, точно молят о помощи в несчастий...

Павел Николаевич отлично все понимает, незаметно кивком головы дает понять оскорбленным, что те получают компенсацию...

И действительно, когда бабушка исчезла с горизонта, а лакеи стали разносить ананасы в шампанском, Павел Николаевич встал и постучал вилкой о звонкую хрустальную вазу. Левый фланг вздрогнул и застыл в приятном ожидании. Адам Брониславович потупил глаза.

— Господа! Теперь, когда все уже сказано и мне никаких пожеланий для молодых ораторами не оставлено, когда все съедено и остались только ананасы в шампанском, — разрешите и мне, отцу новобрачной, все-таки, хотя бы и перед ананасами, сказать маленькое слово!

— Просим! Просим!

— Если скажу что-нибудь не в тоне общей торжественности, вы закусите ананасами в шампанском и впечатление от неудачного слова изгладится!

Все во всех лагерях весело засмеялись, а «зубры» и «бегемоты» пребывали в полной

беспечности, не чувствуя, что готовится удар...

— Так вот, господа! Как-никак, а я все-таки родитель. Ораторы совсем забыли об этом и говорили: «Мы отдаем, мы вручаем» — это про Наташу, мою дочку! Бывали в старину «дочери полка», но «дочерей целого сословия», кажется, история наша не отметила. Простите меня великодушно, но никакому коллективному родителю я своего родительского места уступить не могу!

И снова веселый хохот. Хохочут уже и «зубры», и «бегемоты» с супругами.

— Один из ораторов весьма поэтично назвал мою дочь «розой симбирского столбового дворянства» и посоветовал молодому мужу хранить эту розу...

На правом фланге насторожились.

— Я, как отец этой розы, чувствительно тронут и польщен сравнением, но жизнь состоит не из одной поэзии, а с огромной примесью прозы, от которой никуда не спрячешься... Вы говорите, дворянская роза? Я не профессор ботаники и не садовод. Но знаю, что розы выращиваются на жирном... навозе.

Для дворянских роз был нужен навоз, которым являлся закрепощенный в рабство народ!

Сразу сделалось тихо, напряженно... В тишине с правого фланга раздался выкрик:

— А пушкинская Татьяна? Тургеневская Лиза?

На мгновение Павел Николаевич и все его друзья немного опешили. В самом деле, ведь Татьяна и Лиза — чисто дворянские розы! Павел Николаевич развел руками:

— Я отдаю дань восхищения этим дворянским розам, так искусно и художественно засушенным и переданным нам художниками нашей классической литературы. Но, господа, не течет река обратно. Не одни такие розы росли на крепостном навозе. Те же мастера художественного слова вместе с такими редкими розами, засушили нам Скалозубов, Маниловых, Иудушек и прочее, и прочее. Наталья Павловна, как и вообще наши дети, родилась и воспитывалась в ту пору, когда мы, дворяне, должны были согласиться с императором Александром II, что раб, служивший для нашего благополучия, не навоз, а чело-

век!

Весь левый фланг и центр загремел взрывом рукоплесканий.

— Слишком дорого обошлись и государству, и народу «дворянские розы», и я горд, что моя роза выросла на другой почве, совсем не на дворянской! И вот, обращаясь к своему зятю, я скажу: я отдаю вам не дворянскую розу, а живого свободного и прекрасного человека! И отдаю не польскому витязю, а тоже свободному человеку. Надеюсь и верю, что оба вы прежде всего будете помнить и гордиться не тем, что вы носите звание дворян, а тем, что носите высокое звание человека, созданного по образу и подобию Божьему! В этом сила и крепость и вашего личного союза, и братского содружества двух свободных славянских народов! Предлагаю еще один за здравный кубок за счастливых свободных людей! Ура!

Раскаты ура, рукоплесканий, музыки, звона бокалов...

Что подделаешь? Теперь и «зубрам» с «бегемотами» пришлось поднять бокал!

Правда, они подняли его без особенной ра-

дости и не кричали, но крику было больше чем достаточно. И почему-то особенно радовались Ананькин и Тыркин. Забыли про молодых и вереницами тянулись к Павлу Николаевичу, чтобы пожать тайно и крепко руку за такое блестящее отмщение...

Докушали ананасы в шампанском, и брачные столы начали принимать хаотический характер боевого поля, где только что кончилось сражение...

Все снова спутались в общей сумятице. Одни потянулись на веранду и в парк, другие — в «буфет-пьянку», часть дам — в свою секретную комнату... Точно забыли про молодых: у всех свои дела и замыслы. Впрочем, их уже не было: они устали, переволновались и скрылись на антресолях от друзей и врагов...

Когда стемнело, отчий дом превратился в волшебный замок, полный всяких чудес: танцы под оркестр, пение прекрасного хора, иллюминация в парке, бенгальские огни, фейерверки...

Всю ночь барский дом был осажден изумленным чудесами народом, для которого этот дом превратился как бы в сказочный замок

волшебника Черномора...

Нехорошо оно выносить сор из избы, но что поделаешь? Летописец обязан заносить на страницы своей летописи всякие происшествия и события своего времени.

Ночью в Ванином «буфете-пьянке» произошел крупный скандал с мордобитием.

Как и предсказывала бабушка, Ваня напился первым и не мог уже наблюдать за повышением температуры и градуса гостей. Поэтому карета скорой помощи перестала работать и в буфете скопился горючий материал.

А как и что случилось, читатель узнает в следующей главе.

VII

Уже во время концертного отделения в освобожденном от браных столов зале было заметно, что многие гости мужского пола достигли значительного градуса: громко разговаривали, подпевали выступающим солистам, прерывали их преждевременными аплодисментами. Свершилось и предсказание бабушки: Ваня Ананькин напился прежде всех прочих и, самовольно захватив роль конферансье, начал занимать публику свои-

ми интермедиями, хотя и остроумными, но часто весьма нескромными, приводившими в восторг подвыпивших мужчин и заставлявших смущаться и краснеть дам и девиц. Когда программа концерта была закончена, Ваня поднялся на эстраду и начал декламировать неповинуящимся языком:

Ночь!., успели мы всем насладиться...

Что ж нам делать? Не... не хочется спать.

Мы теперь бы готовы молиться...

Тут Ваня глупо улыбнулся и кончил экспромтом:

*Да девицы хотят танцевать!
— Музыка! Вальс!*

И начался бал. Танцевала больше молодежь, а солидные гости либо играли в карты в гостиной и на веранде, либо твердо отсиживались в Ваниной «мертвецкой», набирая градус и толкуя о различных событиях и вопросах государственной важности.

Около полуночи бал оборвался и публика

хлынула в парк, похожий теперь на сады волшебницы Альцины[503]. Разноцветные китайские фонарики, гирляндами развешенные по аллеям, смоляные факелы, бенгальские огни, снующая парочками публика, смешки и вскрики в густых зарослях, смена освещения то красного, то синего, то зеленого, взвивающиеся и рассыпающиеся разноцветными звездочками ракеты в казавшихся теперь черными небесах — все это действительно напоминало былые дворянские ассамблеи, еще никогда не виданные современными жителями деревни. Никудышевцы не ложились спать и висли на заборах и ограде парка:

— Как в раю!

Дом опустел. Пребывал в хаосе безначалия. Молодые после бала скрылись в приготовленном для них левом флигеле и больше не появлялись. Бабушка переутомилась от хлопот и волнений — у нее началась обычная мигрень, и она залегла, как медведь в берлогу, в своей комнате на антресолях. Тетя Маша бродила, как сонная муха осенью. Некому стало распоряжаться, и отчий дом был предоставлен всяким случайностям. Как бы капитулировав пе-

ред гостями-завоевателями, Павел Николаевич давно уже перестал разыгрывать роль гостеприимного хозяина и втянулся в бесконечный «винт» с правыми.

Центром жизни и оживления сделался в доме Ванин «буфет-пьянка». Хотя там плотно засел «третий земский элемент», но время от времени туда заглядывали и картежники из правого лагеря, чтобы освежиться и промочить глотку.

Вот там-то и случилось...

В былые времена весь третий элемент земства состоял из народнической интеллигенции. Все земские врачи, агрономы, учителя, фельдшеры, техники — все были народниками, если не с революционным, то оппозиционным настроением к правительству и его властям. Теперь в этом левом земском лагере, по-прежнему революционно настроенном, завелись интеллигенты новой марксистской идеологии. Конечно, между интеллигентами старой и новой веры, как всюду в центрах, так и здесь, в глухой провинции, шла непрерывная словесная распря. Даже когда два таких идеологических врага сидели молча за

одной работой, они напоминали два электрических провода с положительным и отрицательным электричеством. Стоило только их сблизить, чтобы получился удар и искра.

Все было тихо и мирно. Два статистика, агроном, земский страховой агент, земский врач, секретарь земской управы, знакомый нам Елевферий Крестовоздвиженский, сперва вспоминали о своей младости и революционных заслугах, потом пели хором студенческие революционные песни и казались друзьями и единомышленниками. Но вот в буфет вошли купец Ананькин под ручку с князем Енгальчевым и за ними следом генерал Замураев под ручку с исправником, продолжая начатые раньше разговоры. Ваня, весьма комично разыгрывавший роль буфетчика, налил для них водки, но генерал поморщился и сказал:

— Ты знаешь, что я пью только коньяк! Дай две коньяку!

— Ну а мы с тобой, князь, царской монопольной, потому что мы патриоты! — пошутил купец Ананькин и предложил партнеру выпить за министра финансов Витте.

— Господа, — обратился купец Ананькин к

генералу с исправником, — выпьем все за Сергея Юльевича!

Князь Енгалычев и Яков Иванович протянули рюмки, чтобы чокнуться, но генерал Замураев отстранил свою рюмку и отрицательно качнул головой:

— Не могу-с!

Исправник остался в молчаливой неподвижности.

— Это почему же так? — обиженно спросил растерявшийся Яков Иванович, оглядывая публику ищущим сочувствия взором.

Генерал не ответил и выпил в одиночку. Исправник остался с рюмкой. Яков Иванович к нему:

— Как же это исправнику не выпить за здоровье министра? Чай, одному царю служить? — с искренней наивностью спросил Яков Иванович.

Исправник пожал плечом и чокнулся с Яковым Ивановичем, чокнулся как-то виновато. Вся левая публика дружно захохотала:

— Браво, Яков Иваныч!

Генерал почему-то обиделся и стал бочком пролезать через толпу к выходной двери. На

пороге обернулся и крикнул Якову Ивановичу:

— Тут найдется очень много желающих выпить за министра Витте. Я не из их числа!
[504]

И скрылся.

Генерал поступил честно и прямолинейно: он считал министра Витте тайным революционером, тайным другом всей этой интеллигенции и врагом дворянства. Исправник думал так же, но, как представитель власти, вынужден был выпить за Витте.

Вот этот комический эпизод и послужил началом острых споров и столкновений, окончившихся мордобитием.

Исправник поспешил удрать следом за генералом, а Яков Иванович с князем Енгальчевым остались и приняли участие в спорах...

Пословица говорит: что у трезвого на уме, то у пьяного на языке. И вот в неожиданной словесной битве, закипевшей около имени Витте, как в маленьком осколке зеркала, отразился весь хаос в умах и душах культурных людей, который царил теперь во всей взбаламученной России. Правда, это отражение по-

лучило карикатурный облик, ибо воевали подвыпившие провинциальные представители всех классов, сословий и власти, но тем выпуклее и ярче предстал перед нами общий развал в умах и чувствах...

В поведении предводителя дворянства генерала Замураева мы узрели «праздник на дворянской улице» и гордое сознание своего государственного значения со стороны «опоры трона».

В поведении исправника, вошедшего под ручку с предводителем дворянства и с пугливым запозданием выпившего за министра Витте рюмку водки, — полную растерянность власти, вынужденной раскланиваться как с «опорой трона», так и с ненавистным ей «красным министром».

В поведении Якова Ивановича — «праздник на улице торговли и промышленности», так расцветшей благодаря министру Витте.

В поведении князя Енгалычева, вошедшего под ручку с Ананькиным, — двусмысленное положение той части «опоры трона», которая, так сказать, уподоблялась тому ласковому теленку, которому удастся сосать двух

маток: Дворянский банк и винную монополию.

В поведении интеллигенции — полную идеологическую разруху и «смещение языков». Яков Иванович, как бы оскорбленный в своих лучших чувствах отказом генерала Замураева выпить за министра финансов, вздумал апеллировать ко всей публике:

— Как же так, господа? Кто поднял наши финансы и нашу промышленность до такой высоты? Кто обогатил государство? Витте! Теперь, скажем, сколько голодного народу около фабрик и заводов кормится? А кто сделал это? Витте! Все мы должны выпить за здоровье Сергея Юльевича!

Вот тут и началась словесная свалка...

Интеллигенты старой народнической веры прямо осатанели в своем озлоблении против Витте. Обвинения, одно другого страшнее, посыпались на голову ненавистного министра: спаивает и разоряет народ, искусственно насаждает капитализм и пролетариат, стремится разрушить крестьянскую земельную общину и превратить народ в батраков для помещиков и фабрикантов, государ-

ственный бюджет увеличивает на крови и поте мужика.

— Вы говорите, — поднял вашу промышленность и финансы! Именно вашу! Из мужицкого кармашка последний грош в ваш карман перекладывает. На кой черт ваши фабрики и заводы, когда мужику не только купить продукты промышленности не на что, а и жрать-то нечего! Благодетели!

Яков Иванович даже испугался: как бы не избили еще!

— Как же так? Какое же государство без промышленности?

— Мужик вон сахар наш только полижет, а немцы им свиней откармливают!

Совершенно неожиданно на защиту испугавшегося купца выступили интеллигенты новой марксистской веры, из тех, которые одобряли развитие капитализма и находили необходимым во имя приближения к социализму поскорее «выварить мужика в фабричном котле» и потому ничего не имели против обезземеливания крестьян. Они с таким пафосом защищали министра Витте, что можно было подумать, будто и Витте — тоже марк-

сист и их единомышленник.

И, защищая Витте, они обрушились на интеллигенцию старой веры с не меньшей злобой, чем те на Витте и его защитника Якова Ивановича...

Поднялся бестолковый шумный хаотический спор, спор — чтобы переспорить, в котором русские интеллигенты, защитники всяческих свобод, перестают считаться с чужим взглядом и убеждением, наносят друг другу словесные оскорбления, стараются поддеть друг друга острым обидным словцом, когда за средствами победы теряется уже и цель ее, когда люди забывают уже, о чем они, собственно, спорят...

Конечно, ни князь Енгальчев, ни Яков Иванович Ананькин ровно ничего не понимали. Князь лишь убедился, что генерал Замураев прав: революционеры горой стоят за Витте, а Яков Иванович взял князя под ручку и повлек к выходной двери.

— Свои собаки грызутся, чужая не приставай! — шепнул он на ухо князю. — Уйдешь от зла, как сказано, и сотворишь благо...[505]

Предчувствие не обмануло Якова Ивановича.

ча. Лишь только они вышли, как грызня перешла в драку. Кто-то кого-то оскорбил, назвав-ши «прихвостнем Витте», а тот ответил плюхой. Один статистик дал другому статистику принципиальную плюху, они начали драться, а их стали разнимать, и получилась общая свалка: подрались и разниматели.

Спасибо Ване. Он и пьян, да умен. Сразу сообразил, как остановить позорное происшествие. Он вспомнил, что за выходящим в сад окном есть поливная кишка. Выскочил в сад и пустил сильную струю воды в эту собачью схватку. И все сразу опомнились...

Конечно, при этом оказалось несколько невинно пострадавших. Дрались пятеро, а мокрыми оказались десять человек.

Вот тут и пригодился Ванин «приемный покой» и карета скорой помощи.

Весть о прискорбном происшествии быстро сделалась общим достоянием, но никто не придал этому особенного значения: мало ли что случается по пьяному делу! Все были заняты своим делом, преследовали свои интересы.

Впрочем, генерал Замураев с большим удо-

вольствием слушал рассказы очевидцев о мордобитии. Покручивая свой покрашенный зеленоватый ус, он говорил Павлу Николаевичу:

— Вот ваш будущий парламент!

Посмеивался и Яков Иванович:

— У нас на свадьбах горшки бьют, а у вас прямо по башкам!

Враги обсушились, протрезвились, примирились под воздействием Павла Николаевича между собой, и все пошло своим порядком...

На другой день проводили молодых в заграничное путешествие. Бабушка захворала, гости начали разъезжаться. Остались только родственники и друзья, которые долго еще не могли разорваться.

Опустела белая девичья комнатка на антресолях. Бабушка каждый день заходила туда, присаживалась, вздыхала и отирала платочком слезы...

— Отлетела моя голубка!

VIII

«Ох, тяжела ты, шапка Мономаха!..»

Особенно тяжела, когда самодержец не обладает ни силой воли, ни мудростью змия, ни

хитростью лисы, ни предвидением государственного вождя и пребывает в вечном колебании, сомнениях, нерешительности, заставляющих его не верить самому себе и собственному могуществу и искать опоры в окружающих советниках. И как верить этим советникам, если не веришь самому себе? Если сомневаешься даже в собственном выборе?

Молодой царь получил в наследство от отца двух советников: Победоносцева и Витте. Оба с недюжинным умом и государственными способностями.

Если бы молодой царь обладал необходимыми для самодержца талантами, он умел бы, пользуясь советами этих двух мудрецов, взаимно отрицающих друг друга, найти свой собственный путь и утверждать свою самодержавную волю. Но такими талантами, при наличии всяческих человеческих добродетелей, молодой царь не обладал...

И самодержавный скипетр выпал из его рук и сделался игрушкой придворных партий, придворных льстецов и карьеристов, дворянской камарильи, прикрывшихся щи-

том патриотизма и верноподданничества аферистов. Два полученных в наследство от отца мудреца, Победоносцев и Витте, ценность которых в глазах молодого царя была уже взвешена в прошлое славное царствование, давали совершенно различные несовместимые советы. Значит, кто-то из двух мудрецов неправ, вводит в ошибку и заблуждение, кто-то из двух толкает на ложный шаг, может быть, сам того не ведая, а может быть, и с каким-нибудь умыслом... Душа царя, как вода в взбаламученном источнике, темнеет... А в мутной воде так удобно ловить рыбку! А рыбаков таких вокруг трона великое множество...

Всякому овощу свое время. Вероятно, и Победоносцев был когда-то весьма нужным и полезным государственным человеком. Но это время уже давно прошло. Победоносцев уже пережил самого себя, напоминал государственного старьевщика, государственного Плюшкина, собирающего и хранящего всю отжитую рухлядь прошлого столетия. Историки называли его «злым гением России». А между тем этот живой покойник не терял

своего влияния на царя, его решения и поступки. В побуждениях своих, однако, этот первейший из «бегемотов» Его Величества был всегда чист и искренен и тем сильнее действовал своими советами на царя. «Золотой век» России для этого старца был в прошлом, и туда он упрямо направлял государственный корабль. Но колесо истории не вертится в обратную сторону, и этот «золотой век» Победоносцева и его ставленников был такой же утопией, как «социалистический рай» революционеров.

Другой царский советник, Витте, был чужд всяких утопий, как крайне правых, так и крайне левых. Это был человек большого государственного размаха и прозрения, человек европейской культуры. Как человек, он, конечно, был подвержен всем человеческим слабостям, и нет ничего мудреного, если ему, одинокому в душной придворной атмосфере из льстецов и карьеристов, нередко и самому приходилось в борьбе с ними прибегать к лисей хитрости, менять «маски», двуличничать, чтобы не слопали враги, чтобы не утратить необходимого ему влияния на царя, что-

бы если не прямо, то обходными путями вывести государственный корабль в открытое европейское плавание...

Друзей у него не было, а врагов — много, и надо удивляться, как при всех этих неблагоприятных для государственного творчества условиях этот умный человек так долго оставался непобедимым и не терял ни своего влияния на подозрительного царя, ни своего государственного значения...

Враги добились того, что царь охладел к нему, но обойтись без него он все-таки не мог: царь инстинктивно угадывал, что как бы там ни было, а все-таки этот подозрительный министр умнее всех его окружающих верноподанных!..

Поэтому нет ничего удивительного в том, что, как только революционный подъем в центрах и волна крестьянских бунтов, разливающихся по всему югу, стали снова угрожать государственному спокойствию и порядку, царь вспомнил письмо Витте о роли и значении крестьянского сословия в мужицком царстве и сделал Витте председателем «Особого совещания о нуждах сельскохозяйствен-

ной промышленности», в программу которого должен был войти и «крестьянский вопрос»...

Это было огромной государственной победой министра Витте.

Весть об этой победе с быстротой молнии облетела всю Россию, взволновала все классы и сословия, всю интеллигенцию и лицом к лицу поставила закоренелых врагов: ликующих либералов и омраченных консерваторов, передовую интеллигенцию из дворян и дворянскую «опору трона»...

В задачу Витте вовсе не входило тайных желаний угодить либеральной партии или подпаковать дворянской. Но вышло так, что он перенес праздник с дворянской улицы на широкую интеллигентскую. Передовые земцы особенно торжествовали и простили Витте его грех перед земским самоуправлением: его доклад царю о несовместимости самоуправления с самодержавием. Дворянская камарилья и ее ставленники с пеной бешенства на устах произносили имя Витте.

К счастью Витте, «мужик» словно почувствовал, что «господа» собираются решать его

судьбы, и снова заговорил на своем антигосударственном языке. Едва успели сорганизоваться губернские и уездные комитеты «Особого совещания», как хлынула новая, небывалая еще по своей высоте и силе волна мужицких волнений, беспорядков и бунтов. Саратовская, Пензенская, Симбирская, Тамбовская, Тверская, Псковская, Ковенская, Подольская, Киевская, Херсонская, Черниговская, Воронежская, Полтавская и Харьковская губернии одна за другой или целыми группами загорались пожаром восстаний и грозили слиться в страшный всеобщий «жестокий и бессмысленный бунт»...

Этот грозный мужицкий голос, с одной стороны, обессилил партию Победоносцева, а с другой стороны, явился большим козырем в руках либералов и передовой и революционной интеллигенции...

Предвидел ли Витте рискованность своего предприятия? Вероятно, предвидел и шел на риск. Иного выхода из экономического и политического тупика, в котором очутилось государство, не было. Приходилось идти в атаку и брать позиции врага с бою...

Работа местных комитетов началась под воздействием исключительного общественного возбуждения и нервозности. А тут вдруг оглушительное событие в Петербурге: 2 апреля министр внутренних дел Сипягин убит бывшим студентом Балмашевым, выполнившим приговор Боевой организации революционеров...

Балмашев приехал в помещение комитета министров под видом адъютанта великого князя Сергея Александровича и, дождавшись в вестибюле прибытия министра Сипягина и подавая ему пакет от великого князя, убил из револьвера министра...

Надо сказать правду: передовые крути столичного и провинциального общества не столько испугались этого убийства, сколько втайне возрадовались. Конец рабскому молчанию! Хорошее предостережение зарвавшейся камарилье! Нужно было видеть радостные блуждающие огоньки в глазах оппозиционной интеллигенции, жадно хватавшей и читавшей газеты с описанием подробностей этого политического убийства!

С хорошим настроением отдавали они по-

следний долг покойному министру, веселыми ногами шли на панихиду и на официальных собраниях говорили речи, полные лицемерного возмущения злодеянием преступника, и чтили память убитого вставанием и глубоким молчанием...

Радоваться, однако, было нечему: это политическое убийство дало большой козырь в руки побежденного было Победоносцева, придворным врагам Витте и всей «опоре трона». Они сумели запугать царя, освежить его подозрительность к реформатору и снова потянуть царя к попятному движению, к «золотому веку» невозвратного прошлого.

На место убитого Сипягина был назначен явный враг Витте, ставленник дворянской камарильи Плеве, а в августе того же года царь на маневрах под Курском отнял всякие надежды у передовой интеллигенции и крестьян на «Особое совещание», устроенное подозрительным министром финансов...

Царю представлялись депутации от дворян и крестьян многих бунтовавших губерний, и вот что сказал им царь.

Дворянам:

— Поместное дворянство составляет истинный оплот порядка и нравственной силы России, а потому его укрепление будет моей непрестанной заботой!

Крестьянам в лице волостных старшин и сельских старост:

— Весной во многих губерниях крестьяне разграбили помещичьи экономии. Виновные понесут заслуженное ими наказание, а начальство сумеет не допустить на будущее время подобных беспорядков. Напоминаю вам слова моего покойного батюшки: слушайте ваших предводителей дворянства и земских начальников и не верьте вздорным слухам! Помните, что люди богатеют не захватами чужого добра, а от честного труда, бережливости и своей жизни по заповедям Божиим. Передайте в точности, что я сказал, вашим односельчанам!

Губернские комитеты «Особого совещания» возглавились губернаторами, а уездные комитеты — предводителями дворянства.

Верховный председатель «Особого совещания» Витте особым письмом в комитеты предоставил им полный простор в изложе-

нии своих взглядов на современное положение сельского хозяйства.

Новый министр Плеве особым циркуляром губернаторам и предводителям дворянства приказал держаться в строго намеченных границах суждений. Сразу два диктатора. А где же самодержавие?

Два диктатора, оба облеченных доверием монарха. Два враждебных друг другу лагеря: один тянет Россию назад, другой — вперед...

С кем же ты, самодержавный монарх?

Пока царь на Курских маневрах[506] не ответил на этот вопрос вполне определенно, левый лагерь русской общественности пребывал в необычайно радостном возбуждении. Да и как было не радоваться, не торжествовать? Ведь Высочайше утвержденное «Особое совещание» с правом участия в нем широкого круга общественных и политических деятелей и с объявленной как бы свыше гарантией полной свободы мысли, слова и совести, а потому и с неприкосновенностью гражданской личности, знаменовало совершенно новую эру в государственном бытии! Запахло уже парламентом. Ведь это первый пролом в

стене самодержавия! Знамение грядущих освободительных реформ!

И как по тем же причинам было не прийти в тревожное возбуждение и замешательство правому лагерю, в котором пребывала «опора самодержавного трона»?

И вот забили в набат оба лагеря.

Тайные съезды и совещания. Депутации в Петербург, конечно, неофициального характера, с заднего хода во дворец...

Пока бунтовал «мужик» и пока бунтарский пожар не был залит обычными крутыми расправами, царь безмолвствовал. Осенью стало ясно, что опасность всероссийского мужицкого пожара миновала. Царь уверовал в министра Плеве и сказал, что все должно остаться по-прежнему...

Надежды левого лагеря потухли, но душа его пылала разожженным политическим огнем.

«Особое совещание» все же существует. У царя не оказалось смелости просто упразднить его. Циркулярное письмо верховного председателя Витте с предложением свободных и откровенных суждений остается в си-

ле.

Пусть лопнули надежды на новую эру, но остается возможность небывалой еще общественной демонстрации, возможность публично высказать свое гражданское негодование, бросить вызов слепому правительству слепого царя!

По самому характеру «Особого совещания» земства должны были сыграть в нем первенствующую роль. Ведь даже по новому, исковерканному Земскому положению вопросы о земском хозяйстве и промышленности в огромной мужицкой России предоставлены заботам и попечениям земского самоуправления. Земства стали готовиться к бою. По всей России происходили земские собрания, чтобы подать свой голос в местные комитеты «Особого совещания»: губернский — под председательством губернаторов и уездный — под председательством уездных предводителей дворянства.

И вот «малый мир», культурный, по всей России раскололся на два враждебных лагеря и вступил в ярый словесный бой. А «огромный мир», мужицкий, остался в стороне, по-

чесывал себе заднее место после генеральной порки и кротко говорил:

— Вы — наши отцы, мы — ваши дети... Делайте как знаете! Вам виднее оно...

Период бунтов сменился обычным молчанием, но то и дело ночные горизонты трепыхали заревом далеких пожаров...

IX

Свирепы зимы в средней России, но зато как прекрасны весна и осень! И трудно сказать, что лучше: весна или осень... Отчий дом красивее осенью.

Прощальная ласка осеннего солнца, кроткое и покорное умирание земли, разлитая в природе грусть разлуки как-то больше гармонируют со старой барской усадьбой, с отошедшим в невозвратность дворянским «ампиром» и со всеми этими развалинами прошлого, чем буйно-радостная весна...

Осень точно сон или смутное воспоминание: вот дом с облупившимися колоннами, с безносыми львами у ворот, окруженный вековым парком, наряженным в старинную парчу осенних цветов — желтых, зеленых, ярко-красных...

Все обвеяно особенной нежной грустью, лирикой заброшенного кладбища, где спят непробудным сном все герои «Евгения Онегина»...

В этом году была исключительно приветливая и ласковая осень. И как-то особенно нежно и кротко и грустил отчий дом, погрузившийся после вылета Наташи из родного гнездышка в тихое и мудрое созерцание и сам похожий на бабушку, которая вылезала на балкон, садилась в любимое кресло предков, грела свои старые кости и сладко грезила о прожитой жизни.

Все давно покинули отчий дом. Пошумели, как пролетная стая галок, и исчезли. Остались только бабушка и тетя Маша с мужем. Старик с двумя старухами. Они не нарушали общего лирического настроения картины, а, напротив, усиливали его. Точно призраки старого «Дворянского гнезда»...

Бабушка осталась отдохнуть после исключительных хлопот и забот, потраченных на свадьбу и «ассамблею», погрузить о Наташе, привести в порядок свои мысли и чувства, пожить с двумя единственными теперь у нее

верными друзьями: сестрицей, тетей Машей, и с Никитой.

Целую неделю бабушка отлеживалась и отсиживалась на веранде, где тетя Маша варила варенье на зиму. Маленько отдохнула и подумывала уже об отъезде в Алатырь, но как гром с неба — несчастье, особенно тяжелое после веселого брачного праздника: помер Никита...

Где стол был яств, там гроб стоит![507]

Для бабушки это было двойным ударом: Никиту бабушка любила особенной дворянской любовью, ибо в нем она чуяла старину патриархального золотого века с верными и преданными дворовыми слугами, а затем бабушка восприняла эту смерть не как простое несчастье, а как вещь дурное предзнаменование, чему способствовала внезапность Никитиной кончины.

Совсем недавно, дня три тому назад, бабушка видела его здоровым и даже отечески побранила его за то, что пахнуло от него водочкой:

— Опять выпил? И не стыдно тебе, старику, водку глотать?

— А ты погоди ругаться-то! Выслушай...

И Никита рассказал, что, когда он лошадей с водопоя вел (больше недели прошло уж), навстречу Ваня на своей «чертовой машине» ехал. Лошади испугались, рваться стали, и чалый мерин в брюхо его лягнул.

— Сперва очень больно было и вроде как лихоманка. А потом полегче. У меня, ваше сиятельство, одно лекарство: выпьешь и здоров! Значит, не то чтобы я для греха выпил, а для здоровья!

Посмеялась бабушка, и добрые отношения восстановились.

И вдруг приходит утром девка из кухни и говорит, подавая самовар:

— Помер Никита-то!..

— Что?

— Никита, говорю, помер. Никто и не слышал, как умирал...

— Как помер?

— Да так, помер.

Бабушка ушам не верила, а девке показалось, что бабушка рассердилась на Никиту.

— Без спроса люди-то помирают, барыня... С вечера жаловался, что внутри горит и в голове мутится, поохал да побряхтел, а потом выпил водки и притих... Пора лошадей поить, а он не встает... Стала будить куфарка, а он холодный. Напугалась до смерти...

Бабушка побледнела, как полотно стала, и в обморок. Девка перепугалась и побежала во флигель к тете Маше:

— И старая барыня померла!

Напугала Алякринских до смерти. Опрометью кинулись старики через двор. По дороге оба вспомнили об акушерке и пожалели, что нет ее под рукой. Дело, однако, обошлось без клизмы: нашатырный спирт и валерьянка привели бабушку в сознание...

Хлопот наделал больших Никита. Поп отказался хоронить без докторского свидетельства: он мстил бабушке за то, что венчать Наташу она пригласила не его, а алатырского благочинного, отца Варсонофия. Получилось из Никиты «мертвое тело», подлежащие вскрытию. Вскрытие делали в каретнике. Опять событие, взволновавшее всю Никудышевку.

Тихий ужас, казалось, повис над отчим домом. Бабушка, конечно, заболела, и Никиту хоронили тетя Маша с мужем. Бабушка дала сто рублей на похороны и спряталась.

И опять поползли по деревне злые слухи, обвиняющие господ в смерти Никиты:

— Все из-за них. Им что свинья, что мужик...

Дворовая девка пугала бабушку: покойник Никита, померший без покаяния, бродит по ночам по двору, навещает конюшню, заплетает хвосты лошадям и постукивает в окошко кухни:

— Вот лопни мои глазоньки — не вру, барыня! Вчерась ночью проснулась я и слышу, — кто-то потихоньку под окном постукивает. Кто там? — спрашиваю. Стихло. Только стала засыпать — опять: тук-тук, тук-тук. Я метнулась глазами-то на окно, а за ним Никита стоит и рукой меня приманивает... Как я завизжу — все проснулись...

— Приснилось тебе, дуре...

— Как это, барыня, приснилось, когда я глядела... А ночь-то была светлая, месяц на небе стоял... Как живого видела! Надо молеб-

ствие отслужить, барыня...

— И опять — дура: не молебствие, а панихиду!

— Ну панифиду, что ли... От конюшни-то, видишь, беспокоянная душенька его оторваться не может...

Неприятно и страшно стало бабушке по ночам. Не спалось, и чудилось, что кто-то в окошко где-то внизу постукивает. В голову лезли воспоминания о всех родных покойниках, потому что вся жизнь, от далекого детства до старости, в этих воспоминаниях была связана теперь только с покойниками!..

Вот и Никиты не стало! Точно последняя ниточка с прошлым порвалась...

— Подай, Господи, в мире и покаянии скончати живот свой... и о добром ответе на страшном судилище Твоем!..

Чуялся неизбежный «конец» бабушке, более страшный и пугающий, чем сама смерть. Предки помирали спокойно, в крепкой уверенности, что земной дом их передается в надежные руки, что и после смерти они будут жить в потомках своих. Этакое родовое бессмертие и ненарушимость бытия земного, по-

рядка всякого ощущалась. Все дела по хозяйству устроены, завещанием закреплены на веки веков, грехи покаянием очищены — значит, можно спокойно умереть. Теперь не так... Неизвестно, что будет и случится впереди... Точно вся земля и все люди в тревоге ждут чего-то, конца какого-то...

А тут еще изредка заезжал к бабушке генерал Замураев и, точно зловещий ворон, каркал прямо в душу:

— Ну и времена! И чем все это кончится — одному Богу известно... — каркал этот зловещий ворон.

Как предводитель местного дворянства и председатель комитета «Особого совещания» генерал больше жил теперь в городе Алатыре, но изредка наезжал по хозяйственным делам в свое имение и тогда считал долгом проведать своего старого друга и единомышленника в лице бабушки...

И всякий раз он надолго расстраивал старуху, бередил все, даже поджившие уже, раны души ее.

Генерал всегда приезжал к бабушке как бы заряженным злободневными новостями и

происшествиями и разрешался от их бремени в Никудышевке. Старики Алякринские, тетя Маша и Иван Степанович, чувствовавшие себя теперь как бы на необитаемом острове и потому скучавшие, приползли из своего флигеля, чтобы узнать, что делается на белом свете. Хотя старики Алякринские, как шестидесятники, к «опоре трона» не принадлежали, но никогда генералу не перечили. Иван Степанович втайне думал: «Мели, Емеля, — твоя неделя», — но покорно слушал генерала и даже как бы поощрял молчаливыми киваниями головой. Генерал принимал это за единомыслие и потому с полной откровенностью за обедом или самоваром изливал перед слушателями все сокровенное своей души.

Это было уже после Курских маневров, во время которых царь так просто разрешил «крестьянский вопрос», а потому генерал, с одной стороны, был полон возмущения, а с другой — победоносной радости.

— Да, были хуже времена, но не было подлей! [508] — сказал поэт Некрасов. А что сказать про наши времена, когда крамола влезла в среду столбового дворянства и помогает жи-

дам и революционерам все вековые устои государства Российского подвергать колебанию? Это выйдет не особое совещание о нуждах сельскохозяйственной промышленности, а праздник жидов и революционеров! Хорошую ловушку для правительства устроил жидовский ставленник Витте!

— Разве он жид? — сочувственным тоном спрашивал Иван Степанович.

— Если даже сам он и числится по документам дворянином, но, скажите, кто не пролез в наше дворянство? Положительно пока установлено, что жена Витте[509] еврейского происхождения, и недаром этот Витте, как говорят, хлопочет о жидовском равноправии... И вы посмотрите, сколько этот жидовский ставленник собрал себе помощников среди дворянства, в земстве и, к нашему ужасу, даже среди администраторов... Вы думаете, что среди губернаторов и даже предводителей дворянства нет тайных друзей Витте? Имеются! Побывайте сейчас в алатырском клубе и послушайте! Правда, пока разговаривают у нас шепотом, но ни для кого не секрет, что либералы земства мечтают о передаче мужи-

кам помещичьей земли. Конечно, об этом хлопочут те дворяне, которые сами никакой земли не имеют... Они называют этот грабеж земельной реформой!

Генерал вскочил с места и взволнованно походил взад и вперед по комнатам, а после паузы решился огорчить Анну Михайловну:

— Должен сказать вам, глубокоуважаемая Анна Михайловна, что и мой зять, а ваш сын, потомственный дворянин из рода именитых князей Кудышевых, оказался в этом жидовском лагере...

— Да неужели ты говоришь правду?

— Шила в мешке, матушка Анна Михайловна, не утаишь. Мне известно, что такой доклад стряпают земцы при ближайшем участии Павла Николаевича и в вашем родовом алатырском доме...

Снова тяжелая пауза.

— Мы все боимся мужика, а враг-то опасный — среди нас же, дворян. Мужик что? Его выпорют, он и замолчит. А ведь таких не выпорешь: вся Европа закричит... Между прочим... Какая глупость! Слышали вы, что в Черниговской губернии мужики убили поме-

щика Владимирова и выпороли розгами князя Урусова?[510] Знаете, что в Рязанской губернии мужики ранили князя Гагарина и сожгли его усадьбу?

— Какие ужасы! — шептала Анна Михайловна и удивлялась, как же это допустили власти.

— Успокойтесь! Новый министр внутренних дел разрешил по-своему крестьянский вопрос: военной силой и всероссийской поркой. Сейчас везде притихли и только в Саратовской губернии еще беспокоят. Там давно гнездятся революционеры. Как клопы в щелях. Балмашев-то, убивший министра Сипягина, оттуда же...

Излив возмущение, генерал начинал успокаивать взволнованных слушателей:

— Бог не выдаст, Витте не съест! Государь на Курских маневрах всех поставил на свое место... Не так страшен черт, как его малюют либералы с революционерами. Плеве-то тоже не любит шутить. Он им покажет освободительные реформы! Пусть пошумят и поболтают — виднее будет, как наши конюшни почистить... Одно меня удивляет. Наш новый гу-

бернатор Ржевский[511]! Я запросил его о своих правах председателя: могу ли я своей единоличной властью зажимать рот революционным болтунам и снимать с очереди возмутительные доклады в полной надежде, что после Курских маневров встречу полную поддержку... И представьте себе мое удивление: получил напоминание, что назначенный волей Государя представитель «Особого совещания», министр финансов своим циркулярным письмом местным комитетам предоставил полный простор в изложении суждений о современном положении!

Впрочем, возможно, что это просто ловушка, оставленная министром Плеве для наших революционеров... Мышеловка, а в ней — кусочек сальца свиного... Ох, боюсь, матушка Анна Михайловна, я за своего зятя, а вашего сына, чтобы он не попался в эту мышеловку! Попробовал я с ним как-то остороженько, чисто из родственных соображений поговорить и дружеский совет подать — ничего, кроме неприятности, не вышло. Попробуйте вы, как мать, повлиять на него! Ведь только подумать: родной сын принимает участие в

реформе, которая должна ограбить родную мать!

— Насколько я слышал, проектируется принудительное отчуждение помещичьей земли по справедливой оценке? — робко замечал Иван Степанович.

— Это ширма для дураков-помещиков, тоже мышеловка...

Совершенно расстроив бабушку, сам генерал уезжал в победно-воинственном настроении:

— Вы, матушка Анна Михайловна, как будто бы загрузили?

— Как же, батюшка мой, не загрустить! Ничего приятного не предвидится...

— Не следует падать духом. Будем помнить, что за Богом молитва, а за царем служба не пропадают. Государю уже раскрыли глаза на ту пропасть, в которую его толкает жидовский министр, и надо ждать скорых утешительных известий... Ах да! Совсем из ума вон... Могу поделиться и приятной новостью: моего сына оценили, наконец, по достоинству и заслугам — предложили место чиновника особых поручений при Воронежском губерна-

торе. Губерния паршивая: все время мужики бунтуют, да и среди дворянства очень уж интеллигентных умников много. Поблагодарили и отказались мы от этой чести и взамен попросили вернуть его на старый участок, откуда он вылетел, кажется, при участии вашего сына и моего зятюшки... Времена, знаете! Брат на брата, сын — на родную мать... И ведь все это на собственную голову. Когда у нас Николай земским начальником был, в народе не было такого хулиганства. Побаивались! А как назначили этого слюнявого интеллигента из дворян, Огородникова, — то поджоги, то потравы и порубки. Небось при моем Николае и вам, матушка Анна Михайловна, спокойнее было?

— Ну еще бы! Свой человек...

Как ни храбрился генерал Замураев, а на всякий случай взял себе на охрану свирепого черкеса, который всегда сопровождал теперь верхом на коне предводителя дворянства.

— Что же, батюшка, ты зверя-то этого завел? — испугалась бабушка, провожая генерала. — Говоришь, бояться нечего, а сам...

— Береженого и Бог бережет! По ночам

мне часто приходится теперь ездить, а слюнтяй наш, Огородников, по деревням много озорников развел.

Черкес с кинжалом на поясе и с нагайкой в руке гарцевал на коне, пока генерал усаживался в тарантас, и душа бабушки наполнялась еще большей тревогой и предчувствиями какого-то страшного «конца»...

Генерал уезжал и оставлял бабушку в совершенно разбитом душевном состоянии...

— Машенька! Ты ночуй сегодня со мной! Нехорошо мне что-то... Видно, надо уж на место, в Алатырь ехать. А кто повезет? Царствие тебе небесное, Никитушка! Видно, скоро свидимся...

Собиралась ехать, и вдруг письмо от Леночки с советом оставаться в Никудышевке:

У Малявочки каждый день сборища, споры, ночевальщики, табачный дым, шум и всякие неприятности. В вашей комнате — канцелярия. Теперь у нас как на постоялом дворе. У нас не отдохнете, а измучаетесь. Поживите подольше в Никудышевке...

Леночка писала правду: в Алатыре уже

шла подготовка к бою, и бабушкин дом превратился в главный штаб передового лагеря с преобладанием революционно настроенного «третьего земского элемента»...

Бабушка обиделась:

— Никому не нужна!

Поплакала и осталась...

Одним утешением для бабушки были редкие письма и частые открытки с заграничными марками: есть еще на свете Наташа, чистая, милая, святая душа. А вокруг так тихо, ласково и грустно. Иногда бабушка пробует играть на рояле. Когда-то хорошо играла, а теперь плохо слушаются пальцы...

Пробует по Наташиным нотам сыграть вальс из «Евгения Онегина» — не выходит.

А бабушка так любит этот вальс. Бывало, как заиграет его Наташа, так и занает сладкой тоской бабушкино сердце, а на глазах — слезы. Столько милого и близкого звучало в душе от этого вальса, и так рвалась она в невозвратность прошлого!

Вот то же переживала теперь бабушка и на прогулках в парке. Хорошо, но так грустно, что хочется заплакать. Тихо шумят деревья в

осеннем уборе, плачут золотыми и красными листочками; каркают вороны, а ласковое солнышко играет золотистыми зайчиками и рисует кружева по песчаным аллеям. Печально вскрикивают птички в кустиках, пахнет грибами и гниющими яблоками. Тихо-тихо...

Присядет бабушка на любимую скамеечку и, закрыв под лаской солнышка глаза, погружается в сладкую дрему полусонных воспоминаний о чем-то милом и далеком. И вдруг из прикрытых глаз бабушки побегут слезы...

И кажется тогда, что это не парк, а старое кладбище, где зарыто бабушкино детство, отрочество, молодость и счастье... И сама бабушка — не гордая, похожая на императрицу Екатерину помещица в своих владениях, а несчастная старуха, пришедшая на безлюдное кладбище навестить забытых всеми, кроме нее, покойников...

Х

Не разгадать и не объяснить глубин души человеческой!..

Кажется, не было около бабушки более незначительного и незаметного человека, как мужик Никита. А вот подите ж! Умер этот

Никита и произвел целый переворот в душе гордой старухи своей смертью. Вся дворянская гордость и спесь точно провалились куда-то, и осталась обнаженной человеческая душа, очищенная от всякой условной шелухи. Смерть стерла все перегородки: она тосковала по Никите, как по родному и близкому человеку, и что было для бабушки особенно тягостным — чувствовала себя в чем-то виноватой перед ним. В чем именно — и сама не знала. Может быть, в том, что мало ценила его преданность, мало заботилась о нем живом, до того мало, что не остановила своего внимания на нем, когда узнала, что лошадь лягнула его в живот, и только посмеялась, что Никита лечится водочкой, а не послала его в больницу...

Как это могло случиться, что в бабушкином сафьяновом поминальнике в отделе «за упокой», где числились родные и близкие покойники, все из дворянского рода, появился Никита? Даже никудышевский батюшка, хорошо знавший этот сафьяновый поминальник, немного запнулся, прежде чем произнес имя: «Никита»... Залетела ворона в барские

хоромы!

Мертвый Никита сделался вдруг не мужчиной, а человеком, и только человеком!

Как бы удивился и даже испугался Никита, если бы ожил и увидел себя в заупокойном списке, который начинался Государем-императором Александром-освободителем и им, Никитой, кончался!

Впрочем, Никита не мог бы этого увидеть, потому что он был на земле неграмотным...

Да, много чудес натворил в бабушкиной душе покойник Никита!

И вот еще одно из таких чудес: гуляя однажды в парке, бабушка заметила через поредевшую листву деревьев крышу хутора и вдруг почувствовала себя виноватой перед Гришенькой. Обидела их с Ларисой: не позвала на свадьбу Наташину. Почему? Стыдно как-то было вытаскивать на «ассамблею», на посмешище людей, опростившегося Григория с его «бабой». Что за радость свои болячки посторонним показывать? Только в неудобное положение всех ставить: и Григория с Ларисой, и гостей, и самое себя. Когда Наташа заметила отсутствие за столом дяди Гриши и

спросила бабушку, позвала ли она его с женой, бабушка соврала:

— Батюшки! Какая память-то стала: забыла ведь позвать-то!

Только после ужина Наташа послала записочку на хутор, но Григорий с Ларисой не пришли.

Тогда было стыдно позвать, а теперь стало стыдно, что не позвала.

За что обидела? Кого только Павел Николаевич ни пригласил на свадьбу! Кабы знала, что так выйдет, — не постеснялась бы Гришеньку с Ларисой за стол посадить: даже арендатор мельницы, Абрам Моисеевич, очутился в званных и, сидя за браным столом, называл Анну Михайловну «мамашей»!

А родного сына не было...

— Господи, Господи! Прости мои прегрешения!

Посидела на лавочке в глубоком раздумье, вздохнула несколько раз и медленно поползла на хутор...

В первый раз!

Поразила тетю Машу с мужем, а всего больше Ларису с Григорием.

— Куда ты, Анюта, пошла?

— Да вот... Никогда на хуторе у Гришеньки не бывала. Туда хочу...

Иван Степанович вздумал проводить:

— Нет, не ходи! Я одна...

Подивились тетя Маша с мужем: что-то небывалое... А на хуторе не только удивились, а прямо испугались. Выбежала Лариса на звонок и лай собаки к воротам, отворила калитку и глазам своим не верит.

— Что? Не узнаешь, что ли?

— Пожалуйте, просим милости!.. А я в чем была — выбегла, извините уж...

Опередила бабушку и опрометью кинулась вперед:

— Григорий Миколаич! Барыня сама, мамаша ваша, идет! — задыхаясь от волнения, крикнула в дверь и вернулась, чтобы помочь старухе подняться на крылечко. Не упала бы еще! А потом в кухню — самовар поскорее наладить.

— Здравствуйте, мамаша! Все ли благополучно? — тревожно спросил Григорий.

Он думал, что появление матери связано с каким-нибудь исключительным и неприят-

ным происшествием.

— Слава богу, Гришенька! Про Никиту-то знаешь, а больше покуда ничего такого не случилось... Зашла проведать, посмотреть, как живете...

— Живем себе помаленьку...

— Что вас не видно? Даже и на свадьбу не пришли... Неужели особого приглашения ждали? Чай, свои люди-то... Обиделись, что ли? Головушка-то моя кругом шла от хлопот да суеты...

— Что вы, мамаша! Какие там обиды по пустякам... Если бы и приглашение прислали, не пошли бы все-таки...

— Почему же так?

— Да как сказать, мамаша? Чертог Твой вижу украшенным, но одежды не имам, да внийду в он![512] — сказал Григорий без всякой обиды в голосе.

— Всякие были: и во фраках, и в пиджачках, одни нарядные, а другие по-домашнему...

— Да я, мамаша, не про одежду говорю, а иносказательно. Только вас бы, мамаша, мы с Ларисой сконфузили да гостей ваших насмешили... В разных мирах, мамаша, живем! —

прибавил, вздохнувши.

— В каких там разных мирах! На одной земле все живем и в одну землю нисходим, Гришенька.

— Это верно, мамаша... Я о путях жизни...

— Все дороги, Гришенька, в могилу...

Кротко, ласково и мудро говорит мать. Изумленными глазами останавливается Григорий на лице матери: точно новый человек в ее образе заговорил.

— Ну, как ваш приемыш?

— Ваня-то? Хороший мальчишка, только на улице парнишки обижают больно: китайцем дразнят. Ваня, подь сюда!.. Боишься? Э, глупый какой...

Григорий вытянул в дверь «якутенка». Волчком смотрит на бабушку.

— Ну, подойди поближе! Я тебя не съем... Я гостинца тебе принесла... На-ка вот, возьми!

Подарила пластинку шоколада, погладила мальчика по жестким волосам. Пропала в бабушке прежняя брезгливость к этому «незаконному приплоду» в роде дворян Кудышевых, и бабушка уже не злилась, а ласково улыбалась, когда мальчик на вопрос: «Кто ты

такой?» — ответил осипшим альтом: «Иван Дмитриевич Кудышев».

— Читать и писать обучаемся! — похвастался Григорий.

И снова стыдно сделалось бабушке, и почувствовала она себя виноватой перед этим «якутенком»:

— Если мальчик неглупый и сметливый, можно в гимназию определить...

— Мальчик способный...

— Что это, Гришенька? Никак у тебя седые волосы появились на висках?

— Маленько есть...

— Рано уже больно...

— Жизнь-то, мамаша, бежит... да свои следы оставляет на человеке...

Принарядившаяся в экстренном порядке Лариса вскипевший самовар принесла и стала на стол разные угощения выкладывать. Запела своим громким голосом слова приветливые, стараясь выразиться как можно замысловатее. Очень уж польстило ей, что бабушка неожиданно пожаловала. И никак она не могла понять, с какими это целями?

— Мы завсегда, чем только можем, готовы

услужить вам, Анна Михайловна. Кушайте-ка с медком липовым. С нашего пчельника. Очень уж духовитый медок-то. Позвольте, я пчелку-то ложечкой выну!

И на Ларису бабушка смотрит ласково.

— Вот ты, Гришенька, постарел и подурнел, а Лариса Петровна все хорошеет.

— Да что вы это говорите! Уж какая моя красота!

Целый час просидела бабушка и удивила и Григория, и Ларису своей простотой и приветливостью. Григорий пошел проводить ее до дому, и, когда прощался, мать сказала:

— Заходите ко мне... Теперь я одна, стесняться вам некого. Скучно мне что-то, Гришенька... Жить я, милый, устала... Недолго уж, видно...

— Господь с вами, мамаша...

— Ну, поцелуй меня, грешную...

Григорий даже опешил. Сбросил шляпу и, как к иконе, приложился к матери.

Лариса ждала с нетерпением Григория, хотелось узнать, в чем дело...

— Ну, что? Зачем она к нам приходила?

— Да так. Без всякого дела...

— Что-нибудь неспроста... Потом обнаружится... Нужен ты ей стал. Не иначе.

— Нет, Лариса. Тут другое... Прозреть старуха начала «правду Божию»... Шкура-то звериная у нас под старость линяет, а новый-то волос уже не растет. Вот человеческое-то и видать делается... Поцеловала она меня, да крепко так, с любовью. К себе нас звала...

Погладила бабушка «якутенка» по головке жесткой и теперь вот уже несколько дней непрестанно думает о Мите. Видит его во сне, смотрит в семейном альбоме фотографические карточки, на которых блудный сын запечатлен в разном возрасте, начиная с трехлетнего ребенка и кончая лохматым, красивым студентом, роется в шкатулке с письмами и выбирает Митины. «Дорогая милая мамочка!» — начинаются эти письма, а кончаются: «Любящий тебя сын Дмитрий Кудышев»... Дорогая, милая мамочка! Где ты и что с тобой? Так и помрешь, видно, не простившись... Какие бы ни были, а все дети!

И рождается в душе матери самоупрек: всего больше она сердилась на Митю, чуть

только не прокляла его за участие в страшном преступлении, за которое повесили Сашеньку Ульянова, старалась выбросить его из души и памяти. Не хватало силы прощения...

А теперь, роняя слезы на Митины письма, шепчет:

— Гордость мешала, Митенька, обида за позор имени... Прости меня, сынок, Христа ради!..

Какое странное совпадение!

Три дня неотступно думала и тосковала о Мите, а на четвертый получила о нем весточку.

Пришло письмо с заграничной маркой. Конечно, от Наташи! Даже руки трясутся от радости и строчки прыгают...

Миленькая, родненькая бабуся моя! Случилось и радостное, и печальное чудо. Поверишь ли, родная? Я видела и разговаривала с дядей Митей, но когда то было, я не знала, что это — дядя Митя, а он, наверное, и теперь этого не подозревает. Боже мой, как обидно и досадно! Я плакала от огорчения... Мы ехали на одном пароходе. На нем ехала компания русских. Мы хотя и по-

знакомились и болтали, смеялись, но как-то не интересовались именами и фамилиями спутников. Да и фамилия моя новая ничего бы не открыла... Один слез с парохода раньше нас. Потом в этой компании упомянули фамилию Кудышева, и я начала расспрашивать, о ком говорят. Сказала, что у меня есть дядя, Дмитрий Павлович Кудышев... И вот оказалось, что он-то и слез с парохода. Я хотела вернуться, догнать, отыскать, но Адам убедил, что мы отыщем потом. А потом я нашла в Женеве его адрес и пошла... Ох, как билось, бабуся, мое сердце! Ведь я маленькой так любила дядю Митю, и он меня тоже. Я это помню, помню... И вот какое несчастье: на квартире мне сказали, что два дня тому назад дядя Митя уехал из Швейцарии... а куда — никто не мог сказать... И вот я расплакалась...

Тут бабушка выронила из рук письмо и тоже расплакалась и горькими и сладкими слезами...

XI

В то время как в Западной Европе граж-

данская энергия разряжалась нормальным темпом в свободном культурно-государственном творчестве, у нас эта энергия, сдавливаемая со всех сторон установленной правительством монополией государственного строительства и управления, поневоле устремлялась в места наименьшего сопротивления: то в литературу и искусство, то в интеллигентскую идеологию, то в щелки различных обществ и съездов, а главным образом — в подполье, где и принимала фантастический разрушительный характер.

Правительство, вместо того чтобы устроить предохранительные клапаны в старом государственном котле, дабы своевременно выпускать эту энергию, стремилось закрыть все щели и дырки и тем, конечно, лишь усиливало внутреннее давление на стенки котла и гнало эту энергию в революционное подполье, куда уходили все отчаявшиеся найти какой-либо другой способ участия в судьбах своей родины и в ее государственном и экономическом устройении.

И вот «выдумка Витте» со скромным названием «Совещания о нуждах сельскохозяй-

ственной промышленности», по логике непреложных исторических законов превратилась как бы в первый предохранительный клапан, устроенный на старом государственном котле, где скопилась под высоким давлением гражданская энергия всех культурных людей, не загнанных еще в революционное подполье... в котором вынуждены были работать на положении профессиональных революционеров многие общественные деятели, земцы, научные работники и писатели, искренно желавшие вывести родину из политического и экономического тупика на путь широких реформ, похороненных вместе с императором Александром II в 1881 году...

Такова была задача первого нелегального органа общественных деятелей за границей — журнала «Освобождение».

Подполье и нелегальщина становились общим орудием как подлинных революционеров разных видов, так и государственно настроенных представителей общественной мысли и дела.

Перекинулся мост между энергиями: оппозиционно-гражданской и революционной, со-

циалистической. Стремясь — одна к гражданскому освобождению, другая — к социальной революции, — обе встречали на своем пути стену неограниченного самодержавия и потому обе били в одно место. «Долой самодержавие!» — сделалось общим лозунгом...

Вся культурная Россия была в политической лихорадке. Царский окрик на Курских маневрах не только не остановил этого лихорадочного возбуждения, но, напротив, только подлил масла в огонь страстей: разжег революционное настроение левого лагеря и поднял дух и воинственность правого.

Раньше за всю Россию говорила гордая столица, теперь заговорила сама Россия в лице необъятной провинции — от ее центров до глухих провинциальных городков...

Брошенную общественному мнению царем перчатку первым подняло уездное воронежское земство.

Воронежская губерния давно уже была застрельщиком крестьянских волнений и бунтов. Хотя после произведенной экзекуции мужики и присмирели маленько, но помещики жили как бы на бочке с порохом, и губерна-

тор, как председатель губернского комитета, и предводитель дворянства, как председатель уездного комитета, — эти главные представители «опоры трона» из чувства собственного самосохранения искали выхода в каком-нибудь компромиссе с требованиями исторической минуты, то есть в разрешении прежде всего «крестьянского вопроса».

Уездное земство совершенно неожиданно для правительства превратилось в открытый явочным порядком парламент. В нем участвовали не только гласные уездного и губернского земства, а множество известных хозяев-помещиков, среди которых были люди, совсем не принадлежавшие к крамольному лагерю. Зал не мог вместить рвавшейся в двери публики, и сразу было ясно, что свершается нечто необычайное...

Так оно и вышло.

Звонок. Мертвая тишина. Поднимается председатель и после заявления о Высочайшем установлении «Особого совещания» и благодарности правительству за оказываемое доверие, выразившееся в предложении высказаться вполне откровенно, начинает всту-

питательное слово:

— Мы должны откровенно сказать правительству, что нынешнее положение дел далее терпимо быть не может... Россия стоит у границ страшного народного хаоса, и никакие полумеры помочь тут не могут... Прежде всего, мы должны заняться вопросом о положении крестьянства...

Один за другим поднимались почтенные помещики и присоединялись к председателю. Известный всей России педагог Бунаков[513] и доктор Мартынов[514] были более чем откровенны. Они говорили о том, что упадок сельскохозяйственной промышленности, хаотические крестьянские бунты и хронические голодовки вызываются общим строем русской государственной и общественной жизни, подавлением гражданской личности, отсутствием свободы слова, враждой натравливаемых друг на друга сословий и национальностей, административным усмотрением, поставленным выше суда, и потребовали восстановления в полной мере тех установлений и реформ, которыми ознаменовалась первая половина царствования императора Алек-

сандра II.

Все это сопровождалось громом аплодисментов присутствующей публики и как бы бросало вызов правительству.

Наконец, встал земский врач Шингарев [515] и предложил расширить этот незаконный парламент организованным совещанием с выборными от крестьянского населения. Избрали особую комиссию для выработки доклада губернскому комитету, и комиссия эта составила доклад, в котором говорилось: «Так жить, как мы живем в глухой провинции, жить с опасением за свою жизнь и имущество, невозможно. Нельзя хладнокровно смотреть, как капля за каплей разрушаются наши естественные богатства, как растут в окружающей среде произвол и бесправие, как извращается чувство законности и как над всем этим грозной тучей надвигаются крестьянские бунты и волнения, грозящие страшными потрясениями нашей родине».

Чтение этой резолюции сопровождалось взрывами аплодисментов толпы, а когда чтец заявил о необходимости созыва «Всероссийского собора» [516], радостный крик и гул все-

го зала превратил эту необходимость в требование.

Это неожиданное происшествие в глухой провинции моментально облетело всю Россию и всколыхнуло оба воюющих лагеря. Для одного оно прозвучало призывом к «словесному восстанию», для других — угрозой существующему порядку, надвигающейся революцией...

Нужно было видеть, что делалось в городке Алатыре, в этом маленьком человеческом муравейнике, чтобы составить себе понятие о лихорадочном состоянии всей страны. Ведь и здесь был комитет, которому предстояло подать голос по вопросам государственной важности! Совершенно невероятное событие... Если не все прямо призваны подать этот голос, то он будет подан косвенно: в разговорах и спорах с теми, кто будет заседать и решать вопросы. А ведь в маленьком городке все — как люди, так и собаки — если не родственники, то уж непременно приятели или хорошие старые знакомые. Значит, — все сословия, люди разных положений и состояний как мужского, так и женского пола превратились

вдруг в граждан и гражданок! Конечно, всем хочется казаться умнее, и потому говорится очень много всяких глупостей, но все же это интереснее, чем сплетничать от безделья и скуки...

Уже съехались будущие герои обоих лагерей, но пока происходят еще предварительные тайные совещания. Но какие тайны могут быть в маленьком городке, где все знают друг про друга всю подноготную?

Стоит зайти в местный общественный клуб, где собирается вся культурная публика обоюго пола и всех возрастов и куда заходят отдохнуть от государственных дум все «герои», зайти и прислушаться к разговорам и спорам, как все эти тайны предстанут в полном обнажении, как Венера из морской пены...

Тут и «опора трона», и либеральные земцы, и разная служилая и профессиональная интеллигенция, революционный «третий элемент», тут именитое местное купечество, тайные корреспонденты. Дважды в неделю — семейные вечера, и потому — изобилие местных дам и девиц с молодыми людьми жени-

хового возраста. Танцы, картишки, ужины...

Конечно, даже за танцами темой разговоров служат теперь «государственные тайны», но все же главные государственные разговоры происходят в буфете и в карточной комнате. Появляющиеся здесь Павел Николаевич и предводитель дворянства, генерал Замурав, — как две матки из разных пчелиных ульев: всегда облеплены единомышленниками. Надо ждать минуты, когда произойдет столкновение и пчелки сцепятся и начнут жалить друг друга.

Начинается обыкновенно с правой стороны:

— Ну, господа дворяне, как вам нравятся Курские маневры? Хе-хе-хе...

— После этих маневров следует почитать разрешенными оба вопроса: и крестьянский, и дворянский, так что о чем, собственно, будет рассуждать теперь наш комитет?

— *Они* за словом в карман не полезут. *Они* только тем и занимаются, что изобретают «вопросы»... Крестьянский, финляндский, еврейский, польский, женский... Одним словом, всю Россию под знаком вопроса поставили!

Говорится это между «своими», но намеренно громко, чтобы слышали представители вражеского лагеря — «они»...

«Они», конечно, держат ухо востро и тоже громко разговаривают:

— А как вам нравятся, господа, воронежские земские маневры? (намек на события, разыгравшиеся на совещании воронежского уездного земства). Тоже недурные речи были сказаны по крестьянскому и дворянскому вопросам! Есть еще честные люди на Руси!

А в правом лагере еще громче:

— Государь милостиво разрешил собраться и поговорить о нуждах сельскохозяйственной промышленности, а они стали рассуждать о свободе слова, о каком-то произволе, о каком-то Всероссийском земском собрании! Совершенно не дают поговорить о деле...

Тут терпение левого лагеря не выдерживает, и перестрелка издали переходит в атаку. Впереди, конечно, вожди: с правой стороны — генерал Замураев, с левой — Павел Николаевич Кудышев.

— О каких же это делах вам мешают поговорить?

— Дело не в том, что у мужика мало земли и что его порют за бунты и грабеж, а в том, что он не умеет работать и не хочет учиться работать... Что бы сделал немецкий крестьянин на тех же 3–4 десятинах!.. Так вот, научите мужика интенсивному хозяйству, и тогда ни голодовок, ни бунтов не будет, да и пороть мужика не будет надобности!

Следует одобрительный гул в правом лагере и возмущенный — в левом. Бой загорается по всему фронту:

— Вместо дела у нас придумывают крестьянский вопрос и толкают мужика к грабежу чужой собственности, балуют казенным прокормлением на время неурожая, вместо того чтобы научить его сделать запас на такой случай, и кружат ему голову разными правами да свободами!

Павел Николаевич, подкрепленный статистиками и агрономами, начинает разбивать все эти обвинения цифрами и фактами, приводящими в смущенное молчание противников, а потом начинает беспощадно высмеивать:

— Немецкий крестьянин! С немецкого кре-

стьянина не дерут трех шкур, немецкому крестьянину дано образование, немецкий крестьянин — полноправный гражданин, как и вы, господа дворяне, и так же, как вас, его не имеет никто права выпороть, у него есть благосостояние, кредит, к его услугам наука и техника... А что имеет и что дано нашему мужику? Наконец, я спрошу вас, почему наши помещики не переходят на интенсивную культуру, а предпочитают землю отдавать в аренду мужику, а сами... спирт из мужицкого хлеба гонят, другие подряды казенные берут, третьи... третьи государственных и земских недоимок по годам не платят и разных манифестов и речей свыше дожидаются? Почему дворянский союз, ваше объединение, законно и поощряемо, а крестьянский союз — государственное преступление?

Генерал Замураев багровеет от возмущения, пыхтит, как паровоз, и наносит удар с неожиданной стороны:

— Во всяком случае... Да... Это не секрет... у вас там составляются проекты об отобрании земли у помещиков и передаче ее мужикам... Вообще о земельной реформе... Все эти проек-

ты сочиняются людьми, которые своей земли не имеют и распоряжаются чужой собственностью. Да! Я, как председатель, таких проектов не допущу и считаю, что этим выполню волю моего государя, который на Курских маневрах...

— Вы не желаете поднимать и разрешать крестьянский вопрос? Тем хуже, господа, для вас. И не только для вас, а для России. Неужели все эти мужицкие бунты не заставили вас подумать, а что, если мужик сам начнет разрешать дворянский и крестьянский вопросы? Ведь это, господа, ужас! Мы вас хотим спасти от этого ужаса, вывести Россию из страшного тупика, а вы прячетесь за спину Государя императора...

Начиналась общая свалка. Крики, угрозы, взаимные оскорбления с вызовом на дуэль. Вся клубная публика приходила в возбуждение и толпилась около буфета. Врывались встревоженные жены и вытаскивали из буфета мужей. Потом жены ссорились между собою, и их растаскивали мужья.

Теперь городок Алатырь походил на одну сплошную санаторию для нервных больных, а

местный общественный клуб — на буйное отделение дома сумасшедших...

XII

В конце 1902 года разгорелся бой во всей провинции. Воевали в земских собраниях и в комитетах, и повсюду воевали не столько с местным правым лагерем, сколько через его голову с правительством. В этих словесных боях преимущество всегда было на стороне левого лагеря, богатого людьми научных познаний, исследователями и знатоками крестьянского быта, вооруженными цифрами и фактами. Правый лагерь не дал ни одного значительного по содержанию доклада и не выставил ни одного выдающегося, умеющего «глаголом жечь сердца» оратора. Этот лагерь был силен лишь сознанием силы самого правительства и поддерживающей этот лагерь придворной камарильи. И в этом были его мораль и право. Группы передовых помещиков из породы «кающегося дворянства» вступили в военный союз с бессловной интеллигенцией и развернули общее знамя борьбы — «Освобождение», как был назван появившийся за границей политический орган

печати.

Несомненно, что в этом смешанном лагере были люди, искренно борющиеся за права и благосостояние русского мужика, в чем усматривали благо и для своей родины, но большинство, говоря по правде, сделало из мужика только богатырскую палицу, которой сражалось с правительством за хартию гражданских свобод и вольностей.

Исключительно такую же роль стал играть «мужик» у социалистов-революционеров: конкретный живой мужик здесь был нужен лишь как материал для социальной революции. Очень хороший горючий материал для всероссийского бунта, а потому — «куй железо, пока горячо»!

А это железо было действительно раскалено докрасна расправами усмирения, что и позволяло успешно работать кузнецам социализма...

Неуловимые агитаторы шныряли по слободам, деревням и селам, по ярмаркам, базарам, постоянным дворам, по всему лицу мужицкого царства и беседами о «земле Божией», о «правде Божией» и раскидываемыми

листовками раздували исторический аппетит мужика к барской земле и историческую же враждебность к помещикам и защищавшим их теперь всяким властям.

Улеглась было волна бунтов, надвинувшаяся с юга и юго-запада, но поднялась новая, с Волги: вся огромная Саратовская губерния начала вспыхивать пожарами беспорядков и волнений, искры которых перебросились в соседние губернии, а там снова откликнулись Рязань и Тула. И снова встала угроза общего пожарища, и пришлось правительству воевать на два фронта: в городах — с интеллигенцией, в деревнях и селах — с мужиком...

Неспокойно становилось и в Симбирской губернии, губернатор которой до сей поры гордился исключительным спокойствием во вверенной ему земле.

Залетали искрами всякие слухи из соседних губерний, и творились неведомым способом свои, местные. Несомненно, этому помогала война из-за мужика в земстве и в комитете. Пошел слух, что господам приказано добровольно передел земли сделать, что скоро должен манифест такой выйти, а может

быть, он уже и вышел, а только прячут его помещики.

Поползли эти слухи и в никудышевской округе, особенно вокруг Замураевки. Вспомнилась старая обида: никудышевские господа, как воля вышла, обманули, посадили на дарственные участки; потом покойный барин подарил мужикам 100 десятин, чтобы рот-то замазать, вот они и думают, что мы все забыли. В Замураевке — другое: до воли у них по четыре с половиной десятины на душу было земли-то, а после воли господа только по три десятины оставили, с каждой души по полторы десятины незаконно себе забрали.

— Сказывают, что царь комитеты такие приказал сделать: разобрать все наши обиды. И в Алатыре такой комитет, бают, есть, а только от народа господа скрывают...

— Надо туда жалобу от общества подать... Планы старые должны разобрать, там видно, сколь земли у нас господа оттягали!

Узнали никудышевцы, что замураевские жалобу пишут в царский комитет, и тоже начали обсуждать это дело.

Приходили посоветоваться к «праведному

барину», к Григорию Николаевичу, и просили прошение-жалобу написать в комитет. Отказался «праведный барин»:

— Я ничего в этих делах не понимаю. Адвоката нужно...

Не поверили мужики: хотя и праведный человек, а все-таки — барин! Не может супротив родной матери пойти... Да и как осудить-то: сказано — «чти отца твоего и мать твою и многодетен будешь на земли»[517]! Лариса посоветовала одного человечка: в Алатыре жидок такой есть, они у нашей барыни мельницу арендуют, так вот он, сказывают, мастер эти жалобы писать!

— Нам чужого не нужно, отдай только, что по закону следовало!

— Это ты зря говоришь! Коли так напишешь, а закон выйдет всю землю нам отдать, у них документ будет, что мы только одну урезку согласны получить, то есть по полторы десятины на душу... Опять дурака сваем!

Совещались около барского леса и мечтали о манифесте. Старики обсуждали, которые из господских полей должны к ним отойти и

которые за господами остаться. Смотрели жадными глазами на поля и говорили:

— Земля у них жирная, а которую сдают нам, та много хуже!

— Еще бы! Эту в руку возьмешь, она тает!

— Как творог!

Они брали землю в пригоршню, мяли ее заскорузлыми пальцами и нюхали пахучий чернозем...

Выбрали стариков — жалобу составить и в алатырский комитет подать.

Старики отыскали Моисея Абрамовича Фишмана, крестника Анны Михайловны.

Моисей Абрамович выслушал стариков и никудашевцам наотрез отказал: ничего нельзя теперь сделать! А замураевским написал. Знал он, что и тут ничего не выйдет, но так как он состоял тайно в членах социал-демократической партии, земельная программа которой тогда требовала для мужиков «возврата отрезков», то Моисей Абрамович решил действовать по программе, принципиально.

— Чтобы сказать, что дело выиграете, так нет, не обнадеживаю. Но требовать можно.

— Напиши, сделай милость, мы тебя по-

благодарим: за труды заплатим!

— Я вам составлю прошение даром, бесплатно, но только вы меня не выдавайте! Чтобы кто писал, так неизвестно! Мне неудобно, потому — сами понимаете: генерал Замураев — родственник никудышевской барыне, Анне Михайловне, а она моя крестная мамаша... В случае чего вы можете сказать, что прошение вам написали в Симбирске, в трактире, а кто писал — и сами не знаете...

— Будь покоен! Так и скажем...

Моисей Абрамович просто пошутил над мужиками. Прекрасно знал он, что комитет никаких прошений и жалоб не принимает, но очень уж захотелось ему воспользоваться подходящим случаем, чтобы всунуть таким путем новую распрю в «крестьянский» и «дворянский» вопросы этими программными «отрезками». Ведь, по существу, мужики правы: эти отрезки были-таки украдены[518] у них при размежевании земель после раскрепощения.

Были у Моисея Абрамовича друзья в земской управе, однопартийны. Они тайно перестукали жалобу на земской пишущей машин-

ке, а на конверте написали: «Доклад по крестьянскому вопросу. В Комитет по совещанию о нуждах сельскохозяйственной промышленности».

Старики пришли в канцелярию комитета ранним утром, когда сторож приводил в порядок помещение. Он и принял от них пакет, который очутился вместе с не распечатанной еще казенной почтой на столе председателя комитета, генерала Замураева...

Старики сделали добросовестно возложенное на них дело и, зная по опыту, что ответы в казенных учреждениях даются нескоро и письменно, ушли домой...

Во всякое другое время эта глупая история прошла бы бесследно либо попала в копилку газетных курьезов и шуток. Теперь из нее вышла история, весьма значительная по своим неожиданным последствиями.

Когда генерал, просматривая новую почту, уже с раздражением разорвал конверт с надписью «Доклад по крестьянскому вопросу» и прочитал жалобу некоторым образом на самого себя, да еще написанную на машинке, он сейчас же догадался, что это либо насмеш-

ка со стороны левого лагеря, либо работа агитаторов-революционеров. Мог ли генерал предположить, что это просто социал-демократическая шуточка Моисея Абрамовича?

Прежде всего, надо было удостовериться: вымышлены имена и прозвища подписавших каракулями уполномоченных от общества или такие крестьяне существуют в действительности. Расследование этого вопроса генерал поручил своему сыну, земскому начальнику. Оказалось, что жалоба не придумана, а подана выборными и подписи принадлежат установленным мужикам, проживающим в Замураевке и хорошо известным самому генералу. Хотя Николай Владимирович Замураев только погрозил набить морды и пострадал тюрьмой и высылкой в Сибирь на поселение, но для всех мужиков стало ясно, что царский комитет стакнулся с помещиками, выдал их жалобу замураевским господам и правды тут опять не добиться... Кому морду набьют, кого под арест, кого выпорют, а до суда не допустят, хода этой жалобе не дадут...

Ход жалобе дали, но совсем не тот, которого добивались мужики...

Генерал лично передал ее исправнику как вещественное доказательство, что у них в уезде работают агитаторы. Исправник поручил становому приставу произвести строгое дознание и установить личность подстрекателя. В Замураевку приехал становой[519] с двумя урядниками[520], остановился на «въезжей избе», вызвал волостного старшину [521] и сельского старосту и, давши им нагоняй и настращавши преданием суду, начал следствие. Привели подписавших жалобу двух выборных, Пахома Еремина и Евдокима Быкова, почтенных бородатых мужиков с апостольскими лицами.

— Вы жалобу подали?

— Обчество. А мы, стало быть, выборные...

— Ваши подписи?

— Так точно.

— Кто вас научил подать эту жалобу?

— Кому нас учить? Некому. Сами. Миром порешили.

— А кто написал жалобу?

Выборные помолчали, переглянулись, потом Пахом Еремин переспросил:

— Кто писал?

— Ну да! Я тебя русским языком спрашиваю: кто писал вам жалобу?

Не выдали Моисея Абрамовича и стали объяснять, как научил он: написал человек один, а кто — неизвестно. В трактире было. Спросили: можешь нам жалобу написать? Ну, он допрос снял и написал...

— Как же он писал? Рукой?

— Да ведь как люди пишут? Знамо, рукой, а не ногой...

— Вот тут и попались! Не рукой написано, а на машине. Признавайтесь, кто и где писал жалобу!

Повторяют одно и то же: в Симбирске, в трактире, а кто — неизвестно им...

— Сознаться не желаете?

Молчат.

— Взять под арест!

Стариков повели в арестантскую камеру при волостном правлении. Окружавшая «въезжую избу» толпа мужиков глухо заворчала, слышались выкрики:

— Тогда уж всех арестуйте! Весь мир! Мы все жалобу подали!

Урядники разогнали толпу.

К вечеру старшина со старостой собрали мирской суд, на котором становой выступил с увещанием — открыть имя подстрекателя.

— Все по круговой поруке ответите за укрывательство смущающих вас преступников!

Становой стал разъяснять, по приказанию циркуляра, вредоносность агитаторов и лживость их учения:

— Они вас натравливают на бар, помещиков, врут, что все люди равны! Никакого такого равенства на свете не может быть! Всякому свое место Господь Бог указал: и барину, и крестьянину, и мещанину, и дворянину! Как нельзя без мужика, так нельзя и без барина. Барин — голова, а мужик — руки, ноги. Как голова без рук-ног, так и руки-ноги без головы ничего не стоят! Тоже вот и без купца нельзя. Вам земский начальник читал, что сказал государь крестьянским депутатам?

Становой еще раз прочитал опубликованную в особом циркуляре речь царя на Курских маневрах...

Слушали и молчали, потупясь в землю. Потом стали просить выпустить на волю аресто-

ванных выборных. Одного говоруна еще арестовали и увели в арестантскую. Толпа снова загудела ропотом. Ее снова разогнали урядники.

Становой уехал, а ночью толпа разбила дверь арестантской и освободила Пахома Еремина и Евдокима Быкова.

Делом заинтересовался жандармский ротмистр и со свойственной ему опытностью очень быстро установил, что жалоба написана на одной из пишущих машинок земской управы. Жандармский ротмистр арестовал секретаря земской управы, знакомого нам Елевферия Митрофановича Крестовоздвиженского и произвел обыск на его квартире.

Арест секретаря земской управы был крайне неприятен Павлу Николаевичу как председателю управы: это давало повод врагам бороться с земским самоуправлением, подкрепляя свои нападки арестом Крестовоздвиженского, посаженного когда-то на это место самим председателем.

И вот получилось новое «дело о сопротивлении властям при исполнении служебных обязанностей и о насильственном освобожде-

нии арестованных преступников». Двадцать пять обвиняемых: четырнадцать мужиков и одиннадцать баб.

Так власти в угоду «опоре трона» делали из мухи слона и помогали революционерам возбуждать бунты и волнения в народе.

Попытка же жандармских властей устроить из мухи еще одного слона и превратить земскую управу в тайный очаг революции — не удалась. Тут все держалось на ниточке. Этой ниточкой, на которой держалось все обвинение, была предательская буковка в шрифте пишущей машинки: буква «щ». У этой буковки стерся или просто отвалился хвостик. В тексте жалобы мужиков было слово «раскрепощение», и в нем буква «щ» оказалась тоже без хвостика. Так как машинка эта стояла в кабинете секретаря Крестовоздвиженского, в прошлом которого имелись политические грешки, а барышня Пупыркина, работавшая на этой машинке, устроенная на службу в управе по протекции самого жандармского ротмистра, была вне всяких подозрений, то — совершенно естественно — подозрение пало на самого секретаря, который

и был арестован.

Барышня Пупыркина в разговоре с сослуживцами разболтала эту улику преждевременно, когда машинка не была еще конфискована как вещественное доказательство. Это и спасло невинно пострадавшего секретаря. Сослуживцы его перехитрили жандармского ротмистра: дежурный по канцелярии, выбрав момент полного уединения, сбил остороженько еще один хвостик: у буквы «ц». Машинка была изъята уже без двух хвостиков, и это было установлено экспертизой сличения текста жалобы с текстом, напечатанным на машинке. Не будь другой бесхвостой буквы, секретарь не миновал бы тюрьмы и ссылки в Сибирь лет на пять. Теперь он отделался административной высылкой на два года в Архангельск... Однако не будем забегать вперед...

Новый симбирский губернатор, так гордившийся спокойствием во вверенной ему губернии, узнав о событиях в Замураевке и в алатырском земстве, вызвал к себе предводителя дворянства и председателя земской управы.

После беседы с обоими губернатор явно стал на сторону Павла Николаевича:

— Народ как дети: легко возбуждается, а мы сами этих детей дразним... Надо было эту бумажонку просто изорвать, и никакого сопротивления властям не было бы.

Губернатор лично приезжал в Замураевку и говорил с народом. Мужики и бабы, родственники преступников, бросались на колени, умоляли простить арестованных, плакали, жаловались на то, что работать по хозяйству некому. Новый губернатор еще не успел закалить свое сердце долгом службы и разжалобился. Простил бы этих детей, которые то буянят, то смиренно стоят на коленях и плачут. Но уже не мог: было поздно. Это рождало в нем досаду на нетактичность генерала Замураева. Сделавшаяся ему известной история с двумя бесхвостыми буквами на земской машинке, напротив, расположила к умному Павлу Николаевичу, и губернатор был с ним чрезвычайно любезен, чем, конечно, Павел Николаевич и воспользовался, когда зашел вопрос о задачах «Особого совещания» и работах местных комитетов.

Ах, если бы губернатор знал, что дни и часы «комитетов» уже сочтены и рука возмездия готовится опустить меч свой на главы всех мечтателей о конституции и непрошенных помощников правительству в разрешении государственных вопросов!

XIII

Министр Плеве давно имел от государя полномочие положить предел «вредной болтовне» в земствах и комитетах, но предпочитал повременить, чтобы облегчить работу департамента полиции, — «пусть вылезет наружу вся эта политическая проказа!»

В Симбирске только что открылись заседания губернского комитета, в связи с чем съехались предводители дворянства и председатели земских управ всей губернии, земские и общественные деятели, приглашенные с правом совещательного голоса, крупные землевладельцы, купцы, связанные с интересами сельскохозяйственной промышленности. В их числе было немало и наших знакомых.

В Симбирске волнение умов было значительное, но оно не вылезало так на глаза, как в маленьком Алатыре. Никаких скандалов и

скандальных споров здесь не происходило, потому что враждующие лагеря размежевались: в свободные вечера правый лагерь и высшее чиновничество собирались в помещении Дворянского собрания, а левый лагерь с тяготеющими к нему симбирцами — в Купеческом клубе...

Толчком к всеобщему волнению умов послужила речь нового губернатора на первом же заседании губернского комитета. О, сколь приятная неожиданность для левого лагеря и сколь неприятная — для правого!

Всех присутствовавших поразило уже самое вступление!

Сказав несколько общих в таких случаях фраз о Государе императоре, пекущемся о нуждах своих верноподданных и об организации по воле императора особого совещания, губернатор перешел к делу:

— Население нашей губернии, как и многих других, именующихся житницей России, все же время от времени подвергается бедствиям неурожаев и связанных с ними голода и нужды, в корне расстраивающих крестьянский быт и плодящих нищету. Будучи непод-

готовленным к этим несчастьям и сознавая свое бессилие, население делается способным к восприятию антигосударственных идей, распространяемых революционерами... Ужасы крестьянских бунтов и волнений, особенно в Полтавской и Харьковской губерниях, где крестьянский надел земли упал до полутора десятин на душу, громко говорят нам, что не обеспеченный землей мужик может сделаться для государства гораздо опаснее, чем городской пролетарий. Господа! Мы должны признать, что опасность для государства глядит из деревни и что разрешение аграрного вопроса является самым неотложным делом настоящего момента!.. Объявляя заседания губернского комитета открытыми, я высказываю надежду, что вопрос этот найдет надлежащее место и внимание в наших работах!

Первое заседание ограничилось лишь этим открытием.

Губернаторская речь одних удивила и обрадовала, других неприятно огорошила. Встреча губернатора вечером в залах Дворянского собрания была холодноватой. Со сторо-

ны дворян чувствовалось разочарование в новом губернаторе. Уединяясь в укромных уголках, дворяне ворчали и шушукались. За ужином «ура» за Государя императора прозвучало громко и дружно, а предложение выпить за здоровье губернатора, хотя и было принято, но всем было ясно, что никому пить не хочется... Выпили как лекарство.

Зато какая радость и веселье были в этот вечер в Купеческом клубе!

— Необыкновенный, господа, губернатор! Единственный в своем роде...

— Не губернатор, а какое-то недоразумение! Не по ошибке ли назначили?

— Положим, не единственный... А воронежский губернатор, допустивший на заседание под своим председательством прочтение резолюции с требованием Всероссийского земского собора?!

— Ну, два губернатора! Предлагаю выпить за них шампанского!

Только некоторые интеллигенты из «третьего элемента» считали для себя недопустимым восхищаться и пить за здоровье губернаторов. Они тихо объясняли соседям по столу,

почему воздерживаются:

— Губернатор не может быть порядочным человеком. А если двое из них и поддержали нас, то не из принципа и убеждений, а просто по глупости!

Чтобы сгладить это маленькое разногласие в своем лагере, Павел Николаевич рассказал свеженький анекдот из высших сфер:

— Когда Иван Николаевич Дурново попался на перлюстрации писем вдовствующей императрицы [522] и вылетел с министерского поста, Государь очень долго не назначал нового министра внутренних дел. А было два кандидата: Сипягин и Плеве. Является с докладом Витте, и Государь начинает с ним советоваться, кого назначить? С Константином Петровичем Победоносцевым я, говорит, уже посоветовался. Вот Витте и спрашивает: «Каково же мнение Победоносцева?»

— Да очень просто отозвался Константин Петрович о моих кандидатах. Он сказал, что один — дурак, другой — подлец!

— Попал, господа, дурак, а вот теперь очередь дошла и...

Громкий смех заглушил конец фразы...

Могли предполагать Павел Николаевич, что за столом на ролях лакея был шпион и что его веселый анекдот о столь высокопоставленных лицах на другой же день делается известным в жандармском управлении?

Прошло несколько дней, и в Симбирск прилетели слухи о начавшемся разгроме левого лагеря.

Расправа началась с Воронежа, который первым открыл войну с правительством, требуя возвращения к освободительным реформам императора Александра II и Всероссийского земского собора, иными словами, — ограничения самодержавной власти царя.

Пострадали не только земские и общественные деятели, но и сам губернатор.

Губернатора убрали, одних устранили с общественной службы, других выслали из собственных имений, нескольких красноречивых ораторов арестовали, других потребовали в департамент полиции для личных объяснений. Специально посланный из Петербурга сенатор начал чинить допрос членам комитета и земской комиссии...

Симбирский губернатор внезапно заболел,

и заседания оборвались. В правом лагере торжествовали победу и посылали благодарственные телеграммы в Петербург. Левый лагерь растерялся: у всех исчезла уверенность в собственном благополучии, и потому приезжие начали беспорядочное отступление: разъезжаться по местам своего постоянного жительства... На всякий случай надо приготовиться к обыскам, допросам и ко всякой неприятности.

Павел Николаевич сперва удерживал малодушных, но скоро и сам сбежал в свой Алатырь, сославшись на неотложные дела.

Две недели пребывал в тревоге и унынии: приходили известия о всероссийском погроме интеллигенции...

И вот свершилось: из министерства внутренних дел пришла бумага об устранении Павла Николаевича Кудышева от должности председателя алатырской земской управы, а спустя еще неделю к нему на дом приехал жандармский ротмистр, расшаркался, спросил о здоровье супруги и матушки и, когда предчувствовавший беду Павел Николаевич усадил его в кресло и спросил: «Чем могу слу-

жить?» — ротмистр извинился и с виноватой улыбочкой сочувственно сказал:

— К сожалению, я приехал исполнить весьма тяжелую служебную обязанность: потрудитесь, Павел Николаевич, прочитать эту бумагу и дать соответствующую подписку...

Павел Николаевич прочитал поданную ему бумагу: это было распоряжение департамента полиции о высылке его административным порядком на три года в город Архангельск.

Павел Николаевич покраснел. Ему хотелось выгнать вон или даже дать в физиономию виновато улыбавшемуся ротмистру, но он умел скрывать свои мысли и желания:

— Что ж! И в Архангельске люди живут... Так прикажете расписаться, что сие произведение читал?

— Да... и что обязуетесь в течение двухнедельного срока добровольно выехать в город Архангельск.

— Почему же не этапным порядком?..

— Полагаю, что это любезность лично к вам... Вот нашего секретаря, господина Крестовоздвиженского, направили тоже в Архан-

гельск, но другим порядком... Именно этапным.

Павел Николаевич засмеялся очень весело и, давая подписанную бумагу, спросил:

— Что еще прикажете?

— Все. Позвольте пожелать вам всего наилучшего...

Ротмистр звякнул шпорами и вышел из кабинета. Павлу Николаевичу захотелось вдруг кольнуть язвительной насмешкой ротмистра. Выйдя в переднюю проводить гостя, Павел Николаевич, пока гость надевал пальто, любезно издевался:

— Ну, а как ваше исследование о хвостиках?

— Как-с?

— Говорят о чудесах, явленных Господом жандармскому управлению...

— Не понимаю, Павел Николаевич...

— Да ходит слух, что у конфискованной в земской управе пишущей машинки наблюдаются странные явления: у некоторых букв шрифта то атрофируются, то снова появляются хвостики?

Ротмистр обиделся. Промолчал и, сделав

честь по-военному, удалился.

Странное произошло в душе Павла Николаевича. Три недели он пребывал в угнетенном состоянии духа, а теперь, после визита ротмистра с приговором ссылки в Архангельск, ободрился, повеселел и проникся чувством необычайной гражданской гордости. Возбужденно, заложив руки в карманы брюк, ходил по кабинету, вскидывал голову и произносил:

— Бог не выдаст, Плехе не съест!

Обдумывал, как подготовить жену к этому новому удару. Как-никак, а все-таки — переворот в жизни, ломка семейного быта, что всегда пугает женщин. Неожиданное переселение.

К сожалению, кто-то уже предупредил Павла Николаевича. Жена отсутствовала, а когда вернулась домой, то ворвалась в кабинет мужа с ужасом на лице и с безумно-блуждающим взором:

— Сейчас мне сказали, что тебя — в Сибирь... на каторгу!..

— погоди... Сядь и не волнуйся! Ничего страшного нет...

— Значит, правда?

— И не в Сибирь, и не в каторгу, и не в тюрьму...

Леночка поняла одно: старается успокоить, но — правда...

И она, кинувшись на грудь Малявочки, обхватила его шею руками и разразилась неутешным рыданием...

— Ну, полно, полно, перестань!.. — ворковал Павел Николаевич веселым, полным мужества и спокойствия баском. — Ну, ну! Ты все еще птичка Божия...

Посадил на диван, отпоил холодной водой и начал наскоро зашивать нанесенную кем-то на базаре душевную рану жены своей:

— И какой дурак так напугал мою птичку? Во-первых — не в Сибирь и не в каторгу, а просто в Архангельск, губернский город Архангельск. И всего на два года. (Павел Николаевич год убавил.) Это временная почетная ссылка. Я буду там жить на свободе, как живут все остальные жители... Архангельск — большой прекрасный город, в десять раз лучше, красивее и культурнее нашего Алатыря! Между прочим, там памятник «архангельско-

му мужику» Ломоносову...[523]

— Там на собаках, кажется, ездят? — тихо спросила Леночка, отирая платком слезы.

— И на оленях, и на собаках, но никто не возбраняет ездить и на лошадях. В городе много извозчиков, а на собаках и оленях путешествуют только самоеды[524] и научные экспедиции... Город стоит на огромной реке, вроде Волги, на Северной Двине... Кстати — там бывают великолепные северные сияния! Там избранное интеллигентное общество, не чета Алатырю. Там, можно сказать, — сливки интеллигенции...

— Какие сливки?

— Да ссыльные. Много почтенных общественных, работников, публицистов, писателей, людей науки... И наших земцев много! Туда и воронежских земцев — Бунакова, Мартынова, выслали, тверичан некоторых... Знаешь, туда же отправили и нашего Елевферия Митрофановича Крестовоздвиженского! Там вообще мы найдем немало знакомых...

— Туда же? — улыбаясь сквозь слезки, радостно спросила Леночка.

— Откровенно говоря, я готов благодарить

Плеве за эту интереснейшую командировку! Сперва я поеду один, найму хорошую квартиру, вообще устроюсь, а потом вы все приедете. Я давно мечтал вылезти из нашего болота, отдохнуть и попутешествовать...

Вообще выходило так, что Леночке оставалось не плакать, а радоваться. И она повеселела. Беспокоил ее только денежный вопрос, но и тут они, посоветовавшись, нашли выход: у бабушки — Леночка это знает! — припрятано было двенадцать тысяч. На свадьбу Наташи ушло всего три тысячи, значит — девять осталось. У Леночки есть фамильные бриллианты, даны были в приданое...

— И потом эти матушкины предки... Три портрета писаны знаменитым художником Левицким[525], — ведь это мертвый капитал! — вспомнил вдруг Павел Николаевич. — Ведь это верных тысяч... ну, пятнадцать — двадцать тысяч! Кому нужны эти предки?!

— Ты поговори с матерью... Ведь я не менее пятнадцати лет батрачил на всех в имении! Наконец, я надеюсь, что найду работу и в Архангельске... Важно иметь сейчас хотя бы тысячи три, чтобы мне поехать и устроить-

ся...

Тут Леночка улыбнулась, прижалась к мужу кошечкой и призналась, что у нее самой припрятано пять тысяч двести!

— Вот ты меня все бранил, говорил, что это — мещанство, а теперь...

— Ну, а теперь поцелую!

После ужина Леночка отправилась наверх к бабушке, чтобы рассказать ей обо всем, что случилось, и выпросить «предков» из отчего дома...

Заряженная оптимизмом Павла Николаевича, Леночка говорила с бабушкой таким тоном, что та рассердилась:

— Чему ж ты сдуру обрадовалась-то?

— Там нам будет лучше даже, чем в Алатыре! Весной и мы переедем...

— Нет. Меня избавьте от этого удовольствия. Никогда ни в тюрьмах, ни в каторгах, ни в ссылках еще не бывала, этой чести не достаивалась! Пусть уж сынки эту царскую службу и отбывают. С меня и этого достаточно, Ленушка... Мне бы только в мире и покаянии скончаться Бог привел...

Леночка незаметно перешла на нужду в

деньгах и на ликвидацию «предков».

Бабушка сперва рассердилась и расплакалась:

— Эх, детки! Отца родного готовы продать...

Потом смирилась: есть там один портрет дальнего предка, по каким-то воспоминаниям родовым, непутевого, безбожного человека, который из православной веры в раскол ушел... Его, пожалуй, и не жалко отдать бабушке. Только чего он стоит?.. Его отдам, а других, пока жива, не могу. Вот помру — тогда все равно уж...

Поохала, покряхтела бабушка, порылась в какой-то рухляди, отвернувшись лицом к стене, и дала Леночке что-то завернутое в шелковую тряпочку:

— На вот тебе... Тут пять тысяч... Умрешь, ничего с собой не возьмешь...

Леночка вздрогнула от радости и стала целовать бабушку...

— Поедем, бабушка, с нами!

— Нет, не проси... Хочу в родную землю лечь...

— Ну что вы, бабушка, такое говорите...

Успеете еще... поживете еще...

Поздно вернулась Леночка на супружеское ложе. Павел Николаевич уже улегся и читал «Русские ведомости», в которых было напечатано иносказательно о разгроме земцев. Приводился список «временно переезжающих на жительство» в город Архангельск общественных деятелей. В этом списке значилось и его имя. Это внесло в душу его некоторую удовлетворенность своей личностью, а тут еще улыбающаяся Леночка, полная радостной тайны.

— Ну, как дела, птичка?

Леночка наскоро сбросила халатик и нырнула под одеяло. Все прекрасно! Сама ехать не хочет, но вот... дала пять тысяч... и разрешила взять один портрет... Знаешь, с левого края!

— Это же лучший портрет Левицкого!

— Вот видишь: у меня пять тысяч двести да эти пять тысяч! Да, наверное, и Наташа придет. У них денег много...

Так все прекрасно, что Леночка перекрестилась и обняла горячими руками своего героя Малявочку...

XIV

Бабушкин дом в городке Алатыре на целую

неделю сделался центром внимания, удивления, восхищения и умиления всех жителей обоюго пола, от интеллигента с высшим образованием до малограмотного лавочника...

В этом доме — герой, павший в борьбе с неправдой, пострадавший за высокие идеалы, за любовь к народу, за свои смелые суждения, вообще за что-то такое, достойное восхваления, чего благополучный житель в себе не чувствовал, но что, хотя и втайне, продолжал считать в числе высоких добродетелей...

Неизвестно, что чувствовали местные власти высшего сорта, но вот как потихоньку друг с другом говорили городской будочник со сторожем земской больницы:

— Кого это к вам в больницу привезли ночью?

— Из имения нашего предводителя, генерала... На охране у него человек был мухамеданского исповедания... Жид не жид, цыган не цыган, а пес его знает. Не русский он. Вилами ему крестьяне брюхо пропороли. Операцию будут делать...

— Это за что же его вилами-то?

— Очень, сказывают, народ забижал... Жа-

ловались на его туда-сюда, а ничего не вышло... За генералом служит, ничего не поделаешь с ним...

Вот тут разговор и перешел на злобу дня:

— Попробуй теперь — заступись за простой народ, за правду-то, — так если тебя с места стонят, с должности то есть, — скажи: слава Богу! А то и хуже случается. Вон у нас председателем-то земским — Павел-то Миколаич! Не токмо что с места прочь, а на поселение определили и, сказывают, в такие места, где ночь половину года тянется. Вот ты и подумай, как в такой темноте жить человеку? А за что его?

Тут сторож оглядывался и полушепотом объяснял:

— За народ заступился... Жалобу, значит, царю подал, чтобы крестьянам землю дали...

— Куда! Разя допустят, чтобы жалоба такая до царя дошла?! — тихо, оглядываясь по сторонам, говорил будочник. — Жалко барина-то, Павла Николаевича. Завсегда ласковый со всеми был. На чай меньше целкового не давал...

— Да уж такой человек, что и днем с огнем

не сыщешь! Сколько лет хорош был, а как за народ заступился — марш с места на край света, где, сказывают, всякие дикие звери и народы... полгода спят, а другие пол года в шкурах сидят и собак жрут... Вот как с такими людьми-то, как наш председатель земский!..

Удивительнее всего было геройство самого жителя. В былые времена он по трусости и мимо бабушкиного дома перестал бы ходить, чтобы на себя подозрение в сочувствии преступнику со стороны властей не навлечь, а теперь среди белого дня ползут и едут к бабушкиному дому, чтобы выказать свое внимание и тем засвидетельствовать свою солидарность! И купцы, и водяные и железнодорожные инженеры, и техники, и учителя прогимназии и уездного училища, и земские врачи, и служащие земской и городской управы, и даже гимназисты с гимназистками...

Даже и отец Варсонофий побывал, не говоря о генерале Замураеве, который, как отец Леночки и друг бабушки, должен был высказать свое соболезнование по случаю постигшего их несчастья.

Генерал был смущен и даже как будто пе-

чален. Павел Николаевич встретил его холодно-новато, а кроме того — очутился, так сказать, один на один с побежденными врагами: он застал Павла Николаевича в обществе друзей.

— Ну, Павел Николаевич... Хотя мы с вами как бы на двух противоположных полюсах...

— От Архангельска Северный полюс далеко еще... — пошутил Павел Николаевич и рассмешил друзей, а генерала смутил еще более.

— Я о полюсах — в смысле наших политических взглядов... Но мы прежде всего — родственники, потом — коренные симбирцы и, наконец, люди...

Павел Николаевич опять перебил генерала:

— Почему — «наконец, люди»? По-моему, вашу формулу надо перевернуть вверх ногами: сперва — люди, потом — симбирцы и, наконец, — родственники...

— Теперь — все вверх ногами! — отшутился генерал и засмеялся вместе со всеми прочими гостями. — А впрочем, и так согласен: люди!.. И потому по-человечески я совершенно искренно опечален постигшим вас несчастьем и написал уже в Петербург, где у меня

сейчас имеются кое-какие связи, о возможном смягчении приговора...

Павел Николаевич даже вздрогнул.

— Ваше превосходительство! Я вас об этом не просил и в покровительстве ваших столичных приятелей совершенно не нуждаюсь... Если им благоугодно считать мою работу на пользу родины и народа — государственным преступлением, то и я вправе считать их деятельность государственным преступлением. От этих государственных преступников, заодно с которыми работаете и вы, ваше превосходительство, я не приму никакой милости! И вы не имели никакого права без моего согласия...

— Я имел нравственное право поступить так, если не лично для вас, то для своей дочери и... вашей матушки, которая меня просила...

— Ах, папочка! — весело воскликнула Ляночка, заглядывая в дверь кабинета.

Генерал воспользовался этим моментом и сбежал из вражеского стана.

— Вот, господа, положение! Поистине, «услужливый дурак опаснее врага»! — произ-

нес взволнованный и оскорбленный Павел Николаевич.

Ходил по кабинету при молчаливом сочувствии друзей и размышлял вслух:

— И никак от этого столбового дворянского хвоста не отделаешься! Думал, что покончено с этим хвостом, — отрубили! Так нет, тянется... А потом начнут болтать, что я сам просил помилования! Эх!.. Хорошо, что все это произошло при свидетелях...

Конечно, все происшедшее в кабинете моментально сделалось известным в городке, и эта свеженькая сенсация еще более возвеличила популярность местного героя.

Уже организованся комитет по прощальному чествованию Павла Николаевича, и запись желающих принять участие в прощальном обеде и в расходах на подарок от друзей, знакомых и почитателей росла буквально по часам. Городской голова Тыркин и симбирский купец Ананькин внесли по 500 рублей, общая сумма взносов уже приближалась к двум тысячам и все еще нарастала...

Оно и понятно. Обывательское гражданское мужество, неспособное на большую лич-

ную жертву подвига, направлялось всегда по руслу личной безопасности: отслужить панихиду, почествовать назло начальству обедом, устроить проводы на вокзале...

Суматоха в городке необычайная. И мужчины, и дамы в возбужденном состоянии. Споры, ссоры, недоразумения. Как и где чествовать? Кто будет говорить речи и в каком порядке? В каких границах допустим в этих речах политический характер? Какой подарок: альбом с собственными фотографиями, золотой жетон или портсигар? Где достать лавры для венка? Кто из женщин поднесет букет жене героя, и кто прочитает в ее честь отрывок из «Русских женщин»[526] Некрасова? Насколько тактично спеть хором «Дубинушку»[527]?.. Сотня вопросов, требующих быстрого разрешения.

Уже сто двадцать четыре человека записались. Помимо общего подарка сооружаются подарки от разных групп интеллигенции. Одним словом, опять событие государственной важности...

И все бы это ничего, но вот какое непредусмотренное и неразрешимое происшествие

встало на пути чествования: комитет по устройству чествования неожиданно получил письмо от жандармского ротмистра с просьбой записать его в число участников обеда!

Как быть? Возможно ли?

Ваня Ананькин, непреременный участник на свадьбах, похоронах, обедах и пикниках, после совещания с Павлом Николаевичем заявил комитету, что если на обеде будет присутствовать жандарм, то он предпочитает не обедать. То же самое заявили очень многие из подписавшихся.

Безвыходное положение!

Хочешь не хочешь, а подавай гражданское мужество более высокого сорта!

Не принять заявленной записи ротмистра — это значит подтвердить свою политическую неблагонадежность и сделаться личным врагом весьма могущественного представителя власти.

Комитет раскололся. Принципиально все находили участие ротмистра равносильным издевательству над общественным мнением, но в какой форме отказать? Отказать, чтобы

никакой политики незаметно было? Как ни ворочали мозгами — ничего не придумаешь. Прямо хоть отменяй всю музыку!..

В самую критическую минуту, когда вся затея была готова развалиться от мины, заложенной жандармским ротмистром, подвыпивший Ваня разрешил единым духом политическую проблему:

— Очень просто! Обедов никаких не будет, отменим, о чем в клубе выставим объявление. Так и так, за отказом Павла Николаевича от официального чествования и т. д. А я устраиваю прогулку на своем пароходе и приглашаю кого хочу! Я не обязан приглашать починам и званиям... Пускай на меня озлится: мне ни тепло, ни холодно. Я живу в Симбирске и уж если тамошнего губернатора и жандармского полковника не приглашаю, так вашему ротмистру и обидеться не полагается! Даю пароход в полное распоряжение и печатаю и рассылаю приглашительные карточки. А все остальное на своем месте: как было.

Эта гениальная изобретательность Вани была встречена восторженно, и ротмистр получил очень любезное письмо:

Польщенный Вашим любезным вниманием, Комитет, к сожалению, должен Вам сообщить, что Павел Николаевич Кудышев от общественного чествования отказался. Вследствие изложенного имеем честь препроводить при сем Ваш взнос в сумме трех рублей. Комитет.

(Подписи — неразборчиво).

Телеграмма в Симбирск — и через два дня пароход «Стрела», разукрашенный зеленью и флагами, стоял уже на якоре у пароходных пристаней, а Ваня Ананькин щеголял по городу в капитанской форме своего изобретения.

На стенах клуба появилось объявление об отмене торжественного обеда, и записавшиеся на него приглашались получить обратно свои взносы. Конечно, исправник и ротмистр быстро пронюхали эту хитрую проделку, изобретенную Ваней Ананькиным, но никакой новой мины придумать не сумели.

Впрочем, Ваню все-таки они укусили. Както он забежал в клуб пообедать и наткнулся на исправника с ротмистром.

— Мое почтение! Скажите, пожалуйста, что это на вас за форма и кем она вам присво-

ена?

— Обыкновенная... Волжские капитаны носят...

— Носят бывшие чиновники и офицеры Морского ведомства, и то совершенно не такую, какую изволили вы изобрести. Вы, конечно, большой изобретатель, но в данном случае это — самозванство... Потрудитесь снять!

Ваня сострил:

— Затрудняюсь... Я в общественном месте, где без брюк и пиджака как-то не принято...

Исправник послал за надзирателем и приказал ему составить протокол о незаконном ношении неприсвоенной формы.

— Я окончил Нижегородское речное училище и потому имею право носить форму.

— Я отлично знаю эту форму. Она весьма скромна, а вы вообразили себя адмиралом, нацепили себе какие-то погоны со звездами, золото на рукавах и даже белые штаны...

— Прошу записать, что я пребываю в обыкновенных летних белых брюках!

Составили протокол и дали подписать его Ване. Ваня прочитал и сделал огромнейшую

оговорку, прочитав которую исправник заметил ротмистру:

— За эту оговорку можно посадить на скамью обвиняемых уже по другому делу: тут оскорбительное вышучивание властей и законов...

Весь город хохотал, когда узнал, как Ване Ананькину предложили в клубе снять штаны, на что он не согласился. Это происшествие так раскрасили в передаче друг другу, что и Ваня временно сделался героем!

— Скорее вон из этой дыры! — говорил Павел Николаевич, укладывая дорожные чемоданы.

Он уговорил Леночку принять предложение Вани: поехать на пароходе до Нижнего и оттуда — прямо в Архангельск через Москву.

Ваня накануне погрузил все вещи Кудышевых на свой пароход, и никто не знал, что они уже не вернутся в Алатырь...

День отъезда их был последним значительным событием в городке. Казалось, что снялся с места и поехал весь культурный Алатырь. На пристани творилось небывалое. Огромнейшая толпа народа шумела около

пристаней, привлеченная разукрашенным пароходом, оркестром музыки на его балконе и вереницами нарядных барынь под разноцветными зонтиками, с букетами цветов, венками и китайскими фонариками для задуманной иллюминации...

Когда Павел Николаевич с женой и мальчиком Женькой подъехали в щегольском экипаже (дал Тыркин) к пароходу, грянула музыка, взвился флаг на мачте, с парохода понеслось «ура»...

Ну а что делалось потом на пароходе — сказать не могу, ибо не присутствовал, как и бабушка, которая, оставшись одна в опустевшем доме, повалилась на постель и горько заплакала.

Ну вот и проводили «героя»!.. Кончилась мышинная беготня в Алатыре, и городок снова стал походить на ленивого жителя, который только что продрал глаза, позевывает, почесывается и вспоминает: что такое вчера случилось и отчего это на душе не совсем спокойно?

Точно всем стало вдруг нечего делать. Скучно. Так бывает в доме, когда веселые го-

сти разойдутся и оставят после себя только неряшливые столы с объедками и недопитыми стаканами...

XV

Притих, нахмурился, задумался старый бабушкин дом...

Бывало, и в нем, и около него жизнь кипит, мышинная суетня с утра до ночи. Ползут и едут люди, кто в дом, кто из дому. Около парадного крыльца — извозчицы, почтовые пары, своя лошадь поджидает. Стемнеет, все окна в доме приветливыми огнями в темноту подмигивают и прохожих приманивают...

Теперь точно и люди в дом не ходят. Парадное крыльцо — на запоре. Все окна нижнего этажа ставнями закрыты и болтами приперты. В темноте только три окошка верхнего этажа светятся, один красноватым огоньком, — только поэтому и можно догадаться, что в доме живые люди есть.

Раз красный огонек видать, значит — лампадка горит, а если лампадка теплится, значит — старая Кудышиха не уехала...

Зимовать бабушка осталась. Захотелось около храмов Божиих да монастырей пожить,

помолиться сокрушенно в одиночестве о всех несчастных детях, да и о своей грешной душе тоже, хорошего церковного пения и благолепного служения послушать.

Дом огромный, на свои вкусы предками строен: закоулочки да переулочки, площадки да лесенки. Заплутать можно. Разве натопишь его в холода? А старые кости тепло любят. Вот бабушка нижний этаж наглухо заперла, а сама наверх перебралась: там комнаты меньше, ниже, теплее и уютнее.

С бабушкой трое зимуют: глухой и дремотный верный слуга Фома Алексеич, оставленный бабушкой кучер Павла Николаевича, старый отставной солдат Ерофеич, да никудышевская старая баба, много лет служившая в доме и за кухарку, и за сторожа, когда дом пустовал, Нинила Фадевна. Люди болтают, что у Ерофеича с Нинилой Фадевной дело-то не совсем чисто... Не особенно верит бабушка этим слухам, однако на всякий случай Нинилу-то Фадевну в коридорчике около своей комнаты укладывает. Страшно мне — говорит. А может быть, и действительно страшно бабушке: опустевший дом, звонок стал, крысы простор по-

чуяли, комоды да буфеты грызут по ночам... А осень злая, ветреная, в печных трубах точно волки воют...

А помимо того, все-таки живой человек женского пола эта Нинила Фадевна. Есть с кем словом обмолвиться. Нинила Фадевна даже в пасьянсах разбираться научилась и потом хорошо на картах гадает и сны объясняет. А бабушка все какие-то вещие сны стала видеть. Значит, и тем для разговоров у бабушки с Нинилой всегда достаточно. И тем еще Нинила хороша, что все новости, как сорока на хвосте, в дом приносит.

У нее везде знакомства: на базаре, в лавках, в полиции, в больнице. Нинила знает все, что вчера в городке случилось интересного, и доклады бабушке делает... Навещают изредка бабушку генерал Замураев, его сынок, земский начальник Коко, и городской голова Тыркин да отец Варсонофий. Сама бабушка только помолиться Господу из дома выезжает.

Тихо-тихо в доме, и тихо на душе. Удивляется бабушка: при Павле Николаевиче казалось, что и в городе, и на всем белом свете ка-

кое-то опасное волнение происходит и того гляди, что случится какая-то беда. Все страдал, что «все мы на бочке с порохом сидим». Очень запомнилось бабушке это выражение... Так оно и казалось тогда бабушке: точно на бочке с порохом. Бывало, чуть где сильно стукнут или уронят что, бабушка в ужас приходит. А теперь кажется, что и в доме, и в городе, и на всем белом свете — тихо все, и твердо, и неизменно, и никакой бочки с порохом нет вовсе...

В тихую и однообразную размеренную жизнь бабушки врываются изредка вестниками радости письма Наташи. Событие на целую неделю!

— Нинила Фадевна! Письмецо от нашей ласточки получила!..

Не с кем поделиться радостью, поневоле и Нинилу слушать заставляет...

Миленькая, родненькая бабуся! Уж так я по тебе соскучилась, что и сказать не умею. Адамчик предлагает весной поехать в Италию, а я не желаю. По-моему, нет ничего прекраснее на свете, как наша Никудышевка! Я хо-

чу приехать на Пасху к тебе, и мы поедем в Никудышевку на все лето...

От Наташи пришла первая весточка и о высланных. Они останавливались проездом в Архангельск в Москве и пробыли у дочери три дня. Адамчик помог Павлу Николаевичу продать портрет предка одному московскому миллионеру за десять тысяч рублей.

— Десять тысяч рублей!

Бабушка протерла очки, оседлала нос и еще раз прочитала: да, за десять тысяч!

— Слышишь, Нинила Фадевна? Портрет-то, который из Никудышевки увезли, продали в Москве за десять тысяч!

— Да неужели?

— Небось, все подсмеивались, бывало, над предками-то. А кто выручил?

Сколько у бабушки портретов? Еще семь осталось. Если за каждый по десяти тысяч дадут, ведь это семьдесят тысяч! Целый капитал... Задумалась бабушка, вздохнула и прошептала:

— Нет, нет... Как же можно продать?

...Адамчик так занят делами, что я мало его вижу. Все разъезжает и защи-

щает, а я увлекаюсь Художественным театром[528]. Бабушка! Не можешь себе представить, как мне захотелось быть актрисой!

— Ну, вот это уж напрасно... Сохрани, Господи, и помилуй!

Большая работа бабушке: написать такое письмо, чтобы выбросила из головы все эти глупости.

Пришло, наконец, письмо и от Леночки из Архангельска. Устроились хорошо. Жизнь очень дешевая. Живут весело. Много здесь интересных людей. У них по средам собирается сосланная интеллигенция на «буржуазные пироги». Устраиваются доклады, есть писатели и поэты. Женьку отдали в гимназию...

Все хорошо. Ничего страшного не оказалось. В конце письма приписка:

«Говорят, что и симбирского губернатора переводят сюда же. Малявочка в восторге».

— Про собак-то ничего не пишут? — спросила Нинила Фадевна.

— Про каких собак?

— А что, дескать, там на собаках люди ездят?

— Порядочные люди и там, матушка, на лошадях ездят...

И так тихо и мирно тянулись дни за днями.

Конечно, тут речь идет только о «бабушкиных днях», протекавших в родном доме. А в России все шло своим роковым порядком или, вернее сказать, — роковым беспорядком...

Ставка на «мужика» министра Витте снова бита. Ставка на «дворянина» выиграна. Все — как правые, так и левые — ждали, что побежденный и униженный председатель «Особого совещания» с его разгромленными комитетами должен будет уйти, а победитель Плеве решать судьбы России, но этого, к общему удивлению, не случилось. Оба противника и злейших врага остались на своих местах. Царь держался за одного, но на всякий случай не отпускал и другого.

Либералы, злобствуя, остряли:

— У царя две руки: правая — Плеве, а левая — Витте, и правая рука не должна знать того, что делает левая...[529] Одна рука мужика по головке гладит, а другая нагайками по-

рет. Одна о европейском равноправии печется, а другая Кишиневские погромы[530] устраивает.

Или:

— Где Плеве не сможет, там Витте поможет! А где Витте не сможет, там Плеве поможет...

Вот что сказал по поводу этих острот симбирский купец Яков Иванович Ананькин, политик доморощенный, но человек простого здравого смысла и житейской мудрости:

— Эх, господа честные! Посади которого из вас на место царя, поглядел бы я, как он стал бы править... Скажем так — пожар в доме. Что делать: хватать пожарную кишку али разговаривать о том, как сделать, чтобы никогда больше пожаров в доме не случилось? Без пожарной кишки невозможно. Сперва пожарный требуется, а как пожар потушим, можно не торопясь и правила такие придумать, чтобы пожарной опасности не было. Говорите — две руки. Неправильно! Один вроде как пожарная кишка — революцию тушит, а другой изобретатель: как несгораемую постройку сделать... А стало быть, оба царю

нужны: и Витте, и Плеве... Каждый на своем месте хорош...

— Так, значит, ты, Яков Иванович, думаешь, что у нас революция?

— А что же это такое: министров и губернаторов стреляют, везде забастовки, по всей России народ бунтует... А вам какой еще леварюции нужно?!

— Это еще так... предисловие...

— Так вот и надо вовремя прикончить! Пока еще дымит только, а огонь наружу не вырвался... А вы, господа хорошие, лучше сказали бы, как царю-то с нами, дураками, быть? Правды ему не сказывают, на все стороны тянут для корысти своей, а ему никого обижать неохота...

При всей своей неучености Яков Иванович был прав: революция уже гуляла на всех просторах необъятного царства, сверху донизу. Не видели этого только «бабушки» обоего пола, правительство, называющее ее беспорядками и нарушением государственной тишины и спокойствия, да передовая интеллигенция, представлявшая ее себе в картинах «Великой французской революции» с Маратами,

Дантонами, Робеспьерами[531], Бастилией [532], трибуналом и прочим.

Царь уверовал в своего «пожарного»: все-российская порка сделала свое дело — «мужик» повсеместно притих и примолк, и только в Саратовской и Пензенской губерниях продолжались еще усмирения. Помогла, впрочем, «пожарному» и приближающаяся зима: мужик, как медведь, полез в свою берлогу сосать собственную лапу. Тот же «пожарный» помог разогнать крамолу, скоплявшуюся вокруг зловредной затеи «красного министра», приведшей к тому, что беспочвенная интеллигенция заговорила о Всероссийском земском соборе... Ну, а с профессиональными революционерами такой решительный укротитель и подавно справится, имея в своем распоряжении такой прекрасный усовершенствованный аппарат, как Департамент полиции с Охранным отделением...[533]

В недрах последнего вот уже года три, как народился мудрец и изобретатель, открывший совершенно новый способ борьбы и искоренения из фабричных рабочих масс всяких социалистических утопий. Имя ему Зуба-

тов. Когда-то он сам был социалистом и революционером, а потому ему хорошо известны все методы и приемы социалистического подполья. Сей муж представил простой, как все великие открытия, способ обезвредить усилившуюся работу подпольной партии социал-демократов: для этого нужно взять рабочее движение под опеку Департамента полиции, то есть притвориться защитниками рабочих в их экономической борьбе с капиталистами. Для этого нужно подражать революционерам: устраивать рабочие организации, кассы взаимопомощи, рабочие школы, лекции и побольше кричать там о защите интересов рабочих. И, конечно, не жалеть при этом казенных денег... Не большая беда, если для укрепления своего влияния в рабочих массах придется иногда поддержать забастовку, произвести давление на фабриканта. Надо наглядно показать рабочим, что для них тут выгоднее, чем в нелегальной партии.

Эта идея пленила великого князя Сергея Александровича, и Зубатов оказался, в конце концов, во главе Охранного отделения. На первых порах надо было ярче рекламировать

себя в рабочих массах, и потому сразу возростали все крупные фабриканты и промышленники. Конечно, они обратились к министру Витте как творцу русской промышленности:

— Помилуйте! Да ведь что же это выходит? Министерство внутренних дел своими руками революцию поддерживает!

Министр финансов Витте начал воевать с министром внутренних дел. Но и тут неудача: поперек дороги встал великий князь Сергей Александрович. Плеве должен был согласиться, что не все тут благополучно, но распустить зубатовские организации не решился. Он только усовершенствовал их: полицейские чины, фабричная инспекция и духовенство должны приниматься в эти организации членами-соревнователями...[534]

Так появился на государственной сцене знаменитый впоследствии священник Гапон [535] как «член-соревнователь» в петербургских организациях полицейского социализма...

Так правительство обезвреживало революционную работу нелегальной партии социал-демократов.

По отношению к другой нелегальной партии, социалистов-революционеров, возобновивших террористические покушения и убийства, ничего нового никто не изобрел, но тут просто посчастливилось: Охранному отделению удалось посадить своего шпиона в самое сердце партии и сделать его революционным генералом самой Боевой организации. Имя ему — Евно Азеф[536].

Но не будем забегать вперед и вернемся в родные Палестины[537] отчего дома.

XVI

...Ну, вот и до новой весны дожили!..

Эх, как ласково солнышко вешнее! Всем светит, никакую тварь Божию не обижает: всем радость с голубых небес посылает... И богатым и бедным, здоровым и убогим, молодым и старым...

И что только делает это вешнее солнышко! Сколько раз помирать бабушка за зиму собиралась, о могиле своей подумывала, завещание свое пересматривала (ведь уже восемьдесят три весны пережила бабушка!), а как пришел Водолей да начал землю-матушку ко Христову Воскресению вешними водами об-

мывать, как поломала Сура ледяные оковы и понесла их в Волгу-матушку — опять помирать не хочется.

Нинила Фадевна зимние рамы уже кое-где выставила. Ерофеич санки убрал, тарантас моет и подмазывает. Глухой Фома Алексеич воду со двора на улицу спускает. Цепной пес сладко потягивается. В саду птичья трескотня да грачиный гомон... Скворчик прилетел и радостно булькает, сидя у скворечницы. Куры кудахчут, и петухи кричат. И весь городок точно живой водой волшебник sprysнул: все жители ожили, с утра до вечера на улицах, идут, бегут, на шумливых колесах по мокрым мостовым извозчики и телеги громяют, пароходы на Суре посвистывают, на пристанях народ копошится...

Грохот, шум радостный по земле идет, точно вся земля зашевелилась, радостными головами закричала и побежала навстречу Светлому Воскресению Христову...

Страстная неделя. Великопостные колокола о великих страстях Господних напоминают. Сокрушаться бы надо... Бабушка каждый день дважды в храме молится, пост строго

держит, псалмы Давидовы читает[538], а радость пугливая все не уходит, спряталась в уголке старой души и пугливо выглядывает...

Да ведь куда ее, радость-то, денешь, если на Страстной неделе Наташа приедет?

Наташа приедет! Наташа, Наташа, Наташа, Наташа!..

Грешно бы в такие страшные дни радоваться-то, а, видно, нету человека власти над душой своей...

Кипит уборка в доме. Все в этой работе. А тут бабушка от вешней радости и по случаю приезда Наташи вздумала и снаружи старый дом в праздничный вид привести... Маляры с домом покончили и теперь ограду палисадника и заборы докрашивают...

Ну и нарядился же бабушкин дом к праздничкам! Кто ни пройдет, кто ни проедет — все оглядываются и приятно улыбаются. Прямо не узнаешь...

Точно старая барыня вторую молодость переживает: оделась не полетам, попудрилась, подрумянилась и набелилась. Стены мелом с охрой покрашены, и от этого дом точно в легком золотистом платье толстая барыня вы-

глядит. Наличники у окон — шоколадного цвета — точно глаза подведенные. А зеленая крыша с трубами, флюгерами и с нависшими над ней ветвями запушившейся развертывающимися почками березы — точно модная дамская шляпа со страусовым пером и разными финтифлюшками...

Великий пост, а в доме все скоромные вкусные острые запахи: копченой ветчиной, топленым маслом, сдобным тестом, сметаной пахнет.

Хлопот полон рот у бабушки: и грехи отмаливать, и дом прибирать, и пасхальный стол приготовить. А бес, конечно, этим и пользуется.

Господи, Владыко живота моего!
[539]

Губы шепчут: «И не осуждати брата моего!» — а в мыслях: «опять плут Ерофеич сдачи пятачок недодал! Я тебя выведу на чистую воду!»

Недолюбливает Ерофеича бабушка. И не потому, чтобы Ерофеич был человек нехороший, а просто как увидит Ерофеича, так и

вспомнит покойника Никиту, — сразу рассердится, точно Ерофеич виноват в том, что Никита помер.

— Прости, Господи, мое согрешение! Осудила брата моего...

«Заботы наши, как мыши ночью, душу человеческую грызут», — подумала бабушка, и тут опять неподходящее в мысли полезло: вспомнила, что по ночам крысы в комнатах нижних бегают, как кошки, и грызут комоды и буфеты разные. Надо Ерофеича к арендатору Абраму Ильичу послать: нет ли у него какого-нибудь средства от крыс и мышей?

Вернулась от вечерни, побранила Ерофеича за недоданный пятак и послала к Абраму Ильичу.

И этим воспользовался лукавый. Большая неприятность вышла.

Пришел Абрам Ильич. Хмурый, недовольный чем-то. Поздоровались.

— Ну, какое у вас до меня дело, мамаша?

— А ты что сердитый такой?

Абрам Ильич пожал плечом, погладил бороду:

— У меня, мамаша, большая неприят-

ность... Что вы от меня хотите?

— Да вот, родной мой, крысы нас одолевают. Покою по ночам не дают. Не знаешь ли какого-нибудь средства!

— Э! Что может, мамаша, человеку сделать крыса?

— У тебя на мельнице тоже есть крысы. Как ты их выводишь?

— Э, мамаша! Я не мешаю, мамаша, крысам. Надо как-нибудь жить и крысам... А вот скажите, мамаша, как жить нам, евреям, для которых уже придумали такое средство, какое хочет мамаша...

— Говори толком! Ничего не понимаю...

Абрам Ильич рассказал про Кишиневский погром, вынул клетчатый платок и отер слезу: у него убили в Кишиневе сестру и ее грудного ребенка. А сейчас он узнал, что умер в больнице его торговый компаньон, и теперь тот не может заплатить ему большие деньги: его лавку разграбили и семейство — нищие. Власти не хотели помешать: смотрели себе, как евреев грабили и убивали.

— А вы пожаловались бы своему Витте: он ведь стоит за вас, за жидов!

— Что, мамаша, значит Витте, когда уже есть Плеве? Вы знаете, мамаша, что сказал этот министр нашей депутации после Кишиневского погрома? Он сказал: пусть ваши дети прекратят революцию, и я прекращу погромы!

— А разве это не правда? Все говорят, что у нас жидаы делают революцию...

— Мы делаем революцию? Разве ваши дети, мамаша, жидаы? А где ваши дети? Почему два были в Сибири, а почтенный такой Павел Николаевич должен был поселиться в Архангельске? Если, мамаша, ваши дети делают революцию, а наши помогают, так за это можно вас, мамаша, убить и ограбить? И ваши, и наши дети вместе делают это дело, почему же не убить не ограбить не одного меня, а нас вместе, мамаша?

Трудно сказать, что оскорбило бабушку. То ли что Абрам Ильич попрекнул ее детьми-революционерами, то ли употребленный им сравнительный метод, при котором и она, бабушка, очутилась в таком же правовом положении, как и этот «жидок», но бабушка даже побледнела от этой дерзости суждений Фиш-

мана и, задыхаясь от гнева, сказала:

— Вот что... Поди вон! Вон отсюда! Чтобы жидовским запахом не пахло!

Абрам Ильич пожал плечом и смущенно вышел, а бабушка с тяжелым дыханием осталась в кресле и выбрасывала кусочки негодования:

— Ах, нахал! А? Вот до чего... обнаглели как... генерал правду сказал... Ух! Нинилушка... дай стакан водицы!

— Что случилось, матушка барыня? Что он, жидюга?..

— И меня, видишь ли, надо убить и ограбить...

Потом бабушка, успокоившись маленько, начала припоминать весь этот неприятный разговор и сама не могла найти возмутившее ее преступление Абрама Ильича. Ведь он сказал только, что за преступление детей нельзя наказывать родителей! Дерзко как-то сказал это, а подумаешь, так оно, конечно, верно... Напрасно погорячилась и выгнала Абрашку!

Исповедуясь, бабушка рассказала все отцу Варсонофию, покаялась и сняла этот грех с души своей.

В Великий четверг приехала Наташа. Целовались и плакали обе от радости. Пристально смотрели в лица друг другу, точно не могли наглядеться...

— Вот ты какая стала!

— А ты, бабушка, ни капельки не постарела!

Точно ласточка в доме завелась: летает по всему дому, веселая, говорливая, непоседливая. Все ей надо посмотреть: как было и как стало? Все разузнать: что с кем случилось? Что-то переменялось в Наташе: она новой меркой стала мерить все окружающее. Рвалась назад к недавнему прошлому и во всем точно разочаровывалась. Все теперь не таким ей кажется — погуляла по улицам городка и вернулась недовольная:

— По-моему, лучше жить в деревне, чем в таком городе. Ходят люди, как сонные мухи. Даже смотреть скучно на них... Выгорел он, что ли? Раньше больше был...

— Побывала за границами да в столицах, вот и не нравится теперь Алатырь. Люди как люди!

— Смешные какие-то. Точно все притворя-

ются большими, а на самом деле — маленькие...

— Должно быть, сама выросла больно...

Уж как дружила Наташа с Людочкой Тыркиной, а повидалась и разочаровалась в своей бывшей подруге:

— А все-таки, бабушка, она не умная!

— Верно, сама больно умна стала... Где уж нам, провинциалам, с тобой равняться...

Бабушку и обижала, и пугала какая-то перемена в Наташе. «Это уж московское в ней», — думала бабушка, но что именно разумела под «московским», и для самой было неясно. Гордость, что ли, особенная, столичная...

В церковь ездит с бабушкой охотно и молится Богу хорошо, как прежде: вся в молитву уходит, а придет домой — к роялю и романс разучивает.

— Наташа! Пост великий, а ты песенки поешь!

— Неужели, бабуся, ты думаешь, что Бог будет сердиться, если где-то в Алатыре в посту на рояле играют? Вот ты любишь псалмы Давидовы читать, а Давид их пел под акком-

панемент арфы. Бог любит музыку...

— Набралась уж в Москве всяких глупостей...

То очень уж весела и бойка на слово, то точно увянет вдруг и делается грустной и задумчивой.

— Что ты, по мужу соскучилась? Скоро же!

— Я? Нет. Так... Мой Адамчик не такой веселый, чтобы без него скучать...

— Адамчик? Это ты мужа своего так окрестила? Точно мальчика называешь...

Конечно, бабушку больше всего беспокоил вопрос: счастлива ли Наташа в семейной жизни? Странно, что не говорит о нем.

— Невеселый, говоришь, Адам-то Брониславин?

— Не очень.

— Это не мешает человеку быть верным и любящим мужем... Не может же человек в его возрасте и положении козлом около тебя прыгать!

Наташа звонко и весело расхохоталась. Вся грусть в ней сразу прошла...

И снова за роялем, напевает: «Я вас ждала, но вы, вы не пришли!»[540] Тут уж бабушка

вскипела. Прогнала от рояля и крышкой хлопнула:

— Страсти Господни скоро читать будут, а у нас музыка... Нет уж... В чужой монастырь со своим уставом не ходят, Наташа. У вас в Москве по-своему, а у нас в Алатыре — по-своему...

Наташа не обиделась, а повисла на бабушке и давай ее целовать... Слезы из глаз прыгают, целует и шепчет:

— Я, бабуся, скверная стала... Прости меня, не сердись!..

Чует бабушка, что не все тут благополучно, но в чем дело — понять не может. Спят они вместе в бабушкиной комнате. Перед сном потихоньку разговаривают. Вот бабушка и старается выпытать тайну...

— Ты писала мне, что театрами увлекаешься?

Стоило только заговорить про театр, как Наташа загорелась, села в постели: глаза большие, щеки пылают, голосок захлебывается:

— Я всего больше на свете люблю театр, бабуся! Я настоящую жизнь не люблю, а люб-

лю выдуманную. Настоящая жизнь... противная! Ну да! А в театре даже на злого и скверного человека интересно смотреть. Ах, если бы ты, бабуся, побывала в нашем Художественном театре! Вот, например, «Три сестры» или... «Вишневый сад»... Я всегда плачу в театре, бабуся! Смеюсь и плачу...

— Что же, с мужем вместе ходите по театрам-то?

— Ему некогда! И он ничего не понимает. Он и музыку не любит. Он всего больше любит государственных преступников... Он все разъезжает...

— Муж разъезжает, а ты — по театрам? С кем же по театрам-то путешествуешь? Провожает, что ли, кто? Неужели одна по ночам по улицам ходишь?

— Ну, провожатые всегда найдутся... А если без провожатого, так на извозчике.

— А гости у вас бывают? Много знакомых-то?

— Бывают... У меня — свои знакомые, русские... Знаешь, бабуся, что? Я не особенно люблю поляков. Когда у нас собираются гости Адамчика — мне неприятно. Я — как чужая...

— Даже и гости разные!

— Мне кажется, что они ненавидят и Россию, и нас, русских... Знаешь, бабуся, что я думаю?

— Ну!

— По-моему, любить по-настоящему можно только поляку — польку, а русскому — русскую...

— Вот тебе раз! Да ведь вот вы любите же друг друга?!

Наташа ответила с маленьким промедлением:

— Не знаю, бабуся... Я не так представляла себе любовь... Адамчик очень умный, но мне с ним... ну, холодно как-то... Он всегда хитрит, всегда прячется как-то...

— Прячется?

— Душой прячется. Понимаешь? Ну, и я не могу с ним...

Наташа уткнулась в подушки и примолкла. Попробовала бабушка снова заговорить — не отвечает. Притворилась, что заснула...

А бабушке не спится. Думает она: ей с ним холодно, нет ли уж и такого, с которым — тепло? Неладно что-то: не так бывает в счастли-

вых браках! Как же это настоящую жизнь не любить? Муж-то ведь настоящий, а не театральный...

Пытливо посматривает бабушка на любимую внучку. Удивляет вот что: кабы печальна была всегда Наташа, так оно понятно: мало муж любит. Но она то печальна, то очень уж весела, совсем мужа не вспоминает. Принес почтальон письмо, вырвала и убежала читать куда-то...

— От Адама Брониславовича письмо-то получила?

— Нет. От одного знакомого...

Вот она, разгадка! «Один знакомый»... И смутилась маленько. Надо допытаться, кто этот «один знакомый». Когда Наташа вышла из дому, бабушка поискала письмо, как бывало делала раньше, но письма нигде не нашла. Значит, с собой носит. Но в маленьком чемоданчике нашла в почтовой бумаге портрет какого-то мужчины. Ну вот, видно, он и есть, этот один знакомый!.. С неприязнью рассматривала бабушка этот портрет, не подозревая, что это — известный всей России писатель Антон Павлович Чехов, покачивала головой и

шептала:

— Ну, добро бы молодой, красивый, а этот тоже в летах и ничего особенного...

XVII

Пришло письмо из Архангельска от Леночки... Бабушка сердилась, что ничего не пишут, словно и позабыли о том, что на свете существует бабушка. За полгода она получила всего две открытки с видами Архангельска, с уведомлением, что все здоровы и целуют. И вот наконец письмо на трех листах почтовой бумаги, исписанных торопливой рукой Елены Владимировны! Да еще со вложением множества любительских фотографий, запечатлевших разные моменты из жизни сосланного в северные тундры семейства...

В тексте письма делались ссылки на нумерованные фотографии, и бабушка с Наташей читали послание Леночки, словно книжку с иллюстрациями...

И все было неожиданно: и содержание письма, и фотографии. Письмо было не грустное, как бы оно следовало и приличествовало для сосланных в тундры, а прямо восторженное и жизнерадостное, а на фотографиях — не

тундры, а прекрасно обставленная культурная квартира, красивая улица большого города с памятником, с собором, с извозчиками, набережная огромной реки с огромными пароходами, сады, красивые лесные уголки. И все это служило фоном для различных моментов из жизни «алатырского героя» в ссылке. Семья героя за обедом в кругу друзей, то же — в саду, то же — на лодке под парусом, на пикнике, «наш Красавчик» — герой на собственном «выезде», «наша спальня», Малявочка читает «Русские ведомости», «Наши четверги» — стол с пирующими гостями... И только три фотографии нарушают эту культурную идиллию: «Мы в самоедских костюмах», «Мы — на оленях» и «Мы — на собаках»...

Ни одного вздоха о разбитом благополучии, ни одного воспоминания об Алатыре и его обитателях. Ни одного слова о Никудышевке и отчем доме!..

Читая это письмо, можно было подумать, что семейство Павла Николаевича пребывает не в изгнании, а на каком-нибудь курорте...

...Малявочку не узнаете: посветлел, по-

молодел, похорошел и чувствует себя великолепно. Ему страшно идет костюм самоеда (см. фотографию № 8). Мы давно уже не жили так интересно, как живем теперь. Нас все очень любят. Недавно Малявочка был у губернатора, и тот разрешил ему совсем не являться по субботам в полицию, как приходится другим ссыльным. У нас бывают по четвергам «буржуазные пироги», на которые сходятся все интересные ссыльные (см. фотографию № 5). Мы купили лошадь, которую называли Красавчиком, и я сама правлю. И рояль я купила по случаю, Беккеровскую[541]. Устраиваем музыкальные вечера... И одно только огорчает меня: очень шумят и спорят, как бывало давным-давно, когда Малявочка был совсем молодым. Он очень горяч, и я боюсь, как бы он не увлекся этой проклятой политикой. Совсем как юноша! Это и приятно, и страшно за него...

Леночка писала правду: Павел Николаевич чувствовал себя в ссылке как рыба в воде...
Очень уж благоприятно скомбинирована-

лись все обстоятельства нового бытия. Никаких официальных служебных обязанностей с их компромиссами и полный отдых от всех материальных забот. «Мой бюджет, — шутил мысленно Павел Николаевич, — не хуже, чем у бывшего министра финансов Витте». В действительности его бюджет был даже в лучшем состоянии: полученные от бабушки пять тысяч, от продажи предка — десять тысяч и запасный капитал в виде фамильных бриллиантов, полученных в приданое за женой, давали возможность несколько лет прожить всей семье в полном достатке, в сознании полной независимости от всяких случайностей и превратностей судьбы.

Никогда еще Павел Николаевич не чувствовал себя так легко и свободно, как это было теперь, в ссылке.

Никаких мелких докучливых дел, забот и хлопот. Полная свобода в мыслях и чувствах. Гордое сознание человека, исполнившего по совести свой гражданский долг и пострадавшего за правду. Это возвышало душу и омывало совесть. Нет ретроградного хвоста в виде семейства Замураевых и собственной матуш-

ки, а исключительно передовое общество. Правда, в нем есть и крайние элементы — профессиональные революционеры, но все же они Павлу Николаевичу роднее, чем единокровные и сословные «зубры» и «бегемоты». Благодаря этому обществу Павел Николаевич чувствует себя приобщенным ко всем общественным движениям в России и всегда в курсе всех событий, происшествий и тайн политического характера.

И при всем этом — полная безопасность и никакой формальной ответственности! Собственно, и делать-то Павлу Николаевичу нечего, но душа всегда в политическом трепете, а голова и язык — в непрестанной работе. Павел Николаевич вознамерился содействовать задуманному прогрессивными общественными деятелями блоку с революционными партиями на почве борьбы с самодержавием, или, как он осторожно выражался, создавать общее политическое настроение... Для этой задачи у Павла Николаевича были все необходимые условия: терпимость к чужому мнению и уважение к любой человеческой личности, платформа беспартийности,

умение нравиться людям и ладить даже с врагами, общительный характер, гостеприимство, тактичность и дипломатичность, выработанные продолжительной общественной службой, и еще одно, тоже весьма существенное и, можно сказать, исключительное добавление ко всем добродетелям гражданина: материальная обеспеченность, позволявшая ему широко раскрыть двери своего гостеприимства для всей местной интеллигенции...

Он быстро сумел если не объединить, то хотя бы механически воссоединить все партии в виде желанных гостей на своих «буржуазных пирогах» по четвергам и на музыкально-литературных вечерах по воскресеньям.

Так дом, где проживали Кудышевы, сделался в Архангельске центром вращения всей местной прогрессивной и революционной интеллигенции.

Конечно, немалая роль выпадала в этом деле и на долю «птички Божией», Елены Владимировны, которая как бы от природы была одарена способностью нравиться мужчинам всех политических партий, даже и в возрасте «неизменных 38 лет». В сущности, Леночке

было наплевать на все политические разногласия: ей нравилось быть душой общества, очаровывать людей своей женственной грацией, улыбками и кокетством, разбрасываемыми ею на все стороны, без различия партий...

Вот почему бабушка получала такие жизнерадостные письма, похожие на письма с приморского курорта, посылаемые домой восторженной молодой особой женского пола.

Павлу Николаевичу нужен был материал для своей работы не только в области «партийной», но еще и национальной, ибо грубая и глупая политика «обрусения», превращаемая авантюристами патриотизма в гонения на иноплеменников, успела уже создать государственную враждебность со стороны многих народов Российской империи: евреев, поляков, финнов, армян, грузин, малороссов, усиленно оскорбляемых теперь восторжествовавшим диктатором Плеве...

Павел Николаевич называл эту политику антигосударственной, грозящей большими несчастьями для России в будущем, и не видел другого выхода из положения, как напра-

вить эту угрозу в сторону не государства, а его правительства.

Наместник Кавказа, князь Голицын[542], своим воинственным обрусением как бы вторично покорял все кавказские племена и привел в революционное брожение всех туземных жителей. Это полицейское обрусение находило горячую поддержку со стороны министра Плеве, и потому князь Голицын начал усердствовать еще сильнее. Он настоял на секвестре[543] имущества армянских церквей. Это повело к революционному бунту со стороны армян. Желая проучить непокорных, власти устроили армянский погром[544], натравив на них мусульман. Произошла великая резня двух племен. Конечно, это не погасило, а лишь раздуло революционные чувства, организовало армянскую интеллигенцию в тайное сообщество и толкнуло в общее русло русской революции. На Кавказе прогремел выстрел в наместника князя Голицына[545]...

Евреи, гонимые всяческими гражданскими утеснениями и потому и ранее толкаемые этим в революцию, от которой они ждали облегчения и равноправия, после ряда спрово-

цированных полицейскими патриотами погромов, затаили острое озлобление и ненависть к русскому царю и его правительству. Гибель родных и близких людей при этих погромах создавала острую жажду мести в душах еврейской интеллигенции, и после ужасного по своим зверствам Кишиневского погрома еврейская молодежь стадами потянулась в революцию. Этот погром возбудил общественное мнение всего цивилизованного мира. Однако это не испугало министра Плеве. Явившейся к нему после Кишиневского погрома еврейской депутации из раввинов Плеве сказал:

— Заставьте вашу интеллигенцию прекратить революцию, и я прекращу погромы и начну отменять ваши правовые ограничения!

Но если само правительство было не в силах или не хотело прекращать революции другими мерами, кроме полицейских, то как могли это сделать еврейские раввины?

В результате появлялись такие вожаки в партии эсеров, как Гоц[546], Гершуни, Азеф и тысячи безыменных с пламенем мести и

ненависти в душах... ненависти не только к правительству, а и к самой России...

То же самое творилось и в Финляндии, статс-секретарем которой оказался тот же всемогущий Плеве. И ее вздумали покорить вторично и обрусить. Для этого решили лишить ее всяких государственно-правовых особенностей, нарушив исторический договор ее государственной автономии. Ставленник Плеве, генерал-губернатор Финляндии Бобриков[547] создавал быстрым темпом «финляндскую революцию»: здесь образовалась «партия активного сопротивления», от руки которой и пал полицейский патриот Бобриков...

Малорусская интеллигенция, ранее мечтавшая о национальной автономии, теперь под напором полицейской русификации, стала мечтать о полном от России отделении, в чем ей усердно помогали внешние враги России...

Поляки и так носили в душах историческое оскорбление, нанесенное им отнятием и разделом их национально-государственного Дома[548], а Плеве продолжал усиленное обрусение Западного края...

Словом, на всех окраинах, на всех границах слепые вожди правительства создавали себе только врагов и будущих мстителей...

Ну разве не прав был Павел Николаевич, называвший эту политику антигосударственной? И если не было никакой возможности изменить эту политику и добиться лояльными путями более мудрого правительства, что оставалось делать искренним патриотам своей родины?

Для себя Павел Николаевич решил: надо создать общий кулак для ударов по самодержавию.

Для этого и служили «буржуазные пироги» в доме Кудышевых.

Обстоятельства благоприятствовали: в Архангельске были ссыльные всяких разновидностей, и среди них еврей, провизор Клячко, поляк Жебровский, армянин Ашкинази. Не было, к сожалению Павла Николаевича, только грузина, украинца и финна[549]... Грузина, впрочем, можно было достать: такой имелся в соседней Вологде.

На первом многолюдном «пироге» Павел Николаевич разбередил все революционные

души. Он произнес речь, должествующую создать более или менее согласное политическое умонастроение, без всякой программы.

Конечно, сперва пироги с мясом, с рыбой, с капустой — на все вкусы! — с обильным возлиянием общему богу, Бахусу.

Как хороший дипломат, Павел Николаевич начал свою речь в шутливом тоне. Он отлично знал натуру «партийного интеллигента»-сразу вставать на дыбы, по-медвежьи, если выступит со словом человек не его партии. Так вот, чтобы души разношерстной публики не встали сразу на дыбы, он и начал шутливо и весело:

— Дорогие гости! Все мы, и, кажется, не без удовольствия, кушали буржуазные пироги. Что бы там ни говорили враги буржуазии, а все-таки и она имеет свои заслуги перед человечеством, к которому мы имеем честь относиться самих себя! Ни у кого из присутствующих как мужчин, так и милых женщин во имя антибуржуазных взглядов не оказалось решимости отклонить предложенные пироги, не отведавши! Все не только с удовольствием смотрели на эти пироги, но и не без

удовольствия их скушали... А вы, уважаемый Иосиф Давидович Клячко, такой ярый ненавистник буржуазии, даже и сейчас еще не можете остановиться и продолжаете, не слушая оратора, кушать!..

Ну вот и сделано дело: общий веселый хохот, восторг от остроумия Павла Николаевича, аплодисменты и смешная растерянность Иосифа Давидовича, удвоившая общую веселость.

— Господа! Я продолжаю... Итак, о пирогах. Старый мир уйдет, а буржуазные пироги останутся. И, стало быть, эта ниточка между старым и новым миром останется... Надеюсь, что милые женщины, хотя бы и с социалистическим образом мыслей, сохранят эту ниточку между прошлым, настоящим и будущим!

И снова общий хохот, и восторг, и клятвы со стороны весело настроившихся ссыльных женщин.

— Продолжайте! Продолжайте!

— Так вот, господа, хотя бы этой тоненькой ниточкой мы все сейчас связаны.

И тут, когда получилось крещендо веселого настроения, Павел Николаевич и огорошил

своих гостей:

— Господа! И не на одной этой ниточке мы все одинаково болтаемся. Есть и еще одна тоненькая ниточка... Уже гнилая ниточка! Однако она всех нас тоже связывает. Разница в этих ниточках в том, что никто из нас, здесь присутствующих, не пожалеет, если вторая ниточка оборвется, и никто не пожелает из женщин дать клятву протянуть эту ниточку в будущее...

Загадочно и любопытно: что же это за ниточка такая? Павел Николаевич сделал паузу, все насторожились:

— Эта ниточка, господа, называется русским самодержавием!

Громкий взрыв аплодисментов, на минуту оборвавший оратора. Ну а теперь можно шуточный тон сменить на серьезный:

— Господа!

За столом радостная суматоха. Вскрикивают, протягивают к оратору бокалы с вином, все желают с ним чокнуться. Некоторые из хорошеньких женщин высказывают желание поцеловать оратора. Леночка, восхищенная успехом Малявочки, кричит:

— Можете! Можете! Разрешаю!

Павел Николаевич получает поцелуи, количество которых растет. Мужчины жмут ему руку и кричат:

— Господа, садитесь! Слушайте!

Но тут Леночка заявляет право на поцелуй, с кем она хочет, и подходит к красивому армянину Ашкинази, который всегда пожирает ее своими огненными глазами. А Павел Николаевич заявляет:

— Разрешаю! Полное равноправие!

Но вот сумбур кончился, все расселись по своим местам. Оратор продолжает:

— Господа! Когда-то давным-давно искренние патриоты, славянофилы, идеалисты и мечтатели, всеми силами стремились отгородиться от «гнилой Европы». Вот что писал К. Аксаков[550]: «Русское государство основано не завоеванием, а добровольным призванием власти. В основании западного государства — насилие, рабство и вражда, в основании русского-добровольность, свобода и мир. Запад принимает бунт за свободу, хвалится ею и видит рабство в России. Россия же хранит у себя призванную власть, хранит ее доб-

ровольно, свободно и потому в бунтовщике видит только раба»...

Все ужасы существовавшего тогда крепостного права и кровавые бунты Стеньки Разина и Емельки Пугачева не поставили никаких преград интеллигентской идеологической мечтательности.

Эта мечтательность утвердила триединую неизменную формулу нашего государственного бытия: «Самодержавие, православие и народность»[551].

Но ведь вот беда-то в чем: мечтательный идеализм способен строить только карточные домики, а не государства, а затем и главное — колесо-то истории вертится только вперед, и никакими силами его не остановишь и тем более не заставишь возвращаться в противоположную сторону.

Людям дано только либо замедлять в известных пределах это движение, либо, тоже в известных пределах, ускорять его. Великая мудрость, прозорливость и чуткость требуются от машиниста, обслуживающего сложную и мудреную машину этого движения, ибо как замедление, так и ускорение сверх известных

границ грозит страшными политическими и экономическими потрясениями всего государства, а иногда и гибелью его...

Не явись в критическую историческую минуту такой гениальный машинист, как Петр Великий, Россию без остатка сожрали бы соседи. Петр Великий ускорил движение русского исторического колеса и превратил Россию-Евразию в современное европейское государство по типу государств «гнилой Европы». Он вздыбил коня над краем страшной бездны...[552]

Не явись в другую критическую минуту император Александр II, уничтоживший крепостное право, и государство могло подвергнуться страшному потрясению и, быть может, погибло бы в его хаосе...

Освободительные реформы этого государя были не чем иным, как приближением к культурно-правовым государствам «гнилого Запада»...

Допускала ли логика исторического момента возвращение к патриархальной Евразии?

Между тем машинисты двух последних

царствований, рассудку вопреки и наперекор стихиям[553], не только сверх всякой меры тормозили движение исторического колеса, а втайне как будто бы лелеяли мечту — закрутить колесо в обратную сторону...

При этом мечтательность этих машинистов была далеко не идеалистической и не идеологической, как у корифеев славянофильства, а зиждилась на грубом материализме и сословной жадности с примесью зоологического национализма.

Они вытащили старое знамя идеалистов, славянофилов, на котором было начертано когда-то «самодержавие, православие и народность», и стали им прикрывать, как фиговым листом, свою гражданскую срамоту...

И, конечно, своей гражданской срамотой и алчностью они помогали разрушать и самодержавие, и православие, и народность...

И можем ли мы сожалеть об этом, когда «самодержавие» превратилось в олигархию придворной дворянской камарильи, возглавляемую ее лакеем Плеве? Когда «православие», вдохновляемое Победоносцевым, превращено в чиновничий департамент, обслу-

живающий министерство внутренних дел? Когда «народность» превращена в зоологический национализм, травящий иноплеменных сограждан? Нет!

Мы — люди разных взглядов и убеждений, но я глубоко уверен, что каждый из нас ненавидит одинаково прогнивший русский самодержавный строй. Эта ниточка непрочная. Спасибо услужливым дуракам самодержавия, что они так старательно помогают нам обрвать эту вторую ниточку!

Снова дружный взрыв криков, женских визгов, снова протянутые руки с бокалами, рукопожатия и поцелуи...

Настоящая революционная истерика!

Да оно и понятно: целый год люди жили в политической лихорадке. Сперва — шумный политический скандал около «Особого совещания», неожиданно перешедшего в шумную антиправительственную демонстрацию; не успели успокоиться, — как воскресший политический террор: убийство министра Сипягина, покушение на харьковского губернатора Оболенского[554], прославившегося жестокой поркой крестьян под собственным наблюдением.

нием и награжденного потом диктатором Плеве назначением на место финляндского генерал-губернатора; не успели успокоиться, как новое, только на днях совершенное убийство уфимского губернатора Богдановича[555], отличившегося расстрелом безоружных рабочих в Златоусте...

Конечно, все сердца революционеров пылали благодарностью к оратору, а сердца иноплеменников вспыхивали еще и свирепой ненавистью к самодержавию. Немудрено, что ответная речь армянина со жгучими волчьими глазами, склонного вообще разрешать все гордиевы узлы политики с помощью кинжала, произвела на Леночку потрясающее впечатление: она сжималась от ужаса и непонятного тяготения к армянской мужской свирепости, в чем потом и призналась своему Малявочке...

Таков был характер «буржуазных пирогов» Павла Николаевича.

Случались и свои, архангельские, события: приезжала, например, «бабушка революции», Брешко-Брешковская, в Вологду и Архангельск собирать и пополнять рать своих рево-

люционных «внуков» и «внучек» и сманила из Вологды ссыльного Савинкова[556]. Надо было архангельцам устраивать побег этому новообращенному «бабушкой революции» в эсерство юноше, укрывать его и устраивать на пароход.

Павел Николаевич имел тайное свидание с этой «бабушкой Катериной», похожей своей хитроватой простотой на сектантскую начетчицу, и имел беседу о предполагаемой в Париже конференции[557] всех оппозиционных и революционных организаций Российского государства, куда должны были примкнуть земский «Союз освобождения», партия эсеров, Финляндская партия активного сопротивления, Польская национальная лига, Польская социалистическая партия, Грузинская партия эсеров, Армянская революционная организация Дашнакцутюн и Латышская социал-демократическая партия...

И Павел Николаевич, и «бабушка революции» были взаимно очарованы друг другом!

От «бабушки революции» Павел Николаевич получил тайную весточку о своем брате Дмитрие Николаевиче: он — в России на

нелегальном положении.

— Я говорю тебе об этом как брату Дмитрия. Для всех прочих это — секрет!

«Бабушка» со всеми говорила на «ты», и это никого не оскорбляло. Так говорят цари и мужики русские, а она, с одной стороны, — революционная царица, а с другой — старая народница, искренно считающая всех людей братьями и сестрами. Стало быть, какие же церемонии? И это «бабушкино» «ты» сразу создавало атмосферу простоты, прямоты, искренности и близости. Может быть, именно этим «бабушка» и побеждала так быстро сердца молодежи. Она брала душу не умствованием от программы или книги, а логикой сердца. Не одну сотню прекрасных молодых душ она толкнула в революцию, а некоторых из них и под виселицу. Балмашев, например, убивший Сипягина, был ее любимым учеником, Покотилев[558], разорванный приготовляемой им бомбой, Каляев[559], будущий убийца великого князя Сергея Александровича. Да, видимо, так, что и Дмитрий-то Николаевич Кудышев подвергся ее воздействию также, как это случилось теперь с ссыльным

юношей Борисом Савинковым...

Впрочем, немало помогал бабушке в этих делах и огненный мститель, еврей Гершуни, заправлявший всеми последними террористическими актами партии и только недавно арестованный в Киеве, после убийства уфимского губернатора. Бабушка искала подходящего заместителя и обрела его в лице Савинкова... Но ему перебил дорогу инженер Азеф, который возглавил Боевую организацию партии...

XVIII

Немало послужила «бабушка революции» и мужицким бунтам в Поволожье, особенно в Саратовской губернии, где и до сей поры еще власти работали не покладая рук над усмирением взбаламученного населения.

В Поволжье работали по большей части многочисленные «бабушкины внуки», учащая молодежь, земские фельдшеры, учителя, бывшие и настоящие студенты, земские акушерки. Агитационные прокламации и брошюры о земле и воле разбрасывали по ярмаркам и базарам, совали в телеги крестьянских обозов, в котомки мужиков на постоянных дво-

рах, в окошки опустевших в летнюю страду крестьянских изб. Прямо сеяли. Шла организация «Крестьянского союза»[560] и особых революционных крестьянских «Братств»[561]. Семя падало в плодородную почву, прекрасно возделанную властями с помощью расстрелов, порок и тюрем. Крестьяне, если и не выступали с открытыми массовыми бунтами после усмирений, то отказывались платить подати, бросали работу в помещичьих экономиках, поджигали амбары с хлебом, рубили барский лес... Мы уже знаем, что и в Симбирской губернии было далеко не спокойно. Открытых бунтов пока не было, но всякие неприятности для помещиков не прекращались.

Пока исключительно неблагополучным местом в губернии была Замураевка. Читатели помнят, что здесь была попытка освободить из-под ареста схваченных становым выборных от общества для подачи сочиненного Моисеем Абрамовичем прошения в алатырский комитет «Особого совещания». Прошло немного времени, как новая неприятность: озлившаяся баба проколола вилами брюхо свирепому черкесу, охранявшему личность и

имущество генерала Замураева. Опять — становой, допрос, аресты и глухой ропот и угрозы. А генерал храбрый: кто грозил? И снова — арест и следствие. Генералу усердно помогал сынок, земский начальник, который теперь с такой же страстью охотился на агитаторов, разбрасывателей прокламаций и распространителей зловредных слухов по деревням, с какой он охотился зимой на лисиц и зайцев.

В Никудышевке было тихо, даже как-то особенно тихо, но тишина эта была похожа на человека, который притаился, спрятался и ждет чего-то...

История с прощением замураевцев в «царский комитет», окончившаяся арестом выборных, и последовавшее вскоре затем устранение с должности и высылка Павла Николаевича на край света получили неожиданное и фантастическое толкование среди никудышевцев:

— Оба они, и енерал, и наш барин, Павел Миколаич, были в царском комитете поставлены дела разбирать. Вот как замураевские мужики подали жалобу-то на енерала, они оба и завертелись! Что им теперь делать? Как

правду-то спрятать и царя опять обмануть? Вот и говорит енерал своему зятюшке, барину нашему то есть, — «ты крестьянскую жалобу укради, а я допытаю, кто написал да расправлюсь, чтобы вперед молчали!» Ну, а жалоба была в книгу записана. Приехал от царя уполномоченный начальник, видит в книге, что жалоба подана, а жалобы-то нет! Стал разбирать, и вышло, что наш барин ту жалобу забрал и изничтожил. Вот его, голубчика, и увезли в заточение...

— Они друг за дружку держатся!

— И все власти за них! И становые, и земские, и всякие разные господа почтенные.

Так потихоньку, собравшись в сумерках на бревнышках или завалинках около изб, беседовали никудашевцы между собой, затихая всякий раз, когда в тишине слышались чьи-нибудь шаги.

— А! Это ты, Митрич! А я подумал — с барского двора кто...

— О чем беседу ведете?

— Садись-ка! Все о том же, как нас господа-баре на кривой объезжают...

И разговор возобновлялся.

— Кабы царь всю правду-то узнал, так он всех бы их к чертовой матери под хвост!

Митрич сомневается:

— А как же так — земский документ читал, что царь приказал про землю не баить, что никакой земли нам не будет и что, дескать, повинуйтесь господам земским начальникам?

— А ты думаешь, что *они* правильные документы читают? Эх, ты!

— Ну, а как же, когда написано?

— Написано одно, а они читают другое, по-своему!

— А и то может быть: взяли да сами написали вместо царя-то. Есть время царю бумаги писать? Приказал написать одно, а они написали по-своему...

— А вот мужички, какую гумажку мне на базаре в телегу сунули. Который из вас грамотный, чтобы разобрать? Мы с Гришей читали-читали, а непонятно.

— За эти гумажки, сказывают, можно в острог угодить... потому в них правда настоящая пишется...

Темно читать. Уходят в избу, зажигают ма-

ленькую коптящую лампочку над столом, и грамотей начинает читать. А в бумажке вот что написано:

Братья крестьяне! Вы все ждете, когда царь-батюшка даст вам землю и волю, а наш царь — первый помещик в государстве и поэтому всегда будет стоять за бар и помещиков. Слыхали, как царь через своих губернаторов, земских начальников и станowych с мужиками-то расправился в Харьковской и Полтавской губерниях? Вместо земли-то — нагайки да порка! Ничего вы не дожидетесь от царя. Пора за свой ум браться. Никто вам земли и воли не даст, если сами их себе не отвоюете! Земля полита вашим потом и кровью. Вы над землей из века в век трудились, свои косточки на войне за русскую землю складывали, а владеют ей дворяне-помещики и дворянский царь Николай II. Теперь во многих губерниях крестьяне уже порешили сами за свою правду встать: идти всем миром к помещикам с подводами и отбирать у них землю, скот, хлеб, чтобы разделить все между собой по справедливости. Не чужое возьмете, а только воз-

вратите себе свое, потом и кровью добытое и присвоенное помещиками! Поднимайтесь все, как один человек, за правду Божию! На миру и смерть красна.

Крестьянское Братство.

Печать партии социалистов-революционеров.

Прочитали. Помолчали в сосредоточенной задумчивости, «уоставя брады своя в землю». Бабенка, стоявшая у косяка двери со скрещенными и запихнутыми за пазуху руками вздохнула и сказала:

— Кто теперь эту гумагу написал?

— Печать поставлена, значит — тоже документальная...

— Хм!

— Не рукой писана, а по-печатному!

И снова тяжелая задумчивость и вздохи. Так бы оно все правильно написано, а вот касательно царя — в душах большое смятение:

— Да неужели царь все знает и свое согласие дает?.. А что и солдат посылают, и порют мужиков — это верно. Этим слухом вся земля полнится...

Начинаются рассказы о том, кто что слышал про крестьянские бунты. Народная фантазия творит уже легенды:

— В Пензенской, стало быть, губернии — один мужичок рассказывал — всю барскую землю поделили и помещиков не обидели: на каждую душу по семи десятин нарезали... и господам тоже по семи десятин на душу. Трудись во славу Божию, как весь крестьянский мир! Кто пашет, тот и жнет, а не то чтобы сам не трудись, а только аренду взыскивай!

— Разя весь крестьянский народ перепорешь? В три года не перепорешь, а опять и то сказать — всех мужиков пороть, так кто же пахать-то будет?

— Может, царский манихест насчет земли вышел? В Пензе объявили, а у нас спрятали, не объявляют господа народу-то? Жалобу-то вот спрятали же...

— И то может быть!

— Не проворонить бы нам, мужички! Надо уж делать, как весь народ...

— А как узнаешь? Может, эта гумага и объявляет, что подниматься надо... По-печатному она, и печать казенная положена... По всей

форме. Попу, что ли, ее показать?

— Ни Боже мой! От попа к уряднику попадет, от урядника — к становому... Окромя того, что выпорют да в острог посадят, ничего не выйдет... Али не слышал, что тут про царя написано? Помещик, дескать, царь-то!

— Так ведь царю вся Россия принадлежит! Оно и выходит, что помещик...

— Знамо, всей Рассей владелец!

Сорок лет расшатывали в народном мировоззрении мистический ореол царской власти — сперва революционеры, а потом само правительство вместе с революционерами, а вот все еще этот ореол не потух. Потускнел, но не погас. Еще в 1902 году крестьянские бунты в Полтавской губернии творились с помощью царского манифеста, как это было в семидесятых годах прошлого столетия[562]! Сперва в полтавском населении пошел слух, что приехал из Петербурга генерал от самого царя и объявил народу манифест, написанный золотыми буквами. Потом начались волнения и бунты. Однако этот мистический ореол уже заметно падал с каждым годом, чему помогали не только революционеры и мужи-

ки, побывавшие на фабриках и там распропагандированные, но и само правительство своей усмирительной политикой именем Государя императора, явно направленной только к благополучию земельного дворянства.

Вот и теперь при чтении агитационной прокламации мужики искали относительно царя иного смысла, чем имели в виду агитаторы. Однако сомнения зарождались в темных головах. Все остальное, написанное в этой бумаге за казенной печатью, воспринималось легко и ложилось на душу мужика озлоблением на помещиков и местных властей. От них начинали ныть старые исторические раны, донесенные в воспоминаниях целого ряда поколений. Мужики начинали припоминать все обиды, когда-то полученные ими от господ.

И теперь никудашевцы высчитывали и записывали в кредит своим господам все далекие и близкие грехи их: когда волю давали, обманули дарственными наделами, а потом замазали рот подарком в сто десятин; когда голод был и всех приказано было кормить, они деньги получали на всех, а кормили

только маленьких ребятешек, которые много не съедят; когда холера была и народ морили, из-за них столько народу в Сибирь да по тюрьмам угнали; а вот теперь жалобу замуравских мужиков на генерала спрятали, а генерал их тоже обманул, как воля вышла: раньше, при неволе, по четыре с половиной десятины на душу земли было, а после воли по три осталось — сколько десятин украдено? Посчитайте-ка!

— А правды не добьешься! Выпорют, да в острог!

— Выжигают их теперь в других местах, как вшей из рубахи!

— Они ни в огне не горят, ни в воде не тонут. У них в большую сумму все застраховано. Спят, опять выстроятся, да еще лучше прежнего!

Высчитали все. Помолчали. Грамотей свернул прокламацию и подумал вслух:

— Разя к Григорию Миколаичу сходить, показать эту гумагу и посоветоваться?

Не одобрили. И тут сомнение:

— Человек он хороший, правильный... Это верно! По-божьи живет. А только как ска-

зять? Свой своему поневоле брат — говорит пословица. Когда мы просили его жалобу на старую барыню подать — все-таки отказался. Знать не знаю, и ведать не ведаю!

— Да ведь как сказать? Чти отца и мать твою! — сказано... А тут надо бы руку на родную мать поднять... Сам он земли барской взял себе только восемь десятин и работает. Значит, никому не обидно, правильно... Так бы оно и пришлось по восьми десятин на душу, если бы всю барскую землю поделить обществу нашему...

— Поболе еще, пожалуй, вышло бы!

Начинали высчитывать. Дело трудное. Пятались и спорили, деля воображаемую землю на души. Сколько душ? Кому не стоит давать? Как быть с душами за рекой: правильно ли на эти луга замураевские мужики свою претензию имеют?

Столько жгучих вопросов поднимается, что и сейчас готовы уже подраться.

— А вы, дураки, не орите! Не ровен час, кто мимо из начальства пройдет! И земли еще не получили, а словно пьяные орете! Вот поедет мимо урядник, он покажет вам землю!

— Ты, Митрич, эту гумагу изорви и брось! Оно спокойнее...

Так рассуждали степенные мужики солидного возраста, из той породы, которую революционеры называли «несознательной».

Но теперь почти в каждом селе имелось по несколько экземпляров «сознательных»: это — ребята, побывавшие на стеклянных и суконных фабриках, на зимних заработках в городе, успевшие там набраться от пропагандистов азбучных истин революционной премудрости и всяких хлестких демагогических лозунгов. Такие распевали уже «Вставай, подымайся, рабочий народ!»[563] и сочиняли частушки на злобы деревенской жизни:

*От царя пришел приказ
Без разбору драть всех нас.*

*Деревенски мужики,
Вы сымайте-ка портки,*

*Получайте свою долю
И за землю и за волю!..*

Степенные мужики называли таких «хулиганами», «озорниками». Нарождался новый

тип полумужика-полурбочего, оторвавшегося от земли, но еще не проглоченного городом и фабрикой. Этот тип входил в мужицкую жизнь клином, который вбивался жестоким законом экономического разложения мужицкого хозяйства. Вместе с ним уходила из крестьянского мировоззрения легенда о том, что до царя правда не доходит, а как только дойдет, то все в крестьянской жизни переменится: правда восторжествует, и зло будет наказано царем — помазанником Божиим...

Евгений Чириков.

Белград, 1931 г.

Книга пятая

I

Бабушка с Наташей собирались уже выехать из Алатыря в Никудышевку, когда совершенно неожиданно приехал старший внук, Наташин брат, Петр Павлович Кудышев.

Больше двух лет он уже не появлялся в родных палестинах. Он вообще как-то отцепился от родной семьи. Писать ленился, на письма не отвечал и никакого притяжения к отчому дому не обнаруживал...

И вдруг, когда о нем отвыкли и думать, прикатил.

Не узнали его.

Подъехал к крыльцу извозчик: в пролетке — высокий и статный господин в военной форме. Удивленно рассматривает дом, точно не узнает или ищет. Старик Фома Алексеевич увидал это в окно и пошел доложить бабушке:

— Ваше сиятельство! К нам прибыли вроде как офицер.

— Ну, поди встретить! Спроси, что ему угод-

но. Наташа! К нам кто-то приехал.

Звонок. Тихий разговор с Фомой Алексеичем в передней. Наташа выглянула туда через щелочку приоткрытой двери: не узнала! Какой-то молодой, красивый, в военной форме... Посмотрелась в зеркало, поправила прическу и вышла.

— Вам кого угодно? — смущенно спросила Наташа, краснея под нахальным взглядом молодого офицера.

— Наталию Павловну Пенхержевскую!

— Петя?!

— Ну да! Я!

Наташа даже не поцеловалась с братом, а радостно смеясь, закричала в дверь:

— Бабуся! Петр... Петя приехал!.. Почему ты в военной форме? Тебя положительно не узнаешь!

Наташа не без смущения поцеловалась с братом. Точно и не брат с сестрой, а просто хорошие знакомые. Как откормленная утка, выплыла бабушка и вытаращила глаза:

— Что такое?!

Бабушка, как мы знаем, недолюбливала этого внука, называвшего ее когда-то и «беге-

мотом», и «крокодиллом». Но тут все было позабыто и прощено. Бабушка даже заплакала от волнения.

Конечно, отъезд был временно отменен по случаю этого исключительного события.

— Вы меня не узнали, а я наш дом не узнал. Что вы, какую-то чучелу гороховую сделали?

— Почему чучелу? — обиженно спросила бабушка.

— Да уж очень дико раскрасили...

— Ты лучше объясни, почему ты в военной форме? — спрашивали бабушка и Наташа, разглядывая военного красавца.

— Тебе очень идет военная форма... Но почему?

— Я бросил университет. Сейчас отбываю воинскую повинность, а затем буду служить царю и отечеству: в военную академию хочу...

Одет франтовато. Все на нем в обтяжку, блестит, скрипит, бренчит. Голова острижена бобриком. Усики стрелками. Позванивают шпоры на лаковых сапогах:

— Я в конной артиллерии...

И бабушка, и Наташа не наглядятся на рововитого красавца с таким румянцем загара на щеках, что лицо кажется сделанным из старой слоновой кости.

— Знаешь, Петя, на кого ты похож?.. На Вронского из «Анны Карениной»!

Петр Павлович приятно ухмыльнулся и подтвердил:

— Представь: то же самое мне говорили уже три девицы... А кстати, Людочка Тыркина замужем, конечно?

— Нет. Почему ты этим интересуешься?

Петр Павлович не ответил. Только встал и, ходя, начал напевать:

Любви все возрасты покорны...
[564]

Оборвал и вспомнил об отце с матерью:

— Ну, а что слышно о милых родителях? Папа все революционно воркует?

Дали ему письмо Леночки. Показали фотографии, присланные из Архангельска.

Прочитал письмо и произнес:

— Десять тысяч тяпнули! Это недурственно!..

Бабушка с Наташей не догадались, что это восклицание Петра Павловича относилось к тому месту письма, где сообщалось о продаже портрета одного из предков, а может быть, не придали этому никакого значения, между тем в тоне восклицания весьма явственно слышалась и зависть, и рождение внезапного озарения:

— Это не-дур-ственно...

В тот же вечер потащил Наташу к Тыркиным. Там появление военного красавца произвело потрясающее впечатление. Когда-то Людочка была влюблена в Петра Павловича, да и он как будто бы таял от ее прелестей. Эти прелести теперь были в полном расцвете. Не то кустодиевская купчиха, не то малявинская баба!..[565] Оба с восхищенным изумлением поглядывали друг на друга, Людочка вспыхивала зарницами, и пышная грудь ее напоминала землетрясение...

Да и немудрено: конный артиллерист прямо простреливал бедную Людочку своими упорными взглядами в одну, а вернее сказать — в две точки, отчего Людочка испытывала такое чувство, словно качалась на каче-

лях, и даже покрывалась сыростью от трепетной взволнованности. Налицо имелись все признаки «роковой встречи»...

Что касается купца Тыркина и его законной супруги, Степаниды Герасимовны, так сразу было видно, что с их стороны никаких препятствий не имеется, а совсем напротив.

— Вот вы, Наталья Павловна, свое счастье в жизни нашли, а наша Людочка все еще ищет...

— Ну, уж это оставьте, пожалуйста! Ничего я не ищу. И счастье не ищут. Оно само приходит...

И тут томный взор на гостя... А тот вполне согласен и кивает головой.

— Именно само приходит! Бывают удивительные случаи в жизни... Принеси-ка, мать, винца французского!.. Мы по случаю встречи с Петром Павлычем выпьем! Да там никак и финь-шампань[566] есть... Тоже прихвати! Так, так... Так хочешь царю и отечеству послужить? Одобряю. Ты из себя очень видный, представительный — тебе бы в гусары или в какую кавалергардию определиться...

— Там денег надо много...

— Ну, что деньги? Деньги — дело наживное... Женишься, в приданое получишь...

Людочка сердится на прямодушного отца: невоспитанный человек, так грубо бросает свои намеки, что стыдно делается.

— У вас всё деньги! Сперва надо полюбить, встретить такую душу, а есть у нее деньги или нет, — в настоящей любви не имеет никакого значения...

А гость напевает:

Любовь — это сон упоительный...
[567]

Людочка была побеждена вторично и молниеносно. Она была в восторге от предложения Наташи поехать всем вместе в Никудышевку и вспомнить былое милое время, когда... и т. д.

Есть русская пословица: яблочко от яблони недалеко падает. Вот уж нельзя было сказать этого относительно Петра Павловича. Уж как, бывало, отец старался воспитать сынка в гражданском духе, по своему образу и подобию! Но не только не добился желанного, а совсем напротив: сотворил собственного от-

рицателя. Петр Павлович в гражданском отношении был полной противоположностью родителю. Всякие «передовые идеи» своего отца Петр делал мишенью своего остроумия, своего дядю Дмитрия Николаевича называл «Дон Кихотом никудышевским», а Григория Николаевича — «во Христе юродствующим». Очень неглупый, начитанный, остроумный, от природы талантливый человек, он дерзко разбивал все кумиры передовой интеллигенции, но сам никакого кумира не имел. Никаких обязанностей! Ни перед кем: ни перед Богом, ни перед отечеством, ни даже перед своей совестью. «Жизнь для жизни нам дана» [568], и никаких рассуждений. Ни к чему вся эта глупая философия. В конце концов, человек — раб желудка и полового инстинкта. Никакой свободной воли не существует. Ты — просто усовершенствованная обезьяна среди обезьян же, именуемых в зоологии «*homo sapiens*»... Конечно, тут еще нет никакого равенства, ибо и обезьянье царство отличается большим разнообразием внешних форм и достижений в разных качествах и способностях. Бог — красивая выдумка. Дураки пусть верят,

это выгоднее умным. Совесть — дело условное: это просто известный кодекс приличий, обязательных для твоего общества, и все, признавая этот кодекс лицемерно, стараются обойти его сторонкой в собственных интересах. Дураки пускай поступают по совести — это выгоднее умным.

Из Петра Павловича вышел человек с опустошенной душой, моральный и социальный нигилист, эгоист высшей пробы, стремящийся к одному: урвать из лап жизни как можно больше всяких личных благ и наслаждений. У Петра Павловича было много всяких талантов: не зная нот, отлично играл по слуху на рояле, пел целые арии из опер по памяти, пописывал недурные стишки и даже изредка печатал их в различных иллюстрированных журналчиках, очень недурно играл в любительских спектаклях, выступая в ролях первых любовников и благородных героев, божественно танцевал. Но у него не было ничего особенно любимого, что он предпочитал бы всему другому... Не увлекался ничем, кроме женщин. Женщина, в конце концов, и была основной причиной всех побуждений этого

нигилиста...

Был он похож на актера, который способен на самые разнообразные роли. Никогда он не был прямым и искренним, всегда надевал на лицо маску, наиболее подходящую для данного момента, и играл более или менее успешно задуманную роль, вводя в заблуждение окружающих. Он ухитрялся всем нравиться, а о женщинах и говорить нечего...

Побывал он с соборе за обедней, сделал визиты отцу Варсонофию, исправнику, жандармскому ротмистру, воинскому начальнику, некоторым старым знакомым и всех очаровал, каждого по-своему. Отец Варсонофий нашел в нем человека верующего, исправник — истинного дворянина, жандармский ротмистр — врага революции, а все женщины — обворожительного красавца!

В середине мая поехали в Никудышевку. Бабушка с Наташей — на своих лошадях под управлением Ерофеича, а Петр Павлович с Людочкой — на почтовых. Тыркин предлагал свою тройку, но Петр Павлович отказался от этой любезности под каким-то предлогом... Ему не хотелось иметь на козлах в качестве

наблюдателя тыркинского нахала-кучера, большого любителя поболтать о своих наблюдениях над седоками.

Петр Павлович не любил зря тратить время и намеревался воспользоваться этой поездкой в своих любовных планах.

Надо сказать, что в последнее время Петр Павлович увлекался «евгеникой»[569]. Он пришел к убеждению, что род дворян Кудышевых с быстротой вырождается. Былая породистость родового типа исчезает. Своих дядей, Дмитрия и Григория, он считал яркими примерами вырождения. Необходимо обновление кровей. Григорий, очевидно, инстинктом самой природы приведен в объятия Ларисы, но поздно: он оказался бесплодной смоковницей. Дмитрий — полная жертва вырождения: достаточно посмотреть на рожденную им от якутки обезьяну! Необходимо обновить род примесью здоровой и сильной крови своего племени, чтобы рождались не мягкотелые неврастеники и политические психопаты, а нормальные люди с крепкими зубами и мускулами, с животным аппетитом к жизни, с хорошим кулаком для самозащиты в борьбе

за утверждение своего рода и вида. Посматривая на себя в зеркало, Петр Павлович убеждался, что он — единственный из рода Кудышевых, сохранивший былую породистость типа, и потому именно ему надо произвести разумный евгенический опыт.

Теперь, при первой же встрече с цветущей здоровьем, радостью и избытком скопленной энергией Людочкой в голове Петра Павловича сверкнула озарением мысль: это именно то, что требуется! Как земля в полном весеннем расцвете! Прикоснувшись к ней, можно сделаться Антеем[570], поднявшим к новой жизни вырождающийся род потомственных дворян Кудышевых!

Лучшего и придумать невозможно: и красива красотой русской женщины, и здорова, и сильна телом и духом, и жизнерадостна, как сама природа, как молодой, не знающий смерти зверь, с таким могучим зарядом полового электричества, что при каждом соприкосновении искра рождается...

И, конечно, — невеста с солидным приложением!

Конечно, не в деньгах только счастье, но

деньги — необходимое орудие при разработке недр счастья...

И вот «мчится тройка удалая вдоль по дорожке столбовой»[571]. Ерофеич с бабушкой и Наташей — впереди, а Петр с Людочкой — позади. Так оно удобнее для влюбленных. То ширь полей, то сумрак леса, то свод небес, то крыша сосен... То луг зеленый, как ковер, цветами расшитый, и речка с мостиком, то роща из берез с белыми бархатными стволами. Пахнет земляничным листом, медвянкой, липой, хвоей, грибами... Целая гамма ароматов! Птичий хор...

Так много радости и счастья разлито в природе, разбросано по пути в Никудышевку!

А тут еще толчки от дорожных рытвин и переползающих лесные дороги древесных корней. Так и подталкивают в объятия друг друга...

— И-эх, голубчики!

Ох как сладко во младости любовное томление! Этот непрерывный электрический ток, пронизывающий и душу, и тело при каждом нечаянном соприкосновении друг с другом!

И вот нечаянные соприкосновения переходят в преднамеренные. Начинаются взаимные обманы: поди разбери, почему Людочка толкнулась на Петра, а Петр на Людочку!

А глаза прикрыты. Посоловелые глаза. Вот рука — на руке. Встреча посоловелыми взорами, глуповатые улыбочки на устах... Головка Людочки на плече у соседа: головка закружилась...

— Бедная... милая...

И не замечает, как он сперва осторожно, потом покрепче, касается губами щечки, шейки... Поцелуй тоже точно случайный, от толчков.

— Да? Люда, да?

— Не спрашивай! Видишь ведь...

Тут такой толчок, словно разрядился конденсатор значительного вмещения. Можно лопнуть от томления...

— Останови лошадей! Ноги отсидели... Мы пройдемся, а ты потихоньку подымайся на гору... Догоним...

— Можно, барин! Тут лесочком-то прохладно...

Ползет в гору тройка... Лениво позванива-

ют колокольчики... Вот и не видать ее за деревьями...

Обнялись и застыли... Переплелись, как две березы из одного корня.

И наш Антей, прикоснувшись к земле, сделался таким страшным, что Людочка вырвалась и поскорей на дорогу!

— Люда! Люда!..

— Я тебя боюсь...

Уходит Люда. Антей постоял и потянулся следом за ней.

— Размяли ножки-то? — встречает ямщик с улыбочкой...

Усаживаются, смущенно улыбаются друг другу...

— Пошел! Прокати как следует, — на чай получишь!..

— И-эх, голубчики! Соколики мои!

Зазвенели колокольчики, и помчалась отставшая тройка догонять пару Ерофеича с бабушкой и Наташей, пребывающих в лирической грусти...

Такие родные, с детства знакомые места! Точно верстовые столбы на дороге жизни — пробуждаемые ими воспоминания...

Вот сосновый бор, в котором дедушка объяснился в любви бабушке: они приехали сюда из Алатыря на пикник, и молодая парочка отправилась поискать белых грибов. Влюбленный дедушка, тогда еще поручик гвардии, нашел гриб-двойняшку и при помощи его приступил к объяснению в любви прекрасной Аннэт:

— Подобен гриб сей прекрасному слиянию двух сердец, связанных законным браком!

Прекрасная Аннэт сразу поняла, покраснела и потупилась, а кавалер продолжал:

— Не знамение ли сия находка для нас с вами, прекрасная Аннэт?

В этом сосновом бору есть на перекрестке дорог родник и часовенка с иконкой Богоматери. А у часовенки — лавочка для проходящих усталых путников. Памятная для бабушки скамеечка!

— Остановись-ка, Ерофеич! Ноги маленько промять... — приказала бабушка и пошла к часовенке помолиться за упокой души покойного дедушки. Вернулась, и поехали дальше...

А вот знаменитый овраг с крутым спуском. Тут всегда бабушка и Наташа слезали и шли

боковой тропинкой: так безопаснее. И теперь слезли и поползли пешком...

А вот луга, речка и мостик. Здесь всегда ямщики поят лошадей. Тут был ужасный случай с бабушкой. Стыдно и сейчас вспомнить! Ехали они с супругом в Никудышевку, а день был жаркий-прежаркий. Июльский. Как увидели воду, обоим захотелось освежиться, выкупаться. Поговорили потихоньку и вылезли, а ямщику приказали ехать вперед и не оглядываться. Разделись, и бултых в воду!.. Молодые и резвые были. Заигрались в воде-то и не заметили, как вдруг пара с колокольчиками под горку к мосту катится...

— Срам-то, Коля, какой! Ведь лошади-то князя Барятинского!

Что делать? Присели в воде, повернулись спинами. А князь Барятинский, должно быть, тоже по лошадям и ямщику, которого встретил, узнал, кто в воде притаился:

— Мое нижайшее почтение!

И вот бабушка вспомнила все это и засмеялась...

— Ты что, бабуся?

— Так... вспомнилось кое-что...

Так они едут, а воспоминания бегут следом то трогательные, то смешные, то грустные, то радостные... Оглянулись: тройки с Петром и Людочкой не видно... Но вот и Никудышевка!

Точно заброшенный монастырь в лесу — старый барский дом выглядывает из огромного рослого парка. Ворота заперты. Через ограду виден огромный безлюдный двор, поросший травкой. Флигеля похожи на монастырские кельи.

Тихо-тихо. Долго звонили, дергая за проволоку. Выбежала взлохмаченная дворовая девка, всплеснула руками и убежала. Потом появилась вместе с тетей Машей... И тетя Маша похожа на монашку, настоятельницу монастыря...

— Мы вас к Пасхе ждали... И ждать-то уж перестали...

— Что вы и днем на запоре?

— Боимся. Мы с Агашей одни в доме. Иван-то Степаныч по делам уехал... Кучер с ним уехал, вот мы и остались вдвоем. Никакого сладу с дворней нет! Хороший человек не идет служить, а хулиганов разогнали...

Поцелуи, объятия. Самовар. Бесконечные

НОВОСТИ...

Старушки о хозяйственных неприятностях говорят, о скверных временах.

Скучно Наташе слушать эти жалобы и нытье по давно прошедшим временам.

Пошла в парк...

Такой тихий-тихий и ласковый вечер. В полном цвету сад бело-розовый. Буйно разросся молодяник, сирень, бузина. Трава выше пояса. Лопухи в ней — как зонтики. Одурачивающий аромат цветущих яблонь, груш и вишен. Писк и гомон птиц и насекомых... И все-таки — похоже на старое заброшенное кладбище.

Кукушка плачет на старой березе... Верещат лягушки... Каркает ворона...

Все, все по-старому, а в душе Наташи все по-новому... Там целая буря...

Так всегда бывает, когда одна любовь уходит, а другая приходит...

Ночью приехали Петр с Людочкой...

II

«Авантюристы патриотизма», взявшие в монопольную эксплуатацию девиз «самодержавие, православие и народность», помогали

дворянской камарилье обманывать царя, утверждая его в мысли, что народ по-прежнему обожает своего монарха и что всю «революцию у нас делают жидаы» и смущаемая или купленная ими интеллигенция. Эту идею горячо поддерживал великий князь Сергей Александрович и, конечно, новый министр Плеве, сочинитель всяких антиеврейских проектов и административных мер, вплоть до искусственных погромов...

В результате ни одна из национальностей не давала России столько пламенных революционеров, как еврейская.

Трудно отрицать, что еврейская интеллигенция всеми силами и способами помогала ускорению русской революции, но нельзя отвергать и того, что само правительство толкало ее в революцию...

Значит — помогали друг другу!

Погромы, обращенные в орудие внутренней политики, являли собой дьявольское издевательство над законами человеческими и Божескими: кто сеет ветер — пожнет бурю [572]. На еврейских слезах и крови должен был вырасти «Дьявол мести»...

И такой вырос в лице морального и физического чудовища, каким явился инженер Азеф в русской революции. Маленький мещанин в своей личной и семейной жизни, он силами мести и ненависти, вспоенной и вскормленной самим правительством, сделался Иудою вдвойне: поцелуем направо он предавал царя русского и слуг его, а поцелуем налево предавал своих сотоварищей по революции. Убийству первых он помогал предательством вторых, не жалея вообще русской крови. Он лишь взвешивал, кого и в какую минуту удобнее предать, чтобы продолжать свое дьявольское дело мести... В душе он издевался над обеими сторонами...

Потом стали ломать голову над психологической загадкой этого революционера-предателя, а разгадка так проста: это был не идейный революционер и не идейный предатель, а просто еврей-мститель, торговавший русской кровью, как квасом... Конечно, чувство мести сильнее удовлетворялось при убийстве врагов наиболее сильных и значительных, но дьявольская предусмотрительность заставляла его постоянно приносить жертвы, употреб-

для материалом менее полезных для своего дела. Тут простой расчет лавочника... в мясной лавке.

Азеф влез в самое сердце революционной партии и, когда погиб пламенный Гершун, сделался террористическим министром в боевой организации и начал играть с дьявольской хитростью двуликого Иуду...

Дмитрий Кудышев, по оценке Азефа, не представлял особенно значительной величины: неврастеничен и потому не так легко поддается революционному гипнозу и беспрекословной дисциплине. Слишком много рассуждает, взвешивает, противоречит. Такие не только малополезны, но часто просто опасны своей особенной чуткостью. Ценны слепые фанатики, готовые идти на смерть без всяких колебаний и рассуждений.

И поэтому, вероятно, Азеф уклонился поставить Дмитрия Кудышева на крупный террористический акт, а в виде испытания послал на второстепенное дело организации террористических «летучих бригад» в деревню[573], в Приволжские губернии...

И нет ничего невероятного, если сам же

Азеф и предал его в скором времени...

Районом работы Дмитрия Николаевича были Саратовская, Самарская и Симбирская губернии.

Саратов был давно уже центром революционной работы в Поволжье. Там уже действовали и «Крестьянский союз», и «Братства», организуя подходящий крестьянский элемент в тайные кружки. Эти кружки расползались по всему Поволжью и во множестве разбрасывали прокламации и воззвания, приглашавшие крестьян к выступлению против помещиков. Почва была уже вспахана и засеяна, оставалось только подталкивать ленивых и робких. Так как усмирения с помощью казаков и порки, рождая злобу, все же лишали мужиков смелости, то инициативу этих выступлений должны были взять на себя летучие боевые отряды...

Такие отряды уже действовали и в Саратовской, и в Пензенской губернии, но они были недолговечны, ибо при усмирении и покаянии мужики и бабы часто предавали своих «благодетелей» в руки властей, спасая этим свою шкуру...

В Симбирской губернии таких летучих бригад еще не было, и туда был направлен Дмитрий Николаевич Кудышев с двумя опытными пропагандистами из крестьян.

Город Алатырь, как крупный центр перевалочной торговли, с пароходными пристанями на Нижний Новгород и с железнодорожным узлом, соединявшим Поволжье с Москвой, Казанью и Симбирском, притягивал к себе народ со всей губернии. Он и был избран оседлым пунктом летучей организации.

Так Дмитрий Николаевич Кудышев очутился в родных палестинах.

За пятнадцать лет и городок, и сам Дмитрий Николаевич так изменились, что, конечно, не могли узнать друг друга. Кто и знал когда-то Дмитрия в восьмидесятых годах прошлого столетия, перестали думать о его существовании. По паспорту мещанин Казанской губернии из города Лаишева, по образованию — окончивший уездное училище, холостой, 37 лет от роду, Иван Коробейников, Дмитрий Николаевич поступил конторщиком в пароходство купца Тыркина и усердно исполнял свое дело, отличаясь покорностью

и смирением...

Могло ли кому-нибудь прийти в голову, что это не мещанин Коробейников, а потомственный дворянин Дмитрий Николаевич Кудышев?

А помощники его, природные мужички, путешествовали на разведках по уезду: один в образе странника по святым местам, другой — коробейника с ситцами, бусами, гребешками, наперсточками и иголками, нитками, лентами, вообще всякими бабьими приманками. Ходили по базарам, ярмаркам, постоялым дворам, осторожненько нащупывали почву, знакомились, выбирали подходящих для дела мужичков...

Один рассказами о святых местах и чудесах Божьих угодников, другой бабьими приманками трогали простые сердца людей земли и делались желанными гостями в избах. Незаметно переводили беседы на нужду, землю и волю, и простые люди доверчиво раскрывали перед ними свои души и секреты. Завязывалась дружба, скрепляемая водочкой и наливочкой. Кто образок кипарисовый с Афона получит от странника, кто — ленту

алую от коробейника в подарочек...

Время от времени странник и коробейник и в Алатыре появляются, да иногда и паренька какого-то с собой приводят.

Медленно и туго подвигается дело. Урывочками. Да и конторская служба с напускным смирением и кротостью тяжела, изнурительна. Темпераменту Дмитрия горячий, действенный, требующий непрерывного движения, а тут точно игра в прятки, которую и в детстве так не любил Дмитрий. Невыносимо скучно!.. Нападала временами хандра, апатия, развинченность, раздумье. И как-то обидно казалось порой: да неужели он, Дмитрий Кудышев, рожден для того, чтобы воевать со станowymi, земскими начальниками и прочей мелочью? Начиналась неврастения...

О том ли мечтал в юности?

Вспоминалась юность с ее грандиозными планами и проектами осчастливить человечество. Позади так ярко, красочно. А кончилось тем, что поставляешь для губернаторов материал для порки и усмирений!

Особенно томила тоска в немногие часы отдыха от конторской работы... Он уже не раз

бродил около старого бабушкиного дома, стограя желанием увидеть мать или кого-нибудь из родных, но никакой жизни ни в доме, ни на дворе, куда он заглядывал, не замечалось. Так хотелось зайти в этот дом, побывать в знакомых комнатах, в саду. Но покрашенный дом смотрел на него недружелюбно. Как на чужого и враждебного. Дмитрий вздыхал и вспоминал героя из «Живого тупа» Льва Толстого...[574]

И ему было ужасно жалко самого себя...

Потом, из разговоров в конторе он узнал, что брат Павел — в ссылке, а старая Кудышиха уехала в деревню. Так хотелось расспросить подробнее о том, что случилось со всеми, с кем делил свою молодость, но понятная предосторожность мешала этому...

И часто в бессонные ночи приходила в голову мысль: побывать в Никудышевке хотя бы еще один, последний раз в жизни!..

По вечерам, когда субботний колокол собора призывал жителей ко всеобщей, Дмитрий грустил и вспоминал:

*Вечерний звон! Вечерний звон!
Как много дум наводит он...*

*О юных днях в краю родном.
Где я любил, где отчий дом...[575]*

Волной вливались воспоминания в душу Дмитрия и не хотели уходить оттуда. Он гнал их прочь — не уходили и тихой сладкой грустью томили душу.

Всего сильнее бередило душу детство... и мать в образе молодой еще женщины. И было странно и страшно, что он уже начинает сидеть и что мать его — старуха, доживающая свой век...

Неужели ему не суждено уже увидеть свою маму? Ведь это так просто...

Однажды вернулся коробейник из своего путешествия по уезду и привел с собой «верного человека», старого отставного солдата, богоискателя и правдоискателя Синева.

— Со стажем он: два раза уж в тюрьме сидел!

Оно и видно: сразу этот человек мещанина Коробейникова «товарищем» начал называть.

— Откуда ты, товарищ?

— Я из Замураевки... Генерал у нас барин-ном-то...

Дмитрий даже вздрогнул. Начал выспрашивать о всяких подробностях.

— Теперь ежели дело зачинать, так прямо с Замураевки, — говорил таинственно солдатик, — от этого генерала народ давно волком воет... Только что смелость не берет, а ежели найдутся люди мужиков поднять, — прямо пустое дело. Ни суда, ни управы на него! А сын-то генеральский земским начальником у нас. Так прямо, ежели что, растерзают. Вот до чего народ довели... У них был нанят для охраны муханеданин — так его бабы вилами прикололи... сдох!

— Там у вас еще Никудышевка какая-то есть? Как там?

— Там потише, а все-таки народ очень недоволен...

— Кто же там, в Никудышевке?

Все рассказал Синев про Никудышевку.

— Старуха там, барыня самая, с дочерью, и еще двое живут, недавно прибыли.

Узнал Дмитрий и про брата Григория!

— Григорий-то Миколаич даже очень хороший, ласковый человек, но для такого дела не годится. Он искатель одних божественных,

стало быть, путей, а жена у него, Лариса Петровна, в Духе ходит, вроде как богородица у них, что ли. Григорий-то Миколаич в душевном смирении, толстовского толку... От его, конечно, нам никакого зла не будет, но я так полагаю, что и помощи тоже ожидать нельзя... А я так полагаю, что ежели народ в Замураевке встанет, так и кругом начнут... Мужик — мирской человек: за обществом потянется.

Лиха беда начать, а там пойдет как по маслу!.. Литературы давайте поболее! Все рассуждем...

Много мудрых советов Синев надавал. Человек опытный, хорошо мужицкую душу знает. Надо на двух либо трех подводах ехать и звать народ к господам за хлебом и скотиной — человек десять пристанут, а остальным завидно станет и тоже пристанут! А еще генерал очень уж деревенскую скотину загоняет и штрафы за потраву! У него всегда в загоне голов пять-шесть коров либо лошадей крестьянских выкупа ждут. Объявить, чтобы шли свою скотину отбирать... А уж как объявим — грабь свое добро! — все разожгутся...

Ну, только какой-нибудь начальник при этом деле нужен, вроде как командер... Без начальника тоже не пойдут... Поди, сам ты, товарищ, команду-то примешь? Кричи только громче и больше никакого разговору! Повелевай, значит! Говорить много не давай... Я на это дело человек десять хоть сейчас поставлю.

— У меня не меньше найдется охотников-то, — заметил странник.

Как будто все налаживалось. Оставалось только добыть три подводы. Их, видно, закупить придется. Все обсуждено. Только в днях нехватка. Подождать придется, когда из Саратова вышлют...

— Торопиться некуда! Оно и лучше помедлить маленько: народ разжечь сперва, а потом уж разом и поднять... Все в свое время надо: оно бы лучше осенью, после страды, когда народ по хозяйству управится. А то мужик такой человек, что и смерть откладывает до уборки... Бунтуют либо с весны, либо под осень... когда с земли освобождение выходит... Человек хозяйственный!

Дмитрий Николаевич точно обрадовался этому благоразумному совету Синева. Ухва-

тился за него. Надо отложить до осени!

— Правильно, товарищ! Тут, как говорится, семь раз примерь, а потом отрежь. Зря высказывать — опасно. Только удовольствие врагу сделаешь!

Согласились отложить выступление до осени...

И вот снова потянулись скучные томительные дни полного душевного одиночества среди маленьких людей с их все же живыми радостями и горестями незаметных тружеников. Одному прибавили десять рублей в месяц жалованья, другой собирается жениться и не наглядится на свою глуповатую курносенькую мещаночку, похожую на беленькую курочку, третий ищет сочувствия окружающих — у него умер ребеночек, четвертый безумно счастлив — вчера выиграл в карты три с полтиной!

И все-таки у них есть какая-то личная жизнь... И Дмитрий, всегда ощущавший себя значительным человеком, предназначенным к исполинским делам, начинает уже испытывать нестерпимую пустоту... У него нет не только больших радостей и печалей, а просто

никаких!

Только тихая тягучая тоска, вроде несильной зубной боли. Невыносимо тяжело с раннего утра до вечера сидеть в конторе и ломать покорного и смиренного дурака...

И вот не выдержал своей роли: однажды, когда заведующий конторой господин с геморроем стал начальственно кричать на смиренного конторщика Коробейникова, тот совершенно неожиданно поразил его неуместной дерзостью:

— Прошу не кричать, а говорить по-человечески!

Тот, геморроидальный, даже опешил вдруг, но потом оправился и начал снова кричать. Назвал «нахалом»...

— Ты сам идиот! — крикнул конторщик Коробейников.

Вся контора притихла. Стало так тихо, что слышно было, как скулила муха, попавшая в тенета паука. Все служащие в конторе застыли в радостном испуге и в тайном почтении к сотоварищу, который, наконец-то, достойно ответил за всех молчальников...

— Получи расчет и с Богом!..

Глупо, конечно, все это вышло. Сгоряча. Нервы. А все-таки приятно как-то разрядить свое долготерпение таким выстрелом!

Конторщик без места. Пошел шляться по городу, вышел на Суру, побывал около родного бабушкиного дома...

Ни одной близкой души!

И вдруг снова толкнулась в душу мысль: а что, если побывать в Никудышевке? А пришла ночь — бессонница в лунную светлую ночь. И снова точно смотрит на весь пройденный путь жизни. Всё — одни призраки... Ничего не осталось, вот только мама... Лучше, если бы мама бросила деревню и жила в своем алатырском доме... Какая злая насмешка жизни: устраивай погром родной матери!

Бедная старуха. Не дадут умереть спокойно...

Не подвиг, а... ремесло!



Несколько дней Дмитрий Николаевич слонялся в городке как бездомная собака.

Нечего делать!

Некуда пойти!

Никому не нужен...

Бродил по набережной Суры. Посиживал в трактирах за бутылкой пива. Заходил в собор, где служилась всенощная...

На реке, в трактирах, на улицах, в церкви — всюду трепещет и бьется жизнь человеческая, сливаясь в единый шумливый красочный поток. Все проявления этой жизни в их пестром разнообразии форм связаны мистической логикой бытия. И звон церковного колокола, и плывущий по реке пароход, и грохочущая по мостовой телега с ржавым железом, и плачущий ребенок, и драка около трактира, и наигрываемые где-то и кем-то на рояле ритмические гаммы, и будочник на углу, и барышня с собачкой — словом, все, что видят глаза и слышат уши, все это от века веков, все нужно и все слито воедино, в какую-то сложную непрерывно работающую, как наше сердце, машину...

Но он, Дмитрий, вне этой жизни. Он как будто бы совершенно ничем с ней не связан. Какой-то посторонний, ненужный жизни и чужой ей человек или даже предмет!

Вот точно такое же гнетущее чувство Дмитрий испытывал, когда, бежав из Сибири,

очутился в Париже без языка, без знакомых и без денег...

Ни одним краешком души не прицепишься к бегущей мимо жизни!..

Вот в эти дни блужданий по улицам и трактирам за бутылкой пива в его омраченную пустотой и одиночеством душу и постучалась впервые мысль о самоубийстве...

И как только пришла эта мысль, сразу рухнул построенный когда-то в юности пылкой фантазией «храм революции»...

Он долго и тяжело смотрел в одну точку и вдруг произнес неожиданно для самого себя одно только слово:

— Ерунда!

И точно проснулся от собственного глухого голоса и подозрительно огляделся по сторонам... В дальнем углу в полусумраке он увидел жандарма и какого-то человечка, которые, сидя за пивом, тихо разговаривали, склоняясь друг к другу.

Дмитрий ощупал карман (он всегда ходил с револьвером), расплатился и, докурив папиросу, медленно и независимо вышел из трактира.

Подозрительно!

Дмитрий умышленно колесил, как заяц, заматающий свои следы, по улицам и проулочкам и незаметно для себя очутился на краю города, вблизи бабушкиного дома. Подходя сюда, Дмитрий думал о том, что надо поскорее покинуть Алатырь, а когда поднял глаза от земли и увидел родной дом, то дом этот и подсказал ему, что надо пойти к матери, уговорить ее бросить деревню, проститься с ней и...

— И кончено!

Тихо насвистывая механически вырвавшуюся студенческую песенку, Дмитрий пошел дальше...

Всю ночь не спал. Рвал и жег какие-то письма и бумажки. Ходил по комнате и курил папиросу за папиросой, смотрел в лунную ночь, слушал грустные гудки пароходов и отбивающий часы колокол на соборной колокольне. Рано утром, рассчитавшись с прислугой за номер, взял свой ручной чемоданчик и альпийскую палку, вывезенную из-за границы, и пошел в отчий дом... По пути подсаживался на мужицкие телеги. Если не было по-

путчиков, шел пешком...

Долго сидел в сосновом бору около родника и часовенки на той самой лавочке, на которой не так давно сидела его мать проездом в Никудышевку, и вспоминал свое детство... Был тут когда-то образ Божьей Матери, но теперь — дощечка, на которой чуть-чуть заметны линии исчезнувшего рисунка... Слушал кукушку и сам удивился, почувствовавши скатившуюся на щеку горячую слезинку...

Разве нужны такие сентиментальные неврастеники революции? И разве Азеф ошибся, взвесив на своих весах Иуды его малую ценность для своих целей мести?

Дмитрий годился только как агнец, приносимый в жертву департаменту полиции для укрепления там доверия к собственной персоне. В числе таких агнцев он и оказался. Департамент полиции и все охранные отделения уже знали, что эмигрант Дмитрий Кудышев под именем мещанина Ивана Коробейникова пребывает в России и занимается организацией летучих боевых отрядов партии социалистов-революционеров. Фотографии этого политического преступника были уже

разосланы во все жандармские управления и всем чинам полиции, включительно до станových. О Дмитрие шла уже конфиденциальная переписка по всем приволжским губерниям, но его спасало то обстоятельство, что на фотографиях времен давних этот преступник выглядел совсем не так, как теперь, через пятнадцать лет...

Для местных властей Алатырского уезда эти розыски Дмитрия Кудышева представлялись исключительно сенсационной тайной, а помимо того, власти чувствовали еще исключительную ответственность в этом деле: преступник — из подведомственного их наблюдению района. Власти отдаленных губерний наверняка могут отписаться, что по произведенным розыскам означенного лица в губернии или уезде не оказалось. Ну а тут много возможностей, что преступник побывает и в Никудышевке. А потому нужен зоркий глаз, а не отписка.

Еще до появления здесь Дмитрия власти приняли уже меры. Заезжал как бы в гости к Анне Михайловне исправник, побывал и становой. Секрета не открыли, но исправник

осторожненько наводил разговор на деток почтенной Анны Михайловны, а в их числе и Дмитрия...

— А где ныне пребывает ваш сынок, Дмитрий Николаевич?

— Бог его знает...

Старуха отирает слезу... Ведь какое положение матери! По закону отвечают все укrywатели. Даже родная мать обязана донести, если знает его местопребывание...

Особенно же был озабочен жандармский ротмистр в Алатыре. Он еще не успел пережить оскорбления, нанесенного ему высланным Павлом Николаевичем Кудышевым, а тут новый Кудышев, родной братец!

Ротмистр отрядил в распоряжение станového опытного в деле розысков унтер-офицера, переряженного, конечно, в штатское платье, и тот должен был наладить непрерывное наблюдение за всеми неизвестными лицами, появляющимися в Никудышевке, и особенно в барском доме...

Жандармский унтер, как и прочие непосредственные охотники за преступником, и сами не знали, что ловят сына Анны Михай-

ловны: им дан наказ потребовать от неизвестного документ, и если в паспорте будет значиться — мещанин Иван Коробейников, то немедленно арестовать и под строгим конвоем привезти в город Алатырь.

Так Дмитрий Николаевич попал уже в приготовленную для него ловушку.

Последние двенадцать верст до Никудышевки Дмитрий шел пешком и умышленно подгонял время так, чтобы прийти туда, когда стемнеет.

Лунной ночью он приближался к отчому дому.

Нелегальное положение приучает человека к инстинктивной осторожности. Надо сперва пройти мимо...

У ворот на лавочке сидел Ерофеич с дворовой девкой и щекотал ее.

Светились огни в окнах. Из раскрытых окон доносились гармоничные взрывы рояля. Изредка мелькали в глубине окон человеческие фигурки.

Таким теплым родным уютom, лаской семьи и родного дома пахнуло в душу усталого и печального бродяги Дмитрия! С изумитель-

ной яркостью воскресло вдруг и детство, и мама с папой, и деревянный конь, обтянутый телячьей кожей, на колесиках, и кровать с решеткой!.. Он уже лег спать, а ему не спится... Мамочка играет на фортепиано, там где-то пьют чай и стучат посудой. Захотелось кушать... Натянул на плечи одеяло, вылез и бо-сиком побежал в столовую...

Точно все это было только вчера!

Дмитрий знал о том, что брат его, Григорий, живет рядом где-то, на хуторе. Он пошел искать этот хутор: всего лучше попасть сперва к брату...

Обошел двор дома. По забору, где разросся репейник и лопушники, вышел к концу парка. На хуторе залаяла чуткая собака. Дмитрий присел и ждал, когда собака успокоится. И тут он заметил лазейку в прогнившем заборе: стоило только толкнуть одну из досок, и образовалась пробоина, в которую было легко пролезть в парк. Это и изменило все его планы.

Очутился в старом заброшенном парке. В полной безопасности. Густые заросли, огромные березы и липы, трава в человеческий

рост. Все это под лунным сиянием в резких светотенях напоминало глухой лес. Старался припомнить, в какой части парка он очутился, но не то от волнения, не то от страшной усталости в голове все спуталось, как только он сделал несколько шагов в глубь парка. Приостановился, вслушался в различные звуки теплой ночи: вверху и под ногами стрекотали кузнечики, басили майские жуки, вскрикивали хищные птицы, и где-то далеко-далеко и чуть слышно плавали на крыльях ветерка обрывки струнных вздохов... Дмитрий пытался ловить эти струнные вздохи и вскрики, но они точно меняли свое место.

И, пройдя несколько шагов, Дмитрий останавливался в полной растерянности. В лесу нередко человек теряет способность ориентации. Так случилось в родном парке с Дмитрием.

А в отчем доме происходило следующее.

Бабушка с тетей Машей попивали чай в столовой. Наташа грустила за роялем, изливая томление души в шопеновских ноктюрнах. Петр Павлыч ворковал на старинном диване с Людочкой в полутьме пустынного зала

за спиной увлекавшейся своим настроением Наташи... Здесь на диване любовное электрическое напряжение от соприкосновений и томных взоров требовало разрядки. Людочка вздыхала, как паровоз, только что остановившийся около станции, и грозила пальчиком расшалившемуся жениху. Наташа могла ведь обернуться!

А тот не унимался. Людочка притворно рассердилась и, поднявшись и вырвав свою руку от удерживающего ее кавалера, тихо пошла к террасе. Конечно, в ее планы входил расчет, что Петр двинется следом за ней и они очутятся наедине в парке. Но этому помешала Наташа: она заговорила с братом и задержала его поисками каких-то нот...

Людочка в любовном томлении медленно шла по аллее, вполне уверенная в том, что вот сейчас заскрипят по песочку шаги возлюбленного и они сплетутся в трепетном объятии и руками, и губами... Лучше, если это случится подальше от террасы и дома, во мраке зарослей, а не на широкой освещаемой ярким лунным светом аллее...

И вот она свернула в сторону и тихо так,

маленькими шажками-петельками двигалась, приостанавливалась и прислушивалась: не идет ли? Услыхала в тишине подозрительный звук, похожий на хруст и шелковый шелест древесной листвы, когда человек пробирается кустами зарослей. Но странно, что Петя опередил ее. Пусть-ка теперь помучается, поищет!

Притаилась в огненном пылании любовной лихорадки в сиренях...

И вдруг (о ужас!) видит вынырнувшую из-под крыши старой сосны фигуру робко крадущегося человека, во всем облике своем таившего какие-то злые намерения...

Людочка испустила крик ужаса и шарахнулась в сторону, к дому. Дмитрий растерялся и не знал, как ему поступить. Между тем в доме уже шла паническая суматоха: несомненно, это грабитель или поджигатель! Бабушка с тетей Машей подняла на ноги все наличное население барского двора. Иван Степанович послал кухонного мальчишку к стражнику. Петр Павлович зарядил револьвер и заявил, что он справится один, но Людочка и Наташа его не пускали... Людочка прибегла к обморо-

ку как последнему средству удержать храброго жениха от рискованного поступка. Иван Степанович запер все двери и окна, забаррикадировал стеклянную дверь на террасу и предложил не соваться без толку. На пункте, в Никудышевке, есть охрана, и ей уже дано знать.

Петр Павлович все-таки не выдержал и, раскрыв окно в сад, трижды выстрелил в небо, насмерть перепугав бабушку с тетей Машей. Теперь бабушка впала в обморочное состояние...

У Дмитрия была мысль — идти в дом и раскрыть свою тайну, но раздавшиеся выстрелы со стороны террасы остановили его намерение. Может быть, лучше скрыться на ночь в глуши парка, а утром подойти к окнам и закричать:

— Мама! Это я — твой сын Дмитрий!

Сохранилось в памяти воспоминание об Алёнкином пруде и развалинах на его полуострове. Вот там он и переночует...

Вышел на липовую аллею и, точно пелена свалилась с глаз его: понял, где он стоит и как идти на Алёнкин пруд. Вокруг все стихло, и

не было никаких признаков переполоха. Полаяла осипшим голосом дряхлая собака и перестала. Где-то запел соловей...

Продравшись через заросли, Дмитрий приметил сверкнувшую на лунном свете воду. Вот он, Алёнкин пруд! Испугали запрыгавшие с берега в воду лягушки, взорвавшийся из-под ног бекас... Промочил ноги, исцарапал в кровь лицо, продираясь через колючий шиповник...

Ну вот и развалины каменной беседки. Здесь он и проведет ночь...

Прошло не более получаса, как на дворе барского дома появился целый отряд из мужиков с палками во главе с жандармским унтером и стражником в полной форме и полном вооружении. Выскочил Петр Павлович с револьвером в руке и, как начальник, начал делать распоряжения: по всем углам и заборам поставить засаду. Остальным идти цепью через весь парк. Сколько вооруженных? У всех три револьвера. Вот еще охотничий дробовик, он заряжен крупной дробью.

— Вилы бы нам, что ли, ваше благородие, дали! Где светло, а где темно — щупать надо...

Людочка с Наташей в лихорадочно-возбужденном состоянии. Людочка в десятый раз и все по-новому рассказывает пережитый ужас. Теперь ей уже помнится, что разбойник сперва побежал за ней, а потом отстал...

Глядя со стороны, можно было подумать, что люди шли на медведя по крайней мере...

Бабушку привели уже в чувство и успокоили: теперь нет уже никакой опасности, грабитель окружен со всех сторон и если он еще не успел скрыться из парка, то будет пойман...

Отряд двинулся в поход в глубоком молчании рассыпной цепью. Обошли весь парк — никого не нашли.

— Может, на прудах где спрятался?

Тихо посоветались и решили обыскать пруды...

Дмитрий, утомленный и физически и душевно, сквозь охватившую его уже дрему услышал всплески воды под шагами людей по болоту и, приподнявшись, увидел прежде всего освещенного лунным светом жандарма. Потом прозвучал выстрел.

— Здеся!

Резкий полицейский свисток прорезал тишину ночи, потом голоса:

— Тут он! Стреляет, сволочь... Обходи с левой стороны!

— Сдавайся без разговору!

Ответа не было.

— Вылазь, а то пристрелю, как собаку!

Ответа не было...

Все боялись идти дальше.

Стражник перекрестился, взял наизготовку револьвер и полез камышами к развалинам.

— Ну, чего стоите! Вперед! Столько народу — одного испугались!

Полезли напролом бегемотами...

Стражник первым увидел лежавшего навзничь с раскинутыми руками человека в камнях, проросших кустарником...

— Никак мертвый он...

— Сам в себя, значит, он выпалил давеча...

Так Дмитрий Кудышев и не повидался со своей матерью. На Алёнкином пруду лежало «мертвое тело». По найденному паспорту это был мещанин Казанской губернии Иван Коробейников, и пока никто в отчем доме не

знал еще, что это блудный сын бабушки, которая в последнее время так часто вспоминала о нем и так хотела хотя бы один разок перед своей смертью повидаться с ним...

Составили протокол и перетащили мертвое тело в заброшенную баню в парке до вскрытия. Поставили к бане стражу. Страшно стало в парке по ночам. Властям было необходимо установить подлинную личность самоубийцы. Приехавший исправник, знавший уже тайну Ивана Коробейникова, посвятил в нее Ивана Степановича, тот всех остальных, кроме бабушки. Но жандармский ротмистр был безжалостен и, выполняя долг службы, потребовал, чтобы и Анна Михайловна, как мать, признала в труп самоубийцы своего сына, Дмитрия Николаевича.

По долгу службы он счел необходимым допросить по настоящему делу Анну Михайловну и, предъявив ей труп самоубийцы, спросить, признает ли она в нем сына.

Допрос он сделал, но предъявить матери труп сына не удалось: несчастная старуха стала проявлять все признаки тихого помешательства...

Наташа вызвала телеграммой доктора-психиатра из Симбирска, и они с тетей Машей увезли несчастную бабушку в Симбирск.

Людочка и Петр Павлович вспорхнули и уехали в Алатырь. Петр ночью перед отъездом вырезал из рам трех своих предков из бабушкиной галереи и увез из отчего дома...

По просьбе Ивана Степановича Дмитрия разрешили похоронить на том месте, где он был найден мертвым.

IV

Страшная история в барском парке, полная такой загадочной таинственности, привела в необычайное смятение умы и души темного деревенского люда...

Социальная легенда и социальная мистика, заменявшие у русского крестьянина правовое сознание, порождали невероятный хаос всяких слухов и догадок, направленных к раскрытию «господской тайны».

Одни говорили, что поймали и убили не грабителя, а человека, который привез подлинный царский манифест о земле и воле; господа заманили его к себе в гости, чтобы манифест этот отнять, а он не дал и из дому

господского в сад побежал; они — за ним, а у него — револьвер: вот они и послали за начальниками — грабитель, дескать!

Другие поправляли: родного брательника Павла Николаевича, стало быть — сына родного нашей старой барыни, прикончили! Он, сказывают, не соглашался обман прикрывать насчет земли-то. Я, говорит, не желаю, чтобы нам неправильно крестьянской землей владеть, и стою на том, чтобы по полторы десятины на душу, которые незаконно у нас отобрали, когда воля нам вышла, возратить нашему обществу. Я, говорит, не хочу, чтобы и меня, как старшего брата, за этот обман в заточение определили. Вот они испугались и решили его прикончить... Грабителем и объявили! А потом задарили начальников, они в документе и написали, что сам, дескать, себя прикончил, а не убили...

— Верно! А когда дохтор стал взрезывать, так и обнаружилось, что не сам себя прикончил, а убили... Почему они все вдруг с места снялись и разъехались? Открылась правда-то, вот они и побежали во все стороны... Кто куда!

Отчий дом действительно опустел вдруг: тетя Маша с Наташей повезли бабушку в Симбирск и там задержались; Петр Павлович с Людочкой сорвались и умчались на тройке в Алатырь, а Ивана Степановича вызвал на допрос жандармский ротмистр. Во всей усадьбе только в людской кухне люди остались: кухарка, две девки да кухонный мальчишка, он же и пастух, да глухой и дряхлый камердинер Фома Алексеич — в левом флигеле.

Главный дом на запорах, и ставни закрыты...

Это опустение барского дома тоже казалось таинственным и знаменательным. Может быть, господа и не вернутся больше? Все может быть...

А тут в последние дни опять коробейник ходит по избам и разное по секрету про господ рассказывает. Конец, дескать, им приходит. И документ за печатью читает...

— А зерна у них много накоплено! Сами не жрут и другим не дают...

Никому не известно, когда, кто и где сговаривались никудышевцы, но однажды вечером, словно по сигналу, вся Никудышевка,

как при пожаре, загалдела и заскрипела колесами. Вереницами мужики, парни и бабы на телегах к барскому дому поехали, а впереди всех «коробейник» с Синевым...

Не меньше двадцати подвод разом! Потом добавочно скачут, то в одиночку, то кучками в две-три подводы. Это запоздалые торопятся... Лошадей нещадно хлещут, кричат осипшими голосами; есть пьяные — песни поют. Свист, гул, ругань...

— Отворяй ворота! Прймай гостей!

— Не бойся! Пальцем не тронем! За хлебом! Ключи выдай, а не выдашь, все одно двери расшибем!..

— У нас нет ключей! Они у Ивана Степаныча...

Начали в злобном исступлении рубить топорами двери амбаров. Надежды не оправдались: в амбарах и зерна, и муки оказалось не так много, как ожидали. И пяти подвод хватило бы! Немолоченая прошлогодняя рожь на гумне в копне стояла. Начали копну разбирать. Разгоралась мужицкая хозяйственная жадность, хищничество. Ругались, попрекали друг друга. Если бы не боялись время зря тра-

тить, и подрались бы. Да некогда! Пока будешь драться, другие все уволокут. Кипит работа! Едва ли мужики и бабы когда-нибудь работали с таким ожесточением, не щадя сил своих, как это было теперь!..

Появился стражник, попробовал пострадать, но ему ответили таким диким ревом и такими жестами рук с топорами, что он вздохнул и пошел прочь.

— Задержать его надо, а то донесет!

— Ну-ка, ребята, попридержи его, сукина сына!

Погнались за стражником с вилами — тот сдался; отняли револьвер и шашку, приволокли на барский двор и заперли со свиньями.

Позднее всех приехал на телеге Миколка Шалый, которого мы с вами, читатель, знали еще мальчуганом. Это был тот самый мальчик Миколка, который имел в детстве непреодолимое тяготение к барской музыке, тайно забирался под окна и часами слушал, как играет барышня. Теперь он был бородатым и женатым мужиком солидного возраста, но страсть к музыке его не покидала. Он и женатым мужиком нередко забывал о всех делах

своих, остановившись у барской ограды и слушая вырывавшуюся из раскрытых окон музыку. Маленько был он, по выражению баб, с придурью: любил говорить сказки, петь в церкви на клиросе, звонить в колокола на Пасхе, играть божественное на гармонии и подпевать, вознося голубые глаза к небесам. И, как хозяин, был ленив, ротозейничал и очень почесывался в неподобающих местах.

Вот и смеялись над ним мужики, а бабы, хотя и ругали лентяем, а как заиграет на гармонии, так и тают: божественное заиграет, — плакать охота, веселую начнет — плясать хочется... Жена донимала Миколку за эту музыку. Сколько недосмотру и убытку было в доме от нее!

— Ротозей! Пьяный не пьяный, дурак не дурак, черт тебя разберет, кто ты такой!

И тут опоздал Миколка. Прокопался около лошади. Неохота была ему ехать-то, да боялся «мира» и жены. Раз мир порешил ехать, ничего не сделаешь....

— Что ты — как попов работник?

Подбежала, стала помогать мужу впрягать кобылу старую. Помогает и ругается.

Вот и опоздал Миколка Шалый. Приехал, когда все добро погружено на телеги было.

Мешок зерна все-таки насыпал, наскреб...

Покончили с амбарами и гумном. Все-таки не того ждали. Не иначе как где-нибудь спрятано.

— Поискать, робята, надо!

Начали поиски по всем службам. Много всякого добра сложено в каретниках и чуланах разных: и всякая сбруя, и инструмент, и гвозди, и тарантасы, и колеса. Всякая всячина. В каретнике же под брезентом обнаружили старое фортепиано, то самое, на котором когда-то пробовал играть маленький Миколка. Хором засмеялись мужики:

— Миколка! Вот она, штука-то, музыка-то барская! Тебе бы? А? Грузи на телегу!

Вот тут черт и попутал Миколку Шалого:

— Она им не нужна! У них новая машина куплена...

Хохот стоит. А Миколка разгорелся. Подошел, потыкал пальцами...

— Его и хлебом не корми, а только на музыке поиграть...

— Грузи ему, робята, на телегу!

— Коли мир отдаёт, почему не взять? — радостно произнес Миколка Шалый.

— Бери, робята! Разом!

Покачнулась и поднялась тяжёлая ноша, а Миколка Шалый, стоя на своей телеге, гонит лошадь к каретнику.

— Вали, вали! Поперек лучше поставить! Повертывай!

Стало на место фортепиано и вздохнуло гармоничным аккордом.

— Вишь! Сама заиграла!

Подбивал кто-то в главный барский дом идти — отказались. Сомневались. Покуда обождать надо. Там видать будет. Дом всегда на месте останется. Торопиться некуда...

Заскрипели телеги, поползли с барского двора. Веселый гомон, смех, шутки. И все больше над Миколкой Шалым и его музыкой.

— Вот баба-то твоя обрадуется!

— Как она тебя ругать — сядешь и веселую ей: она и запляшет!

Едут не торопясь, точно возвращаются с ярмарки с гостинцами и покупками...

Деревенская улица кишит народом. Бабы визжат, хохочут. Ребятишки как собачонки

мечутся. Скрипят и колеса, и ворота. Добро по своим дворам разбирают. А на многих дворах уже ссоры бабьи между соседками.

Недовольные передела требуют: у кого больше, а у кого меньше, а у которых и совсем ничего нет!

На всю деревню визжит баба Миколки Ша-лого:

— Люди хлеба привезли, а ты, дурак, музыку! Пес ли в ней, в твоей музыке?

Хотели в избу внести — повернуть нельзя. Ни так, ни этак! Гремит, а не влазит...

— Эх ты грех какой!

Поставили, покуда что, в хлев, к корове. Пологом накрыли, а то птица нагадит...

— Ну вот... коровы, что ли, в твою музыку играть будут?

До самой ночи пилила баба своего дурня. А на свету обняла все-таки... Смирный больно. Даже жалко стало. Другой бы избил, да и все тут, а этот только почесывается да вздыхает...

А на другой день утром тревога по деревне: вернулся управитель Иван Степанович. Стражника освободили, и он верхом куда-то поехал на барской лошади. Надо начальства

ждать. Пойдут обыски да аресты, пороть, ска-
зывают, будут, засудят...

— Что теперь делать-то будем? Мать Пре-
святая Богородица. — Хлеб и зерно можно
спрятать. На них никакой заметки нет: бар-
ские они или крестьянские. А вот куда деть
музыку?

— А черт тебе велел приволочь ее домой?
Куда с ней денешься?! Некуда спрятать.

— В овин ее, что ли?.. А то на сенницу... се-
ном завалить.

— Куда хошь девай, хоть сожги, а только
чтобы не было ее, проклятой!

Стоит Миколка Шалый в коровнике и
вздыхает, глядя на музыку. Разя можно сжечь
такую машину? И подумать-то жалко.

— Ах ты Боже милостивый! Отвезти ку-
да-нибудь да спрятать покуда...

Придумал.

Когда стемнело, впряг свою кобылу, погру-
зил на телегу, прикрыл соломой и выехал со
двора.

Старики у изб на завалинках сумернича-
ли. Все сговаривались как быть, если допросы
и обыски приедет начальство делать. Завтра,

сказывают, становой приедет... Напуганы все, а увидели Миколку с музыкой — смеяться начали.

— Поиграл, да и обратно? Теперь друга музыка пойдет... Выдерут так, что и играть на музыке заречешься...

Жизнь причудливо сплетала драму с комедией...

Шалый пугливо посматривал по сторонам и торопил свою костлявую кобылу. Синяя темень надвигалась по горизонтам, и уже потухла последняя полоска зари над контуром темневшего впереди леса. Перекликались во ржах перепела, и где-то жалобно плакал чибис... Тихо в полях и спокойно.

Перестал беспокоиться и Миколка Шалый.

— Бог не без милости! И лес недалеко...

Ну вот и лес! Теперь никакой опасности. По этой дороге начальство не ездит. Трудная дорога: вся корнями ползучими оплетена. Подпрыгивает на них телега и позванивает жалобно музыка. Идет мужик и поглядывает по сторонам: места подходящего ищет, где бы спрятать поудобнее. Может, потом, со временем, можно будет опять домой взять.

Совсем в лесу темно. Дорога около оврага тянется. Вот оно, самое подходящее место. Стянуть в овраг пониже, в орешник — сам черт не найдет!

— Тпру!

Постоял над оврагом, почесался и начал стягивать с телеги музыку.

— Тяга-то какая!

Отдохнул маленько и начал спихивать фортепиано в овраг. Хотел, чтобы ползком съехала эта тяга, а ножка обломилась и музыка пошла кувырком и начала так играть струнами, что весь лес испугался. На обрыв наскочил Миколка Шалый.

Докатилось фортепиано до самого дна и последний раз простонало гармоничным стоном струн. В ночной тишине этот стон долго и медленно замирал... И вдруг где-то запел соловушек!

Постоял Миколка Шалый с опущенной головой над оврагом, почмокал губами. Потом рассердился на свою кобылу и, заворачивая телегу, начал хлестать ее вожжами по морде...

Выправил на дорогу и поехал шажком, на-

певая грустную песенку...

А на другой день приехал становой, урядник, стражники. Потом земский начальник с генералом из Замураевки. Начался скорый суд и расправа... Никудашевцы стояли на коленях, плакали, каялись, выдавали друг друга...

— Как сам хочешь: либо под суд, либо двадцать пять плетей?

— Знамо, уж лучше порите!

— Скидывай портки!

Выдали и Миколку Шалого. Сперва отпирался, а потом покаялся и все рассказал чистосердечно.

— Простите Христа ради, господа начальники! Черт попутал...

— Барской музыки захотел? Любитель какой!

И тоже предложили на выбор: под суд или 35 плетей?

— Что же это, ваши благородия, почему другим по 25, а мне больше?

— За барскую музыку дороже! А то как хочешь...

Миколка Шалый почесывался, но за него

крикнула жена:

— Чаво думать, дурак? Порите его!

— Да уж... Согласен!

Миколку Шалого пороли, а жена смотрела и ругала издали:

— Так тебе, дураку, и надо! Вот те и музыка!

Крикунов и зачинщиков выделили и арестовали, в число их попал и Синев. «Коробейник» исчез. Началось следствие по делу о разбойном нападении на усадьбу помещицы Анны Михайловны Кудышевой, о краже со взломом, сопротивлении власти, разоружении стражника и произведенном над ним насилии...

Вскоре на постой в Никудышевку и Замураевку прибыла полусотня казаков, и крестьяне стали тише воды и ниже травы...

Вернулась из Симбирска тетя Маша с опухшими от слез глазами. Наташа осталась в Симбирске около бабушки. Иван Степанович сразу постарел на десять лет. Алатырский жандармский ротмистр привлек его к делу об оскорблении его словами при исполнении служебных обязанностей.

Ротмистр мстил всему отчему дому. Вызвавши на допрос Ивана Степановича, он сделал попытку превратить старика из свидетелей в обвиняемые:

— По моим сведениям, вы знали, кто явился к вам под именем мещанина Ивана Коробейникова, и, содействуя укрывательству государственного преступника, провели его в парк... Так что вас следовало бы вызвать не в качестве свидетеля, а...

Это было так нелепо и так нахально, что Иван Степанович пришел в нервное состояние и начал кричать на ротмистра, называя его «молодым человеком». Тот тоже начал кричать, утверждая, что он не молодой человек, а жандармский ротмистр, призванный охранять священную особу Государя императора.

— От кого защищать? От меня, статского советника Алякринского? Да вы даже не молодой человек, а ребенок, не умеющий отличать правую руку от левой! Я удивляюсь, что такие важные государственные поручения даются... даются таким... таким... вот таким субъектам! Я могу привлечь вас к суду за

недобросовестное обвинение... За клевету на мое доброе имя...

Ротмистр составил протокол и продержал свидетеля в Алатыре трое суток...

Иван Степанович вовсе не испугался протокола, но он был потрясен до такой степени, что у него и сейчас продолжали трястись руки и странно дергаться лицевой мускул.

— Я больше не могу, не способен вести дело. Я отказываюсь!

— Что же ты на меня-то кричишь? — спрашивала тетя Маша, готовая и сама расплакаться. — Я и сама, Ваня, так измучилась, что чуть ноги ношу...

Написали письмо в Архангельск Павлу Николаевичу. Написали обо всем, что случилось в отчем доме, и просили указать, кому передать управление имением. Пришла телеграмма: «Прошу временно передать все дела брату Григорию...»

Григорий отказывался, но когда Алякринские заявили, что они уезжают, он согласился до осени присмотреть за хозяйством.

Так Лариса очутилась в хозяйках отчего дома. Сделалась полной барыней в заброшен-

ном имении дворян Кудышевых...

«Труба Иерихонская» загремела весело и бодро и в доме, и в парке, и на широком барском дворе.

— Не баба, а просто губернатор! — говорили мужики и ни в чем ей не перечили.

Поругает-так всегда задело. Хотя и строга, а зря никого не обидит. С каждым делом не хуже мужика справляется.

А Григорий при ней вроде как приказчик. Всем сама ворочает. От ее острого глаза ничто не скроется. Ну, и пошутит, да посмеяться за грех не ставит рабочему человеку.

V

Вглядитесь в портреты русских царей: Александра I, Николая I, Александра II и Александра III!

Это подлинные лики русского самодержавия.

Сравните их с лучшим портретом Николая II, написанным художником Серовым [576]!

Там мало «царственного» [577]. Оно подавлено «человеческим», слишком человеческим. И в лице, и в фигуре.

Художник не нашел в своей модели ни одной черточки для воплощения идеи самодержавного повелителя огромной империи, занявшей одну шестую часть земного шара, со сто пятидесятью миллионами народа...

Простота, доброта, скромность, застенчивость, неуверенность в самом себе как повелителе...

Летом 1903 года царь приезжал на открытие мощей Серафима Саровского[578].

Тысячи крестьянского люда, собравшиеся помолиться Божьему угоднику, рвались хоть раз в жизни увидеть своего земного бога.

Те счастливцы, которые могли бы через все преграды на пути проезда царя увидеть его, не увидели, а лучше сказать, видели, да не признали. В царской свите было столько величественных генералов, и каждый из них казался мужикам и бабам более похожим на царя, чем подлинный царь!

— Где он? Который?

Проехали!

Так оно было и в действительности.

Не только великие князья, но даже придворные генералы и сановники, генерал-гу-

бернаторы и многие губернаторы отражали идею самодержавия с большим успехом, чем сам император.

Временами казалось, что над великой страной носятся призраки Удельной Руси [579], с враждой и междоусобицами придворных партий, поочередно завоевывавших внимание и милости царя, по доброте и безволию поступавшего вопреки собственному желанию и постоянно менявшего свои решения.

А придворная камарилья торопилась ловить рыбу в мутной воде придворных интриг и влияний.

Царь был миролюбив и боялся войн, между тем «авантюристы патриотизма и самодержавия» неуклонно втягивали Россию в рискованные предприятия завоевательного характера, чему усердно помогали Англия и Германия... Общим было выгодно вовлечь Россию в авантюры на Дальнем Востоке.

Витте, в бытность свою министром финансов, понимая всю опасность этих ненужных России приключений, особенно при внутренних осложнениях, грозивших революцией, старался удерживать от них царя и, как ми-

нистр финансов, не давал кредитов на эти предприятия.

Авантюристы самодержавия устранили со своей дороги это препятствие: Витте был назначен на пост безвредного им председателя Комитета министров. То же случилось с военным министром Куропаткиным[580]. Он тоже боялся войны и вот что писал царю, когда в конце 1903 года царь попал в плен к шайке воинственных авантюристов:

Всемиловейший государь! Мы переживаем тяжелое время: враг внутренний пытается внести отраву даже в ряды русской армии. Недовольство и брожение охватывает значительные группы населения. Беспорядки разного вида учащаются. Случаи вызова войск для подавления этих беспорядков увеличиваются... Противоправительственные подпольные издания находят даже в казармах... Несомненно, что если бы на Россию было сделано нападение извне, то русский народ дал бы должный отпор врагам. Но если война начнется из-за неясных народу целей и потребует тяжелых жертв от него, то нельзя скрывать, что во-

жаки противоположительственных партий воспользуются этим, дабы усилить смуту. С этим фактом надо считаться, решая вопрос о войне.[581]

Министр военный рекомендовал политику уступок и мирного разрешения обостренных отношений с Японией. Такой министр был, конечно, тоже вреден авантюристам дальневосточных походов.

Царь колебался, не знал, кого послушаться... С одной стороны пугали, с другой — сулили легкую победу и славу...

Авантюрист Безобразов[582] успел уже очаровать государя и сделался статс-секретарем Его Величества. Он убеждал царя, что Россия могуча и непобедима и что «макаки» — как презрительно называли тогда японцев — никогда не отважатся на войну с ней, а потому нечего с этими «макаками» церемониться.

Зная о близости Безобразова к государю, начальник Дальневосточной области «сухопутный адмирал» Алексеев[583], сделавший карьеру через великого князя Алексея Александровича[584], поддерживал идею Безобразова завоевать путем лесных концессий Ко-

рею и расширить пределы Российской империи...

А что касается внутренней опасности, то тут большую роль сыграл полицейский диктатор, министр внутренних дел фон Плеве.

Возможно, что легкая победа над «крамолой» около виттевского «Особого совещания» и победа на фронте с бунтующим мужиком внушали ему уверенность в собственной полицейской непобедимости.

Фон Плеве тоже презирал «макак», верил в непобедимость России и даже желал войны.

— Чтобы окончательно подавить революционную смуту, нам нужна маленькая победоносная война! — говорил он.

Так авантюристы самодержавия получили сперва широкий доступ к государственному карману, а потом толкнули слабовольного царя на войну, нужную только внешним врагам России и врагам самодержавия внутри страны...

А последних с усердием плодили и продолжали плодить неразумные защитники самодержавия, воюя без разбора со всеми классами и сословиями, начиная с прогрессивной и

лояльной интеллигенции и кончая мужиком, не желая считаться с тем, что не народ существует для правительства, а правительство — для народа...

И вот жребий брошен: моряк, адмирал Алексеев, который боялся сесть верхом на лошадь, сделан главнокомандующим сухопутных войск на Дальнем Востоке, а военный министр Куропаткин убран с поста и назначен командующим. Никто не обижен, кроме России...

Война!

Какая радость для внешних врагов России! Какой простор для всяческих врагов внутренних!

Их так много и так они единодушны в своей ненависти к правительству! Послушайте, что незадолго до войны писал орган умеренных конституционалистов «Освобождение»:

Все слои общества должны понять [585], что русское самодержавие вступает в тот последний ликвидационный фазис своего развития, когда оно может только злобно и бесчеловечно отрицать все необходимые реформы

виселицей, тюрьмой, кнутом и пролитием народной крови. Правительство нигилистично в подлинном смысле этого слова. Как бы кто ни относился к социалистическим идеям, приемам и тактике революционных партий, разновременно ведущих и теперь ведущую борьбу с реакционным правительством, уже за одно то, что они боролись и продолжают бороться с насильем и произволом, их должен уважать всякий поборник свободы!

Здесь так ярко вскрылось воспитанное самим правительством ослепление интеллигенции, выразившееся в полном смешении понятий о *правительстве* и *государстве* (уравнение слова «антиправительственный» с «антигосударственным») при помощи любимого словца «свобода».

Представьте себе, как хихикал Ленин, перечитывая это место на страницах буржуазного органа!

— Пусть уважают, но мы будем их бить через голову самодержавия. И пусть они помогают и служат нам, эти попутчики, до первой станции!..

С какой-то загадочной обреченностью Россия неслась в пропасть революции...

Слепые были так уверены, что Япония не осмелится воевать с Россией, что, когда японский флот, не ожидая формального объявления войны, первым выступил и нанес чувствительный удар нашему порт-артурскому флоту[586], дремавшему в бухте во всем своем величии, — это удивило наше правительство, как гром с небес в зимнее время! Потом последовали неудача за неудачей: погиб броненосец «Петропавловск»[587] с нашим лучшим адмиралом Макаровым, несчастный Тюренченский бой[588], такой же морской бой у Порт-Артура, в котором мы потеряли несколько лучших судов... Наш флот был обречен на полное бездействие...

И каждый удар, наносимый Японией русскому государственному флоту и государственной армии, одинаково радовал как внешних врагов, так и всех внутренних, от революционеров до последнего мало-мальски культурного жителя, почему-либо недовольного порядками внутреннего полицейского управления страной.

Воевало правительство, а не Россия, от которой правительство как бы изолировалось. Правительство с каждой новой неудачей впадало в панику, а управляемый им житель России, как Иванушка-дурачок, радовался:

— Так им и надо!

«Пораженчество» как эпидемия охватывало русские умы и души...

Привыкли думать: когда поколотят правительство, то нам же будет легче и лучше!

Мужик кое-где роптал, не понимая, за что его гонят воевать, никакого боевого пафоса и национального подъема не проявлял. Только стоны и слезы баб и ребятишек да угрюмый взгляд исподлобья...

Кому нужна эта война?

На этот вопрос торопились ответить революционеры, и притом весьма просто и убедительно даже для темной мужицкой головы, не говоря уже о рабочих... Помирай, а за что, неизвестно. «За родину, царя и отечество». Но никто их не трогал, а полезли сами.

— Своего не дадим, а чужого нам не надо!

Революционеры работали с неутомимой энергией.

Сперва во главе террора стояли: за границей Гоц и дома Гершуни с «бабушкой революции». Когда Гершуни был схвачен, его место занял рожденный богом мести двуликий Иуда, инженер Евно Азеф.

И пятнадцатого июля 1904 года диктатор внутренних дел министр Плеве, несмотря на усиленную охрану его особы, был убит на улице Петербурга брошенной в его карету бомбой...

Гром от этого взрыва всколыхнул всю Россию и напугал царя и правительство...

Великое торжество было во всех претерпевших и злобствующих душах...

В городе Архангельске очередной четверг с его «буржуазными пирогами» прошел исключительно торжественно, с речами, объятиями и поцелуями: в этот день как раз до Архангельска долетела весть о совершенной над ненавистным министром казни...

Ликовали все без различия партий, пола и возраста, а некоторые в особенности. К таким относились потерпевшие от Плеве высланные сюда прогрессивные земцы, и в их числе, конечно, сам устроитель «буржуазных пиро-

гов» Павел Николаевич Кудышев с семейством.

У этих была надежда на скорое возвращение домой.

После возбужденных воинственных речей пели хором революционные песни.

И сам Павел Николаевич вздумал запевать «Дубинушку»:

*Но то время придет — наш
проснется народ,
И, встряхнув роковую кручину,
Он в родимых лесах на врагов под-
берет
Здоровее и толще ду-би-ну-у-у!*

А хор, махая руками и стуча ногами, подхватывал воинственно:

*Эх, дубинушка, ухнем!
Эх, зеленая, сама пойдет, сама
пойдет,
Да ухнем!*

И надежды потерпевших оправдались.

После убийства Плеве царь растерялся. Надо было выбрать нового министра, а он положительно не знал кого взять. При дворе рабо-

тало несколько партий, и каждая подсовывала своего кандидата. В конце концов, царь не взял ни одного из этих кандидатов и послушался мадам Милашевич[589], по первому мужу — Шереметьеву, а по рождению — графиню Строганову: назначил министром князя Святополк-Мирского[590].

Вот какую беседу вел царь с князем перед его назначением.

— Я, Ваше Величество, имею свои политические взгляды и всегда поступаю так, как приказывает мне совесть. Правительство и общество ныне представляют два воинствующих лагеря. Такое положение установилось уже давно, а несчастная война довела эту борьбу до крайности. Такое положение невозможно. Правительство должно примириться с обществом, а это возможно лишь путем удовлетворения назревших и справедливых желаний общественных кругов, а равно и удовлетворением справедливых желаний населяющих Россию иноплеменных народов!

Государь потрогал ус и тихо сказал:

— Я сам того же мнения...

И в результате Павел Николаевич с семей-

ством вскоре устраивал последний четверг с буржуазными пирогами, после которого как бы победителем отъезжал из Архангельска в свой отчий дом.

Это было в конце августа, когда в Архангельске было получено известие о проигранном нами великом бое под Ляояном[591], поэтому проводы Павла Николаевича носили исключительный характер.

Впервые на Архангельском вокзале местный полицейский пристав услышал публичный призыв в публичном месте:

— Долой самодержавие!

Пристав был настроен тоже оппозиционно: его только что понизили за взятки переводом из доходного участка в пригородную часть. «Сами воруют тысячами, а тут сучок видят в глазу брата своего!»[592] Недовольный существующим порядком, пристав решил притвориться, что он ничего не слышал. Вся колония ссыльных провожала Кудышевых. Павел Николаевич на радостях потребовал шампанского, которое еще сильнее подняло воинственное настроение.

— Кого это провожают? — недоуменно

спрашивали друг друга окружающие.

— Надо быть, актеры какие! — догадывались простодушные жители...

— Зачем актеры! Политики это! — поправлял сведущий человек.

Можете ли себе представить волнение душ и умов, когда Павел Николаевич с семейством вернулся с победоносным видом в городок Алатырь и снова, как ни в чем не бывало, водворился в бабушкином доме? Можете ли себе представить происшедшее в связи с этим происшествием смущение местных властей и подъем оппозиционного настроения в среде местной интеллигенции, побывавшей на первом буржуазном пирогe, устроенном Кудышевыми для старых верных друзей и поклонников, которые совсем было присмирели после крутой расправы с их «вождем»?

И можете ли, наконец, представить себе угнетенное состояние всех бывших чиновных и сословных врагов, когда новый министр князь Святополк-Мирский особым доверительным письмом на имя симбирского губернатора предложил не чинить впредь препятствий к восстановлению служебных прав

Павла Николаевича на случай, если бы он пожелал вернуться к общественной работе на земской ниве?

Все почувствовали, что где-то там, на верхах, случилось нечто тайное, знаменующее крутой поворот в политической жизни государства.

Разве мог кто-нибудь подумать, что всему причиной была мадам Милашевич, по первому мужу — графиня Шереметьева, а по рождению — графиня Строганова?

Местный исправник на всякий случай сделал визит и выразил Павлу Николаевичу свое удовольствие по случаю его возвращения. Его примеру последовал и жандармский ротмистр. Первого Павел Николаевич принял нельзя сказать чтобы дружественно, но, во всяком случае, достаточно миролюбиво. Ротмистр же должен был ограничиться визитной карточкой. Вышедшая на звонок прислуга сказала ему:

— Они больны и принять не могут!

Кудышевы уже знали из писем Наташи, какую роль сыграл этот человек в судьбе бабушки и брата Дмитрия...

Павел Николаевич знал также, что Наташа разошлась с мужем и что теперь тетя Маша заменила ее в Симбирске, а сама Наташа служит в одной из студий Московского Художественного театра. Хотя его сильно озабочивало положение хозяйственных дел в Никудышевке, но он прежде всего поехал в Симбирск, к матери. Отыскал тетю Машу, которая жила поблизости от психиатрической больницы и навещала бабушку в установленные дни.

Сперва посердился на Алякринских, бросивших на произвол Григория имение, но, узнавши, что Иван Степанович положительно неспособен к труду и живет пока на попечении своей дочери, Гавриловой, смягчился и начал расспрашивать про мать:

— Ну, а как мама? В каком она положении?

Тетя Маша махнула рукой и стала отирать слезу.

— Плоха?

Павел Николаевич любовно похлопал тетю Машу по плечу и, вздохнув, произнес:

— Слезами не поможешь.

Павел Николаевич никогда не был особенно чувствительным и жалостливым. Он был уже в том возрасте, когда люди отходят душой от своих родителей и легко примиряются с фактами, не устранимыми силой и волей человеческой. Лишь по формальному долгу сына он заставил себя повидать впавшую в идиотизм старуху. Она никого не узнавала, была неопрятна и вообще производила неприятное впечатление тем «звериным», что сменило в ней все человеческое.

Побыл минут десять, поговорил с врачом и обрадовался, очутившись на чистом воздухе, в суете обыденной городской улицы. А вот тетя Маша не могла примириться:

— Взять бы ее домой, в Никудышевку! Доктор говорит, что вполне это безопасно. А кто знает? Может быть, дома-то и поправилась бы...

— Я ничего не имею против, только... кто будет с ней возиться? Ей-то, собственно говоря, все равно. Тут обман наших чувств: вы не ее, а себя жалеете. Всего лучше, если бы она...

— Так уж все-таки лучше, если умрет дома, среди родных. У нее и могила для себя приго-

товлена...

— Не все ли равно, Марья Михайловна, где мы будем гнить после смерти? А вот где все документы, которые потребуются, если мама умрет?

Павел Николаевич заметно встревожился.

На другой день утром он уже выехал на почтовой паре в Никудышевку.

VI

Стоял сентябрь. Уходившее лето, казалось, приостановилось, оглянулось и посылало грустные и ласковые улыбки земле, похожей на задремавшую в приятной истоме после родовых мук роженицу...

Наступила пора, которую в деревне называют «бабьим летом».

Безоблачна небесная синева. Вся природа в блеклых пастельных красках. Воздух прозрачен и звонок. Все линии рисуются тонко и отчетливо. Необыкновенная тишина, кротость, приветливость льются в душу каким-то чудесным бальзамом умиротворенности, тихой радости и неосознанной благодарности Господу Богу за то, что ты живешь в неведомой слиянности со всем, что видит глаз и слышит

ухо...

Хорошо! И на душе, и в телесном самоощущении... Так хочется чему-то посмеяться от радости, беспричинной радости бытия! Прилив мускульной силы напоминает далекие дни молодости и рождает туманные греховные помыслы, от которых Павлу Николаевичу хочется сладко потянуться...

— Ну-ка, попридержи лошадей! Пройтись надо, ноги расправить...

Вылез, снял шляпу и пошел по тропинке придорожной, к лесу в золотисто-зеленых кружевах осенней листвы.

Хорошо в лесу осенью! Позванивают так музыкально колокольчики почтовой пары. Вдали перекликаются бабьи и девичьи голоса: грибы собирают. Вспомнилось далекое-далекое, греховное: охотился однажды с ружьем и собакой в своем лесу и наткнулся на молоденькую бабенку, кажется, Лукерьей звали... Бойкая, игривая такая бабенка. А в лесу такая встреча в юности всегда ко греху клонит. Приостановился, разговорился и увязался... Тары-бары. «Не трожь!» да «отцепись», а сама хитровато по сторонам оглядывается... А сет-

тер Арман поварчивается. Может, еще какого человека чует?

— Вот увидят, срам-то какой!

Разве, когда закипит молодая кровь, можно охладить ее какими-нибудь словесными страхами?

Обнял и уронил на мягкий бархатный мох. Но тут вышло смешное: сеттер Арман вообразил, что его хозяина обижают, и бросился со злобным намерением впиться зубами в обидчицу. Рвет и мечет. Лай на весь лес...

Бабенка хохочет, смотря, как барин лупит свою собаку. Побежала в кусты. Собака за ней. Задыхаясь от волнения и злобы, Паня (так тогда назывался Павел Николаевич!) приложился и выстрелил в своего Армана. Покружился он кольцом и растянулся в судорогах...

Догнал Паня бабенку. Теперь некому было помешать...

А потом, когда все кончилось, вернулся к убитой собаке и долго сидел около нее, отирая непрошеные слезы...

А было все это не меньше тридцати пяти лет тому назад!

Теперь уже и собаки не жалко. Хохот раз-

бирает. А лес точно колдует: вот точно такое же местечко показывает он Павлу Николаевичу в глубине своей, как и то, где все это случилось! Тропочка в кусты частого орешника, а там точно шатер под золотой крышей и просвет в солнечность, как окошко...

Крякнул Павел Николаевич и сладко потянулся, ощущая проснувшееся вожделение...

Приехал домой Павел Николаевич ночью. Для всех здесь его приезд оказался неожиданным. Долго звонил, дергая за проволоку у ворот. И опять сперва появилась девка, а потом уже загорелся в главном доме огонек. Ночь была безлунная, темная. В темноте поплыл звездочкой ручной фонарь и послышался переполох во дворе. Сипло залаял пес. Сонная переключка мужских и женских голосов. И вдруг знакомый, когда-то так волновавший Павла Николаевича голос Ларисы:

— Спросите, кого надо!

Повелительный такой голос, хозяйский.

— Лариса Петровна! Это я! Павел Николаич!

— Батюшки-матушки! Извините, я маленько приоденусь хоть... Спать было улеглась...

Радость-то нам какая!.. Барин прибыл! — пропела Лариса и смолкла.

Впустили наконец Павла Николаевича в ворота, и вот он дома...

В комнатах беготня, шепот, что-то перетаскивают. Точно заговорщики. А он сидит гостем или просителем, приглядывается и прислушивается. В приотворенную дверь глаз схватывает мимолетные видения, и среди них мелькает Лариса в знакомом-знакомом мохнатом купальном халатике нараспашку. Халатик узок и не вмещает рвущихся на волю женских прелестей. Ба! Да ведь это Леночкин халатик! То-то будто старого знакомца увидел. На голове повязка из малинового шелкового платочка, и тоже знакомая...

— Я вас, Павел Миколаич, и покормлю, и чайком попою, а только маленько повремените... Сей минутой кабинет ваш в порядок приведем... — мимолетно бросает Лариса в приоткрытую дверь и снова исчезает.

— Я к Грише на хутор лучше пойду! — слышится где-то мужской грубоватый шепот.

Павел Николаевич поморщился, но, прислушавшись, догадался: это Ларисин отец!

Слышно было, как где-то переставляли мебель, позванивали тарелками и стаканами.

— На погребницу за сливками сбегай, Ариша!

Около часа просидел Павел Николаевич в одиночестве, а потом дверь открылась и:

— Доброго здоровья, Павел Миколаич! С приездом вас! Вы уж меня извините: наскоро я приделась. Не обессудьте! Мы люди простые, деревенские, по ночам-то спим. Вот и задержали вас тут. Пожалуйте-ка в столовую...

Черт, а не баба! Сразу почувствовал то же самое, что в те дни, когда впервые увидал эту женщину. Все росточки неудовольствия за бесцеремонное хозяйничанье в главном доме этой бабы сразу завяли под ее лукавыми глазами и певучим, густым, как сладковатая брага, голосом... Сразу точно хмель забродил и в голове, и во всем теле. А ведь Павлу Николаевичу шестой десяток идет!

Оглядывается по сторонам, думает, что вот сейчас выглянет брат Григорий. Только растрепанная и заспанная девка носится, подавая всякую всячину. На столе — скатерть, са-

мовар, булочки, яичница-глазунья, графинчик пузатый и рюмочка тонконогая.

— Иди с Богом спать! Теперя сами управимся...

Исчезла и девка...

— А где брат?

— Гришенька на хуторе. Там ведь тоже хозяйство. Вот и разрываемся. И здесь страшно без человека дом бросить, да и там доглядка нужна. Очень много всякого озорства в народе развелось! Когда одна, а когда с папашенькой своим здесь ночуем. А то Ваньку беру. Одной-то в таком дому тоже как-то боязно. Во флигелях-то я боюсь: там кто-то ночью по подволокам ходит. В одном-то Никиту доктора резали. А другой заместо амбара сделала. Разворотили у нас амбары-то. И сейчас без дверей стоят...

Начались рассказы о разных пережитых ужасах: как мужики имение грабили, как их драли потом, как убили в парке... уж неизвестно — кого...

— Теперя и в сады боюсь, как стемнеет, ходить. На хутор кругом бегаю... По ночам, сказывают, убитый-то господин по дорожкам хо-

дит...

— Э, сказки все это, Лариса Петровна!

— Уж не знаю... А только я по ночам пугливая. Дай мне тысячу рублей, чтобы сейчас на Алёнкин пруд сбегать, — не соглашусь! А вы кушайте, поди, с дороги-то хочется...

Подливает в тонконогую рюмку водочки.

— Выкушайте-ка на доброе здоровье!

— Я уже выпил две...

— Без Троицы дом не строится!

— Одному скучно. Не с кем чокнуться... Если выпьете со мной, тогда...

— Непьющая я. Да уж ладно! Со свиданьем можно одну...

Начала было Лариса Петровна о разных хозяйственных делах говорить, но Павел Николаевич сказал:

— Потом об этом поговорим. Не хочется сейчас... Лучше еще по рюмочке выпьем! Без четырех углов дом не строится...

— Я вам, Павел Миколаич, в кабинете постель-то приготовила.

— А где вы... расположились?

— Когда ночью, так в спальней...

И тут у Павла Николаевича зашевелилась

в душе странная смесь ощущений: оскорбление семейного святилища, ревнивая подозрительность и греховная мысль о некоторых возможностях...

В их спальней — две кровати. С кем она там?.. Нарядилась под Леночку после купанья, спит в ее постели, разыгрывает «барыню», и неизвестно, кто там по ночам играет роль «барина»...

— А почему же брат Григорий не живет здесь... с вами? Хотя бы ночевать-то мог бы приходиться... чтобы вам не страшно было... Да и повеселее бы вдвоем-то было...

— Да ведь, как говорится, Павел Миколаич, хотя врозь-то и скучно, да вместе-то тесно!.. Тоже и хутор без надзора бросать невозможно.

— Ну, тесно! Там две кровати...

— Да я не про то... Просто сказать — оно спокойнее, врозь-то...

Разговор принял игривый оттенок. Выпитая обоими водочка помогала этому.

— А я вот не люблю один спать...

— Что же супругу-то не взяли? Приедет она к вам или... как будет?

— Нет. Поздно уж, к зиме дело идет. Некому здесь, кроме вас, Лариса Петровна, обо мне позаботиться...

— Что же, я готова для вас постараться... Одному мужчине без женщины, конечно, трудно. Без хозяйки, как говорится, и дом — сирота...

Павел Николаевич настраивался все более игриво и блудливо:

— Эх, Лариса! Кабы мы с вами так годков на двадцать пораньше встретились!

— А что тогда было бы? — спросила не без кокетства Лариса, сверкнув масляным взором и зубами в хитроватой улыбочке, шевельнувшей красные губы.

— Что было бы?... А вот что со мной случилось однажды в дни молодости...

— Что вам о молодости-то плакать? Вы в полном, можно сказать, расцвете...

Павел Николаевич рассказал про Лукерью и про убитого им сеттера Армана. Лариса Петровна выслушала рассказ с опущенными глазами, очень серьезно и, вздохнувши, тихо сказала:

— Бывает всяко, Павел Миколаич... Случа-

ется, что и человек вроде как собакой делается... Силен в нас грех-то прародительский!

И тут Лариса призадумалась и неожиданно перешла на деловой тон:

— Вот что, Павел Миколаич... Неприятность у нас большая. Посоветоваться с вами хочу...

Но тут часы пробили двенадцать, и Лариса оборвала:

— Завтра уж, видно, поговорим. Поздно уж. Полночь. Обоим нам спать пора...

Она встала.

— Посидим еще маленько, Лариса! Выпьем еще по рюмочке!..

— Не могу, Павел Миколаич, увольте!.. Я пойду уж... Вам все там, в кабинете приготовлено: и постелька, и свечка поставлена, все как следует...

— Скучно мне что-то, Лариса Петровна, в сиротстве-то моем...

— Что делать, Павел Миколаич?.. Терпеть надо.

Протянула руку. Павел Николаевич не выпускает ее руку и тянет к себе. Вырвала руку и ушла...

Посидел, с досады хлопнул еще две рюмки, и бес похоти окончательно оседлал поседевшего уже человека. Обманывая самого себя, Павел Николаевич взял свечу и пошел осматривать комнаты. Конечно, под этим осмотром таилась задняя мысль — как-нибудь очутиться в спальней комнате. В щелку двери из спальни льется свет. Не спит еще. Заглянул одним глазом: сидит в кресле и плетет косы. Купальный халатик совершенно распахнулся, и богатырская грудь выглядывает, приподнимая рубаху с кружевцами.

— Кто там ходит?

— Вы не легли еще?

— Собираюсь уж, Павел Миколаич. А вам что угодно? Надо что-нибудь, что ли?

— Вы хотели посоветоваться со мной о каком-то деле?

И, не дождавшись ответа, он растворил дверь. Был момент смущения с обеих сторон, но они потушили его деловым тоном.

— Завтра своими делами придется заняться, а сейчас могу выслушать и...

Запахнувши халатик, Лариса вздохнула и сказала:

— Что же, коли пришли, так присядьте... Стыдно мне вас своими неприятностями беспокоить, да что сделаешь?

Павел Николаевич быстро обвел взором комнату. Постель, на которой спала его Леночка, приготовлена для спанья: взбиты подушки, оторочено одеяло. Его постель в полном порядке, не тронута. Все тут так знакомо, близко... И вдобавок — весьма знакомый халатик. Так и потянуло в свою кровать! Разделся и лег бы!

— Так в чем дело, Ларисочка? Я рад вам помочь, если сумею. Вы ведь знаете, что я всегда был к вам расположен...

— Очень вам благодарны. И я скажу вам, что изо всего дома этого вы для меня самый приятный человек... А дело у меня очень неприятное...

Стала рассказывать.

Попал в их «корабль» (общину) один человек, писарь при волостном правлении, в доверие влез. Да воспылал греховной страстью к Ларисе и начал греха добиваться. А та воспротивилась. Тогда писарь стал грозить, что все начальству раскроет.

— Что же, говорю, Иудой будешь?

Возненавидел он Ларису и сделал донос, будто она и кощунствует, и развратничает, мужчин своими телесами одурманивает, и те деньги ей несут и подарки разные...

— А наш поп и рад. Он давно зубы на нас точит... Сказывают, что и донос-то вместе писали.

И чего только в этом доносе нет!

— Сядем рядком и поговорим ладком!

Павел Николаевич подсел к Ларисе.

— Вы уж, голубушка, будьте со мной вполне откровенны. Говорите мне, как духовнику на исповеди, и поверьте, что весь этот разговор останется между нами... Вот, например, относительно одурманивания мужчин. Что действительно правда и что ложь в этом доносе? Иначе и совет трудно дать...

Лариса смущенно опустила голову, щеки ее зарумянились, на губах стала шевелиться странная улыбочка.

— Что Господь сотворил Адама и Еву — я не причинна. Я вам уж говорила, что любовь в Духе мы за грех не считаем. А если так, как все звери делают, от этого отвергаемся. Надо,

Павел Миколаич, правду сказать: мужчине труднее от звериного-то отстать, чем женщине. Я вот во всех мужчинах братцев вижу, а не всякий братец может себя от звериного освободить. Сперва-то каждый женской плоти рабствует. Приучить надо такого, чтобы зверь-то в нем замолчал. Вот такого и приходится испытывать да учить. Это не развратство, а искушение. Испытание делается: брат он своей сестрице, женщине, или женщину выше чувствует?

Лариса смущенно замолкла. Она искренно выворачивала свою душу перед Павлом Николаевичем, а тот искусно разыграл того иезуитского жирного монаха, который, сгорая от похотливого любопытства, спрашивает молодую женщину о всех подробностях совершенного ею грехопадения. Однако совершаемая пакость искусно и незаметно для самого Павла Николаевича прикрывалась нейтральной хламидой юридического анализа...

— Скажите мне прямо: с тем человеком, писарем, который донес на вас, вы жили как женщина с мужчиной?

— Нет. Он был еще на испытании и в Духе

не ходил... Не я, а сам себя он одурманивал...
Раза три был он у меня на испытании, и за-
всегда в нем звериное обнаруживалось.

— Ну, а в чем же заключались эти испыта-
ния?..

Лариса тяжело так вздохнула.

— А вот мы с вами теперь сидим во полу-
нощи, и нет чужих глаз. Разя это не испыта-
ние? А вот если бы вы меня сейчас в наготу
зрели, разве это не испытание было бы? Раз-
ных степеней бывают испытания.

— Скажу вам прямо, Лариса: я не выдер-
жал бы такого испытания...

Похлопал ее по плечу.

— Трудно оно, сестрица!.. Если у писаря не
было никаких свидетелей, то лучше на допро-
се отрицать эти испытания...

— Какие же свидетели! Действительно, сто
целковых он внес в наш корабль. Так мы бы
ему теперь и пять сотен отдали, только бы от
грязи этой ослобониться... Я думаю так, что
человек этот подкупленный... Начальство его
подослало с попом...

— Есть у меня такой адвокат, Лариса, кото-
рый вам полезен будет. Я с ним в дружеских

отношениях. С ним надо поговорить...

Опять тронул горячее плечо Ларисы:

— Ну, вот и искушение...

Подхватил под руку, нагнулся и притянул к себе.

— Что с вами?.. Не надо...

Откинул голову Ларисы и стал целовать в губы. Она не противилась ни поцелуям, ни грубым касаниям. Только взволнованно дышала...

— Зверь ты, зверь... — шептала, закрыв глаза. — Опомнись! Но Павел Николаевич был уже в полной власти зверя. Он потушил обе свечи и запер дверь.

Ночь такая темная, что и Ларисы не найдешь. Спряталась.

— Все равно... Я тебя не выпущу...

.....

.....

Потом Павел Николаевич долго ходил из угла в угол кабинета, полный самых противоречивых переживаний. Чувство победителя, свойственное в таких случаях мужчине, сменялось трусостью наблудившего школьника и боязнью каких-то еще неосознанных по-

следствий. Другая баба сама поняла бы, что надо молчать, а эта... какая-то исступленная, бесноватая, страшная в своем грехе...

— Эх, черт меня дернул!..

Лег и не мог заснуть... Прикинулась святошей, а на деле...

— Укусила ведь... Самый подлинный зверюга!..

То смеялся, то трусливо затихал, мысленно спрашивая кого-то, что теперь делать? Не уехать ли завтра утром?

VII

По мере все новых и новых неудач на войне развивалось брожение в умах и душах всех сословий и классов.

Политическая авантюра придворной камарильи, потребовавшая огромных кровавых жертвоприношений со стороны народа, вместо ожидаемых лавров царю и отечеству несла позор для России, быстро роняя престиж великого и могущественного государства, оказавшегося вдруг «великаном на глиняных ногах».

Всю ответственность за эту ненужную и позорную войну должны были принять на се-

бя царь и правительство.

— Вы способны воевать только со своим народом!

Общее негодование смешивалось со злорадством. «Чем хуже, тем лучше!» — делалось общим лозунгом. На улице революции чувствовался радостный праздник: там тоже выкинули «пораженческий флаг» с надписью:

«Поражение нашей армии и флота — самый лучший и желательный выход из войны. Бросайте фронт и обращайтесь оружие против самодержавного правительства, безнаказанно проливающего народную кровь и разоряющего население!»

«Пораженчество», как эпидемия, охватывало озлобленные души.

Надо сказать, что оно имело свою логику. Не что иное, как неудачи на войне, поставили на место жестокого усмирителя и полицейского диктатора Плеве князя Святополк-Мирского, который не только перестал усмирять, а начал искать сближения с возмущенным общественным мнением, решил призвать к делу государственного управления лиц, пользующихся общественным доверием, что уже

само по себе являлось осуждением всей прежней политики.

Разве это не победа на внутренней войне народа со своим правительством?

А вот и еще одна победа: разрешено свыше устроить съезд общественных деятелей в Петербурге[593]! А давно ли эти мечтатели о конституции назывались зловредными крамольниками и подвергались всяческому гонениям?

Как же тут не радоваться собственным поражениям на войне?

В воздухе запахло «политической весной». Запели все большие и малые птицы: о свободе, братстве и равенстве...

Запели красногребенные петухи, закудахтали курицы, засвистели соловушки, дрозды, застучали-задолбили дятлы, и вознесся горьковский «Буревестник», кружась над Россией.

Этот весенний хмель кружил головы и пьянил души не только молодым, но и старым.

Павел Николаевич, например, положительно переживал вторую молодость. Политическая весна вернула его победителем в от-

чий дом, где он, уже совершенно неожиданно для самого себя, одержал победу над Ларисой... Сперва испугался, но быстро освоился. Этому помогли тоже наши неудачи на позорной войне и связанные с ними события громадной общественной важности. Они как бы ставили крест над такими шалостями личного поведения, как пикантный эпизод в спальне. Ведь это такой пустячок, о котором сейчас просто не стоит думать! И не все ли равно: случится это только однажды или повторится несколько раз? Россия от этого не пострадает. Вообще никакой трагедии тут нет: это не из Шекспира, а из Боккаччо! Бес изгнан, значит, можно и в Петербург на съезд конституционалистов поехать!

На последнем сеансе в спальне даже и этот пикантный анекдот получил политический фундамент:

— Конечно, Лариса, все, что случилось, должно остаться между нами. А вы правы: мы, мужчины — прежде всего звери!

Лариса облегченно вздохнула:

— Кроме Бога никто не узнает. А Бог простит, Павел Миколаич. Вот теперь вы от вла-

сти-то плотской освободились, на месте звериного-то братское останется. Духовные очи открылись... Вы уж мне помогите с врагами-то ратоборствовать: с попом да писарем-то! По-братски-то...

— Непременно.

Ларису беспокоил больше не этот случайный «грех не в Духе», а донос Иуды.

Вот Павел Николаевич и успокоил женщину:

— Дело, Лариса, к тому клонится, что Россия скоро освободится от всех угнетателей, политических и религиозных. И ни поп, ни становой в чужую душу залезать не посмеют. Верь во что хочешь; молись, кому хочешь и как хочешь!

— Вот бы хорошо! А то поглядите, что у нас делается. Вчерась про Серафима Саровского разговор у меня с нашим дьячком вышел. При народе было. Вот я и сказала, что у вас, дескать, во святые-то его царь приказал произвестить. А царь не Бог, а и сам грешный человек. А дьячок и говорит: как же не святой, если по молитве к нему у нас наследник престола родился[594]? А я и посмейся! Во все, гово-

рю, дыры вы Бога-то суете! С дьяволом, говорю, Бога-то спутали. От плотского греха ведь люди-то рождаются, от прародительского, а вы Бога подставляете, говорю. Вот тут дьячок и начал кричать: за такие слова, говорит, тебе каторги мало... Донесу, говорит, на тебя, так вот и узнаешь, как нашего Бога и царя хулить! Прямо слова сказать нельзя...

— Мы отделим церковь от государства. Всяк сверчок знай свой шесток!

— И вот тоже про войну. Мы с Григорием Николаичем войну за грех почитаем и, коли человек спросит, не таимся. «Не убей!» — значит, и воевать грех. А тут, в Замураевке, двое из наших отказались на войну пойти, так их арестовали, избили да еще судить будут.

— Это, конечно, насилие над совестью человека! Это скоро кончится.

— Дай-то Бог! А то столько этих гонителей-мучителей, что прямо и жить не дают...

— Скоро это кончится. Отвоюем свободу слова и совести!

Приходил брат Григорий с отчетом, с грудой всяких документов, расписок, тетрадок. Голова Павла Николаевича была полна во-

просами государственной важности, а тут надо было погружаться в болото таких мелочей и дрязг, что становилось тошно. Считай копейки, читай всякую ерунду, нацарапанную безграмотной корявой мужицкой рукой! Время ли заниматься такими пустяками?

— Бросим, Гриша! Не могу. После разберемся. Я вам верю и... вообще не стоит тратить времени...

Получил от брата какие-то четыреста двадцать три рубля и восемьдесят девять копеек, положил их застенчиво в боковой карман и сказал:

— По нашим временам я и этого не ожидал...

Приезжали в Никудышевку друзья и единомышленники, всегда радостные и возбужденные, с самыми невероятными новостями, планами, надеждами, обсуждали, что лучше — конституционная монархия английского типа или республика американского с огромной властью президента?

Ведь уже запахло конституцией: министр Святополк-Мирский подал царю доклад с проектом указа о различных политических воль-

ностях, о привлечении в Государственный совет выборных представителей от народа, о даровании полной свободы вероисповедания!..

Прежде чем ехать в «центры» для участия в политической работе, необходимо было организовать все местные силы Симбирской губернии, стовориться со всеми насчет политической платформы.

Павел Николаевич, не распутавши запутанных дел хозяйства, все бросил и сперва направился в Алатырь, а оттуда в Симбирск...

Только накануне отъезда из отчего дома он с удивлением увидал, что в галерее бабушкиных предков неблагополучно: трех предков не хватает! По расследовании оказалось, что они похищены родным сыном, любимцем Павла Николаевича Петром...

— Однако! — произнес Павел Николаевич и, снявши со стены всех уцелевших, запер их в своем кабинете.

А дорогой, покачиваясь в тарантасе, думал под звон колокольчиков о Петре: талантливый шалопай! Черт его знает, в кого он уродился. Сделал тут предложение девице Тыркиной и, не женившись, поехал доброволь-

цем на войну, а предварительно украл три портрета. Получил Георгия и ныне раненый лежит в великосветском госпитале в Петербурге и снова собирается жениться, на этот раз на сестре милосердия, дочери одного из царедворцев... Вместо честного гражданина получился типичный авантюрист! Полная неожиданность...

Павел Николаевич надолго скрылся с никудышевских горизонтов...

Политические события держали Россию в непрерывном возбуждении. Шла война на двух фронтах, внешнем и внутреннем. На первом — с явно клонившейся победой на сторону японцев, на втором — на сторону врагов самодержавия... Царь пребывал в боязливом колебании, не решаясь окончательно встать на ту или другую сторону, чтобы действовать быстро и решительно. Он не мог взвесить силы борющихся. Где правда и где сила? Душа его трепетала в смене настроений, рождаемых советами и угрозами обеих сторон.

В ноябре 1904 года он собрал совещание министров и некоторых особо приглашенных

высших чиновников для рассмотрения доклада министра Святополк-Мирского с проектом указа, от которого пахло конституцией. Всего больше пугал царя в этом докладе пункт, в котором проектировались *выборные* люди, их участие в законодательстве. Царь пожелал выслушать по этому вопросу... развенчанного им Витте!

Это указывало на полную растерянность государя.

Витте сказал откровенно: организованное участие выборных от народа лиц в законодательстве есть несомненный шаг к конституции.

Большинство этого совещания, уклоняясь от прямого ответа, все-таки поддерживало принципы доклада Святополк-Мирского о необходимости обновления внутренней политики в сторону соглашений с общественным мнением...

Царь искренно желал всяких реформ только *без конституции!*

И вот нерешенный вопрос по желанию царя очутился в Комитете министров, в котором председательствовал Витте. Мало того, царь

поручил ему составить проект указа о реформах. Витте составил и подал государю этот указ. Царь прочитал указ и снова заговорил о страшном пункте.

— Если, Ваше Величество, находите, что представительный образ правления для Вас неприемлем, то, конечно, неприемлем и этот пункт, но если...

— Да я никогда и ни в каком случае не соглашусь на представительный образ правления, ибо считаю его вредным для вверенного мне Богом народа!

Страшный пункт был вычеркнут.

Все это происходило в присутствии великого князя Сергея Александровича, экстренно прибывшего из Москвы спасать «самодержавие, православие и народность» на помощь Победносцеву. Ведь выборные представители, восстановление какой-то поправленной законности, новые законы в пользу иноверцев и сектантов, проектируемая веротерпимость — все это почиталось ими за потрясение всех устоев государства.

И вот 12 декабря 1904 года появился, наконец, царский указ о грядущих реформах[595]

без пункта о выборных от народа представителей и без упоминания об иноплеменниках.

Разочарованные конституционалисты называли этот указ «конституцией без головы»... [596] Враги всяких либеральных реформ снова почувствовали себя именинниками.

Но прошло 10 дней, и злорадно возликовала передовая интеллигенция: генерал Стесель постыдно сдал крепость Порт-Артур японцам... [597]

Политические небеса нахмурились, со всех горизонтов поднимались грозовые тучи.

И вот страшный громовый удар над столицей: Кровавое воскресенье 9 января. [598]

Нельзя сказать, чтобы этот удар был в Петербурге неожиданностью как для властей, так и для населения, ибо еще накануне по рукам и учреждениям ходила копия письма рабочих к царю:

Государь! Мы, рабочие и жители Петербурга, наши жены, дети и престарелые родители, идем к Тебе искать правды и защиты. Тут мы надеемся найти последнее спасение. Не откажи же в помощи Своему народу, выведи

его из могилы бесправия, нищеты и невежества, дай ему возможность самому вершить свою судьбу! Разрушь стену, воздвигнутую между Тобой и Твоим народом! Взгляни без гнева внимательно на наши нужды, они направлены не ко злу, а к добру как для нас, так и для Тебя, Государь! [599]

Это письмо читали все, кроме самого царя. И всем было известно, что рабочие пойдут с иконами и хоругвями, чего, конечно, тоже не знал один царь... К великому удивлению самих властей, это шествие с петицией о передаче земли народу, о прекращении войны по воле народа, об амнистии по политическим и религиозным преступлениям, об ответственном министерстве и реформах и рабочем законодательстве исходило от тех самых организаций, которые по плану субсидировавшего их правительства должны были служить департаменту полиции, а не социализму. Взлелеяли, можно сказать, змею на груди своей!

И кто же оказался во главе этого шествия? Священник Гапон, работавший в этих органи-

зациях по предложению самой политической полиции!..

В борьбе с сектантами правительство давно уже пользовалось услугами служителей православной церкви. Покойный Плеве придумал употребить духовенство и на борьбу с революцией. Для этой цели в устав провокаторских организаций полицейского социализма Плеве ввел параграф, обязывающий принимать в эти организации в качестве членов-соревнователей полицейских чинов и духовенство.

И вот священник Гапон, обслуживавший религиозные потребности рабочих Путиловского завода, попал в члены-соревнователи.

Был ли он подлинным провокатором, как, например, инженер Азеф, сам предложивший свои услуги Департаменту полиции?

Все поведение священника Гапона отрицает это предположение. Скорее, сам он был жертвой провокации, с одной стороны, политической охраны, а с другой — революционеров.

Вернее всего, дело было так. Пригласили священника Гапона и предложили ему всту-

пить в организацию для религиозно-нравственного просвещения рабочих. Что же, дело само по себе хорошее, и может ли священник от такого дела отказаться, особенно при той зависимости от гражданских властей, в которых пребывало православное духовенство?

Не мог отказаться.

Занявши роль просветителя и проповедника христианской морали, могли священник Гапон отрешиться от бесед о правде и справедливости по отношению к труженнику-рабочему? Если эта правда и справедливость принимала характер протеста, стихийный характер, доносил ли и выдавал ли Гапон наиболее опасных для правительства рабочих? Нет, не доносил. Революционная волна подхватила самого Гапона и вынесла на свой гребень. Около Гапона появился сердечный друг, революционер Рутенберг[600] из партии социалистов-революционеров. Нет никакого сомнения, что именно им и была брошена в рабочую среду мысль о демонстрации и что при его помощи сочинена была петиция. Когда брошенная идея стихийно захватила рабочих, священник сделал то, что он

только и мог сделать: взял крест, иконы, хоругви и, придав демонстрации смирение христианского характера, сам возглавил шествие...

Только после расстрела этого шествия с крестом и иконами священник Гапон и сам превратился в пламенного революционера.

Вот какое письмо опубликовал Гапон после Кровавого воскресенья.

С наивной верою в тебя, как отца народа, я мирно шел к тебе с детьми твоего же народа. Неповинная кровь рабочих, их жен и детей навсегда легла между тобой и народом. Нравственной связи со своим народом у тебя никогда уже не будет. Из-за тебя может погибнуть Россия. Пойми это и запомни! Отрекись поскорее от престола, иначе вся кровь, которая прольется еще, падет на тебя и твоих присных.
Георгий Гапон.[601]

Большей услуги врагам самодержавия, чем это устроенное властями Кровавое воскресенье, невозможно было и придумать...

Собственноручно расстреляли и самодержавие, и православие.

Павел Николаевич Кудышев пережил это страшное событие в Петербурге. Пережил и весь трепет его ожидания вместе со своими единомышленниками. Среди них были люди, которые метались в бесплодных попытках остановить ожидаемое шествие рабочих ко дворцу. Но волна уже поднялась и не могла не покатиться...

Еще накануне вечером в одном кружке Павел Николаевич горячо спорил, предсказывая кровавый конец затеи. Поссорился, между прочим, со своим приятелем и бывшим секретарем, знакомым нам Елевферием Митрофановичем Крестовоздвиженским, который был в восторге от плана идти к царю с крестом, иконами и хоругвями. Ведь именно такой план он и сам развивал когда-то во младости!

— Все духовенство должно подняться за Гапоном, поднять хоругви и идти к царю за поруганной правдой! Кто осмелится стрелять в крест, иконы и служителей Христа на русской земле?

— Не принимая сам участия в этом шествии, я считаю нечестным толкать на это

опасное предприятие рабочих! — попрекнул его сгоряча Павел Николаевич.

— Ну, вы не пойдете, а я пойду! — ответил оскорбившийся Елевферий Митрофанович.

На другой день Елевферий Митрофанович вышел на улицу и более уже не возвратился. Вероятно, был убит шальной пулей в числе многих из любопытной публики, потому что, по справкам Павла Николаевича об арестованных, в их числе Крестовоздвиженского не оказалось...

Если бы не упрек, брошенный Крестовоздвиженскому Павлом Николаевичем, тот, вероятно, не пошел бы и остался жив.

К возмущению, которым горела душа Павла Николаевича, примешалось огорчение и беспокойство совести. Но ни жалеть, ни самоутрагиваться было некогда: надо было экстренно ехать в Симбирск, откуда пришла телеграмма о смерти матери. Надо было сообщить об этом сыну Петру, который поправился и героем с орденом Георгия на груди скакал на рысаке по улицам Петербурга.

Павел Николаевич имел с ним объяснение по поводу украденных предков и поссорился.

Он почувствовал в сыне политического врага. С тех пор они более не встречались. Не хотелось Павлу Николаевичу и теперь видеться.

Он написал сыну коротенькое письмо:

Петр! Я получил телеграмму о смерти твоей бабушки. Считаю долгом сообщить об этом на тот случай, если бы ты пожелал лично отдать последний долг умершей.

П. Кудышев.

Наташе он послал телеграмму:

*Умерла бабушка. Немедля выезжай
Никудышевку.*

Твой отец.

VIII

И Никудышевку, и барский дом завалило снежными сугробами. По утрам и вечерам эти сугробы делались нежно-розовыми, днем блистали ослепительной белизной и разрисовывались вышивками голубых и фиолетовых теней, а ночью казались серебряной парчой, расшитой жемчугом и алмазами.

Стояли морозы. Отчий дом казался сказочным замком из мрамора, а окружавший его

парк — чудом волшебного искусства: он весь был в тонких затейливых кружевах, сплетенных Дедушкой Морозом и развешенных им на деревьях по случаю кончины бабушки...

Бабушку уже привезли, и она лежала в часовне над фамильным склепом, где покоились предки, ожидая в запаянном свинцовом гробу последней печальной «ассамблеи», чтобы проститься с родными и друзьями по земному странствованию и уйти на вечный покой, где несть ни печали, ни воздыхания, но жизнь бесконечная[602].

Бабушку привезли из Симбирска тетя Маша с Ваней Ананькиным и Зиночкой. Тетя Маша чуть волочила ноги от горя и хлопот, и Ваня опять очутился распорядителем. Хотя он и старался изображать печаль на круглом румяном лице своем, но это ему не удавалось, и моментами трудно было думать, что он не на свадьбе, а на похоронах...

Во всех случаях он был находчив, энергичен и жизнерадостен и теперь, строя для приличия печальное лицо, повторял мысленно:

*Жизнью пользуйся живущий,
Мертвый мирно в гробе спи![603]*

Приехала опечаленная Наташа, вся в черном, похожая на прекрасную клирошанку [604] из женского монастыря, из тех, на которых невольно заглядываются молящиеся мужского пола, мгновенно забывая обо всем небесном. Увидя ее, Ваня не выдержал тона и шепнул ей:

— Ты рождена для траура...

На другой день гнал лошадей в Никудышевку Павел Николаевич. Впереди мчался крытый возок [605] и не давал обогнать себя. Павел Николаевич сердился и ругал невидимого пассажира:

— Куда его черт несет?

Страшно удивился, когда этот возок подъехал к воротам отчего дома, и еще более удивился, когда из него вылез статный офицер в мохнатой папахе, оказавшийся сыном Петром.

Кивнули друг другу головой и обменялись пустыми словами:

— Приехал?

— Конечно.

— Я не думал...

— Почему это?

Вечером приехали генерал Замураев с сыном, земским начальником Коко. Утром в день похорон прибыл алатырский исправник с князем Енгальчевым. Позднее купец Яков Иванович Ананькин...

Вот и все, кто пожелал проститься с бабушкой. Леночка не могла приехать: заболел любимчик Женя, приехавший в Алатырь на каникулы. Не мог приехать и Машин муж, которому врач советовал избегать всяких волнений, как радостных, так и печальных, и заниматься исключительно диетой. К общему удивлению всех приезжих, в отчем доме хозяйничала на правах барыни Лариса и держала себя так непринужденно, что это бросало тень подозрительности на Павла Николаевича. Больная тетя Маша махнула рукой и ступевалась. Павел Николаевич был настроен прескверно: он чувствовал себя в отчем доме не только одиноким, но еще и каким-то неуместным, посторонним человеком. Оно так и было: один во вражеском политическом лагере! В центре события в доме — генерал Замураев, исправник, князь Енгальчев, точно не они к нему, а он к ним приехал неже-

ланным и непрошеным гостем на похороны собственной матери!

Петр Павлович держался тоже так, словно приехал не к отцу, а к генералу Замураеву. Демонстративно дружил с земским начальником, расшаркивался перед генералом, шептался с исправником. Наташа скрывалась в своей бывшей девичьей комнате, избегала встреч и разговоров даже с отцом либо часами молилась в часовне у гроба бабушки. Зиночка помогала Ларисе в подготовке поминального обеда под общим руководством Вани Ананькина. Зиночка с давно испорченным любопытством, направленным в дурную сторону, старалась хитрыми вопросами определить тайну отношений между Ларисой и Павлом Николаевичем; в сущности, она давно уже унюхала, что тут дело нечисто, но ей хотелось проверить свою догадку. Однако тут, как говорится, нашла коса на камень: не так проста, какой казалась, была и Лариса. Эта игра увлекла Зиночку, как спорт, и она, забыв о похоронах, пребывала в пикантном настроении...

Застонал погребальный колокол. Испугал

на мгновение всех живых, напомнив им о скоротечности жизни, и все длинной вереницей потянулись белоснежным парком по узенькой щели в сугробах к фамильному склепу...

Часовня была маленькая, и в ней так было тесно, что пришедшие из деревни старики и старухи, пожелавшие помолиться за старую барыню, которая их лечила когда-то, топтались в снегу. Наташа стояла у самого гроба: она пришла сюда давно уже, а вот Павла Николаевича оттерли и прижали к стене, откуда можно было видеть только спины политических врагов...

Никто в часовне не плакал. А вот бабы около часовни шмыгали носами и отирали рукавом глаза и носы...

Когда бабушку зарыли, священник с дьячком перешли на могилу Дмитрия. Это Наташа попросила отслужить по нем панихиду. На ней присутствовали только сама она и братья покойного, Павел и Григорий. Не остался даже Петр, который демонстративно ускоренным шагом пошел прочь. А за ним плелись и все прочие. На могиле Дмитрия оба

брата отирали слезы.

Поминальный обед, устроенный под руководством знатока своего дела Вани Ананькина, был обильный и вкусный, смоченный разнообразными спиртными напитками, которые всегда путешествовали вместе с Ваней. У него было даже шампанское, и он, позабывши, что дело происходит на похоронах, начал было раскупорку бутылок. Хорошо, что это случайно увидел Петр и предупредил о неуместности. Засмеялся и, похлопав дружески по плечу Ваню, сказал:

— Эх, идиот же ты, Ванька! Вздумал на похоронах пить шампанское! Припрячь до времени. После выпьем...

Павел Николаевич и Наташа за поминальным столом не присутствовали: скрылись без объяснения причин, он — в своем кабинете, она — в девичьей комнатке.

А в столовой было шумно и оживленно. Ели и пили с большим подъемом, и купец Ананькин, то и дело вознося рюмку, произносил:

— Ну, господа, еще по единой за помин души Анны Михайловны! Хорошей души жил-

был человек! Помянем-ка! Ну, господа! Все там будем. За новопреставленную рабу Божию! Все померем, ваше превосходительство!

А потом и про бабушку забыли. Перешли на волнующие всех события, заговорили о войне и революции, о «жидовском министре Святополк-Мирском», которого, слава Богу, государь погнал ко всем чертям.

По инициативе Петра выпили за здоровье генерала Трепова, бывшего обер-полицмейстера Москвы и любимца великого князя Сергея Александровича.

Этот генерал, которого либералы называли «погромщиком по убеждениям и вахмистром по воспитанию», сделался петербургским генерал-губернатором и поселился в Зимнем дворце, в царских покоях...

Павел Николаевич, удивленный радостным гулом в столовой, приоткрыл дверь, прислушался и возмутился: не похороны, а победный пир его врагов! И где? В его доме...

Так бы хотелось взять палку и всех выгнать!

— Посмотрим, кто посмеется последним! — прошептал он и, сердито прихлопнув

дверь, заперся на ключ...

Но самое тяжелое и неприятное началось после похорон, когда все разъехались и новый снег замел все следы врагов.

Теперь посторонних нет: Павел Николаевич со своими детьми, Петром и Наташей, Григорий Николаевич, тетя Маша... Только вот Лариса и якутенок Ванька как-то нарушают гармонию родственности.

Почему тетя Маша не принимает бразды хозяйственного правления в отчем доме, а продолжает распоряжаться Лариса, разыгрывая роль гостеприимной хозяйки? Спать она, правда, уходит на свой хутор, но часов с шести утра уже опять на своем посту. Это всем кажется странным, Наташу приводит в смущение, а Петра злит и коробит.

Надо сказать, что Зиночка успела уже гримасками, мимолетными улыбочками и остороженькими намеками заронить подозрение в души Наташи и Петра...

Впрочем, Петр настолько прозаичен в «женском вопросе», что для него было достаточно уже одного факта: «Лариса ведет себя барыней», — а отсюда все ясно и просто:

она — любовница отца.

Когда Павел Николаевич сидит за общим столом в часы чаепития и обеда, он чувствует устремленные на него взгляды детей: то Наташи, то Петра. Иногда взгляды встречаются. Тогда во взгляде Наташи — пугливый вопрос, а во взгляде Петра — презрение, а может быть, даже ненависть.

Однако Павел Николаевич отлично владеет своей физиономией и ничем не проявляет смущения. Иногда пристальный взгляд Наташи заставляет его заговорить с ней, но разговор выходит натянутым. Так занимают мало знакомых, а не близких. С Петром совсем не бывает никаких разговоров.

Одна Лариса не испытывает никакого смущения и натянутости, хотя Петр прямо издевается над ней:

— Зачем, Лариса, вы навалили в стакан сахару?

— А что? Неужели вприкуску пить будете?

— У каждого есть собственный вкус. Я, например, пью совсем без сахара, но, конечно, хороший крепкий чай, а не бурду, от которой пахнет банным веником? Зачем вы кипятите

чайник?

— А без этого он не распарится...

— Мы пьем чай непареный!

— Просите чаю настойчивого, а парить не велите! Отколь же густоте-то взяться?

Не обиделась, только посмеялась, сверкнув зубами. А улыбка такая приятная, поддразнивающая.

— А скажите, Лариса, сколько вам лет? — пристаёт Петр.

— С Покрова тридцать четвертый пошел. А почему вы этим интересуетесь?

— Вы очень молодо выглядите. Какие крепкие у вас зубы! Не дай Бог, если укусите... (Тут Павел Николаевич прикрылся газетой.)

— А что, разя по зубам мне меньше лет выходит?

— По зубам только лошадиный возраст определяют... Только вот нейдет вам эта козынка. Напрасно вы ее нацепили. Это совсем не модно.

— Мы свои вкусы наблюдаем. У нас с открытой головой не ходят.

— И декольте не носите? А вам оно очень шло бы... А хорошенькое колечко у вас на

пальчике!

— Григорий Николаич подарили. Настоящий алмаз в нем: стекло режет...

— А румянец-то у вас какой! Как зорька утренняя... Красота!

— Теперь уж какая красота! И половины того не осталось, что было в девках.

— Недаром за барина замуж вышли...

— Ну-с, я пойду поработать, — тихо произносил вдруг Павел Николаевич, ни к кому не обращаясь и удаляясь из столовой.

«Вот какая ты гадина!» — думал отец про сына.

Петр держался нахально. Все дело в том, что он был твердо уверен, что бабушка оставила завещание в пользу внуков, его и Наташи, а потому отчий дом и все имение принадлежит ему с сестрой. Он не раз слышал это обещание в детстве и теперь окончательно выяснит это дело. Выяснить необходимо до отъезда и распорядиться изгнанием «этой хитрой бабы» из отчего дома и отстранением ее от дел по имению.

Петр уже заговаривал на тему о завещании с Наташей, но та брезгливо морщилась:

— Я не хочу об этом говорить... и думать... Только что схоронили бабуся, а ты...

— А я должен выяснить, потому что у меня кончается отпуск, я возвращаюсь на театр военных действий и должен сам написать завещание...

— Ну, и делай как хочешь, а меня оставь в покое!..

И вот Петр приступил к выяснению. Однажды после ужина он постучал в дверь кабинета и спросил:

— Можно поговорить?

— Пожалуйста. Присядь!

Петр не сел. Он начал говорить, ходя по кабинету и стараясь не встречаться глазами с отцом.

— Дело вот в чем, — начал Петр после паузы, предварительно вздохнувши, — мне надо ехать... на фронт... в действующую армию...

Пауза и вздох.

— Возможно, что меня ранят вторично более серьезно или вообще... убьют.

Снова пауза, без вдоха.

— Между прочим — я женился...

— Поздравляю.

— И жена моя уже в интересном положении...

— Еще раз поздравляю.

— Так вот... Отправляясь снова в бой, я должен позаботиться о семье и оставить... ну, гарантии... завещание на случай смерти...

— Всего лучше обратиться к нотариусу...

— Да, конечно! Но я должен сперва выяснить свое положение... Имущественное положение...

— Не понимаю, как я тут могу помочь?

— Дело в том, что... Насколько мне известно, покойная бабушка оставила завещание в пользу своих внуков... Так это?

— Бабушка писала несколько завещаний и потом уничтожала их. Последнее, как я узнал в Симбирске, было сделано в пользу симбирского Спасского монастыря, но и оно было ею уничтожено формальным порядком еще два года тому назад. Никакого нового завещания после смерти матери не осталось, и потому наследниками по закону считаются дети, то есть я и Григорий...

— Странно!..

— Чего же тут странного? — строго и сухо спросил Павел Николаевич.

— Вообще... в нашем доме теперь много странного... — обиженно ухмыляясь, задумчиво произнес Петр.

Взгляды отца и сына встретились. В них было обоюдное презрение и ненависть.

— Ты что же, подозреваешь меня в сокрытии завещания? — вставая с места, спросил Павел Николаевич повышенным тоном. — Я, братец, не вор, никого в жизни не обкрадывал и даже... портретов не воровал!

— Я просто хочу выяснить вопрос... И сделаю это в Симбирске...

Павел Николаевич почувствовал оскорбление и, не владея уже собой, закричал:

— Вон из моего дома! Я не желаю больше тебя видеть и... знать!

— Отлично.

Петр вышел по-военному, пристукивая и позванивая шпорами и, одевшись и наскоро уложив свой дорожный чемодан, ушел на хутор.

В доме воцарилась зловещая тишина. Внизу остался один Павел Николаевич. Лариса

ушла после ужина, до ссоры. Тетя Маша и Наташа укрывались наверху и ничего не знали о ней.

Павел Николаевич долго обдумывал свое положение, ходил по кабинету и вдруг решительным шагом направился на верхний этаж.

— Наташа! Можно к тебе? — спросил он взволнованным голосом, осторожно стукнув в дверь.

Наташа писала кому-то письмо и вся была погружена в эту работу. Она испуганно вздрогнула, услышав голос отца.

— Ты не легла еще?

— Нет...

Наташа торопливо сунула недописанное письмо в ящик стола и отперла дверь.

— Что случилось? — спросила она с тревогой, увидя необычное выражение на лице отца.

— Хочу поговорить с тобой... Ты знаешь, что сейчас произошло?

Павел Николаевич с дрожью в голосе рассказал о разрыве с сыном.

— Может быть, и ты подозреваешь меня в намерениях ограбить своих детей?

— Папочка! Милый, родной мой... Что ты говоришь! Господь с тобой!..

Наташа рванулась к отцу, охватила его шею руками и расплакалась.

— Так ты мне веришь? Веришь, что твой отец — честный человек?

— Папочка!

— Ну, спасибо и на этом! Хорошая ты у меня девчурка... а вот братец твой... полная неожиданность!.. Ну, будем спать. Утро вечера мудренее...

Поцеловал Наташу и с радостным облегчением на душе направился к лестнице...

В это время на хуторе происходило следующее.

Обитатели его укладывались уже спать, когда сперва залаяла на дворе собака, а потом задребезжал звонок. Такого случая давно уже не бывало, и поэтому там перепугались. Лариса с отцом начали что-то прятать, а Григорий, возжегши фонарь, пошел к воротам. Посмотревши в «глазок» и заметив блеснувшие пуговицы, Григорий представил себе урядника и потому весьма недружелюбным голосом спросил:

— Ну, что там надо?.. Люди спят, а вы лезете! Чего нужно?

Узнав Петра, стоявшего с чемоданом в руке, Григорий удивился и сконфузился:

— Ты это, Петя? Ведь я думал, что урядник... Что это ты?

— Можно, дядя, переночевать у вас?

— Конечно, можно... Да что случилось-то?

— Расплевался с батюшкой!

— Что такое? Ну, проходи... Запереть надо.

Лариса с отцом прикинулись спящими, но, узнавши по голосу Петра Павловича, загорелись любопытством и, слегка приодевшись, всунулись в комнату Григория:

— Батюшки! Да никак Петр Павлыч? Так и есть!

— Ночевать к нам пришел! — пояснил Григорий. — С братом что-то не поладил.

Так любопытно, что и спать расхотелось.

— Я сейчас самоварчик раздую...

— Не надо. Не беспокойтесь, Лариса!

— Такой гость, как же без самоварчика?..

Понемножку разговорились. Григорий, впрочем, больше слушал, а разговаривал старик Лугачёв и Лариса с неожиданным гостем.

Обе стороны хитрили, прикидываясь простаками. Обе побаивались друг друга, понимая, что они не только чужды, а враждебны друг другу решительно во всем. Ларисе любопытно было узнать, из-за чего повздорили отец с сыном, и правда ли, что Наташа бросила законного мужа. Старику Лугачёву хотелось выпытать, как после смерти бабушки поделят землю. А Петру хотелось осторожненько выспросить, не известна ли хуторянам последняя воля бабушки и что они вообще знают о завещании старухи.

— Милые бранятся, только тешатся! — запела Лариса. — Бог даст, помиритесь с папашей. По пустякам все мы ссоримся... Гордость все наша! Папаша у вас добрый человек и правду любит. Вы ли его обидели, он ли вас, а только сыну перед отцом стерпеть надо...

— Да ведь как сказать? — начал Лугачёв, поглаживая седую бороду лопатой. — Вот земля-то огромная, а нам на ней все тесно кажется. Все никак поделить землю-то Божию не можем. А много ли человеку земли нужно? Вот мы на восьми десятинах живем и то, слава Богу, кормимся... Поди, покойница никого

не обидела. Земли достаточно. Всех, поди, наградила... Из-за чего с папашей-то повздорили?

— Так, из-за пустяков. Я говорю, что продать надо имение, а отец не желает...

У Ларисы засверкали глаза и зубы:

— Правда ли, на деревне болтают, что бабушка всю землю внучке своей, Наталье Павловне, оставила? Поди, не отнимет она у нас участок-то?

Теперь сверкнули глаза у Петра:

— Бабушка, действительно, имела желание оставить имение внукам, а их трое: Наташа, я и Женька.

— Ну, а как же наш Ванька?

— Какой Ванька?

— Да сынок-то Дмитрия Николаевича? Круглым сиротой ведь остался. Неужели его обидите?

— А где он находится?

— Да вон на сундуке спит! Поди, и нашего Григория-то Николаевича бабушка не обидела? Как она в своей духовной-то отписала?

— В том-то и дело, что завещания-то... не обнаружено. Не знаете, кому она свои бумаги

передала?

— Все должно быть у тети Маши. Ее спросите, она должна знать.

Опять мудро заговорил Лугачёв:

— А если покойница никакой духовной не оставила, значит, по закону делить будут. Сыновьям останется. А от них все одно: к внукам же потом отойдет. Папаша свою часть вам оставит... А что продать бы лучше господам землю-то, это вы, Петр Павлыч, правильно. Время такое для господ: куй железо, пока горячо! Сейчас, хотя и задешево, а мужики купят, а что впереди — неизвестно. Кабы ее, землю-то, можно было в карман положить да с собой унести — другой разговор, а ее в карман не положишь.

— Да и мужики ведь тоже ее в карман не положат, — хитровато улыбнувшись, заметил Петр, пряча раздражение.

— Могут. Мужики могут! По горсточке по карманам разберут. Не соберешь потом.

Тут хмуро заговорил Григорий:

— Я помещиком во всяком случае не буду. Не желаю быть. Я свою часть мужикам отдам.

Лариса сверкнула глазами на Григория:

— Прирезку взять надо? На Ванькину долю взять надо? Десятин двадцать все надо оставить, а остальное — пусть мужики берут!

— Хотелось бы мне с тетей Машей поговорить, только идти туда, в усадьбу, не хочется.

— Мы это дело наладим, — успокоила Лариса. — Попрошу ее к нам зайти.

На другой день пришла тетя Маша. Не любила она Петра и согласилась только ради того, чтобы помочь делу примирения сына с отцом, сама не зная еще, из-за чего они поссорились. Тема разговоров оказалось для тети Маши неожиданной и лишь сильнее вооружила ее против Петра.

— А-а, вот в чем дело! При жизни бабушку свою бегемотом и крокодиллом называл, а как померла, так наследство пожалуйте! Я думала, что ты помириться с отцом хочешь. Так мне Лариса Петровна сказала. А оно вон что! Выходит, что и не отец, а опекун! Так, так... Не могу тебя порадовать. Какие были завещания, все насмарку пошли, недействительными сделались, а нового сестрица не успела сочинить. Да и то сказать: если бы и сделала, так для тебя ничего приятного от бабушки-

ной смерти не получилось бы. Как бы Наташа за поляка не вышла, ей бы все досталось, а теперь... по закону сыновьям Павлу да Григорию...

Петр злорадно расхохотался:

— Значит — половина мужикам, а половина — на революцию? Отменно устроила бабушка.

— Почему — на революцию?

— А чем же, по-твоему, занимается мой почтенный батюшка? На что употреблялись доходы с имения? Кто кормил и поил братцев-революционеров? Чем занимался мой дядюшка Дмитрий? Не охотился он вместе с жидами на императора Александра III? Благотели человечества! Потомственные столбовые дворяне! Опора трона! Мы за царя и отечество кровь проливаем, а они нашим поражениям радуются вместе с жидами... С такими надо «по закону», только другому: есть такой! Государственной опекой над имуществом называется... И давно бы следовало с Никудышевкой поступить именно по этому закону...

— Ну, счастливо оставаться, Петр Павло-

вич, — сказала тетя Маша и, сделавши поклон, пошла к выходной двери...

Григорий Николаевич все это слышал из своей комнаты, но терпеливо просидел в молчании.

— Григорий Николаевич! Мне нужны лошади. Я должен ехать на фронт. Хотя вы тоже войну осуждаете, но я человек долга.

— Попросите у отца!

— У вас есть лошадь? Мне только до первой почтовой станции, а там...

— Пожалуй, до станции отвезу...

— Пожалуйста. И поскорее! — тоном приказания сказал Петр.

Григорий повиновался, и спустя полчаса они трусили на розвальнях по направлению к Собакину, оба в упорном молчании, чувствуя непримиримую враждебность друг к другу...

Рухнула последняя скрепа отчего дома — бабушка, и как-то все вдруг стало в нем расползаться по швам.

День был туманный, мглистый и, когда проезжали мимо, барская усадьба в уборе мохнатого инея и в осевших на землю туман-

нах казалась воздушным призраком зимних сказок...

IX

Говорят, что самая главная победа дьявола заключалась в том, что люди перестали в него верить...

Главная победа революции заключалась в том, что русские цари перестали в нее верить.

Александр II верил в возможность революции и потому отвратил ее удар своевременным освобождением народа от крепостного рабства.

Александр III был уверен, что с разгромом народовольцев революция стала невозможна.

До XX столетия и Николай II не верил в возможность революции, в чем ему усердно помогали слепые советники, сановные льстецы и корыстные придворные авантюристы. Революция уже созревала, а они не видели и в нее не верили... Царя убедили, что революцию стараются сделать жида да «беспочвенные мечтатели» из интеллигенции, но сделать ее они не могут, потому что многомиллионный русский народ никаких свобод не желает, крепко верит в царя и Бога и потому

за этими внутренними врагами никогда не пойдет; сама же по себе эта горсточка врагов бессильна и вредна лишь для государственного спокойствия и опасна для жизни не только верных царских слуг, но и для самого государя... Но эта опасность — дело поправимое: имеется Охранное отделение и Отдельный корпус жандармов. Правда, аппарат этот стоит народу больших денег, но зато дает возможность производить политическую дезинфекцию. В начале XX столетия появились даже в этой области свои изобретатели — Зубатов и Азеф. Первый изобрел нечто вроде «антисоциал-демократической сыворотки», очищающей рабочее движение от социализма и укрепляющей в верноподданничестве, а второй, Азеф, изобрел нечто вроде «антиэсеровской прививки», дающей изобличающую реакцию на террор...

Весьма скоро, однако, правительству пришлось убедиться, что первое изобретение приносит больше вреда, чем пользы: «зубатовщина» привела к воинственным забастовкам на собственных казенных предприятиях и завершилась Гапоном, а второе изобре-

ние малодейственно, ибо не помешало террористам убить сперва министра Плеве, а потом великого князя Сергея Александровича.

Тогда правительство еще и не подозревало, что охранный изобретатель Азеф был палкой о двух концах.

Смертные приговоры выносились в Париже. Прокурорами были оскорбленные и униженные евреи: Гоц, Гершуни, Азеф. Победоносцев, Плеве и великий князь Сергей Александрович были вдохновителями той внутренней политики, которая называлась черносотенной и тормозила все реформы, направленные к свободе и равноправию племен и народов, населяющих Российскую империю, к чему устремлялись помыслы и старания всех русских передовых людей...

Гершуни в свое время устраивал покушение на Победоносцева, но оно не удалось[606]. Азеф помог убить и Плеве, и великого князя, пользуясь жертвенным энтузиазмом молодых людей: Савинкова, Сазонова[607], Покотилова, Каляева и других.

Взрыв бомбы, разорвавшей в куски великого князя Сергея Александровича, прозвучал

новым предостережением близкой революции.

Можно ли было отворотить революцию?

Опоздали...

Оставался один рискованный опыт: самому правительству встать на революционный путь и, быстро прекративши позорную войну, отдать землю народу...

Возможно, что, будь на престоле Александр II, он не остановился бы и перед этим крутым поворотом. Могли слабый и сомнительный царь, терзаемый сомнениями и разрываемый противоречивыми советами, пойти на такой шаг?

Неудачи на войне с каждым днем приближали к России революционную волну. Казалось, злой Рок неотвратимо гнал страну в объятия революции...

Пятидневный ожесточенный бой под Мукденом[608], исключительный по количеству принимавших в нем участие войск бой, на котором строились последние надежды, окончился исключительным позорным поражением, какого еще не знала до сих пор русская армия.

Небывалый в истории позор! Колоссальная кровавая жертва... Во имя чего? В защиту лесных концессий на Ялу, нужных только статс-секретарю Безобразову?

Кто же ответит за этот позор и за реки пролитой народом крови?

Такие вопросы назойливо лезли в голову даже самым спокойным и лояльным жителям Российской империи.

Никто не ответит. Ответить некому!

На всех горизонтах сверкали молнии и ворчали львами громы приближающейся грозы...

В деморализованных войсках, отступающих в беспорядке к Харбину, раздавался злобный ропот: «За что помирать-то? Земли не дают, а ты за их помирай!»

Враги России старались помогать нашей революции, а интеллигенция любовно простирала к ней руки вместе с революционерами, ожидая от нее всяких свобод. Соединившись, они работали, как друзья: в Токио издавалась революционная газета на русском языке[609] для распространения среди наших солдат в плену и на фронте... Ведь социа-

лизм — дело интернациональное!..

Деньги давали японцы, а может быть, немцы или англичане, а писали в ней русские революционеры. В госпиталях, в поездах, в обозах наши мужики-солдаты, озлобленные неудачами, полуголодные и измученные, потихоньку читали эту газету, с такими заголовками: «За что мы проливаем кровь?», «Кому нужна эта война?», «Кровавый царь», «Земля и воля народу!». И все было написано так просто и понятно, так убедительно для простого человека, не обремененного никакими познаниями.

Какая благодатная почва для сеятелей смут в умах и душах народа! Какой толчок к революции в спину народа!

Потом все эти читатели вернутся домой, разбредутся по деревням, селам и городкам необъятного царства, вернутся в разоренные или запущенные свои хозяйства и будут повторять ту правду, которую они узнали из японской газеты. А слушатели будут — одни поддакивать: «Верно! Правильно», а другие, потерявшие отцов или детей, станут плакать и проклинать. Кого?.. Да всех неведомых, ко-

торые затеяли эту войну, непонятную и ненужную миролюбивому народу!

— Будь они прокляты, окаянные!

Бабий вой и причитания о погибших. Каждая слеза бабья невидимо превращается в камень за пазухой народа.

— Погодите: отольются вам наши слезы!

— Землю надо требовать... Может, царь даст после войны-то... Сколько народу погублено: заслужили уж, поди...

— Дождидайся! Царь-то за помещиков стоит. Больше как три аршина не получишь, чтобы аккурат для могилы хватило! — острит вернувшийся с войны инвалидом солдат, почитавший запретную газетку, да еще и матерное словцо бросит...

И никто его не остановит...

Где же недавний «земной бог»?..

Так в деревне, а в городе — злоба и издевательство на улицах, в трактирах и чайных, на постоянных дворах, на фабриках и заводах. Да и культурная публика в таком же настроении. Одно злорадство. После убийства великого князя Сергея Александровича по Москве носились крылатые, нарочито сочиненные

по сему случаю анекдоты. Вот один из таких, радостно переходивший из уст в уста: ошарашенная разрывом бомбы уличная публика спрашивает стоящего у кремлевских ворот полицейского:

— Кого это там убили?

— Проходи, проходи! Кого надо, того и убили...

Или вот такая острота: при взрыве бомбы великого князя разнесло в куски во все стороны. Окровавленные сгустки мозга находили на стене ближайших от Кремля домов. И вот по Москве понеслось: «Князь раскинул мозгами!»

По городам происходили непрерывные банкеты, на которых выносились резолюции с требованиями и угрозами правительству.

Государь начал сомневаться и временами бояться революции. Испугалось вдруг и правительство, и вся «опора трона». Россия кипела под огнем политических страстей, а новые неудачи на войне все подливали масла в этот огонь: 15 мая погибла последняя надежда окончить войну без особенного позора — в Цусимском бою погибла вся эскадра адмира-

ла Рождественского...[610]

— Долой войну и самодержавие! — неслось во всех концах России.

И ничего уже не мог сделать и генерал Трепов [611], превращенный царем из московского обер-полицмейстера в петербургского генерал-губернатора и товарища министра внутренних дел, а в сущности, полноправного диктатора России...

Царь принял депутацию земских и городских деятелей и терпеливо выслушал их представителя, профессора, князя Трубецкого [612], который уже прямо заговорил о конституции:

— Россия ждет от Вашего Величества изменения основных форм государственного порядка, в основу которого ляжет привлечение представителей народа для участия в законодательстве и управления страной...

Правда, и тут царь промолчал, но и то было уже победой, что он не назвал представителей депутации «бессмысленными мечтателями», как было в начале царствования.

Россия была уже побеждена, и президент Американской республики предложил свои

услуги для установления перемирия[613].

Царь вспомнил о «красном министре» Витте, который советовал еще в 1898 году путем широкой реформы в крестьянском вопросе вытянуть почву из-под революции и откровенно предупреждал, что война с Японией может повести к революционным взрывам.

Ему царь поручил заключить мир с Японией, а министру Булыгину[614] заключить наиболее выгодный для самодержавия мир со своим народом: придумали такой парламент, чтобы выборных представителей правительство выслушивало, а поступало по-своему, не стесняясь этими разговорами...

Дума с совещательным голосом.[615]

Быть может, лет пять тому назад такой подарок с высоты престола и был бы принят, если бы он был сделан добровольно, без долгой борьбы и жертв, но теперь народ захотел сам распоряжаться своей судьбой, а не вверять ее таким случайностям, какой была Японская война.

На манифест о парламенте с правом совещательного голоса народ ответил небывалой еще на свете всеобщей забастовкой: толстов-

ским *неделанием*[616].

Остановилась вся жизнь в столицах, и за ними — во всех городах империи. Перестали ходить железные дороги и трамваи, перестали выходить газеты, остановились почта и телеграф, заводы и фабрики, перестали торговать, погас свет и точно иссякли источники воды... Замерла жизнь на суше и на воде... Страшная волшебная сказка!

Точно злой волшебник sprыснул Россию мертвой водой, и она заснула... погрузилась в летаргический сон...

Спящая царевна!..

Павел Николаевич переживал эту волшебную сказку в Москве, где в эти дни происходил съезд конституционно-демократической партии уже без всякого разрешения растерявшегося начальства, явочным порядком.

Павел Николаевич давно уже примкнул к этой партии.

Вся жизнь остановилась, а в особняке князей Долгоруких[617] все алчущие и жаждущие свобод, парламента и ответственного министерства неустанно работали над своим уставом.

В этой партии сгруппировалась самая разношерстная интеллигенция, украшенная крупными именами земских и общественных деятелей, людей науки, литературы и всяких свободных профессий, бывших революционеров вроде Павла Николаевича, переставших ловить журавля в небе и желавших получить хотя бы синицу в руки. Там было много светлых умов, благородных душ и подлинных патриотов. Это была русская «Жиронда»[618], но еще больше людей, изверившихся в утопии социализма с его раем для всего человечества. Немало, впрочем, было и таких, которые хотя и шли с флагом конституции, но тайно исповедовали более левые программы и шли сюда лишь из осторожности: увидим, мол, как пойдет дальше эта заваруха! Такие по секрету говорили знакомым:

— Я собственно много левее, но...

И разводили руками или подмигивали.

Во всяком случае, эта партия называла революционные группировки «друзьями слева». Справа у нее были только враги. Никаких компромиссов с «самодержавием, православием и народностью»!

Все политические свободы, законодательная власть, ответственное министерство, широкая земельная реформа для крестьян, широкое законодательство по рабочему вопросу, превращение всех жителей без различия религий и национальностей в равноправных граждан. А власть исполнительная да подчинится власти законодательной!

Таково знамя партии.

Казалось, что больше и желать нечего. Но вот поди же!. В течение многих поколений наша интеллигенция кормила свою душу идеалами социальных утопий, переходивших от дедов к отцам, от отцов к детям. И таким, воспитанным на красотах Великой Французской революции в духе романтика Карлейля, наша революция все еще не казалась революцией:

— Помилуйте, да разве это революция? Заполучим «кущую конституцию» и замолчим...

Такие, спустя много лет встретившись в Москве на съезде партии, даже пугались и конфузились. Ведь так много среди интеллигенции было уже благополучных россиян из бывших утопистов социализма!

Даже и сам Павел Николаевич, встретясь на съезде с одним из своих спутников по «Черному переделу»[619], как-то растерялся, точно его поймали на месте неблагородного поступка.

— Скажите, вы — не из братьев Кудышевых? Тех, которые... Один по Чигиринскому процессу, другие два по делу 1 марта 1887 года...

— Я — Павел Николаевич. Старший из братьев!

— Ба! Вот никогда не узнал бы!

Незнакомец назвал свою фамилию и смутил Павла Николаевича. Он не знал, поцеловаться или нет с другом юности и как его называть — «ты» или «вы»...

— Вы в партии? Здесь?

— Да. А вы?

— А я просто из любознательности, — говорит бывший друг Павла Николаевича.

И вдруг Павлу Николаевичу делается стыдно: точно он изменил своему другу. Начинает оправдываться:

— Я по своим взглядам много левее, но что поделаешь? Без конституции даже и в респуб-

лику не перескочишь, а не то, что в социализм!..

Обоим неловко, и оба пользуются случаем, чтобы улизнуть друг от друга.

Так вот в особняке князей Долгоруких происходило заседание.

Была полночь. Высокий колонный зал освещался стеариновыми свечами и тонул во мраке. Только кончили формулировку устава партии, как в момент общего усталого затишья кто-то истерическим голосом закричал:

— Сло́ва!

Председатель сердито зазвонил, чтобы остановить нарушителя порядка, но тот вскочил на стул, замахал руками и, заглушая звонок и ворчание публики, еще громче прокричал, задыхаясь от волнения:

— Я из редакции «Русских ведомостей»! Сейчас нами получена телеграмма из Петербурга! Вышел Высочайший манифест! Все свободы: совести, печати, собраний, полная неприкосновенность личности, земельная и рабочая реформа... Словом — поздравляю вас, господа, с конституцией!

Собрание несколько мгновений пребывало

как бы в столбняке. Потом раздались торжествующие клики, мужские и женские, рукоплескания. Словом, потрясающий момент победной радости!

Принесли из редакции текст манифеста. Наступила гробовая тишина, и председатель начал чтение манифеста. Да, все верно: «Незыблемые основы всех свобод» и прочее.

Теперь уже не было никаких сомнений, и сам председатель поздравил присутствующих с конституцией. Загремело оглушительное «ура». Многие напоминали от радости буйнопомешанных.

Бывший друг юности подскочил к Кудышеву, и они обнялись и крепко расцеловались.

— Идем, брат, идем! Душно что-то стало...

Они вышли на улицу и заговорили на «ТЫ».

Была поздняя осень. Ночь была тихая и ясная.

Слегка морозило, и тонкий ледок на лужах потрескивал под ногами на панели. Небо было все в звездах, и чудилось, что это не осенняя, а весенняя ночь под Светлый Христов

праздник. Тревожная суматоха пряталась в домах. В окнах загорались огни. На улицах начали появляться торопливые пешеходы и застучали колесами пролетки и коваными ногами рысаки. Показались люди стаями.

— Куда мы?

— А помнишь нашего друга Клеменца[620]? Он сейчас в Москве. К нему!

Подходили к памятнику Пушкину. Здесь сбилась толпа. Взлохмаченный оратор прилепился к Пушкину и кричал, махая своей шляпой:

— Мы не продадим товарищей за эту конституцию! Только в борьбе обретем мы право свое! Да здравствует вооруженное восстание!

— На какой черт теперь восстание? — произнес Павел Николаевич.

— А это, видишь ли, директива из Швейцарии от Ленина, — пояснил спутник.

Пришли и разбудили старика Клеменца. Поздравили — не верит!

Но с улицы доносился шум потянувшихся демонстраций: одни пели «Мы жертвою пали в борьбе роковой»[621] и шли с красными флагами. Другие шли с портретом государя и

пели «Боже, царя храни!».

Поверил, наконец, и старый революционер Клеменц. Достал где-то вина, и они упились и радостью, и вином.

А потом старик Клеменц заплакал:

— Эх, кабы воскресли все повешенные, все расстрелянные, сгноенные в каторгах, в тюрьмах, в ссылках!.. — шептал он сквозь всхлипывания и потом декламировал революционного поэта Якубовича[622]:

*О, сколько, сколько пало их
В борьбе за край родной.
Отважных, смелых, молодых,
С открытою душой!..[623]*

Что ж? Павел Николаевич имеет право слиться теперь и в радости и в печали с «друзьями слева»: ведь и он приложил свою руку к этой победе, непрестанно воюя с правительством! Вспомнил брата Дмитрия и прослезился.

Так Россия завоевала себе парламентарную конституцию...

Говорят, что новый манифест сочинил Витте, без которого царь никак не мог обойтись, когда требовался умный государствен-

ный человек... которого, к ужасу придворных сфер и всей «опоры трона», царь возвел в графское достоинство...

Какой, в самом деле, ужас: бывший «красный жидовский министр» превращен в графа, который вынуждает царя дать собственноручную подпись под смертным приговором самодержавию!

Что царская подпись под манифестом вырвана в подходящую минуту у растерявшегося царя, думала не одна придворная знать. Так утверждала и сама императрица[624]...

А теперь не вернешь этой подписи: что написано пером, того не вырубишь и топором!

Как бы то ни было, а граф Витте оказался тем волшебником, который опрыснул омертвевшую царевну чудесной *живой* водой, после чего все царство ожило, царевна очнулась от летаргии и колесо жизни вновь завертелось...

Как океан после грозы и бури, Россия не могла прийти в политическое равновесие и успокоиться, чем спешили воспользоваться как революционеры, так и реакционеры. Для тех и других конституция была неприемлема.

Для первых нужна была социалистическая республика, а не ограниченная слегка монархия, а для вторых — восстановление старого порядка, при котором они бесконтрольно хозяйничали в стране.

Для обеих сторон успокоение разбушевавшейся стихии политических страстей было невыгодно, и они стремились раздувать огонь страстей. В мутной воде легче ловить рыбу.

Черносотенные организации провокационного характера под флагом «Союза истинно русских людей»[625] усиленно изображали «глас народа — глас Божий», устраивали свои демонстрации с портретом царя, пели «Боже, царя храни», посылали телеграммы государю-императору с мольбами и благословениями твердо поддерживать «исконные начала», на которых издревле стояла Святая Русь, и желали победы над всеми врагами.

Это поддерживало в царе дух сомнения и позднее раскаяние в сделанных уступках, возбуждало мысль о том, как бы исправить сделанную ошибку, и чувство острой враждебности к Витте, сочинившему манифест с

«незыблемыми основами». Революционные организации, исполняя приказ Ленина, стремились к «перманентной революции вплоть до вооруженного восстания»[626], устраивали демонстрации с красными флагами и митинги с соответствующими резолюциями.

Это помогало врагам нового порядка запугивать растерянного царя, а кстати развязывало им руки в толковании манифеста и бесцеремонном отношении ко всем его «незыблемым основам»...

Сделавшийся диктатором генерал Трепов издал приказ: «Патронов не жалеть!»[627]

Только три дня русский человек побыл свободным гражданином, и все «незыблемые основы» полетели кувырком. Снова началось старое: разгоны, нагайки казацкие, расстрелы и... никакой неприкосновенности личности!

И волшебник, граф Витте, стал казаться только ловким фокусником, который сперва сделал фокус, приведший всех зрителей в шумное восхищение и заставивший их поверить в чудеса, а потом объяснил, как просто эти чудеса делаются, и зрители почувствовали не только разочарование, но и горькую

обиду: точно назвал всех зрителей «дураками»...

Россия очутилась в заколдованном кругу дьявола: все, что происходило и что делалось после манифеста, — лило воду на мельницу революционеров: теперь они могли убедительно кричать:

— Не верьте царю и правительству! Не верьте манифесту! Не верьте никаким обещаниям буржуазии! Только в борьбе обретем мы право свое[628]! Да здравствует вооруженное восстание!

Если генерал Трепов приказал «не жалеть патронов», то другой генерал от революции, Ленин, решил не жалеть рабочих и на крови их сделать первый опыт социальной революции, избрав для этого Москву...

Х

Как всегда в таких случаях, столица возглавляла и развивала процесс исторических событий, а провинция подражала ей. Революция в провинции и связанные с ней движения борьбы общественных сил всегда маленько запаздывали, как и последняя мода. И не только запаздывала, а еще, тоже как мода, ко-

веркалась по своим вкусам или, лучше сказать, — безвкусию.

И чем дальше от столицы и чем ничтожнее был городок, тем сильнее эта провинциальность сказывалась.

Так было в городке Алатыре.

Когда симбирский губернатор получил манифест, он был так поражен и обескуражен его содержанием, что не сразу поверил своим глазам. И чем он больше вчитывался, тем сильнее в его душу закрадывалось сомнение: «Не подлог ли со стороны революционеров?»

Но губернатор — человек опытный и осторожный. Его на мякине не проведешь. Прежде чем разрешить опубликование и чтение манифеста в храмах Божиих, он решил проверить и сделать запрос телеграммой: действительно ли этот манифест исходит от правительства? А на это нужно время. В связи с этим получилась задержка и во всей губернии.

В Алатыре уже бродили слухи о конституции, потому что Моисей Абрамович Фишман, как член социал-демократической партии, большевик, тайно руководивший кружком

рабочих-железнодорожников, получил уже и манифест, и ленинские инструкции, порадовал свободами и равноправием своего папашу, мельника Абрама Ильича, а тот, встретив на улице знакомого, не без гордости спрашивал:

— Слышали о манифесте?

— О каком манифесте?

— Как! Вы не знаете, что вышел манифест о конституции и теперь уже нельзя делать погромы?

Ваня Ананькин гостил, а вернее, застрял в Алатыре вследствие железнодорожной забастовки и, прослышав о конституции, неизвестно чему страшно обрадовался, забежал в клуб — никто ничего не знает, — выпил и направился справиться к исправнику. Исправник встретил Ваню с его вопросом более чем холодно:

— Возможно, что вам приснилась даже и республика, но я таких снов не вижу, да и вам не советую...

А на другой день исправник получил манифест и сопровождающую его бумагу от губернатора, но тоже не сразу опомнился и по-

медлил, решив сперва посоветоваться с жандармским ротмистром и воинским начальником. А на это тоже потребовалось время...

Мода в столицах уже переменилась, а потому в секретном разъяснении к манифесту губернатор предлагал исправнику в случае волнений и беспорядков поступать по всей строгости законов, применяя в крайних случаях вооруженную военную силу.

Таким образом, конституция в городе Алатыре оказалась под надзором исправника, жандармского ротмистра и воинского начальника.

Весь город пребывал уже в лихорадочном возбуждении по случаю конституции, а она где-то застряла.

Наконец, проснувшись поутру 20 октября, жители услышали малиновый звон большого соборного колокола, а выйдя на улицу, узрели на домах флаги, а на заборах — «Высочайший манифест».

День был базарный, и потому в город съехалось много всякого люда из окрестностей. Все горожане высыпали на улицу. Интеллигенция металась от радости и революционно-

го восторга и наскоро совещалась об устройстве торжественного заседания. У лавок, трактиров и заборов с расклеенными на них манифестами собирались толпы народа, то же и на базарной площади, на пристанях и у вокзала. «Парламенты с совещательным голосом» росли как грибы после дождя, совершенно естественно, без заранее обдуманного намерения. И, конечно, вместо тишины и спокойствия был большой веселый праздничный шум, споры и ссоры по поводу совершившегося события.

Читали манифест и спорили: конституция это или манифест? Крестьяне добивались узнать, как и что написано про землю, а толковые люди, по силе разума, объясняли. В соборе отец Варсонофий прочитал манифест с амвона после обедни и приказал трезвонить по-пасхальному[629].

Полиция и жандармы прохаживались по улицам, прислушивались, приглядывались и покрикивали:

— Ну, проходите, проходите! Не толпитесь!

Появились, конечно, и пьяненькие, которые их задирали:

— Ничаво ты мне теперь сделать не можешь! Полная свобода царем объявлена.

На базарной площади около бакалейной лавочки скандал вышел.

Публика собралась: мастер из железнодорожных мастерских манифест разъяснял и называл его конституцией. А тут потребовалось и конституцию объяснить: не понимает публика.

— Теперь царь не может все своей волей делать и закона не может постановить без согласия народа. Вот это и написано тут.

Послушал эти разговоры проходивший мимо надзиратель полиции и крикнул:

— Что ты тут врешь, сукин сын? Про конституцию тут ничего не написано.

Мастеровой обиделся:

— Я сукиным сыном никогда не был. Моя мать — не сука, а человек, женщина. Может, это у вас мать — сука, а у меня...

— Ты у меня поговори — я тебе морду набью!

— Руки коротки!

Надзиратель вскипел и развернулся, чтобы дать грубияну по морде, по старому спосо-

бу, но мастеровой увернулся и, нырнув за спины других, закричал:

— Граждане! Царем неприкосновенность личности объявлена, а полиция избить личность желает!

Публика вступилась, не дала побить:

— Сукиных детей теперь нет в Рассее. Граждане теперь!

Подошел Ваня Ананькин:

— В чем тут дело?

Объяснили хором. Ваня возмутился и потребовал составить протокол.

— А вы тут что за судья? — вызывающе спросил Ваню надзиратель. — Для порядка есть власти, а вы что такое?

Ваня начал отчитывать полицию, а публика гогочет от удовольствия и поощряет Ваню. Подошла толпа рабочих. Возбуждение возросло. Надзиратель хотел удалиться, но толпа озорничала:

— Не выпускайте! Протокол надо на него составить!

Надзиратель выхватил из кобуры револьвер, но его обезоружили.

— К исправнику его ведите! Пусть прото-

кол составят, что в людей хотел стрелять... Вот они что делают! Сволочи!

— На мирных граждан оружие обнажают! К исправнику его, сукиного сына!

— Я не отказываюсь. Ведите к исправнику...

Повели к исправнику. Вся улица побежала следом, а по пути толпа любопытных все росла и росла...

Видя, что Ваня Ананькин идет во главе, встречная интеллигентная публика стала примешиваться к толпе. Подмешивались мелкие чиновники, приказчики, ребяташки с матерями. Какой-то пьяный рабочий сорвал с женщины кумачовый платок и привязал к палке: получалась демонстрация с красным флагом.

Подшли к дому исправника, на крыльце два стражника. Ваня вступил в объяснения, потребовал, чтобы его пропустили в квартиру исправника...

А народ бежит и бежит со всех концов. Ваню, в конце концов, допустили, но отобрали у него револьвер, который принадлежал надзирателю и теперь должен был играть роль ве-

щественного доказательства. Пропустили, но не выпустили и, может быть, к его счастью. Кончился этот пустяк трагически.

Неожиданно растворились ворота дома, и публика увидела во дворе солдат.

Вышел фельдфебель и крикнул:

— Расходись по домам! Если три раза прикажу, не разойдетесь, огонь открою!

Публика ответила хохотом. Из толпы начали острить:

— Ах ты, Аника-воин[630]!

— Второй раз приказываю: разойдись!

— Не посмеешь!

Третьего предостережения даже не заметили за шумом толпы. И вдруг — залп из винтовок. Точно горсть гороху бросили на железный лист...

Толпа бросилась врассыпную, а на лужке против дома исправника корчился в судорогах босой мальчик лет десяти...

Мальчика подобрали и унесли... Ваню Ананькина вечером выпустили. Его привлекли к делу в качестве подстрекателя...

Так зловеще началась конституция в Алатыре...

Интеллигенция попыталась собраться в зале городской думы для торжественного заседания, но появился исправник с нижними чинами и предложил разойтись.

Возмущались, спорили, ссылались на Высочайший манифест, обвиняли в неповиновении Высочайшей воле, грозили:

— Вы за это ответите!

— Хорошо. Потом ответим, а сейчас потрудитесь разойтись, или я употреблю военную силу!

Ворчали, называли кого-то «насильниками», а конституцию — провокацией, но пошли вон. Не было «вождя».

Забегали в бабушкин дом справиться: когда приезжает Павел Николаевич, но там и сами ничего не знали. Ни письма, ни телеграммы. Пропал без вести. В доме стояла зловещая тишина, молчаливая печаль и тревога. Леночка бродила, как больная, только что перенесшая тяжелую операцию. Не спала по ночам и все прислушивалась, не дрогнет ли звонок в передней. Она проклинала и революцию, и конституцию. Кто знает: может быть, Малявочку убили, вот так же, как убили

мальчика на площади? Хорошо еще, что застрявшая вследствие железнодорожной заставки Наташа подбодряла Леночку, но и Наташа собирается уезжать в Москву: театры начали работать...

Леночка молилась по ночам, и в молитвенном шепоте иногда прорывался стон безнадежного отчаяния:

— Малявочка!

А Малявочка крутился в вихре политических страстей и «спасал конституцию, а может быть, даже и Россию». Манифест отвоевали, а впереди — не приятный отдых на лаврах, а новая борьба, да еще на два фронта, ибо теперь — два врага: один тянет Россию назад, к восстановлению самодержавия, а другой толкает в омут социальной революции, которая погубит Россию.

Недавних «друзей слева» конституционалисты стали бояться не меньше, чем врагов справа.

Вот когда вспомнился Павлу Николаевичу погибший идеалист и чудаков Елевферий Митрофанович Крестовоздвиженский и его схема скрещения двух прямых в точке «З»...

Земля!

Победит тот, за кем пойдет многомиллионный народ, то есть крестьянство. А он пойдет за тем, кто даст ему землю...

Ленин опирается на рабочий класс.

Социалисты-революционеры на крестьянство.

Реакционеры на все силы старой России.

А на что опереться демократической интеллигенции?

Земля!

И вот начинается спешная выработка широкой реформы для крестьянского землевладения...

Павел Николаевич жертвенно стоял за отчуждение помещичьих земель. Разногласие в партии было лишь в том, какое отчуждение: с выкупом или без выкупа?

Вот тут и столкнулись. У большинства не хватило жертвенности: постановили отчуждение по справедливой оценке.

Как только выяснился результат голосования, Павел Николаевич взволнованно произнес:

— Мы совершили непоправимую ошибку!

Народ пойдет за социалистами-революционерами, которые обещают мужикам землю даром, без всяких выкупов.

Кто-то из членов сострил:

— У них земли не имеется, а потому ничего не стоит подарить чужую!

Павел Николаевич рассердился:

— Теперь не до шуток. Дело более серьезно, чем нам кажется... Мы останемся в полном одиночестве...

Вздумал Павел Николаевич навестить своего отставного зятя Адама Брониславовича Пенхержевского. Что бы там ни было, а ведь друзья!

Хотя Адам Брониславович встретил его и любезно, но с некоторой растерянностью (он сам отпер дверь). Вдали слышался возбужденный спор на польском языке, который как-то сразу оборвался.

— Я, кажется, не вовремя? У вас — гости или?..

— Я вас попрошу сюда, в кабинет... Дело в том, что у меня маленькое совещание...

Павел Николаевич понял, что наткнулся на «польские тайны».

— Извиняюсь. Зайду после...

Адам Брониславович тоже начал извиняться, раскланиваться и сожалеть, но, видимо, был рад, что гость уходит:

— Милости прошу завтра, часов так... в пять вечера. Нам о многом надо поговорить, но наедине... Так до завтра!..

Адам Брониславович отомкнул замок выходной двери, крепко пожал руку гостя и отворил любезно дверь...

На другой день Павел Николаевич выехал в Алатырь.

XI

Есть в Финляндии станция Мустамяки, а верстах в пяти — окруженная сосновыми лесами деревня Нейвола[631]. Место историческое: здесь был решен вопрос об устройстве вооруженного восстания в Москве.

Политика старого правительства, направленная к покорению автономной Финляндии, превратила ее из лояльной и дружественной страны во вражескую — для правительства и дружескую — для русских революционеров, суливших национальное самоопределение вплоть до отделения от государства.

Финляндия сделалась удобным местом для всяких революционных съездов и свиданий.

У большевиков, помимо того, имелись здесь и некоторые специальные удобства: завоеванный ими Максим Горький снимал в деревне Нейволе огромный дом[632], где бывал лишь наездами, летом и зимой. А друг Ленина Вронч-Вруевич имел собственную дачу.

Дача Вронч-Вруевича прижималась к лесу, стояла в глубине обнесенного высоким забором и засаженного деревьями двора. Злой цепной пес охранял ворота и своим лаем предупреждал об опасности.

На этой даче и укрывался приехавший из Швейцарии Ильич[633].

Дело было глубокой осенью, когда все дачники исчезли, дачи стояли заколоченными наглухо, а деревня, уже засыпанная пышными сугробами, спала, как медведь в берлоге.

Кому могло прийти в голову, что под видом гостей к Горькому съезжаются представители комитетов Москвы и Петербурга? И кому придет в голову, что под видом столяра живет на даче Вронча генерал большевистской действующей армии?

А впрочем, если бы финляндские власти и узнали об этом, разве они стали бы мешать? Конечно, они в минуту опасности только помогли бы своим друзьям скрыться.

Ночь. Спит в глубоких снегах деревенька.

Спит лес в кружевах мохнатого инея. А дом Горького светится праздничными огнями: там по случаю дня рождения [634] знаменитого писателя съехалось множество гостей. Большой зал с отесанными бревенчатыми стенами напоминает только что выстроенный и не оконченный еще постройкой вокзал, куда собралась публика для встречи какого-то значительного лица. Говорят вполголоса, все озабочены, нетерпеливо поглядывают на часы и перешептываются. Посреди зала длинный стол, тоже как в станционном зале. Огромный самовар. Гора бутербродов. Поднос со стаканами, блюдами и чайными ложечками. Хозяин, высокий сутуловатый человек в черной суконной блузе, опоясанной ремешком, и в высоких лаковых сапогах, переходит от одной группы гостей к другой, подергивает жесткий рыжий ус, посасывает его и больше слушает, чем говорит. Он точно

взвешивает все время чужие слова и отделяется кивками головы, остриженной под бобрик. Сегодня даже и сам Горький не в центре внимания...

— Пришел! — бросил чей-то таинственный голос в дверь зала, и все стихло.

Появился Вронч со сладенькой улыбочкой и румянцами на круглых и пухлых щеках, а за ним — невысокий сутуловатый человечек с монгольскими глазами.

— Привет товарищам!

Общий поклон. Кое с кем — за руку, два-три слова. Горький и Вронч неотступно сопровождают Ленина[635], проявляя свою особенную близость к нему какими-то интимными разговорами и улыбочками, от чего значительно вырастают во мнениях окружающих.

— Товарищи! Садитесь за стол. Оно удобнее, — предложил Горький грубоватым голосом, напирая сильно на «о», как все северные волжане. — Может, кому охота чаю выпить? Подходи и наливай! Мы сегодня без женщин.

Вронч налил стакан чаю и раболепно подставил усевшемуся рядом с Горьким Ленину.

Ленин поболтал ложечкой в стакане, глот-

нул чаю и начал говорить сперва тихо, сипло, с заминками, постукивая о стол карандашом. Он объяснил, что заставило его экстренно приехать: объявленная вторая всеобщая забастовка сорвалась, пафос революции слабеет, между тем как его необходимо всеми силами поддерживать, чтобы захватить передовые позиции всех врагов, как бы они ни назывались. Куй железо, пока горячо. А железо раскалено добела. У кузнечных мехов стоят черносотенные идиоты и раздувают пламя. Революционный пафос рабочего класса должен быть поднят какими угодно жертвами, ибо надо ловить исторический момент. Он благоприятен в небывалой степени...

Постепенно в речи Ленина исчезала косноязычность и паузы. Скрип голоса сглаживался плавностью фраз и их чеканной отчетливостью.

Точно тяжелый поезд не мог сразу двинуться от станции, рвался толчками, гремел буферами и сцепами, а потом пошел ровно, все быстрее и плавнее покатился полным ходом...

— Мы, товарищи, для данного историче-

ского момента использовали буржуазную оппозицию в полной мере. Она была на нашей тройке пристяжкой и помогала рабочему классу сдвинуть с места и повалить самодержавие. Теперь она уже не называет нас «друзьями слева»! Как мы ни долбили этим дуракам, что никогда их друзьями не были и не будем, они не соглашались... И только теперь спохватились в своей оплошности!

Зал наполнился самодовольным смехом, но кто-то зашипел и снова водворилось молчание.

— Итак, мы с оппозицией Его Величества враги. Я не знаю, кто из нас кому страшнее?

Снова смешки в публике.

— Кто кому еще понадобится? Эти враги безвредны, но кто знает? Возможно, что они и еще раз пригодятся нам. Вон гоголевский Осип из «Ревизора» воскликнул, увидя веревочку: «Веревочка? Давай сюда, в карман спрячу: и веревочка может пригодиться!» [636] Так покуда спрячем и мы эту веревочку в карман!

Кто-то не удержался и, засмеявшись, хлопнул в ладоши.

— Тише, товарищи! Слушайте!

Ленин продолжал:

— Утопающий хватается за соломинку, а они... за собственную ногу! За свою земельную собственность! Однако буржуазная жадность мешает им самооскопиться. Они соглашались на эту неприятную операцию при справедливой оценке своей потери. Нам, товарищи, с землей сейчас возиться некогда. Пусть вместо нас *пока* это дело делают идеологи мелкой буржуазии, то есть эсеры! Отлично, что они бунтуют крестьян. Пусть этим делом командует герой на роли министров земледелия Владимир Михайлович Чернов! [637] Тоже весьма недурно, что они бросают бомбы; не будем завидовать, что не мы, а они убили Сипягина, Плеве и удостоились убить великого князя. Пусть они и мужичком займутся и доказывают им, что земля ничья, а Божья, и потому должна быть отобраана у помещиков и передана в их собственность!

— Господа, то есть того... товарищи! Не смейтесь! Мешаете слушать... — огрызнулся Вронч-Вруевич.

— Таковы, в общем, соотношения действу-

ющих сил. Теперь — общий фон, на котором нам приходится действовать. Пафос революции как будто снизился, но зато сильно скакнул вверх градус злобы, ненависти и затаенной мести на всех ступенях социальной лестницы. От верху донизу! Война и манифест обозлили недавних друзей и, отыскивая виновных, они клеветают друг на друга, ненавидят друг друга и пакостят друг другу по силе возможности. Примеры заразительны: и генералы начали бастовать! В пораженной армии — озлобление. В университетах — озлобление. В деревне — затаенное озлобление. Словом, огромное скопление революционной энергии. Генерал Трепов, не жалея патронов, из каждого кроткого мещанина в провинциальном городе устроил озлобленного недоброжелателя властей... Дело дошло до такого социального абсурда, что господа капиталисты, к уничтожению которых мы направляем, в конце концов, наши удары, жертвуют нам значительные капиталы на *вооруженное восстание*[638]! Об этом нам потом расскажет Алексей Максимович!

Горький ухмыльнулся и стал сосать свой

ус, а Ленин отпил из стакана, поправил воротничок на шее и продолжал:

— Так вот каков общий фон, на котором мы должны сейчас действовать! Более благоприятного момента мы едва ли дождемся, а потому надо его использовать. Необходимо углублять и расширять революцию, поддерживать ее жертвенный пафос и сделать этот опыт в Москве. Москва подымет Петербург, подымет все фабричные районы, перекинет пожар восстания во все крупные центры России, а господа эсеры, несомненно, взбунтуют крестьянство, ибо нельзя допустить, чтобы они не воспользовались этим пожаром для земельной экспроприации.

Взволнованный шепот слушателей наполнил зал шумом, похожим на начавшийся мелкий дождь... Кто-то робко произнес:

— А если провалимся?

— Провалимся? И это возможно, товарищи. Я предлагаю опыт. В таком деле всегда есть риск. Но если вы будете ждать, когда все в один голос скажете, что поражение невозможно, то вы никогда не сделаете этого шага, который все же придется когда-нибудь сде-

лать. Вы боитесь напрасных жертв? Где же и когда революции не требовали жертв? Кровь есть смазочное масло революционной машины. Мало толку, если мы будем петь «Мы жертвою пали в борьбе роковой!», а сами будем выглядывать из-за угла и показывать врагам кукиш в кармане!

Гром аплодисментов загремел в зале.

— Даже и в том случае, если восстание не даст нам видимой победы, — оно поднимет пафос революции и даст нам возможность сделать ее перманентной... А без этого — ставьте крест над могилой революции и кричите «ура» конституции и буржуям!.. А кстати, перестаньте называть себя и революционерами...

Ильич сел. Перебросился тихими словами с Горьким. Тот ухмыльнулся и дернул себя за ус. Вронч угодливо топтался около них, напоминая предупредительного лакея. Собрание пребывало в глубокомысленном самосозерцании. Одни смотрели на свои стаканы с чаем, другие — с благоговением — на своего вождя. Несомненно, были тут и такие, которых грыз червь сомнения, но в партии была чисто во-

енная дисциплина: противоречить вождю не полагалось... Можно было беседовать в частном порядке и разрешать личные сомнения вопросом: «А как вы думаете, Владимир Ильич, о том-то?» — и слушать, что скажет вождь. Вера в непогрешимость Ильича была так велика, что даже и такое осведомление нужно было облекать в осторожную форму: желания познать от пророка и учителя истину.

Некоторая неловкость все-таки была заметна. Горький прогнал ее излюбленным приемом искусственной простоты и наивности, свойственной людям из низов:

— Может, которые есть пьяницы? Там у меня в спальн^{ой} и водка, и вино заготовлены!

Сразу всех развеселил. Точно клоун в цирке, неожиданно выбежал на арену и выкинул не совсем приличную шуточку.

Вышло что-то вроде антракта. Одни пили чай, другие бродили по коридорам дома и тихо разговаривали. Находились и такие, которые, подсаживаясь к Ильичу, осмеливались спросить:

— А как вы, Владимир Ильич, думаете о том-то?

Не решавшиеся поговорить лично с Ильичом, ловили Горького и его спрашивали:

— А как думает Владимир Ильич о том-то?

Горький знает все: как и о чем думает его друг, — и тоже разъясняет:

— Оружие? Это вопрос технический! Оружие найдется. Мало в Москве оружия? И пушки, и пулеметы. Достанем!

Один в разговоре с Горьким со всем согласился, но вскользь заметил:

— Жертвы большие потребуются! Не вышло бы вроде гапоновского похода...

— Чего жалеть-то? Людей на свете много. Расплодятся опять!

Вронч побежал по комнатам и коридорам:

— Закусить! Откусать, товарищи!

Вронч тащил корзину с винами.

«Товарищи» проголодались и поспешно двинулись на призыв Вронча.

За столом стало весело и непринужденно. Сыпались шутки и остроты. Рассказывались революционные анекдоты про «товарищей», про царя, про Витте, про Плеханова...

Вот тут и пришла очередь Горького рассказать про чудаков капиталистов, дающих деньги на вооруженное восстание.

Ленин подтолкнул на это Горького:

— Товарищи! Попросите Алексея Максимовича рассказать про московских купцов! Это великолепная иллюстрация к моменту. На ней вы поймете, до какой озлобленности довели наши самодержцы даже именитое купечество!

— Просим, Алексей Максимович! Просим! Просим!

Горький поломался маленько, разыгрывая скромного и застенчивого малого:

— Я говорить не умею. Я писать могу, а... Я напишу потом!

Конечно, его упростили. Ничего не поделаешь, надо рассказать...

— Так вот! Савву Тимофеича Морозова знаете? Так с ним было. Великий князь Москвой управлял. Его тогда еще не разорвало бомбой-то. Царь и бог в Москве. У него свои законы были, а законы государства Российского не про него, не про князя были писаны. Он и Зубатова, и Трепова открыл, и погромчики

покойник любил. Ну, царствие ему небесное и вечный покой! Не в нем дело... Так вот! Как началась война с Японией, началось, конечно, и воровство в интендантстве[639]. Интендантская крыса любит полакомиться, и война для нее — вроде Светлого праздника. А Савва Тимофеич, хотя и в меценатах искусства числился, но и гражданского долга не забывал. Денег много и размах широкий. Вздумалось ему защитников царя и отечества, кровь проливающих, облагодетельствовать. Не говоря худого слова, прямо к князю Сергею во дворец отправился. Привык Савва Тимофеич к почету и уважению. Человек в Москве известный. Да и не только в Москве. Кто не знает в России Савву Тимофеевича? Князь не принял. Маленько обиделся Савва Тимофеич. Во второй раз приехал, а предварительно во дворец по телефону позвонил и сказал дежурному, что по важному государственному делу желает князя лично видеть. А про Савву молва шла, что с интеллигенцией путается и что либеральным духом одержим. Вот князь и точил зуб на Савву Тимофеича... Так вот! Хотя и не хотелось князю личным приемом купца

почтить, но раз дело государственное, — надо принять.

— Сколько у нас войск против Японии послано? — спросил Савва Тимофеич.

— Это государственная тайна, не подлежащая оглашению!

— Ну, хотя приблизительно. Тысяч пятьсот будет?

— А зачем вам это знать?

— На своей фабрике для солдат одеяла приготавливаю. Так мне надо знать, сколько потребуется для всей армии.

— Поставку взяли?

— Пожертвование хочу сделать.

— Похвально. Во всяком случае — не меньше пятисот тысяч...

И вот Савва Тимофеич изготовил 500 000 одеял для солдат по особому специальному рисунку, с гербом, из какого-то особенного материала. Всю эту партию он передал в «Красный Крест», в котором председательствовала супруга князя, сестра царицы Елизавета Федоровна[640]. Вся эта партия одеял по документам числилась отправленной в действующую армию. Ну, хорошо! Проходит так с месяц или

побольше, и вдруг Савва Тимофеич видит... в оконной выставке одного магазина свое одеяло. Что за история? В продаже этих одеял не должно было появиться: фабрика выпустила их только для фронта. Зашел Савва Тимофеич в магазин:

— Много ли у вас таких одеял?

— А сколько вам потребуется?

— Мне бы так штук пятьдесят.

— Сейчас имеем только 25, но к завтраму достанем, сколько угодно!

Купил Савва Тимофеич эти 25 одеял. А приказчик увидал и спросил:

— Почем брали, Савва Тимофеич, свои одеяла? — сказал. — А на Сухаревке можно их купить много дешевле. Я вот одно купил.

Вот тебе и «Красный Крест»! Обокрали солдатика, да в продажу пустили пожертвованное-то...

Савва Тимофеич к телефону:

— Дайте Кремлевский дворец!

— Кто звонит?

— Савва Морозов.

— Что угодно?

— Желая видеть Его Высочество, князя

Сергея Александровича, по важному государственному делу! Когда может принять?

Князь полагал, что Морозов, желая загладить свои либеральные грешки, снова щедрое пожертвование сделает во спасение души. Принял Савву Тимофеича поласковее уже, а тот возьми да и заяви при адъютанте:

— Осмеливаюсь доложить, что в вашем «Красном Кресте» воры сидят!

Великий князь сразу в бешенство пришел. Оскорбление и супруге, и ему, ибо учреждение сие состоит под их опекой и покровительством. Савва Тимофеич объяснить хочет, а князь кричит, стучит по столу кулаком:

— Хам! Как ты смеешь? Я тебя в тюрьме сгною!

— Это за что же, Ваше Высочество? Вы воров своих туда сажайте, а не нас — жертвователей...

— Молчать, хам! Арестовать!

— Я к вашим услугам, Ваше Высочество, но разрешите мне сперва по телефону на фабрике распоряжение дать! У меня больше пяти тысяч рабочих. Без моего распоряжения им завтра уплаты не произведут... И другие дело-

вые распоряжения надо сделать!

— Говори по телефону!

Ну вот! Вызвал Савва Тимофеич к телефону своего управляющего и приказывает:

— Завтра фабрики остановить и всех рабочих расчитать! Я прекращаю дело.

Князь отдернул Савву Тимофеича от телефона:

— Не имеешь права делать этого! Ты вздумал у меня революцию разводить?! Ах ты сукин сын! Я тебе морду набью! Вон из России!

— Если Вашему Высочеству нравится такое занятие, бейте!

Князь вдруг ослабел от гнева. Сел в кресло.

— Убирайся вон! Немедленно, завтра же, вон из России! Таких нам не надо!

Приказал адъютанту взять с Саввы подписку о выезде в течение трех суток из России и отпустил...

Савва фабрик своих не остановил. Он перевел в Италию несколько миллионов и уехал за границу...

В результате сего происшествия мы имеем пожертвование на борьбу с самодержавием в размере миллиона рублей!

Жил-был именитый купец, который помог Художественному театру на ноги стать и меценатом всяких искусств числился, и вдруг великий князь его меценатом революции сделал!

Хохот и гром рукоплесканий.

А Горький еще больше развеселил публику:

— Хорошие примеры заразительны: нашлись и еще именитые московские купцы, которые о революции ходатайствуют: Четвериков, вдова купца Терещенко[641], на которой следовало бы в благодарность кому-нибудь из товарищей жениться. Нет ли, товарищи, желающих? По-моему, так и в принудительном порядке можно бы...

После этого торжественного заседания начались тайные совещания на даче Вронч-Вруевича. Здесь временно утвердился главный штаб избранных, и начали вырабатывать план вооруженного восстания в Москве.

В декабре начались в Москве забастовки, быстро перешедшие в открытое вооруженное восстание[642]. Улицы в фабричных районах покрылись баррикадами, и начались бои.

Пресня превратилась в укрепленный плацдарм ленинской армии, а Прохоровская фабрика — в штаб ее[643]. Загремели пушки, затрещали пулеметы и защелкали винтовки и револьверы. По городу бродили партизанские тройки и, строя засады, «ссаживали» пулями скакавших по городу жандармов. Весь город жил в трепете... По ночам над городом злое ще трепыхали пожары.

Расчеты большевиков на поддержку со стороны гарнизона не оправдались. Планы захватить арсеналы с оружием и пушки провалились.

Уже на третий день было ясно, что восстание обречено на провал. Хотя ленинская армия и проявляла героизм, но это было героизм отчаяния. Около недели брошенные на убой рабочие сопротивлялись и умирали ради жестокого и бессмысленного опыта гражданской войны, такой же никому не нужной, какой была японская авантюра. Усмиряли жестоко и беспощадно, громили из пушек дома, фабрики, склады. Прохоровскую мануфактуру, в которой укрылась, как в последней крепости, горсточка смельчаков, пре-

вратили в развалины.

Остряки называли этот разгром ленинской армии «нашей первой победой после Мукдена».

Максим Горький первым бежал за границу, в прекрасную Италию, и поселился на острове Капри[644]. Там же очутились и все будущие знаменитости большевизма с Лениным во главе.

Савва Тимофеевич Морозов застрелился.

Эта победа на внутреннем фронте, понизив революционный пафос рабочих и вообще всей революции, сильно подняла бодрость духа в царе, правительстве и в придворных сферах, а с другой стороны, испугала еще более тех, кто стоял за союз с революционерами, называя их «друзьями слева»...

Вооруженное восстание кончилось, и началась расправа карательных экспедиций, которые не утруждали себя разбором правых и виноватых...

Так печально кончился первый опыт социальной революции большевиков.

После Нового года Павел Николаевич получил из Москвы письмо от Наташи. Она писа-

да, что Петр убит во время восстания: он командовал эскадроном и при взятии одной из баррикад был тяжело ранен и на другой день скончался, не приходя в сознание.

Павел Николаевич все-таки всплакнул потихоньку: когда-то любимый сын!

От Леночки он скрыл это письмо, но сам частенько его перечитывал и впадал в печальные размышления:

— Брат Митя погиб на одной стороне, родной сын — на другой... Что-то жизнь готовит для последнего в роде Кудышевых, для Женьки?

Павлу же Николаевичу жизнь не давала опомниться: приближались выборы в Первую Государственную думу[645], куда он тайно мечтал пройти... Некогда горевать и даже некогда отдыхать.

Как бы то ни было, а парламент завоеван. Пусть это парламент ублюдочный, но...

— Но мы еще повоюем!

ХII

Если обе столицы и крупные центры пережили хотя и сильно укороченный «медовый месяц» конституции, то необъятная провин-

ция не испытала и этой мимолетной радости. Там конституция началась прямо с крутых расправ над «незыблемыми основами» дарованных царем свобод...

Конечно, в глухих местах провинции у жителей среднего просвещения получилось очень превратное суждение о благах конституции. Так было, например, в Алатыре:

— Черт с ней, с этой проклятой конституцией! Чтоб ей лопнуть, окаянной! — кричали на всех перекрестках улиц после скандала с надзирателем, окончившегося убийством ни в чем не повинного мальчика.

Почесывали в затылках и наши знакомые купцы Тыркин и Ананькин, на торговом деле которых и революция, и конституция отразились только огромными убытками.

Даже такой инстинктивный либерал, издавна тяготевший к передовым идеям, каким был капитан «Стрелы» Ваня Ананькин, после того как высидел три месяца под арестом за участие в «алатырской демонстрации», сопровождавшейся обезоружением полицейского надзирателя, потерял аппетит к свободам:

— А ну ее, эту конституцию, ко псу под

хвост!

Конституционная партия Симбирской губернии, над организацией которой так много потрудился Павел Николаевич, и, казалось, с таким успехом, тоже дала трещину по самой середине. Она раскололась на левую и правую. Правая заподозрила левую в тайном республиканизме и начала постройку новой партии «октябристов» [646], которые не прочь были получить парламент, но при полном сохранении самодержавия.

Павел Николаевич, оставшийся лидером левой половины, лез из кожи вон, чтобы склеить трещину и доказать, что «нельзя совместить несовместимое», но даже в прежних друзьях и единомышленниках встречал отпор.

У обеих сторон были свои доводы весьма существенного характера, и потому споры не приводили ни к каким результатам.

— Кто создал Великую Российскую Империю? Монархия. Если бы царь Иван Грозный не взял в кулак боярство и превратил бы боярскую думу из совещательной в парламентарную, Великой России не было бы. Если бы

Петр Великий вздумал устроить парламент, то есть вашу конституцию, Россию давно бы сожрали иноземцы. Нужна была самодержавная палка. В России 35 процентов всяких инородцев. Они вам покажут теперь конституцию! Нет, нет, Павел Николаевич! Ваша конституция имеет скрытое намерение превратиться в республику... Кто сказал «а», тот непременно должен будет сказать и «б», а для Российской империи республика — гибель, ибо тогда империю развалят и поделят соседи, давно мечтающие свалить вместе с самодержавием и самую Россию!

— Вы просто испуганы громом московских пушек! Кто же толкнул Россию в омут революции, как не ваше самодержавие? Кто создал врагов на всех окраинах, из всех иноплеменников? Кто развил центробежные силы... Я говорю о Польше, Финляндии, Кавказе, Малороссии, о еврействе... Я ничего не имел бы и против самодержавной монархии, если бы мы нашли для управления великой страной великого человека... Ну, своего царя Соломона[647]! Но Соломоны-то ведь остались только в Библии. Для самодержца одной шестой

земного шара потребуется гигант всех добродетелей: великий ум, великая сила воли, великая прозорливость и великое благородство души и сердца. Ну где вы по нашим временам обретете такой клад? А ведь иначе — опять сказка про белого бычка! Опять вместо самодержавия — многодержавие и произвол, да произвол не одного самодержца, а многих! Сохрани нас, Господи, от этой сказки про белого бычка! Возьмите эту дурацкую Японскую войну! Ведь при неограниченной монархии мы не будем гарантированы от новых авантюр подобного характера, а ведь эта авантюра из великого и могущественного великана сделала политическое и военное ничтожество! Хорошо, если сядет на престол Соломон, ну а если вместо него — человек среднего достоинства и добродетелей, у которого на дню семь пятниц и вместо мудрости — одни настроения, пусть даже весьма патриотического свойства. Ведь такой человек под воздействием настроения, которое легко создается льстецами и прохвостами, может в единую минуту, как ребенок капризный, своим подвигом разрушить то, над чем трудились лю-

ди в течение столетий! А кроме того, есть еще неизбежный исторический закон. При известных исторических условиях все страны вынуждаются этим законом к изменению форм государственного управления. Почему мы, Россия, должны возвратиться к временам Ивана Грозного? Вот тоже — крестьянский вопрос! В течение двух царствований никакого внимания в эту сторону, а ведь мы сидим на бочке с порохом! Нас ожидает вторичное пришествие Стеньки Разина... Самодержавие все время рубит тот сук, на котором само же сидит!

— Вот я и вижу, что вам нужна не ограниченная монархия, а республика и свой республиканский Соломон. Благо он готов и по фамилии именуется г. Милюков. А мы на такого Соломона тоже не согласны. При его склонности лезть в друзья к террористам и социалистам выйдет не республика, а «режь публику!»

И все серьезные споры кончались обидными друг для друга шуточками...

— Кто прав, рассудит история, — говорил Павел Николаевич.

Не будем судить и мы, кто ближе к истине в этих спорах интеллигенции, завоевавшей, наконец, право принять участие в судьбах своего народа.

Но в чем Павел Николаевич был близок к истине, так это в своем указании на возможность стихийного народного бунта...

Как революционная, так и прогрессивная интеллигенция, выдвинувши на первую очередь завоевание политических свобод и отдавая этой борьбе главное свое внимание, оставалась как бы вдали от огромного мужицкого царства. У мужика по-прежнему «воля» стояла в неразрывности с «землей». А потому в смысле политическом никакой помощи со стороны крестьянства в борьбе за свободу не замечалось. Дело господское, барское! Свои собаки дерутся, чужая не приставай!

Будь на престоле мудрый Соломон, он бросил бы мужикам «Божью землю», и от русской революции только пух во все стороны полетел бы даже и завоеванная конституция одним мимолетным воспоминанием осталась бы. И прославился бы премудрый Соломон, и укрепил бы самодержавие на много веков

вперед. Снова превратился бы в Бога на земле, и нестрашны были бы России ни внутренние, ни внешние враги...

А Соломона-то и не было!

Когда-то исполнявший его обязанности Витте, хотя и был произведен в графы, но это произошло исключительно со страху. А так как страх на верхах ослаб, Витте оказался графом без графства... и был отодвинут в сторонку, как ненужный лишний стул...

А уж как он, бывало, старался убедить царя, что не на дворянине русская земля держится, а на мужике!..

Что же думал теперь русский мужичок в деревне, и в каком виде долетела до него конституция?

Россия как океан, а глаза наши видят только, что близко делается.

И вот что делалось во владениях именитых дворянских родов Замураевых и Кудышевых...

Прежде всего, если конституция с большим опозданием и в растерзанном виде долетела до городка Алатыря, то до Замураевки и Никудышевки она и совсем не добралась. До-

роги очень скверные!

Генерал Замураев, как предводитель дворянства, и сынок его, земский начальник, как мудрые администраторы и попечительные отцы своего народа, имевшие наглядный пример, как вредно публиковать царский манифест о конституции («алатырская демонстрация»!), распорядились, чтобы эта вредная бумага с манифестом не читалась в храме Божием попом с амвона, не расклеивалась по заборам и не ходила по мужицким рукам, создавая превратное суждение в темных и невежественных умах.

На ушко вам можно сказать, что хотя генерал с сыном и почитали себя наивернейшими подданными Его Величества, но после манифеста потихоньку и с закадычными приятелями под водочку и закусочку возмущались императором, поругивали его неподходящими для звания монарха словами и заводили между собой разговор о том, как было бы хорошо, если бы на престоле сидел великий князь Дмитрий Павлович[648] с вдовой убиенного великого князя Сергея Елизаветой Федоровной в виде регентши!.. А генерал Ду-

басов[649] — временным диктатором, как победитель Московского вооруженного восстания... Так вот манифест о конституции и оказался здесь на положении нелегальной прокламации со стороны престола!

Но ведь слухом земля полнится. До Алатыря-то не так уж далеко. Народ туда-сюда движается! Были среди крестьян и такие, которые доказывали, что своими глазами видели на соборе в Алатыре «манихест» и хотя как неграмотные сами не читали, но видели, как читали грамотные и про между собой разговоры имели. Утверждали даже больше: в манихесте этом и про землю есть!

— А почему же у нас об этом манихесте в церкви не объявляют?

— Сказывают, что господа не приказывают.

Ходили к попу:

— Что же ты, батька, про манихест в церкви не прочитаешь нам?

— Я что же? Я делаю, что прикажут власти. Никакого манифеста я не получал и ничего не знаю. Говорят, что была объявка о конституции, а что это за штука — хорошенько не

знаю и ничего вам сказать не могу. Не мое дело. Идите к властям предержащим, к становому или уряднику! Я тут ни при чем, мое дело крестить, повенчать, причастить, похоронить вас, а до остального я не касаюсь...

Попик знал, что манифест вышел, но имел уже разговор с генералом и земским начальником и получил добрый совет — молчать. А совет от предводителя, который с архиереем знаком, не простой совет: не слушаешь этого совета, так и приход хороший потеряешь.

Нашлись три смельчака, которые земского начальника спросили.

— Вам было объявлено, чтобы вы, по приказу царя, слушали предводителей дворянства и земских начальников? Мною это объявлялось своевременно...

— Так точно. Слыхали от вашей милости.

— Так вот вам и еще совет: вам уж прописали раз манифест за разгром амбаров в никудашевской экономии? Поротые?

— Я, действительно, поротый...

Двое других оказались непоротыми.

— Вот я и даю совет: не суйтесь туда, где вас не спрашивают, начальство само знает,

что объявить и когда объявить! А иначе и непоротые окажутся поротыми за любознательность. А тебе, поротый, сколько всыпали?

— Мне-то?.. Мне маленько... Только пятнадцать розог дали, и то не так чтобы сильно.

— Значит, надо еще дать тридцать, да побольнее. Вот и не будешь зря беспокоить земского начальника... Манифеста захотел! Я тебе такой манифест на ж...е пропишу да напоказ всей деревне выставлю без штанов-то, что в другой раз охота пройдет пустяками заниматься. Работать надо, а не ждать подачек от царя!

— Так точно! Прощенья просим, Ваше сиятельство...

Тайная смута ползает по деревням. Из Симбирска перетолкованные газетные сообщения прилетают в деревни в неузнаваемом виде. Вот в Москве, сказывают, господа с властями из пушек по манихесту палили и загубили бедного народа видимо-невидимо.

— Прячут господа его!

Помогло этому подозрению еще одно обстоятельство.

Когда окончилась позорная Японская вой-

на, армия ждала с понятным нетерпением возвращения на родину. И по закону она имела такое право. Но правительство боялось пустить озлобленную неудачами и дезорганизованную солдатскую массу в Россию, объятую в то время огнем революционных страстей. Да оно и не ошиблось: именно на эти озлобленные массы, между прочим, рассчитывал Ленин при своем опыте вооруженного восстания. Чтобы удержать эти массы озлобленных людей в далекой Сибири, в правительстве зародился и обсуждался проект наделения солдат, участников войны, землей за счет огромного земельного запаса в Сибири. Этим рассчитывали не только вознаградить защитников безобразовской авантюры, но и погасить начавшиеся в дезорганизованной армии вспышки все учащающихся бунтов. В свое время об этом проекте писалось в специальных военных газетах и журналах, и оттуда это проникло в солдатские массы.

— Пишут в газетах, что землю дадут, но только в Сибири.

— Почему же это мужика в Сибирь, когда в России земли достаточно?

Разговоров о том, что земля будет дана в вознаграждение зато, что воевали за царя и отечество, конечно, было много, и, когда в Россию начали просачиваться из Сибири беглые солдаты и отпущенные инвалиды, вместе с ними начали залетать и слухи о скорой царской милости, о земле.

Землю ждали. Манифеста ждали. Узнали, что манифест вышел...

А манифеста не объявляют. Прячут. Кто? Да, конечно, те, кому манифест невыгоден, кто владеет землями. А начальство всегда за господ!

Вот и разгадка. А государственные мудрецы в лице представителей опоры трона, вроде отца и сына Замураевых, лишь подтверждают своим поведением, что земля царем дана уже, но что господа и начальство снова хотят обмануть и царя, и народ...

Это было так логично и напоминало правду: психология Замураевых была именно такова. Мужики чуяли ее инстинктом. Неправы они были только в том, что всех господ и помещиков равняли в один ряд. Где им было разобраться в той существенной разнице, ко-

торая была между генералом Замураевым и Павлом Николаевичем Кудышевым?

— Все они друг за дружку держатся.

Уж на что так близок был Григорий со своей Ларисой к мужику и деревне, а и тут мужик осквернял искренность отношений своей подозрительностью:

— Человек-то он хороший, прямо сказать, святой человек, мухи не обидит, а не то что хрестьянина... Завсегда помочь рад. Это верно. Ну, а все-таки, как говорится, свой своему поневоле брат. Кому господа управление своей землей передали? Нам вот, небось, не отдали... Вот то-то и оно-то...

— Ну, а теперь по закону вся земля отошла после старой барыни к обоим братьям: Павлу Миколаичу и Григорию Миколаичу. Теперь и он помещиком сделался.

— Правильно, старики! Отказался тогда жалобу-то в царский комитет подать? Кому охота на царя жалобу писать?

Недавно Павел Николаевич на денек в отчий дом приехал по своим делам. Пришли старики к нему.

Павел Николаевич точно родных принял:

со всеми за руку подержался, по креслам их рассадил, прямо не нарадуется гостям. А мужики себе науме. О манифесте ни слова. Окольными путями подходят:

— Ну, как жив-здоров?

— Спасибо, старики!

— Ну ведь ты сам-то уж вон седой... И тебе, и нам помирать время приходит...

— Поживем еще, старики. Куда торопиться.

— Это правильно. Живой о живом и думает... Та-ак...

— А мы насчет аренды пришли. Ведь земля таперь тебе с Григорием Миколаичем принадлежит... Ходили это мы к нему, а он говорит, что окромя хутора он ничем не владеет... Выходит, что ты один владетель-то!

— Покуда и я — не владетель: завещание еще не утверждено. Всякие непорядки по городам задержали. И потом, оспаривается внуком наследницы...

— Та-ак... Стало быть, выходит, нет хозяев-то?

— Хозяева имеются, но законом еще не признаны, не утверждены должным закон-

НЫМ порядком...

— Та-ак...

Старики либо поддакивали, либо молчали, а в их душах все сильнее возрастало и укреплялось недоверие: «Дураком прикинулся! А мы и сами можем дурака-то валять!»

Павел Николаевич сам было заговорил про конституцию, про разные свободы, а про землю и забыл сказать. У кого что болит, тот про то и говорит.

Если бы спросили старики, конечно, правду бы сказал. А они из осторожности промолчали. Арендную плату все-таки Павел Николаевич согласился уменьшить ровно вдвое. Из благородных чувств и побуждений «справедливой оценки»... И что же получилось в результате?

Очутившись на улице, старики в один голос сказали:

— Так оно и есть! Верно выходит. Прячут они.

— Григорий говорит, земля не моя, и этот брат тоже — «я не владетель»!..

— А небось от аренды не отказался: хоть половинку, а получить с нас охота!

— Ничаво не надо давать. Видать, что земля отойдет от них. А шила-то в мешке не спрячешь. Обнаружится оно. Вот они и вертят хвостами-то, как лиса в загоне. Я не я и земля не моя! Сколь-нибудь, а только поскорей запла-ти!

— А про манихест невзначай обмолвился же!

Григорий сразу почувствовал перемену отношения к себе со стороны мужиков: столько лет строил мост дружбы и доверия, и вдруг мост рухнул и все труды пропали даром: снова превратился для них в «барина»!

Конечно, думал он, в этом виновато проклятое имение: перемена началась с того дня, когда он согласился временно заменить управляющего, и особенно стала заметной после того, как он очутился в «наследниках». С этой поры даже и в своем доме, за забором, что-то как будто треснуло.

Работая по вечерам над своим сочинением «О путях ко Граду Незримому», Григорий иногда слышал, как Лариса с отцом ведут разговор о том, к кому и что перейдет по наследству: кому какие угодья, кому — барский дом

и кому — бабушкин дом в Алатыре. Слишком горячо велись эти разговоры, особенно со стороны Ларисы. Лариса настаивала на своих правах:

— И барский дом, и бабушкин в Алатыре — обоим братьям, стало быть, и нам. Либо уж так надо: если Павлу Миколаичу — бабушкин дом, так нам — здешний...

— Здешний был бы нам сподручнее!

Вековая мужицкая жадность к земле пробудилась вдруг в душах Ларисы и Лугачёва с такой силой, что победила в них религиозно-сектантское вероучение, в основе которого лежала идея первых христианских общин.

Впрочем, и раньше этот христианский коммунизм больше словесно украшал вероучение, а в жизни осуществлялся весьма условно и относительно: тут натуральная повинность давно заменилась денежной — вкладами в кассу своего «корабля».

Так что и дома, за забором, Григорий начал рассматриваться как «барин с наследством».

Это рождало в нем чувство одиночества даже и на хуторе. А весной 1906 года случи-

лось несчастье, которое окончательно измочалило душу Григория Николаевича.

Сгорел хутор. Лариса ходила ночью на подволоку и уронила керосиновую лампу. Чуть только сама и успела выскочить. В какой-нибудь час времени от хорошо высохшего соснового дома со службами осталась только груда золы, углей да всякого мусора, над которой возвышался в виде перста в небо кирпичный дымоход...

Пришлось всем хуторянам переселиться в отчий дом.

Здесь Лариса почувствовала и повела себя уже настоящей хозяйкой и барыней, а через нее и Петр Трофимович Лугачёв почувствовал себя в барском доме своим человеком.

Между тем самочувствие Григория Николаевича становилось все хуже и хуже. Как в Никудышевке, так и в собственном семействе он делался вроде шестого пальца на руке.

С исчезновением хутора Григорий Николаевич точно потерял самого себя. Потерял и все пути праведной жизни. Даже капитальное сочинение «О путях ко Граду Незримому», куда он уходил как бы странником на покло-

нение своим духовным святыням, теперь сразу как-то потеряло свой сокровенный смысл.

Надвинувшаяся опасность сделаться помещиком навалила огромную тяготу на его нежную, чувствительную душу.

Раньше спасался на хуторе, за забором, и забор этот давал некоторое моральное успокоение, как символ непричастности к дворянской жизни и ее неправде, а тут и хутор сгорел, и забор мужики растащили, а вдобавок и жить пришлось в помещичьем доме...

В последний приезд старшего брата Григорий пробовал разрешить мучающий его вопрос: заговорил с Павлом Николаевичем на эту тему, но облегчения не получил.

— Об этом, Гриша, рано говорить. Пока закон не утвердил нас в правах наследства, распорядиться имением мы не можем. Ни дарить, ни продавать. А когда утвердят — неизвестно. Во всяком случае, не скоро. На путях к утверждению встало неожиданное препятствие, которое потребует больших и долгих хлопот. Дело, видишь ли, в том, что мой сын, а твой племянник Петр Павлович вскоре после смерти нашей матери заявил свое право

на участие в наследстве. Нашел каких-то свидетелей, что наша мать несколько раз утверждала, что оставит имение своим внукам, и будто бы даже оставила соответствующее ему завещание. Петр, как тебе известно, погиб в Москве, и дело страшно осложнилось. Жена его имеет на руках завещание от мужа, в котором ей отказывается в случае его смерти и воображаемая часть нашего имения. Мать завещание в пользу внуков делала, но потом уничтожила. Все это, конечно, со временем будет выяснено, но не скоро. Пройдет год, а может быть, и два. Ну, а затем... Ты намекаешь на желание разделиться? Все это тоже потребует большого времени. Ведь имение — не пирог, который разрезал пополам и кушай! Я тоже не имею желания быть помещиком, но ведь из своей шкуры не вылезешь? К счастью, дело идет к принудительной ликвидации помещичьего землевладения, и мы оба освободимся от тягостной ноши, которая, собственно, ничего, кроме опасности и неприятностей, не заключает теперь в себе... Но, я, к сожалению, связан партийной дисциплиной и обязан не дарить, а продать землю... И не

прямо мужикам, а государству по справедливой оценке...

— Я у вас в партии не состою и никакой оценки не желаю, — застенчиво покашляв в кулак, прошептал Григорий. — Я желаю подарить мужикам свою часть...

— Тогда жди! А возможно и так: прежде чем нас утвердят в правах наследства, выйдет закон об отчуждении. Боюсь, что в этом случае приедет сюда правительственная комиссия, произведет оценку земли, и мы получим выкупные деньги и поделим их. Тогда можешь отдать мужикам деньги...

— Ну, а что мне надо сейчас сделать?

— Сидеть смирно и ждать. Я поручил дело симбирскому адвокату. Пока дело не совершит своего полного круговорота, ничего не поделаешь...

Григорий вздохнул и долго сидел в молчании. Потом встал и переспросил:

— Так ничего нельзя придумать?

— Да придумать-то мало ли чего можно, только сделать-то нельзя, — пошутил Павел Николаевич, и они простились.

Возненавидел Григорий свой отчий дом и

совершенно перестал заниматься делами имения. Уходил на свое погорелое место и там копался и рылся...

Всеми делами в имении ворочали Лариса с отцом. Лариса начала подозревать, что с Григорием что-то неладное:

— Сам с собой разговаривает, в мусоре роется — ищет все чего-то: вчерась за обедом все молчал, а потом ни с того ни с сего — шляпку, говорит, покупай! — и давай смеяться. Я индо испужалась! Не помутился ли уж он в разуме, не дай Господи! Никудышный совсем стал...

— С пожара стал такой... Испужался, видно, тогда... А с испугу-то люди и помирают которые... А ежели, не дай Бог, помрет, вся земля в руки Павлу Миколаичу попадет... — тихо говорил старик Лугачёв дочери.

Это подозрение насчет умственного состояния «барина» с каждым днем возрастало как со стороны членов семейства, так и со стороны никудышевских мужиков и баб. «Непонятного» стал много говорить. Загадками все разговаривает, вроде как «блаженный».

Поймала раз его Лариса: затопил печку

своим сочинением!

— Очищаюсь! — говорит.

— Три года, а то и больше, писал, а теперь печку топишь?

— Пять лет писал!.. Может быть, и всю жизнь прописал бы, женщина, если бы не узрил тебя в обнажении!

— Чаво болтаешь, и сам не понимаешь, Гришенька...

— Перешагнул я через все леса и горы жизни человеческой, а она, как пес злобный, гонится по пятам за мной.

— Не в себе он!

— Только бы не помер покуда...

Однажды взвалил за спину пещер[650] лыковый, взял бадожок черемуховый в руки и, поклонившись отчему дому, пошел куда-то. Не простился ни с кем.

Лариса в доме хлопотала, отец ее в поле был. Хватились, а Гришеньки нет. Ждали, искали. В деревне говорили, что по Алатырскому тракту пошел. Подумали, что в Алатырь к брату пошел, вернется. Но прошла неделя — нет, другая — нет. Послали письмо, справились, — не бывал.

Заявили в волостное правление, что «барин без вести пропал»...

Но спустя так недели три Павел Николаевич письмо получил со штемпелем Константинополя:

Дорогой брат во Христе, Павел Николаевич!

Всю жизнь я искал путей спасения в мире сем и не нашел. Блажен, иже вместит его. Я не мог одолеть подвига сего и потому ухожу, отрекаюсь от всех званий и состояний моих, умиленно прошу всех простить меня, если обидел кого словом, делом или помышлением своим.

В миру Григорий, а ныне раб Божий грешный инок Феофил.

Павел Николаевич прочитал это коротенькое письмо, пожал плечами и раздраженно прошептал: «Окончательно спятил!»

Пошел к Леночке поделиться сенсационной новостью, а Леночка точно обрадовалась:

— Он давно уже того... Неужели ты не замечал? Куда же это он?..

— Куда? Вероятно, на Афон...

— Ну, а как же теперь с наследством?

— Вот в том-то и дело... Хотя бы поговорил, посоветовался... Этой бумажонки мало. Потребуется формальное отречение от наследства... Где его теперь найдешь?

— Как он теперь называется?

— Феофил.

Леночка стала хохотать:

— Феофил! Феофил! Это так идет к нему. Он всегда был Феофил!..

Павел Николаевич нахмурился:

— Не уговорили бы его монахи пожертвовать свою долю в монастырь! Положим, в письме ясно сказано: отрекаюсь от всех званий и состояний, но это все же только частное письмо... Эх, ироды царя небесного!..

XIII

Павел Николаевич чувствовал себя «победителем». Он так гордо нес теперь свою красивую седую голову, что Леночка уже перестала называть его Малявочкой, а придумала другое:

— Ты — мой орел!

Павел Николаевич приятно улыбнулся и, чувствуя смущение (дело происходило при посторонних), смягчил нетактичность

неуместной супружеской интимности шуткой:

— Согласен быть, если это тебе так нравится, даже и орлом, но только не двуглавым!

Он только что вернулся в бабушкин дом из Симбирска, где происходило тайное совещание местного губернского комитета конституционно-демократической партии, вернулся общепризнанным «вождем», с сознанием своей многозначительности в истории русской революции, завершившейся завоеванием парламента...

Помимо того, он вернулся еще с надеждой попасть в этот парламент и с тайной мечтой сделаться в будущем одним из министров «ответственного перед народом правительства», которое еще предстояло завоевать...

Ликование души Павла Николаевича было так бурно, что невольно передавалось и Леночке. Оно помогало ей оторваться от отличного горя, вызванного потерей старшего сына Петра. Поплакала и примирилась. Облеклась было в отсутствие мужа в траур, но проносила его только до приезда Павла Николаевича: ему это не понравилось. Поморщился и ска-

зал:

— Во-первых, зачем афишировать свое горе? Кому оно теперь интересно? А затем, мне просто не хочется и тяжело вспоминать о Петре... Бог с ним совсем! Возможно, что это был лучший исход и для него, и для нас с тобой...

Ну, Леночка и переделалась. Редко теперь видела мужа, а потому, когда он наконец вернулся, и неизвестно — надолго ли? — хотелось смеяться, а не плакать.

С приходом Павла Николаевича не только ожил заколдованный бабушкин дом, а встряхнулся от сонливости весь городок Алатырь.

— Слышали? Павел Николаевич вернулся!

— Да ну?

— Вернулся! Только сейчас с ним виделся...

Кучу новостей привез... Доклад сделает... относительно общей ориентации и соотношении сил, так сказать!

— Это крайне необходимо! А то сам черт теперь не разберет, кто кого победил: мы — исправника или исправник — нас?

— *Его* надо в Государственную думу-то

провести!

— Обязательно его!

Весь городок говорил о Павле Николаевиче, точно именно он завоевал парламент...

А еще говорят, что никто не бывает пророком в отечестве своем!

Даже те, которые после скандала с надзирателем и случайного убийства мальчика на площади испугались и проклинали революцию, теперь оправились и решили все-таки лично от самого Павла Николаевича узнать, что такое творится на свете Божьем и как что понимать следует насчет разных свобод, чтобы по неопытности в тюрьму не попасть...

Около бабушкиного дома теперь точно у вокзала: все едут, едут, как пассажиры на поезд, а по забору, как на извозничьей бирже, в ряд извозчики выстроились.

— Что тут такое происходит? — спросит какой-нибудь проходящий, мало осведомленный в событиях мещанинишко.

— Павел Николаич приехали домой!

Вот и отрицай после этого роль личности в истории! Не наглядное ли доказательство тому, что если нет героев, то их необходимо вы-

думать?

Из мимолетных разговоров с визитерами Павел Николаевич убедился, что здешняя публика совершенно отстала от событий и потонула в разных противоречиях действительности, а потому долг гражданина и «вождя» возлагает на него обязанность помочь вообще всей местной интеллигенции разобраться в сложных комбинациях исторического момента.

Для этого пришлось снова устроить «буржуазные пироги», вокруг которых так охотно собиралась всегда публика.

Павел Николаевич на этот раз разослал печатные приглашения на слоновой бумаге:

Е.В. и П. Н. Кудышевы просят Вас пожаловать к ним в четверг на будущей неделе к 2 часам дня откусать свободного буржуазного пирога с должными приложениями и провести вечерок в приятной дружеской беседе.

Конечно, на этот раз «буржуазные пироги» должны были носить исключительно торжественный характер, соответствующий историческому моменту и значительности госу-

дарственных событий, а потому надо было изобрести тоже нечто необычайное. Леночка растерялась:

— Какие же нужно пироги?

— Ну, придумай что-нибудь!

Конечно, изобретать пришлось самому же Павлу Николаевичу. Посердился он на то, что у женщин вообще плохо работает фантазия и творческое воображение, и вот что посоветовал:

— Один большой пирог с осетриной и вязигой, в виде манифеста 17 октября. Затем, поменьше, с надписями: «Свобода слова», «Свобода совести», «Неприкосновенность личности...»

— А эти с чем?

— Это неважно! Один — с капустой, другой — с мясом, третий... Ну, сама придумай! Пошевели маленько мозгами-то!

— Знаешь что? Я придумала...

— Ну?

— Я сделаю пломбир в виде Таврического дворца, где будет Государственная дума!

— Великолепно! Молодчина! Это замечательно...

Павлу Николаевичу так понравилось это изобретение, что он даже поцеловал Леночку в шейку.

Вызвали телеграммой Ваню Ананькина. Он прибыл с громадным транспортом вин и водок, а потому в этой области появилась фантазия, и даже весьма необузданная. Ваня сделал на бутылках наклейки с надписями: «Народная слеза», «Демократическая амброзия», «Парламентарная горькая» и т. д.

Ваня изукрасил зал национальными флагами, цветочными гирляндами и написал красками огромный плакат: Россия в виде женщины с порванными цепями на руках...

И вот настал день великого торжества. Публики съехалось — множество. Дамы разрядились точно в театр на заезжего «гастролера». Хотя многих и смущал появившийся около дома полицейский, но под кровлей героя и эти запуганные чувствовали себя все же в безопасности, тем более что полицейский стоял с понурой головой и, видимо, сам чувствовал себя нетвердо на этом посту.

— Павел Николаевич! Почему торчит полицейский? — капризно жаловались герою

дамы-конституционалистки.

— Пожалуйста, успокойтесь! Полиция охраняет порядок и безопасность. Она необходима в любом государстве и при любом государственном строе...

— И все-таки это ужасно неприятно! Раздражает как-то.

— Это самочувствие — наследие старого режима. Перестраивайте душу на новое гражданское самочувствие. Как-никак, а мы теперь имеем, кроме полицейского участка, еще парламент. Правда, он далеко не совершенен еще, но все-таки теперь мы повоюем!

Некоторые из гостей, рассчитывая сделать приятное Павлу Николаевичу, явились с красными бантиками. Павел Николаевич снисходительно посмеялся и деликатненько намекнул, что эти бантики — уже пережиток: революция кончилась, и красный цвет остался символом крайних левых партий, скорее врагов, чем друзей конституционалистов.

— Нашим символом теперь является зеленый цвет!

— Вот как!?

— Ведь красное знамя — символ крови, а

сейчас это уже преступление...

— Ничего теперь не разберешь! — срывая красный бантик, капризно жалуется окружающим молоденькая хорошенькая дама.

Не одни дамы чувствовали себя неуверенно, а и многие мужчины. Вот, например, ветеринарный врач Кобельков, молодой и рьяный либерал, всегда и по всякому поводу ругавший правительство и ныне записавшийся в партию Павла Николаевича, с изумленной физиономией слушал рассказ своего «вождя» о Московском вооруженном восстании и жестоком его усмирении. Усмиряли пушками и пулеметами, а потом еще и карательными отрядами, вообще свойственными самодержавию зверскими методами, а Павел Николаевич никакого возмущения этой расправой не обнаруживал! Совсем напротив: как будто бы даже хвалил! Вот тут и разберись! Нащупывает почву:

— Возмутительно... Только у нас, в России это и...

— Ну, батенька, революция — везде революция. Если революционеры строят баррикады и расстреливают представителей власти,

солдат, полицию, то что же делать? Стране дан парламент, дана возможность самостоятельного законодательства, а потому и борьбы со всяким произволом и насилием, а они начинают вооруженное восстание! Да зачем оно и кому нужно? Одним большевикам! Ну, отлично, давайте сражаться! Нельзя же держать всю страну на военном положении: это мешает всякому положительному творчеству...

— Но пушки?.. Стрелять в Москве пушками!..

— Да не все ли равно? Необходимо было как можно скорее потушить эту безумную кровавую затею в самом начале... и какими угодно средствами! По-моему, тут наше правительство впервые обнаружило понимание момента...

Не так давно Павел Николаевич называл революционеров «друзьями слева», а тут радешенек, что с этими друзьями правительство начало расправляться пушками...

— Вот вы — ветеринарный врач. Разве вам не приходится иногда при эпидемиях, когда они грозят распространением и гибелью ско-

та в большом масштабе, прибегать к крутым мерам и в интересах страны убивать даже по одному подозрению...

— М-м... возможно. Мне не случилось, но принципиально я допускаю...

— Так и в данном случае! Мы имели дело с грозной эпидемией, которая могла разлиться по всей стране. Вы только представьте себе, если бы к восстанию в городах присоединилось еще восстание деревень! Ведь мы все потонули бы в хаосе и анархии! Ведь это было бы в десять раз хуже Стенькина бунта!

— Так-то оно так...

— Этого требовала реальная политика данного момента.

Павел Николаевич вразумлял ветеринарного врача Кобелькова, а другие, менее храбрые и искренние, тайно недоумевающие, учились реальной политике.

Но вот влетает Ваня Ананькин и громко объявляет:

— Елена Владимировна просит к столу!

Сколько всяких сюрпризов ожидало здесь общество!

Идут к столу под звуки «Марсельезы» —

это номер Вани Ананькина: он привез граммофон с огромным рупором и спрятал его за дверью.

Впервые свободно гремит воинственная и возбуждающая «Марсельеза» в городке Алатыре. И ничего не может сделать ни исправник, ни жандармский ротмистр! Одно это обстоятельство уже необычайно воодушевляет и молодых и пожилых, а тут еще «буржуазные пироги», как знамена: со священными лозунгами! И аплодисменты, и взрыв радости и веселья!

Ветеринарный врач Кобельков маленько испортил эту веселую музыку. Стуком ножа о тарелку он остановил общее веселие:

— Прошу слова!

Всех удивило, что этот Кобельков выскочил, не давши спокойно покушать. Сосед даже потянул его за рукав, чтобы сел, но Кобельков огрызнулся и, состроив печальное лицо, произнес:

— Господа! В нашей дружной семье не хватает одного из любителей... вернее, поборников свободы, а именно Елевферия Митрофановича Крестовоздвиженского. Он, этот храб-

рый воин, погиб с честью на полях брани за свободу, которой мы все насладимся... Увы! — ему сие не суждено. Вечная ему память! Почтим погибшего вставанием и молчанием!

Встали, помолчали и сели.

Леночка рассердилась на Кобелькова, предположив, что он испортил аппетиту всех гостей. Этого, однако, не произошло.

Маленькая заминка, а потом все пошло своим порядком. Ваня поднял настроение нечаянной, но весьма остроумной шуткой. Он громогласно произнес:

— Манифест 17 октября имел огромный успех: его уже скушали без остатка! Я разумею, господа, пирог с осетриной...

За Ванину остроту публика уцепилась, и начались вариации на ту же тему в связи с другими пирогами, знаменующими разные свободы. Вот тут и наступил, так сказать, логический момент вмешаться Павлу Николаевичу и сказать слово руководящего и направляющего значения:

— Господа! Из всех мимолетных разговоров, которые я имел удовольствие вести в нашем городе, и даже с вами, прежде чем мы

очутились за этим столом, — я сделал заключение, что прежде всего я должен ответить на вопрос: кто и кого победил в происшедшей революции? Царское правительство так долго держало население в стороне от всякого участия в политическом творчестве, что теперь большинство из нас, даже людей вполне культурных во многих областях, в политике чувствует себя как в лесу, а есть немало и таких, которые способны заплутаться в трех соснах. Вот этот вопрос — кто и кого победил? — очень многих уподобил заблудившемуся в трех соснах.

Прежде всего, господа, кто и с кем сражался?

Ну, на этот вопрос очень легко ответить: самодержавное правительство сражалось со своим народом. Кто победил? Тоже легко ответить: победил народ, ибо вырвал у царя манифест политического раскрепощения, в результате дающий нам парламент. Здесь совершенно ясно, кто и кого победил.

Далее. Самодержавное правительство сражалось с революцией, направленной к провержению всех основ современного пра-

вового государства и устройству на его развалинах социалистического строя. Кто победил? Тоже легко ответить: победило правительство.

Самодержавное правительство сражалось и с нами, как частью народа. Кто победил? Тоже совершенно ясно: победил народ, а именно народная интеллигенция, стремившаяся к ограничению самодержавия... Победили мы!

Все это и просто и ясно, и не возбуждает, полагаю, никаких сомнений. Сложнее другие вопросы, встающие в связи с оценкой политических побед и ориентацией среди сложных соотношений действующих политических сил...

Мы все так долго и мечтательно любили революцию, что нам нелегко поломать свою интеллигентскую психику и сказать: всякая революция есть неизбежное зло, к которому ведет неразумная политическая и экономическая политика государства. Когда это зло преодолено, нам нужно радоваться...

Тут недовольно буркнул ветеринар Кобельков:

— Разве это революция: стрельнули раза

три из пушки, и все кончилось!

Павел Николаевич иронически взглянул на Кобелькова:

— Жалеть нам о том, что наша революция была значительно скромнее Великой французской, не следует, а нужно радоваться и... одобрить на сей раз действия правительства. Надо признаться откровенно, что победа правительства над революцией и революционерами есть вместе и наша победа.

— Не согласен! — буркнул Кобельков.

— Неужели и эту истину нужно разъяснять? — спросил Павел Николаевич, метнув недовольным взором на Кобелькова. — Если бы победа оказалась на стороне революционеров, то манифест 17 октября был бы уничтожен и заменен манифестом коммунистическим, Карла Маркса. Для того, кто исповедует веру Карла Маркса, победа правительства есть зло, но для нас, конституционалистов-демократов, эта победа — добро: она утвердила наше положение, и потому это наша победа, двойная победа — и над революцией, и над самодержавным правительством!

Оказалось, что и революционеры и прави-

тельство лили воду на нашу мельницу! Это вовсе не значит, что отныне мы с правительством сделались друзьями.

— Ага! — буркнул Кобельков.

— Помолчите, мусье Кобельков!..

— Реальная политика именно в том и заключается, чтобы удачно лавировать между всякими опасностями на пути и брать правильный курс в зависимости от политического момента и борющихся сил. Нужно уметь правильно делать ставку!

Чтобы выразить сущность реальной политики в грубом, но наглядном образе, я сравню ее с игрой на конских бегах. Прежде чем сделать «ставку», игрок должен взвесить все шансы действующих в состязании сил: какая лошадь и кто ее ведет? какая дистанция? И прочее... И вот пример: только кучка обманутых рабочих сделала ставку на ленинское вооруженное восстание, которое заранее было обречено на неудачу и разгром...

Мы — безусловные враги революционеров-социалистов и анархистов, но мы вовсе не друзья и с правительством, которое пока остается совершенно безответственным пе-

ред народом и его представителями. Сейчас у нас с правительством как бы временное перемирие. Мы не хотим мешать ему водворить порядок после революции, чтобы выборы в парламент и работа его совершались вне революционной орбиты. Но мы отлично знаем, что правительство, победив революционеров, попытается постепенно отобрать у нас все завоевания и превратить парламент в простую говорильню. Для такого политического диагноза имеется вполне достаточно данных.

Но, господа, политика имеет свое колесо, которое весьма опасно подвергать опытам обратного вращения. А иногда и прямо невозможно. От парламента никакими средствами правительство не избавится. Нам надлежит обратить его в крепость народоправства и уже исключительно на законных основаниях вести борьбу за расширение народных прав. Наша ставка — на весь народ, а ставка правительства в борьбе с нами — на реакционные силы...

Надо сознаться, эти силы все-таки весьма значительны, но в конце концов победит тот, кто поведет за собой крестьянство!

Это отлично сознают все борющиеся силы: в надежде на исконную верность и преданность царю со стороны мужика, Государственная дума построена таким образом, чтобы мужик там был хозяином. Наша партия тоже в первую очередь планирует широкую земельную реформу, насильственное отчуждение в пользу мужика земель государственных, удельных, монастырских и частновладельческих. Та же ставка и у социалистов-революционеров. Преимущество ставки последних заключается в том, что мы предлагаем передать мужику землю с выкупом по справедливой оценке, а революционеры-социалисты без всяких выкупов... Возможно, что тут наша ахиллесова пята...

Весь вопрос в том, кто первым сумеет осуществить историческое право мужика на землю, которую он обрабатывает в течение тысячелетия...

Если мы сумеем предупредить в законном порядке эту передачу земли народу, мы окажемся полными победителями и над всеми революционными партиями, и над самодержавием, хотя бы уже и ограниченным! Вот за

эту победу я и предлагаю, господа, выпить!

— Да здравствует республика! — выкрикнул ветеринар Кобельков, но его никто не поддержал.

Грохот аплодисментов, крики, визги, звон бокалов, поцелуи, женский смех. А Ваня Ананькин уже снова пустил граммофон с рупором, который орет, заглушая все шумы и крики, воинственную «Марсельезу»...

Кобельков вскакивает на стул и начинает петь «Марсельезу», дирижируя ножом. Остальные присоединяются.

Мимо дома проходит исправник, слышит доносящийся из бабушкиного дома марш революции, но... не знает: дозволено теперь или не дозволено петь «Марсельезу»? Ведь есть слух, что Милюкова приглашают в министры...

XIV

В то время как Павел Николаевич устраивал «буржуазные пироги», Максим Горький в благословенной Италии на сказочно-прекрасном острове Капри устраивал «пироги социалистические».

Если мы побывали на «пирогах буржуаз-

ных», почему бы нам не побывать и на «пирог-ах социалистических»?

После разгрома вооруженного восстания и начавшихся расправ карательных экспедиций все большевистские вожди, вперегонки друг за другом побежали спасаться в свободолюбивые государства. Максим Горький осел на Капри, в бывшей резиденции императора Тиверия[651], и под его гостеприимным кровом стали собираться все побежденные теоретики и практики всеобщей социальной революции.

Надо сказать, что московский разгром весьма-таки расхолодил и разочаровал многих из свиты Ленина, и прекрасная вилла Горького сделалась ристалищем бесконечных словесных схваток, вращавшихся около толкования текстов Карла Маркса и его пророков. Появились тайные уклоны[652] в ортодоксию, подвергались критике многие уже установленные пророком Лениным истины, переоценивалась тактика выступлений, особенно вооруженного восстания. Побывавший в гостях у Горького писатель Леонид Андреев [653] говорил, что на вилле Горького — как в

синагоге во время спора талмудистов[654]!.. Или как в хедере[655], когда все ученики, заткнув уши, зубрят вслух священные тексты! Шум и крики за версту от виллы слышны, а по ночам так над всем островом носятся...

Сам Максим Горький усомнился в друге и учителе: вооруженного восстания делать не следовало — если бы даже случайно удалось захватить власть, не было сил удержать ее в руках. Вместо ожидаемого подъема революционного духа получился разгром и упадок...

Так было до приезда на Капри самого вождя и пророка Ленина. Как только он появился на вилле, все ворчуны, не исключая Горького, притихли. Точно расшалившиеся школьники при появлении строгого учителя. Все предполагали, что увидят вождя печальным, задумчивым, а тот как именинник!

Физиономия, совершенно не соответствующая историческому моменту. И вообще нисколько не похож на побежденного: в глазках сверкает обычный хитроватый иронический огонек, потирает руки, как делают довольные чем-нибудь люди, подшучивает над Луначарским и даже над Горьким.

Первому сказал:

— Ну, как действует ваш желудок после Московского вооруженного восстания?

А Максиму Горькому:

— Буревестник-то ваш просто курицей оказался!

Максим Горький повел плечом и пососал рыжий ус, соорудив весьма неопределенную улыбку. Он вообще умел строить глубокомыслие на лице своем, рождавшее в окружающих уверенность, что в этой гениальной голове всегда тайно возникают великие мысли, но только не хотят вылезать оттуда на потребу простым смертным.

Заюлил около Ленина вездесущий Вронч-Вруевич, чувствовавший себя виноватым: он дал информацию о том, что московский гарнизон, по его сведениям, исходящим от его родного брата, военного [656], примкнет к восстанию, а этого не произошло.

Опять поодиночке подходили и словно исповедовались в грехах своих одолеваемые сомнениями «товарищи». Одних Ленин выслушивал с хитроватой снисходительной улыбкой, других — с нахмуренным челом и да-

же раздражением, а были и такие, от которых он отделялся утвердительным или отрицательным кивком головы...

Где же пироги? Пили чай, вино, ели фрукты, бутерброды... Вместо пирога был доклад вождя по вопросам текущего момента и пересмотру программной тактики.

И опять, как когда-то в Финляндии, сперва было похоже, будто докладчик — обвиняемый, а все прочие — присяжные заседатели и судьи, а потом этот обвиняемый превратился незаметно в оправданного и сам начал напоминать то прокурора, то красноречивого защитника, то вещего пророка...

— Многие из вас называют Московское вооруженное восстание нашим разгромом. Неужели я такой дурак, который надеялся на победу этого восстания? Я заранее шел на это поражение. Мне необходим был этот первый опыт, чтобы не идти впредь ощупью. Ведь Маркс нам не оставил практического руководства, военной тактики при гражданской войне. Это был только опыт, первая репетиция социальной революции. Значение этого опыта громадно. И не только в смысле техни-

ческой подготовки к гражданской войне, а главным образом именно своей поучительной неудачей. Идеология — это одно, а война с буржуазией — другое. Тут мы должны отбросить идеологию ко всем чертям и действовать только как реальные политики. Еще и теперь, даже среди нас, коммунистов, немало таких, которые были твердо уверены, что наша классовая пролетарская победа может быть достигнута одним классом рабочих. Кровавым московским опытом я хотел искоренить это вредное заблуждение идеологической ортодоксии. Карл Маркс был великий теоретик, но, живи он с нами, он сделал бы сотни поправок к своим текстам. Теперь, после Московского восстания даже коммунистический идиот должен согласиться, что произвести в России социальную революцию силами одного рабочего класса невозможно... Вот в чем главное значение нашего московского поражения. Это случайный эпизод в процессе нашей борьбы, ценный для будущей победы.

Один рабочий не победит. Он победит только вместе с мужиком. Там, где на полтора миллиона только пять тысяч рабочих,

смешно и глупо во имя Марксовой идеологии игнорировать миллионы крестьянства. Это до такой степени очевидно, что даже самодержавие стало цепляться за мужика, как и идеологи мелкой буржуазии, эсеры. И нам, товарищи, без мужика тоже не обойтись. Я уже это несколько раз в частных беседах высказывал, а теперь ставлю в основу пересмотра нашей аграрной программы... Мы должны во что бы то ни стало отвоевать симпатии мужика у эсеров... И мы должны мешать всем врагам нашим свершить аграрную реформу и тем отнять у нас самое могущественное оружие — мужика. Представьте себе, что Государственная дума разрешит земельный вопрос и хоть отчасти удовлетворит историческую жадность мужика к земле! — На другой же день наше дело проиграно! Перед нами твердая несокрушимая стена многомиллионной мелкой буржуазии... История показала, что самодержавие, опирающееся на земельную аристократию, неспособно на этот подвиг, но буржуазная интеллигенция, поскольку она обезземелена и деклассирована, будет стремиться к этому. Тут призрак опасности имеет-

ся... но только призрак! Государственная дума построена на доверии главным образом к земельному дворянству, сильно разбавленному безгласным мужичком. Ну, а земельное дворянство не так скоро пойдет на подарок народу!

Пусть все они — и царь, и правительство, и буржуи из Государственной думы — остаются в спокойной уверенности, что революция побеждена и окончилась их победой. Пусть почивают на лаврах и упражняются в красноречии!

Революция, как река, ушла под землю, стала незримой, но лишь для того, чтобы, пробежав невидимо на известном протяжении, вырваться с новой силой движения на свет и волю. Так уже случалось. Загнали внутрь и успокоились. Но мы утверждаем, что революция живет, и продолжается, и должны не покладая рук продолжать свою работу. Мы превратим Государственную думу в нашу свободную кафедру и начнем говорить через головы буржуев со всем пролетариатом, а между прочим и с нашими мужичками...

Само собой разумеется, что мужик есть

обыкновенный мелкий буржуй и совсем нам не товарищ в борьбе за всемирную социальную революцию. Но мы небрезгливы: мужик — прекрасная дубина, которой можно бить по головам буржуазии...

Не из буржуазной жалостливости к мужичку, не из слащавой сентиментальности народников мы бросим мужику землю! Нет. На, жри твою землю, а с ней пожирай и земельную буржуазию! Необходимо всеобщее крестьянское восстание, а потому нашим лозунгом должно быть: конфискация всех земель крестьянскими комитетами и непременно до *Учредительного* собрания, ибо, если Учредительное собрание даст землю, мужик не пойдет за нами...

Воспользовавшись мужицкой жадностью к земле, мы поведем мужика на своем поводе, и мужик расчистит путь для будущей диктатуры пролетариата!

Ленин глотнул воды из стакана и продолжал уже в повелительном тоне:

— Но не забывайте, что мужик лишь условный друг наш до поры до времени. Роль его исчерпывается расправой с помещиками

и захватом земель в масштабе всеобщего мужицкого бунта. Помните, что крестьянство — не тот класс, который призван свершить социальную революцию. Мы будем поддерживать мужицкие аппетиты лишь до времени, когда диктатура пролетариата встанет на свои ноги. А потому пусть организуются особые пролетарии города и деревни. Не доверяйте никаким хозяйчикам, хотя бы и мелким. Чем дело будет ближе к победе мужицкого восстания, тем явственнее будет обнаруживаться поворот крестьян против пролетариата. И неизбежно наступит момент, когда нам придется вести новую войну с этим мелким буржуем!

Вот, товарищи, та поправка в идеологии и в технике, которую помогло нам сделать Московское вооруженное восстание. Я думаю, что оно стоило пролитой крови, как стоило пролитой крови и Кровавое воскресенье 9 января 1905 года, ибо оно помогло массам стряхнуть веру в богоизбранность помазанника Божьего Николая II...

Не верьте, что гроза кончилась. Буржуазное солнышко выглянуло, но ненадолго. Меж-

дународные капиталистические столкновения грозят войной. Крестьяне могут прервать молчание новыми бунтами заземлю. Готовьтесь к последнему бою! Он не за горами.

Пока я ограничусь сказанным. Завтра, товарищи, мы приступим к пересмотру нашей глупой аграрной программы.

Надо спешно перестраиваться... лицом к мужичку! Хе-хе-хе...

И вся вилла Горького следом за Ильичом захихикала змеиным шипом, а потом взорвалась громом оваций своему вождю и пророку...

План Великого провокатора созрел. Готовился чудовищный обман великого и несчастного русского народа.

Русский народ должен был по этому плану собственными руками вырыть яму самому себе и на своих костях выстроить интернациональный храм социализма...

Не скрывал своего заговора Великий провокатор: он напечатал этот чудовищный план в своей статье «Пересмотр аграрной программы»[657], выпущенной в свет в 1906 году.

Разве не правда, что главная победа дьявола заключалась в том, что в него перестали верить?

Все умеющие читать наперед знали о планах Великого провокатора, но никто не закричал о великой угрозе национальному бытию русского народа, никто из слепых вождей его не помешал этому заговору. Великого провокатора пустили в Россию и дали ему возможность повести за собой слепой народ и предать его, как Иуда Христа, на пропятие [658] во славу III Интернационала.

Евгений Чириков. Прага. 1930 г.

Иллюстрации



**И. Н. Ульянов — отец В. И. Ленина.
1860-е гг.**

**М. А. Ульянова — мать В. И. Ленина.
1863 г.**



Владимир Ульянов. 1887 г.



Александр Ульянов. 1883 г.



Император Александр II



Н. И. Кибальчич



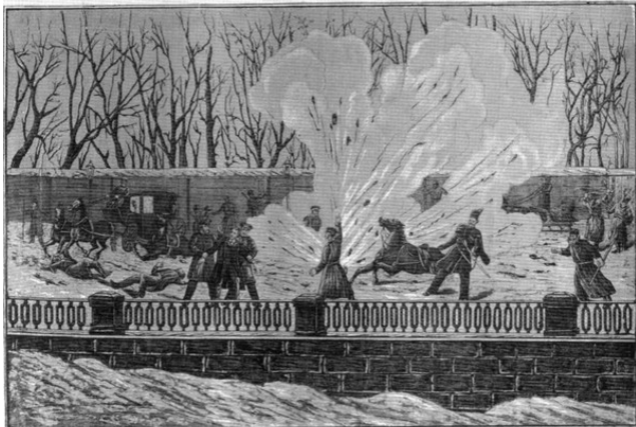
В. И. Засулич



С. Л. Перовская



Войска, отправляющиеся на фронт в Маньчжурию. 1905 г.



Взрывъ второго снаряда. Событие произошло 13 марта 1881 г. вблизи деревни Копенъ, близъ Варшавы. Рисунокъ А. Давидова.

ЗЛОДѢЙНОЕ ПОКУШЕНІЕ НА СВЯЩЕННУЮ ОСОБУ ВЪ БОЗЬ ПОЧИВШАГО

ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА



Порт-Артур. 1904 г.

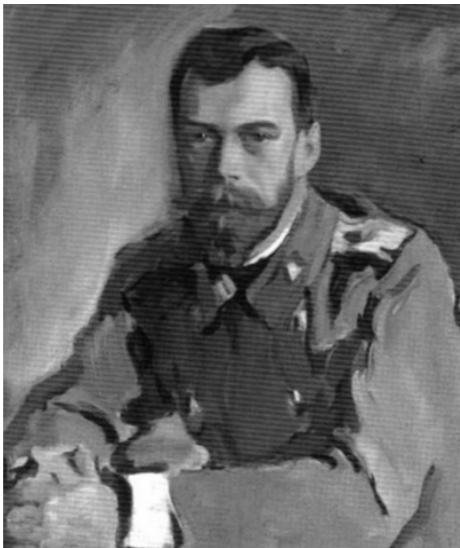


Группа рабочих у Путиловского за-
вода. СПб. 9 января 1905 г.
Георгий Гапон





**Кавалеристы у Певческого моста за-
держивают шествие к Зимнему
дворцу. 9 января 1905 г.
Николай II. Портрет работы В. А. Се-
рова**



К. П. Победоносцев



С. Ю. Витте



В.К. фон Плеве



М. Горький. Капри. 1913 г.



**Портрет Е. Н. Чирикова работы
И. Е. Репина. 1906 г.**



Москвичи на месте убийства московского генерал-губернатора великого князя Сергея Александровича. Февраль 1905 г.



Евно Азеф



**Дача П. А. Столыпина после взрыва.
СПб., Аптекарский остров. 12 августа
1906 г.**



Н. К. Крупская



В. И. Ленин



Е. К. Брешко-Брешковская



В. Д. Бонч-Бруевич



Е. Н. Чириков. Рисунок И. Я. Билибина. 1919 г.



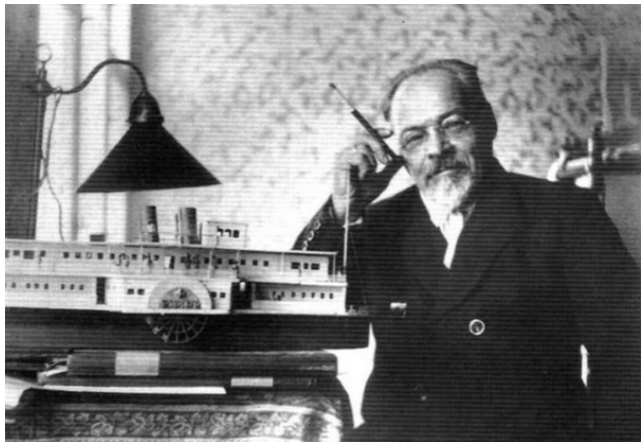
Е. Н. Чириков с сыном Георгием и дочерью Валентиной. Прага. 1922 г.



Семья Чириковых: слева направо — Валентина Евгеньевна Чирикова, Евгений Николаевич Чириков, Георгий Евгеньевич Чириков, Валентина Георгиевна Чирикова, Новелла Евгеньевна Чирикова. В центре — Наталья (Туся), дочь Новеллы. *Вшеноры (близ Праги), вилла «Тэтка». 1923 г.*



Е. Н. Чириков в своем кабинете, где он работал над романом «Отчий дом», с моделью ходившего по Волге парохода «Боярин», сделанного



им самим. 1925 г.

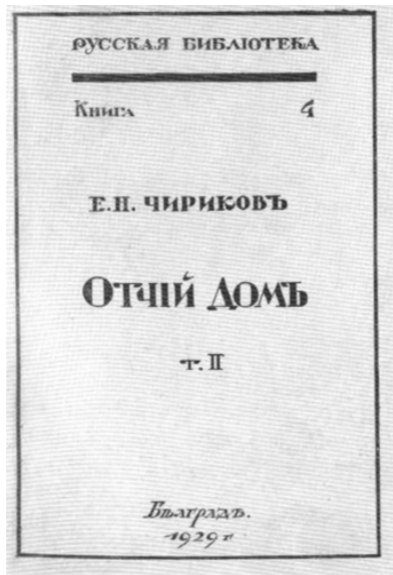
Е. Н. Чириков (крайний справа) среди прихожан домово́й русской православной церкви в Профессорском доме. Прага. 1928 г.



На приеме у премьер-министра Чехословакии Карела Крамаржа после вручения Е. Н. Чирикову королем Югославии ордена Св. Саввы 2-й степени на съезде зарубежных русских писателей и журналистов в Белграде в 1928 г.



**Обложка первого издания романа
Е. Н. Чирикова «Отчий дом» на рус-
ском языке. *Белград. 1929 г.***



**Титульный лист пражского издания
книги Е. Н. Чирикова «Отчий дом».
Прага. 1931 г.**

E. N. ČIRIKOV

OTCOVSKÝ DŮM

ROMÁN

PŘELOŽIL A. NESSY

КНИГА I.



1931

Е. Н. Чириков в имени Розкош (Южная Моравия. Чехословакия), где писатель работал на третьем томе романа «Отчий дом». Лето 1929 г.



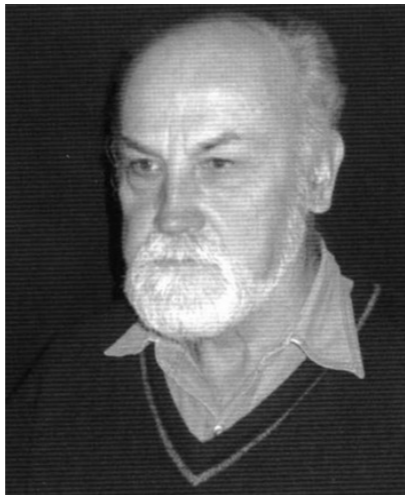
Е. Н. Чириков с внуками Гулей, Тусей и Алешей в Моравском лесу. Розкош. Лето 1929 г.



Е. Н. Чириков в окрестностях имения Розкош с семьей: 1-й ряд: дочь писателя Валентина Евгеньевна с дочкой Гулей (Валентиной), Е. Н. Чири-



ков, внуки писателя Туся (Наталья) и Алеша. 2-й ряд: сноха Е. Н. Чирикова Вера Константиновна Чирикова, жена писателя Валентина Георгиевна Чирикова, дочь писателя Новелла Евгеньевна (мать Туся и Алеши). Евгений Евгеньевич Чириков (внук)



Евгений Николаевич и Валентина Георгиевна Чириковы. Прага. 1930 г.



Потомки Е. Н. Чирикова. *Нижний Новгород*. 1983 г. Первый ряд: Майя Евгеньевна Чирикова (внучка), Евгений Николаев (правнук), Валентина



Евгеньевна Чирикова-Ульянищева (дочь), Татьяна Дорецкая (правнучка), Ирина Васильевна Николаева (урожд. Ульянищева) Второй ряд: Михаил Александрович Чириков (внук), Анна Николаевна (правнучка), Валентина Георгиевна (Гуля) Чирикова (внучка)
Могила Е. Н. Чирикова. Прага. Ольшанское кладбище



Примечания

Чириков Е. Н. Зверь из бездны / Вступ. статья, составл., подгот. текста и примеч. М. В. Михайловой. СПб... 2000.

[^^^]

Чириков Е. Н. На путях жизни и творчества:
отрывки воспоминаний // Лица. М.; СПб., 1993.
Вып. 3. С. 345.

[^^^]

Там же. С. 367.

[^^^]

Подробнее см.: *Михайлова М. В.* Еврейская тема в творчестве Е. Н. Чирикова и «чириковский инцидент» // Параллели: русско-еврейский историко-литературный альманах. М., 2003. № 2–3.

[^^^]

Чириков Е. Н. На путях жизни и творчества:
отрывки воспоминаний. С. 368.

[^^^]

Там же. С. 372.

[^^^]

См.: *Попов К.* «Война и мир» и «От двуглавого Орла к Красному знамени» (В свете наших дней). Париж, 1934.

[^^^]

Чириков Е. Н. На путях жизни и творчества:
отрывки воспоминаний. С. 345.

[^^^]

Чириков Е. Н. Отчий дом. Белград, 1929–1931.
Т. I.

[^^^]

Чириков Е. Н. На путях жизни и творчества:
отрывки воспоминаний. С. 368.

[^^^]

А.Б. (Богданович А. И.) Критические заметки // Мир Божий. 1900. № 4. С. 6.

[^^^]

Чириков Е. Е. Об авторе. *Е. Н. Чириков* // *Чириков Е. Н. Зверь из бездны.* Минск, 2000. С. 349.

[^^^]

Чириков Е. Н. На путях жизни и творчества:
отрывки воспоминаний. С. 367.

[^^^]

Письмо Е. Н. Чирикова к Л. Н. Толстому // Вопросы литературы. 1989. № 2. С. 281.

[^^^]

Чириков Е. Н. Зверь из бездны. СПб.,
200 °С. 496–497.

[^^^]

Там же. С. 529.

[^^^]

Чириков Е. Н. Мой роман. Париж, 1926. С. 111.

[^^^]

Чириков Е. Н. О душе народа// Чириков Е. Н. Красота Ненаглядная. Берлин, 1924. С. 15.

[^^^]

Там же. С. 17.

[^^^]

Чириков Е. Н. О душе народа С. 25.

[^^^]

См.: *Осоргин М.* Отчий дом // Последние новости. 1929. № 2941 11 апр. С. 3.

[^^^]

См.: *М.Г.* (Гофман) Е. Н. Чириков. Отчий дом. Т. 1 // *Руль*. 1929. № 2556. 24 апр. С. 4.

[^^^]

См.: *Осоргин М.* // Последние новости. 1929. 11 апр.; *М.Г. (Гофман)* // Руль. 1929. 24 апр.; *П. Трб. (П. Пильский)*//Сегодня. 1929. 13 апр.

[^^^]

См.: *Бобырь Ал.* К истории одной полемики//
Вопросы литературы. 1995. № 3. С. 326–335.

[^^^]

Письмо Е. Н. Чирикова дочери Людмиле (8 июня 1831 г.) // Архив В. Г. Чириковой.

[^^^]

Анненский И. Ф. Драма на дне // Анненский И. Ф. Книги отражений. М., 1997. С. 73. 72.

[^^^]

Чириков Е. Н. О душе народа. С. 6.

[^^^]

Впервые — *Чириков Е.* Отчий дом. Семейная хроника. Белград, 1929–1931. Т. 1–5. Печ. по этому изданию. В России публикуется впервые.

Текст печатается в соответствии с современной орфографией. Авторские орфография и пунктуация сохранены в тех случаях, где они отражают стиль Е. Н. Чирикова и орфоэпические нормы языка различных слоев общества конца XIX — начала XX в.

[^^^]

Реплика из пьесы Л. Толстого «Плоды просвещения» (действ. 1, явл. 26). Прав.: «Земля малая, не то что скотину, — куренка, скажем, и того выпустить некуда».

[^^^]

Имеется в виду основное здание Петергофского дворцово-паркового ансамбля в Петродворце. Первоначально сооружен в 1714–1725 гг. в стиле «петровского барокко» (проект И. Браунштейна, Ж. Б. Леблона, затем Н. Микетти), в 1745–1755 гг. перестроен архитектором Ф. Б. Растрелли в стиле зрелого барокко. За образец был взят Версаль.

[^^^]

Бельведер — архитектурное украшение: башенка на здании; павильон, беседка на возвышенном месте.

[^^^]

Публий Овидий Назон (43 до н. э. — 17 н. э.) — римский поэт, автор любовных элегий и поэм «Метаморфозы» и «Искусство любви», изобилующих откровенными эпизодами (в «Метаморфозах» повествуется о различного рода мифических превращениях, начиная с создания мира из хаоса и заканчивая мифом о превращении Юлия Цезаря в звезду). Из-за несоответствия пропагандируемых им идеалов любви официальной политике императора Августа в отношении семьи и брака Овидий был сослан в западное Причерноморье, где и провел последние десять лет жизни.

[^^^]

Из поэмы А. С. Пушкина «Руслан и Людмила» (1817–1820), песнь первая. Строки представляют собой перевод одной из «поэм Оссиана» английского писателя Джеймса Макферсона (1736–1796).

[^^^]

Обыгрывается статность, царственность, свойственные облику Екатерины II, величественность которой была запечатлена на портретах В. Л. Боровиковского, Ф. С. Рокотова, А. П. Антропова, Ф. Эриксона.

[^^^]

А. С. Пушкин. «Друзьям» (1828).

[^^^]

III Отделение — одно из пяти отделений Собственной Его Императорского Величества Канцелярии, соединенное в 1827 г. с корпусом жандармов. Занималось сыском и следствием по политическим делам, осуществляло цензуру, боролось с отступлениями от православной ортодоксии (старообрядчество, сектантство), расследовало дела об отношениях помещиков и крестьян и т. д.

[^^^]

«Из страны, страны далекой» — популярная студенческая песня XIX в. Слова Н. М. Языкова (1827), музыка А. А. Алябьева (1839). В студенческой среде первоначальный авторский текст значительно изменился и наполнился новым — революционным — содержанием.

[^^^]

«Быстры, как волны, дни нашей жизни» — популярная студенческая песня XIX в. (переработка песни студента-медика А. Серебрянского «Вино»).

[^^^]

«Укажи мне такую обитель, где бы русский мужик не страдал». — Н. А. Некрасов. «Размышления у парадного подъезда» (1858).
Прав.: «...где бы русский мужик не стонал».

[^^^]

Н. А. Некрасов. «Сеятелям» (1877): «Сейте разумное, доброе, вечное, / Сейте! Спасибо вам скажет сердечное / Русский народ».

[^^^]

Чириков точно уловил часто встречающееся в России соединение несоединимого. На это указывали многие мыслители конца XIX в. Ср.: характеристика Энгельсом России, данная в письме к Плеханову в 1895 г.: «...в такой стране, как ваша, где современная, крупная промышленность привита к первобытной крестьянской общине и где одновременно представлены все промежуточные стадии цивилизации, в стране, к тому же окруженной более или менее прочной интеллектуальной китайской стеной, возведенной деспотизмом, не приходится удивляться возникновению самых невероятных и причудливых сочетаний идей...» (Маркс К., Энгельс Ф. Об искусстве. М., 1957. Т. 1. С. 549).

[^^^]

В Чигиринском уезде Киевской губернии в 1877 г. произошла неудачная попытка группы народников поднять крестьянское восстание. Когда в 1875 г. там происходили волнения государственных крестьян, инициаторы Чигиринского заговора Я. В. Стефанович, Л. Г. Дейч, И. В. Бохановский, С. Ф. Чубаров пытались использовать эти волнения для организации местного бунта. Но заговор был раскрыт, а Стефанович, Дейч, Бохановский, которым угрожала смертная казнь, в 1878 г. бежали до суда из Киевской тюрьмы.

[^^^]

Литография — способ печати, при котором краска под давлением переносится с плоской печатной формы на бумагу.

[^^^]

«Колокол» — первая русская революционная газета, издававшаяся А. И. Герценом и Н. П. Огаревым в 1857–1867 гг. сначала в Лондоне, потом в Женеве. Пользовалась огромным влиянием в передовых кругах русского общества.

[^^^]

Пусть земля будет тебе пухом... *(лат.)*

[^^^]

Карамзин Николай Михайлович (1766–1826) — историк-историограф, писатель, поэт, почетный член Петербургской Академии наук (1818), создатель двенадцатитомной «Истории государства Российского» (1803–1826) — одного из первых обобщающих трудов по истории России, основоположник русского сентиментализма («Письма русского путешественника», «Бедная Лиза» и др.).

[^^^]

«Кающийся дворянин», «критически мыслящая личность», «долг перед народом». — Традиционный набор народнических формул.

[^^^]

...перед «станам погибавших за великое дело любви». — Из поэмы Н. А. Некрасова «Рыцарь на час» (1862). Поэт подразумевал репрессии, которые обрушиваются на революционеров, призывающих народ к борьбе.

[^^^]

Политический «Красный Крест» — общее название ряда нелегальных организаций конца XIX — начала XX в., оказывавших помощь политзаключенным и ссыльным. Первая подобная организация была создана в Петербурге в середине 1870-х гг. Л. И. Корниловой-Сердюковой, Л. В. Синегуб и В. Н. Фигнер с целью поддержки связей с арестованными участниками «хождения в народ», содержащимися в Доме предварительного заключения и других тюрьмах Петербурга. В 1881 г. по инициативе народовольца Ю. Н. Богдановича образовано «Общество Красного Креста Народной воли», которое поддерживало связи и оказывало помощь революционерам, содержащимся в тюрьмах Петербурга и сосланным в Сибирь и другие отдаленные губернии. С конца 1890-х гг. в Петербурге действовала межпартийная организация политического «Красного Креста» («Общество помощи политическим ссыльным и заключенным»), руководящая роль в которой принадлежала социал-демократам. Средства политического «Красного

Креста» складывались из доходов от благотворительных концертов, литературных чтений и различных вечеров, а также добровольных сборов среди студенчества и интеллигенции.

[^^^]

Перовская Софья Львовна (1853–1881) — революционерка-народница, член «Земли и воли», исполнительного комитета «Народной воли», инициатор «хождения в народ», организатор и участница покушений на Александра II. Повешена по делу 1 марта.

[^^^]

А. С. Пушкин. «Евгений Онегин» (VII, X)

[^^^]

М. Ю. Лермонтов. «Бородино» (1837).

[^^^]

Иосиф в библейской мифологии любимый сын ветхозаветного патриарха Иакова и Рахили, был продан братьями в рабство. О его красоте свидетельствует попытка соблазнения его женой египетского царедворца Потифара (в другом варианте — Пентефрия), который был его хозяином. После многих злоключений Иосиф очутился в Египте, где стал правителем.

[^^^]

См.: Мф. 7,21. Не всякий говорящий Мне: «Господи! Господи!», — войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного.

[^^^]

Любимая французская поговорка К. Маркса, в точном переводе звучащая так: «Даже самая прекрасная девушка Франции может дать только то, что у нее есть». См.: *Маркс К., Энгельс Ф.* Собр. соч. 2-е изд. С. 441.

[^^^]

Имеется в виду сказка М. Е. Салтыкова-Щедрина «Премудрый пискарь» (1883). Намек на трусость и политическое бессилие либералов, прикрывающихся словами о здравом смысле и вреде общественных потрясений.

[^^^]

4 апреля 1866 г. в Александра II стрелял член кружка Н. А. Ишутина Д. В. Каракозов. 25 мая 1867 г. в Париже в Александра выстрелил польский эмигрант Антон Березовский, но промахнулся; 2 апреля 1879 г. в Петербурге в царя стрелял А. К. Соловьев; 19 ноября 1879 г. была предпринята попытка взрыва императорского поезда под Москвой; 5 февраля 1880 г. С. Халтурин организовал взрыв в Зимнем дворце. Александр II скончался в результате покушения, совершенного в Петербурге 1 марта 1881 г. членами «Народной воли».

[^^^]

По легенде, так звучал обращенный к Христу возглас смертельно раненного в сражении с персами римского императора Юлиана Отступника (331–363), который, отказавшись от принятого ранее в качестве государственной религии христианства (презрительно называл его «галилейством» — по названию провинции Галилея, откуда происходил Иисус), предпринял попытку вернуться к традиционному римскому многобожию. Этими словами А. И. Герцен закончил свой панегирик Александру II «Через три года» (*Герцен А. И. Собр. соч.: В 30 т. Т. 13. С. 197; впервые — Колокол. 1858. № 9).*

[^^^]

Суд над главой террористической организации «Народная расправа» С. Г. Нечаевым и 77 ее членами, обвинявшимися в подготовке заговора с целью свержения монархии, проходил с 1 января по 11 сентября 1871 г. Ложно обвиненный в предательстве студент Петровской земледельческой академии И. И. Иванов был убит С. Нечаевым при участии П. Г. Успенского (1847?-1881), А. К. Кузнецова, И. Г. Прыжова, Н. Н. Николаева. Успенского приговорили к ссылке в Сибирь сроком на 15 лет. Там он был повешен товарищами по подозрению в шпионаже, однако впоследствии товарищеским судом был оправдан.

[^^^]

Михайловский Николай Константинович (1842–1904) — идеолог народничества, социолог, публицист, литературный критик.

[^^^]

Лорис-Меликов Михаил Тариелович (1825–1888) — государственный деятель, граф, фактически руководил военными действиями на Кавказе в 1877–1878 гг. Будучи министром внутренних дел в 1880–1881 гг., занимал позицию жесткого преследования революционеров, одновременно делая уступки либералам.

[^^^]

Ерошкин Виктор Васильевич (1850–1908) — сын действительного статского советника, учился в Московском университете, математик, изобретатель. Живя в 1875 г. в Москве, занимался книжной торговлей, снабжал сельские школы книгами, в том числе высылая и запрещенные издания, а также устраивал в своей квартире «съезды» сельских учителей, неоднократно устраивал различные хозяйства на артельных началах, рабочими и приказчиками на которых состояли политически неблагонадежные лица. Поддерживал связь с Л. Н. Толстым, последователем которого считал себя. В конце 1880-х гг. на принадлежавшем ему хуторе «Криница» (Черноморский округ) организовал из бывших народовольцев толстовскую общину. В 1890 г. переселился в Пензу, где служил директором писчебумажной фабрики братьев Сергеевых, занимался педагогической деятельностью. Завершил свою жизнь в Петербурге.

Лавров Петр Лаврович (1823–1900) — социолог, философ, публицист, один из идеологов революционного народничества. Участник освободительного движения 60-х гг. Большой популярностью среди революционной молодежи пользовались его «Исторические письма» (1868–1869). В эмиграции с 1870 г. Свои сочинения обычно подписывал псевдонимом Миртов.

[^^^]

Ульянов Александр Ильич (1866–1887) — участник революционного движения, старший брат В. И. Ленина, организатор неудачного покушения на Александра III 1 марта 1887 г. (повешен в Шлиссельбургской крепости). Им была создана «программа террористической фракции партии Народной воли», необходимой для «обеспечения политической и экономической независимости народа и его свободного развития», имевшая следующие пункты: «постоянное народное правительство, выбранное свободно прямой и всеобщей подачей голосов», «широкое местное самоуправление», «самостоятельность общины как экономической и административной единицы», «полная свобода совести, слова, печати, сходок и передвижений», «национализация земли, фабрик, заводов и орудий производства», «замена постоянной армии земским ополчением», «бесплатное начальное обучение».

Ин. 15.13 (Ср.: Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за други своя).

[^^^]

Прот. Дмитрием Соколовым был создан «Иллюстрированный Закон Божий для детей», который содержал рассказы из Священного Писания, объяснения молитв, краткое учение о богослужении и т. п.

[^^^]

По преданию, иудейский пророк Иона получил от Бога повеление идти в Ниневию с проповедью покаяния ее жителям, но не последовал велению, а поплыл на корабле в Фарсис. В пути разыгралась сильная буря, и мореплаватели, желая узнать, за чьи грехи они навлекли на себя гнев Божий, бросили жребий, который указал на Иону. Сознавшись в неповиновении Богу, Иона попросил бросить его в море (что и было исполнено), где он был проглочен китом и провел в его чреве три дня и три ночи, а затем невредимым очутился на берегу и, вторично получив Божье приказание, отправился в Ниневию (Мф. 12, 39–41).

[^^^]

Имеется в виду «Процесс 1-го марта 1881 года» — стенографический отчет о заседании Правительствующего Сената стал легально издаваться только с 1906 г.

[^^^]

Кибальчич Николай Иванович (1853–1881) — революционер-народник, член «Земли и воли», агент исполкома «Народной воли», организатор типографии и динамитной мастерской, разрабатывал проект реактивного летательного аппарата (его считают предшественником К. Э. Циолковского). Готовил взрыв царского поезда в Одессе (изобретал запалы, нитроглицериновый «гремучий студень», доставлял взрывчатку в Одессу, рассчитывал последствия взрыва), готовил динамит для взрыва в Зимнем дворце, обучал бомбистов обращению с разработанным им снарядом для нового покушения на Александра II. Была надежда, что его осудят пожизненно с тем, чтобы он мог продолжать заниматься изобретательством, но она не осуществилась: он был повешен вместе с «первомартовцами».

[^^^]

Вероятно, Чириков имел в виду партийный журнал «Народная воля» (1879–1885), издававшийся за границей (вышло всего 12 номеров). Организация же «Молодая народная воля» просуществовала всего два года, возглавлялась П. Ф. Якубовичем. Она встала в оппозицию к центру, защищая автономию в партии, отстаивала аграрный и фабричный террор. Но после переговоров с молодежью целостность организации была восстановлена.

[^^^]

Мужская прическа, в которой волосы зачесаны на прямой пробор и по обе стороны от него уложены маленькими плоскими полукружьями.

[^^^]

...«*На Тя, Господи...*» — Кафизма четвертая,
псалом Давиду 24.

[^^^]

Не удалось установить, из какого произведения приведены слова.

[^^^]

Поддевка — мужская верхняя одежда в талию, с мелкими сборками.

[^^^]

Подразумевается отрицание Толстым смертной казни, которую писатель считал формой убийства намного хуже, чем просто убийство из-за страсти или по другим личным поводам. Во многих своих статьях Толстой рассуждал о том, может ли существовать «узаконенное» право на убийство, и приходил к выводу, что такое право несовместимо с моралью и разумом.

[^^^]

В марте 1881 г. Л. Н. Толстой обратился в письме к вступившему на престол Александру III, призывая царя «отдать добром на зло» и помиловать революционеров, совершивших покушение на его отца. Однако участники покушения на Александра II были казнены.

[^^^]

В этом трактате (1884) были изложены основы «толстовства», так было названо оппонентами нравственно-религиозное, идейно-философское учение Л. Толстого, главным постулатом которого являлся тезис о непротавлении злу насиллем.

[^^^]

Чириков не совсем точен. То, что происходило на страницах русской прессы, было серьезным обсуждением, а не единодушной обструкцией. Против Толстого выступили в первую очередь религиозные деятели (см.: *Антоний, иеромон.* О нравственном превосходстве православного понимания Евангелия сравнительно с учением Л. Толстого // *Церковный вестник.* 1888. № 32–37; *Остроумов М.* Наши новые «философы и богословы» — граф Лев Николаевич Толстой // *Вера и Разум.* 1885. № 2; 1886. № 2; 1887. № 1). На защиту Толстого поднялось «Русское богатство» и его ведущий критик Л. Е. Оболенский, опубликовавший цикл статей, в который вошли, например, «К вопросу о насилии» (1886. № 5–6); «Мораль и социальные взгляды Л. Толстого. Критический этюд» (1886. № 10); «Русская мысльбоязнь и критика Льва Толстого» (1886. № 8). Также взвешенно отзывались о трактате Толстого Вл. Соловьев в журнале «Русь» (Заметка по поводу новых христиан «Наши новые христиане» и т. д. К. Леонтьева. М. 1882. № 9) и Л. Сло-

нимский в «Вестнике Европы» (Философия гр.
Л. Толстого — 1886. № 4; Новые теории гр.
Л. Толстого — 1886. № 8).

[^^^]

Н. А. Некрасов. «Рыцарь на час» («От ликующих,
праздно болтающих, / Обагривших руки
в крови, / Уведи меня в стан погибающих / За
великое дело любви»).

[^^^]

В русских исторических источниках поведение гетмана Левобережной Украины Ивана Степановича Мазепы (1644–1709) трактуется как измена (он был сторонником выхода Украины из состава России, вел тайные переговоры с польским королем Станиславом Лещинским, а затем со шведским королем Карлом XII, на сторону которого перешел открыто вместе с вооруженными отрядами казаков в 1708 г. В Полтавской битве воевал на стороне шведов. После поражения бежал в турецкую крепость Бендеры, где и скончался. Здесь имя употреблено именно в смысле предательства.

[^^^]

Мф. 6, 26: «Взгляните на птиц небесных, они не сеют, не жнут, не собирают в житницу; и Отец ваш Небесный питает их».

[^^^]

Речь идет о так называемых крестьянах-дарственниках, получивших в результате реформы 1861 г. дарственные наделы. Такие наделы размером не менее $\frac{1}{4}$ высшего надела для данной местности, предусмотренного по Положениям 19 февраля, предоставлялись крестьянам безвозмездно по соглашению с помещиками.

[^^^]

Крестьянский поземельный банк (учрежден в 1882 г.) выдавал крестьянам кредиты на покупку земель.

[^^^]

Государственный *Дворянский* земельный банк учрежден в 1885 г., выдавал ссуды помещикам на льготных условиях под залог земли.

[^^^]

Свияга — правый приток Волги.

[^^^]

Такое обращение свойственно именно волжанам. Сам Чириков задумал в середине 1910-х гг. создать трехтомную эпопею, каждая из частей которой должна была иметь свое название: «Волжские сказки» (1916), «Волга-кормилица» и «Волга-матушка». Две последних части, которые должны были содержать рассуждения об экономическом значении реки и рассказы об ее этнографии, так и не были написаны.

[^^^]

Медаль «За полезное» была учреждена в декабре 1801 г. специально для награждения купцов за различные заслуги перед государством в области торговли и крупные пожертвования в казну. Медаль вручалась на шейной ленте орденов Св. Анны, Св. Александра Невского или Св. Владимира, в зависимости от заслуг награждаемого. Иногда по особому распоряжению императора эта медаль украшалась алмазной и бриллиантовой осыпью.

[^^^]

Писатель передал герою свою привязанность. Он так обращался к этой невзрачной птахе: «О, прекрасный лирик лесов! Слушаю я тебя в тишине тихого утра, и такое чувство рождается в душе моей, словно я после долгих и тщетных исканий нашел, наконец, что было нужно: красоту, правду и радость в природе, отражение их в душе чрез безмолвное, кроткое созерцание...» (Волжские сказки. Собр. соч. Т. 16. М., 1916. С. 279).

[^^^]

Алякринские — широко распространенная семинарская фамилия (от лат. аляцер, род. падеж алякрис — бодрый). Установить, о ком идет речь, не представляется возможным, однако в 1880-е гг. был известен политически неблагонадежный Сергей Алякринский, впоследствии ставший поэтом.

[^^^]

Поход Степана Разина (ок. 1630–1671), носивший открыто антиправительственный характер, начался в 1670 г. и охватил территорию от низовьев Волги до Нижнего Новгорода и от Слободской Украины до Заволжья. В нем принимали участие крепостные крестьяне, казачество, посадское население, мелкое служилые люди, а также разные народности Поволжья (чуваши, татары, мордва и др.). И после того как войско Разина было разбито, а сам тяжелораненый предводитель был казнен на Красной площади, стычки правительственных войск с отдельными разрозненными отрядами разинцев продолжались.

[^^^]

Чириков довольно точно воспроизводит внешний облик Ленина, среди предков которого были калмыки.

[^^^]

Имеется в виду духовная устремленность к высшему началу, к новому, небесному Иерусалиму. В середине 1880-х гг. выходил духовный журнал «Взыскующий Града Божия». Слова «Града Сионска взыскующе» входит в тропарь Чудотворным иконам Пресвятой Богородице (Державная). Нередко «взыскуемым Градом» называли Китеж.

[^^^]

Отсылка к реплике Городничего из V действия «Ревизора» Н. В. Гоголя.

[^^^]

Александр II задачу предполагаемой судебной реформы очертил именно в этих словах, положенных в основание «Судебных уставов» 1864 г. Такие надписи помещались над входом в суды.

[^^^]

Имеется в виду трактат Л. Н. Толстого «Царствие Божие внутри нас» (написан в 1893 г., из-за цензурных запретов в России впервые был опубликован в 1906 г.), в котором христианство рассматривалось не как религиозно-мистическое учение, а как кодекс жизненного поведения человека, основанного на идее самосовершенствования, что, по мысли Толстого, должно обеспечить всеобщее благо для людей.

[^^^]

Принятие христианства в 988 г. князем Владимиром I стало одним из определяющих факторов дальнейшего исторического развития русского государства, обеспечившим укрепление государственной власти и территориального единства Руси.

[^^^]

Песнопение Страстной Седмицы Великого поста (Тропарь. Глас 8. Надо: «его же обрящет...»).

[^^^]

Парафраз слов «Слава в вышних Богу, и на земли мир, в человецех благоволение» (Лк. 2, 14).

[^^^]

Несколько измененная реплика Фамусова из комедии «Горе от ума»: «Друг, нельзя ли для прогулок подальше выбрать закоулок?» (действ. 1, явл. 4).

[^^^]

«Народная воля» возникла в 1879 г. после раскола «Земли и воли». Организацию возглавляли А. И. Желябов, А. Д. Михайлов, С. Л. Перовская и др. Программные требования народовольцев включали подготовку политического переворота и свержение самодержавия: созыв Учредительного собрания и установление в стране демократического строя; уничтожение частной собственности, передачу земли крестьянам, но главной своей целью ее участники считали убийство царя, надеясь, что это вызовет политический кризис в стране и всенародное восстание. После гибели Александра II последовал разгром организации, и большинство народовольцев было арестовано.

[^^^]

После разочарования сторонников демократических преобразований в террористических методах борьбы в 1880-е гг. авторитет в общественном сознании завоевало либеральное народничество, представители которого призывали к проведению реформ для постепенного улучшения жизни народа. Основным направлением своей деятельности они избрали культурно-просветительскую работу среди населения (получившую название «теории малых дел»), используя с этой целью печатные органы (например, журнал «Русское богатство»), земства и различные общественные организации.

[^^^]

Долгуша — то же, что дроги; четырехколесная телега для перевозки грузов. Имела большую длину (в два раза длиннее обычной телеги).

[^^^]

Это были Василий Степанович Осипанов(1861–1887), Василий Денисович Генералов (1867–1887) и Пахомий Иванович Андреюшкин (1865–1887). Все они были приговорены к смертной казни через повешение.

[^^^]

Персонажи комедии Н. В. Гоголя «Ревизор», принявшие за ревизора Ивана Александровича Хлестакова потому, что тот неделю проживал в гостинице, не платя хозяину денег. Подразумеваются люди, распространяющие недостоверные сведения, слухи, подчас собственные измышления.

[^^^]

Ульянов Илья Николаевич (1831–1886) — отец В. И. Ленина, происходил из астраханских мещан, сын портного. По завершении Казанского университета преподавал математику и физику в Пензенской гимназии. С 1869 г. — инспектор народных училищ Симбирской губернии, затем директор народных училищ. В 1874 г. получил звание потомственного дворянина.

[^^^]

Подволока — место между накатом и кровлей, чердак.

[^^^]

Владыка — неофициальное титулование архиереев (епископов, архиепископов и митрополитов) в русском, сербском и болгарском православии.

[^^^]

Новорусский Михаил Васильевич (1861–1925) — выпускник духовной семинарии, сын священника. Ему смертная казнь была заменена пожизненным одиночным заключением в Шлиссельбургской крепости. Был освобожден в октябре 1905 г. Вел большую научную и общественную работу в области естествознания, музееведения, народного образования, оставил воспоминания — «Записки шлиссельбуржца. 1887–1905» (1933). Его биографию — «М. В. Новорусский (1861–1925)» (1928) — написала В. Н. Фигнер.

[^^^]

Пилсудский Бронислав (1866–1918) — польский деятель революционного движения и этнограф, брат Юзефа Пилсудского, вместе с которым в Вильне в 1882 г. основал патриотический кружок самообразования. После участия в покушении на Александра III был осужден на смертную казнь, но впоследствии помилован и приговорен к 15 годам каторжных работ на Сахалине, где с 1898 г. работал во Владивостоке в музее Общества изучения Амурского края (изучал сахалинских нивхов, записывал их фольклор, собирал этнографическую коллекцию, сделал уникальные записи на восковых валиках песен и речи айнов, составил словари). В 1905 г. вернулся в Польшу, затем выехал в Швейцарию. В конце 1917 г. переехал в Париж, где, как предполагают, покончил с собой, бросившись в Сену.

[^^^]

Лукашевич Юзеф (Иосиф) Дементьевич (1863–1928) — студент Петербургского университета. По делу 1 марта 1887 г. был приговорен к смертной казни, которую заменили бессрочной каторгой (наказание отбывал в Шлиссельбургской крепости). После освобождения в 1905 г. от политической деятельности отошел, занявшись наукой (геология) и преподаванием (профессор Вильнюсского университета). Оставил «Воспоминания о деле 1 марта 1887» (1917).

[^^^]

Гектографированное письмо. — Гектограф — простейший аппарат для размножения оттисков с рукописного или машинописного текста.

[^^^]

Зажоры — вода под снегом при таянии, скапливающаяся в ямах.

[^^^]

Обыгрываются слова популярного романса
(слова Н. Риттера, музыка Я. Фельдмана).

[^^^]

Обнародование «Положений» 19 февраля 1861 г., содержание которых обмануло крестьянские ожидания, способствовало тому, что многие крестьяне считали их поддельным документом, составленным помещиками, скрывшими настоящую «царскую волю».

[^^^]

Белинский, Некрасов, Михайловский — три «столпа» демократической интеллигенции, повлиявшие на формирование в сознании русского общества революционной идеологии.

[^^^]

И. А. Гончаров (1812–1891) родился в Симбирске в купеческой семье.

[^^^]

Чириков нарушает хронологию событий и, явно забегаая вперед, «домысливает» факты биографии Ленина: Владимир во время учебы Александра в Петербурге и его вступления в «Террористическую фракцию партии „Народная воля“» находился в Симбирске, где заканчивал гимназию, сдавая экзамены на аттестат зрелости именно во время суда над старшим братом и его казни. В поле зрения полиции он попал только в Казани, учась в Казанском университете, когда участвовал в студенческой сходке в декабре 1887 г. Тогда же он был арестован и помещен в пересыльную тюрьму, а потом выслан в Кокушкино под гласный надзор полиции.

[^^^]

Николин день. — Празднование дня мощей святого Николая Мирликийского (Чудотворца) приходится на 9 (22) мая.

[^^^]

Краевич Константин Дмитриевич (1833–1892) — преподаватель гимназии, автор стандартного учебника физики, изучение которой начиналось в шестом классе классических гимназий.

[^^^]

Указание на «благоговение» молодого Ульянова перед террористами не подтверждено фактами его биографии. Испытывая глубочайшее уважение к брату, он все же еще не обладал целостным политическим мировоззрением и не питал особого интереса к народофильской программе. Кумиром его в эти годы оставался Н. Г. Чернышевский, а знакомство с трудами Маркса произойдет только, когда он начнет посещать кружок Н. Федосеева.

[^^^]

Институтка — воспитанница женского института, учебного заведения, куда принимали дочерей дворян, которых готовили для придворной и светской жизни (в программу входило обучение словесности, истории, географии, иностранным языкам, музыке, танцам, рисованию, светским манерам и др.). Считалось, что все они отличаются восторженностью и преклоняются перед царской семьей.

[^^^]

В сб. «Александр Ульянов и дело 1 марта 1887 года» (1927) приводятся свидетельства, что показания Ульянова на суде были «бесстрашны и искренни». Он произносил их «немного надменным, вызывающим тоном», когда дело касалось его самого, но когда речь заходила о других, слова его становились «уклончиво-осторожны или голоотрицательны» (С. 321). Отказавшись от защитника, он подчеркнул, что «право защиты сводится исключительно к праву изложить мотивы преступления, т. е. рассказать о том умственном процессе, который привел меня к необходимости совершить это преступление» (С. 339). Его заключительная речь «была не защитой, а выяснением принципиальной позиции» и произвела большое впечатление (ее даже сравнивали с речью Желябова). Он спокойно выслушал приговор и отказался от последнего слова. Так же спокойно вел он себя на эшафоте.

До XIX в. государство не заботилось о питании заключенных, которые жили в основном подаением. В 1832 г. публичный сбор подаения арестантами был запрещен, и им стали выдавать на руки «кормовые деньги», на которые заключенные могли покупать продукты у торговцев, приходивших в тюрьму, или через эконома тюрьмы на базарах и в лавках. Сумы «кормовых» определялись местными властями в зависимости от сословия заключенных.

[^^^]

«Кресты» — тюрьма в Петербурге; построена в XIX в. архитектором А. О. Томишко как образцовая тюрьма, рассчитанная на 1000 заключенных. В плане имеет форму креста, откуда и пошло название.

[^^^]

Н. А. Некрасов. «Рыцарь на час». Прав.: «за великое дело любви».

[^^^]

Признание носит явно автобиографический характер: сам Чириков предпочитал пение кукушек соловьиному. Он считал, что соловья «люди с помощью своих поэтов опощили», а кукушка «уцелела» потому, что «осталась непонятой и малоизвестной»!

[^^^]

Крупчатка — высший сорт белой пшеничной муки, самого тонкого помола.

[^^^]

После отмены в 1861 г. крепостного права в народе, недовольном способом распределения земель, ходили слухи об истинном царском указе, «золотой грамоте», в которой царь приказал передать крестьянам помещичью землю. Считалось, что из-за нее помещики и убили царя и спрятали настоящий, «правильный» указ. Революционеры использовали недовольство крестьян и веру в получение земли в интересах свержения монархии.

[^^^]

Видимо, имеется в виду книга «Откуда пошла Русская земля и как стала быть. Русская история в повестях А. Разина и В. Лопина», многократно издававшаяся с 1874 г. вплоть до революции.

[^^^]

Столбовое дворянство — древние дворянские роды (возникшие до уничтожения местничества в 1682 г.), внесенные в «столбцы» (родословные книги) Разрядного приказа, а после сожжения местнических книг — в Бархатную книгу.

[^^^]

Контаминация строк из поэмы А. С. Пушкина «Цыганы»(1824) и басни И. А. Крылова «Стрекоза и муравей» (1808).

[^^^]

В 1876 г. русское правительство потребовало от султана прекратить истребление славянских народов Балканского полуострова и заключить мир с Сербией, однако попытки мирными средствами улучшить положение христиан были сорваны нежеланием турок идти на уступки. Поэтому в апреле 1877 г. Россия объявила Османской империи войну. В ходе боевых действий русская армия успешно форсировала Дунай, смогла захватить горный перевал Шипка и после двухмесячной осады и взятия в декабре 1877 г. турецкой крепости Плевна разбила последние турецкие части, заняла Адрианополь и вышла на подступы к Константинополю. Поражение Турции стало очевидным.

[^^^]

В 1864 г. «Положением о губернских и уездных земских учреждениях» создавались уездные и губернские земские собрания, депутаты (гласные), которых избирались населением на всеобщей основе на трехлетний срок. Уездные собрания в свою очередь избирали гласных губернских собраний и исполнительный орган — земскую управу (на три года). Председателя земской управы (а с 1890 г. и ее членов) утверждал губернатор, председателя губернской управы — министр внутренних дел.

[^^^]

Барятинский Юрий Никитич (? — после 1682) — князь, боярин, воевода, участник подавления Крестьянской войны 1760–1761 гг. под руководством С. Т. Разина и Русско-польской войны 1654–1667 гг.

[^^^]

Милославский Иван Богданович (?-1681) — боярин, руководил обороной Симбирска от армии Разина.

[^^^]

Тургенев Александр Иванович (1784–1845) — государственный и общественный деятель, историк (собирал документы по древней и современной истории России в зарубежных архивах), писатель, член литературного кружка «Арзамас». *Тургенев* Николай Иванович (1789–1871) — экономист, основоположник экономической науки в России («Опыт теории налогов», 1818), публицист, активный участник движения декабристов (был одним из учредителей «Союза благоденствия» и Северного общества). С 1816 г. помощник статс-секретаря Государственного совета. С 1824 г. находился за границей, заочно привлекался к суду по делу декабристов и был приговорен к каторге.

[^^^]

Языков Петр Михайлович (1798–1851) — ученый, геолог. Окончил Горный кадетский корпус в Петербурге (1820). Занимался геологическими исследованиями в центральных и восточных районах Европейской России, собрал уникальную коллекцию окаменелостей.

Языков Николай Михайлович (1803–1847) — поэт, славянофил, друг А. С. Пушкина, создатель торжественного дифирамбического стиля «легкой поэзии». В 1831 г. вместе с П. В. Киреевским начал собирать материалы по русской народной поэзии.

[^^^]

Соллогуб Владимир Александрович (1813–1882) — граф, писатель, автор «светских» повестей, очерков, водевилей, воспоминаний. Наиболее известна повесть «Тарантас», содержащая зарисовки провинциального быта.

[^^^]

Аксаков Сергей Тимофеевич (1791–1859) — писатель и общественный деятель, литературный и театральный критик, мемуарист. Принимал участие в деятельности «Общества любителей отечественной словесности» при Казанском университете. После переезда в Петербург служил переводчиком в «Комиссии по составлению законов», член-корреспондент Санкт-Петербургской академии наук. В 1827–1828 гг. состоял цензором в Московском цензурном комитете. Автор автобиографических книг «Семейная хроника» (1856), «Детские годы Багрова-внука» (1858). **Аксаков Константин Сергеевич** (1817–1860) — публицист, критик, поэт, историк, лингвист. Один из вождей славянофилов. Сын С. Т. Аксакова. **Аксаков Иван Сергеевич** (1823–1885), публицист, общественный деятель. Сын С. Т. Аксакова.

[^^^]

Минаев Дмитрий Дмитриевич (1835–1889) — поэт, журналист, переводчик, критик. Выпустил сборник литературных пародий «Перепевы. Стихотворения обличительного поэта» (1859), сотрудничал в «Современнике», «Русском слове» и др. демократических изданиях. Служил в Симбирской губернской казенной палате, в 1855–1857 гг. стал чиновником Министерства внутренних дел в Петербурге.

[^^^]

Аксаково расположено на берегу реки Большая Бугурусланка. Первоначально назвалось Знаменское (по имени местной церкви Знаменья). Было основано в 60-е гг. XVIII в. симбирским помещиком С. М. Аксаковым (дед С. Т. Аксакова), купившим эти земли и переселившим сюда своих крестьян.

[^^^]

Языково — родовое поместье дворян Языковых, находилось в 70 километрах от Симбирска. В разное время его посетили Пушкин, Денис Давыдов, поэт и переводчик Д. Ознобишин, поэт А. Хомяков, собиратель народных песен П. Киреевский и др.

[^^^]

Карамзинка была основана около 1704 г. на реке Каменка (Карамзинка) одним из предков Н. М. Карамзина. Называлось «Знаменское, Карамзино тож» (по церкви и фамилии владельцев).

[^^^]

Шихобаловы — купцы 1-й гильдии, потомственные почетные граждане Самары. Антон Николаевич Шихобалов был советником коммерции. Имели около 163 тысяч десятин земли, стояли у истоков развития животноводства в крае во второй трети XIX в., считались самыми крупными хлеботорговцами Самарской губернии. Входили в Товарищества по совладению и сами владели несколькими мельницами. Активно занимались благотворительностью.

[^^^]

Памятник Н. М. Карамзину в образе покровительницы истории — музы *Клио* был открыт 28 августа 1845 г. Проект памятника разработан С. И. Гальбергом, отливка статуи выполнена в литейной мастерской Академии художеств под руководством П. К. Клодта.

[^^^]

Ложа «Ключ к добродетели» была основана осенью 1817 г. князем и предводителем Симбирского губернского дворянства Михаилом Петровичем Баратаевым (1784–1856) и просуществовала до 1822 г., когда вышел указ о закрытии всех масонских лож в России.

[^^^]

Преображение Господне отмечается 19 августа (6 августа по ст. ст.). В конце земного пути Христос открыл ученикам, что примет страдание за людей, умрет на кресте и воскреснет. Он возвел трех апостолов — Петра, Иакова и Иоанна — на гору Фавор и преобразился перед ними: лицо Его просияло, одежды сделались ослепительно белыми. Тем самым Христос показал ученикам, чтобы они во время Его грядущих страданий и Крестной смерти не поколебались в вере в Него. По традиции, на Преображение Господне в конце литургии совершается освящение яблок и других плодов, поэтому в народе этот день называют вторым, или яблочным, Спасом.

[^^^]

Мария Александровна Ульянова (урожд. Бланк; 1835–1916) — жена Ильи Николаевича, мать В. И. Ленина.

[^^^]

Хронологическая ошибка: во время судебного процесса над Александром Ульяновым его отца уже не было в живых. Поэтому все, что касается восприятия случившегося отцом, является плодом творческого вымысла автора.

[^^^]

Ошибка: Оля (1871–1891) была младшей дочерью в семье Ульяновых, в то время слушательницей физико-математического отделения Высших женских курсов. Старшей сестрой была Анна (1864–1935) — впоследствии видная деятельница революционного движения. Александр был действительно на нее похож.

[^^^]

Дмитрий Ульянов (1874–1943) — будущий революционер и партийный деятель.

[^^^]

Отсылка к словам Базарова: «Ну, будет он жить в белой избе, а из меня лопух расти будет; ну, а дальше?» — произнесенным в момент глубокого разочарования в прежней деятельности и убеждениях, неверия в бессмертие души (*И. С. Тургенев. Отцы и дети. Гл. 20*).

[^^^]

Эпиграмма, приписываемая А. С. Пушкину, была включена в сборник «Стихотворения А. С. Пушкина, не вошедшие в последнее собрание его сочинений. Дополнение к 6 томам петербургского издания» (изд. Р. Вагнера, Берлин, 1861), по которому ее цитировал М. Горький в одной из своих лекций по истории русской литературы, прочитанных им группе русских рабочих в 1909 г. на о. Капри (черновая рукопись хранится в Архиве Горького в РГБ): «В России нет закона: / В России столб стоит, / К столбу закон прибит, / А на столбе корона».

[^^^]

Отсылка к циклу очерков М. Е. Салтыкова-Щедрина «Убежище Монрепо» (1878–1879), в которых писатель запечатлел положение мелких и средних дворян в конце 70-х гг., показывая семью дворян Прогореловых, чья деревня все больше и больше попадает в зависимость к местному кулаку. Но, возможно, и игра слов: от *фр.* *mon Repos* — мой покой, мое отдохновение, что может обозначать любое поместье.

[^^^]

Романс А. С. Даргомыжского на слова М. Кпадуса (в переводе А. А. Дельвига).

[^^^]

Иносказательное обозначение ранней чувственности, восходит к названию пьесы немецкого драматурга Ф. Ведекинде (1864–1918) «Пробуждение весны» (1891). Чириков, несомненно, знал яркую постановку этой пьесы Вс. Мейерхольдом в 1906 г. в театре В. Ф. Комиссаржевской.

[^^^]

«Русские ведомости» — либеральная газета, выходившая в Москве в 1863–1918 (главный редактор с 1878 по 1913 г. В. М. Соболевский). В числе сотрудников были К. Д. Кавелин, Н. И. Кареев, В. О. Ключевский, П. Б. Струве, Б. Н. Чичерин и др. В газете печатались многие писатели и публицисты демократического направления — В. Г. Короленко, М. Е. Салтыков-Щедрин, Г. И. Успенский и др. С 1905 г. — орган кадетской партии.

[^^^]

«Русское богатство» (1876–1918) — литературный и политический журнал либерально-народнического направления. С 1879 г. редактором был Н. Н. Златовратский, после 1892 г. издание возглавили Н. К. Михайловский и В. Г. Короленко. В середине 1890-х гг. журнал стал центром легального народничества и вел теоретическую борьбу с марксистами. В журнале сотрудничали писатели-реалисты Н. Г. Гарин-Михайловский, Д. Н. Мамин-Сибиряк, И. А. Бунин, Л. Н. Андреев, М. Горький, А. И. Куприн и др. В 1914–1917 гг. выходил под названием «Русские записки».

[^^^]

Садовников Дмитрий Николаевич (1847–1883, псевд. Д. Волжанов) — русский фольклорист, этнограф, поэт, служил педагогом. Родился в Симбирске, затем переехал в Петербург. Составил сборник «Загадки русского народа» (1876), представил фольклор Поволжья в сборнике «Сказки и предания Самарского края» (1884). Считается «певцом Волги» (см.: Певец Волги Д. Н. Садовников. Избр. произведения и записи. Куйбышев, 1940). Лучшие из его стихов стали народными песнями («Из-за острова на стрежень», «По посаду городскому» и др.). Чириков допустил хронологическую неточность: в указанное время (зима 1887/88 г.) Садовников не мог быть гостем Кудышевых.

[^^^]

Ария Канио из оперы «Паяцы» (1892) итальянского композитора Руджеро Леонкавалло (1857–1919).

[^^^]

«*Не искушай меня без нужды*» (1821) — романс М. И. Глинки на стихотворение Е. А. Баратынского «Разуверение».

[^^^]

Дуэт Лизы и Полины из 3-го действия оперы.

[^^^]

«*На севере диком*» (1850) — романс А. С. Дарго-
МЫЖСКОГО.

[^^^]

Венявский Генрик (1835–1880) — польский скрипач и композитор, в 1862–1868 гг. — профессор Петербургской консерватории. В его наследии много полонезов и мазурок, предназначенных для игры на скрипке (особенной популярностью пользовались «Легенда», «Фантазия на русские темы», «Московский сувенир».

[^^^]

Степан (Стефан) *Малый* (?-1773) — самозванец, появившийся в Черногории в 1766 г. и выдававший себя за Петра III. В ноябре 1767 г. на всенародной сходке был признан не только русским царем, но и государем Черногории. В течение шести лет фактически правил страной, провел ряд реформ, в частности судебную, отделил церковь от государства. Погиб от рук наемного убийцы.

[^^^]

Первая строка романа «Сомнение» на слова
Н. В. Кукольника.

[^^^]

Получивший в обществе ироническое название «о кухаркиных детях» циркуляр 1887 г. русского министра просвещения И. Д. Делянова, согласно которому учебному начальству предписывалось принимать в гимназии и прогимназии детей только из обеспеченных семей и не допускать в эти учебные заведения детей кучеров, лакеев, поваров, прачек, мелких лавочников и т. д.

[^^^]

Как раз участие в студенческой сходке послужило основанием для первого ареста В. Ульянова.

[^^^]

В 1889 г. был упразднен институт мировых судей и введен институт земских участковых начальников. Земский начальник назначался министром внутренних дел из местных дворян и имел широкие полномочия (мог отменить постановление сельских и волостных сходов, подвергать телесным наказаниям и штрафам). Земский начальник должен был проходить имущественный ценз, иметь высшее образование и трехлетний стаж службы в должности мирового посредника, мирового судьи и т. п. Однако при недостатке кандидатур, удовлетворяющих этим требованиям, земскими начальниками могли назначаться местные потомственные дворяне со средним или даже начальным образованием, состоящие в военных или гражданских чинах, независимо от стажа службы. Кроме того, в «особых случаях» министр внутренних дел мог назначить в обход указанным условиям любого из местных дворян. По закону 1904 г. и вышеобозначенные ограничения были сняты, что в итоге привело к фактически полной

бесконтрольности действий земских начальников и произволу, который покрывался местными властями.

[^^^]

Волостные судьи ранее выбирались крестьянами, после 1889 г. стали назначаться земским начальником из предложенных сельским обществом кандидатов. Земский начальник мог отменить любое постановление суда, а самих судей в любой момент отстранить от должности, подвергнуть аресту, штрафу, телесному наказанию.

[^^^]

В 1884 г. был принят новый университетский Устав, ликвидировавший автономию высших учебных заведений (избрание ректоров, деканов и профессоров заменялось назначением), одновременно был усилен полицейский надзор за преподавателями и студентами и значительно увеличена плата за обучение. Также была закрыта большая часть высших женских курсов.

[^^^]

«Положение о губернских и уездных земских учреждениях» 1890 г. и «Городовое положение» 1892 г. значительно ограничивали функции земств и городских дум, усиливали в них позиции дворян и расширяли систему опеки и вмешательства правительства в городское и земское самоуправление.

[^^^]

Бакунин Михаил Александрович (1814–1876) — революционер, теоретик анархизма, один из идеологов народничества. В 1830-х гг. член кружка Н. В. Станкевича. С 1840 г. жил за границей, участвовал в революционных событиях 1848–1849 гг. В 1851 г. был выдан австрийскими властями России, заключен в Петропавловскую крепость, затем в Шлиссельбург, в 1857 г. сослан в Сибирь, откуда в 1861 г. бежал за границу.

[^^^]

Кропоткин Петр Алексеевич (1842–1921) — князь, теоретик анархизма, географ, историк, литератор. Окончив Пажеский корпус, поступил на военную службу, затем — на математическое отделение физико-математического факультета Санкт-Петербургского университета. Был членом кружка «чайковцев» и одним из инициаторов «хождения в народ». В 1874 г. был арестован и заключен в Петропавловскую крепость, в 1876 г. бежал за границу, с 1877 г. жил в Швейцарии, в 1881 г. переехал во Францию, в 1886 г. в Великобританию. Вернувшись в Россию после Февральской революции, отверг предложение войти в состав Временного правительства. Написал книгу воспоминаний «Записки революционера» (1902).

[^^^]

Н. А. Некрасов. Сцены из лирической комедии
«Медвежья Охота» (действ. I, карт. 3). У Некрасова:

*...Не дорожим
Мы шагом к прочному успеху.
Прогресс?.. его мы не хотим —
Нам дай новинку, дай потеху!
И вот новинке всякий рад
День, два; все полны грез и веры.
А завтра с радостью глядят,
Как «рановременные» меры
Теряют должные размеры
И с треском катятся назад!..*

[^^^]

Слова Скалозуба из пьесы «Горе от ума» (1824)
А. С. Грибоедова (дейст. 2, явл. 5): «Я князь —
Григорию и вам, / Фельдфебеля в Вольтеры
дам, / Он в три шеренги вас построит, / А пик-
нете, так мигом успокоит».

[^^^]

Чириков, по-видимому, имеет в виду создание в Поволжье Михаилом Васильевичем Сабунаевым (1855–1922) народовольческой революционной организации с программой «Союза русских социал-революционных групп». Сабунаев, причастный к «Молодой Народной Воле», был арестован по Лопатинскому делу, сослан в Сибирь и бежал оттуда в 1888 г. По Сабунаевскому делу было арестовано около 150 человек. Пострадал и сам Чириков, который приютил Сабунаева в Астрахани: его приговорили в феврале 1892 г. к четырем месяцам одиночного заключения.

[^^^]

Надсон Семен Яковлевич (1862–1887) — поэт, кумир читающей публики 1880–1890-х гг. Его ранняя смерть от чахотки вызвала волну самоубийств. Создавал лирику, исполненную гражданственных мотивов, проникнутую жалобами и стенаниями (получила название «надсоновщины»).

[^^^]

*Пусть неправда и зло полновластно царят /
Над омытою кровью землей... — стихотворе-
ние С. Я. Надсона. «Друг мой, брат мой, уста-
лый...» (1880). У Надсона:*

*Пусть неправда и зло полновласт-
но царят
Над омытой слезами землей,
Пусть разбит и поруган святой
идеал
И струится невинная кровь, —
Верь: настанет пора — и погиб-
нет Ваал,
И вернется на землю любовь!*

[^^^]

Н. В. Гоголь. «Мертвые души». Прав.: «Русь, куда ж несешься ты? Дай ответ. Не дает ответа».

[^^^]

Сибирский ергак — тулуп или халат из жеребьячьей или иной короткошерстной шкуры, выделанный шерстью наружу.

[^^^]

Алатырь-камень, по древнерусским языческим поверьям, камень с выбитыми на нем письменами, в которых запечатлены законы языческого бога Сварога, упал с неба. В «Голубиной книге» рассказывается, что под Алатырь-камнем берут начало источники, несущие всему миру пропитание и исцеление, т. е. живая вода. Под камнем сокрыта вся сила земли Русской, а на Алатырь-камне сидит красна девица Заря и пробуждает мир от ночного сна.

[^^^]

Работы по железнодорожному строительству на участке Свияжск — Алатырь были начаты в 1891 г. 29 августа 1893 г. открыто рабочее движение, и эта часть пути стала частью Московско-Казанской железнодорожной ветки.

[^^^]

«Не было ни гроша, да вдруг алтын» — пьеса
(1872) А. Н. Островского.

[^^^]

Речь идет о газете «Симбирский справочный
торгово-промышленный листок».

[^^^]

Имеется в виду механизм государственного займа, облигации которого размещаются по подписке среди населения, продаются через банки или сберегательные кассы, на бирже и с аукциона. По доходности займы делятся на процентные и выигрышные. Выигрыш по займу — форма выплаты доходов держателям облигаций государственных займов. Облигации, по которым выплачивается выигрыш, определяются в тиражах.

[^^^]

Благочинный — в православном церковном управлении священник, выполняющий административные обязанности по отношению к нескольким церквам. Назначается правящим архиереем епархии из числа ее священнослужителей (как правило, проживающих на этой территории).

[^^^]

...о благорастворении воздушных... — т. е. о хорошей погоде. Выражение восходит к молитве, произносимой во время обедни (литургии Иоанн Златоуста): «О благорастворении воздушных, о изобилии плодов земных и временах мирных», что означает пожелание всех благ молящемуся.

[^^^]

Из Нагорной проповеди Христа: «Просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и отворят вам...» (Мф. 7, 7).

[^^^]

В Российской империи в 1791–1917 гг. постоянное жительство и возможность беспрепятственного перемещения из евреев имели только купцы первой гильдии, лица с высшим образованием, отслужившие рекруты, а также крещеные евреи. Остальное еврейское население проживало в так называемых чертах оседлости (оговоренные населенные пункты городского типа — местечки, расположенные в Польше, Литве, Белоруссии, Бессарабии, на Украине и в южных губерниях России).

[^^^]

Савл — имя св. апостола Павла до его обращения в христианство. Первоначально Павел принадлежал к секте фарисеев и был жестоким преследователем христиан. По пути в Дамаск, куда бежали многие последователи Христа, на него пролился чудесный свет с неба. Крестившись, Павел стал ревностным проповедником христианской веры и проповедником христианского вероучения среди язычников (Деян. 13, 9).

[^^^]

Черемисы — прежнее название марийцев.

[^^^]

В гимназиях (делились на классические, дававшие преимущественно гуманитарное образование, и реальные, где больше внимания уделялось естественно-научным дисциплинам) было семь классов в отличие от прогимназий, где программа была рассчитана только на четыре класса. Выпускники прогимназий не имели права поступать в университет.

[^^^]

Возможно, иносказательное обозначение Бутырской тюрьмы в Москве (по аналогии с санкт-петербургскими «Крестами»).

[^^^]

Имеется в виду местность в Симбирске, на которой находится бульвар, располагающийся на гребне горы. С него открывается чудесный вид на Волгу.

[^^^]

Спасский женский монастырь; в 1691–1696 гг. в обители возвели Спасский собор, а в XIX в. — храм Иверской иконы Божией Матери. При монастыре существовала одна из первых в Симбирске больниц, богадельня и училище для девиц-сирот из духовного звания. Монастырь посещали члены Императорской семьи, в 1837 г. в нем побывал цесаревич — будущий император Александр II. Разрушен в 1936 г.

[^^^]

Черный Яр — уездный город Астраханской губернии, на правом крутом берегу Волги. В 1627 г. была заложена небольшая крепость, названная Черным острогом, для охраны волжских судовых караванов от нападений кочевников. В 1634 г. из-за обвала берега острог был перенесен на новое место и получил статус крепости. В 1670 г. крепость была разрушена Степаном Разиным.

[^^^]

Бегунки — легкая повозка, беговые дрожжи.

[^^^]

Плетушка — повозка с плетеным кузовом.

[^^^]

Перифраз слов из «Псалтыри» — «плач на реках Вавилонских» (Пс. 136), в котором говорится о тяжелой судьбе евреев, томившихся в вавилонском плену.

[^^^]

Чириков вспоминает об усилиях М. В. Сабунаева по объединению народников, социал-демократов и народовольцев в единую организацию в 1890–1891 гг.

[^^^]

Из стихотворения А. С. Пушкина «Туча»
(1835).

[^^^]

Имеется в виду сборник рассказов «В сумерках» (1887) и повесть «Скучная история» (1888) А. П. Чехова. В рецензиях на его произведения основатель «Русского богатства» И. К. Михайловский и литературный критик журнала А. М. Скабичевский говорили об отсутствии у писателя четкого мировоззрения, направляющей идеи, о равнодушии Чехова к изображаемому (см. статьи Михайловского «Письма о разных разностях», «Об отцах и детях и о г. Чехове», Скабичевского «Есть ли у Чехова идеалы?» и др.).

[^^^]

«Русский вестник» — литературный и общественно-политический журнал, основанный М. Н. Катковым и выходивший в 1856–1887 гг. в Москве, а в 1887–1906 гг. в Петербурге. Первые несколько лет журнал носил либеральный характер, после 1863 г. редакция издания заняла консервативные позиции, и в журнале стали публиковаться статьи, направленные против Герцена, Чернышевского, Писарева. Большое место получил цикл статей А. А. Фета об усадебном хозяйстве, в которых звучало возмущение крестьянской «распущенностью». В журнале публиковались произведения антинигилистические, в неприглядном виде изображавшие революционное движение 60-х гг. и его идеологов (например, диалогия В. В. Крестовского «Панургово стадо» и «Две силы»).

[^^^]

«*Московские ведомости*» — московская газета (1756–1917). С 1863 г., когда пост редактора занял М. Н. Катков, газета приобрела ультраконсервативный характер. С 1905 г. «Московские ведомости» стали отражать взгляды черносотенцев.

[^^^]

Отчетливое размежевание российского образованного общества на консервативное и либеральное направления началось со второй четверти XIX в. Консерваторы опирались на теории, доказывающие незыблемость самодержавия и крепостного права, прежде всего, «теорию официальной народности» С. С. Уварова. Теория официальной народности вызвала критику либералов, которые хотели видеть Россию в кругу европейских держав. Для этого они считали необходимым изменить ее социально-политический строй, установить конституционную монархию, смягчить или вовсе отменить крепостное право, наделить крестьян земельными наделами, ввести свободу слова и совести, однако выступали против революционных потрясений и указывали, что необходимые реформы должно провести само правительство.

[^^^]

Из стихотворения М. Ю. Лермонтова «Расстались мы с тобой, но твой портрет» (1837).
Прав.: «Так храм оставленный — все храм, Кумир поверженный — все бог!»

[^^^]

Термин с отрицательной оценочной коннотацией, полемически используемый приверженцами старообрядчества в отношении сторонников богослужебной реформы XVII в., проведенной патриархом Никоном.

[^^^]

Традиционная формула, которой обозначалась суть марксистской теории, ориентированной на руководящую роль пролетариата в историческом процессе, на необходимость пролетаризации трудящихся масс. Этой концепции начала придерживаться и часть народников, которая отказалась от мысли поднять крестьянскую Россию на революционные действия.

[^^^]

Эмигрировав после покушения на Александра II, бывшие активные участники «Черного передела» Г. В. Плеханов, В. И. Засулич, Л. Г. Дейч и В. Н. Игнатов обратились к марксизму, в котором их привлекла идея достижения социализма путем пролетарской революции. Ими в 1883 г. в Женеве была образована группа «Освобождение труда». В своей программе ее участники декларировали полный разрыв с народничеством и народолюбием. Важнейшим условием социального прогресса в России они считали буржуазно-демократическую революцию, движущей силой которой должна была стать городская буржуазия и пролетариат, крестьянство же рассматривалось ими как реакционная сила. Группа прекратила существование в 1903 г.

[^^^]

Неточность: за время существования группы ее члены издали сборник «Социал-демократ» (1888), литературно-политическое обозрение «Социал-демократ» (1890–1892, вышло четыре книги), серии книг «Библиотека современного социализма» и «Рабочая библиотека», а также принимали участие в создании «Искры» и «Зари».

[^^^]

Институт мировых посредников был создан в 1861 г. и выполнял посреднические и административные функции. Деятельность мировых посредников, которых назначал Сенат из местных потомственных дворян по представлению губернаторов и губернских предводителей дворянства, заключалась в проверке, утверждении и введении уставных грамот (документов, определявших повинности и поземельные отношения крестьян с помещиками), удостоверении выкупных актов при переходе крестьян на выкуп, разборе споров между крестьянами и помещиком, утверждении в должности сельских старост и волостных старшин, надзоре за организацией крестьянского управления и т. д.

[^^^]

Побудительным толчком для написания романа «Бесы» (1871–1872) послужило «нечаевское дело» (убийство нечаевцами члена группы студента Иванова, заподозренного в предательстве). В романе Достоевский изобразил революционных деятелей 1860-х гг. как одержимых идеей улучшения мироустройства, для достижения которой вполне допустимыми оказываются обман, убийство, святотатство. Черты нечаевщины, поданные в утрированном виде, Достоевский приписал всему русскому революционному движению конца 60-х — начала 70-х гг. Для того чтобы морально исцелиться, русское общество, по мнению писателя, должно освободиться от влияния революционных идей и обратиться к религиозно-почвенническим, славянофильским идеалам.

[^^^]

Левые круги русского общества действительно увидели в «Бесах» карикатуру, роман был осужден всей прогрессивной общественностью.

[^^^]

Неприязнь Достоевского к Тургеневу была спровоцирована ссорой писателей по поводу тургеневского романа «Дым» (1867), в частности из-за пропаганды, по мнению Достоевского, западной философии в романе. В «Бесах» Тургенев представлен в образе самодовольного и нелепого писателя Семена Егоровича Кармазинова, в опусах которого пародируются некоторые известные тургеневские произведения. Создавая образ Степана Трофимовича Верховенского, Достоевский воспользовался некоторыми чертами биографии историка Т. Н. Грановского. Этот персонаж символизировал трусость, самодовольство либералов, их слепое преклонение перед Западом.

[^^^]

Имеется в виду религиозное учение Л. Н. Толстого, который отрицал богочеловеческую сущность Христа и его воскресение, акцентировав социалистические идеи его учения.

[^^^]

Мф. 26,51–52: «И вот, один из бывших с Иисусом, простерши руку, извлек меч свой и, ударив раба первосвященникова, отсек ему ухо. Тогда говорит ему Иисус: возврати меч твой в его место, ибо все, взявшие меч, мечом погибнут».

[^^^]

Отец Ленина принадлежал не к столбовому, а к служилому, безземельному дворянству, которое получил незадолго до смерти.

[^^^]

Шевиот — мягкая, слегка ворсистая шерстяная или из смешанной пряжи ткань для верхней одежды. Пара — мужской костюм (брюки и пиджак или сюртук, фрак).

[^^^]

Мытарь — в библейских сказаниях — сборщик податей в Иудее; лепта — древнегреческая медная или бронзовая монета.

[^^^]

Рейнгардт Николай Викторович (1842 — после 1905) — журналист, историк, социолог. Учился в Петербургском университете, в 1862 г. был выслан как политически неблагонадежный под надзор полиции в Петрозаводск, где служил столоначальником в Олонецком губернском правлении. В 1865 г. получил разрешение отправиться в Харьков, где окончил университет со степенью кандидата, в 1867 г. освобожден от надзора полиции. «Волжский вестник» редактировал в 1889–1904 гг. Автор работ: «Социальное и экономическое значение моды» (1889), «Женщина перед судом уголовным и судом истории» (1890), «Необходимая оборона» (1898), «Н. К. Михайловский и его труды» (1902), а также воспоминаний о В. Гаршине и Н. Чернышевском.

[^^^]

Иванчин-Писарев Александр Иванович (1849–1916) — журналист, активный участник народнического движения. Учился в Московском и Петербургском университетах, был членом московского отделения кружка чайковцев. В 1872–1874 гг. вел пропагандистскую деятельность в деревнях Ярославской губернии. В 1875 г. бежал за границу, сотрудничал в изданиях «Вперед» и «Работник». Вернувшись в 1877 г., примкнул к «Земле и воле», после ее раскола перешел в «Народную волю». Был членом редакции «Слова». 17 марта 1881 г. арестован, выслан в Сибирь, жил в Красноярске, Минусинске, Томске и Тобольске, сотрудничал в местных изданиях. По возвращении из ссылки жил в Нижнем Новгороде, в 1892 г. переехал в Петербург. Был сотрудником «Волжского вестника», «Русского богатства» и др. Опубликовал книгу «Из воспоминаний о хождении в народ» (1913).

Хардин Андрей Николаевич (1842–1910) — адвокат, общественный деятель, теоретик шахмат. Учился в Казанском университете на юридическом факультете. В 1870 г. был выбран председателем Самарской губернской земской управы, но вскоре смещен с должности. Увлекался шахматами, участвовал в турнирах по переписке, занимался изучением дебютов, публиковал статьи в «Шахматном обозрении» и других специализированных изданиях. В 1889–1892 гг. среди участников шахматных турниров и консультационных партий, проводившихся в его доме в Самаре, был В. И. Ульянов, проходивший под его руководством адвокатскую практику и увлекшийся благодаря общению с ним шахматами.

[^^^]

Отсылка к теории «героя и толпы», объяснявшей механизм коллективного действия склонностью человека к подражанию, разрабатываемой Н. К. Михайловским в таких работах, как «Герои и толпа», «Научные письма (к вопросу о героях и толпе)», «Патологическая магия», «Еще о толпе». Идеи Михайловского восходили к концепции «культы героев» как единственных творцов истории английского публициста, историка и философа Томаса Карлейля (1795–1881).

[^^^]

Сверхчеловек — понятие, введенное Фридрихом Ницше (1844–1900) в трактате «Так говорил Заратустра» (1883–1884). Немецкий философ пытался заменить «устаревший» образ Иисуса Христа новым, более современным и нарисовать таким образом облик идеального человека будущего. На рождение образа сверхчеловека повлиял и дарвинизм (как от обезьяны произошел человек, так из человека должен возникнуть сверхчеловек). В своем становлении сверхчеловек проходит три стадии: верблюда (выносливость), льва (сила) и младенца (свобода).

[^^^]

О каком произведении идет речь, установить не удалось.

[^^^]

Унтер Пришибеев — герой одноименного рассказа А. П. Чехова (1885), отставной унтер-офицер, одержимый манией повелевать, навредить порядок по своему разумению.

[^^^]

«*Ионыч*» — герой одноименного рассказа (1898) А. П. Чехова, Дмитрий Ионович Старцев — молодой, талантливый врач, деградирующий под влиянием провинциальной среды и превратившийся в апатичного обывателя.

[^^^]

Аллюзия на строку из сказки П. П. Ершова «Конек-горбунок»: «Верст сто тысяч отмахал и нигде не отдыхал».

[^^^]

Под виноградником в христианстве подразумевается душа человека, под оградой — закон Божий, которым ограждается или должна быть ограждена всякая душа от грехов.

[^^^]

Каспийское море.

[^^^]

«Женитьба Белугина» — пьеса (1878) А. Н. Островского, написанная в соавторстве с Н. Я. Соловьёвым.

[^^^]

Сабунаев Михаил Васильевич (1855–1922) — народоволец, организатор народовольческих кружков в Поволжье (1889), в 1889–1890 гг. пытался возродить разгромленную «Народную волю». Осенью 1890 г. всех членов его группы арестовали.

[^^^]

Имеется в виду Павел Николаевич *Скворцов* (ок. 1855–1931) — литератор, статистик в казанском и нижегородском земствах, один из первых пропагандистов марксизма в России. Особенно известны были его статьи, опубликованные в «Волжском вестнике», «Казанском биржевом листке», «Юридическом вестнике» в 1899–1891 гг.

[^^^]

«Юридический вестник» — ежемесячный журнал, издававшийся в Москве (1867–1892). Первым редактором был Н. В. Калачов, с 1872 по 1880 г. его редактировали В. Н. Лешков, А. М. Фальковский, и М. М. Ковалевский; с 1880 г. и до конца главным и постоянным редактором был С. А. Муромцев. Журнал освещал вопросы уголовного и гражданского права и процесса, публиковал статьи по истории и философии права, политической экономии и финансов, международному праву и т. д. В Казани Скворцов, возможно в «Волжском вестнике», познакомился с Чириковым и Горьким, оставившим о нем воспоминания: «Аскет, он зиму и летом гулял в легком пальто, в худых башмаках, жил впроголодь и при этом еще заботился о „сокращении потребностей“ — питался в течение нескольких недель одним сахаром, съедая его по три осьмых фунта в день — не больше и не меньше... Он был весь какой-то серый, а светло-голубые глаза улыбались улыбкой счастливица, познавшего истину в полноте, недоступной ни-

кому, кроме него. Ко всем инаковерующим он относился с легким пренебрежением, жалостливым, но не обидным» (Горький М. Собр. соч.: В 30 т. М., 1951. Т. 15. С. 28).

[^^^]

Плеханов *Георгий* *Валентинович*
(1856–1918) — политический деятель, философ, теоретик марксизма. Вначале — народник, один из руководителей «Земли и воли» и «Черного передела», затем один из основателей РСДРП. После раскола на II съезде — близок к меньшевикам, выступал против вооруженной борьбы с царизмом. В Первую мировую войну возглавил группу «Единство», занявшую оборонительную позицию. Вернулся из эмиграции, которая началась в 1880 г., в 1917. Октябрьскую революцию не принял, считал, что Россия к социалистической революции не готова. В переименовании названия сквозит презрение говорящего к заграничной группе марксистов.

[^^^]

Имеется в виду группа «Освобождение труда».

[^^^]

«*Капитал*» — важнейший труд К. Маркса (1867) по политической экономии, на котором выстроена теория марксизма. В «Капитале» содержался критический анализ капитализма, основывающийся на диалектико-материалистическом подходе к природе и историческому процессу.

[^^^]

Знающие Скворцова указывали, что он «знал чуть ли не наизусть целые страницы» из «Капитала» и «мог часами составлять разные схемы, следуя за формулами, набросанными Марксом» (Валентинов Н. Недорисованный портрет... М., 1993. С. 481–482). В воспоминаниях современника Скворцов характеризовался следующим образом: «Этот человек, по справедливости, должен считаться одним из главных основоположников российского „марксизма“. Он стал его проповедовать еще тогда, когда мало кто знал в России о Марксе и его знаменитой книге „Капитал“. Распространением учения Маркса он усердно занимался и в кружках молодежи, и в своих статьях, печатавшихся в „Юридическом вестнике“ и в др. того времени. Как это ни странно, но все эти издания, ничего общего не имевшие с марксизмом, давали полную возможность этому „марксисту“ проводить свои „идеи“. Великий „марксист“ Ленин пришел уже позже, а в эти годы он был всего лишь тот же робкий ученик П. Н. Скворцова» (Волжанин О. Юный

Горький (Из моих литературных воспоминаний) // Дни. 1928. 25 марта (№ 1369). С. 4). О том, что «он подходил к марксизму, как к Евангелию, которое открыло истину», писал встречавшийся с ним историк марксизма Г. Л. Бешкин (Нижегородский краеведческий сборник. Н.-Новгород, 1929. Т. 2. С. 199). У Чирикова здесь хронологический «сбой»: Ульянов впервые подписал псевдонимом «Ленин» одну из своих статей в «Искре» в декабре 1901 г., в то время когда Скворцов, активно печатаясь в конце 80-х — начале 90-х гг., уже отошел от публикаторской деятельности.

[^^^]

Знакомство П. Н. Скворцова с Лениным состоялось в Нижнем Новгороде в 1893 г., где они «схватились» по поводу особенностей развития русского капитализма. Скворцов утверждал, опираясь на опыт европейских государств, что разложение общины и «освобождение» крестьянства от земли, то есть разорение, — единственно возможный путь, и ссылался при этом на последнюю главу первого тома «Капитала», где и говорилось о неизбежной жестокой дифференциации сельского населения. По мысли Ленина, которую он развивал в 1890-х гг., необходимо было как раз экспроприировать помещичью землю, национализировать ее и создать почву для фермерских отношений. Это расхождение привело к тому, что Скворцов назвал Ленина «ревизионистом» (см.: Нижегородский краеведческий сборник. Н.-Новгород, 1929. Т. 2. С. 209, 214).

[^^^]

Черемшанские скиты — старообрядческие монастыри Саратовской губернии, расположенные недалеко от города Хвалынска, в долине речки Черемшан, впадающей в Волгу.

[^^^]

Иргиз — приток Волги, по берегам которого (после принятия Екатериной II в 1762 г. манифеста о заселении пустующих земель раскольниками из-за границы) стали селиться староверы, ранее бежавшие от преследований в Польшу. Первым основал скит на Иргизе в 1763 г. старовер Авраамий. Со временем старообрядческие скиты превратились в монастыри, которые в годы царствования Николая I были превращены в единоверческие.

[^^^]

Еруслан — левый приток Волги, на берегах которого по указу 1762 г. старообрядцам также было разрешено селиться.

[^^^]

Парафраз строк Ветхого Завета (Екк. 1, 17–18): «И предал я сердце мое тому, чтобы познать мудрость и познать безумие и глупость; узнал, что и это — томление духа. Потому что во mnogой мудрости много печали; и кто умножает познания, умножает скорбь» (русский перевод).

[^^^]

Таксатор — специалист, производящий оценку леса, инвентаризацию.

[^^^]

Лавра. — Киево-Печерская лавра, крупнейший мужской монастырь на Руси, основанный в Киеве в 1051 г.

[^^^]

В Поволжье голодовка... — Голод, возникший в Поволжье 1891–1892 гг., был вызван неурожаем, вслед за которым началась эпидемия холеры. От голода в основном пострадали восточные области черноземной зоны (двадцать губерний с 40-миллионным крестьянским населением). По всей России прошла широкая волна правительственной и общественной помощи голодающим: в городах собирались средства, в деревнях организовывались столовые, проводилась раздача зерна, врачи безвозмездно работали в районах, охваченных эпидемией.

[^^^]

В 1891 г. Лев Толстой вместе с родными организовывал на свои средства столовые для крестьян в Рязанской губернии.

[^^^]

Экономия — поместье, хозяйство.

[^^^]

Отсылка к евангельской притче, в которой рассказывается, как некий человек посеял семена пшеницы, а его враг на том же поле разбросал ночью семена сорняков. Когда на поле появились первые ростки, выяснилось, что вместе с пшеницей взошли и плевелы, и слуги предложили уничтожить их, на что хозяин ответил: «Оставьте вместе расти то и другое до жатвы; и во время жатвы я скажу жнецам: соберите прежде плевелы и свяжите их в связки, чтобы сжечь их, а пшеницу уберите в житницу мою» (Мф. 13,30).

[^^^]

Вехтерев — Бехтерев Владимир Михайлович (1857–1927) — медик-психиатр, невропатолог, физиолог, психолог, основоположник рефлексологии и патопсихологического направления в России. Окончил Санкт-Петербургскую медико-хирургическую академию, с 1885 г. состоял профессором Казанского университета и заведующим психиатрической клиникой окружной казанской лечебницы, где, по-видимому, и состоялось знакомство с Чириковым. С 1893 г. возглавлял кафедру нервных и душевных болезней Медико-хирургической академии, основал журнал «Неврологический вестник». В 1900 г. был избран председателем Русского общества нормальной и патологической психологии, в 1907 г. основал в Санкт-Петербурге Психоневрологический институт.

[^^^]

Работая у А. Н. Хардина, Ленин в 1892–1893 гг. несколько раз выступал в Самарском окружном суде в качестве защитника по делам крестьян, обвиняемых в кражах.

[^^^]

Имеются в виду, по-видимому, газета «Самарский вестник» (выходила ежедневно с 1894 г.; редакторы-издатели В. Н. Умнов, Г. Е. Курбатов, Н. К. Реутовский), ставшая с 1895 г. органом легального марксизма, и «Самарская газета» (1894–1905, издатель И. П. Новиков), предоставлявшая свои страницы социал-демократам (в ней печатались А. И. Ульянова, В. И. Ленин и др.).

[^^^]

Перефразированные слова Господа, обращенные к пророку Моисею: «Так говорит Господь, Царь Израиля, и Искупитель его, Господь Саваоф: Я первый и Я последний, и кроме Меня нет Бога, ибо кто как Я?» (Ис. 44, 6).

[^^^]

Тумаша (диал.) — суматоха, суета, сумбур.

[^^^]

Духоборец — принадлежащий к секте духовных христиан, отвергающих внешнюю церковную обрядность.

[^^^]

В карточной игре король черной масти. Ино-
сказательно: верзила, здоровяк.

[^^^]

Парафраз слов: «...и враги человеку — домашние его» (Мф. 10, 36).

[^^^]

Мф. 6, 10.

[^^^]

См. Послание апостола Павла к Колоссянам (3, 10–11): «...по образу Создавшего его, где нет ни Еллина, ни Иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, Скифа, раба, свободного, но все и во всем Христос».

[^^^]

«Новый Израиль». — Религиозное течение, выделившееся в начале XX в. из секты хлыстов, основными чертами вероучения которых являлись «духовное» понимание православия, отказ от его внешнеобрядового характера, вера в мистическое единение верующего с Богом. Одним из руководителей секты был В. С. Лубков, отменивший жестокие ограничения христоверия: брак допускался (но не в церковной форме), радения были заменены религиозными мистериями.

[^^^]

Корабль — т. е. община.

[^^^]

Хлысты — возникшая в России в конце XVII — начале XVIII в. секта духовных христиан, основной формой богослужения которых были «радения», включающие религиозные песнопения и пляски, доводящие участников до экстаза, воспринимаемого как единение со Святым Духом.

[^^^]

Речь идет об акварели К. П. Брюллова (1799–1852) «Сон монашенки» (1831).

[^^^]

Вакх — в античной мифологии одно из имен бога виноградарства Диониса, в честь которого в Древнем Риме устраивались празднества (вакханалии).

[^^^]

Астарта — в древнефиникийской мифологии богиня плодородия, материнства и любви.

[^^^]

Венера Лесбийская — обозначение, изобретенное Чириковым, по аналогии с Венерой Кипрейской, чей культ существует на о. Кипр, Венерой Милосской, чью статую обнаружили на о. Мелос, и т. п., дабы подчеркнуть лесбийскую основу отправления хлыстовских обрядов и их связь с языческими культурами.

[^^^]

В притче (Лк. 15, 11–32), называемой «о блудном сыне», рассказывается о том, что некий человек разделил имущество свое между двумя сыновьями. Младший, забрав свою долю, ушел из дома и, скитаясь, вскоре расточил свое состояние. Дойдя до крайней степени нужды, он решил вернуться в отчий дом. Отец принял его и, видя его искреннее раскаяние, велел устроить пир.

[^^^]

Троицкий *Желтоводский монастырь* (г. Макарьев) был основан в 1435 г. преподобным Макарием, в 1439 г. подвергся разрушению татарами, был восстановлен в 1626 г. иноком Авраамием, в 1883 г. стал женским. Около монастыря находилось большое и глубокое озеро, названное местными жителями «Желтые воды» и считавшееся святым. По преданию, преподобный Макарий крестил в нем язычников и магометан, принимавших христианскую веру.

[^^^]

Илия-пророк (IX в. до Р.Х.) жил во время правления царя Ахава, когда иудеи поклонялись языческому богу Ваалу. В наказание Господь послал на них засуху, а Илия ушел в пустыню, куда по воле Божьей пищу ему приносил ворон.

[^^^]

Словосочетание «народ-богоносец» произносит Шатов во время беседы со Ставрогиним («Бесы», гл. VII).

[^^^]

Травянистое растение семейства гвоздичных.

[^^^]

Боккаччо Джованни (1313–1375) — итальянский писатель и поэт. Центральное произведение — «Декамерон» (1350–1353, опубликовано в 1470) — книга новелл, проникнутых духом свободомыслия и неприятием аскетической морали.

[^^^]

Прическа, при которой косы укладывались вокруг головы один или два раза (в зависимости от длины).

[^^^]

Намек на героиню комедии (1854), манерную, жеманную Любочку Торцову.

[^^^]

Многие старообрядцы выступали против почитания икон и других изображений Христа и святых, считая это идолопоклонством и ссылаясь в подтверждение своих слов на ветхозаветные заповеди.

[^^^]

Китайский болванчик — фигурка, изображающая сидящего божка с неплотно приделанной головой, которая покачивается от прикосновения.

[^^^]

Флюсгармонья (простореч.) — фисгармония, клавишный духовой музыкальный инструмент с мехами.

[^^^]

Так говорили о вступивших в брак без церковного венчания.

[^^^]

Так говорят о человеке (в первую очередь, о женщине) как физически и духовно слабом, незащищенном существе. Скудельный — глиняный.

[^^^]

Почитание мужского и женского лидеров, называемых «христ» и «богородица» и существовавших в каждой общине, практиковалось у хлыстов. Общение со Святым Духом, мистическое воссоединение верующего с Богом, достижение духовного совершенства происходит во время радений, включающих в себя чтение Священного Писания, песнопения, кружение и некоторые другие действия.

[^^^]

Речь идет о рассказе Л. Н. Толстого «Много ли человеку земли нужно» (1886), тема которого связана с народным башкирским преданием об объезде или обегании земли, кончающемся смертью. Мораль притчи: могила занимает очень мало места, и он не возьмет с собой того, чем обладал при жизни.

[^^^]

Таратайка — легкая двухколесная повозка с откидным верхом.

[^^^]

У русских старообрядцев образ Вавилонской блудницы ассоциировался с Москвой, где зародилась ересь, патриархом Никоном и Русской церковью в целом. Восходит к «Откровению Иоанна Богослова» (17, 1–5) и апокалиптическому образу города Вавилона, который воспринимался христианами как символ духовного разврата и средоточия всякого рода пороков.

[^^^]

Сравнение восходит к Новому Завету, где Христос аллегорически изображен в образе доброго пастыря, а овечье стадо, которое он паст, символизирует христиан, находящихся под защитой Господа. В обыденной речи пастырем называют священника, а стадом — прихожан его храма, которых он должен оберегать и духовно направлять.

[^^^]

«Тогда говорит им: итак отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу» (Мф. 22, 21) — ответ Христа на вопрос фарисеев о необходимости платить подать кесарю. Так как Иудея находилась под властью Рима и римского императора, то отказ платить дань мог быть расценен как государственное преступление, а согласие с тем, что надо повиноваться римским властям, сделало бы Иисуса противником иудейского народа. В переносном смысле — четкое разделение обязательств.

[^^^]

Чириков указывает на реальное историческое лицо. В своей брошюре «Народ и революция» (Ростов-на-Дону. 1919. С. 23), ссылаясь на «Исторический вестник» (1908. № 5), он пишет, «что коноводом беспорядков в селе Машиновке явился некий отставной солдат из сектантов, Глеб Синев. Он еще задолго до 1905 г. основал в селе и окрестностях какую-то секту. Священник зорко следил за Синевым, но последний формально оставался прихожанином церкви и до осени 1905 года никаких активных действий не предпринимал. Когда же в Саратовской губернии началось крестьянское движение, то Синев сбросил маску и около него стали группироваться все недовольные: началась широкая критика существующего порядка. Синев открыто стал отрицать необходимость властей, до царской власти включительно, а также указывать на необходимость уравнивания благ путем насильственного отнятия имущества у помещиков и вообще у богатых». *Калугуры* (кулугуры) — старообрядцы-беспоповцы, проживавшие на

территории Саратовской, Самарской, Оренбургской губерний в XVIII — начале XX вв.; бегуны (странники) — толк в старообрядчестве со второй половины XVIII в., последователи которого призывали уклоняться от повинностей и государственных обязанностей, убежать и прятаться в пустынных местах, проповедовали близкий конец света; *штундисты* — последователи сектантского течения, возникшего во второй половине XIX в. под влиянием протестантизма, элементы которого сочетали с вероучениями духовных христиан.

[^^^]

т. е. конституции.

[^^^]

В начале 1862 г. неудовлетворенные «Положением» 19 февраля 1861 г. члены тверского дворянского собрания во главе с юристом и выдающимся общественным деятелем А. М. Унковским (1828–1893) потребовали от правительства созыва бессловного представительства, в ответ на что 13 мировых посредников были арестованы и высланы. Вторично с запиской, содержащей прошение даровать России самоуправление, неприкосновенность прав личности, независимость суда, свободу печати и т. д., земцы Тверской губернии обратились к Александру II в 1879 г.

[^^^]

Имеется в виду реакция Николая II на поздравительный адрес представителей тверского земства, отправленный ему в 1904 г. по случаю его вступления на престол. В частности, высказывалось пожелание об участии представителей земств в делах внутреннего управления, что вызвало гнев царя. На торжественном приеме в середине января 1895 г. он объявил всем тверским предводителям дворянства выговор, а Ф. И. Родичеву (1854–1933), автору поздравительного адреса, было запрещено впредь занимать общественные должности.

[^^^]

Возможно, Чириков имеет в виду речь, которую произнес, находясь на военных маневрах в Курске, 1 сентября 1902 г. Николай II. В ней он перед местными волостными старшинами и сельскими старостами повторил слова своего отца, императора Александра III, сказанные им на торжественном обеде в честь коронации в 1883 г.: «Следуйте советам и руководству ваших предводителей дворянства и не верьте вздорным и нелепым слухам и толкам о переделах земли, даровых прирезках и тому подобному. Эти слухи распускаются нашими врагами...». Однако следует указать, что это имело место спустя несколько лет после описываемых во второй книге романа событий.

[^^^]

Из стихотворения Н. А. Некрасова «Ночь. Успели мы всем насладиться» (1858). У Некрасова: «Предоставив почтительно нам, / Погружаться в искусства, в науки, / Предаваться мечтам и страстям»; «В столице шум, гремят витии».

[^^^]

Струве Петр Бернгардович (1870–1944) — ученый, крупный экономист и философ, историк, публицист, политический деятель. Один из первых русских марксистов, основоположник «легального марксизма». В 1890-е гг. редактировал журналы «легальных марксистов» «Новое слово» и «Начало». Вскоре перешел на позиции идеализма, что было обусловлено трансформацией его политических взглядов. К началу XX в. сблизился с либеральным движением, редактировал заграничный журнал русских марксистов «Освобождение» (1902–1905), стоял у истоков «Союза освобождения» — их первой крупной организации (1903–1905). С 1905 г. — член ЦК кадетской партии, крупнейший идеолог ее правого крыла. Депутат II Государственной думы (1907), редактор журнала «Русская мысль» (1906–1917). В 1920 г. эмигрировал в Прагу, затем переселился в Париж, где продолжал активную издательскую и исследовательскую работу.

[^^^]

Туган-Барановский Михаил Иванович (1865–1919) — экономист, историк, один из пионеров «легального марксизма» в России, близкий друг и единомышленник П. Б. Струве. В 1895–1899 гг. — приват-доцент Петербургского университета по кафедре политэкономии. Постоянно участвовал в диспутах против народников, доказывая, что капитализм в России прогрессивен и исторически обусловлен. С 1900-х гг. стал выступать с критикой основных положений марксизма. С 1913 г. — профессор Петербургского политехнического института. В конце 1917-го — январе 1918 г. — министр финансов Центральной рады на Украине. Один из основателей Украинской Академии наук.

[^^^]

Ежемесячный научный, политический и литературный журнал марксистской направленности, выходил с января по май 1899 г. Официальным редактором-издателем считалась А. А. Воейкова, но реальными редакторами были П. Б. Струве и М. И. Туган-Барановский. Гражданский муж Воейковой М. И. Гурвич, субсидировавший журнал, был агентом Департамента полиции.

[^^^]

Победоносцев Константин Петрович (1827–1907) — юрист, государственный деятель, обер-прокурор Синода. Автор манифеста 29 апреля 1881 г. об укреплении самодержавия. Проводник консервативного курса, противник парламентаризма. После манифеста 17 октября 1905 г. вышел в отставку.

[^^^]

Ливадия — посёлок в Крыму, где расположен Ливадийский дворец, ставший с 1861 г. летней резиденцией императора Александра II и императорской семьи.

[^^^]

Автора обращения установить не удалось.

[^^^]

Центральные понятия социологического учения народника Н. К. Михайловского, который под истиной понимал явления и законы реальной действительности, а под справедливостью — свободу личности, ее интересы и права.

[^^^]

Михайлов Александр Дмитриевич (1855–1884) — революционер, один из организаторов «Земли и воли» и «Народной воли», участвовал в покушении на Александра II в 1881 г. В 1882 г. приговорен к вечной каторге, умер в Петропавловской крепости.

[^^^]

Парафраз строк Первого послания Иоанна (Ин. 4, 8): «Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь».

[^^^]

Парафраз высказанной К. Марксом в предисловии к первому изданию «Капитала» мысли: «Общество <...> не может ни перескочить через естественные фазы развития, ни отменить последние декретами. Но оно может сократить и смягчить муки родов».

[^^^]

«Атеистом же так легко сделаться русскому человеку, легче, чем всем остальным во всем мире! И наши не просто становятся атеистами, а непременно уверуют в атеизм, как бы в новую веру, никак и не замечая, что уверовали в нуль» («Идиот». Ч. IV).

[^^^]

Имеются в виду экономисты, литературные критики, историки, соединявшие народническую идеологию с убежденностью в существовании экономических законов развития, определяющих смену общественно-исторических формаций (исторический материализм). К ним относились, например, видные литературные критики Е. А. Соловьев-Андреевич, А. И. Богданович и др.

[^^^]

Ионыч — см. коммент. 228. Чебутыкин — персонаж пьесы А. П. Чехова «Три сестры» (1900), человек, разочаровавшийся в жизни, потерявший веру, духовно опустившийся.

[^^^]

Романы «Санин» (1907) М. П. Арцыбашева и «Дух времени» (1907) и «Ключи счастья» (1909–1913) А. Н. Вербицкой, а также «Люди» (1910) А. П. Каменского, «Гнев Диониса» (1911) Е. А. Нагродской и др. стали ответом на увлечение русского общества философией Ницше и идеями феминизма. В своих произведениях авторы призывали к раскрепощению и следованию биологическим инстинктам, что, в свою очередь, по их мнению, должно было способствовать раскрытию артистических и интеллектуальных способностей человека.

[^^^]

Славянофильство — направление русской общественной и философской мысли, сложившееся в 1830–1850 гг., представители которого верили в наличие у России собственного, самобытного пути исторического развития, принципиально отличного от западноевропейского пути. Народничество по большей части унаследовало эти идеи. Они оперировало понятием «русская душа», видя в ней выражение особенностей русского характера (сочетание жертвенности и покорности Богу с волей и стремлением к правде). В противовес им марксизм как явление западничества признавал деление общества по классовому, подавляющему национальное начало признаку и отстаивал идеи интернационализма. Яркий пример — лозунг: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»

[^^^]

Морозова (Соковнина) Феодосия Прокопиевна (1632–1675) — боярыня, старообрядка, состояла в переписке с Аввакумом. Арестована в 1671 г. Умерла в заточении в Боровске.

[^^^]

Аввакум. — Кондратьев Аввакум Петрович (1621–1682) — глава старообрядчества, идеолог раскола в Православной церкви, протопоп, духовный писатель. Наиболее известное его сочинение «Житие протопопа Аввакума»). Аввакум выступил против исправления церковных книг патриархом Никоном, изменившим по греческим образцам некоторые обряды и тексты богослужебных книг, за что до конца жизни терпел преследования: в 1653 г. был сослан в Тобольск, затем в Енисейск. После нескольких возвращений в Москву и увещаний его расстригли, прокляли и затем сослали в Пустозерский острог, а после приговорили к сожжению.

[^^^]

Раскол — общественно-религиозное движение в России середины XVII в., направленное против официальной церкви, возглавлявшейся патриархом Никоном, и к концу XVII в. получившее название старообрядчества. *Бегуны* — старообрядческая секта, члены которой намеренно обрекали себя на жизнь «без определенного места жительства», документов и какого-либо гражданского положения. *Самосжигатели*, или «самосожженцы», — крайне непримиримое и изуверское по отношению к своим адептам течение, которое предписывало последователям кончать свою жизнь в огне. *Духоборы* отказываются признавать любую мирскую власть, верят, что Бог неотделим от человека, а их духовные вожди — это новые воплощения Иисуса Христа. Они не признают священства и отрицают таинства крещения и брака.

[^^^]

Любим Торцов — персонаж комедии А. Н. Островского «Бедность не порок» (1853), промотавший свое состояние, но сумевший остаться, несмотря на свое падение, порядочным человеком. В повести М. Горького «Фома Гордеев» (1899) представлена широкая картина русской купеческой жизни на сломе эпох и разнообразные типы купцов (Игнат Гордеев, Яков Маякин, Ананий Щуров, Африкан Смолин, Тарас Маякин, однако Артемьева нет). Возможно, эта фамилия возникла у писателя потому, что артист А. Р. Артемьев (Артем) играл в пьесах М. Горького, но не исключено, что она возникла по созвучию с Артамоновым («Дело Артамоновых» было знакомо Чирикову).

[^^^]

Отсылка к поэме Н. А. Некрасова «Саша» (1855).

[^^^]

Возможно, имеется в виду народная песня
«Сторона ль моя, сторона-сторонушка».

[^^^]

Возможно, отсылка в сказке М. Е. Салтыкова-Щедрина «Богатырь» (1886), где выведен обобщенный образ русского народа. А также намек на интернациональную идеологию марксизма («ученые умники») и споры, которые велись в близких к марксизму кружках и выливались в требования народников и либералов найти свое национальное лицо. Иронически поиски «национального лица», адресуя свой сарказм П. Б. Струве, озабоченному поисками национальной идеи, высмеял М. Горький в пятой сказке (1912) цикла «Русские сказки».

[^^^]

В древнерусских преданиях XIII в. Китеж — город, чудесным образом спасшийся от монгольского разорения. При приближении армии Батыеа стал невидимым и опустился на дно озера Светлояр. По народным поверьям, в городе и поныне живут спасшиеся праведники.

[^^^]

Нашествие татаро-монголов на Русь началось в XIII в.

[^^^]

Образ града Китежа встречается в произведениях таких поэтов и прозаиков, как А. Н. Майков (стихотворная пьеса «Странник», 1867); П. И. Мельников-Печерский (рассказ «Гриша», 1861; роман «В лесах», 1871–1875); В. Г. Короленко («В пустынных местах», 1890); З. Н. Гиппиус («Светлое озеро», 1904), М. М. Пришвин («У стен града невидимого», 1909) и др. Легенды о нем легли в основу опер С. Н. Василенко «Сказание о граде Великом Китеже и тихом озере Светлояре» (1902), Н. А. Римского-Корсакова «Сказание о невидимом граде Китеже и деде Февронии» (1907). Китежу посвящены картины русских художников А. Васнецова, Н. Рериха, М. Нестерова, К. Коровина, но они (кроме декораций Васнецова к несостоявшейся постановке оперы Василенко) были созданы значительно позднее описываемых Чириковым событий.

Иванов день (Иван Купала) — рождество Иоанна Предтечи, 24 июня (7 июля), день летнего солнцестояния.

[^^^]

Поездки на Светлое озеро в конце 1900-х гг. предприняли М. Пришвин и супруги Мережковские, отразившие это событие в своих очерках.

[^^^]

Выражение связано с библейским мифом о том, как евреи на пути из египетского плена в Палестину осадили город Иерихон, обнесенный очень прочными стенами. Шесть дней утром и вечером по приказу израильских священников воины трубили в священные трубы, обходя город. На седьмой день стены не выдержали и рухнули. Иерихон был взят.

[^^^]

321

Тип мужской стрижки, когда волосы стригутся достаточно коротко, одинаково по всей длине.

[^^^]

Сиденье калиберных одноместных дрожек (калибера), названное так по сходству формы с гитарой, на которое мужчины садились верхом, а женщины боком.

[^^^]

Имеется в виду Софья Андреевна Иванова (в замуж. Борейша; 1856–1927) — входила в состав московских и петербургских народнических кружков, участвовала в Казанской демонстрации 1876 г., была арестована и в 1877 г. приговорена к ссылке на поселение, но оставлена в тюрьме и вторично судилась по процессу 193-х. Судебное дело революционеров-народников (официальное название «Дело о пропаганде в Империи») разбиралось в Петербурге в Особом присутствии Правительствующего Сената с 18 октября 1877 г. по 23 января 1878 г. К суду были привлечены участники «хождения в народ», арестованные за революционную пропаганду с 1873 по 1877 гг. Главными обвиняемыми стали С. Ф. Ковалик, П. И. Войнарапский, Д. М. Рогачев и И. Н. Мышкин, также в качестве обвиняемых проходили А. И. Желябов, С. Л. Перовская, Л. А. Тихомиров и др. В итоге суд приговорил 28 человек к каторге от 3 до 10 лет, 36 — к ссылке, более 30 человек — к менее тяжелым формам наказания. Остальные были оправда-

ны (или освобождены от наказания ввиду продолжительности нахождения в предварительном заключении), но Александр 11 санкционировал административную высылку для 80 из оправданных судом человек. По окончательному приговору Иванова была выслана в Кемь, откуда в 1879 г. бежала.

[^^^]

Про домо суа — дословно: «в защиту своих интересов» — латинское выражение (*pro domo sua*), сделавшееся ходячим благодаря речи Цицерона с этим заголовком, в которой он говорит о себе самом. У Чирикова употреблено в значении «между нами».

[^^^]

Страстная (Страстная седмица) — неделя перед Пасхой, когда вспоминаются последние дни земной жизни Христа (страданий, смерти и погребения).

[^^^]

(Пс. 117, 24): «Сей день сотворил Господь: возрадуемся и возвеселимся в оный!».

[^^^]

Отсылка к стихотворению Н. А. Некрасова:
«В полном разгаре страда деревенская...»
(1862–1863).

[^^^]

Слова Мазепы из поэмы А. С. Пушкина «Полтава» (1828–1829).

[^^^]

Кустодиев Борис Михайлович (1878–1927) — живописец, иллюстратор, театральный художник, представитель модерна. Наиболее известные картины воспроизводят сцены крестьянского и купеческого быта («Купчиха за чаем», «Купчиха и домовый»).

[^^^]

Конт Огюст (1798–1857) — французский философ и социолог, родоначальник позитивизма, основоположник социологии как самостоятельной науки. В «Курсе позитивной философии» (1830–1842) развил концепцию «трех стадий», которые переживает общество: теологическая стадия, характеризующаяся господством религиозно-мифологического сознания, метафизическая, когда при объяснении первопричин и сущностей главенство получают абстрактные понятия, и позитивная, где благодаря наблюдению и эксперименту выделяются постоянные связи явлений, на основе которых формулируются законы. Согласно критерию перехода от абстрактного к конкретному, Конт располагал науки в следующем порядке: математика, астрономия, физика, химия, биология и социология. Социология изучает наиболее общие законы, по которым живет человеческое общество как единое целое.

По-видимому, Чириков подразумевает тот раскол, который произошел в редакции «Искры», когда «молодежь» (Ленин и его сподвижники) вступила в конфронтацию со «стариками» (Плеханов и его окружение). Однако он забегает несколько вперед, так как полностью расхождение обнаружилось только в 1903 г., хотя расхождения наблюдались и ранее. Фразу же в целом надо воспринимать иронически: автор хочет подчеркнуть, что в «революционном штате» проживающих в левом флигеле дома собрались представители самых разнообразных течений радикальной политической мысли, серьезно расходящиеся по своим убеждениям.

[^^^]

...«парвеню»-то не прикроешь... — (от фр. parvenu — добившийся успеха, разбогатевший) — человек незнатного происхождения, добившийся вхождения в аристократическую среду и подражающий аристократам в своем поведении, манерах; выскочка. Зд.: в значении плохие манеры, некультурность.

[^^^]

«Золотой осел», или «Метаморфозы» Апулея (II в. н. э.) — единственный полностью дошедший до современности античный роман, отличающийся ярко выраженной эротической окраской. В нем рассказывается о похождениях римского юноши Луция, превратившегося в осла. В животном обличье он попадает к различным хозяевам и видит жизнь всех слоев позднеантичного общества — от земледельцев и разбойников до жрецов и богатых горожан, всюду наблюдая падение нравов.

[^^^]

Плис — хлопчатобумажная ткань с ворсом, похожая с лицевой стороны на бархат.

[^^^]

Троица — христианский праздник, знаменующий день сошествия Святого Духа на апостолов, после чего они смогли начать проповедовать учение Христа. Празднуется на пятидесятый день после Пасхи (поэтому также именуется Пятидесятницей). По традиции, в этот день храмы изнутри украшают цветами и зелеными ветками (чаще березовыми).

[^^^]

Пристяжные — лошади, запрягаемые сбоку от оглобель для помощи коренной, центральной, лошади в тройке. Зд.: ироническое определение сопровождающих.

[^^^]

Соломенная вдова — женщина, живущая во временной разлуке с мужем.

[^^^]

Чесуча (чесунча) — плотная шелковая ткань, обычно желтовато-песочного цвета.

[^^^]

«Мир как представление» и «мир как воля» — исходные идеи учения немецкого философа А. Шопенгауэра (1788–1860), изложенные им в основном труде «Мир как воля и представление» (1819–1844). Философ предлагал синтезировать рациональное и интуитивное мышление, поскольку человек воспринимает мир, прежде всего, как некое единство, обладающее вечным и постоянным движением и изменением, т. е. вечной вибрацией, которую Шопенгауэр и назвал «мировой волей» и фиксировал четыре основные ступени ее проявления: силы природы, растительный мир, животное царство и, собственно, человек, единственный из всех одаренный способностью к абстрактному мышлению (представлению). Анархизм — учение об обществе, признающее в качестве руководящего начала только волю отдельной личности. Основателем научной теории анархизма был У. Годвин, идеи развивали П. Ж. Прудон, М. Штирнер, П. А. Кропоткин, М. А. Бакунин и др. В анархизме выделяются два течения, основой

которых являются коллективизм и индивидуалистический анархизм. В отличие от индивидуалистического анархизма, подчеркивающего личную автономию, социальный анархизм связывает свободу личности с социальным равенством и подчеркивает значение общественного объединения и взаимопомощи. Если индивидуальный анархизм утверждает важность и необходимость частной собственности, то социалистический анархизм в частной собственности усматривает источник социального неравенства.

[^^^]

Маркс Карл (1818–1883) — немецкий философ, экономист, политический журналист, научные труды и публикации которого сформировали в философии диалектический и исторический материализм, в экономике — теорию прибавочной стоимости, в политике — теорию классовой борьбы, получившие общее название — марксизм.

[^^^]

Штирнер Макс (1806–1856) — немецкий философ-младогегельянец, идеолог анархизма. Исходным теоретическим пунктом мировоззрения Штирнера был тезис о самосознании как творческой силе истории. Идеалы и социальные черты человека представляют собой нечто общее, тогда как всякая личность единична. Понятия «человек», «право», «мораль» и т. п. он трактовал как отчужденные формы индивидуального сознания, их источник — сила и могущество отдельной личности. Главное произведение — «Единственный и его собственность» (1845).

[^^^]

Ницше Фридрих (1844–1900) — немецкий философ, представитель философии жизни. Испытал влияние А. Шопенгауэра и Р. Вагнера. В своих сочинениях, написанных в жанре философско-художественной прозы, выступал с анархической критикой культуры, проповедовал эстетический имморализм. Создатель мифа о «сверхчеловеке», воплотившего индивидуалистический культ сильной личности в сочетании с романтическим идеалом «человека будущего».

[^^^]

На Троицу было принято бросать венки в воду, гадая о будущей судьбе. Омовение в реке чаще совершалось в празднование Ивана Купалы. В частушке отражается «народная обрядовость» — соединение нескольких примет и обычаев, пренебрежение точностью выполнения предписаний.

[^^^]

Во время Троицких гуляний девушки шли в лес завивать венки, т. е. скручивали ветки березы в виде венка, перевязывали ветки лентами, приплетали их к траве, а через неделю, на Петровское заговенье, березки развивали, делали венки и бросали в реку или озеро: если венок утонет — с девушкой случится несчастье, в какую сторону поплывет — туда и выйдет замуж.

[^^^]

Кэк-куок (англ. *sake-walk*) — танец американских негров, вошедший в моду в начале XX в. в Европе и Америке. Сопровождался резкими телодвижениями, считался вызывающим.

[^^^]

«*Карманьола*» — французская народная революционная песня XVIII в., а также танец в ритме этой песни.

[^^^]

Польское восстание 1863 г. было вызвано стремлением к восстановлению национальной независимости Польши. Оно началось с нападения на русские гарнизоны, расположенные в небольших городах и местечках. Временное национальное правительство издало манифест о независимости Польши и передаче всей обрабатываемой земли крестьянам. К концу лета 1864 г. сопротивление восставших было подавлено, 400 повстанцев были казнены, 15 тысяч человек сосланы в Сибирь.

[^^^]

Стихотворение П. И. Вейнберга (1831–1908)
«Доктрина» (1867). Подражание одноименно-
му стихотворению Г. Гейне (1846).

[^^^]

Еще Польша не сгинела... — государственный гимн Польши (с 1926 г.). Мелодия песни заимствована у «Марша Домбровского», народной песни о генерале Яне Домбровском (1755–1818), одном из предводителей восстания Тадеуша Костюшко 1794 г. Слова написал политик, публицист и сподвижник Костюшко Юзеф Выбицкий (1747–1822).

[^^^]

«Марсельеза» — французская революционная песня. Слова и музыка К. Ж. Руже де Лиля (1792). Стала государственным гимном Франции. В России получил распространение перевод П. Л. Лаврова, сделанный в 1875 г.

[^^^]

Крупская Надежда Константиновна (1869–1939) — участница социал-демократического движения, жена и соратник Ленина, педагог, теоретик библиотечного дела. С 1891 г. преподавала в вечерне-воскресной школе для рабочих. В 1896 г. арестована, выслана в Уфу, переведена отбывать ссылку в Шушенское, где и произошло венчание с В. Ульяновым. Секретарь газет «Искра», «Вперед» и др. После 1917 г. работала в Наркомпросе, участвовала в исследовательской и издательской деятельности Института Ленина.

[^^^]

В Швейцарии (Лозанна, Женева, Цюрих) жило большинство эмигрировавших социал-демократов. «Искра» — русская заграничная социал-демократическая газета, с 1900 по 1905 г. вышло 112 номеров. В состав редакции входили В. И. Ленин, Ю. О. Мартов, Г. В. Плеханов, П. Б. Аксельрод, В. И. Засулич. После раскола РСДРП на II съезде (1903) в редакции остались Ленин и Плеханов, затем Ленин вышел из ее состава, и «Искра» стала органом меньшевистской фракции.

[^^^]

Во время демонстрации, устроенной харьковскими рабочими 1 мая 1900 г., впервые был выдвинут лозунг «Долой самодержавие!».

[^^^]

Аксельрод Павел Борисович (1850–1928) — участник революционного движения, «чайковец». После раскола партии «Земля и воля» примкнул к «Черному переделу». В 1883 г. вместе единомышленниками основал группу «Освобождение труда». Меншевик с 1903 г., после Февральской революции поддержал Временное правительство. Не принял Октябрьскую революцию, эмигрировал.

[^^^]

Засулич Вера Ивановна (1850–1919) — деятель революционного движения. В конце 1868 г. познакомилась с С. Г. Нечаевым, пытавшимся вовлечь ее в создаваемую им организацию, за что была арестована в 1869 г. и находилась в заключении. После ссылки в 1877 г. вернулась в Петербург, участвовала в деятельности «Земли и воли». 24 января 1878 г. совершила покушение на петербургского градоначальника Ф. Ф. Трепова, была оправдана судом присяжных. В 1879 г. после раскола «Земли и воли» примкнула к «Черному переделу», уехала в эмиграцию, участвовала в создании группы «Освобождение труда», была членом редакций «Искры» и «Зари». После раскола РСДРП приняла сторону меньшевиков.

[^^^]

Дейч Лев Григорьевич (1855–1941) — участник революционного движения, публицист, переводчик, журналист, один из основателей группы «Освобождение труда». В 1884 г. арестован в Германии и выдан российскому правительству, был сослан в Благовещенск, откуда в 1901 г. бежал. В 1905 г. нелегально вернулся в Россию, в 1906 г. снова арестован и сослан в Енисейск, откуда также бежал за границу. В 1917 г. вернулся в Россию, в 1918–1921 гг. — научный сотрудник Историко-революционного архива, отошел от политической деятельности.

[^^^]

Бакунин Михаил Александрович (1814–1876) — революционер, публицист, теоретик народничества и анархизма. Критика им Маркса касалась главным образом будущего общественного устройства, в котором он прозревал черты прежнего буржуазного чиновничье-бюрократического государства с его ограничениями свободы и прав личности. Реализация идеи диктатуры пролетариата как представительной демократии, по его мнению, выльется в деспотическое управление массами со стороны отдельных привилегированных представителей правящей верхушки. Поэтому и социализм он рассматривал как царство буржуазности, ведущей в обезличенности человека, а Маркса как защитника этой буржуазности. Ленин же действительно сделал из марксистской теории крайние выводы и рассматривал наступивший в России исторический момент как канун неизбежной пролетарской революции (в этом и заключалось, по его убеждению, приспособлении взглядов Маркса к российской

действительности и формирование программы дальнейших действий, получившей впоследствии название ленинизма).

[^^^]

Имеется в виду поражение Мартова (наст. фам. Цедербаум, Юлий Осипович; 1873–1923), деятеля российского и международного социалистического движения, и его сторонников на II съезде РСДРП (1903), когда, разойдясь с Лениным по вопросам, связанным с партийным строительством, он оказался в «меньшинстве» и стал одним из лидеров меньшевизма.

[^^^]

«*Рабочее дело*» — журнал «экономистов», выходил в Женеве в 1899–1902 гг. под редакцией Б. Н. Кричевского, П. Ф. Теплова и В. П. Иваншина, а затем А. С. Мартынова. Редакция журнала придерживалась бернштейнианского лозунга «свободной критики марксизма».

[^^^]

«Третейский суд» — разбор спора, конфликта третьей, независимой стороной, обычно избираемой спорящими.

[^^^]

«Легальные марксисты» и «умеренные» считали, что вопрос о построении социализма в России не должен выноситься на повестку дня и что пропаганда вооруженной борьбы и революционного переворота, отстаиваемые большевиками, приведет к катастрофическим последствиям.

[^^^]

Бebel Август (1840–1913) — деятель германского и международного рабочего движения, один из основателей (1869) и руководителей социал-демократической рабочей партии Германии и II Интернационала, социолог, философ, историк.

[^^^]

Жорес Жан (1859–1914) — руководитель французской социалистической партии, с 1905 г. один из лидеров Объединенной социалистической партии. Основатель газеты «Юманите» (1904).

[^^^]

Волапюк — искусственный язык, изобретенный в 1879 г. немецким католическим священником Иоганном Мартином Шлейером, который хотел создать язык международного общения. Стал широко известен в конце XIX в.: выходила газета, было проведено несколько конференций. Однако в начале XX в. язык утратил свою популярность и был практически забыт, чему послужила сложность применения и бедность словарного состава.

[^^^]

Экономическое учение К. Маркса опиралось на английскую классическую политическую экономию А. Смита и Д. Рикардо, у которых он заимствовал теорию стоимости, закон тенденции прибыли к понижению, фактор производительности труда и др.

[^^^]

Второй Интернационал — международное объединение социалистических партий, основанное в Париже в 1889 г. при ближайшем участии Ф. Энгельса. Продолжил традиции Первого Интернационала. В 1900 г. был учрежден руководящий орган — Международное социалистическое бюро. Однако постепенно значительную роль стали играть реформисты, что вызывало недовольство левых, считавших необходимым создать новую международную организацию, нацеленную на свершение мировой революции. II Интернационал перестал функционировать с началом Первой мировой войны. Третий Интернационал был организован в 1919 г., объединил компартии различных стран.

[^^^]

В работах П. Н. Скворцова 1880-х гг. отстаивалась точка зрения, согласно которой разложение общины и «освобождение» (т. е. экспроприация) крестьянства от земли в конце XIX века в России неминуемы, и никакие попытки народников (патриотические заклинания и указания на национальные особенности России) противостоят наступлению капитализма не могут увенчаться успехом, а потому являются реакционными. См.: Итоги крестьянского хозяйства на южном трехпольном Черноземье (Юридический вестник. 1891. Т. 8. Кн. 1–2); О задолженности частного землевладения (Там же. Кн. 3–4).

[^^^]

Выражение получило широкое распространение после появления басни «Третейский судья, брат милосердия и пустынный» французского баснописца Жана де Лафонтена (1621–1695). На центральной площади Рима — Форуме — когда-то стояла мраморная колонна, от которой во все концы гигантской Римской империи расходились так называемые консульские (главные) дороги.

[^^^]

Имеются в виду статьи Н. К. Михайловского, печатавшиеся под этим названием почти в каждом номере журнала «Русское богатство» и имевшие широкий резонанс. Эта рубрика сохранялась и в его собраниях сочинений. Вероятнее всего, речь идет о прижизненном полном собрании сочинений в 6 томах, издававшемся в 1879–1883 и повторенном в 1896–1897 гг.

[^^^]

Возможно, подразумевается вера в неминуемое прогрессивное развитие человечества, чему отдал дань Н. М. Карамзин в своих исторических и философских трудах. В целом его взгляды можно охарактеризовать как рациональный провиденциализм и консерватизм (он уповал на самодержавие, которое обеспечит в России «отеческое правление», что снимает необходимость индивидууму действовать самостоятельно).

[^^^]

Имеются в виду рассказы А. П. Чехова «Унтер Пришибеев» (1885) и «Хирургия» (1884). В повести «Очарованный странник» (1873) Н. С. Лесков показал своеобразное мировосприятие, которое, по его мнению, свойственно русскому человеку: могучая жизнеутверждающая сила, постоянное испытание своей судьбы и в итоге смирение и преодоление гордыни, что, однако, не отменяет чувства собственного достоинства, душевной широты и отзывчивости.

[^^^]

Мицкевич Адам (1798–1855) — польский поэт (поэмы «Дзяды», «Пан Тадеуш» и др.), деятель национально-освободительного движения, был близок с декабристами, тесно общался с А. Пушкиным. После польского восстания 1830 г. эмигрировал, жил в Париже. В 1848 г. создал польский легион, сражавшийся за свободу Италии. Во время Крымской войны 1853–1856 гг. отправился с политической миссией в Константинополь, где умер от холеры. Под «Книгой великой скорби», по-видимому, подразумевается произведение «Книги народа польского и польского пилигримства» (1832), пронизанное глубокой скорбью по поводу поражения Польского восстания, а также духом освободительной борьбы и мессианистскими представлениями о роли Польши в славянской истории. Оно было внесено Ватиканом в официальный индекс осужденных книг.

Такое определение Толстой получил в народнической и ранней социал-демократической литературе (характерный пример — книга В. Львова-Рогачевского «От крестьянской избы к барской усадьбе. Лев Толстой (1828–1928)» (М., 1928), во многом подытоживающая именно такой взгляд.

[^^^]

Керженские скиты, располагавшиеся в Новгородской губернии, основывались во второй половине XVII в., когда после осады Соловецкого монастыря многие старообрядцы бежали в эти места. Старейшие из скитов — Шарпанский (близ города Семенова), устроенный иноком Арсением, и Оленевский женский, основанный Анфисой Колычевой. К 1737 г. нижегородский архиепископ Питирим уничтожил почти все скиты, однако указ от 16 октября 1762 г. дозволил раскольникам возвратиться с западных границ в Россию, и многие из них, поселившись в этих местах, вновь восстановили скиты. Высочайшим указом от 1 мая 1853 г. все Керженские скиты были закрыты.

[^^^]

Имеется в виду Владимир Дмитриевич Бонч-Бруевич (1873–1955) — доктор исторических наук, этнограф, писатель. Разделяя социал-демократические взгляды, из Швейцарии (с 1896) организовывал пересылку в Россию революционной литературы и полиграфического оборудования, был сотрудником «Искры». В 1905 г. вернулся в Россию, работал в партийных изданиях: в газете «Новая жизнь», журнале «Наша мысль», ленинской «Правде», в 1908–1918 гг. руководил большевистским издательством «Жизнь и знание». Один из первых предпринял серьезное изучение русского сектантства, но рассматривал его под углом зрения классовой борьбы, т. е. делая акцент на социальной дифференциации, активности демократических элементов и социалистических идей. Предложил программу по вовлечению сектантов в революционное движение. Им написаны книги: «Список псалмов, писем, рассказов и других рукописей по исследованию учения, жизни и переселения в Канаду закавказских духоборцев» (1900), «Значение

сектантства для современной России» (1902), «Программа для собирания сведений по исследованию и изучению русского сектантства и раскола» (1908). К его заслугам можно отнести создание (1930) Литературного музея в Москве, позволившего сохранить многие писательские архивы и рукописи. В 1946 г. он стал директором Музея истории религии и атеизма Академии наук СССР в Ленинграде и многое сделал для сохранения церковно-культурного наследия. Резко негативное отношение Чирикова к нему (отразившееся в фамилии, данной персонажу), несомненно, связано с различной интерпретацией им наследия русских сектантов, поскольку Бонч-Бруевич преувеличивал «христианско-социалистические» и «общинные начала» в сектантском движении, а Чириков видел меркантильную подоплеку сектантства, выражавшуюся в денежной поддержке «кораблей» его членами.

[^^^]

Духовная песня, отсылающая к книге пророка Иоила (2, 1), предсказывающей апокалипсис. Прав.: «Трубите трубою на Сионе и бейте тревогу на святой горе Моей». В частности, в книге описывается ужасное нашествие саранчи, знаменующее скорое наступление Страшного Суда, поэтому пророк призывает иудейский народ и священников принести покаяние прежде, нежели настанет День Господень, ибо спастись смогут все, кто призовет имя Господа.

[^^^]

Навуходоносор Вавилонский — царь Вавилонии в 605–562 до н. э., прославился как величайший завоеватель: покорил Сирию, разрушил Иерусалим. Однако в период его правления заново отстроенный Вавилон превратился в одно из чудес света.

[^^^]

«Так жизнь молодая проходит бесследно!» — романс Л. Д. Малашкина (1842–1902).

[^^^]

Мф. 18, 3: «В то время ученики приступили к Иисусу и сказали: кто больше в Царстве Небесном? Иисус, призвав дитя, поставил его посреди них и сказал: истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете, как дети, не войдете в Царство Небесное».

[^^^]

Адамиты (также адамитяне) — приверженцы христианской секты (образовалась еще во II в. н. э.), проповедовавшие возвращение к святости и невинности первобытных людей в раю — Адама и Евы, что включало в себя требование ходить нагими. Также последователям секты была присуща большая по сравнению с традиционным христианством свобода отношений между мужчиной и женщиной, что служило поводом для обвинения адамитов в распутстве.

[^^^]

Рожденный ползать летать не может! — слова Ужа из «Песни о Соколе» (1898) М. Горького.

[^^^]

Партия социалистов-революционеров (эсеров) возникла в 1902 г. на основе объединения неонароднических кружков.

[^^^]

Имеются в виду произведения М. Горького «Песня о Соколе» (1898), «Старуха Изергиль» (1895), «Песня о Буревестнике» (1901), «Человек» (1903). Слова Сатина из пьесы Горького «На дне» (1902): «Человек! Это — великолепно! Это звучит... гордо! Че-ло-век! Надо уважать человека».

[^^^]

Рассказ впервые напечатан в 1895 г. в журнале «Русское богатство». Главный герой рассказа Гришка Челкаш — вор. Симпатии Горького не обнаруживаются явно: начало рассказа, описывающее морской порт, внушает ужас перед капиталистическим мироустройством.

[^^^]

«Очерки и рассказы» М. Горького были опубликованы в 1898 г. в двух томах.

[^^^]

Взять под свое покровительство талантливо-го писателя пытались представители всех литературных лагерей — от народников до марксистов, что проявлялось в их уверениях, что Горький исповедует именно их идеологию (см.: *Н. К. Михайловский. О Горьком и его героях; В. В. Боровский. М. Горький*).

[^^^]

Согласно мифу, жена Одиссея во время его двадцатилетнего отсутствия была настойчиво осаждаема многочисленными женихами. Уклоняясь от выбора нового мужа, она откладывала решение под предлогом того, что должна соткать погребальный саван для свекра, и, работая днем, ночью распускала готовую ткань, обманывая таким образом женихов.

[^^^]

Отсылка к легенде, по которой князь Владимир выбирал новую государственную веру, призвав к себе представителей разных вероисповеданий (римских католиков, мусульман, хазарских иудеев и греческих христиан) и расспрашивая их о достоинствах их веры. Последовательно отвергнув католичество, ислам и иудаизм, князь остановился на христианстве.

[^^^]

Отсылка к «Песне о Соколе». Прав.: «Безумству храбрых поем мы песню!..»

[^^^]

М. Ю. Лермонтов. «Демон» (1837). У Лермонтова: «И будешь ты царицей мира, Подруга первая моя». Однако именно так эти слова звучат в арии Демона в опере А. Рубинштейна (либретто П. А. Висковатова).

[^^^]

Из предисловия к «К критике политической экономии» (1859) К. Маркса: «Не сознание людей определяет их бытие, а, наоборот, их общественное бытие определяет их сознание».

[^^^]

Чудо, явленное Иисусом Христом во время проповеди в пустыне, когда он сумел насытить всех слушателей двумя рыбами и пятью хлебами (Мф. 14, 15–21).

[^^^]

На брачном пиру апостола Симона Кананита в Кане Галилейской Иисус Христос сотворил первое чудо: превратил воду в вино (Ин. 2, 1–11).

[^^^]

Из стихотворного «Послания к автору книги о трех самозванцах» (1769) французского писателя-просветителя Вольтера (наст. имя Франсуа Мари Аруэ; 1694–1778). Будучи деистом, он не отрицал самого существования Бога, полагая, что религиозность необходима непросвещенному народу как способ морального обуздания.

[^^^]

Намек на отказ от идей Просвещения и признание Божественного начала в мире некоторыми деятелями XVIII в.

[^^^]

Галун — нашивка из золотой или серебряной мишурной тесьмы на форменной одежде.

[^^^]

Барятинские — известный княжеский род.

[^^^]

Сура — правый приток Волги.

[^^^]

Русская народная песня, бытующая в нескольких вариантах. Чириков приводит вариант, распространенный на Волге.

[^^^]

Говорят, что я — кокетка, что любить я не могу... — романс на стихотворение А. Н. Андреева (1830–1891) «Кокетка». Точно: «Говорят, что я кокетка, / Что любить я не хочу, / И видали, как нередко / Равнодушием плачу...»

[^^^]

Отрывок из апокрифической легенды «Повесть и взыскание о граде сокровенном Китеже» из второй части «Книги именуемой летописец» (1237), дошедшей в виде списка, который был сделан в старообрядческой среде бегунов во второй половине XVIII в. Эту легенду использовал в своем романе «В лесах» (1871–1875) П. И. Мельников-Печерский.

[^^^]

Алконост — в поверьях Древней Руси райская птица с женским лицом, пение которой столь прекрасно, что услышавшие его забывают обо всем.

[^^^]

т. е. староверы.

[^^^]

Семенов — город в Нижегородской губернии на реке Санахте. Возник в начале XVII в. как поселение старообрядцев. В конце XIX — начале XX в. центр старообрядчества, единственное место в России, где изготовлялись лестовки-четки для старообрядцев. К востоку от города располагается озеро Светлояр.

[^^^]

«Снегурочка» — пьеса (1873) А. Н. Островского, действие которой происходит в Берендеевом царстве.

[^^^]

Нестеров Михаил Васильевич (1862–1942) — живописец и общественный деятель. Один из самых крупных представителей православного искусства конца XIX — начала XX в. Участвовал в Товариществе передвижных художественных выставок и был одним из членов-учредителей «Союза русских художников». Расписал Марфо-Мариинскую обитель в Москве, Владимирский собор в Киеве и др. Наиболее известные картины Нестерова — «Видение отроку Варфоломею» (1889–1890) и «На Руси» (1916). Был членом «Союза Русского народа». После революции 1917 г. показал себя как большой мастер психологического портрета (портреты хирурга С. С. Юдина, архитекторов А. В. Щусева, В. И. Мухиной и др.).

[^^^]

В этом утверждении Чириков опирается на существующие в русском языке фразеологизмы, пословицы, поговорки, где эти два явления «уживаются» рядом («Около святых черти водятся»; «Где Господь пшеницу сеет, там черт плевелы»). Сам писатель в одном из своих, созданных уже в эмиграции рассказов («Лесачиха») так определит эту особенность русского национального духа: «Где Бог, там и Черт, где святость, там и чертовщина. В этом бездонная глубина народной мудрости... Неважно, как называются два извечно борющихся в душе человеческой начала — Добро и Зло, это все преходящее, но важна религиозность, проявляющаяся в этой поэтической форме» (*Чириков Е. Н. Зверь из бездны. СПб., 2000. С. 415–441*).

[^^^]

Вельзевул — имя древнего западносемитского божества Баала, один из злых духов, подручных дьяволу; часто отождествляется с самим дьяволом (Мф. 12, 23–24).

[^^^]

Антоний Великий (около 251–356) — раннехристианский подвижник и пустынник, основатель отшельнического монашества. В пустыне, куда он удалился после жизни в миру, был много раз искушаем дьяволом, который склонял его к плотскому греху, то запугивал явлением страшных чудовищ, то наносил тяжкие телесные раны, но святой преодолел все силой молитвы. Легенда послужила источником многих литературных и живописных произведений — философско-драматической поэмы в прозе Г. Флобера, гравюры Ф. Калло, триптиха И. Босха, картин П. Брейгеля и С. Дали.

[^^^]

Иулиания (Ульяна) Вяземская (ск. 1406) — княгиня, мученица, почитается как образец супружеской верности. Ее муж, вяземский князь Симеон Мстиславич, служил смоленскому князю Юрию Святославичу, который, будучи прельщен красотой Иулиании, воспылал к ней страстью и пытался склонить ее к прелюбодеянию, но она оставалась непреклонной. Убив Симеона, Юрий попытался насильно овладеть княгиней, которая, защищаясь, ранила его ножом. Разъяренный Юрий изрубил ее тело мечом и велел бросить в реку. Весной во время ледохода один крестьянин увидел в реке плывущее тело Иулиании и услышал голос, повелевающий предать ее погребению. Исполнив повеление, он чудесным образом исцелился от мучившего его недуга. Гроб с останками святой был поставлен в Спасо-Преображенском соборе Торжка, и над местом захоронения установили раку. Молясь перед мощами святой Иулиании, многие больные получали исцеление. К началу XIX в. над ракой был устроен придел с престо-

лом во имя святой Иулиании. Новый Преображенский собор, посвященный святой, был построен в 20-е гг. XIX в., а в 1906 г. был устроен пещерный храм ее имени. После событий 1917 г. Преображенский собор в Торжке закрыли, ее мощи перенесли в еще действовавшую церковь Воскресения в Прутне близ Торжка. Но этот храм закрыли в начале 1930-х гг., и мощи были утеряны.

[^^^]

Фомаида родилась в Александрии в благочестивой христианской семье. В 15 лет была выдана замуж и стала жить в семье родителей мужа. Свекр Фомаиды, по дьявольскому наущению, пленился ее красотой и, когда его сын ушел ночью на рыбную ловлю, стал склонять невестку к греху. Разъяренный ее твердостью, старик в безумии схватил меч и стал угрожать ей смертью, но Фомаида оставалась непреклонна. Тогда свекор рассек ее тело надвое, но тут же убийцу постигла Божья кара — он мгновенно ослеп. Утром пришедшие друзья мужа нашли тело Фомаиды и окровавленного слепого старика, который сам сознался в своем злодеянии и просил осудить его на смертную казнь. В то время в Александрию пришел из пустынного скита преподобный Даниил. Он велел монахам ближнего Октодекатского монастыря похоронить мученицу в монастырской усыпальнице. Некоторые из монахов недоумевали, как можно хоронить женщину вместе с монахами, на что преподобный Даниил ответил, что эта женщина

умерла за свою чистоту. После погребения преподобный Даниил возвратился в свой скит. Вскоре один из молодых монахов стал жаловаться ему, что его мучают плотские страсти. Преподобный Даниил велел ему пойти и помолиться у гробницы святой мученицы. Монах сотворил молитву, помазался елеем от лампы, горевшей при гробе мученицы, и после мирного сна ощутил себя совершенно свободным от плотской страсти и больше никогда не был ею смущаем.

[^^^]

Анна Кашинская (1278–1368) — жена тверского князя Михаила Ярославича. После гибели в Орде мужа и двух старших сыновей Анна постриглась в монашество в тверском Софийском женском монастыре под именем Евфросинии. Затем переселилась в Кашин, в Успенский женский монастырь, где в схиме ей было возвращено мирское имя — Анна и где она скончалась и была погребена. В 1649 г. Собор в Москве причислил ее к лику святых, но в 1677 г. патриарх Иоаким созвал в Москве Малый собор архипастырей, который запретил почитать ее как святую, как было сказано, из-за расхождения ее жития со Степенной книгой и летописцами. Однако истинной причиной оказалось то, что на иконе Анна изображалась с рукой, сложенной в двуперстном крестном знамении. Но уже со второй половины XIX в. стали возбуждаться ходатайства о восстановлении ее почитания. И в 1908 г. Синод разрешил восстановить церковное почитание Анны Кашинской, назначив днем поминовения 12 (25) июня.

[^^^]

Преподобная Мария жила в начале VI в. в Вифинии (северо-западная область Малой Азии). Мощи святой были перенесены в Константинополь, а оттуда в 1113 г. увезены в Венецию.

[^^^]

Песня старообрядцев. Записана П. И. Мельниковым-Печерским (роман «В лесах», 1871–1875). Точно: «Воззримте мы, людие, на сосновы гробы, / На наши превечные домы, / О, житие наше маловременное! / О, слава, богатство суетное...»

[^^^]

Иконоборцы — религиозное движение, направленное против почитания икон. Ссылаясь на ветхозаветные заповеди, иконоборцы считали священные изображения идолами, а культ почитания икон — идолопоклонством. В 1868 г. среди крестьян ряда деревень Сарапульского уезда была популярной секта иконоборцев. Наряду с отказом поклоняться иконам и исполнять церковные обряды ее сторонники отказались платить выкупные платежи и исполнять другие повинности. *Бесполовцы* — одно из течений старообрядчества, отвергающее священников и ряд таинств (имеет несколько толков — поморцы, федосеевцы, филипповцы, нетовщина и др.). *Скопцы* — секта, возникшая в конце XVIII в. и отделившаяся от «хлыстов». Скопцы проповедуют спасение души в борьбе с плотью путем оскопления как мужчин, так и женщин и отказа от мирской жизни. Впервые название «молокане» появилось в 1670 г. в отношении тех, кто игнорировал большинство из 200 постных дней в году (т. е. «пьющие молоко»).

Как религиозная секта возникли во второй половине XVIII в.

[^^^]

Имеется в виду первое очищение храма Христом (Ин. 2, 13–17): «Приближалась Пасха Иудейская, и Иисус пришел в Иерусалим и нашел, что в храме продавали волов, овец и голубей, и сидели меновщики денег. И, сделав бич из веревок, выгнал из храма всех, также и овец и волов; и деньги у меновщиков рассыпал, а столы их опрокинул».

[^^^]

Отрывок из «Стиха о Книге Голубиной» (т. е. глубинной — от глубины премудрости, которая была заключена в этой книге; в народе Голубиной книга стала называться под влиянием символа Святого Духа) — одно из известнейших произведений русской духовно-народной литературы. Точно:

*Это не два зверя собиралися,
 Не два лютые собегалися,
 Это Кривда с Правдой соходилися,
 Промежду собой бились-дрались,
 Кривда Правду одолеть хочет.
 Правда Кривду переспорила.
 Правда пошла на небеса
 К самому Христу, Царю Небесно-
 му;
 А Кривда пошла у нас вся по всей
 земле,
 По всей земле по свет-русской,
 По всему народу христианскому.
 От Кривды земля восколебалася...*

Чириков собирал волжские легенды о Степане Разине. Некоторые из них, например «Стенькина казна», он включил в сборник «Волжские сказки» (М., 1916). А в брошюре «Народ и революция» (Ростов-на-Дону, 1919. С. 13) он указывал: «Существует любопытная волжская народная сказка о втором пришествии Стеньки Разина, проливающая, как мне думается, свет, некоторый свет и на современные события и роль народа в этих событиях... Происхождение этой сказки, как мы видим, связывается со временем, близким к 60-м годам прошлого столетия. Приведенный наказ Стеньки Разина оповестить обидчиков о своем втором пришествии наглядно свидетельствует перед нами, что 60 лет тому назад, во-первых, — народ считал себя обиженным, во-вторых, — ждал для себя „правды“, а в-третьих, — политическое сознание его стояло все на той же стадии развития, как и при Стеньке Разине». Подробно эту легенду Чириков пересказывает в сказке «Бич божий».

[^^^]

Мф. 5,21–22: «Вы слышали, что сказано древним: не убей; кто же убьет, подлежит суду».

[^^^]

Одна из заповедей, которые на скрижалях на горе Синай Бог вручил Моисею, предводителю израильских племен, призванному вывести свой народ из фараонова рабства через расступившиеся воды Красного моря (Мф. 5,38).

[^^^]

Мф. 5, 39: «Вы слышали, что сказано: око за око и зуб за зуб. А Я говорю вам: не противься злому. Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую».

[^^^]

В Библии о сотворении человека сказано: «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душою живою» (Быт. 2, 7).

[^^^]

24 февраля 1901 г. в «Церковных ведомостях» было опубликовано «Определение Святейшего Синода», провозгласившее отлучение Толстого от церкви.

[^^^]

Неточность: во время правления Ивана Грозного в 1566–1568 гг. митрополитом Московским и всея Руси был Филипп II (в миру Федор Степанович Колычев; 1507–1569). Из-за несогласия с политикой Ивана Грозного и открытого выступления против опричнины попал в опалу: решением церковного собора был лишен сана и сослан в тверской Отроч-Успенский монастырь, где был убит Малютой Скуратовым. Гермоген (1530–1612) занимал митрополичий престол в 1606–1612 гг. После отказа признать русским царем Владислава Сигизмундовича и благословения ополчения, призванного освободить Москву от поляков, в 1611 г. был заточен поляками в Чудовом монастыре, где и умер от голода.

[^^^]

Ф. М. Достоевский. «Дневник писателя за 1876 год» (III. Сбивчивость и неточность спорных пунктов): «Итак, не об науке и не о промышленности надо поставить вопрос, а собственно о том, чем мы, культурные люди, возвратясь из Европы, стали нравственно, существенно выше народа и какую такую недостижимую драгоценность принесли мы ему в форме нашей европейской культуры?».

[^^^]

Васильсурск — первоначально крепость, основанная князем Василием Немым во время похода на Казань в 1523 г. близ устья Суры на месте древнемарийского города Цепель, получившая название Васильгород (в честь Василия III).

[^^^]

Варлаам Хутынский (ск. 1192) — сын знатного новгородца, принявший после смерти родителей монашеский постриг. Избран в качестве послушания безмолвие, поселился в десяти верстах от Новгорода в месте, называемом Хутынь, где в уединении проводил суровую жизнь, совершая непрестанные молитвы и соблюдая строгий пост. Постепенно к нему стали собираться ученики, и вскоре там была воздвигнута церковь в честь Преображения Господня и основан монастырь. Является небесным покровителем Новгорода.

[^^^]

По официальной версии, человеком, выдававшим себя за царевича Дмитрия (погибшего в Угличе в девятилетнем возрасте в 1591 г.), был монах Григорий (в миру — мелкий дворянин Юрий Богданович Отрепьев).

[^^^]

Отсылка к истории о том, как римский император Константин Великий (ок. 274–327), мать которого была тайной христианкой, став императором, объявил свободу христианского исповедания, против чего восстали правители соседних областей Римской империи Максентий и Галерий. Перед решающей битвой с ними Константин увидел близ Рима знамение — на небе воссиял крест с надписью: «Сим победиши!», что и предрешило победу Константина.

[^^^]

Нестиар — озеро в Нижегородской области, вблизи которого находится село Нестиар.

[^^^]

Празднование Пасхи начинается в полночь между Великой субботой и Воскресеньем, когда служитя особенная торжественная служба — Светлая пасхальная заутреня. Неделя, следующая за Пасхальной, получила название Фоминой (по имени апостола Фомы, уверовавшего в Воскресение Христово после того, как ощупал раны Спасителя).

[^^^]

Из стихотворения С. Я. Надсона «Друг мой,
брат мой...».

[^^^]

Неточно цитируемая первая строка стихотворения без названия Н. А. Некрасова (1858).
Прав.:

Ночь. Успели мы всем насладиться.

Что ж нам делать? Не хочется спать.

Мы теперь бы готовы молиться,

Но не знаем, чего пожелать.

Пожелаем тому доброй ночи,

Кто все терпит, во имя Христа,

Чьи не плачут суровые очи,

Чьи не ропщут немые уста,

Чьи работают грубые руки <...>

[^^^]

Народная песня «Как на зорьке было, на заре».

[^^^]

Крылатое выражение, приписываемое франкскому императору Лотарю I (ок. 795–855), а также английскому философу-утописту Роберту Оуэну (1771–1858), который использовал это выражение в своих «Эпиграммах».

[^^^]

Речь идет о рассказе 1899 г. А. П. Чехова.

[^^^]

У Чехова село называлось Уклеево. Далее Чириков цитирует произведения Чехова, видимо, по памяти, поскольку опущены вводные слова, уточнения и пр., но очень близко к тексту. Серьезное расхождение с Чеховым встречается только в последней фразе абзаца, которая выглядит так: «Я говорил жене, что она видит пятна на стекле, но не видит самого стекла» (Чехов А. П. ПСС. М., 2008. Т. 9. С. 255).

[^^^]

Ф. М. Достоевский. «Дневник писателя за 1876 г. (IV „Земля и дети“):»... земля у него прежде всего, в основании всего, земля — все, а уж из земли у него и все остальное, то есть и свобода, и жизнь, и честь, и семья, и детишки, и порядок, и церковь — одним словом, все, что есть драгоценного.

[^^^]

Речь идет о Егоре Егоровиче Лазареве (1855–1937), участнике «хождения в народ», привлекавшемся к суду по делу о революционной пропаганде («процесс 193-х»), который в начале 1900-х годов приехал в Швейцарию, поселился в деревне Божи над Клараном, купил или арендовал там крестьянскую ферму и жил, продавая швейцарцам, а главным образом иностранцам и в гостиницы, молоко. После издания манифеста 17 октября 1905 г. вернулся в Россию, примкнул к эсерам. В 1910 г. был арестован и выслан за границу. Вернувшись в Россию после Февральской революции, стал министром народного просвещения во Временном правительстве, сблизился с правыми эсерами. В 1919 г. выехал в Чехословакию (подробнее см.: *Лазарев Е. Е. Моя жизнь. Прага, 1935*).

[^^^]

«Бабушкой русской революции» называли Екатерину Константиновну Брешко-Брешковскую (урожд. Вериго; 1844–1934) — видного деятеля русского революционного движения, создательницу и лидера партии эсеров, а также ее Боевой организации. Первоначально участвовала в движении народников, неоднократно арестовывалась и ссылалась. Вернулась из ссылки в 1896 г., попав под амнистию по случаю коронации Николая II. После создания вместе с Г. Гершуни партии эсеров в 1903 г. эмигрировала в Швейцарию. Нелегально вернувшись в Россию, участвовала в революционных событиях 1905–1907 гг. В 1907 г. была выдана охранке Азефом, в 1910 г. приговорена к ссылке, где и пробыла до Февральской революции 1917 г. К Октябрьской революции отнеслась враждебно, в 1919 г. покинула страну, жила в США, Франции и Чехословакии (похоронена близ Праги).

В 1894 г. в поздравительных адресах земских собраний по случаю воцарения Николая II либералы намекнули на расширение прав земств. Царь назвал эти пожелания «бессмысленными мечтаниями».

[^^^]

Вольное экономическое общество (Императорское Вольное экономическое общество) — первая общественная организация в России. Учреждено в Петербурге в 1765 г. Екатериной II с целью изучения положения русского земледелия и условий хозяйственной жизни страны, а также распространения полезных для сельского хозяйства сведений. Издавало «Труды» — книги, поднимающие проблемы сельского хозяйства и народного образования, устраивало сельскохозяйственные выставки, распространяло полезные сведения в области здравоохранения. Деятельность Общества вследствие полицейских притеснений была приостановлена в конце 1890-х гг., фактически же прекратило свое существование в 1918 г.

[^^^]

Шестой Пироговский съезд состоялся в 1896 г. в Киеве. Общество русских врачей памяти Н. И. Пирогова было основано в 1883 г. как Московско-Петербургское общество (переименовано в 1886 г.). Издавало «Журнал Общества русских врачей памяти Н. И. Пирогова» (1895–1908, с 1909 г. назывался «Общественный врач»), а также дневники и материалы организуемых им Пироговских съездов, созываемых регулярно (примерно раз в два года) и объединявших представителей всех медицинских специальностей. В работе съездов участвовали С. П. Боткин, И. П. Павлов, Н. В. Склифосовский, В. М. Бехтерев и др. Съезд, на котором прозвучало требование отмены телесных наказаний, состоялся в апреле 1896 г.

[^^^]

Съезд был инициирован Д. Н. Шиповым, председателем Московской губернской земской управы в 1893–1904 гг.

[^^^]

Имеется в виду книга «Телесные наказания в России в настоящее время», составителями которой были Д. Н. Жбанков, В. И. Яковенко и др. (М.: Товарищество «Печатня С. П. Яковлева», 1899).

[^^^]

«Юридическое общество», вздумавшее поговорить о том же, закрыли. — Юридическое общество при Санкт-Петербургском университете было создано с целью разработки теоретических и практических вопросов права и для распространения юридических знаний в 1877 г. Председателем Общества стал Н. И. Стояновский, известный государственный деятель, сторонник либеральных реформ, среди учредителей крупнейшие юристы — А. Ф. Кони, В. Д. Спасович, И. Я. Фойницкий. Прекратило существование после в 1917 г.

[^^^]

Седьмой Пироговский съезд состоялся в 1898 г.

[^^^]

Первый упомянутый съезд прошел 10–19 февраля 1901 г. В Полтаве состоялся съезд умельцев кустарного промысла Полтавской, Черниговской, Курской губерний, которые приняли резолюцию с требованием полного запрещения телесных наказаний по всей стране.

[^^^]

4 марта 1901 г. у Казанского собора состоялась демонстрация с требованиями отмены «временных правил», по которым студентов отдавали в солдаты. В ней участвовали студенты, служащие, интеллигенция, многие видные деятели русской культуры. Демонстранты были жестоко избиты полицией.

[^^^]

Анненский Николай Федорович (1843–1912) — публицист, экономист, общественный деятель, брат поэта и педагога И. Ф. Анненского. Литературная деятельность связана с журналами «Дело», «Отечественные записки», «Русское богатство», газетой «Волжский вестник», являлся членом комитета Литературного фонда, совета Вольного экономического общества, комитета Союза взаимопомощи русских писателей (1897–1901).

[^^^]

Вяземский Леонид Дмитриевич (1848–1909) — князь, русский генерал и государственный деятель, участник Русско-турецкой войны 1877–1878 гг. В 1888 г. был астраханским губернатором, в 1890 г. — начальник Главного управления уделов, с 1899 г. — член Государственного совета.

[^^^]

«Союз взаимопомощи русских писателей при русском Литературном обществе» был основан в 1897 г. Председателями Комитета Союза были избраны П. Н. Исаков, затем П. И. Вейнберг. Прекратил деятельность 12 марта 1901 г. в связи с протестом по поводу разгона демонстрации у Казанского собора, который был подписан 79 литераторами (в том числе М. Горьким, Д. Н. Маминым-Сибиряком, А. М. Калмыковой и др.) и послан министру внутренних дел.

[^^^]

Сипягин Дмитрий Сергеевич (1853–1902) — государственный деятель, с 1900 — министр внутренних дел России, являлся инициатором карательных мер против революционных выступлений рабочих, крестьян и студентов, проводил русификаторскую политику на национальных окраинах. Застрелен студентом, эсером Степаном Валериановичем Балмашевым (1881–1902), приговоренным к повешению.

[^^^]

Витте Сергей Юльевич (1849–1915) — с 1888 г. директор департамента железнодорожных дел и председатель тарифного комитета, с 1892 г. управляющий министерством путей сообщения, министр финансов (1892–1903), председатель Комитета министров (1903–1905), член Госсовета (1903–1915), премьер-министр (1905–1906). Под руководством Витте был составлен императорский Манифест 17 октября 1905 г., даровавший гражданские свободы и провозгласивший созыв законодательной Госдумы.

[^^^]

Плеве Вячеслав Константинович, фон (1846–1904) — директор департамента полиции (1881–1894), государственный секретарь (1894–1902), одновременно в 1900 г. — государственный секретарь по делам княжества Финляндского, министр внутренних дел (1902–1904). Сторонник крайне консервативного курса внутренней политики, был убежденным противником революционных преобразований. Убит эсером Е. С. Сазоновым.

[^^^]

Имеется в виду указ от 12 июня 1900 г., который отстранял земства от управления делами народного продовольствия, а также устанавливал предельные размеры земского обложения на нужды земств, что привело к сокращению их бюджета. Кроме того, в 1901 г. была ограничена издательская деятельность земств, а в 1902 г. последовал и запрет проводить земствам 18 губерний статистическую работу.

[^^^]

В 1902 г. была образована специальная комиссия под председательством министра внутренних дел В. К. Плеве, разрабатывавшая меры ограничения прав земств в деле народного образования.

[^^^]

Имеется в виду служебная записка 1899 г. «Самодержавие и земство», составленная занимавшим пост статс-секретаря министерства финансов Витте. По его подсчетам, министерство народного просвещения ежегодно тратило на начальные народные училища и семинарии по подготовке учителей почти 4,5 миллиона рублей из бюджета и еще 1,2 миллиона из земских сборов в западных и сибирских губерниях, где еще не было введено земство. В то же время земства только 33 губерний Европейской России расходовали в год на нужды народного просвещения около 7 миллионов рублей. Из этого Витте делал вывод, что правительство упустило из рук начальное народное образование, а также предостерегал об опасности неподотчетной министерству деятельности земств.

[^^^]

Журнал был основан П. Б. Струве в 1902 г. после его эмиграции за границу. Издавался в Штутгарте, затем в Париже до 1905 г. Первоначально придерживался умеренных взглядов, что вызывало бурные нарекания со стороны левого крыла РСДРП, но затем перешел на революционные, поддерживающие социализм позиции, что ленинцы предпочли не заметить, продолжая считать Струве и его окружение буржуазными либералами.

[^^^]

Чириков соединяет в одном месте — в Божиих — людей, в большинстве своем действительно живших или бывавших здесь, но в разное время. Исключение составляет Ленин, который жил в Швейцарии в Женеве, но в Божиих не приезжал. *Зиновьев* (Радомысльский) Григорий Евсеевич (1883–1936) — политический деятель, член партии большевиков. Неоднократно арестовывался, находился в эмиграции. В 1905 г. вернулся в Россию, в 1908 г. вновь был арестован, но через 3 месяца освобожден из-за болезни и уехал в Женеву. Вернулся в Россию в апреле 1917 г., в 1918 г. — глава Петроградской трудовой коммуны, председатель Петроградского Совета, в 1919–1926 гг. — председатель Исполкома Коминтерна. В 1936 г. расстрелян. *Нахамкис* Юрий Михайлович (псевд. Стеклов) (1873–1941) — партийный деятель, публицист, литературный критик. С 1893 г. — активный участник социал-демократического движения. После ареста и ссылки в 1894 г. ему в 1899 г. удалось бежать за границу. В 1917 г. —

член Исполкома Петроградского совета, редактор газеты «Известия». *Минор* Осип Соломонович (1861–1934) — революционер, эсер. За участие в народовольческих кружках был арестован и выслан в Якутск, где в 1889 г. за участие в вооруженном сопротивлении осужден на бессрочную каторгу. В 1897 г. по царскому манифесту отправлен на поселение в Читу, с 1900 г. — в Вильно. В 1902–1905 гг. находился за границей. После Октябрьской революции эмигрировал, работал в парижской газете «Дни». *Потресов* Александр Николаевич (1869–1934) — один из лидеров русского меньшевизма, публицист, критик. В рабочем движении участвовал с 90-х гг. Состоял в петербургском «Союзе борьбы за освобождение рабочего класса», принимал участие в организации первых марксистских журналов «Начало», «Новое слово», газеты «Искры» и журнала «Заря». Стал литером ликвидаторов, присоединился к оборонцам во время Первой мировой войны. В 1925 г. получил разрешение уехать за границу, где, несмотря на болезнь (туберкулез позвоночника приковал его к постели), развернул интенсивную поли-

тическую деятельность.

[^^^]

Гершуни Григорий Андреевич (1870–1908) — организатор и первый руководитель эсеровских Боевых отрядов. «Романтик революции», человек с железной волей, активной революционной деятельностью занялся в 1901 г., придавая террористическим актам декоративный характер. Организовал несколько убийств и покушений (на министра внутренних дел России Д. С. Сипягина, губернатора И. М. Оболенского). После убийства губернатора Уфы Н. М. Богдановича был арестован и осужден (смертная казнь была заменена на бессрочную каторгу). Бежал с каторги, скрывался в США и Европе. Умер от саркомы.

[^^^]

Речь идет о Гершуни. Определение дано по аналогии с «Летучим голландцем», кораблем-призраком, и имеет оттенок иронии.

[^^^]

Нацеленность левого крыла РСДРП на проведение в России революции созрела именно в это время. Наиболее полное выражение эта идея получила в работе Ленина «Что делать?», где говорилось о необходимости формирования партии нового типа, способной повести за собой рабочий класс. Плеханов, Засулич, Аксельрод, Дейч активно противились этому, считая, что Россия не созрела до революционных действий, рабочий класс малочислен, не сплочен и пр. Использование Чириковым словосочетания «марксистский корабль», возможно, отсылает к способу организации сектантов-старообрядцев, намекая таким образом на замкнутость и изуверскую сущность большевистской партии.

[^^^]

Имеется в виду концепция Эдуарда Бернштейна (1850–1932), объявившего о необходимости «ревизии» марксизма в новых исторических условиях. В статьях под общим заголовком «Проблемы социализма» (1897–1898) он подверг пересмотру основные положения марксизма в области философии, политической экономии, теории научного социализма, провозгласив лозунг «Движение все, цель — ничто». Главный тезис Ленина: отказ от какой бы то ни было критики марксизма. О себе и своих единомышленниках он выражался следующим образом: «Мы соединились... чтобы бороться с врагами и не оступиться в соседнее болото, обитатели которого... порицали нас зато, что мы... выбрали путь борьбы, а не путь примирения» («Что делать?»).

[^^^]

Зубатов Сергей Васильевич (1864–1917) — жандармский полковник, инициатор политики «полицейского социализма» в России, суть которой состояла в том, чтобы отвлечь рабочих от политической борьбы и перевести ее в мирное русло под контролем легальных организаций, созданных политической полицией. С середины 1880-х гг. Зубатов стал платным агентом Московского охранного отделения, в 1889–1896 гг. — помощником начальника Охранного отделения, а с 1896 по 1902 г. — его начальником. По его инициативе была создана система политического сыска, охватившая крупнейшие центры страны, в том числе так называемый «Летучий филерский отряд» для борьбы с революционными организациями. Наибольший размах политика «полицейского социализма», или «зубатовщина», получила в 1901–1903 гг. В октябре 1902 г. Зубатов был переведен в Петербург и назначен начальником Особого отдела департамента полиции. В 1903 г. получил отставку и был выслан во Владимир. В дни Февральской рево-

люции 1917 г. застрелился.

[^^^]

Луначарский Анатолий Васильевич (1875–1933) — деятель российской социал-демократии, писатель, критик, искусствовед, нарком просвещения (1917–1929), академик АН СССР (1930). Участь в середине 90-х гг. в Швейцарии, Франции, Италии (у немецких философов-эмпириокритиков Маха и Авенариуса), сблизился с русскими марксистами-эмигрантами. Вернувшись в Россию, вел революционную работу, арестовывался, находился в ссылке. После II съезда РСДРП (1903) примкнул к большевикам. В 1904–1907 гг. — активный сторонник политической платформы Ленина, хотя и подвергался критике с его стороны за пропаганду идей богостроительства, которую разворачивал в своих философских и литературно-критических работах. С сентября 1929 г. — председатель Ученого комитета ЦИК СССР, в 1933 г. — полпред СССР в Испании.

Уповая на гегемонию в рабочем движении, Ленин постепенно порывал со всеми своими прошлыми «союзниками», в частности с представителями группы «Освобождение труда». Исключение он какое-то время делал для Засулич, но потом «расстался» и с ней.

[^^^]

Каутский Карл (1854–1938) — один из лидеров и теоретиков германской социал-демократии и II Интернационала. В 1874 г., будучи студентом Венского университета, был близок к ласальянству. После знакомства в 1881 г. с К. Марксом и Ф. Энгельсом перешел на позиции марксизма. В 1883–1917 гг. редактировал теоретический журнал германских социал-демократов «Die Neue Zeit». В 1917 г. участвовал в создании независимой Социал-демократической партии Германии. Октябрьскую революцию в России принял враждебно.

[^^^]

Имеется в виду письмо К. Каутского М. Н. Лядову (Искра. 1904. № 66. 15 мая), в котором он осуждал внутрипартийную борьбу в РСДРП и высказывался в пользу меньшевиков. В то же время Каутский призвал обе стороны прекратить «междоусобную борьбу» и предлагал до «заключения перемирия» не созывать партийный съезд для обсуждения разногласий между большевиками и меньшевиками.

[^^^]

Из письма А. Н. Потресова П. Б. Аксельроду (от 14 (27) мая 1904 г.): «...спешу Вам сообщить, что я только что получил от Каутского письмо, разрешающее нам напечатать его ответ Лидину (М. Н. Лядову. — *М.М. и А.Н.*) в „Искре“. Итак, первая бомба отлита и — с божьей помощью — Ленин взлетит на воздух... Взрывать его так взрывать до конца методично и планомерно...» (Архив А. Н. Потресова. Вып. 1. Переписка 1892–1905 гг. М., 2007. С. 399).

[^^^]

Люксембург Роза (1871–1919) — деятельница польского, германского и международного рабочего и социалистического движения, один из руководителей и теоретиков социал-демократической партии Королевства Польского и Литвы, леворадикального крыла социал-демократической партии Германии и Интернационала, публицист, литературный критик.

[^^^]

Парвус (наст. фам. Гельфанд; 1867–1924) Александр Львович (Израиль Лазаревич) — участник российского и германского социал-демократического движения. С 1891 г. — один из руководителей германской социал-демократической партии. В начале XX в. организовал в Мюнхене издательскую фирму, специализировавшуюся в основном на издании русских авторов, сотрудничал в «Заре» и «Искре». После II съезда РСДРП близок к меньшевикам, хотя формально к партии не принадлежал. Проповедовал теорию «перманентной революции». В 1905 г., вернувшись в Россию, участвовал в работе Петербургского совета, был арестован и сослан в Сибирь, откуда в 1906 г. бежал, перебравшись в Германию и затем Австрию. С 1910 г. проживал в Турции, где занимался журналистикой и одновременно шпионажем в пользу турецкого правительства. В годы Первой мировой войны совмещал коммерческую деятельность с сотрудничеством с германским правительством. После 1918 г. от политической деятельности отошел.

[^^^]

Цитата из Достоевского приводится Чириковым близко к тексту, вероятнее всего, по памяти, что может быть сделано специально, так как она произносится Лениным.

[^^^]

Имеется в виду пьеса немецкого драматурга Герхарта Гауптмана (1862–1946), написанная в 1896 г. По сюжету, одурманенный лесной феей Раутенделейн мастер по отливу колоколов Генрих оставляет семью и уходит в горы, где пытается отлить колокол, звучание которого по своей красоте и мелодичности превосходило бы все прежние колокола. Соседи Генриха решают разрушить плавильню, но Генрих оказывает сопротивление. В итоге люди отступают, а Генрих видит на узкой горной тропе своих сыновей, которые держат в руках кувшин со слезами их матери, утопившейся с горя. Он слышит звон потонувшего колокола и, прокляв, прогоняет от себя Раутенделейн, которая в отчаянии бросается в колодезь. Не выдержав обрушившихся на него несчастий, Генрих умирает.

[^^^]

Казачий атаман Ермак Тимофеевич (1532/34/42–1585), завоеватель Сибири для Российского государства. В июне 1579 г. он с соратниками пришел на реку Чусовую, в поселения братьев Строгановых, чтобы защищать владения от набегов соседей, затем продолжил поход в 1582–1585 гг. Погиб в бою с ханом Кучумом.

[^^^]

Имеется в виду движение, вылившееся в Крестьянскую войну 1733–1775 гг. под предводительством Емельяна Пугачева (1742–1775).

[^^^]

А. С. Пушкин. «Капитанская дочка» (1836. Гл. 13). У Пушкина: «Не приведи бог видеть русский бунт, бессмысленный и беспощадный!»

[^^^]

Приказные — служащие управлений (приказов) Московского государства XV–XVII вв. Делились на две группы: судьи занимались решением дел; дьяки и подьячие — заведовали письменной частью.

[^^^]

Речь идет о получившей такое наименование среди историков «жалованной грамоте крестьянству» Пугачева (1773), где содержалось положение об освобождении крестьян от помещичьей крепости, налогов и податей и получении ими земельных и иных угодий без выкупа и отработки за них. Документ назван по аналогии с проектом разрабатываемого Екатериной II в 1785 г. (наряду с «жалованными грамотами» дворянству и городам) сельского уложения, согласно которому запрещалось раздавать государственных крестьян частным лицам, а дети крепостных, родившиеся после подписания уложения, объявлялись свободными, но уложение так и не было издано.

[^^^]

Подушная подать — основной прямой налог в России XVIII–XIX вв., введен Петром I в 1724 г. взамен подворного обложения. Подушной податью облагались все мужское население податных сословий (все разряды крестьян, посадские люди и купцы), размеры подати определялись суммой, необходимой для содержания армии. Была отменена в Европейской России с 1887 г., в Сибири с 1899 г.

[^^^]

Волостной суд избирался крестьянским волостным сходом, представители на который выбирались из членов местных сельских сходов. Суд рассматривал крестьянские имущественные тяжбы, если размер претензий не превышал ста рублей, и дела по маловажным проступкам и мог приговаривать к шести дням «общественных работ», штрафу до трех рублей, содержанию в «холодной» до семи дней или наказанию до двадцати ударов розгами.

[^^^]

Государственный контролер — лицо, стоящее во главе учреждений Государственного контроля, пользующееся всеми правами министра. В 1896 г. государственным контролером был Тертый Иванович Филиппов (1825–1899), церковник и мистик, представлявший русское национальное направление.

[^^^]

Вероятно, имеется в виду «Совет объединенного дворянства», действовавший в 1906–1917 гг., созданный при поддержке царского правительства для борьбы с революционным движением. Был связан с «Союзом русского народа» и другими черносотенными организациями. Им было проведено 12 съездов: первый (на котором был принят устав организации) и второй — в мае и ноябре 1906 г., следующие проходили ежегодно в феврале — марте.

[^^^]

Речь идет о выступлениях крестьян, значительного размаха достигших в 1900–1904 гг. (около 600 волнений в 42 губерниях европейской части России; наивысший подъем был отмечен в 1902 г., когда из-за голода, вызванного недородом 1901 г., начались волнения на Украине, в Поволжье, Грузии и Азербайджане), в которых основными были экономические требования: раздел помещичьей земли, сокращение налогов и повинностей.

[^^^]

В 1904 г. С. Ю. Витте составил «Записку по крестьянскому делу» (по итогам «Особого совещания о нуждах сельскохозяйственной промышленности», которое, изучив итоги действия крестьянской реформы 1861 г., собрало и систематизировало большой статистический материал о положении русской деревни), в которой предлагал расширить имущественные и гражданские права крестьян, облегчить переход от общинного к хуторскому землевладению, разрешить переселение крестьянам в малозаселенные районы Сибири и др.

[^^^]

Имеется в виду «Комиссия для обсуждения вопроса о мерах к поддержанию дворянского землевладения». У Чирикова ошибка: уже в 1891 г. Николай Саввич Абаза (1837–1901) был назначен председателем комиссии.

[^^^]

По легенде, во время войны с галлами в Риме, осажденном неприятелем, быстро истощились запасы продовольствия и начался голод. У жителей была возможность употребить в пищу священных гусей, живших в храме богини Юноны на Капитолийском холме, однако защитники города не решились посягнуть на них, за что были вознаграждены: гуси громким гоготом предупредили о внезапной атаке галлов. Зд.: иронически о людях, которые, не сделав ничего достойного, приписывают себе чужие заслуги.

[^^^]

Дурново Иван Николаевич (1834–1903) — государственный деятель, министр внутренних дел в 1889–1895 гг. С 1895 г. председатель Комитета министров. Провел ряд так называемых контрреформ: «О земских начальниках» (1889), «О земских учреждениях» (1890), «Городовое положение» (1892), усиливших власть дворян в земствах, но одновременно поставивших их под жесткий контроль правительства. Реформы запрещали передел общинных угодий чаще, чем в 12 лет, требовали согласия общины на выход крестьянина из нее и т. п.

[^^^]

Устойчивое выражение, восходящее к названию популярного водевиля, впервые поставленного без указания имени автора в Москве в 1874 г. Текст принадлежал перу Николая Ивановича Куликова (1815–1891), написавшего его по мотивам немецкой комедии «Дорогой дядюшка».

[^^^]

Миллюков Павел Николаевич (1859–1943) — политический деятель, историк, публицист, теоретик и лидер партии кадетов. В 1917 г. — министр иностранных дел Временного правительства. Впоследствии эмигрант.

[^^^]

Керенский Александр Федорович (1881–1970) — политический и общественный деятель, министр в царском правительстве, затем министр — председатель Временного правительства. Эмигрировал из России.

[^^^]

Война России с Османской империей за черноморские проливы и установление российского влияния на Балканах 1853–1856 гг., поводом для которой стал конфликт России и Франции за право опеки над святыми местами в Иерусалиме и Вифлееме, находившимися в турецких владениях. После падения Севастополя стало ясно, что выиграть войну не удастся, и в марте был подписан Парижский мирный договор, который лишил Россию возможности иметь на Черном море военно-морские силы, военные арсеналы и крепости.

[^^^]

Боголепов Николай Павлович (1846–1901) — государственный деятель. Дважды — в 1883–1887 гг. и 1891–1893 гг. — избирался ректором Московского университета. Будучи министром народного просвещения (с 1898 г.), ужесточил преследование студентов за революционные выступления, вплоть до отправки в солдаты, чем вызвал студенческие волнения начала XX в. Был смертельно ранен эсером, студентом Петром Владимировичем Карповичем (1874–1917), за что тот был приговорен к 20 годам каторги, которую отбывал в Шлиссельбурге и Акатуе, откуда бежал в 1907 г.

[^^^]

См. финал поэмы Н. В. Гоголя «Мертвые души».

[^^^]

Условное обозначение демократической интеллигенции, служившей в земстве по найму (врачи, учителя, статистики и др.), в отличие от администрации («первого элемента») и земских гласных («второго элемента»). Ранее «третьим элементом» называли буржуазию.

[^^^]

Четвертная — банковский билет достоинством в двадцать пять рублей.

[^^^]

Встреча жениха и невесты в храме сопровождается гимном из «Песни Песней»: «Гряди, гряди, от Ливана невеста, гряди, добрая моя, гряди, голубица моя!»

[^^^]

Флердоранж — цветы померанцевого (апельсинового) дерева, украшающие головной убор невесты. Их белый цвет символизирует чистоту и невинность.

[^^^]

В целях борьбы с браками, заключаемыми по принуждению, указом от 5 января 1724 г. Петр I родителям новобрачных запрещал под страхом наказания присутствовать при венчании. Перед совершением таинства родители были обязаны дать присягу, что они не неволят своих детей к браку. К концу XIX в. это правило не носило обязательного характера.

[^^^]

Выражение, означающее полную неосведомленность. Восходит к Книге пророка Ионы, где говорится: «Мне ли не пожалеть Ниневию, города великого, в котором более ста двадцати тысяч человек, не умеющих отличить правой руки от левой, и множество скота?» (Ион. 4. 6, 11).

[^^^]

Пиль! — охотничий термин: «Возьми!» Приказ легавой прекратить стойку и броситься к дичи.

[^^^]

Намек на издавна существовавшую напряженность между Польшей и Россией, вылившуюся в XIX в. в польские восстания 1831 и 1863 гг.

[^^^]

Отсылка к поэме Л. Ариосто (1474–1533) «Неистовый Роланд» (1516–1532). Волшебница-чернокнижница Альцина встречает одного из героев в облике юной красавицы, и он долгие месяцы живет на ее чудо-острове в роскоши и неге. Известна опера в 2-х действиях (1735) Г. Генделя (1685–1759), основанная на анонимном либретто по пьесе «Остров Альцины» Риккардо Броски, в котором главное место занимают чары волшебницы, влюбляющей в себя каждого, кто оказывается на острове, а потом превращающей их в деревья, камни, ручьи и животных, которые находятся в ее прекрасном саду.

[^^^]

Слова Чацкого (А. С. Грибоедов. «Горе от ума», дейст. 3, явл. 3): «Когда в делах — я от веселья прячусь, / Когда дурачиться — дурачусь, / А смешивать два этих ремесла / Есть тьма искусников, я не из их числа».

[^^^]

Из Ветхого Завета (Пс. 36, 27): «Уклоняйся от зла, и делай добро, и будешь жить вовек».

[^^^]

Военные маневры русской армии в Курске проводились с 12 августа по 6 сентября 1902 г.

[^^^]

Из стихотворения Г. Р. Державина (1743–1816)
«На смерть князя Мещерского» (1779).

[^^^]

Из поэмы Н. А. Некрасова «Современники» (1875). У Некрасова: «Бывали хуже времена, / Но не было подлей».

[^^^]

Речь идет о второй жене С. Ю. Витте Матильде Лисаневич (в девичестве Хотимской, по другим сведениям Нурок, ее первый муж Дмитрий Сергеевич Лисаневич, племянник жены генерал-адъютанта О. Б. Рихтера). Имела в первом браке дочь Веру, удочеренную Витте.

[^^^]

Сведений о Владимирове и Урусове обнаружить не удалось. Гагарин Леонид Николаевич (1840–1909) — князь, общественный и земский деятель, тайный советник и гофмейстер Высочайшего двора (с 1902 г.). В 1875–1908 гг. был предводителем дворянства Михайловского уезда, в 1883–1898 гг. — гласным земской управы Рязанской губернии, занимал должность почетного мирового судьи Михайловского уезда. Нападение крестьян деревни Волосовка, находящейся рядом с имением Гагарина, произошло 2 июля 1903 г. после известия об убийстве одним из объездчиков-черкесов местного крестьянина, скопившего траву на княжеской земле. Разъяренная толпа, ворвавшись в имение, перебила все окна в доме и подожгла избу, в которой жили объездчики, после чего забросала камнями и палками экипаж вернувшихся хозяев. Один из камней попал Гагарину в лицо, в результате чего он только потерял сознание. Однако в телеграмме рязанского губернатора Брянчанинова министру внутренних дел Плеве сооб-

щалось, что ранение было смертельным.

[^^^]

Ржевский Сергей Дмитриевич (1850–1914) — выпускник юридического факультета Московского университета, гофмейстер, губернатор Симбирска в 1902–1904 гг.

[^^^]

Экзапостиларий Страстного Четверга (поется после канона): «Чертог Твой вижду, Спасе мой, украшенный, и одежды не имам, да вниду в он».

[^^^]

Бунаков Николай Федорович (1837–1904) — педагог, разрабатывавший основы начального обучения и методику преподавания русского языка. Прославился сочинениями «Родной язык как предмет обучения в начальной школе» (1873, выдержало 15 изданий) и «В школе и дома» (1876). В селе Петино организовал образцовую народную школу. Был подвергнут по распоряжению Плеве высылке из уезда за либеральные высказывания.

[^^^]

Мартынов Сергей Васильевич (1855–1919) — врач, писатель, публицист, член исполнительного комитета «Народной воли». Арестован в 1881 г. Был освобожден и исполнял обязанности земского врача в Воронежской губернии. После волнений 1905 г... в 1906 г., находясь в ссылке в Архангельске, участвовал в ученой экспедиции по исследованию естественных богатств Северного края и за свой труд получил от Академии наук золотую медаль. Автор книги «Современное положение русской деревни (санитарно-экономическое описание села Малышево Воронежского уезда)» (1903).

[^^^]

Шингарев Андрей Иванович (1869–1918) — земский деятель, врач, публицист, один из лидеров кадетов, автор книги «Вымирающая деревня» (1901). Избирался депутатом II–IV Государственной думы. Во Временном правительстве возглавлял Министерства земледелия и финансов. Убит разъяренными матросами после Октябрьской революции.

[^^^]

Действовавшее на Руси с середины XVI до конца XVII в. собрание представителей различных слоев населения государства для решения политических, экономических и административных вопросов, созываемое на условиях участия представителей всех сословий.

[^^^]

Одна из заповедей Моисея: «Чти отца твоего и мать твою, да благо ти будет и да долголетен будеши на земли» (Исход 20, 12).

[^^^]

Отрезки — часть находившихся в пользовании крестьян земель, «отрезаемых» после крестьянской реформы 1861 г. в пользу помещиков, если надел превышал высшую норму, установленную Положениями 19 февраля.

[^^^]

Становой пристав — начальник полиции
небольшого административного района.

[^^^]

Урядник — нижний чин уездной полиции.

[^^^]

Волостной старшина — выборное должностное лицо сельского управления, обладающее административно-полицейской властью. Избирался волостным сходом и утверждался мировым посредником, позже земским начальником на три года.

[^^^]

Перлюстрация — тайное вскрытие государственных или иными органами и лицами пересылаемой по почте корреспонденции с целью цензуры или надзора. Вдовствующая императрица — Мария Федоровна (1847–1928; урожд. принцесса Датская Мария-София-Фредерика-Дагмара), супруга Александра III (с 1866 г.), мать Николая II. И. И. Петрункевич в книге «Из записок общественного деятеля» (Берлин, 1934) со ссылкой на «Воспоминания» С. Ю. Витте писал, что Дурново, «человек недалекий и корыстный, сделавший впоследствии изрядную карьеру», в должности министра внутренних дел «отличился еще и перлюстрацией писем членов императорской фамилии, в том числе — вдовствующей императрицы Марии Федоровны, которая, узнав об этом, добилаась от императора Николая II смещения Дурново». В результате «ему пришлось сменить пост всесильного министра внутренних дел на ничтожное кресло председателя Комитета министров».

[^^^]

Памятник М. В. Ломоносову сооружен скульптором И. П. Мартосом и в 1832 г. установлен на Соборной площади Архангельска. В 1867 г. перенесен на площадь перед губернскими присутственными местами.

[^^^]

Самоеды... — старое название народов, говорящих на самодийских языках, — ненцев, энцев, нганасан, селькупов.

[^^^]

Левицкий Дмитрий Григорьевич (ок. 1735–1822) — живописец, мастер парадного и камерного портрета. Учился в Академии художеств, с 1779 г. там же преподавал. Одна из самых известных картин Левицкого — портрет Е. Н. Хрущевой и княжны Е. Н. Хованской (1773). Создание Левицким портретов предков — Кудышевых свидетельствует о родovitости этого дворянского семейства.

[^^^]

«Русские женщины» — поэма Н. А. Некрасова (1871–1872), состоящая из двух частей — «Княгиня Трубецкая» и «Княгиня М. Н. Волконская. Бабушкины записки».

[^^^]

«Дубинушка» — русская народная песня, песня русских бурлаков, известная по ее исполнению Ф. И. Шаляпиным. Особенно известен ее припев: «Эх, дубинушка, ухнем! Эх, зеленая, сама пойдет!» — который воспринимался как призыв к народному восстанию.

[^^^]

Московский *Художественный* (общедоступный) *театр* основан в 1898 г. К. С. Станиславским и В. И. Немировичем-Данченко, предложившими театральную реформу. Сценические постановки театра (пьесы А. Чехова, Г. Ибсена, Л. Андреева, М. Горького) отличались смелыми художественными решениями и режиссерским новаторством.

[^^^]

Мф. 6, 3–4: «У тебя же, когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая, чтобы милостыня твоя была втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно».

[^^^]

Кишиневский погром — один из наиболее известных еврейских погромов в Российской империи, спровоцированный наветами в ритуальном убийстве русского подростка еврейми в близлежащих Дубоссарах и подстрекательскими антисемитскими статьями в газете «Бессарабец» (ред. П. А. Крушеван), произошел с 6 на 7 апреля 1903 г. в столице Бессарабии (ныне Молдавия) Кишиневе. В организации этого погрома прямо обвиняли В. К. Плеве, неоднократно делавшего заявления антисемитского характера. В результате погрома было убито 49 и ранено 586 человек. Кишиневский погром получил большой общественный резонанс в России и Европе.

[^^^]

Жан-Поль *Марат* (1743–1793), Жорж Жак *Дантон* (1759–1794), Максимилиан *Робеспьер* (1758–1794) — деятели Великой французской революции 1789 г., лидеры якобинской партии.

[^^^]

Бастилия — крепость, построена в 1370–1382 гг. С XV в. стала тюрьмой, с начала XVI в. использовалась для содержания политических заключенных. 14 июля 1789 г. крепость была взята восставшими горожанами, что ознаменовало начало Великой французской революции, и через год разрушена.

[^^^]

Указом от 6 августа 1880 г. III Отделение было упразднено, и на его месте с теми же функциями учреждался Департамент полиции.

[^^^]

Почти во всех общественных организациях до революции состояли члены и члены-соревнователи, т. е. не обладающие всеми правами. Они могли получить членство только после определенного испытательного срока.

[^^^]

Гапон Георгий Аполлонович (1870–1906) — священник, организатор «Собрания русских фабрично-заводских рабочих Санкт-Петербурга» в 1904 г., инициатор шествия 9 января 1905 г. к Зимнему дворцу для вручения Николаю II петиции от рабочих. Был лишен сана, эмигрировал, амнистирован в октябре 1905 г., вернулся в Россию и вступил в контакт с Петербургским охранным отделением. 28 марта 1906 г. в Озерках под Петербургом товарищеским судом эсеров приговорен к смертной казни и повешен.

[^^^]

Азеф Евгений Филиппович (Евно Фишелевич) (1869–1918) — один из руководителей партии эсеров и одновременно агент Охранного отделения. Как глава Боевой организации эсеров, организовал и успешно провел ряд покушений, в числе которых — убийство великого князя Сергея Александровича. В то же время, как агент Охранного отделения, раскрыл и сдал полиции многих революционеров. В 1908 г. разоблачен как провокатор революционером В. Л. Бурцевым, был приговорен членами партии к смерти, однако смог избежать приговора и скрылся за границей, где в 1915 г. был арестован немецкой полицией. В тюрьме серьезно заболел и умер вскоре после освобождения.

[^^^]

т. е. на родину. Выражение «родные палестины», существующее только в русском языке, свидетельствует о традиционных связях нашей страны со Святой землей.

[^^^]

т. е. Псалтирь — книгу пророка и израильского царя Давида (1055–1015 до Р.Х.). Для употребления при богослужении книга разделена на двадцать частей, называемых «кафизмами», каждая из которых, в свою очередь, делится на три части, именуемые «славами».

[^^^]

Господи, Владыко живота моего! — покаянная молитва святого Ефрема Сирина.

[^^^]

«Я вас ждала, но вы, вы не пришли!» — романс на слова стихотворения «Уголок» поэта В. А. Мазуркевича (авторское название «Письмо», 1900), музыка С. И. Штеймана.

[^^^]

Название по фамилии немецкого мастера Якоба Беккера, открывшего в 1841 г. в Санкт-Петербурге мастерскую, специализировавшуюся на изготовлении роялей (просуществовала до 1917 г.). Его рояли отличались превосходным звучанием, поэтому с 1896 г. фирма Беккера стала членом Гильдии Поставщиков Двора Его Величества.

[^^^]

Голицын Григорий Сергеевич (1838–1907) — генерал-адъютант, генерал от инфантерии, главнокомандующий на Кавказе в 1896–1904 гг., сенатор, член Государственного совета. Проводил на Кавказе националистическую политику, за что годы его правления получили наименование «голицынского режима»: по его приказу были закрыты некоторые армянские общественные организации, резко сужена деятельность благотворительных обществ, подвергались жестокой цензуре периодические издания, преследовались деятели армянской культуры, конфисковывалось имущество армянских церквей (приказ 1903 г.). 14 октября 1903 г. членами социал-демократической армянской партии «Гнчак» на него было совершено покушение, в результате которого он был тяжело ранен. В конце 1904 г. царь был вынужден отозвать Голицына в Петербург.

Секвестр — запрещение пользования каким-либо имуществом, налагаемое органами власти.

[^^^]

По-видимому, имеется в виду политика на Кавказе, когда в 1903–1904 гг. открыто готовились армянские погромы, по апробированному образцу погромов еврейских. Власти разоружали армян и снабжали оружием татар, оправдываясь тем, что необходимо подавить волнения, вызванные конфискацией церковного имущества и закрытием армянских школ. Пик армянских погромов наступил в Баку в 1905 г. и был спровоцирован полицией. Подробнее см.: *Амфитеатров А. В. Армянский вопрос* (СПб., 1906), *Старцев Г. Е. Кровавые дни на Кавказе* (СПб., 1907).

[^^^]

Не совсем точно: Голицын был ранен на прогулке кинжальными ударами.

[^^^]

Гоц Абрам Рафаилович (1882–1940) — член партии эсеров, с 1906 г. вошел в Боевую организацию. В 1907 г. арестован и приговорен к восьми годам каторги. В 1915 г. переведен на поселение в Иркутск. После Октябрьской революции — председатель «Комитета спасения родины и революции», организатор анти-советских мятежей. Неоднократно подвергался репрессиям. Умер в лагере.

[^^^]

Бобриков Николай Иванович (1839–1904) — генерал от инфантерии. член Государственного совета, финляндский генерал-губернатор и командующий войсками Финляндского военного округа. В 1898 г. издал манифест, урезающий права финляндского сейма, в 1900 г. — манифест о введении русского языка в делопроизводство, ликвидировал особые финские войска (1901 г.) и Финляндский кадетский корпус (1903 г.) и пр. В Финляндии росло недовольство его действиями, и 4 июня 1904 г. он был смертельно ранен в здании Финляндского сената.

[^^^]

Территория Польши (Речи Посполитой) подвергалась разделу трижды. В 1772 г. — к России отошли восточная часть Белоруссии по Западной Двине и Верхнему Днепру, в 1793 г. — Центральная Белоруссия с Минском, Правобережная Украина. В 1794 г. польские патриоты во главе с Тадеушем Костюшко подняли восстание, которое было подавлено войсками под командованием А. В. Суворова. В 1795 г. состоялся третий раздел Речи Посполитой, в результате которого к России отошли Литва, Западная Белоруссия, Волынь и Курляндия. Польская государственность была восстановлена в 1918 г.

[^^^]

Указывая на представителей народов, подвергавшихся наибольшему угнетению. Чириков «суммирует» всех недовольных национальной политикой царского правительства.

[^^^]

Чириков приводит близко к тексту слова из неоконченной рукописи К. С. Аксакова «Переворот Петра Великого» (1850). У Аксакова: «Русское государство, напротив (в отличие от европейских. — М.М., А.Н.), было основано не завоеванием, а добровольным призванием власти. Поэтому не вражда, а мир и согласие есть его начало. Власть явилась у нас желанною, не враждебною, но защитною, и утвердилась с согласия народного. На Западе власть явилась как грубая сила, одолела и утвердилась без воли и убеждения покоренного народа. В России народ сознал и понял необходимость государственной власти на земле, и власть явилась, как званый гость, по воле и убеждению народа».

[^^^]

Так называемая «теория официальной народности» — принципы, которым должно следовать общество, были изложены графом С. С. Уваровым (1786–1855) в докладе Николаю I при вступлении в должность министра народного просвещения.

[^^^]

Отсылка к строкам из «Медного всадника» А. С. Пушкина, обращенным к Петру I (О, мощный властелин судьбы! / Не так ли ты над самой бездной, / На высоте, уздой железной / Россию поднял на дыбы?).

[^^^]

Слова Чацкого. (А. С. Грибоедов. «Горе от ума».
Действ. 3, явл. 22).

[^^^]

Оболенский Иван Михайлович (1853–1910) — князь, военный и государственный деятель. В 1897–1902 гг. был херсонским губернатором, с января 1902 г. — харьковский губернатор, где отличился жестоким подавлением крестьянских выступлений. 29 июля 1902 г. на него было совершено покушение, но стрелявший эсер Фома Качура промахнулся, только легко ранив Оболенского. В 1903 г. был уволен с должности губернатора, и после убийства финляндского генерал-губернатора Н. И. Бобрикова занимал в 1904–1905 гг. его пост.

[^^^]

Богданович Николай Модестович (1856–1903) — являлся уфимским губернатором в 1896–1903 гг. Ранее служил в Министерстве юстиции, а в 1896 г. возглавлял Главное тюремное управление Министерства внутренних дел. Руководил разгоном забастовки рабочих в Златоусте, отказавшихся принять новые условия найма и увольнения, в результате чего были убиты 69 и ранены более 250 человек. Был застрелен 6 мая 1903 г. эсером Егором Дулебовым (1883–1908), который позже принял участие в убийстве Плеве, после чего был арестован. Заболев в Петропавловской крепости, он скончался в психиатрической лечебнице.

[^^^]

Савинков Борис Викторович (1879–1925) — политический деятель. В 1903–1917 гг. эсер, один из руководителей Боевой организации, организатор многих террористических актов. С 1920 г. в эмиграции. Арестован в 1924 г., осужден, по официальным сведениям, покончил жизнь самоубийством на Лубянке. Под псевдонимом В. Ропшин опубликовал повести «Конь бледный» (1909), роман «То, чего не было» (1912), раскрывающие психологические мотивы политического терроризма.

[^^^]

Конференция проходила в Париже с 30 сентября по 4 октября 1904 г. с целью активизации и координации действий политических организаций в России. На ней присутствовали представители восьми революционных партий: «Союз Освобождения», «Партия социалистов-революционеров», «Финляндская партия активного сопротивления» (образовалась в 1904 г., дабы совместно с различными оппозиционными элементами России стремиться к свержению самодержавия в Финляндии и помогать им в свержении существующего строя в Империи вообще), «Польская национальная лига», «Польская социалистическая партия», «Грузинская партия социалистов-федералистов-революционеров», «Армянская революционная федерация» и «Латышская социал-демократическая рабочая партия» (РСДРП и Бунд не участвовали). Решения Парижской конференции не имели большого практического значения. Однако сам факт ее проведения свидетельствовал о существенной радикализации позиций россий-

ской общественности.

[^^^]

*Покотил*ов Алексей Дмитриевич (1879–1904) — эсер, террорист. В 1901 г. за участие в демонстрации у Казанского собора в Петербурге выслан под гласный надзор полиции на два года. Член Боевой организации партии эсеров, участник покушения на министра внутренних дел В. К. Плеве. Погиб в ночь на 1 апреля 1904 г. в «Северной гостинице» Петербурга в результате взрыва.

[^^^]

Каляев Иван Платонович (1877–1905) — эсер. 4 февраля 1905 г. убил московского генерал-губернатора (с 1891 г.) великого князя Сергея Александровича (1857–1905).

[^^^]

«Крестьянский союз» — демократическая крестьянская организация, возникшая весной-летом 1905 г. На первом съезде, прошедшем в Москве, были выдвинуты требования отмены частной собственности на землю, предоставления политических прав гражданам России, созыва Учредительного собрания и Государственной думы, выборности местных органов самоуправления и суда, обязательного и бесплатного начального образования и др. После поражения революции 1905 г. практически прекратил свое существование. Окончательно ликвидирован после установления советской власти. Чириков был членом «Крестьянского союза», за что подвергался аресту (заключение в Таганскую тюрьму) и угрозам со стороны черносотенцев.

[^^^]

Крестьянские «Братства» — низшие звенья партии эсеров в деревне, создававшиеся в 1905 г. и предполагавшие сочетание пропагандистской работы с организацией Боевых дружин. Членами братств могли становиться мужчины и женщины села, принимающие программу партии эсеров и подчиняющиеся уставу братства.

[^^^]

Аграрные беспорядки, произошедшие в Полтавской и Харьковской губерниях в 1902 г., были спровоцированы неурожаем 1901 г. и высокой арендной платой за землю, а также под влиянием хорошо проведенной политической агитации. Восстания были подавлены правительственными войсками, перед судом предстали 1092 человека. Указ 11 мая 1902 г. возложил на крестьян возмещение убытков помещикам в сумме 800 тысяч рублей (отменен в 1904 г.). В брошюре «Народ и революция» (Ростов-на-Дону, 1919. С. 24) Чириков ссылался на сведения, почерпнутые из «Исторического вестника» (1908. № 4), и приводил цитату оттуда: «В начале этого движения (речь идет о Полтавских бунтах. — М.М., А.Н.) в народе упорно ходили слухи о каком-то генерале, приехавшем из Петербурга от самого царя с поручением объявить народу какой-то манифест, написанный золотыми буквами», — а затем добавлял: «Очевидно, здесь в 1902 г. народ еще ждал, что царь исправит обман господ в 1861 году, когда давали „волю“».

[^^^]

Стихотворение Руже де Лиля впервые было опубликовано в переводе П. Л. Лаврова в журнале «Вперед!», выходившем в Лондоне. Авторское заглавие «Новая песня» не прижилось; песня стихийно стала именоваться «Марсельеза», на мотив которой поется.

[^^^]

А. С. Пушкин. «Евгений Онегин» (VIII, XXIX).

[^^^]

Малявин Филипп Андреевич (1869–1940) — художник, один из видных мастеров модернизма. Славу ему принесли экспрессивные образы крестьянок («Вихрь», «Бабы»), которые воспринимались как символы России.

[^^^]

Финь-шампань — сорт коньяка, производимый на основе виноградного спирта в местности Финь-Шампань (окрестности г. Коньяк во Франции).

[^^^]

Первая строка стансов Бертрана, персонажа пьесы Э. Ростана «Принцесса Грёза» (1895) в переводе Т. Л. Щепкиной-Куперник (1874–1952).

[^^^]

Возможно, аллюзия на стихотворение митрополита Филарета, написанное в ответ на стихи А. С. Пушкина «Дар напрасный, дар случайный...» (у Филарета: «Жизнь от Бога мне дана»).

[^^^]

Евгеника — учение о наследственности, законах передачи потомкам одаренности и таланта и путях улучшения этих свойств.

[^^^]

Антей — в греческой мифологии великан, сын Геи и Посейдона, считавшийся непобедимым, пока соприкасался с Матерью-землей. Был погублен Гераклом, поднявшим его в воздух.

[^^^]

Песня на стихи Ф. Н. Глинки «Сон русского на чужбине» (1825, опубл. в 1831 г.).

[^^^]

Ср.: «Так как они сеяли ветер, то и пожнут бурю...» (Ос. 8, 7).

[^^^]

После Манифеста 17 октября Азеф стал сторонником роспуска Боевой организации и всячески саботировал ее действия, в результате чего эсеры перешли к террору с помощью децентрализованных летучих отрядов.

[^^^]

Имеется в виду Федор Протасов, решивший разорвать прежние отношения с семьей и обществом путем инсценировки самоубийства.

[^^^]

*Вечерний звон! Вечерний звон! / Как много дум
наводит он...* — перевод стихотворения
«Those Evening Bells» английского поэта Тома-
са Мура И. И. Козловым. Музыка, по утвержде-
нию исследователей, написана А. А. Алябье-
вым. Однако наиболее известная мелодия
песни в песенниках именуется народной и
имеет мало общего с алябьевской.

[^^^]

Имеется в виду портрет, созданный В. А. Серовым в 1900 г. На нем царь изображен сидящим, со сложенными на столе руками, одетым по-домашнему, в тужурке.

[^^^]

На интимность этого портрета Серова обращали внимание многие. Чтобы подчеркнуть это, Чириков использует название знаменитой книги Ф. Ницше (1844–1900) «Человеческое, слишком человеческое» (1878), с которой началась скандальная слава философа.

[^^^]

Серафим Саровский погребен в Саровском монастыре в 1833 г. По преданию, старец сам выбрал место своего упокоения рядом с могилой старшего друга и наставника Марка Молчальника и даже отметил это место принесенным собственноручно камнем. В 40-е гг. XIX в. на средства нижегородских купцов Петра и Степана Ясыревых был сооружен чугунный памятник в виде гробницы. В 1890 г. на средства почитателей преподобного Серафима над его погребением была устроена металлическая каркасная часовня с главой и крестом. В 1902 г. в «Церковных ведомостях» опубликовано решение Святейшего Синода о грядущем причислении отца Серафима к лику святых, после чего над могилой сняли чугунное надгробие, вскрыли могильную яму и провели акт освидетельствования останков. С одобрения императора 29 января 1903 г. Святейший Синод издал постановление о торжественном открытии мощей 19 июля 1903 г.

Закрепление в XII–XV вв. за разными ветвями киевского княжеского рода отдельных территорий-земель привело к формированию новой формы государственности, получившей название Удельной Руси. Раздробленность и непрекращающаяся борьба между князьями способствовали завоеванию Руси монголами, которое нанесло огромный ущерб экономическому, политическому и культурному развитию страны, что стало одной из причин отставания Русского государства от Западной Европы.

[^^^]

Куропаткин Александр Николаевич (1848–1925) — генерал от инфантерии (1901). В 1898–1904 гг. — военный министр. В Русско-японскую войну командовал войсками в Маньчжурии, потерпел поражение под Ляояном и Мукденом. Командующий армией в Первую мировую войну, в 1916–1917 гг. — туркестанский генерал-губернатор.

[^^^]

Близкое цитирование книги А. Н. Куропаткина «Русско-японская война, 1904–1905: Итоги войны» (1906). Точно: «Увы, мы переживаем тяжелое время: враг внутренний, стремясь разрушить самые священные, самые дорогие устои нашего бытия, пытается внести отраву даже в ряды русской армии. Недовольство и брожение охватывает значительные группы населения. Беспорядки разного вида, но в большинстве вызываемые революционной пропагандой, учащаются. Случаи вызова войск для прекращения этих беспорядков, сравнительно с недавним прошлым, очень часты. Противоправительственные, подпольные издания все чаще и чаще находятся даже в казармах... Несомненно, что если бы на Россию было сделано нападение извне, то русский народ в порыве высокого патриотизма сам стряхнул бы с себя наносную ложь революционной пропаганды и явился бы тем же высокопреданным, готовым по зову своего обожаемого монарха положить живот свой на защиту царя и родины, каким являлся в

начале XVIII и особенно XIX столетий. Но если война начнется из-за неясных населению целей и потребуются тяжкие жертвы, но нельзя скрывать, что вожаки противоположной партии воспользуются этим, дабы еще более усилить смуту. Явится, таким образом, новый фактор, с которым, решаясь на войну на Дальнем Востоке, надо до известной степени считаться».

[^^^]

Безобразов Александр Михайлович (1855–1931) — один из сторонников начала Русско-японской войны 1904–1905 г. Был офицером, дослужился до чина полковника. В 1896 г. подал докладную записку, в которой, указывая на агрессивную политику Японии в Корее, предсказывал неизбежность войны с японцами и настаивал на приобретении казенной концессии от корейского правительства на рубку леса по реке Ялу, надеясь таким образом создать заслон против Японии. Проект осуществлен не был, но в 1901 г. было организовано «Русское лесопромышленное товарищество» (он стал членом правления) с казенной субсидией в два миллиона, которое и приобрело концессию. Имея близкие связи с высокопоставленными лицами, усиленно агитировал за агрессивную политику против Японии, встречая полное сочувствие и поддержку со стороны министра внутренних дел Плеве. Отчасти под влиянием Безобразова в 1903 г. были образованы Наместничество на Дальнем Востоке и Особый комитет по делам

Дальнего Востока (он был назначен членом, получив звание статс-секретаря, а управляющим делами Комитета стал его родственник, контр-адмирал А. М. Абаза). Комитет был упразднен в 1905 г., в это же время завершилась политическая карьера Безобразова. Последние годы жизни провел в эмиграции (уехал из России после 1917 г.).

[^^^]

Алексеев Евгений Иванович (1843–1917) — военный и государственный деятель, генерал-адъютант (1901), адмирал (1903). В 1883–1888 гг. — военно-морской агент во Франции, в 1895–1897 гг. — начальник Тихоокеанской эскадры, в 1897 г. произведен в вице-адмиралы и назначен старшим флагманом Черноморской флотской дивизии. С 1899 г. — главный начальник и командующий войсками Квантунской области и морскими силами Тихого океана. С 1903 г. — наместник на Дальнем Востоке, в 1904 г. назначен после гибели адмирала С. О. Макарова главнокомандующим всеми сухопутными и морскими силами на Дальнем Востоке, но после ряда крупных поражений русской армии отозван с занимаемой им должности.

[^^^]

Имеется в виду Романов Алексей Александрович (1850–1908) — четвертый сын императора Александра II, генерал-адмирал и с 1882 г. главный начальник флота и морского ведомства. В 1905 г. уволен с последней должности согласно прошению с оставлением в звании генерала-адмирала.

[^^^]

Мысль о консолидации правых и левых сил в борьбе с правительством для изменения государственного строя России была излюбленной мыслью П. Б. Струве, которую он неоднократно высказывал на страницах своего журнала.

[^^^]

В ночь на 27 января 1904 г. без объявления войны японский флот обстрелял русскую эскадру на рейде Порт-Артура, что привело к выводу из строя нескольких важнейших кораблей и обеспечило беспрепятственную высадку японских войск в Корею.

[^^^]

Эскадренный броненосец российского Военно-морского флота «Петропавловск», в Русско-японскую войну флагман 1-й Тихоокеанской эскадры в Порт-Артуре, в 1904 г. подорвался на минах. Погибли адмирал Степан Осипович Макаров (1848/49–1904) и художник Василий Васильевич Верещагин (1842–1904).

[^^^]

18 апреля 1904 г. японская армия, имевшая пятикратный численный перевес, нанесла поражение русским войсками близ Тюренчена, что облегчило вторжение японских войск в Маньчжурию.

[^^^]

Милошевич Елена Григорьевна (1861–1908) — дочь графа Григория Александровича Строганова и великой княгини Марии Николаевны Романовой, дочери Николая I, тетка Николая II. Ее имя часто упоминается в дневнике последнего русского царя, на которого она имела влияние.

[^^^]

Святополк-Мирский Петр Данилович (1857–1914) — князь, генерал-лейтенант. С 1895 г. — пензенский, с 1897 г. — екатеринославский губернатор. В 1900–1902 гг. — товарищ министра внутренних дел и командующий корпусом жандармов. В 1904–1905 гг. — министр внутренних дел. В ноябре 1904 г. выступил с проектом реформ, который предусматривал включение в Государственный совет выборных представителей от земств и городских дум, частичную амнистию, ослабление цензуры и пр., однако правительство отвергло проект как «чересчур левый». После начала революционных событий 1905 г. отправлен в отставку.

[^^^]

Боевые действия в районе Ляояна (город в Северо-Восточном Китае) проходили с 11 по 21 августа 1904 г., не принеся успеха ни одной из армий. Однако этот бой стал тяжелым моральным ударом для русской стороны, ожидавшей от военного командования решительного отпора японцам.

[^^^]

Мф. 7,3: «И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревно в твоём глазе не чувствуешь».

[^^^]

После гибели Плеве в обществе оживились надежды на демократические преобразования, в связи с чем было решено созвать в Петербурге собрание представителей земских управ. Об этом замысле было доложено царю, который разрешил съезд при условии, что земские деятели не выйдут за рамки своих полномочий. Однако в повестку, помимо вопросов о политических и гражданских свободах, упразднении сословных привилегий, укреплении земств, был включен пункт о созыве народного представительства. В итоге правительство не дало официального разрешения на проведение съезда, поэтому с 6 по 8 ноября 1904 г. участники собирались в частных домах.

[^^^]

В 1895–1903 гг. в семье Николая II и Александры Федоровны родились подряд четыре дочери. По законам Российской империи в случае отсутствия у венценосных супругов сына императором становился младший брат Николая, великий князь Михаил. Побывав 19 июля 1903 г. на открытии мощей Серафима Саровского, императорская чета совершила молебен о даровании им наследника, и через год, 30 июля, родился долгожданный сын — цесаревич Алексей.

[^^^]

Имеется в виду Высочайший указ «О мерах к усовершенствованию государственного порядка» от 12 декабря 1904 г., обещавший расширение прав земств, страхование рабочих, эмансипацию инородцев и иноверцев, устранение цензуры, но при непременном сохранении самодержавия.

[^^^]

Первые либеральные политические организации («Союз освобождения» и «Союз земцев-конституционалистов») возникли в 1903 г. и предусматривали умеренные политические преобразования (конституционная монархия и демократические свободы), заложив своей деятельностью основу для создания партии кадетов (конституционно-демократической партии), которая оформилась позже на учредительном съезде 12–18 октября 1905 г.

[^^^]

Крепость выдержала шесть штурмов, но вопреки мнению Военного совета крепости 23 декабря 1904 г. генерал барон А. М. Стессель (1848–1915) заявил о ее капитуляции. В 1907 г. он предстал перед военным трибуналом, который приговорил его к смертной казни за сдачу порта, позже приговор был заменен десятилетним заключением, но уже в мае 1909 г. Стессель был прощен царем.

[^^^]

Разгон и расстрел мирной демонстрации народа послужил началом Первой русской революции 1905–1907 гг. 9 января 1905 г. рабочие направились к царю с петицией, составленной участниками «Собрания русских фабрично-заводских рабочих Санкт-Петербурга» и содержащей просьбы об улучшении их материального положения, а также политические требования: созыв Учредительного собрания на основе всеобщего голосования, введение демократических свобод и др. В результате действий правительственных войск погибли 1200 и были ранены около 5 тысяч человек. После этого началось строительство баррикад и вооруженное сопротивление народных масс.

[^^^]

Чириков цитирует близко к тексту обращение к государю. Точное начало: «Государь! Мы, рабочие и жители города С.-Петербурга разных сословий, наши жены и дети, и беспомощные старцы-родители, пришли к тебе, Государь, искать правды и защиты. Мы обнищали, нас угнетают, обременяют непосильным трудом, над нами надругаются, в нас не признают людей, к нам относятся как к рабам, которые должны терпеть свою горькую участь и молчать. Мы и терпели, но нас толкают все дальше в омут нищеты, бесправия и невежества, нас душат деспотизм и произвол, и мы задыхаемся. Нет больше сил, государь. Настал предел терпению. Для нас пришел тот страшный момент, когда лучше смерть, чем продолжение невыносимых мук...».

[^^^]

Рутенберг Петр Моисеевич (1878–1942) — инженер, политический деятель, член партии эсеров. После окончания училища работал младшим инженером на Путиловском заводе. Был доверенным лицом Гапона. Принимал участие в шествии к Зимнему дворцу 9 января 1905 г., после скрывался за границей. Участвовал в казни Гапона в 1906 г.

[^^^]

Письмо Гапона Николаю II после трагических событий 9 января 1905 г. Точно: «С наивной верой в тебя, как отца народа, я мирно шел к тебе с детьми твоего народа. Неповинная кровь рабочих и жен, и детей-малолеток навсегда легла между тобой, о душегубец, и русским народом. Нравственной связи у тебя с ним никогда уже быть не может. Могучую же реку сковать во время ее разлива никакими полумерами, даже вроде Земского Собора, ты уже не в силах. Бомбы и динамит, террор бесправного люда, народное вооруженное восстание — все это должно быть и будет непременно. Море крови, как нигде, прольется. Из-за тебя, из-за твоего дома — Россия может погибнуть. Раз навсегда пойми все это и запомни. Отрекись же лучше поскорей со всем своим домом от русского престола и отдай себя на суд русскому народу. Пожалей детей своих и Российской страны, о ты, предлагатель мира для других народов, а для своего — кровопийца! Иначе вся имеющая пролиться кровь на тебя да падет, палач, и твоих присных...».

[^^^]

Прав.: «Где же несть болезни, печали и въздыханий». Слова кондака (глас 8-й), читаемого в субботу, всем святым и за умерших («Последование по исходе души от тела»). Выражение употребляется в обыденной речи в значении «рая», загробного мира.

[^^^]

Цитата из баллады Ф. Шиллера «Торжество победителей» (1803) в переводе В. А. Жуковского (точно: «Спящий в гробе мирно спи»).

[^^^]

Клирошанка — поющая на клиросе певчая.

[^^^]

Возок — зимняя повозка, крытые сани с дверцами.

[^^^]

Покушение на К. П. Победоносцева было назначено на 5 апреля 1902 г., в день погребения Д. С. Сипягина. Исполнение предполагалось совершить или во время похоронного шествия, или же во время самого обряда погребения. Исполнителями приговора были выбраны два артиллерийских офицера, однако незадолго до покушения они были выданы Азефом охранке и арестованы.

[^^^]

Сазонов Егор Сергеевич (1879–1910) — революционер, эсер. С 1903 г. — член Боевой организации. 15 июля 1904 г. убил министра внутренних дел В. К. Плеве. Был приговорен к вечной каторге, покончил с собой в Горном Зерентуе, протестуя против телесных наказаний (Зерентуйская трагедия).

[^^^]

Пятидневный ожесточенный бой под Мукденом... — В сражении под Мукденом (город в Северо-Восточном Китае) 19–25 февраля 1905 г. 3-я русская Маньчжурская армия под командованием генерала А. Н. Куропаткина потерпела поражение и отступила на север.

[^^^]

Не удалось установить, о каком издании идет речь. В 1906–1907 гг. в Японии в городе Нагасаки выходила газета «Воля», редакторами которой были Б. Д. Оржих, Н. К. Руссель-Судзиловский, В. К. Вадецкий. Вышло свыше 100 номеров газеты. Доктор Руссель (1850–1930), президент Гавайских островов, в прошлом русский политический эмигрант, в 1904–1905 гг. в городе Кобе издавал для русских военнопленных еженедельник «Россия и Япония», который первоначально был весьма умеренным, но потом постепенно становился все революционнее. В числе его сотрудников был будущий автор романа «Цусима» А. С. Новиков-Прибой.

[^^^]

В сражении близ острова Цусима 14–15 мая 1905 г. японский флот разгромил 2-ю Тихоокеанскую эскадру (погибли 8 эскадренных броненосцев, 1 броненосный крейсер, 1 броненосец береговой обороны, 4 крейсера, 1 вспомогательный крейсер, 5 миноносцев и несколько транспортов; 2 эскадренных броненосца, 2 броненосца береговой обороны и 1 миноносец сдались в плен японцам). По мнению современников, в этот день «пошла ко дну и вся старая Россия» (В. Я. Брюсов). *Рождественский Зиновий Петрович* (1848–1909) — вице-адмирал (1904). В Русско-японскую войну командовал 2-й Тихоокеанской эскадрой.

[^^^]

Трепов Дмитрий Федорович (1855–1906) — генерал-майор, московский обер-полицмейстер (1896–1905), в январе 1905 г. назначен петербургским генерал-губернатором, с апреля — товарищ министра внутренних дел, а также заведующий полицией и командующий корпусом жандармов, с октября 1905 г. — дворцовый комендант.

[^^^]

Трубецкой Сергей Николаевич (1862–1905) — философ, историк философии. Сторонник немецкой классической философии, учения славянофилов и Вл. Соловьева, с которым его связывали дружеские отношения. В 1890-е гг. преподавал в Московском университете, защитил докторскую диссертацию, читал лекции по древней философии. В 1900–1905 гг. вместе с Л. М. Лопатиным редактировал журнал «Вопросы философии и психологии», активно участвовал в земском движении, выступал за осуществление гражданских реформ, за автономию университетов. 6 июня 1905 г. Трубецкой в качестве члена делегации земства и городских органов самоуправления произнес речь о необходимости реформ в присутствии императора Николая II.

[^^^]

В 1905 г. Теодор Рузвельт (1858–1919), президент США в 1901–1909 гг., принадлежавший к республиканской партии, взял на себя посредничество в деле заключения мира между Японией и Россией, договор между которыми был подписан в августе 1905 г. в Портсмуте (США). По договору (усилиями С. Ю. Витте было отвергнуто требование Японии о контрибуции) Россия была вынуждена признать Корею сферой влияния Японии, а также передать ей право на аренду Ляодунского полуострова с Порт-Артуром и южную часть острова Сахалин.

[^^^]

Булыгин Александр Григорьевич (1851–1919) — государственный деятель, с 1902 г. — помощник московского генерал-губернатора. В 1905 г. — министр внутренних дел. Разработал проект закона об учреждении Думы и Положение о выборах в нее, содержащее ряд ограничений для рабочих, военных и женщин, которые лишались права голоса.

[^^^]

Дума с совещательным голосом. — 6 августа 1905 г. был издан Манифест о созыве представительного органа — Государственной думы (должна была быть созвана не позднее середины января 1906 г.), которая получала совещательные права. Таким образом, власть императора по-прежнему оставалась неограниченной.

[^^^]

В октябре 1905 г. началась Всероссийская политическая стачка, в которой участвовало около двух миллионов человек. Выборы в думу были, таким образом, бойкотированы. «Толстовским неделанием» Чириков называет ее по аналогии с толстовской теорией непротивления злу насилием, согласно которой главным является неучастие в государственных органах и предприятиях.

[^^^]

В начале XX в. Москва стала центром либеральной оппозиции, съезды представителей которой чаще всего проходили в доме братьев князей Павла и Петра Долгоруковых в Малом Знаменском переулке. Организационно конституционно-демократическая партия оформилась на съезде, проходившем 12–18 октября 1905 г.

[^^^]

По аналогии с политической группировкой периода Великой французской революции, получившей это название позже — по департаменту Жиронда, откуда были многие руководители — Ж. А. Кондорсе, Ж. П. Бриссо и др.

[^^^]

«Черный передел» — народническая организация в Санкт-Петербурге в 1879–1881 гг., возникшая после раскола «Земли и воли» и сохранившая ее программу. Лидеры — Г. В. Плеханов, Я. В. Стефанович, Л. Г. Дейч, В. И. Засулич, М. Р. Попов, Е. Н. Ковальская и др. С 1880 г. находились в эмиграции.

[^^^]

Клеменц Дмитрий Александрович (1847–1914) — деятель народнического движения, писатель, этнограф. Был членом нескольких революционных организаций, активно участвовал в хождении в народ и пропаганде среди рабочих. Редактировал журналы «Община» (Женева) и «Земля и воля» (Петербург). Был арестован и после двухлетнего заключения сослан в Минусинск. Добровольно оставшись в Сибири по окончании срока ссылки, изучал антропологию и этнографию населяющих ее народов, публиковал труды в изданиях географического общества, активно способствовал развитию музейного дела в Сибири. Вернувшись в 1902 г. Петербург, занял место хранителя Академического этнографического музея Императора Александра III (Этнографический отдел Русского музея).

[^^^]

«Мы жертвою пали в борьбе роковой» — один из двух знаменитых похоронных маршей русского революционного движения (второй — «Замучен тяжелой неволей»), представляющий контаминацию двух стихотворений А. Архангельского (А. А. Амосова) «Идет он усталый, и цепи звенят...» и «Мы жертвою пали борьбы роковой...», положенных на музыку песни «Не бил барабан перед смутным полком».

[^^^]

Якубович Петр Филиппович (1860–1911; псевд. Л. Мельшин, П. Ф. Гриневи́ч и др.) — поэт, писатель, переводчик. Революционер-народник. Лирика в духе Некрасова.

[^^^]

Стихотворение венгерского поэта Януша Арани (1817–1882) в переводе А. Н. Плещеева (1825–1893). Прав.: «Ах! Сколько, сколько пало их / В бою за край родной! / Отважных, гордых, молодых, / С кипучею душой!». Здесь, возможно, ирония Чирикова, поскольку бывалый народник приписывает это стихотворение другому лицу.

[^^^]

Александра Федоровна (наст. имя Алиса Гессен-Дармштадтская; 1872–1918) — жена Николая II (с 1894 г.).

[^^^]

«Союз истинно русских людей» — организация черносотенцев, созданная в 1905 г., в октябре того же года влилась в «Союз русского народа». Один из лидеров — князь В. П. Мецкерский (1839–1914).

[^^^]

Идея перманентной, т. е. непрерывной, революции была выдвинута К. Марксом и Ф. Энгельсом в «Манифесте Коммунистической партии» (1848) и «Обращении Центрального комитета к Союзу коммунистов» (1850), считавшими, что пролетариат, обладая достаточной силой, организацией, влиянием и занимая самостоятельную политическую позицию, может осуществить переход от буржуазно-демократической революции к революции социалистической и к установлению своей власти. Идея получила дальнейшее развитие в теории Ленина, центральным пунктом которой стало положение о гегемонии пролетариата, выполняющего роль двигателя безостановочного развития демократической революции, поэтапного перехода к решению все более радикальных задач, создания условий для социалистической революции. В результате победы демократической революции утверждался революционно-демократический тип власти (диктатура пролетариата и крестьянства), которая становилась орудием

ем непрерывного углубления и перерастания демократической революции в социалистическую. В словах Чирикова кроется ирония: перманентная революция «сводится» к вооруженному восстанию.

[^^^]

«Патронов не жалеть, холостых залпов не давать!» — слова из разъяснения петербургского генерал-губернатора Д. Ф. Трепова, которое было расклеено 14 октября 1905 г. на улицах охваченного волнениями Петербурга. В этом воззвании Трепов извещал население, что он приказал полиции подавлять беспорядки самым решительным образом. Словосочетание стало символом жестокой расправы.

[^^^]

Прав.: «В борьбе обретишь ты право свое» — лозунг партии социалистов-революционеров. Автор девиза — немецкий юрист Рудольф фон Йеринг (1812–1890), трактовавший право как защищенный юридическими средствами практический интерес человека.

[^^^]

Трезвон — идущие подряд три удара в несколько колоколов. Пасхальный (красный) трезвон длится в Пасху весь день, он же начинается и заканчивает воскресные обедни на протяжении от Пасхи до Вознесения.

[^^^]

Аника-воин! — герой одного из русских народных «духовных стихов» об Анике-воине, который хвалился своей отвагой, хитростью и силой, но, встретив Смерть, испугался и был побежден ею. Стих восходит к «Повести о прении живота со смертью», которая пришла (не ранее XVI в.) на Русь с Запада. В переносном смысле — недалекий, задиристый человек, который хвастает своей силой, но в схватке с серьезным противником терпит постыдное поражение.

[^^^]

Мустамяки — общее название для нескольких населенных пунктов на Карельском перешейке. До появления железной дороги местность была не заселена, после открытия в 1877 г. железнодорожной станции начала активно осваиваться. Нейвола — деревня, входившая до 1939 г. в состав волости Уусикиркко Выборгской губернии Финляндии.

[^^^]

Неточность: Горький поселился в Нейволе в начале 1914 г., после возвращения из первой эмиграции (1906–1913 гг.). Его дом (так называемая «вилла Ланг») был двухэтажным (принадлежал А. П. Горбик-Горбовской). По свидетельству современников, на первом этаже дома находилась большая комната с камином, разделенная аркой на две части, служившая столовой и гостиной, рядом с ней было несколько комнат меньшего размера, в которых обычно останавливались гости. На втором этаже размещались кабинет, библиотека и комнаты Горького и его второй жены актрисы Марии Андреевой. Летом же 1905 г. Горький жил в Куоккале, неподалеку от «Пенат» И. Е. Репина на мызе Линтула-Эрстрем. В этом месте образовалась небольшая «колония» писателей: Скиталец, Л. Андреев. Приезжали Куприн, Рукавишников, Елпатьевский. Дача была местом связи с зарубежными революционными деятелями. Еще раз в Финляндии Горький побывал в январе 1906 г.; постоянно менял места жительства.

[^^^]

Ленин весной и летом 1906 г. жил в Куоккале на вилле «Ваза», которая стала большевистским центром, куда приезжали партийные работники различных рангов с целью выработки дальнейших действий.

[^^^]

День рождения Горького — 16 (28) марта.

[^^^]

Горький и Ленин в Финляндии не встречались, так как были там в разное время.

[^^^]

Прав.: «Что там? веревочка? Давай и веревочку, — и веревочка в дороге пригодится: тележка обломается или что другое, подвязать можно» (дейст. 4, явл. 10).

[^^^]

Чернов Виктор Михайлович (1873–1952) — политический деятель, один из основателей партии эсеров, ее теоретик. Назначение на пост министра земледелия Временного правительства получил только в 1917 г. В 1918 г. избран председателем Учредительного собрания. С 1920 г. в эмиграции.

[^^^]

Прежде всего речь идет о Савве Тимофеевиче Морозове (1862–1905) — предпринимателе и меценате. В начале XX в. поддерживал отношения с лидерами либерального движения, в его особняке на Спиридоновке происходили полулегальные заседания земцев-конституционалистов. Также был связан с революционным движением: финансировал издание социал-демократической газеты «Искра», на его средства учреждены первые большевистские легальные газеты «Новая жизнь» и «Борьба», нелегально провозил на свою фабрику запрещенную литературу и типографские шрифты, в 1905 г. прятал от полиции одного из лидеров большевиков Н. Э. Баумана, был близко знаком с М. Горьким и Л. Б. Красиным. Разорившись, по официальной версии, покончил с собой.

[^^^]

Интендантство — военное учреждение, ведающее снабжением войск. Во время Русско-японской войны воровство в этом ведомстве достигло вопиющих размеров, что послужило одной из причин того, что война была проиграна. Возглавив в 1909 г. Главное интендантское управление, генерал Д. С. Шуваев (1854–1937) добился отдачи под суд военных чиновников, обворовывавших армию во время войны.

[^^^]

Общество Российского Красного Креста (первоначально называлось «Общество попечения о раненых и больных») было организовано 15 мая 1867 г. в Петербурге после ратификации Россией в 1867 г. Женевской конвенции «об улучшении участи больных и раненых в действующих армиях», которая предусматривала заботу воюющих сторон о потерпевших другой воюющей стороны и давала права свободного перемещения обслуживающему медицинскому персоналу. Елизавета Федоровна Романова (1864–1918; урожд. принцесса Гессен-Дармштадтская) — старшая сестра супруги Николая II Александры Федоровны, жена великого князя Сергея Александровича. Возглавляла Дамский комитет Красного Креста, после гибели супруга была назначена председателем Московского управления Красного Креста. С началом Русско-японской войны организовала Особый комитет помощи воинам, при котором в Большом Кремлевском дворце был создан склад пожертвованных в пользу воинов, где шили одежду, соби-

рали посылки, формировали походные церкви и т. д. Основательница Марфо-Мариинской обители в Москве.

[^^^]

Сергей Иванович *Четвериков* (1850–1929) владел Городищенской суконной фабрикой в Щелкове, на которой существенно облегчил условия труда, был выборным Московского биржевого общества (1879–1918), гласным Московской городской думы (1881–1884). Член партии «Союз 17 октября», с 1912 г. член партии прогрессистов. После революции эмигрировал в Швейцарию. Иван Николаевич *Терещенко* (1854–1903) — крупный сахарозаводчик, меценат (финансово обеспечивал художественную школу Мурашко), собиратель произведений искусства (М. Врубель, В. Поленов и др.), был женат на дочери генерал-лейтенанта М. А. Сарычева — Елизавете Михайловне (?–1921). Его сын Михаил Иванович (1886–1956) основал в Петербурге издательство «Сирин», в котором публиковались символисты.

[^^^]

Восстание в Москве началось 7 декабря, когда почти на всех крупных предприятиях прекратилась работа, начали собираться митинги и собрания под охраной вооруженных дружин. 9 декабря появились первые баррикады, 10-го их строительство развернулось повсюду. К 12 декабря большая часть города была в руках восставших, наиболее упорные бои шли в Замоскворечье, Рогожско-Симоновском районе и на Пресне. 15 декабря из Петербурга прибыли 2 тысячи солдат Семеновского гвардейского полка под командованием полковника Г. А. Мина, к 19 декабря восстание было подавлено.

[^^^]

Пресня стала центром вооруженного восстания в Москве. Действиями восставших на Пресне руководил штаб боевых дружин во главе с большевиком З. Я. Литвиным-Седым, в районе были сняты все полицейские посты и ликвидированы почти все полицейские участки, за поддержанием порядка следили районный Совет и штаб боевых дружин. Поддержку восставшим деньгами и оружием оказывали администрация фабрик Мамонтова, Прохорова, типографий И. Д. Сытина, Товарищества Кушнерева и др. Утром 19 декабря началось наступление на Прохоровскую мануфактуру и соседний Даниловский сахарный завод солдат Семеновского гвардейского полка, после артобстрела солдаты захватили оба предприятия.

[^^^]

Чириков опережает события: М. Горький поселился на Капри только в октябре 1906 г., после поездки с М. Андреевой в Америку. Начиная с 1906 г. на Капри в разное время приезжали Г. А. Лопатин, Г. В. Плеханов, А. В. Луначарский, А. А. Богданов, Ф. Э. Дзержинский. Там организовывается партийная школа, пропагандировавшая идеи богостроительства. Ленин бывал на Капри дважды: в 1908 и 1910 гг.

[^^^]

Первая Государственная дума (как ее называли современники — «дума народных надежд на мирный путь») проработала с апреля по июнь 1906 г. В ее состав вошли представители от партий кадетов, октябристов, трудовиков (близкой к эсерам фракции, выражавшей интересы крестьянства) и меньшевиков. Черносотенцы в Думу не прошли, большевики выборы бойкотировали. Законодательные права Думы оказались урезаны еще до созыва, тем не менее некоторое ограничение самодержавия было достигнуто, так как Дума получила право законодательной инициативы, новые законы отныне не могли быть приняты без ее участия. Дума предложила программу демократизации России: введение ответственности министров перед Думой, гарантию гражданских свобод, всеобщее бесплатное образование, удовлетворение требований национальных меньшинств, однако правительство ее не приняло, и вскоре Дума была распущена.

[^^^]

«Союз 17 октября» (лидер А. И. Гучков) был создан в ноябре 1905 г. и представлял интересы крупных промышленников, финансовой буржуазии, либеральных помещиков и состоятельной интеллигенции. Программа «Союза» предусматривала установление конституционной монархии с сильной исполнительной властью царя и законодательной Думой, сохранение единой и неделимой России (с предоставлением автономии Финляндии), решение аграрного вопроса (ропуск общины, возвращение крестьянам отрезков, снижение земельного дефицита в Центральной России путем переселения крестьян на окраины), однако помещичье землевладение сохранилось.

[^^^]

Соломон — царь Израильско-иудейского царства в 965–928 до Р.Х. Прославился своей мудростью и социальными преобразованиями: провел административные реформы, добился централизации религиозного культа, в 957 г. закончил строительство Храма (3-я Книга Царств), святыни еврейского народа. Считается, что Соломон — автор некоторых книг Библии («Песнь Песней»).

[^^^]

Дмитрий Павлович Романов (1891–1942) — сын великого князя Павла Александровича, внук Александра II, воспитывался в семье великого князя Сергея Александровича и его жены Елизаветы Федоровны. Окончил Офицерскую кавалерийскую школу, служил в лейб-гвардии Конного Его Величества полка. Участвовал в убийстве Г. Распутина в ночь на 17 декабря 1916 г. вместе с князем Ф. Ф. Юсуповым, депутатом Государственной думы В. М. Пуришкевичем и др. По распоряжению Николая II был отправлен в Персию. После революции 1917 г. некоторое время жил в США, где занимался торговлей шампанским, с середины 1920 г. жил в Европе, участвовал в разнообразных монархических и патриотических движениях, впоследствии устранился от общественной жизни.

[^^^]

Дубасов Федор Васильевич (1845–1912) — адмирал (1906). В 1897–1899 гг. командовал Тихоокеанской эскадрой, в 1905 г. руководил подавлением крестьянского движения в Черниговской, Полтавской и Курской губерниях. В 1905–1906 гг. московский генерал-губернатор, организатор подавления Декабрьского вооруженного восстания.

[^^^]

Пещер — то же, что пестер, — большая высокая корзина раструбом, дорожный кошель.

[^^^]

Приехав на Капри, Горький первоначально остановился в отеле «Квизисана», затем жил на трех виллах: «Блезеиус» (в 1906–1909), «Спинола» (1909–1911) и «Серафина» (1911–1913). Легенда о его пребывании во дворце Тиберия сложилась в настроенных против Горького кругах из желания убедить общественность в расточительстве писателя. Отели и виллы, в которых он жил, возможно, были построены на фундаменте разрушенных тибериевских дворцов.

[^^^]

Подразумевается «Каприйская школа», фракционная школа в РСДРП для рабочих, действовавшая на Капри в августе — декабре 1909 г., лекторами в которой были представители внутрипартийных группировок: отзовисты, ультиматисты, сторонники богостроительства.

[^^^]

Андреев Леонид Николаевич (1871–1919) — писатель, которого с Горьким связывала долгая дружба, прервавшаяся с появлением его пьесы «Жизнь человека» (1907). Он посетил Горького в декабре 1907 г.

[^^^]

Талмуд — собрание догматических, религиозно-этических и правовых положений иудаизма, сложившихся в IV в. до н. э. — V в. н. э. Толкование Талмуда — одно из основных занятий правоверных евреев (талмудист — последователь, знаток талмуда, в переносном значении — схоласт, начетчик, книжник).

[^^^]

Хедер — еврейская начальная школа для обучения мальчиков основам иудаизма, возникшая в Средние века.

[^^^]

Бонч-Бруевич Михаил Дмитриевич (1870–1956) — военачальник, участник Первой мировой и Гражданской войн. Генерал-лейтенант (1944). В 1898 г. окончил Академию Генштаба и до войны 1914 г. служил офицером, а также преподавателем военных наук в военно-учебных заведениях. С началом Первой мировой войны — начальник штаба, руководил операциями во Львове, в Раве Русской. Во время Корниловского мятежа был назначен главнокомандующим армиями Северного фронта. После Октябрьской революции занимал должность начальника штаба Верховного Главнокомандующего.

[^^^]

Первоначально аграрная программа большевиков требовала отмены выкупных и оброчных платежей и других повинностей, падающих на крестьянство как на податное сословие, и передачи всех земель в пользование крестьянства с целью создания наиболее благоприятных условий для борьбы за перерастание буржуазно-демократической революции в социалистическую. Основы этой аграрной программы были заложены в работе Ленина «Что такое „друзья народа“ и как они воюют против социал-демократов?» (1894). Во время подготовки в четвертому съезду РСДРП (апрель 1906 г.) шла разработка новой аграрной программы, проект которой был представлен Лениным в брошюре «Пересмотр аграрной программы рабочей партии». При победе революции и создании демократического государственного строя партия должна была добиться передачи всех земель в собственность государства, т. е. национализации земли.

[^^^]

Пропятие — то же, что распятие.

[^^^]